
РИЧАРД
ПАУЭРС
18+
ВЕРХНИЙ ЯРУС

Верхний ярус
Ричард Пауэрс

Аннотация
Ричард Пауэрс. Верхний ярус
~~~
КОРНИ
  НИКОЛАС ХЁЛ
  МИМИ МА
  АДАМ ЭППИЧ
  РЭЙ БРИНКМАН И ДОРОТИ КАЗАЛИ
  ДУГЛАС ПАВЛИЧЕК
  НИЛАЙ МЕХТА
  ПАТРИЦИЯ ВЕСТЕРФОРД
  ОЛИВИЯ ВАНДЕРГРИФФ
СТВОЛ
КРОНА
СЕМЕНА
~~~

Аннотация

Художник получает в наследство огромную пачку фотографий, на которых запечатлен один гигантский каштан. Студентка умирает от удара током, но ее воскрешают призраки из воздуха и света. Ученая делает открытие о том, что деревья способны общаться друг с другом. Во время Вьетнамской войны солдат, выброшенный взрывом из подбитого самолета, выживает, упав в ветки баньяна. Все эти люди и еще пять незнакомцев постепенно выясняют, что рядом с нами существует другой мир — огромный, медленный, взаимосвязанный и практически невидимый для человека. Это история тех, кто научился видеть этот мир, и теперь они призваны защитить его от неминуемой катастрофы, зная, что на успех практически нет шансов.

В оформлении использована иллюстрация Василия Половцева.

Ричард Пауэрс
Верхний ярус

Посвящается Аиде



~~~

Величайшей радостью, которой способствуют поля и леса, является предположение о сокровенной связи между человеком и растительным миром. Я не одинок, я признан. Они кивают мне, а я — им. Ветви, качающиеся под натиском бури, новы для меня и одновременно стары. Они удивляют, но все же известны мне. Их воздействие сходно с высшей мыслью или лучшим чувством, что посещает меня, когда я полагаю, что мысль моя справедлива, а деяния правильны.

Ральф Уолдо Эмерсон[1]

[1] Примечания: 1

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский эссеист, поэт, философ, в своем эссе «Природа» (1836) одним из первых сформулировал положения философии трансцендентализма.
~~~

Земля может быть живая: не в том смысле, в каком ее видели древние — как богиню, обладающую разумом, целеполаганием и предвидением, — но живая, как дерево. Дерево, что тихо существует, не двигается, если не считать покачивания на ветру, но ведет бесконечную беседу с солнечными лучами и почвой. Использует свет, воду и питательные минералы, чтобы расти и меняться. Но все это происходит настолько незаметно, что для меня старый дуб на поле совершенно не изменился с самого моего детства.

Джеймс Лавлок[2]

[2] Примечания: 2

Джеймс Лавлок (1919–2022) — британский ученый, эколог и футурист, создатель Гипотезы Геи, согласно которой земля функционирует как суперорганизм.

Дерево… он наблюдает за вами. Вы смотрите на дерево, а он вас слушает. У него нет пальцев, он не умеет говорить. Но этот лист… он гонит воздух, растет, растет в темноте. Когда вы спите, вам что-то снится. С деревьями и травой также.

Билл Нейджи[3]

[3] Примечания: 3

Большой Билл Нейджи (ок. 1913–2002) был последним оставшимся в живых носителем языка гаагуджу, аборигенов Австралии. Он был старейшиной их народа и хранителем земли, который заботился о сохранении культуры гаагуджу и стоял у истоков создания Национального парка Какаду, пожалуй, самого впечатляющего и разнообразного из национальных парков Австралии, получившего статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

КОРНИ

В начале не было ничего. Потом было все.

В парке над западным городом, ближе к ночи, воздух сыпет посланиями, будто каплями дождя. На земле сидит женщина, прислонившись к сосне. Кора врезается ей в спину, жестко, как жизнь. Древесный запах разливается вокруг, а в сердце ствола рокочет сила. Уши женщины настроены на малейшие колебания. А дерево говорит словами, что были раньше слов.

Оно говорит: Солнце и вода — вопросы, всегда стоящие ответов.

Оно говорит: Хороший ответ надо раз за разом изобретать с нуля.

Оно говорит: Каждую крупицу земли надо хватать по-новому. Ветвь вьется так, как не способен изобразить ни один карандаш. Можно путешествовать всюду, просто оставаясь на месте.

И женщина странствует именно так. Сигналы сыплются вокруг нее, подобно семенам.

Разговор сегодня идет отвлеченный. Изгибы ольхи ведут речь о давно прошедших катастрофах. Бледные свечки каштановых цветов

отрясают пыльцу; скоро они превратятся в шипастые плоды. Тополи повторяют сплетни ветров. Хурма и орех выставляют свои подарки, а рябины — кроваво-красные гроздья. Древние дубы машут предсказаниями будущей погоды. Несколько сотен видов боярышника смеются над одним именем, которое вынуждены делить. Лавры настаивают, что даже смерть — ничто и не стоит терять из-за нее сон.

Что-то в аромате воздуха приказывает женщине: Закрой глаза и вообрази себе иву. Ты сразу представишь плакучую, но это неправильно. Вообрази шип акации. Ни одна твоя мысль не будет настолько острой. Что парит прямо над тобой? Что летает над головой прямо сейчас — сейчас?

Присоединяются деревья, находящиеся еще дальше: Вы по-разному представляете нас: заколдованные мангровые леса на ходулях, перевернутая лопата мускатного ореха, сучковатые стволы байи, прямые ракеты шореи, — но всегда видите ампутированными. Ваш вид не может разглядеть нас полностью. Вы упускаете половину, а то и больше. Под землей всегда столько же всего, сколько и на земле.

Вот в чем беда с людьми, их корневая проблема. Жизнь бежит рядом с ними, невидимая. Прямо

тут, буквально по соседству. Создает почву. Перерабатывает воду. Обменивается питательными элементами. Творит погоду. Строит атмосферу. Кормит, лечит, дает приют большему количеству существ, чем человек способен сосчитать.

Хор живых деревьев поет женщине: Если бы твой разум был хотя бы слегка зеленее, мы бы утопили тебя в смысле.

Сосна, к которой она прислонилась, говорит: Слушай. Тебе надо кое о чем услышать.

НИКОЛАС ХЁЛ

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ КАШТАНОВ.

Люди швыряют камни в гигантские стволы. Орехи падают вокруг неземным градом. В это воскресенье так происходит повсюду, от Джорджии до Мэна. В Конкорде свою долю вносит Торо. Он чувствует, что бросает камни в разумных созданий с более притупленными чувствами, но все же кровных родственников. «Старые деревья — это наши родители и, быть может, родители наших родителей. Если вы хотите обучиться секретам Природы, то должны чаще практиковать человечность…»

В Бруклине, на Проспект-хилл, недавно приплывший в город Юрген Хёл смеется при виде тяжелого дождя. Каждый раз, когда его камень попадает по стволу, сверху лопатами падает еда. Люди мечутся, как воры, набивают кепки, мешки, карманы штанов орехами, освобожденными от колючек. Вот он, прославленный свободный банкет Америки — еще один внезапный куш в стране, что даже объедки берет прямо с господнего стола.

Норвежец и его друзья с Бруклинской верфи

едят добычу, запекая ее в золе огромных костров, разведенных на росчисти в лесу. Обожженные орехи радуют сверх всяких слов: сладкие и островатые, насыщенные, как подслащенный картофель, одновременно такие обычные и таинственные. Ершистые скорлупки колются, но их «нет» скорее дразнит, чем создает препятствия. Орехи сами хотят выскользнуть из-под шипов. Каждый добровольно желает быть съеденным, чтобы остальные распространились как можно дальше.

Этой ночью, чуть не пьяный от печеных каштанов, Хёл делает предложение Ви Поуис, ирландской девушке, она живет в окруженных соснами домах, находящихся примерно в двух кварталах от его съемной комнатенки на краю Финнтауна. На расстоянии трех тысяч миль вокруг никто не может возразить молодым. Они женятся еще до Рождества. К февралю становятся американцами. Весной каштаны расцветают снова, длинные лохматые сережки развеваются на ветру, как барашки на серовато-голубых волнах Гудзона.

Вместе с гражданством приходит голод до неукрощенного мира. Пара собирает пожитки и посуху отправляется по великим дорогам восточной белой сосны, через темно-буковые леса

Огайо и заросшие дубами холмы Среднего Запада прямо до поселка рядом с фортом Де-Мойн в новом штате Айова, где власти раздают землю, только вчера нанесенную на карту, любому, кто пожелает ее возделывать. До ближайших соседей тут мили две. В тот первый год Хёлы вспахивают и засаживают четыре десятка акров. Кукуруза, картофель и бобы. Работа адская, но на себя. Всяко лучше, чем строить корабли для флота какой-либо страны.

Потом в прерии приходит зима. Холод испытывает их волю к жизни. Ночи в дырявой хижине студят кровь до нуля. Каждое утро приходится разбивать лед в кадке, чтобы ополоснуть лицо. Но Хёлы молодые, свободные и целеустремленные — только от них зависит их собственная жизнь. Зима не убивает их. Пока не убивает. Черное отчаяние в сердце сжимается, спрессовывается до алмаза.

Когда снова приходит пора сеять, Ви беременна. Хёл прижимается ухом к ее животу. Она смеется при виде его ошарашенного лица:

— Что он говорит?

Он отвечает на своем грубом и тяжелом английском:

— Накорми меня!

В мае Хёл находит шесть каштанов в кармане рабочего комбинезона, в нем он делал предложение жене. Юрген закапывает их в землю западной Айовы, в плоской, лишенной деревьев прерии вокруг дома. Ферма в сотнях миль от естественного ареала каштанов, в тысяче от каштановых пиров Проспект-хилл. С каждым месяцем Хёл все с большим трудом вспоминает те зеленые леса Востока.

Но это Америка, где люди и деревья водят самые примечательные знакомства. Хёл сажает, поливает и думает: «Однажды мои дети ударят по стволу и поедят бесплатно».

* * *

ПЕРВЕНЕЦ УМИРАЕТ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ, его убивает нечто, пока не имеющее даже названия. Микробов еще нет. Детей забирает только Бог, хватая временные души из одного мира в другой по какому-то непонятному расписанию.

Один из шести каштанов не дает побегов. Но об остальных ростках Юрген Хёл заботится. Жизнь — это битва между Создателем и Его творением. Хёл становится в ней специалистом. Уход за деревьями ничтожен по сравнению с другими войнами, которые ему приходится вести каждый

день. В конце первого сезона его поля полны, а лучшие из саженцев набирают высоту в два фута.

Через четыре года у Хёлов уже три ребенка и намек на каштановую рощу. Побеги длинные и тонкие, их коричневые стволы покрыты чечевичками. Сочные, рельефные, зубчатые, колючие листья больше тонких веточек, на которых распускаются. Если не считать их и нескольких крупноплодовых дубов в низине, ферма подобна островку в море травы.

Даже такие крохотные каштаны уже полезны:

Чай из молодых побегов от проблем с сердцем,

юные листья для лечения язв,

холодная настойка из коры, чтобы остановить кровотечение после родов,

разогретые галлы, чтобы обработать пупок младенца,

отвар листьев со жженым сахаром от кашля,

припарки от ожогов, листья для набивки матрасов,

экстракт от отчаяния, когда страдание слишком сильно…

Годы катятся, то жирные, то тощие. В среднем скорее прижимистые, но Юрген замечает улучшения. Каждый год он вспахивает все больше земли. И будущей рабочей силы у Хёлов все прибавляется. Об этом заботится Ви.

Деревья толстеют, словно зачарованные. Каштан быстр: «к тому времени, как ясень сделал бейсбольную биту, у каштана получился целый шкаф». Склонись над побегом, и он выколет тебе глаз. Бороздки на коре закручиваются, как полосы на столбике у парикмахерской, по мере того как стволы тянутся вверх. На ветру ветви мерцают темно-и бледно-зеленым цветом. Чаши листьев разворачиваются, желая заполучить еще больше солнечного света. Они машут влажному августу так, как жена Хёла иногда встряхивает своими распущенными, когда-то янтарными волосами. Когда в новорожденную страну снова приходит война, пять деревьев уже становятся выше того, кто их посадил.

Безжалостная зима шестьдесят второго года пытается забрать еще одного ребенка, но удовлетворяется каштаном. Старший сын Хёлов, Джон, уничтожает еще один следующим летом. Мальчику даже не приходит в голову мысль, что дерево умрет, если сорвать половину листьев

ради игрушечных денег.

Хёл дерет сына за волосы:

— Ну и как тебе? Нравится? А?

Он залепляет сыну пощечину. Ви приходится встать между ними, чтобы остановить наказание.

В шестьдесят третьем году начинается призыв. Первыми идут молодые и одинокие мужчины. Юргену Хёлу уже тридцать три, у него жена, маленькие дети и пара сотен акров земли, он получает отсрочку. Он так и не помогает сохранить Америку. Ему приходится спасать страну поменьше.

В Бруклине поэт, санитар, помогавший умирающим Союза, пишет: «Былинка травы не меньше движения звезд»[4]. Юргену не суждено прочитать эти слова. Любые слова кажутся ему какой-то хитростью. Кукуруза, бобы, тыквы — все растущее куда полнее раскрывает бессловесный разум Бога.

Наступает еще одна весна, и на трех оставшихся деревьях пробиваются сливочные цветы. Они пахнут едко, остро, кисло, как старые ботинки или

---

[4] Примечания: 4

Уолт Уитмен «Песни о себе» (пер. К. Чуковского). В период Гражданской войны в США, с 1861 по 1865 годы, Уолт Уитмен был добровольцем-санитаром в госпиталях северян.

зловонное исподнее. А затем появляется горстка сладких орехов. Даже этот крошечный урожай напоминает фермеру и его уставшей жене о падающей с небес манне, что когда-то ночью свела их вместе в лесах к востоку от Бруклина.

— Будут целые бушели, — говорит Юрген. Мысленно он уже делает из них хлеб, кофе, супы, пироги, подливки — все те деликатесы, которые, как известно аборигенам, могут дать каштаны. — Сможем излишки продавать в городе.

— А на Рождество дарить соседям, — решает Ви.

Но это соседям суждено спасти Хёлов во время жуткой засухи этого года. Еще один каштан умирает от жажды, когда даже на будущее нельзя потратить и капли воды.

Проходят годы. Коричневые стволы становятся серыми. Так как в прерии нет других высоких целей, в сухую осень молния бьет в очередной каштан. Древесина, которая могла бы сгодиться на все, от колыбелей до гробов, занимается пламенем. Остается так мало, что не хватит и на сносную табуретку.

Единственное оставшееся дерево по-прежнему цветет. Но его цветам нет ответа. У него нет сородичей на бесчисленные мили вокруг, а каштан,

пусть он и мужской, и женский одновременно, сам себя не опыляет. И все же в тонком живом цилиндре под корой он таит секрет. Его клетки подчиняются древней формуле: «Не двигайся. Жди». Выживший знает, что даже нерушимый закон настоящего можно пережить. И есть работа. Звездная работа, но в то же время земная. Или же, как пишет санитар для мертвецов Союза: «Будьте холодны и безмятежны пред миллионом вселенных». Безмятежны, как древесина.

ФЕРМА ВЫЖИВАЕТ в хаосе Господней воли. Через два года после Аппоматтокса, в перерыве между вскапыванием и вспашкой, посевом, прополкой и уборкой, Юрген заканчивает постройку нового дома. Урожай приходит и уходит. Сыновья Хёла входят в колею рядом со своим отцом, больше похожим на быка. Дочери рассеиваются в браках по близлежащим фермам. Появляются новые деревни. Грунтовка рядом с фермой превращается в настоящую дорогу.

Младший сын работает в конторе налогового инспектора округа Полк. Средний становится банкиром в Эймсе. Старший, Джон, остается на ферме, с семьей, и работает, пока его родители угасают. Джон Хёл приступает к делу с рвением, прогрессом и машинами. Он покупает паровой

трактор, который пашет и молотит, жнет и вяжет снопы. Когда работает, тот ревет так, словно вырвался из самого ада.

Для последнего оставшегося каштана все это происходит за пару новых борозд, за дюйм прибавившихся годовых колец. Дерево увеличивается. Его кора спиралью восходит вверх, подобно колонне Траяна. Зубчатые листья превращают солнечный свет в материю. Оно не просто выживает; оно процветает, зеленый шар здоровья и энергии.

Второго июня нового века Юрген Хёл лежит в кровати, в отделанной дубом комнате наверху дома, который он построил и который больше не может покинуть, смотрит в слуховое окно на соцветия листьев, плывущих и сияющих в небе. Паровой трактор сына грохочет на северных сорока акрах, но Хёл ошибочно принимает этот гром за скверную погоду. От веток кровать покрывается солнечными пятнами. Из-за зеленых зубастых листьев, сна, который Юрген когда-то видел, видения о росте и процветании, ему снова кажется, что вокруг его головы дождем проливается пир.

Он спрашивает себя: почему у такого прямого и широкого дерева кора изгибается и извива-

ется? Может, дело во вращении Земли? Может, оно пытается привлечь внимание человека? За несколько сотен лет до того каштан на Сицилии диаметром в двести футов укрыл испанскую королеву и сотню ее конных рыцарей от разыгравшей бури. И это самое дерево на сотню лет и даже больше переживет человека, который о нем никогда не слышал.

— Ты помнишь? — Юрген спрашивает женщину, что держит его за руку. — Проспект-хилл? Как мы наелись в ту ночь! — Он кивает в сторону лесистых веток, земли за ними. — Я дал тебе это. А ты дала мне… все! Эту страну. Мою жизнь. Мою свободу.

Но его держит за руку не жена. Ви умерла пять лет назад от инфекции легких.

— Поспи, — говорит внучка и кладет руку деда на его изнуренную грудь. — Мы все будем внизу.

ДЖОН ХЁЛ ХОРОНИТ ОТЦА под деревом, которое тот посадил. Трехфутовый чугунный забор окружает россыпь могил. Каштан с равной щедростью отбрасывает свою тень на живых и мертвых. Его ствол уже стал таким толстым, что Джону его не обнять. Нижний круг выживших ветвей находится так высоко, что не достать.

Каштан Хёла становится достопримечатель-

ностью, фермеры зовут его «страж-древом». По воскресеньям, выезжая на пикники, по нему ориентируются семьи. Местные пользуются им, давая наставления путешественникам, как одиноким маяком в поле зерна. Ферма процветает. Теперь есть первоначальный капитал, чтобы расти и расширяться. Отец умер, братья разъехались по своим делам, и Джон Хёл волен покупать все машины, какие пожелает. В сарае с оборудованием появляются жатки, веялки и сноповязалки. Джон едет в Чарльз-сити, чтобы посмотреть на первые двухцилиндровые тракторы на бензине. Когда начинают проводить телефонные линии, он сразу подписывается, хотя стоит это целое состояние, и никто в семье не понимает, какой толк будет от такой штуки.

Сын иммигранта поддается болезни бесконечных улучшений еще до того, как от нее появляется эффективное лечение. Он покупает себе фотоаппарат «Кодак Брауни № 2». «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». Ему приходится посылать пленки на проявку и печать аж в Де-Мойн, и на снимки он тратит гораздо больше двух долларов, что стоила камера. Джон фотографирует жену, та с помятой улыбкой, одетая в ситцевое платье, позирует рядом с новым меха-

ническим катком для белья. Он фотографирует, как дети управляют тяжеловозными лошадьми с провислой спиной, тянущими зерноуборочные комбайны. Он фотографирует семью на Пасху, в их лучших нарядах, женщины вплетены в чепчики, мужчины придушены галстуками-бабочками. Когда открыточных видов Айовы уже не остается, Джон обращает камеру на своего ровесника, Каштан Хёлов.

Пару лет назад он купил младшей дочке на день рождения зоопраксископ, но девочке быстро стало скучно, и теперь Джон играет с ним сам. Все его мысли занимают стайки хлопающих крыльями гусей и парад вставших на дыбы мустангов, оживающих на глазах, когда начинает вращаться стеклянный барабан. Ему в голову приходит блестящий план, как будто он сам его придумал. Джон решает всю свою оставшуюся жизнь снимать дерево и так посмотреть, как оно будет выглядеть, ускоренное до ритма человеческих желаний.

В техническом магазине он покупает треногу. Потом устанавливает разбитый точильный камень на пригорок рядом с домом. И в первый день весны 1903 года Джон ставит «Кодак Брауни» на позицию и снимает страж-каштан, уже

пускающий листочки. Спустя ровно месяц на том же самом месте, в то же самое время он делает еще один полноразмерный портрет. После чего каждое двадцать первое число каждого месяца он стоит на этом пригорке. Съемки превращаются в ревностный ритуал, даже в дождь, снег или испепеляющий зной, это литургия Хёла, прославляющая Церковь распространяющегося бога растительности. Жена безжалостно его дразнит, как и дети. «Он все ждет, что дерево выкинет какой-нибудь трюк».

Когда Джон собирает двенадцать черно-белых снимков первого года и перелистывает их большим пальцем, то им особо нечего предложить. В одно мгновение дерево словно ниоткуда выпускает листья. В следующее — разворачивает их навстречу сгущающемуся свету. В остальном, ветви просто вытягиваются. Но фермеры — люди терпеливые, испытанные жестокими временами года, и если бы их не преследовали мысли о грядущих поколениях, они бы навряд ли продолжали пахать землю каждую весну. Джон Хёл снова восходит на пригорок 21 марта 1904 года, как будто у него тоже в запасе пара сотен лет, чтобы задокументировать то, что время прячет у всех на виду.

В ДВЕНАДЦАТИ СОТНЯХ МИЛЬ К ВОСТОКУ, в городе, где мать Джона шила одежду, а отец строил корабли, происходит катастрофа, о которой поначалу никто даже не узнает. Убийца попадает на землю из Азии, вместе с китайскими каштанами, предназначенными для изысканных садов. Дерево в Зоологическом саду Бронкса дает осенние цвета в июле. Листья сворачиваются, сгорают до коричного оттенка. На разбухшей коре проступают кольца оранжевых пятен. Древесина поддается от малейшего нажатия.

Всего за год оранжевые пятна поражают каштаны по всему Бронксу — плоды паразита, который уже убил своего хозяина. Каждая язва выпускает тысячи спор, разлетающихся по ветру и вместе с дождем. Городские садовники начинают контратаку. Они срезают зараженные ветки и сжигают их. Опрыскивают деревья известью и медным купоросом из цистерн на лошадиной тяге. Но всего лишь распространяют споры дальше на лезвиях тех самых топоров, которыми срубают жертв. Исследователь из Ботанического сада Нью-Йорка опознает убийцу: это грибок, еще неизвестный человеку. Он публикует результаты и оставляет город на потребу летнему зною. Когда же возвращается несколько недель спустя, ни один каштан

уже не спасти.

Смерть мчится по Коннектикуту и Массачусетсу, преодолевая по дюжине миль в год. Деревья падают сотнями тысяч. Страна, пораженная, смотрит, как пропадают бесценные каштаны Новой Англии. Дерево кожевенной отрасли, шпал, вагонов, телеграфных столбов, топлива, заборов, домов, сараев, столов, изысканной мебели, роялей, ящиков, целлюлозы, бесконечной тени и еды — самое урожайное дерево в стране — исчезает без следа.

Пенсильвания пытается устроить заслон шириной в сотни миль через весь штат. В Виргинии, на северном крае самых густых каштановых лесов, люди обращаются к Богу, требуют очищения, чтобы отринуть грех, повлекший чуму. Совершенные каштаны Америки, экономический оплот целых сообществ, гибкая красная древесина Востока, которую можно использовать в промышленности тремя сотнями разных способов, каждое четвертое дерево в лесу, простирающемся на два миллиона акров, от Мэна до Залива, — все это обречено на смерть.

НОВОСТИ О ЧУМЕ не добираются до западной Айовы. Джон при любой погоде возвращается на пригорок двадцать первого числа каждого меся-

ца. Каштан Хёлов все сильнее вздымает листья вверх. «Он что-то задумал, — думает фермер, это его единственная попытка мыслить философски. — У него есть какой-то план».

В ночь перед пятьдесят шестым днем рождения Джон просыпается в два часа и шарит рукой по кровати, словно что-то ищет. Жена спрашивает, все ли в порядке. Сжав зубы, он отвечает: «Пройдет». И умирает через восемь минут.

Ферма переходит к двум первым сыновьям. Старший, Карл, хочет списать безвозвратные издержки фоторитуала. Младшему, Фрэнку, нужно оправдать десятилетие нелепых исследований отца о том, как дерево растит свою крону, а потому он упрямо их продолжает. Через сто с лишним кадров в самом старом, коротком, медленном и амбициозном фильме, когда-либо снятом в Айове, начинает проступать цель каштана. При перелистывании фотографий можно заметить, как их герой тянется к чему-то в небе, похлопывает его. Возможно, к другому каштану. Или к большему свету. Оправдание каштана.

Когда Америка наконец присоединяется к мировому пожару, Фрэнка Хёла отправляют во Францию вместе со Вторым кавалерийским полком. Он берет с девятилетнего Фрэнка-младшего

обещание фотографировать дерево до его возвращения. Это год долгих обещаний. Нехватку воображения мальчик компенсирует обязательностью.

Чистая удача вытаскивает Фрэнка-старшего из котла в Сен-Мийеле только для того, чтобы стереть в порошок под минометным огнем в Аргонском лесу. От Хёла остается так мало, что нечего положить в гроб и похоронить. Семья собирает временную капсулу из его кепок, трубок и часов и закапывает ее на фамильном участке, под деревом, которое он так недолго фотографировал каждый месяц.

* * *

ЕСЛИ БЫ У БОГА БЫЛ «БРАУНИ», он, возможно, снял бы еще один анимированный короткий ролик: в нем чума застыла бы на мгновение, прежде чем рухнуть на Аппалачи, в сердце каштановой страны. Каштаны севера были величественны. Но южные деревья — это боги. Огромные каштановые рощи тянутся на много миль. В Каролинах кряжи древнее Америки вырастают на десять футов в ширину и на сто двадцать футов в высоту. Целые леса цветут белыми облаками. Десятки горных поселков построены из этой прекрасной

прямослойной древесины. Из одного дерева получается почти четырнадцать тысяч досок. Орехи, толстым слоем лежащие на земле, кормят целые округи, год за урожайным годом.

А теперь боги умирают. Вся сила человеческой изобретательности не может остановить катастрофу, поразившую континент. Чума бежит по хребтам, убивая вершину за вершиной. Человек, взобравшийся над южными горами, мог бы увидеть, как деревья рябящей волной превращаются в бело-серые скелеты. Дровосеки рыскают по десятку штатов, лишь бы срубить то, что еще не успел поразить грибок. Новорожденная Лесная служба их только поощряет. «Хотя бы используйте древесину, пока все не пошло прахом». И во время этой спасательной операции человек губит деревья, в которых может таиться секрет сопротивления болезни.

Пятилетняя девочка в Теннеси, которая видит, как первые оранжевые пятна появляются в ее волшебных лесах, уже не покажет своим детям ничего, кроме картин. Они никогда не увидят зрелую дородность дерева, никогда не познают вид, звук и запах детства их матери. Миллионы мертвых пней выпускают отростки, они год за годом пытаются закрепиться, но все равно уми-

рают от инфекции, что, сохранившись в этих упрямых побегах, так и не исчезнет. К 1940 году грибок забирает все, до самых дальних рощ в Южном Иллинойсе. Четыре миллиарда деревьев превращаются в миф. Не считая парочки тайных очагов сопротивления, единственные оставшиеся каштаны — это те, которые пионеры унесли далеко-далеко, куда не достают дрейфующие споры.

ФРЭНК ХЁЛ-МЛАДШИЙ держит слово, данное отцу, спустя много лет после того, как тот блекнет, становясь размытыми, черно-белыми, передержанными воспоминаниями. Каждый месяц мальчик кладет очередную фотографию в бальзаминовую коробку. Скоро он уже подросток. Потом юноша. Он механически исполняет ритуал, также как большая семья Хёлов продолжает праздновать день святого Олафа, не помня зачем.

Фрэнк-младший не страдает от излишка воображения. Он никогда не слышит свои мысли: «Возможно, я ненавижу это дерево. А возможно, люблю больше, чем любил отца». Мысли ничего не значат для человека без реальных независимых желаний, рожденного под созданием, к которому он прикован и под которым обречен

умереть. Он думает: «Этой штуки тут не должно быть. Толку от нее нет, если только мы ее не срубим». А потом приходят месяцы, когда Фрэнк смотрит через видоискатель на раскинувшуюся крону, и она кажется его удивленному взгляду эталоном смысла.

Летом вода поднимается по ксилеме и рассеивается через миллионы крохотных ртов на изнанке листьев, так сотня галлонов в день испаряется во влажный воздух Айовы. Осенью желтеющие листья переполняют Фрэнка-младшего ностальгией. Зимой голые ветви щелкают и шумят в порывах ветра, тупоносые спящие почки кажутся чуть ли не зловещими в своем ожидании. И каждую весну бледно-зеленые сережки и кремовые цветы на миг пробуждают мысли в голове Фрэнка-младшего, мысли, с которыми он не знает, как обходиться.

Третий фотограф из рода Хёлов продолжает снимать, также как и продолжает ходить в церковь, хотя уже давно решил, что весь верующий мир одурачен сказками. Бессмысленный ритуал со снимками дает жизни Фрэнка-младшего слепую цель, которую не может даровать фермерство. Это ежемесячное упражнение по примечанию чего-то, что вообще не стоит внимания, — создания

непоколебимого и замкнутого, как сама жизнь.

Во время Второй мировой войны в пачке уже насчитывается пятьсот фотографий. Однажды днем Фрэнк-младший решает их перелистать. Он снова чувствует себя мальчиком, который дал опрометчивое обещание отцу в девять лет. Но покадровое дерево изменилось до неузнаваемости.

Когда все зрелые каштаны в естественной среде обитания пропали, дерево Хёлов становится достопримечательностью. Из Айова-сити приезжает дендролог, чтобы подтвердить слух: существует каштан, который пережил холокост. Журналист из «Реджистер» пишет статью об одном из последних совершенных деревьев Америки. «Слово „каштан“ можно найти в названии около двенадцати сотен географических мест к востоку от Миссисипи. Но вам придется приехать в западную Айову, чтобы увидеть это дерево в реальности». Обыкновенные люди, направляющиеся из Нью-Йорка в Сан-Франциско по новому федеральному шоссе, которое прорезало канал рядом с фермой Хёлов, видят только фонтан тени в одиноком и плоском царстве кукурузы и сои.

В феврале 1965 года на жестоком морозе «Брауни» дает трещину. Фрэнк-младший заменяет старую камеру на «Инстаматик». Пачка фотографий

уже толще любой книги, которую он когда-либо пытался прочесть. Но на каждом снимке видно только одинокое дерево, и оно не обращает внимания на поражающую воображение пустоту, столь хорошо известную человеку. Ферма остается за спиной Фрэнка-младшего каждый раз, когда он открывает линзу. А потому фотографии прячут всё: двадцатые, которые совсем не ревут с точки зрения Хёлов. Депрессию, которая стоит им двухсот акров и отправляет половину семьи в Чикаго. Радиошоу, которые отвращают двух сыновей Фрэнка-младшего от фермерства. Смерть одного Хёла в Южном Тихом океане и двух выживших Хёлов, страдающих от чувства вины. «Диары» и «Каттерпилары» в тракторном ангаре. Сарай, который однажды ночью сгорает дотла под крики беспомощных животных. Десятки радостных свадеб, крестин и выпускных вечеров. Полудюжину адюльтеров. Два развода, таких грустных, что способны заглушить даже голос певчих птиц. Неудачную кампанию одного сына по выбору в законодательное собрание штата. Иск между кузенами. Три неожиданных беременности. Затяжную партизанскую войну Хёлов против местного пастора и половины лютеранского прихода. Героин и «Агент Оранж»,

которые приходят из Вьетнама вместе с вернувшимися племянниками. Замятый инцест, застарелый алкоголизм, побег дочери со школьным учителем английского. Рак (груди, прямой кишки, легких), сердечную недостаточность, кожу, снятую с руки рабочего зернопогрузчиком, гибель сына кузена в автокатастрофе прямо в ночь после выпускного. Бесчисленные тонны химикатов с названиями, вроде: «Ярость», «Облава» и «Огненный шторм», — патентованные семена, из которых вырастают стерильные растения. Пятидесятую годовщину свадьбы на Гавайях и ее ужасные последствия. Переезд пенсионеров в Аризону и Техас. Поколения вражды, храбрости, долготерпения и неожиданной щедрости: все, что человек мог бы назвать «историей», происходит за рамками кадра. Внутри них на протяжении сотен бесконечных времен года существует только дерево, его щелистая кора спиралью восходит в ранний зрелый возраст, вырастая со скоростью леса.

Вымирание подкрадывается к ферме Хёлов — как и ко всем семейным фермам в западной Айове. Тракторы становятся чудовищными, вагоны с азотными удобрениями — слишком дорогими, конкуренция — слишком большой и

эффективной, маржа — совсем маргинальной, а почва — слишком износившейся из-за постоянной запашки, чтобы приносить реальный доход. Каждый год еще одного соседа пожирают огромные, организованные, неумолимо продуктивные монокультурные фабрики. Как и многие люди перед лицом катастрофы, Фрэнк Хёл-младший идет, зажмурившись, навстречу судьбе. Он влезает в долги. Продает земли и права. Подписывает с семенными компаниями сделки, которые не надо подписывать. Он уверен, в будущем году — или уже через год — что-нибудь случится и спасет их, как всегда бывало.

Фрэнк-младший добавляет семьсот пятьдесят пять фотографий одинокого гиганта к ста шестидесяти, которые сняли его отец и дед. В двадцать первый день последнего апреля своей жизни Фрэнк-младший прикован к постели, а его сын, Эрик, приезжает на ферму из собственного дома, находящегося в сорока минутах езды, поднимается на пригорок и делает еще один черно-белый снимок, теперь по самые рамки заполненный пышными ветвями. Эрик показывает фотографию старику. Так легче, чем сказать отцу, что он его любит.

Фрэнк-младший морщится, словно от горького

миндаля.

— Послушай, я дал обещание, и я сдержал его. Ты никому ничего не должен. Оставь ты эту штуку в покое.

Он мог бы с таким же успехом приказать гигантскому каштану не расти.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА танцуют за пять секунд. Николас Хёл большим пальцем пролистывает стопку из тысячи фотографий, смотрит на тайное значение этих десятилетий. В двадцать пять лет он ненадолго возвращается на ферму, где провел каждое Рождество своей жизни. Он рад, что добрался, если учесть все отмены полетов. С запада идут снежные бури, и самолеты по всей стране не могут оторваться от земли.

Он и его родственники приехали сюда побыть с бабушкой. Завтра со всего штата соберется семья. Из-за фотографий к Николасу возвращаются воспоминания: праздники детства, как весь клан собирался ради индейки или рождественских гимнов, флагов середины лета и фейерверков. Каким-то образом все это зашифровано в оживающем дереве, встречи в каждое время года, дни исследований и тоски посреди кукурузы. Перебирая снимки в обратном порядке, Николас чувствует, как годы отклеиваются, словно распа-

ренные обои.

Всегда животные. Сначала собаки — особенно трехногая, чуть ли не сходящая с ума от любви всякий раз, когда семья Ника сворачивала на длинную подъездную дорожку. Затем горячее дыхание лошадей и жесткая копна коровьей щетины. Змеи, извивающиеся в сжатых стеблях. Случайно найденная нора кроликов у почтового ящика. Как-то в июле из-под переднего крыльца появились полудикие кошки, пахнущие тайной и свернувшимся молоком. Мертвые мыши, подарочки около заднего входа в дом.

От пятисекундного фильма пробуждается память. Вот Ник пробирается в гараж с его механизмами и загадочными инструментами. Сидит на кухне, переполненной Хёлами, вдыхает запах затхлого потрескавшегося линолеума, пока белки шебаршатся в своих скрытых гнездах внутри стенового каркаса. С двумя кузенами помладше копает землю, их древние лопатки с ручками в форме груши прокладывают канаву прямо, как уверяет Ник, к магме.

Он сидит наверху, за столом со сдвижной крышкой, в кабинете покойного деда, изучает проект, который пережил уже четыре поколения его создателей. Из всего груза в фермерском доме

Хёлов — сотни банок для печенья и стеклянных снежных шаров, сундука на чердаке с табелями успеваемости его отца, ножного органа с мехами, спасенного из церкви, где крестили прапрадедушку Ника, древних игрушек его отца и дядьев, полированных сосновых кегель и невероятного города, управляемого магнитами, спрятанными под улицами, — эта пачка фотографий всегда была сокровищем, которое никогда не надоедало Нику. Каждый снимок сам по себе не показывал ничего, кроме дерева, на которое Ник мог взобраться вслепую, так часто он по нему лазал. Но при перелистывании коринфская деревянная колонна набухала под большим пальцем, вздымалась и освобождалась. Три четверти века пробегало за время, достаточное для короткой молитвы. Как-то в девять лет, во время пасхального ужина, Ник так часто перелистывал пачку снимков, что дед ударил его по рукам и спрятал ее на самой высокой полке посыпанного нафталином шкафчика. Ник залез на стул и снова принялся за фотографии, едва убедился, что взрослые ушли вниз.

Это его по праву рождения, эмблема Хёлов. Ни у одной другой семьи в округе нет дерева, похожего на страж-каштан. И ни одна семья в Айове не

может сравниваться по странности с этим многопоколенным фотопроектом. А взрослые словно поклялись никогда не говорить о том, в чем же его цель. Ни дед, ни отец не могли объяснить Николасу смысл этого увесистого кинеографа. Дед говорил: «Я пообещал отцу, а тот пообещал своему отцу». Но в другое время он же сказал: «Эта штука заставляет тебя по-другому мыслить, разве нет?» И действительно, заставляла.

Именно на ферме Ник сделал первые наброски. Карандашные мальчишеские мечты — ракеты, неземные машины, огромные армии, воображаемые города, с каждым годом все более вычурные от деталей. Потом текстуры естественнее, реальнее — лес волос на спине гусеницы или бурные погодные карты в волокнах половиц. Именно на ферме, хмельной от кинеографа, Ник впервые стал рисовать ветви. Четвертого июля он лежал на спине, глядя на раскинувшееся древо, пока все остальные метали подковы. В постоянном расщеплении каштана чувствовалась геометрия, равновесие толщины и длины, которое Ник еще не мог запечатлеть, ему не хватало сноровки. Рисуя, он задумался о том, какой надо иметь мозг, чтобы различать каждый из стрельчатых листов на любой ветке и распознавать их также легко,

как, к примеру, лица кузенов.

Еще один просмотр волшебного фильма, и быстрее, чем черно-белое брокколи превращается в ощупывающего небеса гиганта, девятилетка, которого одергивал дед, становится подростком, проникается любовью к Богу, молится ему каждую ночь, но редко удачно, так как не может прекратить мастурбировать на фантазии о Шелли Харпер, он уходит от Бога и приходит к гитаре, попадается полиции с половиной косяка травы, получает шесть месяцев в устрашающей колонии для несовершеннолетних близ Сидар-Рэпидз, и там — часами рисуя все подряд, что только видит в окна со стальными решетками, — он понимает, что всю свою жизнь хочет заниматься странным.

Ник был уверен, что такую идею будет трудно подать семье. Хёлы были фермерами, владельцами магазина по продаже фуража и торговцами сельскохозяйственным оборудованием, как его отец, жутко практичными людьми, укорененными в логике земли, привыкшими работать долго и упорно, днями, год за годом, никогда не спрашивая почему. Ник готовился к ссоре, к чему-нибудь прямиком из романов Д. Г. Лоуренса, которые помогли пережить ему старшую школу.

Он репетировал неделями, но слова застревали в горле от самой абсурдности просьбы: «Пап, я бы с удовольствием прыгнул с края жизни, полной здравого смысла, причем за твой счет, и стал патентовано безработным».

Он решился на разговор ранней весной, ночью. Отец лежал на диване, который стоял на веранде, и читал биографию Дугласа Макартура. Николас сел в глубокое кресло рядом. Ароматный ветер дул сквозь сетку и ерошил ему волосы.

— Пап? Я хочу пойти в художественную школу.

Отец посмотрел на него поверх книги так, словно изучал руины своей династии.

— Я так и думал, что чем-то в таком духе все и кончится.

И Ник уехал, он гулял на таком длинном поводке, что добрался до самого центра Чикаго и обрел свободу, давшую ему испытать все пороки, присущие его желаниям.

В чикагской школе он многое узнал:

1. Человеческая история была рассказом о все сильнее растущем рассеянном голоде.
2. Искусство было совсем не таким, каким он его считал.

3. Люди делают все, о чем ты только можешь помыслить. Сложные резные портреты на кончиках карандашей. Собачье дерьмо, покрытое полиуретаном. Земляные сооружения, способные сойти за маленькие государства.

4. Все это заставляет тебя по-другому мыслить, разве не так?

Одногруппники смеются над его небольшими карандашными набросками и гиперреалистическими сверхнатуралистичными картинами. Но он продолжает их писать, год за годом. И скоро становится известен. Им даже восхищаются, пусть и язвительно.

Одной зимней ночью, на последнем курсе, в арендованном чулане в Роджерс-парке, Нику приснился сон. Студентка, которую он любит, спросила его: «Что ты действительно хочешь делать?» Он вскинул голые руки к небу, пожимая плечами. Крохотные фонтанчики крови собрались в середине ладоней. Из них выросли две ветвистых колючки. Ник затрепетал в панике и проснулся. Прошло полчаса, прежде чем сердце забилось нормально, а он сам понял, откуда взялись эти шипы: из фотографий каштана, ко-

торый посадил его норвежский странствующий прапрапрапрадед сто двадцать лет назад, когда сам записался на заочку в школу примитивного искусства, на равнины западной Айовы.

Ник сидит у стола, снова пролистывает книгу. В прошлом году он получил Приз Штерна по скульптуре от Школы института искусств. В этом он работает на складе знаменитого чикагского универмага, который уже четверть века медленно отходит в мир иной. Безусловно, Ник получил степень, которая дает ему право делать необычные артефакты, способные смутить друзей и разозлить незнакомцев. В Оук-парке у него есть целая камера хранения, забитая костюмами из папье-маше для уличных маскарадов и сюрреалистическими декорациями постановки, которая шла в маленьком театре в Андерсонвилле, но продержалась всего три дня. В двадцать пять лет потомок фермерской династии хочет верить, что лучшая работа все еще ждет его впереди.

Завтра Сочельник. Хёлы начнут приезжать именно тогда, но бабушка уже на седьмом небе от счастья. Она теперь живет только ради дней, когда старый, продуваемый насквозь дом заполняется потомками. Фермы больше нет, есть только дом на острове посреди полей. Вся земля в

долгосрочной аренде, ею владеют компании, чьи офисы находятся в сотнях миль отсюда. Почва Айовы доведена до рационализованного финала. Но скоро праздник, и снова начнутся чудесные рождения, появятся спасители в яслях, как всегда было на Рождества Хёлов вот уже сто двадцать лет.

Ник направляется вниз. Середина утра, бабушка, отец и мать сгрудились вокруг кухонного стола, где делаются булочки с пеканом, а костяшки домино уже так стерлись, что больше напоминают жевательные резинки. Снаружи ужасный холод. Борясь с полярными северными ветрами, проникающими сквозь стены из кедровых досок, Эрик Хёл выкрутил на полную старый пропановый обогреватель. В камине бушует огонь, еды столько, что можно накормить человек пятьсот, а новый телевизор размером со штат Вайоминг показывает футбольный матч, на который всем наплевать.

Николас спрашивает:

— Так кто за Омаху?

В музее Джослин, буквально в часе езды, идет выставка пейзажей Гудзонской школы. Когда он прошлой ночью закинул идею, родители, кажется, заинтересовались. Но теперь лишь смотрят

в сторону.

Мать улыбается, смутившись:

— Я кажется слегка приболела, дорогой.

Отец добавляет:

— Нам всем довольно уютно, Ник.

Бабушка кивает, сонно соглашаясь.

— Ну и ладно, — говорит Ник. — Черт с вами! Вернусь к ужину.

Снег задувает на шоссе, еще больше падает с неба. Но Ник здесь родился, а его отец не был бы собой, не поставив новую зимнюю резину. Выставка прекрасная. От одного только Шилера[5] у Ника случается приступ творческой ревности. Он остается до самого закрытия. Когда его наконец выдворяют на улицу, там уже темно, а снежные вихри завиваются над ботинками.

Он выбирается на шоссе и потихоньку двигается на восток. Дорога совершенно белая. Все водители, достаточно глупые, чтобы сегодня отправиться в путь, цепляются друг за друга, едут по молочной пустыне, ориентируясь по фарам тех, кто впереди. Колея, которую вспахивает Ник, имеет лишь абстрактное отношение к дороге.

---

[5] Примечания: 5

Чарльз Шалер (1883–1965) — американский художник-реалист, крупнейший представитель прецизионизма и американской художественной фотографии.

Шумовую полосу на шоссе настолько заглушает снег, что Ник ее почти не слышит.

Под виадуком он попадает на гладкий как стекло лед. Машину заносит вбок. Он не противится этому свободному скольжению, уговаривает автомобиль, как воздушного змея, пока тот не выпрямляется. Ник то включает, то вырубает дальний свет, пытаясь решить, что меньше слепит в снежном занавесе. За час проезжает миль двадцать.

Сцена разворачивается в снежно-черном туннеле, как отрывок из документалки про полицейских, снятый ночной камерой. Огромная фура складывается вдвое и разворачивается, как раненое животное, выскакивая на полосу Ника в ста ярдах впереди. Он крутит руль, скользит на обочину. Зад машины отскакивает от отбойника. Передний бампер целуется с шиной грузовика. Ник останавливается, его начинает трясти так сильно, что рулить он больше не может. Сворачивает на стоянку, забитую потерявшимися в метели водителями.

Перед туалетами стоит платный телефон. Ник набирает домашний номер, но звонок не проходит. Ночь перед Сочельником, линии загружены по всему штату. Он уверен, что родители жутко

беспокоятся. Но ему остается только свернуться на сиденье машины и поспать хотя бы пару часиков, пока все не утихнет, а снегоочистители не разберутся с припадком божьей ярости.

Незадолго до рассвета Ник снова выбирается на дорогу. Снега почти нет, машины тащатся в обоих направлениях. Он еле ползет домой. Самый трудный отрезок пути — это небольшой подъем на съезде с шоссе. Ник идет юзом на уклоне и сворачивает на дорогу к ферме. Все занесено, кругом сугробы. Каштан Хёлов появляется первым, он весь белый, единственный шпиль до самого горизонта. Два верхних окна в доме светятся. Ник представить себе не может, чтобы кто-то встал так рано. А значит, родители не ложились всю ночь, ждали вестей от него.

Дорога к дому завалена снегом. Старый снегоочиститель деда до сих пор в сарае. Отец должен был прогнать его уже минимум пару раз. Ник сражается с заносами, но их слишком много. Он оставляет машину на подъездной дорожке и последний отрезок пути проходит пешком. Распахнув переднюю дверь, врывается внутрь с песней:

— О, погода снаружи ужасна!

Но внизу никто не смеется.

Позже он спросит себя, не понял ли все тогда, еще у двери. Но нет: он дошел до лестницы, у подножия которой лежал отец, головой вниз, руки согнуты под невозможными углами, вознося хвалу полу. Ник кричит, падает на колени, но тут уже ничем не помочь. Он встает, взлетает на второй этаж, перескакивая через две ступеньки. Но уже все ясно, как Рождество, все понятно. Наверху две женщины лежат в своих кроватях, и разбудить их нельзя — поздний утренний сон в Сочельник.

Муть поднимается по ногам и телу Николаса. Он тонет в смоле. Бежит вниз, где старый пропановый обогреватель все еще выкручен на полную, качает газ, тот поднимается и, невидимый, собирается под потолком, который отец недавно обил дополнительным утеплителем. Ник, качаясь, вываливается в дверь, спотыкается на крыльце и падает в снег. Перекатывается на морозной белизне, задыхаясь и оживая. Смотрит вверх, и перед ним раскидываются ветви страж-древа, одинокие, огромные, фрактальные и голые под порывами ветра, каштан поднимает нижние конечности и покачивает массивным шаром. Все его расточительные сучки щелкают на ветру, словно этот момент, такой незначительный, такой мимолетный, тоже будет вписан в его

кольца, и ветви будут на него молиться, теперь же они машут, словно флажками, на фоне синего, невероятно синего зимнего неба.

МИМИ МА

В ТОТ ДЕНЬ 1948 ГОДА, когда Ма Сысюнь получает свой билет третьего класса на корабль до Сан-Франциско, отец начинает разговаривать с ним по-английски. Принудительная практика, на благо сына. Властная британская колониальная речь отца ходит кругами рядом с функциональной адекватностью инженера-электрика, свойственной Сысюню.

— Мой сын. Послушай меня. Мы обречены.

Они сидят на верхнем этаже, в офисе шанхайского комплекса, здесь на одной половине торговый дом компании, а на второй живет семья Ма. Деловая суета Нанкинской дороги доносится до самого окна, обреченности не видать и в помине. Но, с другой стороны, Ма Сысюнь не интересуется политикой, а зрение у него, как у человека, который решал слишком много математических задач при свете свечи. Его отец — знаток искусства, мастер-каллиграф, патриарх с одной главной и двумя младшими женами — не может не говорить метафорами. Те всегда озадачивают Сысюня.

— Эта семья так далеко зашла. От Персии к

китайским Афинам, так ты мог бы сказать.

Сысюнь кивает, хотя он бы никогда не сказал ничего подобного.

— Мы, мусульмане хуэй, взяли все, что эта страна в нас бросила, и перепаковали для перепродажи. Это здание, наше поместье в Гуаньчжоу… Только подумай о том, что мы пережили. Стойкость Ма!

Ма Шоуин смотрит в августовское небо, мысленно перебирая все невзгоды, которые перенесла Торговая компания Ма. Колониальная эксплуатация. Восстание тайпинов. Уничтожение семейных плантаций шелка тайфуном. Революция 1911-го и резня 27-го. Он смотрит в темный угол комнаты. Призраки повсюду, жертвы насилия, о котором даже философ-магнат, нанявший вместо себя паломника в Мекку, не осмеливается говорить вслух. Он протягивает ладонь над столом, заваленным бумагами:

— Даже японцы не смогли нас сломить.

ОТ ИСТОРИИ У СЫСЮНЯ СЫПЬ и учащается пульс. Через четыре дня он отправится в Штаты, один из немногих китайских студентов, кому в 1948 году дали визы. Неделями он изучал карты, штудировал уведомления о зачислении, раз за разом повторял малопонятные название: корабль

ВМС США «Генерал Мейгс», автобус «Грейхаунд», Институт технологии Карнеги. Полтора года ходил на утренние киносеансы с Гейблом Кларком и Астером Фредом, практикуясь в новом языке.

Он с трудом продирается через английский из одной только гордости:

— Если хочешь, я остаюсь здесь.

— Ты думаешь, я хочу, чтобы ты остался? Да ты совсем не понял, о чем я говорю.

Взгляд его отца похож на стихотворение:

Почему застыл ты
На перекрестке дорог
И трешь глаза?
Ты не понял меня,
Да, мальчик мой?

Шоуин вскакивает с кресла и подходит к окну. Он смотрит на Нанкинскую дорогу, место, которое как обычно так и жаждет нажиться на безумии, что зовется будущим.

— Ты — спасение этой семьи. Коммунисты будут тут через шесть месяцев. И тогда все мы… Сын, взгляни фактам в лицо. Ты не создан для бизнеса. Ты должен вечно ходить в инженерную школу. Но твои братья и сестры? Кузены, тетки, дядья? Все они — торговцы хуэй с кучей денег. Мы не

продержимся и трех недель, когда придет конец.

— Но американцы. Они обещать.

Ма Шоуин снова подходит к столу и берет мальчика за подбородок.

— Сын мой. Мой наивный сынок с домашними сверчками, почтовыми голубями и коротковолновым радио. Золотая гора сожрет тебя заживо.

Он отпускает лицо Сысюня и ведет его через зал к клетке бухгалтера, где открывает решетку, откатывает в сторону картотечный шкаф, за которым обнаруживается стенной сейф, о нем Сысюнь даже не подозревал. Шоуин вынимает три деревянные плоские коробочки, завернутые в атласную ткань. Даже Сысюнь может сказать, что в них: поколения доходов семьи Ма, от Шелкового пути до Бунда, переплавленных в наличную форму.

Ма Шоуин роется в пригоршнях блестяшек, секунду осматривая каждую, а потом бросая обратно на поднос. Наконец находит то, что нужно: три кольца, похожих на крохотные птичьи яйца. Три нефритовых пейзажа, которые он поднимают к свету.

Сысюнь охает.

— Посмотри на цвет!

Цвет жадности, зависти, свежести, роста,

невинности. Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый и зеленый. Из мешочка на шее Шоуин достает ювелирную лупу. Подносит нефритовые кольца к свету и вглядывается в них, как оказывается потом, в последний раз. Он передает первое кольцо Сысюню, который таращится на драгоценность, как на камень с Марса. Это извилистая масса нефритового ствола и ветвей в несколько слоев глубиной.

— Ты живешь между трех деревьев. Одно из них позади тебя. Лотосовое древо, сидрат аль-мунтаха, — древо жизни для твоих персидских предков. Древо на границе седьмого неба, которую никто не может пересечь. Но инженерам нет толку от прошлого, разве не так?

От таких слов Сысюнь в замешательстве. Он не может понять отцовского сарказма. Пытается передать ему первое кольцо, но тот уже занят вторым.

— Еще одно древо стоит перед тобой — Фусан. Волшебное шелковичное древо, растущее далеко на востоке, где находится эликсир жизни. — Он накрывает лупу ладонью и смотрит вверх. — Теперь ты отправляешься к Фусану.

Он передает сыну нефрит. На нем невероятно много деталей. Птица летит над верхушками

листьев. С изогнутых ветвей свисают коконы шелковичных червей. Резчик скорее всего использовал микроскопическую иглу с алмазным наконечником.

Шоуин прижимает увеличенный глаз ближе к последнему кольцу.

— Третье древо вокруг тебя: Настоящее. И как само Настоящее, оно последует за тобой, куда бы ты ни отправился.

Отец передает сыну последнее кольцо, а тот спрашивает: — Какое древо?

Отец открывает следующую коробку Черные лакированные пластины поворачиваются на двух петлях, внутри оказывается свиток. Шоуин развязывает ленту на нем, ее уже давно никто не трогал. Свиток разворачивается, на нем серия портретов, морщинистые мужчины, чья кожа свисает сильнее, чем складки на одежде. Один опирается на посох в лесной росчисти. Второй смотрит сквозь узкое окно в стене. Третий сидит под изогнутой сосной. Отец Сысюня стучит пальцем по ней:

— Вот такое.

— Кто эти люди есть? Что они делать?

Шоуин всматривается в текст, такой старый, что Сысюнь не может его прочитать.

— Луохань. Архаты. Адепты, которые прошли четыре ступени просветления и теперь живут в чистой, знающей радости.

Сысюнь не осмеливается дотронуться до сияющей вещи. Его семья богата, конечно, — настолько богата, что многие из них уже ничего не делают. Но богаты настолько, чтобы владеть этим? Его злит то, что отец держал такие сокровища втайне, но Сысюнь не из тех людей, кто умеет злиться.

— Почему я ничего об этом не знаю?

— Теперь знаешь.

— Что ты хочешь я делать?

— Фу-ты, твоя грамматика просто чудовищна. Полагаю, твои учителя по электрике и магнетизму были куда компетентнее, чем учителя по английскому.

— Насколько старое, это? Тысяча лет? Больше?

Ладонь, согнутая в форме чашечки, успокаивает молодого человека.

— Сын: послушай. Семейное состояние можно беречь так или иначе. Это был мой способ. Я думал, мы будем собирать подобные вещи и хранить их. Когда мир вновь обретет разум, мы найдем им дом — музей, где любой посетитель сможет связать наше имя с… — Он кивает на

архатов, играющих на пороге нирваны. — Делай с ними, что хочешь. Они твои. Может, ты даже узнаешь, чего они от тебя хотят. Главное, это не дать им попасть в руки коммунистов. Коммунисты подотрут ими задницу.

— Я взять это в Америку?

Отец скатывает свиток, с огромной предосторожностью оборачивает его ветхой лентой.

— Мусульманин из земли Конфуция отправляется в христианскую твердыню Питтсбурга с несколькими бесценными буддистскими картинами. Кого еще мы пропустили?

Он кладет свиток обратно в коробку и передает ту сыну. Взяв ее, Сысюнь роняет кольцо. Отец вздыхает и наклоняется, подбирая сокровище с пыльного пола. Потом забирает оставшиеся два кольца.

— Их мы сможем запечь в пирожные. А вот свиток… Тут придется подумать…

Они отправляют подносы с драгоценностями обратно в сейф, ставят на место картотечный шкаф. Потом запирают клетку бухгалтера, запечатывают офис и отправляются по лестнице вниз. Останавливаются на Нанкинской дороге, забитой деловыми людьми, несмотря на маячащий впереди конец света.

— Я привезу их обратно, — говорит Сысюнь, — когда моя школа кончится, а здесь все снова безопасно.

Отец смотрит на дорогу и качает головой. По-китайски, словно сам себе, он говорит:

— Нельзя вернуться к тому, что пропало.

С ДВУМЯ ПАРОХОДНЫМИ КОФРАМИ и хлипким чемоданом Ма Сысюнь садится на поезд из Шанхая в Гонконг. Там выясняет, что его сертификат здоровья, приобретенный в американском консульстве, расположенном в Шанхае, недостаточно хорош для корабельного медика, которому надо заплатить еще пятьдесят долларов, чтобы он снова осмотрел Сысюня.

«Генерала Мейгса» списали в резерв и перевели на Американские президентские авиалинии, теперь он — тихоокеанский пассажирский лайнер. Это маленький мир шириной в сто пятьдесят человек. Сысюнь получает койку на одной из азиатских палуб, в трех уровнях от дневного света. Европейцы наверху, на солнце, с их шезлонгами и официантами в ливреях, подающими холодные напитки. Сысюнь же принимает душ с десятком других людей, под ведрами воды, голый. Еда ужасная, ее трудно переварить — водянистые сосиски, мучнистая картошка, соленая толченая говяди-

на. Сысюню наплевать. Он плывет в Америку, в великий институт Карнеги, получить степень по электротехнике. Даже убогие азиатские каюты — роскошь, в них не падают бомбы, никого не насилуют и не пытают. Он сидит на своей койке часами, сосет сушеные манго и чувствует себя королем всего сущего.

Они швартуются в Маниле, потом в Гуаме, на Гавайях. Через двадцать один день добираются до Сан-Франциско, порт прибытия в счастливую землю Фусана. Сысюнь стоит в очереди на иммиграционный контроль с двумя кофрами и потертым чемоданом, на каждом по трафарету английскими буквами нанесено его имя. Теперь он Сысюнь Ма — старая личность вывернута наизнанку, как изящный двухсторонний пиджак. Цветные пятна покрывают чемодан — наклейки с корабля, розовый флажок Нанкинского университета, оранжевый — Института Карнеги. Сысюнь чувствует себя беззаботным, таким американским, его переполняет любовь ко всем народам, кроме японцев.

На таможне его досматривает женщина. Она изучает бумаги:

— Ма — это имя, данное при крещении, или фамилия?

Сысюнь путается, поэтому отвечает:

— Нет христианского имени. Только мусульманское, хуэй.

— Это какая-то секта?

Он много улыбается и кивает. Она щурится. Сысюнь на миг паникует, думает, что попался. Он солгал насчет даты своего рождения, поставил 7 ноября 1925 года. На самом-то деле он родился в седьмой день одиннадцатого месяца — по лунному календарю. Перевод совершенно сбил его с толку.

Таможенница спрашивает, на сколько он приехал, цель и место пребывания, хотя все в подробностях изложено в бумагах. Весь разговор, решает Сысюнь, это такая грубая проверка того, может ли он запомнить то, что написал. Она указывает пальцем на кофры:

— Можете это открыть? Нет — другой.

Проверяет содержимое коробки с едой: три китайских пирожных, а вокруг тысячелетние яйца. Она давится, как будто вскрыла чью-то могилу:

— Боже, закройте.

Чиновница перебирает его одежду, учебники, проверяет подошвы ботинок, которые он отремонтировал сам. Загорается при виде шкатулки для свитка, которую Сысюнь и его отец решили

спрятать у всех на виду.

— Что внутри.

— Сувенир. Китайская картина.

— Откройте, пожалуйста.

Сысюнь отрешается от реальности. Он думает про своих почтовых голубей, про постоянную Планка, о чем угодно, кроме этого подозрительного шедевра, за который в лучшем случае положена таможенная пошлина, намного превышающая его стипендию за следующие четыре года, а в худшем — арест за контрабанду.

Лицо таможенницы сморщивается при виде архатов.

— Кто они?

— Святые люди.

— А что с ними не так?

— Счастье. Они видят Истинную суть.

— И в чем она заключается?

Сысюнь ничего не знает о китайском буддизме. С английским у него плохо. Но сейчас он должен объяснить что-то про нирвану этой американской чиновнице.

— Истинная суть значит: люди, такие маленькие. А жизнь такая огромная.

Таможенница фыркает:

— И они это только осознали?

Сысюнь кивает.

— И потому счастливы? — Она качает головой и отпускает его. — Удачи в Питтсбурге.

СЫСЮНЬ СТАНОВИТСЯ УИНСТОНОМ МА: простое техническое исправление. В мифах люди превращаются во что угодно. В птиц, животных, деревья, цветы, реки. Так почему бы не в американца по имени Уинстон? А Фусан — волшебная восточная земля отца — со временем, после Питтсбурга, превращается в Уитон, штат Иллинойс. Уинстон Ма и его жена высаживают большую шелковицу на своем голом заднем дворе. Это дерево с двумя полами, оно древнее разделения на инь и ян, Древо Обновления, древо в центре Вселенной, пустое древо, хранящее священное Дао. На нем было построено богатство семьи Ма, оно высажено в честь отца, которому никогда не позволят его увидеть.

Уинстон стоит рядом со свежевырытой землей, черный круг почвы у его ног как обещание. Он не хочет вытирать грязные руки даже о рабочие брюки. Его жена Шарлотта, наследница южных плантаторов, пришедших в упадок, которые когда-то отправляли миссионеров в Китай, говорит:

— Есть китайская мудрость: «Когда лучше всего

посадить дерево? Двадцать лет назад».

Китайский инженер улыбается:

— Хорошая.

— А когда лучше всего посадить дерево в следующий раз? Сейчас.

— А! Прекрасно!

Улыбка становится искренней. До сегодняшнего дня он никогда ничего не сажал. Но Сейчас, это лучшее из будущих времен, длится долго и переписывает все.

ПРОХОДЯТ БЕСЧИСЛЕННЫЕ СЕЙЧАС. В одном из них три маленькие девочки едят кукурузные хлопья под ветвями своего дерева завтраков. Лето. Шелковица выпрастывает мясистые семенники. Мими, первый ребенок, девяти лет, сидит среди фруктовых брызг со своими маленькими сестрами, одежда запачкана красным, Мими оплакивает судьбу семьи.

— Во всем виноват Мао.

Утро, середина лета, 1967 год, как всегда в воскресенье из закрытой спальни родителей грохочет Верди.

— Эта свинья Мао. Мы бы были миллионерами, если бы не он.

Амелия, самая младшая, перестает перетирать хлопья в пасту:

— Кто такой Мао?

— Самый большой ворюга в мире. Он украл все, чем владел дедушка.

— Кто-то украл вещи дедушки?

— Не дедушки Тарлтона, А дедушки Ма.

— Кто такой дедушка Ма?

— Китайский дедушка, — отвечает Кармен, средняя дочь.

— Я его никогда не видела.

— Его вообще никто не видел. Даже мама.

— И папа никогда его не видел?

— Он в рабочем лагере. Куда они ссылают богатых людей.

Кармен говорит:

— Как так получается, что он даже не говорит по-китайски? Это подозрительно.

Одна из загадок, на которые так щедр их отец.

— Папа украл мои покерные фишки, когда я его обыгрывала, — Амелия наливает молоко из чашки, чтобы покормить дерево.

— Хватит разговаривать, — приказывает Мими. — Вытри подбородок. И не делай этого. Ты отравишь корни.

— А чем вообще занимается папа?

— Он — инженер. Это круто.

— Это я знаю. «Я управляю поездом. Ту-ту!» И он

хочет, чтобы я смеялась при этом, всякий раз.

Мими не выносит глупости:

— Ты знаешь, чем он занимается.

Отец изобретает телефон размером не больше кейса, который работает от автомобильной батареи и может путешествовать повсюду. Вся семья помогает его тестировать. Им нужно ходить в гараж, сидеть в «шеви» — в телефонной будке, как он это называет, — каждый раз, когда он звонит по междугороднему.

— А ты не думаешь, что лаборатории страшные? — спрашивает Кармен. — Как тебе надо там записываться, словно в большой тюрьме?

Мими сидит неподвижно, слушает. Из окна родителей наверху льется Верди. Им разрешают завтракать под деревом, но только по воскресеньям. Утром в воскресенье они могут хоть в Чикаго уйти, и никто не узнает.

Кармен следит за взглядом Мими:

— А что, по-твоему, они там делают все утро?

Мими вздрагивает:

— Слезь с моей волны! Я ненавижу, когда ты так делаешь.

— Как ты думаешь, они там касаются друг друга, голые?

— Не будь мерзкой, — Мими ставит на стол

чашку. Ей нужна ясность и место подумать, а значит, необходима высота. Она встает на нижнюю ветку, сердце стучит. «Моя шелковая ферма, — всегда говорит отец. — Только без шелкопрядов».

Кармен кричит:

— Не карабкаться. Никому нельзя на дерево, я говорю!

— Я тебя расплющу, как жука.

От этого Амелия смеется. Мими замирает на развилке. Вокруг свисают фрукты. Она съедает один. Он сладкий, как изюм, но ее от них уже тошнит, за свою короткую жизнь она их уже так много съела. Ветви разделяются. У листьев так много форм, и ее это тревожит. Сердечки, рукавички, безумные бойскаутские значки. Некоторые внизу шерстистые, что ее пугает. Зачем дереву волосы? Все листья имеют зарубки, с тремя главными жилками. Мими срывает один, зная, какой ужас за этим последует. Густая молочная кровь дерева сочится из раны. Именно ее, думает она, черви каким-то образом превращают в шелк.

Амелия начинает плакать.

— Не надо! Ты делаешь ему больно! Я слышу, как оно кричит!

Кармен смотрит на окно, до которого пытается добраться Мими.

— А он вообще христианин? Когда он ходит с нами в церковь, то никогда не говорит про Иисуса.

Их отец, как знает Мими, это что-то совершенно другое, отдельное. Он маленький, милый, улыбающийся, теплый. Китаец-мусульманин, который любит математику, американские машины, выборы и отдых в палатках. Чертежник, который собирает товары на продажу в подвале, каждую ночь работает допоздна и засыпает в кресле-кровати под десятичасовые новости. Все его любят, особенно дети. Но он никогда не говорит по-китайски, даже в Китайском квартале. Иногда рассказывает что-нибудь про жизнь до Америки, после мороженого с ириской или холодной ночью вокруг костра в национальном парке. Как он держал ручных сверчков и голубей в Шанхае. Как однажды побрил персик и насыпал пушок за блузку служанки, чтобы у той все зачесалось. «Не смейтесь, мне до сих пор стыдно, спустя целую тысячу лет».

Но Мими ничего не знала о нем до вчерашнего дня, этой ужасной субботы, когда она пришла с игровой площадки в слезах.

— Что случилось? Что ты сделала?

Она сразу пошла в атаку.

— Правда, что все китайцы — коммунисты,

которые едят крыс и любят Мао?

И тогда отец наконец-то с ней заговорил, поведал историю из другого мира. Мими многого не поняла. Но пока отец говорил, он превратился в героя из черно-белого триллера, что идут поздно ночью, с темными углами, зловещей музыкой и кучей персонажей. Он рассказал о Беспомощных ученых, измененных в Американцев благодаря Акту о вынужденных переселенцах. Он описал других китайцев, прибывших с ним, включая одного, который потом выиграл величайший приз в науке. Это поразило Мими: США и коммунисты боролись за мозг отца.

— Этот человек, Мао. Он должен мне много денег. Он мне отплатит, я повезу эту семью на изысканный ужин. Самая лучшая крыса в твоей жизни!

Она снова заплакала, пока он не заверил ее, что никогда даже не видел крысу вблизи, пока не приехал в городок Мюррей-Хилл, штат Массачусетс. Он успокаивал ее и ворковал.

— Китайцы едят много странного. Но крысы не слишком популярны.

Он отвел ее в свой кабинет. И там показал нечто такое, что она до сих пор не поняла, хотя прошел уже целый день. Отец открыл архивный шкаф

и вытащил оттуда деревянную коробку. Внутри лежали три зеленых кольца.

Мао, об этом он никогда не узнает. Три волшебный кольцо. Три дерево — прошлое, настоящее, будущее. К счастью, у меня три волшебный дочка. — Он постучал пальцем по виску. — Твой отец, всегда думает.

Он взял кольцо, которое назвал прошлым, и попытался надеть его на палец Мими. Извивающиеся зеленые листья заворожили ее. Резьба была глубокой — ветви под ветвями. Невозможно, чтобы кто-то мог выгравировать настолько маленькую вещицу.

— Это все нефрит.

Мими дернула рукой, и кольцо упало на пол. Отец встал на колено и убрал драгоценность в коробку.

— Слишком большое. Мы подождем позже.

Коробка отправилась обратно в шкаф, который он запер. Потом присел на корточки уже рядом со стенным шкафом и вытащил снизу лакированную шкатулку. Положил ее на чертежный стол, провел целый ритуал, открывая защелки и развязывая ленточки. Сдвинул створки, и тут перед Мими раскинулся Китай, та его половина, которая была не реальнее сказки. Китайские сло-

ва выстроились колоннами, каждое завивалось, подобно крохотному пламени. Каждый мазок кисти сиял так, как будто она сама его только что сделала. Казалось невозможным, чтобы кто-то так писал. Но отец мог, если бы захотел.

Под текущими словами виднелось несколько человек, каждый напоминал щекастый скелет. Их лица смеялись, но кожа обвисла. Казалось, им сотни лет. Их глаза улыбались лучшей шутке мироздания, тогда как плечи сгибались под весом чего-то, слишком тяжелого для ноши.

— Кто они?

Отец всмотрелся в фигуры:

— Эти люди? — Его губы сжались, как у улыбающихся рисунков. — Луохань. Архат. Маленький Будда. Они решают жизнь. Они пройти финальный экзамен. — Он взял Мими за подбородок и повернул лицом к себе. Когда улыбнулся, сверкнул тонкий золотой край переднего зуба. — Китайский Супергерой!

Мими высвободилась и начала изучать святых людей. Один сидел в маленькой пещере. У другого были красный пояс и сережки. Третий застыл на краю высокого утеса, а позади него убегали вдаль скалы и туман. Четвертый прислонился к дереву, так же как Мими на следующий день,

рассказывая о свитке сестрам.

Отец показал пальцем на пейзаж грез:

— Это Китай. Очень старый. — Когда Мими прикоснулась к человеку под деревом, отец поднял ее руку и поцеловал кончики пальцев. — Слишком старый для прикосновений.

Она уставилась на мужчину, который знал все:

— Супергерои?

— Они видят каждый ответ. Ничего не причинить им вред. Император приходить и уходить. Цинь. Мин. Юань. Коммунизм тоже. Маленькое насекомое на гигантской собаке. Но они? — Он прищелкнул языком и показал большой палец, как будто на маленьких Будд нужно было поставить деньги.

И от этого щелчка из девятилетнего тела вырвалась Мими-подросток, чтобы взглянуть на архатов с вышины, с расстояния во множество лет. Из подростка поднялась другая женщина, еще старше. Время больше не было для нее линией, уходящей вперед. Оно превратилось в колонну из концентрических кругов, сама Мими находилась посреди нее, а настоящее парило за внешней границей. Будущие «я» громоздились вверх, стояли позади маленькой Мими, постоянно возвращаясь в эту комнату, чтобы еще раз

взглянуть на людей, решивших загадку жизни.

— Смотри на цвет, — сказал Уинстон, и все поздние версии «я» рухнули вокруг Мими. — Китай — точно забавное место.

Он свернул свиток, положил его в лакированную шкатулку и поставил ту на пол стенного шкафа.

На шелковице Мими думает, что если сможет подняться еще на пару футов от земли, то ей удастся заглянуть в окно родителей и увидеть, что же там с ними делает Верди. Но внизу разгорается революция.

— Не карабкайся! — кричит Америя. — Слезай!

— Закрой свой рот, — предлагает ей Мими.

— Папа! Мими на шелковой ферме!

Мими спрыгивает на землю, в футе от того, чтобы растоптать сестру. Затыкает ей рот ладонью:

— Заткнись, и я тебе кое-что покажу.

У детства совершенный слух, а потому обе сестры сразу понимают: на это «кое-что» явно стоит взглянуть. Уже в следующий миг, под прикрытием изливающегося сверху Верди, они прокрадываются, словно спецназ, в кабинет отца. Архивный шкаф закрыт, но Мими открывает лакированную шкатулку. Свиток разворачивается на чертежном столе Уинстона, открывая изоб-

ражение человека, сидящего под сучковатым, терпеливым деревом.

— Не трогайте! Это наши предки. И они — боги.

КИТАЙСКИЙ ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕР, который приводит семью в гараж, чтобы та звонила родителям в Виргинию по автомобильному телефону больше рождественского полена, любит в своей жизни все, но особенно обожает национальные парки. Задолго до ежегодного июньского ритуала Уинстон Ма начинает к нему готовиться: помечает карты, подчеркивает абзацы в путеводителях, делает аккуратные записи в россыпи карманных записных книжек и мастерит странные мушки для ловли форели, похожие на китайских новогодних драконов. Уже в ноябре обеденный стол так забит приготовлениями, что семье приходится праздновать День Благодарения — моллюсками и рисом — на кухонном уголке. А потом приходит время отпуска, все пятеро набиваются в небесно-голубой «Шеви Бискейн» с багажником на крыше и задним сиденьем, широким, как материковый шельф, без кондиционера, но с кулером, полным сока со льдом, после чего семья наматывает тысячи миль в путешествиях по Йосемити, Зайону, Олимпику, частенько заби-

раясь еще дальше.

В тот год они возвращаются в любимый Йеллоустоун Уинстона. По пути Уинстон заносит в блокноты сведения о каждой площадке для кемпинга. Он записывает ее номер и оценивает по десятку самых разнообразных критериев. Эта информация понадобится ему зимой, когда он будет совершенствовать маршрут на следующий год. Он заставляет девочек играть на музыкальных инструментах, пока те сидят сзади. У Мими труба, у Кармен кларнет, так что им приходится легче, чем Амелии с ее скрипкой. Они забыли взять книги. Две тысячи миль, и ничего читать. «Шеви» едет по Небраске, а две старшие девочки неотрывно смотрят на младшую, пока та не срывается и не начинает плакать. Так они коротают время.

Шарлотта сдается, контролировать дочек не получается. Никто даже не подозревает, но она уже начинает соскальзывать в то уединенное место, которое с каждым годом будет только сильнее углубляться. Она сидит спереди, изучает дорожные карты для мужа и тихонько напевает себе под нос ноктюрны Шопена. В тихие дни автомобильной святости деменция уже делает первые шаги.

Они на три дня разбивают лагерь рядом со Слоу-

Крик. Младшие девочки часами играют в карты. Мими стоит с отцом в реке. Двойной расслабленный замах, леска в воздухе, четырехтактный нарастающим ритм, когда рука периодически замирает на десяти и двух, дрожь сухой мушки, когда та падает на воду, легкий страх из-за того, что на нее кто-то может реально клюнуть, испуг от рыбьего рта, когда тот разрывает поверхность, — все это очаровывает Мими и останется с ней навсегда.

Стоя по колено в холодном потоке, отец свободен. Он примечает отмели, измеряет скорость реки, читает дно, наблюдает за поклевкой — такие уравнения с множеством переменных должен одновременно решать любой, чтобы думать как рыба, — и все это, не осознавая ничего, кроме чистого счастья находиться в воде.

— Почему эти рыбы прятаться? — спрашивает он дочку. — Что они делать?

Вот таким Мими его и запомнит, по колено в собственных небесах. Рыбача, он решил уравнение жизни. Рыбача, он проходит последний экзамен, становится следующим архатом, присоединяется к тем, на таинственном свитке в стенном шкафу, который Мими втайне рассматривала годами. Сейчас она уже достаточно старая

и понимает, что люди на свитке — не ее предки. Но видя отца на реке, таким цельным и умиротворенным, она не может не думать: «Он — их потомок».

Шарлотта сидит на складном кресле, у воды. Единственная ее работа — распутывать лески двух рыбаков, развязывая запутанные микроскопические узлы, час за часом. Уинстон наблюдает за тем, как солнце садится за рекой, тростник из золотистого становится серовато-коричневым.

— Смотри на цвет!

А потом, несколько минут спустя, он шепчет сам себе, под сворачивающимся кобальтом небес: «Смотри на цвет!» В его спектре существуют цвета, которые больше не видит никто.

Они устраивают пикник на берегу маленького озера невдалеке от дороги на Тауэр-Джанкшн. Мими и Кармен ищут камни для ожерелья. Шарлотта и Амелия начинают уже семнадцатую подряд партию в китайские шашки. Уинстон сидит в складном кресле, делая пометки в блокнотах. Рядом со столом какое-то странное движение. Амелия кричит:

— Медведь!

Шарлотта вскакивает на ноги, доска для игры подлетает в воздух. Медведь неторопливо на-

правляется к охотникам за драгоценностями. Мими проверяет, не высокие ли у зверя плечи или скошенное лицо. Если это гризли, то надо делать одно, если барибал — то другое. Один лазает по деревьям, а второй — нет. Только она не помнит, какой.

— Забирайся наверх, — кричит она Кармен, и каждая карабкается по своей сосне.

Медведь, который может добраться до девочек двумя легкими скачками, теряет к ним всякий интерес. Он встает на берегу озера, явно размышляя, не искупаться ли ему сегодня. Смотрит на женщину по грудь в воде, которая держит свою дочь так, словно собирается ее крестить. Медведь ждет, что еще выкинет этот вечно сумасшедший вид. Направляется к Уинстону, а тот сидит неподвижно у складного стола, снимая животное на «Никон». Камера — единственная японская вещь, которую он позволил себе купить, — щелкает, потрескивает, жужжит.

Уинстон встает, когда медведь приближается. Потом начинает болтать со зверем. По-китайски. Рядом находится примитивный туалет с открытой дверью. Уинстон потихоньку двигается к ней, а сам не перестает говорить с медведем, умасливая его. Зверь сбит с толку и начинает вести

себя по-иному. В нем пробуждается печаль. Он садится и начинает трогать когтями воздух.

Уинстон продолжает говорить. Мими поражает чужой язык, исходящий из отцовского рта. Уинстон вытаскивает из кармана пригоршню фисташек и бросает их в туалет. Медведь топает за ними, благодарный за такое развлечение.

— Все в машину, — шепотом кричит Уинстон. — Быстро!

Семья подчиняется, а медведь даже не поднимает голову. Уинстон останавливается, чтобы забрать столик и кресла. Он немало заплатил за них и не собирается просто так бросать.

Этой ночью, на ночевке около Норриса, Мими спрашивает его, пораженная. Отец совершенно изменился в ее глазах.

— Неужели ты не боялся?

Он смеется, смущенный:

— Еще не мое время. Не моя история.

От таких слов ей становится холодно. Как он может знать свою историю наперед? Но она не спрашивает об этом. Вместо этого говорит:

— Что ты ему рассказал?

Он хмурит лоб. Пожимает плечами. Что вообще говорить медведю?

— Извиниться! Я сказал ему, люди очень глу-

пые. Они забывают все — откуда пришли, куда идут. Я говорю: не беспокойся. Человеческие существа покинут этот мир, очень скоро. Тогда медведь снова займет верхнее место у кормушки.

В ХОЛИОКЕ Мими целых три семестра читает американскую поэзию XIX века и пьет чай за обедом в Южном Хэдли. Так лучше, чем в Уитоне. Но одним апрельским днем на втором курсе она листает «Флатландию» Эбботта, так как пишет работу под названием «Трансцендентальность», и добирается до сцены, где рассказчик, Квадрат, выходит за пределы своей реальности на просторы Пространства. И тут истина озаряет Мими, словно откровение: в этом мире стоит верить только в числа. Она должна стать инженером, как ее отец. Это даже не выбор. Она уже инженер и всегда им была. И прямо как с Квадратом Эбботта, как только она возвращается во Флатландию, друзья из Холиока пытаются ее остановить.

Она переводится в Беркли. Лучшее место для изучения керамического производства, которое может найти Мими. Это место похоже на поражающее воображение искривление времени. Будущие повелители Вселенной учатся бок о бок с нераскаявшимися революционерами, которые

верят, что пик Золотого Века Человеческого Потенциала миновал десять лет назад.

Переродившаяся Мими преуспевает, походит на крошечную казашку с программируемым калькулятором, и, по мнению многих, она — самое милое создание, когда-либо говорившее об уравнении Холла-Петча. Мими смакует странную атмосферу «Степфордских жен». Она сидит в эвкалиптовой роще, в тени деревьев, которые словно взрываются зеленью в сухом зное, решает уравнения и наблюдает за протестующими с их плакатами, покрытыми заглавными буквами. Чем лучше погода, тем озлобленнее становятся требования.

За месяц до выпуска Мими примеряет убийственный костюм для интервью — элегантный, серый, профессиональный, неотвратимый, как землетрясение в Северной Калифорнии. Она проходит собеседования с представителями восьми компаний и получает три предложения. Выбирает должность контролера литья в портлендской фирме, так как в ней обещают командировки и путешествия. Ее отправляют в Корею. Она сразу влюбляется в эту страну. Через четыре месяца знает корейский лучше китайского.

Сестры тоже разбрелись по карте. Кармен изу-

чает экономику в Йеле. Амелия получает работу в колорадском исследовательском центре, где ухаживает за больной дикой природой. А в Уитоне на шелковицу Ма нападают со всех сторон. Войлочники покрывают ее пушистыми завитками. Щитовки целыми стаями селятся на ветках, неуязвимые для пестицидов отца. Бактерии чернят листья. Родители беспомощны, дерево им не спасти. Шарлотта в своем сгущающемся тумане бормочет, что надо бы позвать священника, чтобы тот прочитал отходную молитву. Уинстон тщательно штудирует учебники по садоводству и заполняет блокноты безупречно записанными пометками. Но с каждым годом дерево все ближе к капитуляции.

Уинстон говорит с Мими, когда та возвращается в Портленд из очередной поездки в Корею. Он звонит ей из семейной телефонной будки, из гаража Ма. Его изобретение съежилось до размера туристического ботинка, и оно оказалось столь надежным и энергосберегающим, что «Белл Лэбс» уже лицензирует его для других предприятий. Но Уинстон не собирается радоваться и рассказывать дочери, что проект его жизни принес плоды. Он может говорить только о больной шелковице.

— Это дерево. Что он делать?

— Что с ним, папа?

— Плохой цвет. Все его листья, падают.

— Ты проверял почву?

— Моя шелковая ферма. Кончена. Больше не будет ни одной нити.

— Может, ты должен посадить другую.

— Лучшее время посадить дерево? Двадцать лет назад.

— Да. Но ты всегда говорил, что следующее лучшее время — это сейчас.

— Неправильно. Следующее лучшее время — девятнадцать лет назад.

Мими никогда не слышала, чтобы этот радостный, бесконечно изобретательный человек казался таким потерянным.

— Поезжай отдохнуть, пап. Отвези маму в кемпинг.

Но они только что проехали десять тысяч миль до лососевых потоков Аляски, и блокноты заполнены тщательными заметками, понадобятся годы, чтобы их разобрать.

— Позови маму.

Раздается звук — открывается и закрывается дверь машины, хлопает дверь гаража. Через какое-то время раздается голос:

— Salve filia mea.[6]

— Мам? Какого черта?

— Ego Latinam discunt.[7]

— Мама, а ну прекрати!

— Vita est supplicium.[8]

— Дай трубку отцу. Пап! С вами там все в порядке?

— Мими. Мое время приходит.

— Это что еще значит?

— Моя работа завершена. Моя шелковая ферма, кончена. Рыбалка все меньше, с каждым годом. Что мне делать сейчас?

— Да о чем ты говоришь вообще? Делай то, что обычно делаешь.

Составлять карты и графики лагерных стоянок на следующий год. Забивать подвал упаковками мыла, хлопьев и других товаров, попавшихся на распродаже. Засыпать каждую ночь под десятичасовые новости. Свобода.

— Да, — говорит он. Но она знает голос, который сформировал ее. Как бы отец сейчас ни

---

[6] Примечания: 6
Здравствуй, дочь моя *(лат.).*

[7] Примечания: 7
Я изучаю латынь *(лат.).*

[8] Примечания: 8
Жизнь — это наказание *(лат.).*

притворился своим «да», он лжет. Мими делает мысленную пометку позвонить сестрам и обсудить кризис в Уитоне. Родители совсем забарахлили. Что делать? Но межгород до Восточного побережья стоит два доллара в минуту, если у тебя нет волшебного телефона размером с ботинок. Она решает написать им на выходных. Но в субботу начинается конференция по спеканию керамики в Роттердаме, и мысль о письмах окончательно выскальзывает у Мими из головы.

ОСЕНЬЮ, пока жена в подвале учит латынь, Уинстон Ма, некогда Ма Сысюнь для каждого, кто его знал, садится под умирающей шелковицей, под аккомпанемент «Макбета» Верди, ревущего из окна спальни, приставляет к виску «Смит-энд-Вессон 686» с рукояткой из твердой древесины и разбрасывает механизм своей бесконечной сущности по плиткам заднего дворика. Он не оставляет записки, только каллиграфическую копию стихотворения Ван Вэя, которому уже тысяча двести лет, пергамент лежит, развернутый, на столе в кабинете.

Только покой
Ценю на закате дней.
Тысячи дел

Уже не владеют мной.
В сердце давно
Обширных замыслов нет.
Знаю одно:
Вернуться к роще родной.
Ветер сосны качнет —
Распоящусь тогда,
Буду на цине бряцать
Под горной луной.
Спросите: в чем наша радость,
Наша беда?
Песней ответит рыбак
На излуке речной.[9]

Мими в аэропорте Сан-Франциско на пути в Сиэтл, где ей надо проинспектировать объект. Она глазеет на витрины в главном зале, когда из какофонии вызовов к гейтам и объявлений вырывается ее имя. Что-то холодное охватывает голову. Еще до того, как люди у стойки передают ей телефон, она все понимает. И весь путь до Иллинойса думает: «Как я узнала заранее? Почему все это кажется мне воспоминанием?»

---

[9] Примечания: 9
Ван Вэй «Отвечаю чиновнику Чжану» (пер. А. А. Штейнберг).

МАТЬ СОВЕРШЕННО БЕСПОМОЩНА.

— Отец не хотел нам навредить. У него вечно всякие идеи. Я не все из них понимаю. Уж такой он есть.

Шарлотта живет в мире, где выстрел, который она слышала, сидя в подвале, — лишь одна из нескольких вероятностей, на которые способно ветвящееся время. Она выглядит такой спокойной, такой умиротворенной в своей растерянности, она настолько глубоко погрузилась в воды текущей реки, что Мими и сама чувствует ее небывалую безмятежность. Работу, оставленную отцом, предстоит закончить дочери. Никто не притронулся к месту самоубийства, убрали только тело и пистолет. Кусочки мозга усеивают камни и ствол дерева, словно новый вид садового слизня. Мими превращается в чистящую машину. Ведро, губка, мыльная вода для забрызганного двора. Она не успела предупредить сестер или остановить то, о чем подозревала. Но теперь может сделать хотя бы это — навеки отмыть кровавую баню позади дома. Убираясь, она становится чем-то иным. Ветер треплет ее волосы. Мими смотрит на обагренные плиты, на мягкие кусочки, в которых когда-то таились мысли отца. Она видит его самого рядом с собой, удивленного

пятнышками собственного мозга в траве. «Взгляни на цвет!» Спрашиваете, в чем наша радость, наша беда? Вот в чем.

Мими сидит под больной шелковицей. Ветер шлепает иззубренными листьями. Морщины испещряют кору, как складки на лицах архатов. Глаза щиплет от животного замешательства. Даже сейчас каждый квадратный фут земли испачкан ягодами, ягодами, запятнанными, как говорят мифы, кровью самоубийства из-за любви.[10] Слова вырываются из Мими, смятые, дребезжащие:

— Папа. Папочка! Что ты делаешь?

А потом — безмолвные рыдания.

ПРИЕЗЖАЮТ КАРМЕН И АМЕЛИЯ. Объединившись, вся троица в последний раз сидит вместе. У них нет объяснений. И никогда не будет. Самый неподходящий для такого путешествия человек

---

[10] Примечания: 10

Имеется в виду миф о Пираме и Фисбе, двух влюбленных из Вавилона. Им не давали встречаться собственные родители, и поэтому они могли переговариваться только через трещину в стене. Однажды они договорились встретиться ночью, под шелковицей. Фисба пришла первой, но увидела недавно охотившуюся львицу. Испугавшись, Фисба убежала, потеряв свой платок, который львица заметила и растерзала. Пирам же, увидев львицу и окровавленную ткань, решил, что Фисба погибла, и от горя заколол себя мечом. Когда возлюбленная нашла его тело, то схватила меч и направила себе в сердце. Кровь влюбленных попала на ягоды шелковицы, и с тех пор они приобрели свой темно-багровый цвет.

отправился в невозможный тур без них. В место объяснений и воспоминаний. Сестры обнимают друг друга за плечи и рассказывают истории о том, как все было. Оперы по воскресеньям. Эпические путешествия на машине. Походы в лабораторию, где невысокий человечек плыл по коридорам, а его превозносили гигантские белые коллеги, счастливого создателя сотового будущего. Они вспоминают тот день, когда все семейство спасалось от медведя. Как мать, стоя в воде, держала Амелию над головой. Как отец говорил со зверем по-китайски — два создания, даже не одного подкласса, делящие одни леса.

Они провели немую литургию памяти и потрясения. Но все это происходило в доме. Сестры Мими не подходят к дворику. Они даже смотреть не могут на старое дерево завтраков, на шелковую ферму их отца. Мими рассказывает о том, что знает. О звонке. «Мое время приходит».

Амелия обнимает ее:

— Это не твоя вина. Ты не могла знать.

Кармен говорит:

— Он сказал тебе об этом, а ты не позвонила нам?

Шарлотта сидит рядом и еле заметно улыбается. Как будто семья снова куда-то поехала, а она

на берегу озера, распутывает крохотные узелки на леске мужа.

— Он ненавидит, когда вы ссоритесь.

— Мам, — Мими кричит на нее, — мам. Хватит. Прочисти голову. Его больше нет.

— Нет? — Шарлотта хмурится из-за глупости дочери. — О чем ты говоришь? Я еще увижу его.

ТРИ ДЕВУШКИ атакуют гору бумажек и отчетов. Мими никогда раньше не приходило в голову: закон не останавливается со смертью. Он идет куда дальше могилы, на годы вперед, запутывая выживших в бюрократических силках, по сравнению с которыми проблемы предсмертия кажутся легкой прогулкой. Мими говорит остальным:

— Нам нужно поделить между собой его вещи.

— Поделить? — спрашивает Кармен. — В смысле? Взять?

Амелия встревает:

— А мы не должны сказать маме?..

— Ты же сама ее видела. Она уже не здесь.

Кармен становится на дыбы:

— Ты можешь хоть на секунду перестать решать задачи? Зачем такая спешка?

— Я хочу, чтобы все было сделано. Ради мамы.

— Выбросив его вещи?

— Распределив. Каждую — правильному че-

ловеку.

— Прямо как решить большое квадратное уравнение.

— Кармен. Нам нужно об этом позаботиться.

— Почему? Ты хочешь продать дом и лишить маму крыши над головой?

— А она что, сможет сама позаботиться о себе, в таком состоянии?

Амелия кладет им руки на плечи.

— А может, все это может пока подождать? У нас есть время просто побыть втроем.

— Мы сейчас все здесь, — отвечает Мими. — И такого может еще долго не случиться. Давайте все сделаем сразу.

Кармен сбрасывает руку сестры:

— Значит, на Рождество ты домой не приедешь?

Но голос у нее такой, что больше походит на подписанное признание. «Дом» ушел туда, куда отправился отец.

ШАРЛОТТА ЦЕПЛЯЕТСЯ за несколько вещей.

— Это его любимый свитер. Только не забирайте болотные сапоги. А это штаны, которые он всегда надевает в походы.

— С ней все хорошо, — говорит Кармен, когда они втроем остаются одни. — Она справляется.

Только немного странная.

— Я могу приехать через пару недель, — предлагает Амелия. — Проверить, все ли с ней в порядке.

Кармен смотрит на Мими, уже готовая прийти в ярость:

— Даже не мечтай о том, чтобы отправить ее в дом престарелых.

— Я ни о чем не мечтаю. Я просто хочу обо всем позаботиться.

— Позаботиться? Тогда вот. Ты у нас страдаешь маниями. Изучай хоть до потери пульса. Одиннадцать блокнотов с отчетами по каждому кемпингу, где мы когда-либо останавливались. Все твои.

ТРИ ОПЕРНЫХ ГЕРОИНИ замерли над серебряным блюдом. На нем лежат три нефритовых кольца. На каждом выгравировано дерево, а каждое дерево разветвляется в одну из трех масок времени. Первое — лотосовое древо на границе прошлого, которую никто не может перейти. Второе — тонкая прямая сосна настоящего. Третье — Фу-сан, будущее, волшебная шелковица далеко на востоке, где спрятан эликсир жизни.

Амелия не сводит с них глаз:

— И кто какое должен получить?

— Есть только один правильный способ это сделать, — говорит Мими. — И с десяток неправильных.

Кармен вздыхает:

— И какой же?

— Заткнись. Закройте глаза. И по счету три возьмите одно.

По счету три их руки соприкасаются, и каждая сестра обретает свою судьбу. Когда они открывают глаза, блюдо пусто. У Амелии — вечное настоящее, у Кармен — обреченное прошлое. А Мими держит тонкий ствол грядущего. Она надевает его на палец. Кольцо большевато — подарок с родины, которую она никогда не увидит. Мими крутит бесконечную петлю наследия на пальце, как заклинание.

— А теперь Будды!

Сестры не понимают ее. С другой стороны, Амелия и Кармен не думали о свитке последние семнадцать лет.

— Луохань, — говорит Мими, ее произношение ужасно. — Архаты.

Она раскатывает свиток на столе, где отец обычно связывал мушки. Реликвия древнее и еще более странная, чем им помнилось. Словно тот, кто поработал над ее цветами и чернилами,

пришел из места за пределами нашего мира.

— Мы можем выставить его на аукцион. Поделить деньги.

— Мими, — говорит Амелия, — разве он не оставил нам достаточно денег?

— Или Мими может забрать его себе. Хоть просветлится.

— Мы можем отдать его в музей. В память о Сысюнь Ма, — имя в устах Мими звучит безнадежно по-американски.

Амелия соглашается:

— Это было бы прекрасно.

— И нам списали бы налоги до конца жизни.

— Ну, это для тех, кто хорошо зарабатывает, — ухмыляется Кармен.

Амелия сворачивает свиток своими маленькими руками: — И как нам это сделать?

— Не знаю. Сначала надо дать ему квалифицированную оценку.

— Тогда ты этим и займешься, Мими, — говорит Кармен. — У тебя хорошо получается решать проблемы.

* * *

ПОЛИЦИЯ отдает им пистолет. Технически — они его владельцы как наследники. Но на

разрешении их имен нет. Никто не знает, что с ним делать. Оружие лежит в буфете, огромное, гудящее сквозь деревянный ящик. Его надо уничтожить, словно кольцо, которое нужно бросить в кратер вулкана. Но как?

Мими собирается с силами и берет ящик. Прижимает его пружиной к багажнику своего школьного велосипеда, который родители годами хранили в подвале. Потом, крутя педали, отправляется в сторону Пенсильвании, к оружейному магазину в Глен Эллин, откуда пистолет родом. Ящик безбожно тяжелый, Мими хочет, чтобы он исчез. Мимо проезжают машины с явно раздраженными водителями. Район слишком богатый для взрослых на велосипедах. Ящик походит на крошечный гробик.

А затем появляется полицейская машина. Мими старается вести себя нормально, семья Ма вообще всегда притворялась нормальными. Патрульный автомобиль ползет за ней, мигалки не видны в полуденном свете. На четверть секунды раздается сирена икотой абсолютной власти. Мими, покачиваясь, останавливается и чуть не падает набок. Тюремное заключение за перевоз пистолета, на который нет лицензии. Пистолета, лишь недавно отмытого от человеческой ткани.

Сердце у Мими бьется так сильно, что, кажется, она чувствует на языке кровь. Полицейский выходит из машины и идет к ней, а она съеживается, не вставая с велосипеда.

— Вы не подали сигнал.

Ее голова дрожит на своем стебле. Мими только и чувствует, как та подпрыгивает.

— Всегда используйте ручные сигналы. Это закон.

А ПОТОМ МИМИ УЖЕ В О'ХАРЕ, ждет рейса до Портленда. Снова и снова слышит, как из громкоговорителя доносится ее имя. Каждый раз она дергается, и каждый раз слоги перестраиваются в какое-то другое слово. Рейс задерживают. Задерживают снова. Мими сидит, вертит нефритовое дерево на пальце десятки тысяч раз. Ничто в мире не имеет значения, кроме этого кольца и бесценного древнего свитка в рюкзаке. Она хочет только покоя. Но придется жить здесь: в тени согбенной шелковицы. Непонятного стихотворения. Рыбачьей песни.

АДАМ ЭППИЧ

В 1968 ГОДУ ПЯТИЛЕТКА рисует картинку. Что на ней? Сначала мама, дарительница бумаги и красок, говорящая: «Сделай мне что-нибудь красивое». Потом дом с дверью, парящей в воздухе, и трубой, откуда вырывается спиральный дым. Потом четыре ребенка Эппичей, как мерные стаканы, от самого высокого к самому маленькому, Адаму. Сбоку, так как Адам не может сообразить, как поставить их задом, четыре дерева: вяз Ли, ясень Джин, железняк Эммета и клен Адама, все одинаковые, каждое напоминает зеленый одуванчик.

— А где папа? — спрашивает мама.

Адам куксится, но вставляет и его. Отец держит эту самую картинку в своих палочных ручках, смеется и говорит: «Что это… деревья? Посмотри на улицу! Разве дерево так выглядит?»

Художник, рожденный скрупулезным, добавляет кошку. Потом рогатую жабу, которую Эммет держит в подвале, где климат для рептилий лучше. Потом улиток под цветочным горшком и мотылька, выбравшегося из кокона, сплетенного каким-то совершенно другим существом. Потом

вертолетики семян от клена Адама и странный камень из долины, который вполне может быть метеоритом, хотя Ли зовет его вулканическим шлаком. И десятки других вещей, живых или почти живых, пока на бумагу больше ничего не влезает.

Адам отдает матери законченную картинку. Мать прижимает сына к себе прямо на глазах Грэмов с другой стороны улицы, которые пришли выпить. На рисунке этого не видно, но мать обнимает его только тогда, когда промочит глотку. Адам пытается вырваться, боясь, что картинка помнется. Даже ребенком он ненавидит прикосновения. Каждое объятие — это маленькая мягкая тюрьма.

Грэмы смеются, когда мальчик устремляется прочь. Бежит с первого этажа до середины лестницы. Адам слышит, как мать шепотом произносит:

— У него легкая социальная ретардация. Школьная медсестра говорит, что за ним нужно присматривать.

Он думает, что это слово означает «специальный», возможно, «обладающий суперспособностями». Что-то, из-за чего люди вокруг должны проявлять осторожность. В комнате мальчиков

на самом верху он спрашивает Эммета, которому уже восемь — почти взрослый…

— А что такое ретардация?

— Это значит, ты заторможенный.

— Это как?

— Не такой, как все.

Адаму нравится. С обыкновенными людьми что-то не так. Они — не самые лучшие существа в мире.

Картинка все еще висит на холодильнике месяцы спустя, когда отец собирает всех четверых детей после ужина. Они набиваются в берлогу, устланную измочаленным ковром с бейсбольными трофеями для детей, самодельными пепельницами и целыми курганами скульптур из макарон. Все ложатся на пол вокруг отца, который горбится над «Карманным путеводителем по деревьям».

— Нам нужно найти для вас маленького сиблинга.

— Что такое сиблинг? — шепчет Адам Эммету.

— Маленькое дерево. Типа молодое.[11]

Ли фыркает:

— Вовсе нет, тупица. Сиблинг — это ребенок.

---

[11] Примечания: 11

Эммет путает слова sibling и sapling. *Sibling* — это единокровные брат или сестра, а *sapling* — это действительно молодое деревце.

— Задницу понюхай, — отвечает Эммет. Образ такой богато анималистический, что Адам пронесет его в коридоры зрелости. Эта краткая перепалка навеки останется в его памяти, в ней будет мало воспоминаний о его сестре Ли.

Отец говорит всем прекратить и выдвигает кандидатов. Есть тюльпанное дерево, быстрорастущее, долгоживущее и с яркими цветами. Есть маленькая тонкая черная береза с отслаивающейся корой, которую можно пустить на каноэ. Тсуга напоминает большой шпиль с кучей маленьких конусов на нем. К тому же она вечнозеленая, даже под снегом.

— Тсуга, — объявляет Ли.

Джин спрашивает:

— Почему?

— А мне обязательно нужно объяснять?

— Каноэ, — говорит Эммет. — Почему мы вообще должны голосовать?

У Адама так краснеет лицо, что веснушки почти исчезают. Чуть не плача от груза чудовищной ответственности, пытаясь спасти других от ужасной ошибки, он кричит:

— А что если мы неправы?

Отец продолжает листать книгу:

— Что ты имеешь в виду?

Джин отвечает. Она переводила слова младшего брата еще до того, как тот научился говорить.

— Он имеет в виду, что если это неправильное дерево для сиблинга?

Отец небрежно отмахивается от столь нелепой идеи.

— Мы просто должны выбрать красивое.

Заплаканный Адам не покупается на такое объяснение.

— Нет, пап. Ли вечно понурая, как ее вяз. Джин прямая и хорошая. Железняк Эммета — да ты посмотри на него! А мой клен краснеет, как и я.

— Ты это говоришь только потому, что уже знаешь, кому какое дерево принадлежит.

Когда Адам станет старше, чем его отец сейчас, он будет рассказывать выпускникам психологического факультета о чем-то подобном. Контекстуальный стимул, прайминг, предвзятость подтверждения, слияние корреляции с каузальностью — ошибки, встроенные в разум самых проблемных из больших млекопитающих. Адам построит карьеру на этой теме.

— Нет, папа. Мы должны выбрать правильно. Мы не можем просто выбрать.

Джин гладит его по волосам.

— Не волнуйся, Дэмми.

Ясень — это благородное тенистое дерево, источник многих лекарств и настоек. Его ветви напоминают канделябр, но незрелая древесина обжигает.

— Давайте каноэ, — кричит Эммет.

Железняк сломает топор, ты даже не успеешь срубить это дерево.

Как обычно, отец подтасовывает выборы.

— Победил черный орех, — говорит он, и с демократией покончено.

По случайности в американском дендрарии не находится ничего лучше для малыша Чарльза: это внушительное прямослойное дерево с такими твердыми орехами, что их приходится разбивать молотком. Дерево, которое отравляет почву под собой так, что на ней больше ничего не растет. Но древесина его такая изысканная, что орех частенько становится добычей браконьеров.

Саженец привозят еще до появления младенца. Отец Адама, проклиная все вокруг, тащит завернутый в мешковину корневой ком к дыре, вырытой в совершенной зелени газона. Адам стоит вместе с братьями и сестрами на краю ямы, но тут видит нечто ужасающе неправильное. Он не может поверить, что никто не вмешивается.

— Папа, остановись! Ткань. Дерево задыхается.

Его корни не могут дышать.

Отец фыркает и не обращает внимания. Адам бросается в яму, чтобы предотвратить убийство. Вес корневого кома приходится на его худенькие ножки, мальчик кричит. Отец произносит самое ужасное слово из всех. Он выдергивает Адама за руку из живой могилы и швыряет сына через газон прямо на крыльцо. Мальчик лежит на бетоне, горько рыдает, но не от боли, а из-за непростительного преступления, учиненного над деревом будущего брата.

Чарльз приезжает домой из больницы, тяжелая беспомощность, завернутая в одеяло. Месяц за месяцем Адам ждет, что задушенный черный орех умрет и заберет с собой младенца, который задохнется от собственного покрывала с клоунами. Но оба выживают, что только доказывает Адаму: жизнь старается сказать нечто, чего никто не слышит.

ЧЕТЫРЕ ВЕСНЫ СПУСТЯ, когда листья начинают распускаться, дети Эппичей дерутся за то, чье дерево самое красивое. Они спорят снова, когда появляются семена, а позже орехи, и наконец во время осеннего прилива цвета. Здоровье и сила, размер и красота: они спорят по поводу всего. У каждого дерева есть свое выдающееся качество:

ромбовидная кора ясеня, длинные составные листья ореха, дождь кленовых вертолетиков, раскинувшаяся, похожая на вазу крона вяза, бороздчатые мускулы железняка.

Адаму девять, и он решает провести выборы. Прорезает щель в картонном яйце, чтобы сделать ящик для тайного голосования. Пять бюллетеней, пять деревьев. Каждый ребенок голосует за свое. Начинается второй тур. Эммет покупает голос четырехлетнего Чарльза за половинку шоколадного батончика, а Джин голосует за клен Адама из-за того, что можно назвать любовью. Все сводится к железняку против клена. Агитация ожесточенная. Джин помогает Адаму делать листовки. Ли берет на себя обязанности менеджера Эммета. Для лозунга Ли и Эммет переиначивают стихотворение, которое они нашли в старом школьном ежегоднике отца:

Пусть работа мала,
А награды редки.
Даже могучий железняк
Был орешком, как ты.

На это Адам и Джин делают плакат:

Голосуй-ка за клен, юный друг,

Ведь в Канаде он — главный продукт.

— Не знаю, Дэмми, — Джин на три года старше и потому увереннее держит руку на пульсе электората. — Они, возможно, не поймут.

— Забавная надпись. Люди любят забавное.

Они проигрывают выборы, три к двум. Адам куксится следующую пару месяцев.

АДАМУ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, он — одиночка. Дети его травят. Как-то раз брат берет Адама с собой в поход, а там дает попить из баклаги мочи со льдом. В парке редкие друзья говорят ему, что от картофельных чипсов может позеленеть кожа на голове. Адам в панике бежит домой, но мать лишь попрекает его за то, что он такой доверчивый. Адам не может понять, почему люди делают то, что делают. От такого невежества все вокруг еще больше хотят его обмануть.

Адам держится замкнуто, но даже его захудалый участок позади дома — это пристанище для миллиона существ. «Золотой определитель насекомых», банка с пробитой крышкой — и обычный воскресный день превращается в мечту коллекционера. Вооружившись «Золотым определителем ископаемых», Адам приходит к выводу, что бугорки и комочки на каменных

плитах двора — это зубы ихтиозавра, вымершего задолго до того, как млекопитающие стали хотя бы вставным номером на лесных подмостках. «Золотым определителем жизни в пруду», «Золотым определителем звезд, камней и минералов, рептилий и амфибий»: люди в таких делах совершенно излишни.

Месяцы проходят в сборах образцов. Совиные катышки и гнезда иволги. Сброшенная кожа полоза, полная, с кончиком хвоста и глазными перепонками. Пирит, дымчатый кварц, серебристо-серая слюда, отслаивающаяся чешуйками, похожими на листочки бумаги, и кусок кремня — Адам убежден, что это наконечник палеолитической стрелы. Он записывает дату каждой находки, снабжает ярлычком с местом, где та была найдена. Коллекция сначала занимает всю комнату мальчиков, потом выливается в коридор. Даже в святая святых, в гостиной, начинают попадаться экспонаты.

Однажды зимой Адам возвращается домой из школы и выясняет, что весь его музей отправили в мусоросжигатель. Он с плачем бежит по комнатам.

— Милый, — объясняет ему мать, — это же был мусор. Заплесневевший мусор с кучей жуков.

Он дает ей пощечину. Она отшатывается от неожиданности, прижимает руку к лицу, уставившись на мальчика. Не может поверить в свою боль. Она не понимает, что случилось с ее сыном, тем самым, кто еще в шесть лет взял у нее из рук влажное кухонное полотенце и сказал, что теперь займется всем сам.

Отец Адама узнает о пощечине вечером. Он преподает сыну урок, сильно выворачивает ему запястье, то трескается. Никто даже не понимает, что это перелом, пока рука не раздувается и странно синеет, прямо как нечто из «Золотого определителя ракообразных».

Поздней весной, в субботу, когда гипс снимают, Адам забирается на свой клен так высоко, как может, и не спускается до самого ужина. Сквозь листву пробивается солнце, придавая воздуху цвет не совсем созревшего лайма. Адам с горьким удовлетворением смотрит на крыши соседских домов и понимает, насколько же жизнь над землей лучше. Листья колышутся на легком ветерке толпой пятипальчатых рук. Слышится звук, как от легкого дождя, это душ из крохотных почечных чешуек. Высоко над головой белки грызут соцветия, высасывая из них жидкий сок, затем разбрасывая уже бесполезные красновато-жел-

тые букетики по земле внизу. Адам насчитывает пятнадцать разных ползунов, от мучнистых червецей до каких-то приплюснутых пятнышек с такими крохотными лапками, что их даже не разглядеть, они ползают по его руке, ищут что-то сладкое. Птицы с черными и коричневыми головками мелькают вокруг, склевывают яйца жуков и бабочек, которые те оставляют на ветках. Дятел то исчезает, то появляется из дупла, которое сам же сделал год назад в поисках личинок. Это потрясающий секрет, о котором семья Адама никогда не узнает: здесь, наверху, на одном только клене жизни больше, чем людей во всем Бельвиле.

Адам вспомнит об этом бдении много лет спустя, когда с двухсот футов секвойи взглянет вниз, на кучку людей — с такой высоты они будут напоминать насекомых, — чье демократическое большинство будет желать ему смерти.

АДАМУ ТРИНАДЦАТЬ, а листья на вязе его сестры Ли желтеют задолго до осени. Адам замечает увядание первым. Другие дети уже не смотрят на деревья. Один за другим они уходят из зеленой окраины в более громкие, яркие кварталы остальных людей.

Болезнь подбиралась к дереву Ли десятилетиями. Еще когда Леонард Эппич сажал росток для

своего первенца в приступе оптимизма пятидесятых, голландская болезнь уже истребляла растения в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и даже в Элм-Сити, что в Нью-Хейвене. Но все эти города были так далеко. Наука, думал отец семейства, скоро придумает какое-нибудь лекарство.

Грибок выпотрошил Детройт, когда дети были еще совсем маленькими. Вскоре взялся за Чикаго. Самые популярные уличные деревья страны, вязы, превращавшие бульвары в зеленые долины, покидали этот мир. А теперь болезнь добралась до окраины Бельвиля, и дерево Ли перед ней не устояло. Но скорбит по нему только Адам. Отец лишь ругается из-за того, во сколько встала уборка вяза. А Ли едва замечает потерю. Она собирается в театральный колледж, в Иллинойс.

— Ну, разумеется, ты выбрал для меня вяз, пап. Ведь ты решил доставать меня еще до того, как я родилась.

Адам утаскивает немного дерева у садовников, которые приехали выкорчевать пень. Он уносит его в подвал, ошкуривает и выжигает на обломке надпись. Находит слова в книжке: «Дерево — это проход между землей и небом». Сажает ошибку в слове «проход». «Земля» и «небо» выходят какими-то недоразвитыми. Но он все равно от-

дает деревяшку Ли как подарок перед отъездом. Та смеется в ответ и обнимает брата. Когда она уезжает, он находит вяз в коробках, которые Ли оставила для Армии Спасения.

ОСЕНЬЮ 1976 ГОДА Адам проникается любовью к муравьям. Как-то в сентябрьскую субботу он наблюдает за тем, как они плывут по соседскому тротуару, перенося к себе домой леденец на палочке. Ворсистый ковер цвета ржавчины растягивается на несколько ярдов. Муравьи огибают препятствия, громоздясь друг на друга. Их массовое развертывание может сравниться с любым человеческим гением. Адам разбивает лагерь в траве, рядом с этой живой пеной. На краю вакханалии муравьи начинают ползать по его носкам и тощим лодыжкам. Они взбираются по локтям прямо в рукава футболки. Лезут в шорты и щекочут яйца. Адаму наплевать. Он смотрит и видит паттерны, они невероятны. Очевидно, что никто не руководит этой массовой мобилизацией. И тем не менее насекомые переносят липкую еду к себе в гнездо невероятно скоординированным образом. Планы в отсутствие любого планировщика. Пути, проложенные без всякого топографа.

Адам идет домой, берет блокнот и камеру. А потом у него случается мозговой штурм. Он про-

сит немного лака для ногтей у Джин. С возрастом его сестра поглупела, потерялась в вихре моды. Но она до сих пор сделает все для своего маленького брата Дэмми. Когда-то ей тоже нравились «Золотые определители». Но люди уже держат ее в своей хватке, и больше она никогда не освободится.

Она дает ему пять цветов, целую радугу от алого до голубого. Вернувшись на место, он начинает работать кисточкой. Крохотная капля «Дымчатой розы» пристает к брюшку мусорщика. Одного за другим он помечает еще с десяток муравьев тем же самым оттенком. Через несколько минут начинает заново, теперь с «Ясным персиком». К середине утра весь лаковый спектр в игре. Вскоре цветные мазки открывают перед Адамом запутанную цепь нереальной красоты. Колония чем-то обладает, но Адам не знает, как это назвать. Целью. Волей. Какой-то осознанностью — она настолько отличается от человеческого разума, что тот считает ее ничем.

Рядом проходит Эммет с удочкой и наживкой, видит, что брат лежит в траве, делает фотографии и рисует в блокноте.

— Какого хрена ты тут делаешь?

Адам сворачивается, как еж, и продолжает

работать.

— Так-то ты проводишь субботу? Понятно, почему люди тебя не понимают.

Но это Адам не понимает людей. Они говорят, чтобы спрятать то, о чем реально думают. Бегают за бессмысленными побрякушками. Он не поднимает голову и продолжает считать.

— Эй! Жуколюб! Жуколюб, — я с тобой разговариваю! Почему ты играешь в грязи?

Адам с удивлением слышит в голосе Эммета явственное доказательство того, что брат его боится. Он шепчет дневнику:

— А зачем ты мучаешь рыб?

Нога ударяет Адама под ребра:

— Ты чего несешь, ушлепок? Рыбы ничего не чувствуют, вот же дерьма у тебя в мозгах!

— Ты этого не знаешь. Ты не можешь этого доказать.

— Значит, доказательств хочешь? — Эммет срывает пригоршню травы и запихивает ее брату в рот. Тот, безучастный, только отплевывается. Эммет уходит, с сожалением качая головой, победитель в очередном одностороннем споре.

Адам изучает свою живую карту. Текущие во времени и помеченные цветом муравьи дают понять, как передаются сигналы без центрально-

го регулировщика. Адам слегка сдвигает пищу. Разгоняет муравьев. Устраивает препятствия и засекает то время, с каким насекомые выправляют ситуацию. Когда от леденца ничего не остается, он кладет в разных местах куски своего завтрака и замеряет, как быстро те исчезают. Колония быстрая и хитроумная — чтобы получить свое, они проявляют человеческую изобретательность.

Звон епископального карийона играет свой квадратный гимн. Шесть вечера — время для всех неуправляемых Эппичей возвращаться домой к ужину. За день Адам заполнил пометками двенадцать страниц, сделал тридцать шесть фотографий с выдержкой и родил половину теории, которая в открытом обмене мнениями не заработала бы ему и сломанного йо-йо.

Всю осень Адам, если только не учится, не подстригает газоны и не продает мягкое мороженое, изучает муравьев. Он строит графики и рисует схемы. Его уважение к их уму безгранично. Адаптивное поведение при меняющихся условиях: как еще это назвать, если не чертовски умным?

В конце года он подает заявку на районную научную ярмарку. «Некоторые наблюдения по поводу поведения и разума муравьиной коло-

нии». В зале есть проекты, которые выглядят получше, и один, где, судя по всему, всю научную часть вытянул на себе отец ученика. Но ни один из конкурсантов не смотрит на свой предмет так, как Адам.

Судьи спрашивают:

— Кто тебе помогал с проектом?

— Никто, — отвечает он, возможно, с чуть большей гордостью, чем следовало бы.

— Твои родители? Учитель? Старший брат или сестра?

— Сестра дала мне лак для ногтей.

— Ты откуда-то узнал об этой идее? Скопировал эксперимент, который не цитируешь?

Мысль о том, что такой эксперимент уже провели, убивает Адама.

— Ты провел все вычисления сам? И начал всего четыре месяца назад? Во время каникул?

Его глаза полны слез. Он пожимает плечами.

Судьи не дают ему медаль — даже бронзовую. Говорят, что у него нет библиографии. А библиография — необходимая часть формального отчета. Но Адам знает, в чем причина. Они думают, что он все украл. Не могут поверить, что ребенок месяцами работал над оригинальной идеей без всякой на то причины, лишь ради

удовольствия смотреть на что-то, пока не разглядишь.

ВЕСНОЙ Ли отправляется с подругами на каникулы в Лодердейл. На вторую ночь, рядом с пляжным баром она садится в красный «Форд Мустанг» с парнем, которого встретила три часа назад. Больше ее никто и никогда не увидит.

Родители в отчаянии. Они дважды летают во Флориду. Орут на местных чиновников и тратят кучу денег. Проходят месяцы. Зацепок нет. Адам понимает, что их и не будет. Кто бы ни забрал его сестру, он хитер, щепетилен и принадлежит к роду людскому. Он разумен.

Леонард Эппич не сдается:

— Вы все знаете Ли. Знаете, какая она. Она просто снова сбежала. Мы не будем проводить поминальную службу, пока точно не узнаем, что случилось.

«Точно не узнаем». Они знают. Мать бросает ему в лицо слова Ли, произнесенные прошлой весной. «Ведь ты решил доставать меня еще до того, как я родилась». Паттерны подымаются на поверхность, и она хватается за них.

— Ты посадил для нее вяз, хотя знал, что они умирают повсюду годами? О чем ты думал вообще? Ты же никогда ее не любил, да? А теперь ее

изнасиловали, и ее труп лежит на какой-нибудь свалке, а мы даже никогда не узнаем где!

Ленни ломает ей локоть, случайно. Из самообороны, как он не устает повторять всем, кто готов слушать. Вот тогда Адам все понимает: человечество глубоко больно. Этот вид долго не протянет. Аберрантный эксперимент. Скоро мир вернется к здоровым разумам, коллективным. К ульям и колониям.

* * *

Джин отвозит братьев в лесной заповедник. Там все трое проводят службу, о которой отец запрещает даже думать. Строят костер и рассказывают истории. Ли двенадцать лет, и она сбегает из дома, когда отец дает ей пощечину за то, что она прошептала себе под нос «козел». Ли четырнадцать, и она наказывает людей за то, что те ее ненавидят, говорит со всеми только как на испанском. Ли восемнадцать, она играет Эмили Уэбб, та возвращается на Землю, чтобы вновь пережить свой двенадцатый день рождения[12]. Прекрасный призрак, от которого вся старшая

[12] Примечания: 12

Имеется в виду героиня пьесы Торнтона Уайлдера «Наш городок» (1938).

школа залилась слезами.

Адам берет с собой табличку из вяза, надписанную для сестры, и бросает ее в огонь. «Дерево — это проход между землей и небом». Из вяза дрова не очень, но он все равно горит, пусть и не убедительно. Все неудавшиеся слова становятся совершенными и исчезают во мраке — сначала «дерево», потом «проход», затем «земля» и наконец «небо».

Судьи с научной ярмарки излечивают Адама Эппича от желания вести хотя бы какие-то полевые дневники. Он перерастает муравьев. Забрасывает «Золотые определители». Тайные музейные экземпляры, спрятанные от маминого пылесоса, с радостью выбрасывает в мусорку. Детские забавы.

Старшая школа — это четыре темных года в бункере. Не то чтобы у него нет друзей или ему чуждо веселье. На самом деле, многовато и того, и другого. Целыми ночами он напивается с приятелями и купается голышом в водохранилище над городом. Целыми выходными зависает в подвалах, бросает кости и спорит из-за эзотерических игровых правил с тучными бледными мальчиками-мужчинами, которые везде таскают с собой чемоданы, полные коллекционных карточек.

Игровые монстры — это естественная история, с которой случилось что-то плохое. Огромные жуки. Деревья-убийцы. Цель игры — убить их всех.

— Тестостерон, — объясняет отец. Теперь он боится нескладного и массивного парня, и Адам об этом знает. — Гормональная буря, и ни одного порта поблизости.

Хотя Адаму хочется ударить отца, тот не слишком ошибается. Есть девушки, но они сбивают Адама с толку. Они притворяются глупыми, как будто носят защитную окраску. Пассивные, неподвижные и загадочные. Говорят не то, что имеют в виду, проверяют, видишь ли ты их насквозь. Именно этого они и хотят. Но негодуют, когда ты так себя и ведешь.

Адам организует рейды на соседские школы, сложные ночные операции, для них нужны мили туалетной бумаги, которая потом свисает с липовых ветвей. Белые полосы болтаются на них месяцами, подобно гигантским бумажным цветкам. Он проезжает под ними на своем горном велосипеде, чувствуя себя настоящим подпольным художником.

Вместе с другом Адам составляет карты школы, супермаркета, банка. Они планируют, какие инструменты им нужны для ограбления. Планы

становятся все сложнее. Парни прицениваются к пушкам, смеха ради. Для Адама это игра: логистика, проработка, менеджмент ресурсов. Для его друга — почти религия. Адам как зачарованный наблюдает за своим нестабильным приятелем. Семя, приземлившееся на землю вверх тормашками, будет разворачиваться — корнями, стволом, — тратя невероятные усилия, пока не выправится. Человеческое дитя может прекрасно знать, что смотрит не в ту сторону, но все равно считать направление стоящим свеч.

АДАМ БЫСТРО ВЫЯСНЯЕТ, как с минимальными усилиями учиться. Ни один взрослый не получит от него больше того, что положено. Рухнувшие вниз оценки обескураживают мать.

— Что происходит, Адам? Ты же лучше этого!

Но голос у нее унылый и сломленный. Джин видит, как брат катится вниз. Она ругается, высмеивает его, умоляет. Но потом уезжает в колледж, в Колорадо. Теперь некому заставить его отвечать перед самим собой.

Ли так и не возвращается. Все поиски отца ни к чему не приводят. Мать начинает принимать кодеин. Довольно скоро она уже курсирует по аптекам, забираясь в соседние города. Перестает готовить и убираться по дому. На жизнь Адама

это не влияет. Он адаптируется и эволюционирует. Выживание тех, кто выживает.

ШУТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от друга — «Три бакса, если сделаешь за меня алгебру» — и Адам находит источник легких карманных денег. Настолько легких, что он даже начинает себя рекламировать. Задания по любому предмету, кроме зарубежных языков, любого качества по желанию клиента, так быстро, как вам нужно. Он не сразу устанавливает ценовой уровень, но когда все же определяется, клиенты выстраиваются в очередь. Адам экспериментирует с оптовыми скидками и плановой предоплатой. Вскоре он становится владельцем успешного небольшого бизнеса. Родители с облегчением видят, что он снова делает домашнюю работу, причем часами каждую ночь. Им нравятся, что он перестает выпрашивать у них наличность. В общем, ситуация выгодна вообще для всех. Доброе утро, Америка, свободный рынок решает дела, и Адам каждую ночь отправляется спать, благодарный за то, что родился в предпринимательской культуре.

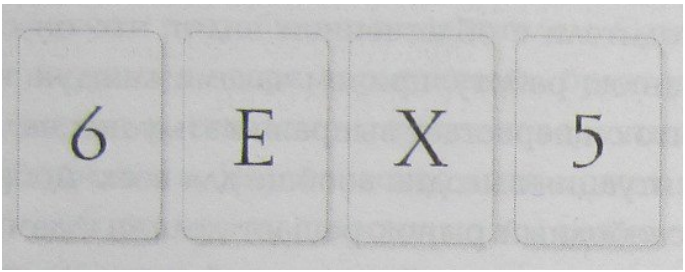
Он быстрый и добросовестный. Каждое задание готово к дедлайну. Вскоре он выстраивает надежный и уважаемый бизнес по надувательству. Тот даже делает его почти популярным. Большую

часть денег Адам откладывает. Тратить все равно не на что, а главное удовольствие он получает при взгляде на баланс сберегательного счета, подсчитывая доллары, приходящиеся на каждого одураченного учителя.

Впрочем, ответственная работа требует жертв. Ему приходится выучить целую кучу интересных вещей, которые иначе его бы никогда не заинтересовали.

В НАЧАЛЕ ВЫПУСКНОГО КЛАССА он сидит в публичной библиотеке и механически составляет работу по психологии для одноклассника, которые разбирается в двуногом звере даже хуже Адама. «Процитируй по меньшей мере две книги». Да пожалуйста. Он встает из своей кабинки и подходит к полкам. От многочасовой работы глаза уже «в кучку». В тусклом свете книги похожи на особняки для проволочных людей.

Один корешок бросается в глаза. Электрически-зеленые буквы кричат на черном фоне: «Обезьяна внутри нас» Рубина М. Рабиновски. Адам вытаскивает увесистый томик и шлепается в ближайшее кресло. Книга раскрывается на изображении из четырех карточек:



Под картинкой идет подпись:

> На каждой из этих карточек есть буква на одной стороне и номер на другой. Предположим, вам сказали, что если у карточки на одной стороне гласная буква, то с другой обязательно четное число. Какую карту либо карты вам надо перевернуть, чтобы убедиться в правильности этих слов?

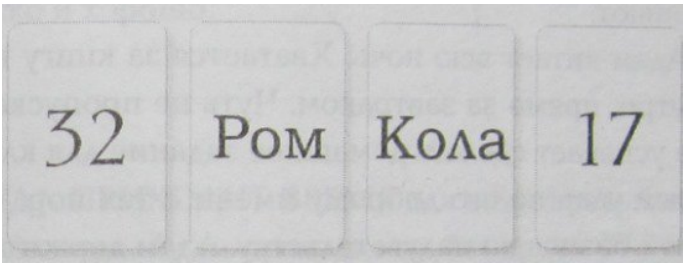
Адам оживляется. Вопросы с лапидарными, правильными ответами — это противоядие от человеческого существования. Он решает загадку

быстро, уверенно. Но когда проверяет решение, то оказывается не прав. Поначалу Адам думает, что напечатанный ответ — ошибка. И только потом видит то, что теперь кажется очевидным. Говорит себе, что выдохся из-за многих часов работы над заданиями других учеников. Не смог сосредоточиться. Он бы все правильно сделал, если бы уделил вопросу достаточно внимания.

Потом читает дальше. В книге говорится, что только четыре процента среднестатистических взрослых решают задачу верно.

Более того, почти три четверти тех, кто не понял суть, когда им показывают простой ответ, начинают придумывать оправдания того, почему потерпели неудачу.

Адам сидит в кресле и объясняет себе, почему сейчас сделал то, что делает практически каждый человек. Под первым рядом карточек есть еще один:



Теперь подпись гласит:

> Каждая из этих карточек олицетворяет человека в баре. С одной стороны написан их возраст, а с другой — напиток. Если пить легально можно только с 21 года, какую карту или карты вам надо перевернуть, чтобы убедиться, что никто в баре не нарушает закон?

Ответ очевиден. Адаму даже не нужно его искать. И в этот раз он не ошибается вместе с тремя четвертями типичных взрослых. А потом читает ключевую реплику. Две эти задачи одинаковые.

Он громко смеется, на него неприязненно смотрит седая, поздняя публика в библиотеке. Люди — идиоты. На органе, которым его вид так гордится, висит огромный старый знак «НЕ РАБОТАЕТ».

Адам не может остановиться и читает. Снова и снова книга показывает, как так называемые *Homo sapiens* лажают на простейших логических задачах. Но они фантастически быстро справляются с проблемой, когда надо выяснить, кто в группе, а кто вне ее, кто внизу, а кто вверху, кого надо осыпать похвалой, а кого наказать без всякой жалости. Способность исполнять простые рациональные действия? Слабая. Навык сгонять друг друга в стадо? Невероятный, воистину феноменальный. В мозгу Адама открываются целые новые комнаты, готовые для полной обстановки. Он отрывается от книги, только когда библиотека закрывается и всех выгоняют.

Дома Адам читает всю ночь. Хватается за книгу на следующее утро, прямо за завтраком. Чуть не пропускает автобус. Не успевает сделать домашнее задание для клиента. Это первый удар по его доброму имени с тех пор, как он создал свой бизнес по надувательству. Адам держит «Обезьяну внутри нас» под партой на первых трех уроках, обучаясь тайком. Заканчивает книгу еще до лен-

ча, а потом сразу же начинает читать ее заново.

Текст настолько элегантный, что Адаму хочется дать себе пинка за то, что он не разглядел истину раньше. Люди несут в себе наследственное поведение и предубеждения, держащиеся на соплях пережитки из более ранних стадий эволюции, которые следуют своим собственным устаревшим правилам. То, что на первый взгляд кажется неразумным, иррациональным выбором, на самом деле является стратегиями, созданными давным-давно для решения совершенно иного набора задач. Все мы заперты в телах хитрых оппортунистов, карабкающихся по социальной лестнице и слепленных для выживания в саванне путем контроля друг за другом.

Несколько дней Адам пребывает в счастливом ступоре. Вооруженный паттернами, раскрытыми в книге, он представляет, как проводит эксперименты над каждой девочкой в школе, как ставит пятнышко лака для ногтей на их каблуки, чтобы следить за их деятельностью. Двенадцатая глава — самая лучшая. «Влияние». Если бы он прочитал ее еще новичком, то сейчас бы уже стал пожизненным президентом школы. Сама идея о том, что в человеческом поведении — его заклятом враге — кроются тайные, но понятные схемы,

такие же прекрасные, как и те, что он когда-то видел у насекомых, заставляет все у него внутри петь. С тех пор как исчезла сестра, Адам еще никогда не чувствовал себя так легко и хорошо.

* * *

КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ для вступительных экзаменов в колледж, Адам проходит их без труда. Выдает аналитические показатели на уровне девяноста двух процентов. Но вот по баллам успеваемости ему едва удается проникнуть в 212-й слот, тогда как в классе у людей в целом 269. Никакое уважающее себя заведение даже не станет рассматривать его кандидатуру.

Отец отмахивается от сына:

— Иди в младший колледж на два года. Начни все с чистого листа.

Но Адаму не нужен чистый лист. Он должен просто показать уже существующий кому-то, кто умеет читать между меловых строк. Как-то в субботу утром перед зимними каникулами он садится за обеденный стол и сочиняет письмо. Адам как будто снова заносит наблюдения в свои детские полевые дневники. Снаружи виднеются оставшиеся детские деревья. Он вспоминает, что когда-то верил в некую магическую связь между

ними и детьми. Что даже превратил себя в клен — такой знакомый, открытый, легко узнаваемый, всегда готовый пустить сахар, расцветающий сверху донизу от первых солнечных лучей и весны. Он любил это дерево, его простоту. Но люди превратили Адама в нечто другое. Он подносит ручку к верху страницы и начинает:

Профессору Р. М. Рабиновски.
Факультет психологии,
Колледж Фортуны, Фортуна, Калифорния.

Уважаемый профессор Рабиновски,
Ваша книга изменила мою жизнь.

Он выдает развернутую историю об обращении: заблудший мальчик, спасенный случайной встречей с великолепием. Описывает, как «Обезьяна внутри нас» что-то пробудила в нем, хотя пробуждение, возможно, произошло слишком поздно. Рассказывает, как не принимал школу всерьез, пока книга не попала к нему в руки, и теперь может провести годы, очищая аттестат в коммунальном колледже, пока не получит шанс изучать психологию в серьезном образовательном учреждении. Но это неважно, пишет он. Он у

профессора в долгу, и, как пишет сам Рабиновски на странице 231: «Доброта может искать чего-то в ответ, но это не делает ее менее доброй». Возможно, внезапная доброта слегка сократит его путь.

За окном клен колышется на ветру. Его ветви журят Адама. Тот бы покраснел от стыда, если бы не пребывал в отчаянии. Потому он продолжает свое дело, уснащая письмо кучей техник из главы двенадцатой, «Влияние». В словах благодарности кроются четыре из верхних шести релизеров для запуска реакций в другом человеке: взаимодействие, недостаток, повышение самооценки и апелляция к серьезности намерений. Он прячет доказательства своего попрошайничества под еще одним трюком, подсмотренным в двенадцатой главе:

> Если вы хотите получить помощь, убедите других, что они уже безмерно вам помогли. Люди будут работать усерднее, чтобы защитить свое наследие.

Родители поражены, но Адам не слишком шокирован, когда от автора «Обезьяны внутри нас» приходит ответ. Профессор Рабиновски пишет, что Колледж Фортуны — это маленькое альтернативное учебное заведение для необычных

студентов, ищущих интенсивного пытливого подхода к обучению. Во время поступления комиссии не так важен аттестат старшей школы, она смотрит на другие доказательства особой мотивации. И пусть профессор Рабиновски не дает гарантий, но обещает, что заявлению Адама будут уделено самое пристальное внимание. Адаму просто надо написать самое сильное вступительное эссе, какое он может.

К официальному письму прицеплена картотечная карточка. Причудливым и пугающим почерком, синими чернилами на ней кто-то написал: «И больше никогда не вешай мне лапшу на уши».

РЭЙ БРИНКМАН И ДОРОТИ КАЗАЛИ

ИХ НЕ ТРУДНО НАЙТИ: двух людей, для которых деревья не значат практически ничего. Двух людей, которые даже весной своих жизней не могут отличить дуба от липы. Двух людей, которые никогда не беспокоились о рощах или дубравах, пока в 1974 году целый лес не промаршировал по сцене крохотного театра с черными стенами в центре Сент-Пола.

Рэй Бринкман, младший юрист по интеллектуальной собственности. Дороти Казали, стенографистка в компании, которая работает на его фирму. Он не может отвести взгляд от того, как она снимает показания. Ее пальцы, как у мима, танцуют, это похоже на спокойный и плавный балет невыразимой красоты, который его пугает. С них словно льется «Аппассионата».

Она замечает, как он глазеет на нее, и одним взглядом вызывает на признание. Он подчиняется. Так легче, чем умереть от острого обожания на расстоянии. Она соглашается пойти с ним на свидание при одном условии: Дороти сама выберет место встречи. Он подписывается под сделкой, даже не представляя, какие там пункты мелким

шрифтом. Дороти выбирает прослушивание на любительскую постановку «Макбета».

Почему? Она отвечает, что без причины. Шалость. Каприз. Свобода. Но, конечно, нет никакой свободы. Есть только древние пророчества, они предсказывают появление семян времени и говорят, какие вырастут, а какие — нет.

Постановка хоть и называется любительской, но скорее внушает ужас. Прослушивание — как охота на монстров без фонарика. Никто из них не играл в театре со старшей школы. Но они натягивают решимость на колки, и оба получают от вечера гнетуще мазохистское, заставляющее нервничать удовольствие.

— Вот это да! — говорит Рэй, выходя из зала. — И что это было?

— Я всегда хотела притвориться, что умею играть. Мне просто был нужен сообщник.

— Так что мы будем делать на бис?

— Ты выбираешь.

— Как насчет чего-то не столь нервного?

— Никогда не занимался прыжками в воду со скалы?

ВОТ КАКОЕ ДЕЛО: они оба получают роль. Ну разумеется, а как иначе? Их выбрали еще до того, как они пришли на прослушивание. Так работа-

ют мифы. Макдуф и леди Макбет.

Рэй звонит Дороти в совершенной панике. Словно играл с дробовиком отца, а тот возьми — и выстрели.

— Нам же не нужно реально участвовать в постановке, да?

— Это же самодеятельный театр. Думаю, они на тебя рассчитывают.

Уже в их первую неделю вместе она знает ту самую кнопку, на которую надо жать. Этот мужчина криминально исполнительный и добросовестный. Патологически ответственный перед надеждами и ожиданиями своего вида. А леди достаточно безрассудна для десяти таких, как он. Она практически в лоб говорит ему: нет «Макбета» — нет свиданий. Они соглашаются на роли.

Дороти естественна. Но Рэй: даже ассистент режиссера по подбору актеров в ночь первой читки думает, что совершила ужасную ошибку. Дороти смотрит на него, пораженная. Он — самый лучший худший актер, которого она когда-либо видела. Рэй просто говорит реплики с сухой желчностью и поразительной наивностью, как будто защищает дело о своем собственном существовании перед Дискуссионным клубом

последних времен.

Дороти совершает набег на библиотеку в поисках книг по системе Станиславского и вхождению в роль. Рэй изображает стоика:

— Мне повезет, если я запомню все реплики.

Через две недели он выглядит почти прилично. А через три что-то начинает происходить.

— Это несправедливо, — говорит она. — Ты репетировал?

Именно, он только сейчас это понимает. Раньше не понимал, но сам закон — это театр еще до того, как приведешь кого-то в суд. У Рэя есть один талант: играть самого себя с внушающей страх энергией. Благодаря ему в последующие годы он станет невероятно успешным адвокатом в области авторского и патентного права. И теперь эта простая способность делает его Макдуфа странно гипнотическим. Стоя неподвижно в невозмутимой искренности, он, кажется, устанавливает связь с мировой волей.

Главная суперспособность Дороти известна ей еще с юности: она умеет читать каждый мускул вокруг рта и глаз любого человека и с невероятной точностью может сказать, лжет тот или нет. Это никак не помогает стенографии или ее леди Макбет. Но заставляет испробовать границы

невинности Рэя. Репетиции по три ночи в неделю вот уже больше месяца, и Дороти убеждается: Рэй Бринкман действительно может оставить жену и детей без всякой защиты, в одиночестве, в замке из палочек, только для того, чтобы спасти эту забытую богом страну.

Постановка в духе семидесятых. Очень по-уотергейтски. Вход свободный, каждый платит столько, сколько считает нужным. Три вечера подряд леди Макбет живописно сгорает. Три вечера подряд Макдуф и его люди, одетые в деревья, помогают Бирнамскому лесу перейти в Дунсинан. Деревья действительно перемещаются по сцене. Дуб, удальцы-дуболомы, армии и флоты из дуба, балки и стойки в доме истории. Актеры держат большие ветки, и пока ничего не подозревающий Макбет объявляет о своей гарантированной пророчеством безопасности, его будущие убийцы двигаются в танце так медленно, что, кажется, и вовсе не шевелятся. И каждой ночью у Рэя будто бы есть вечность, чтобы подумать: «Со мной что-то происходит. Что-то тяжелое, огромное и медленное, оно приходит откуда-то далеко, и я его не понимаю».

Он понятия не имеет, что с ним такое. За ним приходит род силой более шести сотен видов.

Такой знакомый, многообразный, разбивший лагерь от тропиков до умеренных северных широт: универсальная эмблема всех деревьев. Толстый, кряжистый, морщинистый, но твердо стоящий на земле и покрытый другими живыми существами. Он триста лет растет, триста лет живет и триста лет умирает. Дуб.

Дубы приводят его к присяге как временного заместителя в их борьбе против человеческого чудовища. Хороший Макдуф прячется за их срезанными ветками («Множество живых существ пострадало при создании этой постановки»), надеясь, что вспомнит следующие реплики, молясь, что этим вечером снова повергнет узурпатора, и удивляясь странным, неравномерным, дольчатым листьям, облекающим плотью его камуфляж, подобно алфавиту из далекого космоса, где каждый глиф как будто создан преднамеренно. Рэй не может прочитать слова на своем знамени. Они написаны существом с пятьюстами миллионами корневых кончиков. Они гласят: «„Дуб“ и „дверь“ произошли от одного древнего слова»[13].

После вечеринки по случаю закрытия сезона

---

[13] Примечания: 13

На кельтском языке понятия «дверь» и «дуб» обозначались одним словом — «duir», от которого, по некоторым версиям, и произошло современное английское слово door.

Рэй и Дороти впервые оказываются в одной постели. Театр и капризы Дороти поработили его надолго. И вот, наконец, долгожданный прыжок с утеса. В комнате достаточно темно, чтобы приглушить самые худшие из внутренних сирен и тревог. Но до озаренного свечой лица Рэя всего шесть дюймов, и Дороти различает малейшие сокращения мускулов вокруг его глаз.

— Как ты относишься к родителям? Тебя посещали расистские мысли? Когда-нибудь воровал в магазине?

— Я что, в суде? Зачем ты меня мучаешь?

— Без причины. — Все ее лицо дергается, как мексиканский прыгающий боб.

Он перекатывается на спину и смотрит в потолок.

— Я никогда раньше не был на сцене. Чувствуешь себя, словно говоришь с богами.

— А разве не так?

А потом раздается вопрос:

— Как думаешь, куда мы идем?

Она приподнимается на локтях, чтобы заглянуть ему в лицо:

— Мы? Ты имеешь в виду человечество?

— Именно. Но сначала ты и я. А потом все остальные.

— Я не знаю. Откуда, черт побери, мне знать?

Он слышит ее злость и думает, что понимает. Рукой шарит по простыне, ища ладонь Дороти.

— Я чувствую, что это должно было случиться.

— Вот это? — появляется безжалостная леди М. Высмеивающая. — Ты имеешь в виду судьбу?

Он как будто снова застыл, плывя на сцене под маской Бирнамского леса.

— Я хорошо зарабатываю. Через пять лет выплачу все свои долги. Меня сделают партнером, глазом не успеешь моргнуть.

Она зажмуривается. Через несколько лет могут упасть бомбы, вся Земля придет в упадок, а единственные выжившие люди сбегут с планеты на ракетах, летя в никуда.

— Тебе не надо будет работать, если не захочешь.

Она садится. Рукой упирается ему в грудь, прижимая к кровати.

— Погоди. О боже. Ты делаешь мне предложение?

Он приподнимает голову и не сводит с нее глаз. Удалец-дуболом.

— Потому что мы переспали? Лишь раз? — Ей даже не нужен специальный дар, чтобы понять, как сильно уязвила его эта насмешка. — Подо-

жди. Я что, у тебя первая?

Он не двигается, застывает посреди сцены.

— Возможно, тебе стоило спросить меня об этом два часа назад.

— Послушай. В смысле… брак? — Одно только это слово в ее устах превращается в нечто причудливое и чужое. — Я не могу выйти замуж. Я должна… не знаю! Отправиться в поход с рюкзаками по Южной Америке на два года. Переехать в Вилледж и принимать наркотики. Познакомиться с пилотом, который подрабатывает на ЦРУ.

— У меня есть рюкзак. В Нью-Йорке много патентных юристов. Вот насчет пилота я не уверен.

Она попала в западню, смеется и качает головой.

— Ты шутишь. Но нет, ты не шутишь. Какого черта? — Она снова ныряет в подушки. — Да какого черта, вот что я скажу. Веди, Макдуф!

Они снова занимаются любовью. Но теперь уже скрепляют свои узы. Когда потом наступает тишина, она чувствует влагу на его виске.

— Что-то не так?

— Все нормально.

— Я не перепугала тебя до усрачки?

— Нет.

— Ты мне лжешь. Впервые.

— Возможно.

— Но ты любишь меня.

— Возможно.

— Возможно? Это что, черт побери, должно значить?

Что-то огромное и тяжелое, медленное и далекое, совершенно неизвестное ему начинает говорить, что это должно значить. А он уже все показывает ей.

* * *

ПРЕДСКАЗАНИЯ РЭЯ ОКАЗАЛИСЬ ПРАВДОЙ. Через пять лет он выплачивает все свои долги. Вскоре становится партнером в фирме. Он великолепен в том, что делает: уличает воров интеллектуальной собственности, заставляя их прекратить свои действия либо выплатить неустойку. Его честность, вера в справедливость и стабильность завораживают. «Вы получаете доход от того, что принадлежит другому. Мир так работать не может». Практически всегда противоположная сторона идет на мировую сделку.

Что касается Дороти, ее предсказание оказывается не совсем неправильным. Бомбы действительно падают. Но среднего размера, по всему земному шару, настолько маленькие,

что никто не бежит с планеты, по крайней мере пока. Сама же Дороти работает на том же месте, фиксируя речь людей под присягой так быстро, как они говорят. Секрет в том, чтобы не думать о значении слов. Любое внимание к ним в десять раз понижает скорость.

Шесть лет проходит, как один сезон. Они расстаются. Потом встречаются снова, исполняя главные роли любовников в спектакле «С собой не унесешь» любительского театра «Альтер Эго». Она снова идет на попятную. Они возвращаются друг к другу, вместе пройдя пятьсот миль Аппалачской тропы за двадцать девять дней. А затем еще раз признаются друг другу в любви жестами, прыгая с парашютом.

Обычно все длится месяцев пять. Когда Дороти порывает с Рэем в четвертый раз, расставание оказывается настолько болезненным, что она увольняется с работы и исчезает на недели. Ее друзья ничего не говорят Рэю. Он умоляет рассказать ему хоть что-то, дать телефонный номер — хоть что-нибудь. Передает им длинные письма, но они говорят, что не могут их доставить. А потом он вдруг получает от нее записку — без всяких извинений, но и без жестокости. Она не говорит ему, где находится. Просто рассказывает

о смертельной клаустрофобии, убивающей все панике, которую чувствует при мысли о подписании юридически обязывающего документа, который определит ее направление и поведение на всю оставшуюся жизнь.

> Я хочу быть с тобой. И ты об этом знаешь. Вот почему снова и снова говорю «да». Но патенты? Права и владение? О, Рэй, если бы только ты был опозоренным доктором или разорившимся бизнесменом! Черным риэлтором. Кем угодно, только не юристом по праву собственности.

Он пишет ей на обратный адрес — почтовый ящик в О-Клэре. Объясняет, что рабство находится вне закона по всему миру. Она никогда не станет чьей-то собственностью. Он не будет менять из-за нее карьеру: авторское и патентное право — это то, что он знает. Это необходимая работа, двигатель мирового богатства, и он в ней хорош. Может, лучше, чем хорош. Но если ему надо выбрать между отказом от идеи брака и отказом от идеи сыграть с ней в еще одной любительской

постановке, то, что ж, nolo contendere[14].

> Просто возвращайся, и мы будем жить во грехе с двумя раздельными машинами, раздельными банковскими счетами, раздельными домами и двумя раздельными завещаниями.

После того как он отправляет письмо, она довольно скоро появляется на пороге его бунгало, поздно ночью, с двумя билетами в Рим. В офисе возникают вопросы, но через два дня Рэй отправляется в немедовый месяц. В Вечном городе — обильно льющееся просекко, прекрасный свет, руины, треклятая уличная музыка, липы с их великолепными кронами и белые фонарики, вьющиеся по их изящным ветвям, — Дороти уже через три ночи спрашивает его — «Какого черта, а, Рэй?», — станет ли он ее законно приобретенным рабом, контрактно связанным с ней навсегда. В конце они бросают монетки через левое плечо прямо в фонтан Треви. Не самая оригинальная идея, и они вполне могут быть должны кому-то роялти.

---

[14] Примечания: 14

Не хочу оспаривать *(лат.).* Согласие обвиняемого понести наказание, не признавая свою вину.

Дороти и Рэй возвращаются в Сент-Пол прямо к Октоберфесту. Клянутся друг другу никогда никому не говорить, все отрицать. Но их друзья тут же догадываются, стоит паре появиться на публике, ухмыляясь. Что с вами случилось в Риме? Ничего особенного. Никому не нужна суперспособность читать лицевые мускулы, чтобы понять: они врут и не краснеют. Вас что, в тюрьму там посадили? Вы поженились? Вы, двое, поженились, да? Вы женаты!

И это не имеет никакого значения. Дороти снова переезжает к Рэю. Она настаивает на тщательной бухгалтерии, разделяя общие траты ровно пополам. Но что-то в глубине ее разума думает, пока она ходит по его милой библиотеке, гостиной и лоджии: «Когда это произойдет, когда придет время вывести потомство, когда я стану странной и с неистовством захочу размножаться, все вокруг перейдет моим детям!»

В первую годовщину он пишет ей письмо. Вкладывает в него много времени и усилий. Сказать все эти слова Рэй, скорее всего, не сможет, потому оставляет конверт на столе перед тем, как уйти на работу.

Ты дала мне то, о чем я никогда не меч-

тал, прежде чем узнал тебя. Как будто у меня было слово «книга», а ты вложила мне ее в руки. У меня было слово «игра», а ты научила меня играть. У меня было слово «жизнь», а потом пришла ты и сказала: «А! Ты имеешь в виду это».

Он говорит, на свете нет ничего, чтобы он мог подарить ей на годовщину, благодаря за то, что она уже дала ему. Ничего, кроме того, что может расти. «Вот что я предлагаю». Рэй не понимает, откуда у него взялась эта идея. Он совсем забыл о медленных, тяжелых пророчествах, которые пришли к нему откуда-то извне на первом спектакле, когда он играл человека, изображающего дерево.

Дороти читает его письмо, пока едет на машине в суд, чтобы там целый день расшифровывать записи слушаний.

Давай ездить в питомник каждый год, как можно ближе к этому дню, и покупать что-нибудь для нашего двора. Я ничего не знаю про растения. Я не знаю их имен и как о них заботиться. Я даже не могу отличить одну размытую зеленую штуку от другой. Но я могу научиться, ведь мне уже пришлось узнать заново все — само-

го себя, мои предпочтения и антипатии, ширину, высоту и глубину того, где я живу, — когда я оказался рядом с тобой.

Не все, что мы посадим, возьмется. Не каждое растение выживет. Но вместе мы сможем понаблюдать за теми, кто будет расти в нашем саду.

Пока Дороти читает, глаза ее затуманиваются, и она выезжает на тротуар и врезается в липу, достаточно широкую, чтобы от решетки радиатора ничего не осталось.

Липа, как оказывается, дерево радикальное, настолько же отличающееся от дуба, насколько женщина отличается от мужчины. Это дерево пчел, дерево мира, чьи настойки и чаи способны излечить все виды напряжения и тревог — дерево, которое нельзя спутать ни с чем другим, ибо во всем каталоге сотен тысяч земных видов только у его цветов и маленьких жестких плодиков есть распутные прицветники, чья единственная извращенная цель, кажется, утвердить свою собственную неповторимость. После этой засады липы придут за Дороти. Но полное усвоение займет годы.

Ей накладывают одиннадцать швов, чтобы

закрыть порез над правым глазом там, где она ударилась о рулевое колесо. Рэй срывается из офиса в больницу. В панике оставляет вмятину на заднем бампере докторской БМВ на больничной парковке. Он плачет, когда его ведут в хирургию. Дороти сидит на стуле, на голове бинты, она пытается читать. Все двоится. Имя компании на бинтах выглядит так: «Джонсон & Джонсон & Джонсон & Джонсон».

Ее глаза загораются, когда она видит его — обоих Рэев.

— РэйРэй! Дорогой! Что случилось? — Он кидается к ней, она отшатывается в смятении. Потом все понимает. — Тише. Все в порядке. Я никуда не ухожу. Давай посадим какое-нибудь растение.

ДУГЛАС ПАВЛИЧЕК

Полицейские появляются на площадке перед небольшой студией Дугласа Павличека в восточном Пало-Альто перед завтраком. Настоящие полицейские: милая деталь. Прямо реализм. Ему предъявляют обвинение в вооруженном ограблении и зачитывают права. Нарушение 211-й и 459-й статей Уголовного кодекса. Он не может не ухмыляться, пока его обыскивают и надевают на него наручники.

— Думаешь, это смешно?

— Нет. Нет, конечно, нет!

Ну, может, слегка.

Становится уже не так смешно, когда соседи выходят на балконы в своих пижамах, пока полицейские конвоируют Дугги к патрульной машине. Он улыбается — «Это не то, что вы думаете», — но эффект не очень, когда у тебя руки скованы за спиной.

Один из офицеров запихивает его на заднее сиденье. На дверях внутри нет ручек. Копы передают отчет об его аресте по радио. Все прямо как в «Обнаженном городе», хотя стоит совершенный августовский день в Центральной Флориде, и

мысль о том, что ему будут платить пятнадцать долларов в день, слегка разгоняет саундтрек. Дугласу девятнадцать, он уже два года как сирота, его недавно уволили с работы на складе в супермаркете, и он живет на родительскую страховку. Пятнадцать баксов в день целых две недели — это приличные деньги, когда ничего не делаешь.

В участке — настоящем полицейском участке — у него берут отпечатки, проводят дезинсекцию и завязывают глаза. Бросают на заднее сиденье машины и куда-то везут. Когда снимают повязку, Дуглас уже в тюрьме. Кабинет начальника, кабинет надзирателя и несколько камер. На ногах цепи. Все очень продумано, убедительно. Он понятия не имеет, где находится в реальной жизни. В каком-то офисном здании. Люди, которые руководят этим шоу, импровизируют, как и Дуглас.

Все охранники и большая часть заключенных уже на месте. Дугги получает номер 571. Охранники — просто сэры, с дубинками и свистками, униформами и солнечными очками. Они довольно резво орудуют палками, как для добровольцев. Вошли в роль, радуют экспериментаторов. Дугги раздевают, выдают ему спецовку. Они хотят уязвить его гордость, но он опережает их: у него ее просто нет. В этот вечер несколько раз проводят

«расчет» — перекличку и ритуальное унижение. На ужин сандвич с говядиной. Это все равно лучше того, чем питается Дугги.

Ближе к отбою Заключенный 1037 становится воинственным из-за слишком далеко зашедшей постановки. Охрана унижает его. Становится ясно: есть хорошие охранники, суровые и сумасшедшие. В присутствии других каждый скатывается на ступень вниз.

Только Дугги — 571 — удается задремать, как его вырывают с койки на очередной беспричинный расчет. Два тридцать ночи. Вот тогда все становится странным. Дугги понимает, что эксперимент вовсе не про то, о чем изначально говорили. Понимает, что здесь проверяют нечто куда страшнее. Но ему нужно протянуть всего-то четырнадцать дней. Тело может вынести две недели чего угодно.

На второй день стычка по поводу достоинства в Первой камере выходит из-под контроля. Сначала люди принимаются толкать друг друга, но все быстро ухудшается. Некоторые заключенные — 8612, 5704 и парочка других — баррикадируются в камере, подвесив кровати набок. Охранники вызывают подкрепление из ночной смены. Молодые мужчины пихают друг друга и хватаются

за остовы кроватей. Кто-то начинает орать: «Это симуляция, черт побери. Это все, блин, симуляция!»

А может, и нет. Охрана подавляет бунт огнетушителями, сковывает главарей и бросает их в яму. В одиночку. Никакого ужина для мятежников. Еда, как напоминают стражники, это привилегия. Дугги ест. Он знает, что такое голод. Номер 571 не будет голодать ради какого-то любительского театра. Остальные могут сходить с ума, если они так хотят провести время. Но никто не заберет у него горячую еду.

Охрана устанавливает привилегированную камеру. Если какой-нибудь заключенный захочет сказать, что знает о бунте, то сможет перенести свою койку в апартаменты пороскошнее. Сотрудничающие смогут умываться и чистить зубы, даже получать специальные блюда. Заключенному 571 привилегии не нужны. Он заботится о себе, но стукачом становиться не хочет. На самом деле никто из пленников не принимает предложение. Пока.

Охранники начинают рутинные обыски с раздеванием. Курение становится специальной привилегией. Поход в ванную становится привилегией. Либо ходишь в ведро, либо держишься

следующие два дня. Их отправляют на выматывающие, долгие и совершенно бессмысленные работы. Проводят переклички поздно ночью. Заставляют людей выносить ведра с дерьмом за другими. Любого, кого увидят ухмыляющимся, заставляют петь «Великую благодать» и размахивать руками. Заключенного 571 заставляют делать сотни отжиманий за каждое мелкое, высосанное из пальца прегрешение.

Охранник, которого все зовут Джоном Уэйном, говорит:

— А что если я скажу вам трахнуть пол? 571, ты — Франкенштейн. А ты, 3401, невеста Франкенштейна. Хорошо, а теперь целуйтесь, ублюдки.

Никто — ни охранники, ни заключенные — никогда не выходят из образа. Безумие. Эти люди опасны: даже 571 это видит. Все они совершенно вышли из-под контроля. И тащат его на дно за собой. Он начинает сомневаться, что протянет две недели. Обыкновенный вечер в студии за чтением объявлений о работе при тусклой лампочке кажется настоящей роскошью.

Какой-то мелкий инцидент во время расчета, и заключенный 8612 срывается с катушек.

— Позвоните моим родителям. Выпустите меня отсюда. — Но это невозможно. Его срок — две

недели, как и у всех. Он начинает бредить: — Это действительно тюрьма. Мы — настоящие заключенные.

Все видят, что делает 8612: симулирует безумие. Урод хочет сбежать из игры и оставить всех остальных кидать дерьмо лопатой оставшиеся дни. А потом притворство становится реальным.

— Боже, я горю! Внутри меня шлак! Я хочу наружу! Сейчас!

Дуг видел однажды, как парень сошел с ума, еще в школе. Это уже второй раз. От такого зрелища от мозгов омлет может остаться.

8612 уводят. Начальник тюрьмы не говорит куда. Эксперимент должен продолжаться в неизменном виде. Эксперимент должен расширяться. 571 и сам больше всего на свете хочет выйти. Но с другими он так поступить не может. Сокамерники навечно возненавидят его, как он теперь ненавидит 8612. Настоящее безумие — симптом хоть какой-то гордости, о которой раньше Дугги не имел ни малейшего понятия, — но он хочет сохранить репутацию 571 в неприкосновенности. Он не желает, чтобы какой-нибудь университетский психолог, всматриваясь сквозь двухстороннее зеркало и снимая все на пленку, сказал: «А, этот… его мы тоже сломали».

Приходит с визитом священник, католический тюремный капеллан. Настоящий, снаружи. Все заключенные должны повидаться с ним в камере для переговоров.

— Как тебя зовут?

— Пять семь один.

— Почему ты здесь?

— Говорят, я совершил вооруженное ограбление.

— И что ты делаешь, чтобы обеспечить свое освобождение?

Вопрос проникает в позвоночник 571 и доходит до кишок. Он должен что-то делать? А если не сделает — если не сможет сообразить, как поступить? Неужели они смогут удержать его в этом аду больше согласованного срока?

Следующий день нервный для всех заключенных. Охранники играют на их страданиях. Они заставляют пленников написать письма домой, но под диктовку. «Дорогая мама. Я облажался. Я злой». Один из них набрасывается на 819 за нерасторопность, и парень ломается. Власти точат на него зуб с самой баррикады и теперь бросают в яму. Его рыдания разносятся по всей тюрьме. Остальных заключенных выгоняют в главный зал на перекличку. Заставляют их петь:

«Заключенный 819 поступил плохо. Из-за того, что он сделал, мое ведро с дерьмом сегодня не вынесут. Заключенный 819 поступил плохо. Из-за того, что он сделал…»

Новый заключенный, 416, замена 8612, организует голодную забастовку. Парочка других пленников присоединяется к нему, но другие ругают за очередной наброс. Из-за неприятностей страдают все. 571 отказывается принять сторону. Он не активист, но и не капо. Все трещит по швам. Заключенные идут друг против друга. Но он не может во все это встревать. Говорит всем, что нейтрален. Но нейтральных больше нет.

Джон Уэйн угрожает 416.

— Жри сосиску, малец, не то пожалеешь.

416 бросает ее на пол, та катается в грязи. Прежде чем кто-либо понимает, что произошло, забастовщика бросают в карцер, грязная сосиска у него в руке.

— И ты будешь там сидеть, пока ее не съешь.

После чего следует объявление: если сегодня после отбоя любой заключенный откажется от своего одеяла, 416 отпустят. Если никто этого не сделает, то 416 проведет всю ночь в одиночке. 571 лежит на койке под одеялом и думает: «Это не жизнь. Это просто хреновая симуляция».

Может, он должен выступить против экспериментаторов, послать к чертям все их ожидания, превратиться в святого Супермена. Но черт побери: этого не делает никто. Все остальные ждут, что именно он будет сегодня спать в холоде. 571 ненавидит всех разочаровывать, но не он сказал 416 выкинуть тупой трюк. За две недели они могли просто наскучить друг другу до смерти, и тогда все было бы хорошо.

Всю ночь он лежит в тепле, но не спит. Не может не думать. А если бы все это было реальным? Если бы его посадили на два года, или десять, или двести? Упекли бы на восемнадцать лет за убийство, как пьяного учителя в Таунсенде, который врезался в «Гремлин» родителей, когда те возвращались с танцев? Бросили бы за решетку, и он сидел бы, как те невидимые миллионы человек по всей стране, о которых он даже никогда не думал? Он бы стал никем. Даже не Заключенным 571. Реальные власти превратили бы его во все что угодно.

На следующее утро проводят поспешное совещание. Начальника и коменданта вызывает высокое руководство. Какой-то мозговитый ученый на большом посту наконец-то просыпается и понимает, что люди такое делать не могут. Весь

эксперимент — настоящее, сука, преступление. Всех узников освобождают, дают помилование, выпускают из кошмара, продлившегося всего лишь шесть дней. Шесть дней. Это кажется невозможным. 571 едва помнит, кем был неделю назад.

Экспериментаторы опрашивают каждого, прежде чем выпустить его в мир. Но жертвы слишком взвинчены для размышлений. Охранники защищают себя, тогда как заключенные слетают с катушек от ярости. Дугги — нет, Дуглас Павличек — тоже тыкает пальцем в воздух. «Люди, которые это проводили, — так называемые психологи — должны сесть в тюрьму за нарушение этики». Но свое одеяло он не отдает. Теперь он навсегда будет парнем, который не выбирает сторону и не отдает одеяло, даже во время двухнедельного постановочного эксперимента.

Он выбирается из темницы и чувствует великолепный прекрасный воздух Центральной Калифорнии. Теперь-то Дуглас знает, где он: рядом со зданием факультета психологии, в

кампусе барона-разбойника[15]. Стэнфорд. Земля знаний, денег и власти, с бесконечным туннелем пальм и внушающими страх каменными галереями. Монастырь важных шишек, где Дуглас всегда боялся ходить или даже работать курьером, опасаясь, что здесь кто-нибудь его арестует как самозванца.

Ему дают чек на девяносто баксов и отвозят в его студию. Дуглас запирается в своем личном бункере, ест чипсы, размоченные в пиве, и смотрит передачи по маленькому черно-белому телевизору со смятыми рожками из фольги вместо антенн. Три недели спустя в новостях он видит, как где-то сотня американских вертолетов потеряна во время неудачной операции в Лаосе. Он даже не знал, что США были в Лаосе. Дуглас ставит банку пива на стол, сделанный из бухты для каната, у него странное ощущение, как будто он оставил водяной круг на чьем-то сосновом гробу.

Он не в себе, чувствует себя также, как в ту ночь, когда 416 кинули в карцер. Проводит по

---

[15] Примечания: 15

Основателя Стэнфордского университета Леланда Стэнфорда (1824–1893), политика, предпринимателя и промышленника, нередко причисляли при жизни к так называемым баронам-разбойникам, предпринимателям, которые нажили свое состояние бесчестно, эксплуатируя рабочих и монополизируя промышленность.

пышным кудрям, которые довольно рано и массово снимутся с лагеря. Что-то определенно не так в статус-кво, включая его самого. Он не хочет жить в мире, где одни двадцатилетние умирают, чтобы другие двадцатилетние могли изучать психологию и писать о совершенно двинутых на голову экспериментах. Дуглас отчетливо понимает, что война проиграна. Но это ничего не меняет. На следующее утро он приходит к вербовочному центру еще до открытия. Надежная работа и наконец-то честная.

ТЕХНИК-СЕРЖАНТ ДУГЛАС ПАВЛИЧЕК проводит двести с лишним мусоросборочных вылетов после зачисления в армию. Старший по погрузке на С-130 он распределяет на борту тонны защитного материала и взрывчатки класса А. Сбрасывает боеприпасы на землю под таким плотным минометным обстрелом, что воздух кипит. Рейсы туда набивает 2,5-тонными грузовиками, БТР-ми и паллетами с сухпайками, а обратно вывозит мешки с трупами. Любой, кто хоть чуть-чуть следит за происходящим, понимает, что дело уже давным-давно пахнет керосином. Но в психической экономии Дугласа Павличека наблюдение за реальностью далеко не так важно, как постоянная занятость. Пока есть работа, а

товарищи ставят радио с ритм-энд-блюзом, его не волнуют то, как поздно или рано они проиграют эту бессмысленную войну.

Из-за привычки вырубаться от дегидратации Дуглас получает прозвище Обморок. Днем он часто забывает попить. Вечером же, когда он временами чуть ли не на карачках обходит бары на Джомсуранг-роуд в Кхорате или петляет в секс-лабиринтах Патпонга в Бангкоке, городе ангелов, свободно льются реки «Меконга» и пенятся бочонки «Синьхи». От выпивки Дуглас становится забавнее, честнее, не таким уродом, и способен вести пространные философские беседы о предназначении жизни с тайскими рикшами.

— Ты отправляться домой?

— Еще нет, друг мой. Война не закончена!

— Война закончена.

— Не для меня. Последнему парню еще надо погасить свет.

— Все говорят, война кончиться. Никсон. Киссинджер.

— Киссинджер — сука, мужик. Премия мира, да в задницу!

— Да. На хер Ле Дык Тхо. Все теперь ехать домой.

Только Дугги не знает, где теперь его дом.

Когда не работает, он курит местную дурь и часами наигрывает басовые партии Rare Earth и Three Dog Night. Или шатается по разрушенным храмам — Аюттхайя, Пхимай. Что-то в разрушенных чеди его успокаивает. Обвалившиеся башни, проглоченные тиковыми деревьями, разбитые галереи, раскрошенные в щебень. Джунгли довольно скоро достанут Бангкок. И когда-нибудь — Лос-Анджелес. И это нормально. Не его вина. Простая история.

Чудовищные базы с ковровыми бомбардировщиками закрываются, и тысячи обслуживающих их местных торговцев в зависимой местной экономике начинают вести себя откровенно враждебно. Весь Таиланд понимает, к чему идет дело. Их заставили заключить союз с Белым дьяволом, и теперь оказывается, что они выбрали не ту сторону. Но тайцы, которых встречает Дуглас, исключительно добры к своему разрушителю. Он даже думает остаться здесь, когда его срок на службе и бесконечная война закончатся. Он был тут в хорошие времена и не должен уезжать, когда придут плохие. Павличек уже знает около ста слов по-тайски. Daai. Nit noi. Dee maak![16]

---

[16] Примечания: 16
Легко. Немного. Очень много! *(тайск.)*

Сейчас же он — почти дембель, летает на самом надежном транспортнике из когда-либо построенных. Это гарантия работы, хотя бы на несколько месяцев.

Вместе с экипажем он готовит «Птичку Герки» к очередному вояжу в Камбоджу. Они уже несколько недель пополняют запасы в Почентонге. Теперь пополнение превращается в эвакуацию. Еще месяц, может, два — не больше. Вьетконговцы везде, захлестывают, как летние дожди.

Дуглас пристегивается к откидному креслу, и они уже в воздухе, рутина, внизу неподвижная пышная растительность, зеленый мир, пятна рисовых плантаций и подступающие со всех сторон джунгли. Четыре года назад путь был зеленым вдоль рек до самого Южно-Китайского моря. А потом с неба полилось дерьмо из радужных гербицидов, двенадцать миллионов галлонов модифицированного растительного гормона, «Агент Оранж».

Они влетают в Красную страну, и спустя несколько минут их сбивают. Невозможно: по данным разведки и показаниям приборов все должно быть чисто до самого Пномпеня. Зенитные заряды врываются в кабину и грузовой отсек. Форман, бортмеханик, получает шрапнель в

глаз. Осколок взрезает бок штурману Нельсону, из него вываливается что-то теплое, влажное и совершенно неправильное.

Вся команда сохраняет странное спокойствие. Эта короткометражка ужасов уже давно заняла место в их снах, и вот наконец она происходит в реальности. От неверия они эффективны. Начинают действовать, помогают раненым, проверяют повреждения. Тонкие полосы грязного черного дыма сочатся из двух двигателей, оба по правому борту, что не очень хорошо. Через минуту полосы превращаются в клубы дыма. Страуб разворачивает самолет с диким креном, назад, к Таиланду и спасению. Надо пролететь всего-то пару сотен километров. «Геркулес» может вытянуть даже с одним двигателем.

А потом они начинают снижаться, как утка, приземляющаяся на озеро. Языки дыма пробиваются из грузового отсека. Слово вырывается изо рта Павличека, прежде чем он понимает, что оно значит: «Пожар!» На самолете, забитом топливом и боеприпасами. Дуглас пробивается к хвосту через распространяющееся пламя. Надо выбросить паллеты, прежде чем те загорятся. Он, Ливайн и Брэгг сражаются с креплениями и пазами. Текущий воздухопровод, разорванный

во время взрыва, льет на него плавящий пар. Жар обжигает левую сторону лица. Но он даже не чувствует этого. Пока.

Им удается сбросить весь груз. Одна из паллет взрывается по пути. Эта хрень детонирует практически в воздухе. И Павличек тоже летит к земле, как крылатое семечко.

ВНИЗУ ТРЕМЯ ВЕКАМИ РАНЕЕ покрытая пыльцой оса заползает в дырочку на конце инжира и откладывает яйца прямо на скрученный сад цветов, спрятанный внутри. У каждого из семисот пятидесяти видов фикуса есть своя уникальная оса, созданная для опыления. И эта конкретная нашла тот самый вид своей судьбы. Основательница отложила яйца и умерла. Оплодотворенный ею фрукт стал ее могилой.

Вылупившись, паразитические личинки стали питаться внутренностями соцветия. Но они вовремя остановились, не убивая кормящую руку. Самцы совокупились со своими сестрами, потом умерли внутри своей роскошной сладкой тюрьмы. Самки вылезли из нее и улетели, покрытые пыльцой, чтобы продолжить бесконечную игру где-то еще. Из оставленного ими инжира проклевывается красное зернышко — меньше, чем веснушки на кончике носа Дугласа Павличека.

Его съедает соловей. Зернышко проходит через кишки птицы и в капле помета падает с неба в изгиб другого дерева, а солнце и дождь проносят пробившийся побег мимо миллиона самых разных смертей. Он растет; его корни скользят вниз, постепенно поглощая хозяина. Проходят десятилетия. Века. Война на спинах слонов уступает место приземлениям на луну и водородным бомбам.

Ствол фикуса выпускает ветки, на ветках появляются листья. От веток побольше отходят отростки, спускаются до земли и получаются новые стволы. Со временем центральный стебель превращается в древостой. Фикус распространяется дальше, становится овальной рощей с тремя сотнями основных стволов и двумя сотнями малых. И тем не менее все это по-прежнему один фикус. Баньян.

* * *

СТАРШИЙ ПО ПОГРУЗКЕ ПАВЛИЧЕК летит брюхом вниз в голубом, кристально чистом воздухе. Свист в ушах его ошеломляет. Катастрофа парит где-то над головой, и там уже ничего решать не надо. Дуглас хочет лишь простить мир, забыть и падать. Ветер тащит его, куда захочет, в про-

винцию Накхон Ратчасима. Когда земля уже несется навстречу, готовая встретить, Дуглас оживает, раскрывает парашют. Пытается подлететь ближе к рисовой плантации, там, где вода и зеленые пучки. Но клеванты запутываются, он промахивается, начинает дергаться, и от этого на последней сотне футов пистолет в кобуре на бедре стреляет. Пуля входит в ногу над коленом, дробит большеберцовую кость и вырывается через каблук армейского ботинка. Крик пронзает воздух, а тело падает в ветви баньяна, этот лес из одного дерева, который рос три сотни лет, чтобы сейчас прервать полет Дугласа.

Ветви рассекают летную форму. Парашют саваном спутывает тело. Из-за рваных ран и ожогов, пулевого отверстия и раздробленной ноги Дуглас теряет сознание. Он висит в двадцати футах над землей на дружественной территории, лицом вниз, раскинув руки в объятиях священного дерева, размером больше некоторых деревень.

Сонгтхэу[17] с паломниками приезжает, чтобы почтить божественный баньян. Они идут через колоннаду воздушных ходульных корней к центральному стволу, который спустился вокруг

[17] Примечания: 17

Открытый пикап, средних размеров грузовик с оборудованными в кузове сидениями и навесом.

приемного родителя и задушил его столетия назад. В этом извилистом кряже установлено святилище, покрытое цветами, бусами, колокольчиками, текстами молитв, статуэтками из корней и священными нитями. Посетители торжественно идут к алтарю через запутанную перголу раскинувшихся ветвей, распевая на пали. В их руках палочки благовоний, складывающиеся коробочки для завтраков с *gang gai*[18], на шеях висят гирлянды из цветков лотоса и жасмина. Маленькие дети бегут вперед, распевая песни лук тхунг[19] так быстро, как могут двигаться их губы.

Они подходят к святилищу. Добавляют гирлянды к радуге подношений, паутиной висящих на ветвях. А потом небо падает, и ракета врезается в листву над ними. Благовонные палочки, гирлянды и коробочки для завтраков разлетаются от столкновения. От шока двое паломников падают на землю.

Хаос рассеивается. Паломники смотрят вверх. Над их головами висит огромный фаранг, угрожая

---

[18] Примечания: 18

Кусочки курицы, сваренные в кокосовом молоке *(тайск.).*

[19] Примечания: 19

Наиболее популярный стиль музыки в Таиланде, обычно песни повествуют о тягостях повседневной сельской жизни.

провалиться сквозь ветки и пролететь последний отрезок до земли. Они окликают иностранца. Тот не отвечает. Завязывается спор, как добраться до человека и вырезать из мертвой хватки фикуса и парашюта. Сержант-техник Павличек приходит в сознание от того, что несколько тайцев стоят на скамеечках и тыкают в него палками. Ему кажется, что он лежит на спине, покачивается в воздушном бассейне, пока опрокинутые люди склоняются над ним и хватают его из-под зеркальной поверхности. Чудовищно болят нога и лицо. Он кашляет, с губ свисает нить красной слюны. Дуглас думает: «Я умер».

«Нет, — голос рядом с его лицом поправляет его. — Дерево спасло тебе жизнь».

Три самых полезных слога из четырех лет в Таиланде пузырями всплывают изо рта Дугги. *«Mâi kâo chai».* Я не понимаю. После этого он снова теряет сознание, а земля под ним раскрывается и принимает его в себя. Он падает глубоко, это длинный, комфортный полет в царство корней. Дугги ныряет ниже уровня грунтовых вод, вниз, к началу времен, в логово фантастического создания, о существовании которого он даже не подозревал.

МЕСТНАЯ БОЛЬНИЦА решает не трогать ногу

американского солдата. Штатный сотрудник везет его в Кхорат в «мазде» кораллового цвета, на антенне которой развевается флажок с символом колеса сансары. Машина страдает одышкой, как задыхающийся водный автобус, за ней тянется такое же облако маслянистых выхлопов. Павличек лежит на заднем сиденье, под завязку накачанный обезболивающими, и смотрит, как за окном мелькают зеленые километры. Богатые низины, покатые холмы. «В воде есть рыба; в полях есть рис». Целый регион потонет, как лодка из бананового листа в тайфун. В это же время в следующем году Вьетконг будет загорать в «Сиам Интерконтинентал». Дерево спасло Дугги жизнь. Это не имеет смысла.

Когда эффект от инъекции начинает угасать, Павличек умоляет водителя убить его. Тот проводит пальцем по его рту:

— Нет злость.

В большую берцовую кость Дугласа вставили штифт. Доктор на базе в Кхорате подштопывает его и отправляет в госпиталь Фиф Филд в Бангкоке. Все члены команды Павличека выжили, по большей части — как гласит рапорт — благодаря ему. А он… он обязан жизнью дереву.

* * *

ВВС КАЛЕКИ НЕ НУЖНЫ. Дугласу выдают костыли, Крест ВВС — вторую по значимости медаль за отвагу из тех, что они раздают, — и бесплатный билет до Сан-Франциско. За награду он получает тридцать пять баксов в ломбарде «Френдли», что в районе Миссии. Павличек не уверен, то ли во «Френдли» помогли раненому ветерану, то ли кинули его на деньги. Впрочем, ему и не важно. После этого старший по погрузке Дуглас Павличек больше не пытается сохранить свободный мир.

Вселенная — это баньян, ее корни наверху, а ветки внизу. Иногда слова тонкой струйкой текут вверх по стволу к Дугласу, словно он все еще висит вверх ногами в воздухе: «Дерево спасло твою жизнь». Правда, они не утруждаются сообщить зачем.

ЖИЗНЬ ВЕДЕТ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. Девять лет, шесть работ, две недоразвитые любовные интрижки, три автомобильных номера, две с половиной тонны доброго пива и один постоянно возвращающийся кошмар. Заканчивается очередная осень, наступает зима, а Дуглас Павличек

берет молоток с шаровым бойком и делает выбоины в слегка шоссированной дороге, которая идет мимо лошадиного ранчо к Блэкфуту. Цель — заставить людей притормозить, чтобы он мог стоять у забора и хотя бы немного рассмотреть их лица. Скоро ноябрь, и ему придется отказаться от такого удовольствия.

Благодаря этой задумке у Дугласа выдается хорошая суббота после того, как он кормит лошадей и читает им. Схема работает. Если машина притормаживает, он вместе с собакой мелкой рысью идет рядом, пока водитель не открывает окно сказать «привет» или достать пушку. Так проходит парочка милых бесед, настоящих обменов любезностями. Один парень даже останавливается на минуту. Дугги понимает, что его поведение может показаться несколько эксцентричным. Но это Айдахо, и когда все время проводишь с лошадьми, твоя душа постепенно расширяется, пока людские нравы не становятся лишь костюмированной вечеринкой, которую благоразумно не принимать за чистую монету.

На самом деле в Дугги растет убеждение, что величайший недостаток человеческого вида в его непреодолимом стремлении путать истину с согласием. Самое большое влияние на то, во что

будет верить или не верить тело, оказывает мнение, транслируемое другими телами на общей полосе частот. Посади трех человек в комнату, и они решат, что закон всемирного тяготения — это зло, и его надо отменить, так как чей-то дядя накидался до чертиков и свалился с крыши.

Дугги как-то пытался внушить эту идею другим, правда без особого успеха. Но кусочек стали, плавающий рядом с позвонком L4, небольшая заначка из пенсии отставника, Крест ВВС (заложенный), запоздалое «Пурпурное сердце», чей реверс напоминает Дугласу сиденье туалета, и умелые руки, — все это делает его приверженцем категоричных мнений.

Павличек по-прежнему слегка хромает, размахивая молотком. Лицо у него стало длинным и лошадиным, словно он неосознанно имитирует животных, за которыми ухаживает. Он живет один семь месяцев в году, пока старые владельцы ранчо курсируют по другим хобби и домам. Горы окружают его с трех сторон. Единственное телешоу, которое он может посмотреть, это муравьиные бега. И все равно какая-то малая часть Дугласа хочет знать, нравятся ли его личные, немногочисленные мысли кому-то еще. Чужое одобрение: болезнь, от которой умрет вся чело-

веческая раса. И все равно он проводит вторую субботу октября, работая перед домом и надеясь, что хорошая выбоина замедлит народ.

Он уже собирается оставить свой пост и отправиться в сарай почитать Ницше с бельгийским тяжеловозом по кличке Вождь Много Подвигов, когда через холм чуть ли не на скорости звука переваливает красный «Додж Дарт». Заметив ряд выбоин, машина идет идеально управляемым юзом. Дугги вместе с собакой бегут к ней вприпрыжку. К тому времени, как они добираются до места, окно уже опущено. Оттуда выглядывает ярко-рыжая женщина. Дуглас сразу видит, что им много о чем можно поговорить. Им просто суждено стать друзьями.

— А почему тут такая раздолбанная дорога?

— Повстанцы, — объясняет Дуглас.

Она тут же поднимает стекло и уезжает прочь, наплевав на подвеску. Даже взглядом собеседника не удостаивает. Игра окончена. Почему-то это очень расстраивает Дугласа. Очередная последняя соломинка. Не остается жизненной силы даже для того, чтобы почитать «Заратустру» коню.

В эту ночь температура сильно падает, жесткие снежинки царапают лицо, словно вся природа

превратилась в калифорнийский салон по отшелушиванию. Дуглас отправляется в Блэкфут, где покупает месячный запас фруктовых коктейлей на случай, если рано придут заносы. В конце концов он оказывается в бильярдном баре, разбрасываясь серебряными долларами, как отработанными кусками алюминия.

— Ты должен быть готов сжечь себя в собственном пламени, — сообщает он доброй части клиентов. Это слова бывшего заключенного номер 571, которому вечно придется говорить о том, что он не дал одеяло сокамернику, когда должен был. Дуглас возвращается домой после восемнадцати раундов восьмерки, и в кармане у него больше денег, чем до поездки в город. Всю наличку он закапывает на северном пастбище, вместе с остальной заначкой, пока земля не слишком промерзла.

Зима здесь длиннее списка долгов цивилизации. Дуглас строгает. Из кучи оленьих рогов делает лампу, вешалку для пальто, стул. Думает о рыжей и таких, как она, великолепных, недосягаемых. Слушает, как животные делают гимнастику на чердаке. Заканчивает Ницше в мягкой обложке и начинает собрание сочинений Нострадамуса, сжигая страницу за страницей в

очаге, как только прочитывает ее. До белого каления ухаживает за лошадьми, каждый день ездит на них по кругу на внутренней арене и читает им «Потерянный рай», так как Нострадамус уж слишком его расстраивает.

Весной Дуглас берет 22-й калибр и отправляется с ним в чащу. Но не может нажать на спуск даже при виде хромого зайца. Что-то с Дугласом не так, и он это понимает. Когда в начале лета приезжают владельцы ранчо, он благодарит их и увольняется. Даже не уверен, куда поедет. С самого его последнего полета ответственным за погрузку такое знание было настоящей роскошью.

Дуглас хочет двигаться дальше на запад. Проблема в том, что единственный маршрут туда, кажется, все равно снова ведет на восток. Но у Дугласа есть его потертый, но надежный «Форд Ф100», новые шины, приличный запас налички, ветеранская инвалидность и друг в Юджине. Прекрасные проселочные дороги идут сквозь горы до самого Бойсе и дальше. Жизнь настолько хороша, насколько она была с тех пор, как он упал с неба в баньян. Радио в каньонах то появляется, то исчезает, как будто песни приходят откуда-то с луны. Кантри и блюграсс сливаются с техно. Дуглас

все равно не слушает. Он словно завороженный смотрит на стены голубых елей и субальпийских пихт, тянущихся на мили и мили. Сворачивает на обочину, чтобы облегчиться. В этих горах он мог бы помочиться прямо на середину шоссе, а человечество осталось бы не в курсе. Но дикость — это скользкий путь, как он часто говорил лошадям, читая книги. Потому Дуглас сходит с дороги и углубляется в лес.

И там — флаг приспущен, глаза смотрят в чащу, мочевой пузырь скоро снимет блокировку — Дуглас Павличек видит куски света сквозь стволы там, где тень должна бы царствовать до самого сердца леса. Он застегивает ширинку и отправляется на исследование. Углубляется в подлесок, но даль оборачивается близостью. Поход оказывается чрезвычайно коротким, и он снова выскакивает… это даже поляной не назвать. Скорее поверхностью луны. Пустыня, усеянная пнями, расстилается перед ним. Земля кровоточит красноватым шлаком, перемешанным с опилками и валежником. Во всех направлениях, насколько можно видеть, все вокруг походит на ощипанную дичь. Как будто сюда ударили лучи смерти с корабля пришельцев, и мир теперь просит разрешения умереть. Раньше Дуглас

видел что-то подобное лишь раз: когда он, «Доу» и «Монсанто»[20] помогали расчищать участки джунглей. Но здесь вырубка куда эффективнее.

Спотыкаясь, Павличек снова вступает в тень скрывающих пустыню деревьев, пересекает дорогу и вглядывается в лес с другой стороны. Лунный пейзаж тянется и там по горному склону. Дуглас заводит пикап и трогается с места. Маршрут напоминает лес, миля за изумрудной милей. Но теперь Дуглас видит, что это иллюзия. Он едет по тончайшей артерии притворной жизни, по маскировке, прячущей кратер от бомбы размером с независимое государство. Лес — это чистая декорация, умелое художество. Деревья напоминают пару десятков людей из массовки, которых наняли постоять в тесном кадре и притвориться целым Нью-Йорком.

Дуглас останавливается на заправке. Спрашивает кассира:

— А там, в долине наверху, лес вырубили, как понимаю?

Мужик берет у него серебряные доллары:

— Эт' точно.

---

[20] Примечания: 20

«Доу Кемикал» — международная химическая компания; *«Монсанто»* — многоотраслевая транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений.

— И спрятали вырубку за кулисами для избирателей?

— Они их называют полосами красоты. Видовыми коридорами.

— Но… разве это не национальный заповедник?

Кассир просто смотрит на него, словно в невероятной глупости вопроса кроется какой-то трюк.

— Я думал, что национальные заповедники — это защищенная земля.

Кассир чуть ли не дышит презрением:

— Не, вы имеете в виду национальные парки. А удел национальных заповедников — это вырубка, причем дешевая. Для любого покупателя.

Что ж — образование завело его куда-то не туда. Дуглас уже давно взял в привычку каждый день узнавать что-то новое. Этого маленького факта ему хватает на несколько следующих суток. Злость начинает закипать еще до Хорсшу-Бенд. Дело не просто в ста тысячах акрах, которые исчезли за время с утра до вечера. Он может смириться с фактом, что Медведь Смоки и Рейнджер Рик прикарманивают себе пенсии от

«Вейерхаузера»[21]. Но вот от этого намеренного, простодушного и тошнотворно эффективного трюка с древесным занавесом вдоль шоссе Дугласу хочется кому-нибудь врезать. Каждая миля его обманывает, прямо как они планировали. Все выглядит таким настоящим, девственным, неиспорченным. Он чувствует себя словно на Кедровой горе, из «Гильгамеша», книги, которую Дугги нашел в библиотеке на ранчо и прочитал лошадям в прошлом году. В лесу первого дня творения. Но оказывается, что Гильгамеш и его дружок-панк Энкиду уже прошлись тут и опустошили все вокруг. Самая старая история в мире. А ты можешь проехать через весь штат и даже ни о чем не узнать. Вот что приводит в ярость.

В Юджине Дуглас превращает внушительную башенку серебряных долларов в полет на небольшом винтовом самолете.

— Просто сделайте самый большой круг, который можете за такие деньги. Я хочу посмотреть с высоты, как там все выглядит внизу.

А выглядит все, как выбритый бок больного

---

[21] Примечания: 21

Медведь Смоки — это символ и рекламный образ Лесной службы США. *Рейнджер Рик* — это енот, символ Национальной федерации США по охране диких животных. *«Вейерхаузер»* — крупнейшая американская лесозаготовительная компания, во владении которой находится около 50 тысяч квадратных километров лесных угодий.

зверя, подготовленного к операции. Повсюду, во всех направлениях. Если бы этот вид показали по телевизору, то вырубку прекратили бы уже завтра. На скрывающей все поверхности планеты Дуглас три дня проводит на койке у друга, немой. У него нет капитала. Нет политического опыта. Нет хорошо подвешенного языка. Нет опыта в экономических делах и социальных ресурсов. У него есть только вырубка, раскинувшаяся до самого горизонта, подобно призраку, неважно, открыты глаза или нет.

Дуглас наводит справки. Затем направляет свои полторы ноги к подрядчику и нанимается сажать ростки в ободранную землю. Ему дают лопату и сумку Джонни Яблочного Семечка, полную ростков, за каждый из которых с него берут пару пенни. И обещают выплатить по двадцать центов за каждое посаженное дерево, оставшееся живым через месяц.

Дугласова пихта: самое ценное строевое дерево Америки, потому да, конечно — почему бы не вырастить питомник, в котором ничего иного больше не растет? Пять новых домов на акр земли. Павличек понимает, что разбрасывает семена для посредника, работающего на тех самых уродов, которые и срубили первородных

богов. Но он не хочет побеждать лесообрабатывающую промышленность или даже помогать природе мстить. Ему нужно просто зарабатывать на жизнь и как-то переделать эти вырубки, вид которых пробрался в него, как жук в древесину.

Дугги целыми днями ходит по безмолвным, наполненным жижей, покатым мертвым зонам. Он на четвереньках тащится по разбросанному мусору, оступаясь в непроходимом болоте, чуть ли не на руках выбираясь из хаоса корней, палочек, веток, сучьев, пней и стволов, волокнистых и искромсанных, оставленных гнить в спутанном кладбище. Он совершенствует искусство падать сотней разных способов. Он наклоняется, делает маленькую выемку в земле, кладет туда росток и закрывает ямку, аккуратно толкнув землю носком ботинка. Потом делает это снова. И снова. Рисует семенами звезды и рассеянные сети. На склонах холмов и в голых лощинах. Десятки раз за час. Сотни раз за день. Тысячи тысяч каждую неделю, пока все его пульсирующее тридцатичетырехлетнее тело не раздувается, словно наполненное ядом гадюки. В некоторые дни ему хочется отпилить свою хромую ногу напильником, но того не оказывается под рукой.

Дуглас спит в лесопосадочных лагерях, там

полно хиппи, нелегалов, суровых и довольно приятных людей, которые слишком устают к концу дня, чтобы много болтать. Когда он лежит ночью, закаменев от боли, в голову ему приходит афоризм — из тех, что он когда-то читал своим лошадям в прошлой жизни на ранчо. «Если ты держишь в руке саженец и тебе говорят, что пришел Машиах, сперва посади росток, а потом иди встречать Машиаха». Ни Дуглас, ни кони тогда в этой фразе ничего не поняли. Теперь он понимает.

Его переполняет запах вырубок. Влажный ящик для специй. Мокрая шерсть. Ржавые гвозди. Маринованные перцы. Ароматы возвращают Дугласа в детство. Заряжают необъяснимым счастьем. Погружают на самое дно самого глубокого колодца и держат там часами. А еще есть звук, хотя его уши словно забиты ватой. Сердитое ворчание пил и машин для валки леса где-то вдалеке. Тогда к Дугласу приходит истина: деревья падают с ужасным грохотом. Но высаживают растения в тишине, а рост их невидим.

В некоторые дни рассвет разражается артуровскими туманами. Иногда утром холод угрожает убить Дугласа, а полдень сбивает с ног так, что он падает на свою наполовину задеревеневшую

задницу. Вечера настолько полны синевой, что он лежит на спине и смотрит вверх, пока глаза не заслезятся. Иногда приходит черед глумящихся и безжалостных дождей. Дождей с весом и цветом свинца. Застенчивых дождей, боящихся сцены. Дождей, от которых на ногах начинает пробиваться мох и лишайник. Когда-то здесь был непроходимый лес, переплетенные друг с другом деревья. Они придут снова.

Иногда Дуглас работает рядом с другими людьми, некоторые из них говорят на языках, которые он даже не узнает. Он встречает путешественников, те хотят знать, куда подевались леса их юности. Сезонные *pineros*[22] приходят и уходят, но преданные делу, вроде Дугласа, продолжают работу. Но обычно есть только он и бессознательный, бессмысленный, голый ритм работы. Вклиниться в землю, присесть, посадить росток, встать и закрепить успех притоптыванием.

Они выглядят так жалко, его крохотные Дугласовы пихты. Похожи на ершики. На декорации к игрушечной железной дороге. Издалека, разбросанные по этим рукотворным лугам, они выглядят, как стрижка под «ежик» на лысеющем

---

[22] Примечания: 22
Сезонные латиноамериканские рабочие, занятые на лесных работах.

человеке. Но каждый хилый ствол, который он закапывает в землю, — это магический трюк, готовящийся тысячелетиями. Он сажает их тысячами, он их любит и доверяет им, как хотел бы доверять людям вокруг.

Оставленный в одиночестве, на милость воздуха, света и дождя, — вот в чем и кроется секрет — каждый саженец наберет десятки тысяч фунтов веса. Каждый сможет расти следующие шестьсот лет и посрамить самую высокую заводскую трубу. Он сможет принимать у себя поколения полевок, которые никогда не спустятся на землю, и несколько десятков видов насекомых, чьим единственным желанием будет ободрать хозяина до основания. Он сможет просыпать дождь из десяти миллионов иголок в год, выстраивая целые слои почвы, на которых могут взойти в небо новые сады.

Любой из этих нескладных ростков за время своей жизни сможет произвести миллионы шишек, маленьких желтых мужских, чья пыльца будет лететь по нескольким штатам, и свисающих женских, с их мышиными хвостиками, пробивающимися из-под чешуйчатых колец, — этот вид для Дугласа дороже его собственной жизни. И лес, который они выстроят заново,

он почти чует — смолистый, свежий, густой от желаний, от сока фруктов, которые не являются фруктами, с ароматом Рождества бесконечно старше Христа.

Дуглас Павличек работает на вырубке размером с центр Юджина и говорит «до свиданья» растениям, когда сажает их в землю. «Держитесь. Всего-то десять или двадцать десятилетий. Для вас, парни, это детская игра. Вам всего лишь надо нас пережить. Тогда не останется никого, кто бы мог вас поиметь».

НИЛАЙ МЕХТА

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ превратить людей в других существ, сидит в квартире над мексиканской пекарней в Сан-Хосе, смотрит кассеты с «Электрической компанией». На кухне его мать родом из Раджастана задыхается от облаков молотого черного кардамона, которые сталкиваются со струйками корицы от pan fino и conchas[23], поднимающимися из пекарни внизу. Снаружи, в Долине радости сердца, призраки миндаля, вишни, ореха, сливы и абрикоса разносятся на мили по всем направлениям, деревья лишь недавно принесли в жертву кремнию. «Золотой Штат», как все еще называют его родители мальчика.

Его отец, родом из Гуджарати, поднимается по лестнице, балансируя массивной коробкой на своей худосочной спине. Восемь лет назад он приехал в эту страну с двумя сотнями долларов в кармане, степенью по физике твердого тела и желанием работать за две трети зарплаты своих

---

[23] Примечания: 23

Pan fino и *conchas* — традиционные сладкие булочки, характерные для мексиканской кухни.

белых коллег. Сейчас он служащий номер 276 в фирме, переписывающей мир. Он, спотыкаясь, поднимается на два пролета под своим грузом, бормоча себе под нос любимую песню сына, которую они вечно поют перед сном: «Радость рыбам в глубоком синем море, радость тебе и мне».

Ребенок слышит его шаги и выбегает на площадку.

— Pita![24] Что это? Подарок?

Он — семилетний раджпут, который знает, что большая часть мира — это подарок для него.

— Позволь мне сначала зайти, Нилай, пожалуйста-благодарю. Подарок, да. Для нас обоих.

— Я так и знал! — Мальчик строевым шагом обходит стол, топая так громко, что щелкают стальные шарики на маятниковой игрушке. — Подарок на мой день рождения, на одиннадцать дней раньше.

— Но ты должен помочь мне построить его, — отец аккуратно ставит коробку на стол, спихивая на пол все подряд.

— Я — хороший помощник. — Мальчик рассчитывает на папину забывчивость.

— И это потребует терпения, над которым ты

---

[24] Примечания: 24
Папа *(хинди).*

работаешь, помнишь?

— Я помню, — заверяет его сын, уже разрывая коробку.

— Терпение — создатель всего хорошего.

Отец, положив руки ему на плечи, направляет мальчика на кухню. Мать загораживает дверь:

— Не входите сюда. Очень занята!

— Да, и тебе привет, *moti*[25]. У меня теперь есть компьютерный набор.

— Он говорит мне, что у него есть компьютерный набор.

— Это компьютерный набор! — вопит мальчик.

— Ну разумеется, ты заполучил компьютер! И теперь два мальчика могут поиграть.

— Это не совсем игра, *moti.*

— Нет? Тогда идите поработайте. Как я. — Сын взвизгивает и тянет отца за руку, ближе к загадке. Позади него раздается голос матери:

— Память на одну тысячу слов или четыре?

Отец расцветает:

— Четыре!

— Четыре тысячи, конечно. А теперь идите и сделайте что-нибудь хорошее.

---

[25] Примечания: 25
Жемчужина *(хинди).*

МАЛЬЧИК НАДУВАЕТСЯ, когда из коробки появляется зеленая стекловолоконная соединительная панель.

— Это компьютерный набор? Какая от него польза?

Отец глупо улыбается. Грядет день, когда эта штука изменит значение самого слова «польза». Он запускает руку в коробку и достает оттуда самую суть.

— Вот он, мой Нилай. Взгляни! — Он держит в руке чип длиной в три дюйма. Голова отца покачивается от удовольствия. На его аскетическом лице появляется выражение, опасно похожее на гордость. — Твой отец помог это сделать.

— Это он, Pita? Это микропроцессор? Похож на жука с квадратными ножками.

— О, но подумай о том, что мы сумели поместить внутрь.

Мальчик смотрит. Он вспоминает отцовские сказки на ночь за последние два года — истории о героических руководителях проекта и отважных инженерах, которые переживают больше злоключений, чем белая обезьяна Хануман и его армия. Семилетний мозг запускается и перепаивается, строит аксоны, дендриты, эти крохотные ветвистые деревья. Нилай улыбается, хитро, но

неуверенно:

— Тысячи и тысячи транзисторов!

— Ах ты моя умница!

— Дай мне подержать его.

— Тише-тише. Осторожно. Не дергай. Мы можем убить этого паренька еще до того, как он оживет.

Сын расцветает от сладкого ужаса:

— Оживет?

— Если… — Качается родительский палец. — Если мы правильно сделаем все спайки.

— И что он тогда будет делать, папа?

— А что, по-твоему, он должен делать, Нилай?

У мальчика широко распахиваются глаза, для него процессор превращается в джинна.

— Он делает все, что мы пожелаем?

— Нам только нужно сообразить, как поместить наши планы в его память.

— Мы поместим наши планы туда? И сколько туда влезет?

Этот вопрос останавливает отца, как часто случается с простыми вопросами. Отец стоит, потерянный во вселенском бурьяне, слегка сгорбившись от сильного притяжения мира, который посетил.

— Когда-нибудь в нем поместятся все наши

планы.

Сын презрительно фыркает:

— В эту крохотную штуку?

Мужчина подходит к книжной полке и стаскивает оттуда семейный альбом с вырезками. Пара перевернутых страниц, и отец в восторге восклицает:

— Хи! Нилай. Подойди, посмотри.

Фотография маленькая, зеленая и загадочная. Клубок огромных удавов выбирается из разбитого камня.

— Видишь, *на*[26]? Крохотное семечко упало на крышу храма. Спустя века храм рухнул под весом семечка. Но оно продолжает расти и расти.

Дюжины сплетенных стволов и корней кормятся на руинах стен. Усики пробираются в щели и разламывают камни. Корень, который толще отца Нилая, ползет над архитравом и вытекает над дверным проходом, подобно сталактиту. Это растительное зондирование ужасает мальчика, но он не может оторвать от него взгляд. Есть что-то невероятно животное в том, как стволы находят отверстия в кладке и внедряются в нее. Они чем-то походят на хоботы слонов. Кажется,

---

[26] Примечания: 26
Нет *(хинди).*

они знают, хотят, находят способ исполнить свои желания. Мальчик думает: «Что-то медленное и целеустремленное хочет вернуть каждое здание, созданное человеком, в землю». Но отец держит фотографию перед Нилаем так, словно на ней запечатлена счастливейшая из судеб.

— Видишь? Если Вишну может вложить такое большое дерево в зернышко вот такого размера… — Отец наклоняется к сыну, чтобы ущипнуть кончик его мизинца. — Только подумай о том, что мы можем вместить в эту машину.

СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ они собирают коробку. Все спайки хороши.

— А теперь, Нилай. Что сделать этому маленькому созданию?

Мальчик застывает от возможностей. Они могут выпустить в мир любой процесс, какой захотят, любую волю. Вот только выбрать что-то одно невозможно.

Из кухни раздается голос матери:

— Научи ее готовить бхинди, пожалуйста.

Они заставляют машину сказать «Привет, мир» закодированными вспышками. Заставляют сказать «С днем рожденья, Нилай, дорогой». Слова, которые отец и сын пишут, поднимаются и начинают что-то делать. Мальчику только ис-

полнилось восемь, но в этот момент он обретает дом. Он нашел способ превращать свои надежды и мечты в активные процессы.

Созданные им существа тут же начинают эволюционировать. Простая пятикомандная петля расширяется в прекрасную сегментированную структуру из пятидесяти линий. Небольшие отрезки программы отделяются в повторно используемые части. Отец подключает кассетный магнитофон для того, чтобы легко, за несколько минут загружать целые часы работы. Но надо правильно выставлять уровень громкости, иначе все взрывается ошибкой чтения.

Всего за несколько месяцев они переходят от четырех тысяч байт памяти к шестнадцати. Вскоре перескакивают снова, уже к шестидесяти четырем.

— Pita! Больше власти, чем любой человек когда-либо имел в человеческой истории!

Мальчик полностью погружается в логику собственной воли. Он приучает машину к лотку, тренирует ее часами, как маленького щенка. Та пока что хочет только играть. Запускать пушечные ядра через гору во врага. Прогонять крыс от урожая кукурузы. Крутить колесо фортуны. Уничтожить каждого пришельца в квадранте.

Написать слово до того, как повесят несчастного человечка из палочек.

Отец наблюдает за тем, что выпустил на волю. Мать сжимает полы блузы в кулаке и ругает всех мужчин в округе.

— Ты посмотри на мальчика! Он только сидит и печатает. Он же, как садху, словно в дурмане. Подсел, это же хуже жевания табака.

Упреки матери будут продолжаться годами, пока от сына не станут приходить денежные чеки. Но мальчик не удостоит ее ответа. Он занят созданием миров. Поначалу маленьких, но своих.

В программировании есть такая штука как ветвление. И именно этим занимается Нилай Мехта. Он будет реинкарнироваться, снова жить как человек всех рас, гендеров, цветов и вероисповеданий. Он будет поднимать разлагающиеся трупы и пожирать души молодых. Он будет разбивать лагеря высоко в кронах пышных лесов, лежать, изломанным, у подножия невероятно высоких утесов и плавать в океанах планет со многими солнцами в небе. Он всю свою жизнь проведет на службе масштабного заговора, запущенного в Долине радости сердца, цель которого — захватить человеческий мозг и изменить его настолько сильно, насколько еще не бывало с

самого изобретения письменности.

Есть деревья, которые разлетаются, как фейерверки, и деревья, которые вздымаются конусами. Деревья, которые стремятся вверх без единой помехи, триста футов прямо в небо. Широкие, пирамидальные, круглые, колонновидные, конические, искривленные: единственное, что у них есть общего, это ветки, они все похожи на Вишну, машущего множеством своих рук. Среди тех, кто раздается вширь, самые невероятные — это фикусы. Дерево-душитель, оно оплетает своими корнями стволы других и поглощает их, создавая пустую форму вокруг разложившихся хозяев. Дерево бодхи, Ficus religiosa, фикус священный, чьи листья оканчиваются необычным капельным острием. Баньяны раздуваются, как целый лес, сотня отдельных стволов дерется за свою долю солнечного света. Пожирающий храм фикус с фотографии отца теперь живет в мальчике. Усиливается с каждым обрывком многократно используемого кода. Это дерево будет расширяться, искать трещины, нащупывать пути для бегства, шарить в поисках новых хозяев. Следующие двадцать лет оно будет расти под руками Нилая.

А потом расцветет, став запоздалой благодарно-

стью мальчика за столь ранний подарок на день рождения. Его уважением к тощему маленькому папе, тащившему массивную коробку по лестнице. Его хвалой Вишну, известному Нилаю лишь по дешевым индийским комиксам, которые он никогда не прочтет. Его прощанием с видом, что из животного превращается в поток данных. Его попыткой воскресить мертвых и заставить их снова полюбить Нилая. Так много стволов, растущих вниз от одного дерева. Семя, зароненное в мальчика отцом, пожрет весь мир.

СЕМЬЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ДОМ недалеко от больницы Эль-Камино, в Маунтин-Вью. Три спальни: такая роскошь смущает Бабуля Мехту. Он по-прежнему ездит на машине, которой уже двадцать лет. Зато каждые пять месяцев улучшает компьютеры.

Риту Мехта паникует каждый раз, когда прибывает новая коробка.

— Когда это кончится? Ты пустишь нас по миру!

Гараж переполнен такой кучей старой техники, что машина туда больше не помещается. Но каждый компонент, даже самый устаревший, это чудо умопомрачительной сложности, созданное командой героических инженеров. Ни отец,

ни сын не могут выбросить эти отжившие свое диковины.

Черепашья скорость закона Мура мучит Нилая. Ему нужно больше оперативной памяти, больше операций в секунду, больше пикселей. Десятую часть своей юной жизни он ждет следующего ломающего барьеры апгрейда. Что-то внутри этих крохотных, переменчивых элементов жаждет выйти наружу. Скорее не так: эти медлительные штуки по идее должны делать что-то такое, чего люди пока даже не способны вообразить. И Нилай на пороге того, чтобы это найти и дать ему имя, если только он сможет отыскать правильные магические слова.

Нилай мелькает на школьном дворе, предавая свое детство. Он, конечно, наизусть заучивает все явки и пароли — ударные фразы из бесчисленных ситкомов, припевы из разрушающих мозг мелодий с радио, биографии пятнадцатилетних сексуальных старлеток, чья красота по идее должна сражать его наповал. Но по ночам он не думает о битвах на спортплощадке или о последних убийственных слухах, а видит во сне компактный прекрасный код, который делает так много, а тратит так мало — биты данных переходят от памяти к регистру, а затем к ак-

кумулятору и обратно в настолько прекрасном танце, что Нилай даже не может рассказать о нем друзьям. Они просто не поймут, как увидеть то, что он им покажет.

Каждая программа дает возможность. Лягушка пытается пересечь оживленную улицу. Обезьяна защищается бомбами в бочках. Под этими смешными квадратными скинами создания из другого измерения вливаются в мир Нилая. И есть лишь крохотный отрезок времени, когда можно увидеть их по-настоящему, прежде чем эти явления, которых никогда не было, превратятся в то, что существовало всегда. Через несколько лет ребенок, вроде него, получил бы когнитивно-поведенческую терапию от Аспергера и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, чтобы выровнять его неуклюжее человеческое общение. Но Нилай раньше всех ясно понимает: люди находятся под угрозой. Когда-то судьба человеческой расы находилась в руках хорошо приспособленных, социальных повелителей эмоций. Но теперь мир получил обновление.

Нилай читает запоем, пусть это и старомодно. Эпические полотна, в которых разворачиваются подлинные скандалы времени и материи.

Масштабные романы о ковчегах поколений, летящих в космосе. Города под куполами, словно гигантские террариумы. Повествования, которые разделяются и разветвляются на бесчисленное множество параллельных квантовых миров. Одну историю Нилай ждет еще до того, как натыкается на нее. И когда он все же находит этот рассказ, тот остается с ним навсегда, пусть потом ни в одной базе данных он не может разыскать следы его существования. Инопланетяне высаживаются на Земле. Они совсем крохотные, как это часто бывает с чужими. Но метаболизм у них такой, как будто завтра конец света. Они мечутся вокруг, словно рой мошкары, слишком быстрые, чтобы их заметить, — настолько быстрые, что земные секунды кажутся им годами. Для них люди — всего лишь скульптуры из неподвижной плоти. Чужаки пытаются установить с нами контакт, но никакого ответа нет. Не найдя признаков разумной жизни, они жадно вгрызаются в замершие статуи и начинают собирать их про запас, как огромную кучу вяленого мяса, для долгого путешествия домой.

ОТЕЦ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, о котором Нилай будет заботиться больше, чем о своих творениях. Они понимают друг друга без слов.

Оба несчастливы, если не сидят вместе перед клавиатурой. Дружеские подзатыльники, тычки в ребра. Подначки и смешки. И всегда этот кроткий, напевный ритм, склонив голову:

— Берегись, Нилай-джи! Будь осторожен. Не злоупотребляй своими способностями!

Целая огромная вселенная ждет, когда ее оживят. Вместе отец и сын должны сотворить возможности из мельчайших атомов. Нилай хочет нот и песен, но его машины немы. Потому вместе с отцом они создают свои собственные пилообразные сигналы, щелкая маленьким пьезодинамиком так быстро, что тот начинает петь.

Отец спрашивает:

— Каким образом ты стал созданием такой невероятной концентрации?

Мальчик не отвечает. Они оба и так знают. Вишну вложил все существующие возможности в их маленький восьмибитовый микропроцессор, и Нилай будет сидеть перед дисплеем, пока не освободит свое создание.

Уже взрослым Нилай сможет перетащить иконку и бросить ее в древовидную диаграмму, одним движением запястья совершая то, на что ему и его отцу понадобилось бы шесть недель работы по вечерам в подвале. Но никогда больше у него не

будет этого чувства непостижимого, что только и ждет, чтобы его постигли. В отделанном красным деревом лобби офисного комплекса, стоящего миллионы долларов и оплаченного галактикой, находящейся по соседству с этой, Нилай повесит доску со словами из своего любимого автора:

> Всякий человек должен быть способен вместить все идеи, и полагаю, что в будущем он таким будет[27].

* * *

ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ НИЛАЙ делает для отца бумажного змея к Уттараяне, большому фестивалю бумажных змеев. Но не настоящего, а даже лучше. Его они смогут запустить, и никто в Маунтин-Вью не будет считать их невежественными коровопоклонниками. Он пробует новую технику по анимированию спрайтов, о которой прочитал в размноженном на мимеографе журнале под названием «Любовь с первого байта». Идея умная и очень красивая. Ты вчерне набрасываешь воздушного змея в нескольких спрайтах, отправляешь их прямиком в видеопамять. Затем

---

[27] Примечания: 27
Хорхе Луис Борхес «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» *(пер. Е.Лысенко).*

перемешиваешь прямо на экране, как в кинеографе. Когда Нилай видит, как змей начинает еле заметно порхать, то чувствует себя богом.

Ему приходит в голову внезапная идея написать программу, которая сама могла бы быть запрограммирована. Позволить юзеру ввести мелодию по своему выбору, простыми буквами и цифрами, чтобы змей начал танцевать под этот ритм. От величия плана у Нилая кружится голова. Pita сам сотворит танец змея под реальную гуджаратскую мелодию.

Нилай заполняет блокнот с отрывными листами заметками, диаграммами и распечатками последней версии программы. Любопытный, отец как-то решает поинтересоваться, чем так занят сын:

— Что это, мистер Нилай?

— Не трогай!

Отец улыбается и кивает. Секреты и подарки.

— Да, Нилай, мой повелитель.

Мальчик работает над проектом, когда отца нет поблизости. Берет записи в школу, в этот лабиринт залов с организованными пытками, который послужит вдохновением для многих подземелий в будущих играх Нилая. Черный блокнот выглядит очень официально. Мальчик

притворяется, что делает в нем конспекты, а на самом деле работает над кодом. Учителя слишком польщены и ничего не подозревают.

План работает как часы до пятого урока — американской литературы с мисс Гилпин. Класс читает «Жемчужину» Стейнбека. Нилаю она даже нравится, например то место, где ребенка жалит скорпион. Скорпионы — невероятные существа, особенно гигантские.

Мисс Гилпин бубнит о том, что же символизирует жемчужина. Для Нилая это просто жемчужина. Он-то бьется над реальной проблемой: как синхронизировать танцующего змея с музыкой. Перелистывает страницы с распечатками, когда неожиданно выпрыгивает решение: два вложенных цикла. Как будто сами боги нарисовали его ярко-белым мелом на черной доске. Он бормочет про себя:

— О да!

Класс взрывается от хохота. Мисс Гилпин только что спросила:

— Ну никто же не хочет видеть, как умирает ребенок, разве нет?

Мисс Гилпин пронзает всех взглядом.

— Нилай. Что ты делаешь?

Он знает, что лучше молчать.

— Что в твоем блокноте?

— Компьютерная домашняя работа.

Все начинают снова смеяться от такой безумной идеи.

— Ты взял компьютерный курс? — Она качает головой. — Принеси мне блокнот.

На полпути до ее стола он думает, не стоит ли запнуться и растянуть лодыжку. Отдает мисс Гилпин записи. Она перелистывает их. Диаграммы, блок-схемы, код. Мисс Гилпин хмурится:

— Садись.

Нилай подчиняется. Учительница возвращается к Стейнбеку, пока Нилай тонет в озере несправедливости и стыда. После звонка, когда все уходят, он возвращается к столу мисс Гилпин. Он знает, почему она его ненавидит. Из-за таких, как Нилай, ее вид вымрет.

Она открывает блокнот на странице с таблицами, заполненными изображениями квадратного змея.

— Что это?

Она понятия не имеет об Уггараяне, или каково иметь такого отца, как у Нилая. Она — блондинка, родом из Вальехо. Машины — ее враги. Она думает, что логика убивает все хорошее в человеческой душе.

— Компьютерные записи.

— Ты — умный мальчик, Нилай. Что тебе так не нравится в английском? Ты же так хорошо разбираешь предложения. — Мисс Гилпин ждет, но Нилая ей не пересилить. Она стучит пальцем по блокноту. — Это какая-то игра?

— Нет. — По крайней мере, не в том смысле, что она думает.

— Тебе не нравится читать?

Нилаю жаль ее. Если бы она только знала, что может дать чтение. Галактическая Империя и ее враги летят по спиральному рукаву Млечного пути, ведут войны, которые длятся сотни тысяч лет, а она беспокоится о трех несчастных мексиканцах.

— Я думала, тебе понравился «Сепаратный мир».

Можно сказать, что понравился. От него даже перехватило дыхание, слегка. Но он не понимает, какое это имеет отношение к возврату его частной собственности.

— «Жемчужина» тебя не интересует? Эта повесть о расизме, Нилай.

Он стоит, мигает так, как будто установил первый контакт с чужим разумом.

— Я могу получить обратно свой блокнот? Я

больше не стану носить его в класс.

Ее лицо сморщивается. Даже Нилай видит, что сейчас предал ее. Она-то думала, что он в ее лагере, но за прошедшие недели он выскользнул за ворота и стал ей врагом. Она прикасается к блокноту и снова хмурится.

— Я его пока подержу у себя. Пока мы снова не найдем общий язык.

Через несколько лет ученики будут стрелять в учителей и за меньшее. Нилай же идет в ее кабинет в конце дня. Наполняет свой разум искренним извинением.

— Мне очень жаль, что я работал в своем блокноте, пока вы преподавали.

— Работал, Нилай? Вот что ты делал?

Она хочет признания. Она хочет, чтобы он поблагодарил ее за то, что она спасла его от праздных игр, пока остальные тяжело работали, добывая жемчужины из вымысла. Пятьдесят часов работы над воздушным змеем отца лежат в четырех футах от Нилая, но их никак не достать. Она хочет его унизить. В нем закипает ярость.

— Могу я получить обратно свой чертов блокнот? Пожалуйста?

Подобное слово для мисс Гилпин как пощечина. Ее взгляд останавливается, и она объявляет

войну:

— Это дисциплинарное взыскание. Ты выругался при учителе. Что скажут на такое твои родители?

Нилай застывает на месте. Мать сокрушит его одним могучим ударом, как при забое *jhatka*[28].

Мисс Гилпин проверяет часы. Уже слишком поздно отсылать ученика к директору. Ее молодой человек заедет за ней через десять минут. Вместе они посмеются над упрямством этого индийского мальчика с его блокнотом, исписанным иероглифами. Как он настаивал, что это не игра. Она превращается в опору власти.

— Я хочу, чтобы ты пришел сюда завтра утром, до первого звонка. Тогда мы поговорим о том, что ты наделал.

У мальчика стучит в висках кровь, горят глаза.

— Ты можешь идти. — Ее брови слегка приподнимаются, отдавая команду. — До завтра. Ровно в семь утра.

ЕМУ НУЖНО ПОДУМАТЬ. Нилай пропускает автобус и отправляется домой пешком. Стоит прекрасный день, Центральная Калифорния

---

[28] Примечания: 28

Jhatka (джхатка) — это мясо животного, мгновенно убитого ударом меча или топора. Такая практика забоя встречается у раджпутов, сикхов, а также у тех буддистов и индуистов, которые потребляют мясо.

странным образом имитирует рай — двадцать один градус, чистое небо, в воздухе густые запахи лавра и эвкалипта. Нилай плетется по своему стандартному маршруту вдвое медленнее обычного, мимо скромных бунгало среднего класса, за которые люди скоро начнут отдавать по полтора миллиона только для того, чтобы снести их и все построить заново. Ему надо составить план. Он выругался при учителе, старая прекрасная жизнь разбилась от единственного ужасного слова. Неуважение со стороны белых людей искалечит отца. «Терпение, Нилай. Сдержанность. Помнишь? Помнишь?» Слух пойдет и по общине индийских экспатов. Мать умрет от позора.

Нилай идет по папиллярным виткам засаженных деревьями улиц, этот район с трех сторон окружен тремя шоссе. За четыре квартала от дома мальчик решает срезать через парк, там он ходит, когда родители заставляют его выйти погулять. Дорога вьется среди низко нависающих *encinas*[29] с фантасмагорическими ветвями, которые растут здесь с тех пор, как Калифорния была самым дальним аванпостом Испании. Раньше Нилай замечал этот вид только в кино, если во-

---

[29] Примечания: 29
Дубы *(исп.)*.

обще замечал: исполины Шервуда, специальные леса, пугающие пилигримов и бросающие вызов изгнанникам. Когда Голливуду нужны деревья, он обращается к самому главному широколиственнику, а тот всегда со всем справляется.

Они манят, причудливые, грезоподобные, искривленные. Одна огромная ветка клонится к земле так, словно хочет прилечь и отдохнуть. Один прыжок, и с нее Нилай взбирается на насест, где располагается так, будто ему снова семь. Там он критически оценивает свою разрушенную жизнь. С высоты этой безумно нависающей ветки, глядя на тротуар, где два ребенка гоняют палкой камешки, а горбатая седая женщина выгуливает таксу, Нилай видит весь этот ужас глазами мисс Гилпин. Она имела право вынести ему выговор. И всё же украла его собственность. Вся катастрофа отсюда, с этого «вороньего гнезда», кажется, как бы выразилась мисс Гилпин, морально двойственной.

Нилай видит, как на извилистых дубовых ветвях сидят два мальчика из «Сепаратного мира». Наблюдает, как они играют в свои белые, богатые игры любви и войны на собственном дереве высоко над рекой. Далеко внизу коричнево-зеленая калифорнийская земля качается каждый раз,

когда ветер колышет ветки. Нилай почти ничего не знает о мире своих родителей, но одно в нем точно, как математика. Для индусов позор хуже смерти. Мисс Гилпин уже могла позвонить им, рассказав обо всех подробностях преступления. Голова пульсирует от одной только этой мысли, на языке привкус металла. Нилай слышит, как его мать воет: «Ты позволил этой женщине с крысиными волосами унизить всю свою семью?» Скоро вся далекая страна, с ее тетками, дядьями и кузенами, будет знать о том, что он натворил.

А его несчастный отец, который за годы научился быть невидимым, только чтобы жить и работать в Золотом штате? Он посмотрит на Нилая в ужасе, не понимая, откуда в его ребенке столько высокомерия, если он решил, что можно огрызнуться на представителя американской власти и после этого выжить.

Нилай смотрит на дорогу из дубовой крепости, его разум, как масса запутанного кода. Тут в нем проносится идея, мимолетный образ легкого мира. Если он слегка поранится, то, возможно, получит немного сочувствия. Нельзя бить раненого ребенка. По затылку бежит завораживающий холодок, прямо как во время просмотра старой «Сумеречной зоны». Идея безумна. Ему

надо собраться с силами, пойти домой и принять наказание. Он выглядывает из-за листвы, чтобы посмотреть на красивый вид, последний за долгое время. Родители посадят его под домашний арест на месяцы.

Нилай вздыхает. Делает шаг вниз, чтобы слезть на землю. И поскальзывается.

Годами он будет думать, не дернулись ли тогда ветки. Не решило ли дерево все за него. Сучья бьют во время полета вниз. Швыряют туда-сюда, как шарик в пинболе. Земля подскакивает вверх. Он падает на бетонную дорожку, удар приходится на копчик, отчего ломается основание позвоночника.

Время останавливается. Нилай лежит на разбитой спине, смотрит вверх. Купол над ним парит, как расколотая скорлупа, готовая разлететься на куски. Тысяча — или даже тысяча тысяч — ветвящихся отростков, увенчанных зеленью, простирается над мальчиком, то ли с мольбой, то ли с угрозой. Кора распадается; древесина становится прозрачной. Ствол превращается в ширящийся метрополис, сети сочлененных клеток пульсируют от энергии и жидкого солнца, вода поднимается по длинным тонким тростинкам, они собираются в кольца, а те, в свою очередь, — в

трубы, которые гонят растворенные минералы по сужающимся туннелям прозрачных веточек и дальше, наружу через дрожащие на ветру кончики, пока прямо внутри них сотворенные солнцем питательные вещества откладываются про запас. Колоссальный, растущий, вздымающийся космический лифт, состоящий из миллиарда независимых частей, запускает воздух в небо и хранит небо глубоко под землей, отделяя возможность от пустоты: это самый совершенный пример самопишущегося кода, который когда-либо видел Нилай. А потом его глаза закрываются от потрясения, и он отключается.

ОН ПРИХОДИТ В СЕБЯ через несколько дней, связанный ремнями и зажатый в тисках. Трубки сковывают его руки и ноги. Два валика прижаты к ушам, фиксируя голову. Нилай не видит ничего, кроме потолка, а тот вовсе не синий. Он слышит, как мать кричит: «Он открыл глаза». Не может понять, почему она все повторяет и повторяет эти слова, всхлипывая так, будто случилось что-то плохое.

Нилай лежит в облаке наркотического неведения. Иногда он — цепочка сохраненного кода в микропроцессоре размером больше города. Иногда путешественник в этой удивительной стране,

которую он пришел построить, где машины наконец-то достаточно быстры, чтобы угнаться за его воображением. Иногда его преследуют чудовищные, делящиеся на глазах усики.

Зуд сводит с ума. Каждое место над талией — недоступный огонь. Когда Нилай снова падает на землю, его мать рядом, свернулась калачиком на стуле рядом с кроватью. Она просыпается, почувствовав изменение в ритме его дыхания. Почему-то отец тоже тут. Нилай беспокоится: что скажет его начальство, когда узнает, что он не на работе?

Мать говорит:

— Ты упал с дерева.

Он не может связать все воедино.

— Упал?

— Да, — продолжает она. — Вот что ты сделал.

— Почему у меня ноги в трубках? Это чтобы я не ломал вещи?

Ее палец повисает в воздухе, потом касается его губ.

— Все будет хорошо.

Мать никогда не говорит подобного.

Медсестры постепенно снимают его с болеутоляющих. Когда лекарства заканчиваются, подступает боль. К Нилаю приходят люди. На-

чальник отца. Друзья матери по играм в карты. Они улыбаются так, словно делают зарядку. Их утешения жутко пугают.

— Ты через многое прошел, — говорит доктор. Но Нилай ничего не проходил. Его тело, возможно. Его аватар. Но он сам? В коде ничего важного не изменилось.

Доктор добрый, у него тремор в руке, когда та свободно висит, и глаза высматривают что-то высоко на стене. Нилай спрашивает:

— А вы можете снять эти тиски с моих ног?

Врач кивает, но не соглашается:

— Тебе еще надо поправиться.

— Но мне плохо, что я совсем не могу ими пошевелить.

— Сконцентрируйся на лечении. А потом мы поговорим о том, что будет дальше.

— Вы можете хотя бы ботинки снять? Я даже пальцами пошевелить не могу.

А потом Нилай понимает. Ему еще нет двенадцати. Он годами жил в своем собственном мире. Мысль о тысяче прекрасных вещей, которые сейчас исчезли из его жизни, даже не приходит ему в голову. У него по-прежнему осталось то, другое место: небеса в зародыше.

Но отец и мать, они разваливаются на части.

Наступают ужасные часы, целые дни неверия и отчаянного торга, которые Нилай даже не запомнит. Будут годы сверхъестественных решений, альтернативных практик и чудесных снадобий. Довольно долго из-за родительской любви его приговор будет казаться только хуже, пока они не вверятся мокше и не примут то, что их сын — калека.

ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЕЖИТ на тракционной кровати. Мать ушла по какому-то поручению. Возможно, не случайно. В дверях показывается его учительница, вся такая теплая и энергичная, она еще красивее, чем он помнит.

— Мисс Гилпин. Вот это да!

Что-то не то происходит с ее лицом. Правда, с его новой точки обзора, снизу, лица людей всегда выглядят неправильно. Она подходит ближе и трогает его за плечо. Это шокирует Нилая.

— Нилай, я рада тебя видеть.

— Я тоже рад вас видеть.

Все ее тело дрожит. Он думает: «Она знает про мои ноги. Вся школа знает». Хочет сказать: «Это не конец света». По крайней мере — значимого. Она говорит о классе и о том, что они сейчас читают. «Цветы для Элджернона». Он обещает прочитать книгу самостоятельно.

— По тебе все скучают, Нилай.

— Смотрите, — он указывает на стену, куда мать прилепила складную открытку, подписанную всем девятым классом. Мисс Гилпин срывается. Она беспомощна, ничего не может сделать.

— Все в порядке, — говорит ей Нилай.

Ее голова дергается, безумная от надежды.

— Нилай. Ты должен знать, я никогда не хотела… Я не думала…

— Я знаю, — говорит он и хочет, чтобы она ушла.

Мисс Гилпин закрывает лицо растопыренными руками. Потом роется в сумке и достает его блокнот. Программу со змеем для отца.

— Это принадлежит тебе. Я не должна была…

Он так рад, что даже не слышит слов, которые она все произносит. Нилай думал, что его записи пропали навсегда, еще одна вещь, которую он никогда не смог бы получить из жизни, что существовала до того, как дерево сбросило его на землю.

— Спасибо. Большое вам спасибо!

Из учительницы вырывается стон. Он смотрит на нее, а мисс Гилпин поворачивается и убегает. Душевное смятение Нилая исчезает, как только он открывает блокнот. Перелистывает страницы

и все вспоминает. Столько работы, столько хороших идей… сохранены.

Проходит шесть лет. Половая зрелость трансформирует Нилая. Мальчик вырастает в фантастическое создание: семнадцать лет, шесть футов шесть дюймов, сто пятьдесят фунтов, одно целое с инвалидным креслом. Его торс растягивается. Даже ноги, высохшие и похожие на толстые веточки, становятся идиотски длинными. Щеки двигаются, как континентальные плиты, кожа порождает косяки прыщей. Черные проводки пробиваются в некогда девственных интимных местах. Голос падает от дисканта до высокого тенора. Волосы длинные, как у сикхов, практикующих кеш, хотя он и не укладывает их в узел риши. Они толстыми плетьми ниспадают вокруг вытянувшегося лица и вниз по костистым плечам.

Нилай живет на своей катающейся металлической платформе — капитанском кресле космического корабля, бороздящего странные пространства мысли. Некоторые люди, которые не могут ходить, толстеют. Но эти люди едят. Нилай же может за целый день съесть лишь подсолнечных семечек центов на пятьдесят и выпить два содовых с кофеином. Конечно, он

редко тратит бессмысленные калории. Как только Нилай утром подкатывает к рабочему столу, его ЦПУ и ЭЛТ нужно гораздо больше энергии, чем ему самому. Пальцы парят над клавиатурой, глаза сканируют экран, и только мозг сжигает порядочное количество глюкозы, пока Нилай создает прототипы своих созданий, постепенно, восемнадцатичасовыми периодами, аккуратно, команда за командой.

Стэнфорд принимает его на два года раньше положенного. Кампус находится недалеко от Эль-Камино. Факультет компьютерных наук процветает, удобренный щедрыми пожертвованиями от основателей отцовской компании. Нилай привидением слонялся по кампусу с двенадцати летнего возраста. Задолго того, как он начинает официально учиться, он по факту становится символом факультета. «Ну вы знаете: астенический индийский паренек в навороченном кресле».

Что-то рождается в кишках полдюжины разных зданий, разбросанных по Ферме. Волшебные бобовые стебли возникают повсюду, за ночь. Они появляются в разговорах с друзьями, в подвальной компьютерной лаборатории, где зависает и программирует Нилай. Кодировщики, может, и

неразговорчивый народ, но ночью, по воскресеньям, они поднимают головы от своих циклов для того, чтобы неохотно выпить газировки и преломить пиццу с коллегами, попутно травя всякую философскую хрень.

Кто-то заявляет:

— Мы — третий акт эволюции. — Соус течет из его раззявленного рта.

Эта идея как будто приходит в голову всем. Биология была первой фазой, разворачивавшейся тысячелетиями. Потом культура ускорила трансформации до столетий. Сейчас же каждые двадцать недель появляется новое цифровое поколение, каждая подпрограмма ускоряет следующую.

— Число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые восемнадцать месяцев?.. В смысле, закон Мура надо воспринимать серьезно, мужик.

— Скажем, такая тенденция будет идти в течение всей нашей жизни. А мы можем прожить еще лет шестьдесят.

От столь безумных чисел раздается нервный смешок. Сорок сроков удвоения. Кучи рисинок до самой стратосферы на той самой пресловутой шахматной доске.

— Увеличение в триллион. Программы, которые будут в миллионы миллионов раз глубже и богаче, чем все, что до сих пор кто-либо написал.

Они замирают в спокойном восхищении. Нилай, повесив голову над нетронутой пиццей, смотрит на кусок, словно это задача по аналитической геометрии.

— Живые существа, — говорит он почти про себя. — Самообучающиеся. Самосозидающие. — Вся комната смеется, но он продолжает: — Настолько быстрые, что они будут думать, будто нас и вовсе не существует.

ПОНАЧАЛУ ВЕСЬ СМЫСЛ программирования заключается в том, чтобы все отдавать. Чистая филантропия. В общественном достоянии Нилай находит замечательный зародыш программы. Он ее конкретизирует, добавляет новые возможности, врубает модем на 1200 бодов, подключается к местному форуму и загружает исходный код для любого, кто захочет еще чуть-чуть вырастить его. Скоро его создания размножаются на хостах по всей планете. Каждый день люди по всему земному шару добавляют новые виды в хранилища. Как будто снова наступил Кембрийский взрыв, только этот идет в миллиарды раз быстрее.

Нилай раздает свой первый шедевр, пошаго-

вую безделушку, где ты играешь за монстра из японских фильмов, проедающего себе путь через столицы мира. Ее забирают сотни людей в десятках стран, пусть на скачку и уходит сорок пять минут. И какая разница, если игра поступает со временем так же, как чудовища с Токио? Вторая игра Нилая — о конкистадорах, разоряющих девственную Америку, — становится еще одним свободно скачиваемым хитом. В Юзнете создаются целые группы для обмена стратегиями. Программа генерирует новый, геологически реалистический Новый мир при каждом запуске. Она превращает в непоколебимого Кортеса любого парня, вкалывающего на упаковке в магазине.

Его игры порождают кучи имитаций. Чем больше люди крадут у него, тем лучше себя чувствует Нилай. Чем больше он отдает, тем больше имеет. С его точки зрения — в подвальной лаборатории, в вечном инвалидном кресле — на него наплывают целые новые континенты. Экономика дарения — свободное копирование хорошо оформленных команд — обещает наконец решить проблему дефицита и излечить голод в самой своей сути. Имя Нилая Мехты обретает небольшой легендарный статус среди пионеров. Люди благодарят его на телефонных форумах и в игровых новост-

ных группах. Дети из колледжа болтают о нем в чатах, словно Нилай — какой-то толкиновский персонаж. В Интернете никто не знает, что ты — выброшенный на мель долговязый фрик, который не может двигаться без помощи машин.

Но к восемнадцатому дню рождения Нилая рай начинает отращивать заборы. Бывшие филантропы свободного кода заводят речь об авторском праве и зашибают реальные деньги. У них даже хватает духу основывать частные компании. Нет, конечно, они по-прежнему торгуют вразнос флоппи-дисками в пластиковых пакетах, но уже понятно, куда идут дела. Общинные земли огораживают. Культуру дарения удушат в колыбели.

Нилай разносит предателей на каждой воскресной встрече местного клуба. Он тратит все свое время, воссоздавая самые популярные коммерческие предложения, улучшая их, а затем выпуская клона в общественное достояние. Нарушение авторского права? Возможно. Но каждая собственность, охраняемая авторским правом, покоится на десятках лет бесплатного искусства. Нилай целый год играет в Робин Гуда, вместе со своими весельчаками разбив лагерь в анархическом лесу под массивным дубом, который старше документов на землю, где он растет.

НИЛАЙ МЕСЯЦАМИ РАБОТАЕТ над ролевой космической оперой, которой предназначено стать его самой большой бесплатной игрой. Спрайтовая шестнадцатибитная графика с высоким разрешением, оживающая в шестидесяти четырех великолепных цветах. Он отправляется на охоту за сюрреалистическим бестиарием, его планетам нужны жители. Как-то весенним вечером он сидит в Стэнфордской главной библиотеке, рассматривает обложки палповых НФ-журналов Золотого века и перелистывает страницы Доктора Сьюза. Картинки напоминают своей безумной растительностью дешевые комиксы о Вишну и Кришне из его детства.

Решив передохнуть, он катит по кампусу к Серра-моллу, чтобы посмотреть, чем занимаются в лабораториях. Скоро сумерки, то самое время мягкого совершенства, что придает определенный привкус этому месту девять месяцев в году. Он отправляется к своему рабочему месту в сетевой лабе, воображая, что находится в приключении от первого лица. Парк Овал с его грандиозными пальмовыми арками уходит направо. Слева горы Санта-Круз выглядывают из-за галерей в фальшивом испано-романском стиле. Когда-то, в другой жизни, Нилай ходил по тропам там, наверху, под

красными деревьями, вместе с отцом и матерью. За горами, в тридцати минутах езды на подготовленном для инвалидного кресла фургоне, лежит океан. Пляжи и заливы вполне доступны для Нилая. Три месяца назад он даже туда ездил. Друзьям пришлось вынести его на берег и посадить на песок. Нилай сидел и смотрел на волны, наблюдал за ныряющими птицами, слушал их призрачные жалобы. Несколько часов спустя, когда друзья уже накупались, набросались «фрисби» и набегались друг за другом по пляжу, он был единственным, кто не хотел уезжать.

Нилай поворачивает на эстакаду в Мемориальный двор, проезжает мимо «Граждан Кале» Родена, статуй в человеческий рост. Ночь будет длинная, и надо запастись едой, чтобы хватило энергии. Он едет во внутренний двор, к заднему выходу и лучшим торговым автоматам. Думая о межгалактических планах, Нилай чуть не сбивает группу японских туристов, фотографирующих церковь. Извинившись и отъехав назад, он наезжает на пальцы пожилой женщины, впервые выбравшейся заграницу. Она сгибается, омертвев. Нилай выпутывается из затруднительного положения, круто забирает влево и смотрит вверх. Там, в кадке размером с машину, стоит са-

мый умопомрачительный организм, который он когда-либо видел. Это именно то, что он искал для межгалактической оперы. Живая галлюцинация из ближайшей звездной системы с другого конца космической червоточины. Смотрители наверное пронесли ее ночью, под покровом темноты. Или так, или он катался мимо нее каждый вечер, месяцами, но не замечал.

Он подъезжает к дереву и смеется. Ствол походит на огромную перевернутую кухонную спринцовку. Ветки уходят в сторону и топорщатся под нелепейшими углами. Он дотрагивается до коры. Дерево совершенно. Абсурдно. Явно что-то замышляет. На крохотной табличке надпись: BRACHYCHITON RUPESTRIS. КВИНСЛЕНДСКОЕ БУТЫЛОЧНОЕ ДЕРЕВО. Имя не объясняет ровным счетом ничего, а извиняет и того меньше. Это инопланетный захватчик, также, как и Нилай.

Он не может решить, что более невероятно; само дерево или то, что он его раньше не замечал. И тут на краю его зрения начинают мелькать формы. Что-то происходит за его спиной. У Нилая появляется жуткое чувство, что за ним наблюдают. Безмолвный хор в голове поет: «Повернись и посмотри. Развернись и узри!» Он разворачивается на месте. Все неправильно. Весь клуатр

изменился. Один гиперпрыжок, и Нилай приземлился в межгалактическом дендрарии. Со всех сторон ему машут яростные зеленые вымыслы. Создания, сотворенные для климата иных миров. Безумцы всех повадок и профилей. Нечто из настолько древних эпох, что по сравнению с ними даже динозавры — новички. Все эти сигналящие разумные существа вбивают его в сиденье. Нилай никогда не принимал наркотики, но наверное сейчас испытывает нечто похожее. Кремовые и желтые плюмажи; пурпурный водопад, который испаряется, прежде чем достигнуть земли. Деревья, похожие на какие-то дикие эксперименты, манят его из восьми больших кадок, каждое — как миниатюрный корабль-ковчег, отправившийся в другую систему.

Нилай катит кресло по двору. Его параплегическое тело напрягается от того, как безмолвный совет мерцает в своем неподвижном круге. Он приближается к очередному сьюзскому чудовищу, столь же чужому, как и первое. Читает надпись на табличке: дерево шелковой нити, из бразильских лесов, которые каждый день сжимаются на сто тысяч акров. Бородавчатые конусы с острыми кончиками покрывают ствол, эти шипы эволюционировали, чтобы отпугивать

пасущихся животных, которые вымерли десятки миллионов лет назад.

Нилай катится от кадки к кадке, трогая существ, нюхая их, прислушиваясь к их шелесту. Они прибыли со знойных островов и засушливого буша, из отдаленных долин Центральной Азии, куда только недавно ступила нога человека. Давидия, джакаранда, дазилирион, коричник камфорный, огненное дерево, павловния, караджонг, красная шелковица: неземная жизнь, которая поджидала его в засаде здесь, прямо в университетском дворе, пока он искал ее на отдаленных планетах. Нилай трогает кору и чувствует, как под древесной кожей пульсируют и гудят кишащие узлы клеток, подобно целым планетарным цивилизациям.

Японские туристы уже исчезли, вернулись на свой автобус до Галвеса. Нилай замер в пустом пространстве, как кролик, сбежавший от аллигатора. Он остается один не больше чем на пару секунд. Но в этот промежуток пришельцы-захватчики успевают внедрить в его лимбическую систему одну мысль. Появится игра в миллиарды раз богаче всего, что он до сих пор делал, и в нее одновременно будет играть бессчетное количество людей по всей земле. И именно Нилай

принесет ее в этот мир. Он будет лепить свое создание постепенными эволюционными этапами в течение десятилетий. Человек попадет прямо в середину живого, дышащего, клокочущего, анимистского мира, наполненного миллионом разных видов, мира, неимоверно нуждающегося в помощи игрока. А цель игры — понять, что же этот новый и отчаявшийся мир от тебя хочет.

Откровение заканчивается, Нилай снова оказывается во внутреннем дворе Стэнфорда. Видение, религиозное, темно-зеленое, бледнеет до своей платонической тени, дерева. Нилай не двигается, не хочет отпускать то, что его мозг каким-то образом предвидел, именно это маячило в конце кривой закона Мура. Ему придется бросить школу. Больше нет времени на уроки. Ему надо приготовиться к долгому забегу. Он закончит замысловатую космическую оперу, над которой сейчас работает, и выставит ее на продажу. Реальные деньги, земные доллары. Фанаты взвоют. Раскатают его на форумах как предателя. Но пятнадцать баксов за тридцать парсеков, игра, считай, все равно пойдет даром. Доходы от первой вылазки в чужой мир оплатят сиквел, игру, которая многократно превзойдет оригинал в амбициях. И такими маленькими шажками Нилай

доберется до цели, которую сейчас увидел.

Он выкатывается со двора, когда свет исчезает за горами. Холмы отбрасывают тени, голубой, как у кровоподтека, превращается в забывчиво-черный. Высоко наверху, там, куда не достает взгляд Нилая, по каменистым склонам ползет толокнянка, скидывает свою скручивающуюся красную кору. Благородные лавры окаймляют созданные лесорубами луга. Каньоны густеют от оранжевых земляничников, чья кора отшелушивается, обнажая сливочную, липкую зелень древесины. Каменные дубы, вроде того, что изувечил Нилая, собираются на утесах. А внизу, в прохладных прибрежных коридорах, где пахнет илом и разлагающимися иглами, секвойи работают над планом, на реализацию которого нужна тысяча лет, — планом, что теперь использует Нилая, хотя он считает, что идея принадлежит только ему.

ПАТРИЦИЯ ВЕСТЕРФОРД

На дворе 1950 год, и как юный Кипарис, о котором она вскоре узнает, маленькая Пэтти Вестерфорд влюбляется в своего ручного оленя. Он сделан из веточек, но вполне себе живой. А еще белки из склеенных скорлупок грецкого ореха, медведи из шариков ликвидамбара, драконы из стручков гимнокладуса, феи с шляпками желудей на голове и ангел, чьему телу из еловой шишки не хватает только крыльев из листьев падуба.

Пэтти строит этим созданиям затейливые дома с дорожками из гальки и грибной мебелью. Укладывает их в кровати с одеялами из лепестков магнолии. Она приглядывает за ними, руководящий дух королевства, чьи города примостились за закрытыми дверями в капах деревьев. Дыры от сучков превращаются в окна с жалюзи, через которые, прищурившись, Пэтти подглядывает за уютными гостиными деревянных жителей, потерянной родни людей. Она живет вместе со своими творениями в микроскопической архитектуре воображения, и они безмерно богаче даров полноразмерной жизни. Когда голова маленькой деревянной куклы отрывается, Пэтти

высаживает ее в саду, уверенная, что та отрастит себе новое тело.

Все ее создания из веточек умеют говорить, но большинство, как и сама Пэтти, не видят нужды в словах. Сама она молчала до трех лет. Два старших брата переводили ее тайный язык испуганным родителям, которые уже начали думать, что дочка умственно отсталая. Они отвезли Пэтти в Чилликот, где врачи в клинике провели тесты и выяснили, что у девочки деформация внутреннего уха. Ей выдали слуховые протезы размером с кулак, которые Пэтти возненавидела. Когда же ее собственная речь наконец потекла изо рта, то мысли спрятались под кашей из звуков, которую непосвященные понимали с трудом. Делу не помогало и то, что лицо у Пэтти было скошенным и как будто слегка медвежьим. Соседские дети бежали от нее прочь, от чего-то, что лишь отдаленно напоминало человека. Желудевые человечки куда великодушнее.

Только отец понимает ее деревянный мир, как он всегда понимает ее каждое невнятное слово. В сердце отца для нее есть почетное место, которое два брата принимают. С ними он может побросать мяч, рассказать пару шуток, поиграть в пятнашки. Но лучшие подарки всегда оставляет

для своей маленькой растительной девочки, Пэтти.

Эта близость беспокоит мать.

— Я тебя спрашиваю. Бывал ли еще на свете такой маленький народ из двух человек?

Билл Вестерфорд работает консультантом по вопросам сельского хозяйства, ездит по фермам в юго-западном Огайо, часто вместе с Патрицией. Та исполняет роль второго пилота в побитом «паккарде», салон которого отделан сосной. Война закончилась, мир отстраивается, страна пьяна от науки, ключа к лучшей жизни, и Билл Вестерфорд берет с собой дочь, чтобы та повидала мир.

Мать Пэтти против таких поездок. Девочка должна ходить в школу. Но мягкая властность отца убеждает ее.

— Со мной она научится большему, чем в любом другом месте.

За окнами уходят вдаль вспаханные мили, а отец и дочь в дороге проводят уроки. Билл смотрит на Пэтти, чтобы она могла все прочитать по его губам. Она смеется над его историями — хриплым, медленным рокотом — и воодушевленно отвечает на его вопросы так, словно бьет их ножом. Чего больше: звезд в Млечном пути или хлоропластов в одном листе кукурузы? Какие

деревья зацветают, прежде чем на них появятся листья, а какие после? Почему листья на вершине дерева всегда меньше, чем внизу? Если вырезать свое имя в коре бука на высоте четырех футов, как высоко оно окажется через пятьдесят лет?

Пэтти нравится ответ на последний вопрос: на высоте четырех футов. Без изменений. Неважно, как сильно вырастет дерево, надпись все равно останется на высоте четырех футов. Даже спустя полвека Патриции все еще нравится этот ответ.

Тем временем желудевый анимизм шаг за шагом перерождается в своего отпрыска, в ботанику. Пэтти становится для отца звездой и единственной ученицей по одной простой причине: она единственная из всей семьи видит то, что знает он. Растения своевольны, хитры и ставят перед собой цели, как и люди. Во время поездок отец рассказывает обо всех непонятных чудесах, которые могут замыслить зеленые соседи человека. Не только *Homo sapiens* ведут себя необычно. Иные существа — больше, медленнее, старше и прочнее людей — отдают приказы, создают погоду, кормят других и производят воздух.

— Деревья — это великая идея. Настолько великая, что эволюция изобретает ее снова и снова.

Он учит дочь, как отличать бахромчатую ка-

рию от овальной. Никто в ее классе не может отличить карию даже от виргинского граба. Это чрезмерно удивляет Пэтти.

— Дети в моем классе думают, что черный орех походит на белый ясень. Они что, слепые?

— Они слепы к растениям. Это проклятие Адама. Мы видим только то, что похоже на нас. Печальная история, разве не так, милая?

У отца и самого есть небольшая проблема с Homo sapiens. Он застрял между хорошими людьми, которые так и не смогли подчинить себе землю, и компаниями, желающими продать им арсенал для абсолютной власти. Если день выдается слишком нервным, Билл вздыхает и, когда его слушает только Пэтти с ее больными ушами, говорит:

— Ах, купить бы мне склон, что уходит прочь от города.

Они едут по земле, которую когда-то покрывали темные буковые леса.

— Это самое лучшее дерево, которое стоит увидеть.

Бук — сильный и раскидистый, но полный изящества, благородно расширяющийся книзу, у основания. Он дает так много орехов, они кормят всех, кто приходит к нему. Его гладкий, бело-

серый ствол больше похож на камень, чем на древесину. Листья цвета пергамента остаются на зиму — они увядающие, поясняет отец, — и ярко сияют на фоне голых ветвей соседей. Элегантный, с крепкими сучьями, так похожими на человеческие руки, ближе к концу они приподнимаются, словно ладони. Туманный и бледный весной, осенью бук сияет в воздухе золотом.

— А что с ними случилось? — Слова девочки еще труднее различить, когда они отягощены печалью.

— Мы случились. — Ей кажется, что отец вздыхает, хотя он никогда не отрывает взгляд от дороги. — Бук подсказывал фермеру, где надо пахать. Под ним всегда можно найти известняк, покрытый лучшей плодородной землей, которая нужна полю.

Они ездят от фермы к ферме, где всегда есть проблемы: одну в прошлом году поразила болезнь растений, на другой по весне исчез пахотный слой. Отец показывает Пэтти невероятные вещи: как разросшийся камбий платана поглотил раму старого велосипеда, десятилетия назад прислоненного к дереву. Как два вяза сплели руки и стали одним целым.

— Мы так мало знаем о том, как растут деревья.

О том, как они цветут, ветвятся, сбрасывают кору и лечат себя. Мы кое-что узнали лишь о некоторых, о тех, что живут в изоляции. Но нет ничего менее изолированного и более социального, чем дерево.

Отец Пэтти — ее вода, земля и солнце. Он учит ее, как видеть деревья, живую оболочку клеток под каждым квадратным дюймом коры, делающую то, что ни один человек еще не постиг. Он привозит ее к рощице уцелевших широколиственников в пойме медленной реки.

— Вот! Только посмотри! Посмотри на это!

Он указывает на полянку низких деревцев с большими свисающими листьями, похожих на пастушьих собак. Отец разминает в пальцах гигантский ложкообразный лист и дает Пэтти понюхать. Аромат едкий, как от гудрона. Билл поднимает с земли толстый зеленый плод, напоминающий огурец, и протягивает ей. Отец редко бывает настолько радостным. Армейским ножом разрезает фрукт надвое, открывая маслянистую мякоть и поблескивающие черные семена. Пэтти пробует дольку и ей хочется кричать от удовольствия. Во рту вкус карамельного десерта.

— Азимина! Единственный тропический фрукт, который сумел сбежать из тропиков. Самый боль-

шой, лучший, странный дикий фрукт, который когда-либо производил этот континент. И он растет просто так, прямо здесь, в Огайо. И никто о нем не знает!

Но они знают. Девочка и ее отец. Она никогда и никому не расскажет о местонахождении этой рощицы. Та будет принадлежать только им, и осень за осенью они будут есть бананы из прерий.

Наблюдая за отцом, плохо слышащая, с трудом говорящая Пэтти понимает, что настоящая радость — это понимать, что человеческая мудрость имеет меньший смысл, чем мерцание буков на ветру. Рано или поздно погода придет с запада, и точно так же все, что люди сейчас знают наверняка, изменится. Нет абсолютной уверенности, нет доподлинных знаний. Только смирение и наблюдение надежны.

Как-то Отец находит Пэтти на заднем дворе, она делает птичек из крыльев кленовых семян. На его лицо находит какое-то странное выражение. Он берет одно семечко и указывает на породившего его гиганта.

— Ты замечала, что клен выпускает больше семян, когда ветер дует вверх, а не вниз? А почему так?

Такие вопросы Пэтти любит больше всего в

мире. Она думает.

— Так они летят дальше?

Он прикладывает палец к носу.

— Именно! — Отец снова смотрит на дерево и хмурится, снова и снова размышляя над тем, что его занимает. — Как думаешь, откуда берется вся эта древесина, как такая кроха превращается в подобного исполина?

Ответ наугад.

— Из почвы?

— И как нам это проверить?

Они придумывают эксперимент. Насыпают двести фунтов земли в деревянную кадку, стоящую с южной стороны сарая. Потом вынимают треугольный буковый орех из купулы и помещают его в плодородный слой.

— Если видишь ствол, изрезанный надписями, то это бук. Такая гладкая серая поверхность всегда искушает людей, возлюби их Господь. Они хотят посмотреть, как их сердечки с буковками становятся больше, год за годом. «Влюбленные кору дерев терзают именами дев. Глупцы! Пред этой красотою возможно ль обольщаться тою?»[30]

Он рассказывает дочери, как слово beech — *бук*

---

[30] Примечания: 30

Эндрю Марвелл «Сад» *(пер. с англ. Г. Кружкова).*

— превращалось в book — *книга* — в одном языке за другим. Как еще в праязыке book разветвилось из буковых корней. Как буковая кора приютила первые буквы санскрита. Пэтти представляет, как их крохотное зернышко вырастает, чтобы покрыться словами. Но откуда же возьмется масса столь огромной книги?

— Следующие шесть лет мы будем поливать кадку и пропалывать ее. А когда тебе исполнится шестнадцать, мы снова взвесим дерево и почву.

Пэтти слушает отца и все понимает. Это наука, и она стоит в миллионы раз больше клятв любых людей.

СО ВРЕМЕНЕМ ПЭТТИ почти с отцовской сноровкой распознает, из-за чего увядает фермерский урожай или что его грызет. Отец перестает засыпать ее вопросами и начинает с ней советоваться, не перед фермерами, конечно, но позже, в машине, когда у них появляется минутка сообща подумать над тем, какие паразиты поразили то или иное поле.

На четырнадцатый день рождения отец вручает дочери «Метаморфозы» Овидия с соответствующими возрасту пропусками. На титуле надпись: «Моей дорогой дочери, которая знает, как велика и широка древесная семья». Патриция открывает

книгу на первой странице и читает:

«Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы новые»[31].

От этих слов она снова оказывается там, где желуди находятся лишь в шаге от лиц, а еловые шишки превращаются в тела ангелов. Пэтти читает книгу. Истории странные и текучие, древние, как само человечество. Но почему-то знакомые, словно она родилась, уже зная их. Повествование идет скорее не о людях, превращающихся в других живых существ, а о других живых существах, которые в минуты величайшей опасности каким-то образом вбирают в себя дикость внутри людей, что так и не исчезла. Сейчас тело Патриции тоже проходит через мучительную метаморфозу, она становится чем-то, чего совершенно не хочет. Раздаются вширь грудь и бедра, появляется пятно волос между ног, и так в Пэтти пробуждается зверь древнее ее самой.

Больше всего ей нравятся истории о том, как люди превращаются в деревья. Дафна стала лавром, прежде чем Аполлон смог поймать ее. Женщин, убивших Орфея, схватила сама земля, и они видели, как их пальцы превращаются в

---

[31] Примечания: 31
Перевод с латинского С. В. Шервинского.

корни, а ноги в стволы. Она читает про юношу Кипариса, которого Аполлон обратил в кипарис, чтобы тот мог вечно скорбеть о своем любимом олене. Пэтти краснеет, как свекла, как вишня, затем — как красное яблоко, из-за истории о Мирре, обернувшейся в мирт, после того как она забралась в кровать отца. И плачет над историей о верной паре, Бавкиде и Филемоне, которые после смерти столетиями жили как дуб и липа, так их наградили за то, что приняли в своем доме странников, оказавшихся богами.

Приходит ее пятнадцатая осень. Дни укорачиваются. Ночь приходит рано, деревья получают сигнал остановить проект по производству сахара, скинуть все уязвимое и очерстветь. Живица падает. Клетки становятся проницаемыми. Вода уходит из стволов, концентрируется, превращается в антифриз. Под корой дремлет жизнь, покрытая настолько чистой водой, что в ней не остается ничего, из-за чего бы она кристаллизовалась.

Отец объясняет технику трюка.

— Только подумай! Деревья сообразили, как жить неподвижно, без какой-либо защиты, на семи ветрах при минус тридцати градусах.

Этой зимой Билл Вестерфорд затемно возвра-

щается домой, когда «паккард» наезжает на черный лед и слетает с дороги в канаву. Отца Пэтти выбрасывает из машины, тело пролетает двадцать пять футов, после чего врезается в изгородь из маклюр, которые фермеры посадили полтора века назад.

На похоронах Пэтти читает «Метаморфозы». Превращение Бавкиды и Филемона в деревья. Братья думают, что она лишилась разума от горя.

Она не позволяет матери выбросить вещи отца. Кладет его трость и шляпу в своего рода святилище. Сохраняет драгоценную библиотеку — Олдо Леопольд, Джон Мьюр, тексты по ботанике, сельскохозяйственные брошюры, которые отец помогал писать. Находит Овидия, издание для взрослых, все в пометках, как люди пишут на буках. Уже первая строчка подчеркнута трижды: «Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы новые».

СТАРШАЯ ШКОЛА пытается убить ее. Скрипка в оркестре — под подбородком клен воет о старых горных воспоминаниях. Фотография и волейбол. У Патриции даже есть подруги, ну или почти подруги, они хотя бы понимают реальность животных, если не растений. Драгоценности Пат-

рицию не интересуют, она одевается во фланель и джинсу, носит с собой складной нож, а длинные волосы заплетает косами вокруг головы.

Появляется отчим, человек достаточно умный, чтобы не пытаться ее переделать. Один тихий мальчик два года мечтает о том, чтобы пойти с ней на выпускной бал, но его мечте суждено умереть от дубового кола в сердце.

В восемнадцать лет Патриция готовится к переезду в Восточный Кентукки, там она будет изучать ботанику, и тут вспоминает о буке, который растет в кадке рядом с сараем. Патрицию охватывает стыд: как она могла на целых два года забыть об эксперименте? Об обещании, данном отцу? И пропустила свой шестнадцатый день рождения.

Весь вечер она освобождает дерево от почвы, тщательно стряхивает комочки земли с корней. Потом взвешивает растение и среду, которая его питала. Легчайшее семечко теперь весит больше Патриции. А вес земли не изменился, максимум ушла пара унций. Другого объяснения нет: практически вся древесная масса пришла из воздуха. Ее отец знал об этом. Теперь знает и она.

Патриция высаживает эксперимент за домом, там, где они с отцом любили сидеть летними

ночами и слушать то, что другие люди называли тишиной. Она вспоминает то, что он говорил об их виде. Человек, возлюби его Господь, должен оставить автограф на каждом буке в мире. Но некоторые люди — некоторые отцы — сами исписаны деревьями сверху донизу.

Прежде чем уйти, Патриция делает крохотную зарубку складным ножом в гладкой книгоподобной коре ствола, в четырех футах над землей.

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОГО КЕНТУККИ превращает Патрицию в нечто новое. Она расцветает, как растение, обращенное на юг. В кампусе потрескивает атмосфера шестидесятых, перемена погоды, запах удлиняющихся дней, аромат возможностей разбивает гипс устаревших мыслей, и чистый ветер катится с холмов.

В ее комнате куча растений в горшках. Другие тоже разбивают ботанические сады между рабочим столом и койкой. Но только у нее на терракотовых горшках виднеются полоски с данными. Ее друзья разводят гипсофил и голубоглазые фиалки, а она выращивает череду, кассию и другие эксперименты. Также она заботится о бонсай, можжевельнике, который выглядит так, словно ему уже тысяча лет, шипастом хайку без всякой научной цели.

Иногда по ночам Патрицию приходят проведать девчонки сверху. Она — их проект, домашнее животное. «Давай напоим Растительную Пэтти. Давай познакомим Растительную Пэтти с тем битником с экономического». Они глумятся над ее старательностью и прилежанием, смеются над ее призванием. Заставляют слушать Элвиса. Одевают в облегающие платья без рукавов и делают ей начесы. Называют Королевой Хлорофилла. Она не из их стаи. Пэтти не всегда хорошо их слышит, а когда это все же случается, их слова не всегда имеют смысл. И все же истеричные млекопитающие сородичи иногда вызывают у Патриции улыбку: вокруг сплошные чудеса, а им все равно нужны комплименты для счастья.

На последнем курсе Пэтти получает работу в оранжереях кампуса — два часа, украденных у утра перед занятиями. Генетика, физиология растений и органическая химия занимают все ее вечера. Она каждую ночь занимается в библиотечной кабинке, пока библиотека не закрывается. Потом читает для удовольствия, пока не засыпает. Иногда открывает томики, которые дают ей друзья: «Сиддхартха», «Голый завтрак», «На дороге». Но ничего не трогает ее больше «Естественной истории» Питти и книг с

отцовской полки. Теперь они постоянно придают ей силы. Их фразы ветвятся и поворачиваются, чтобы поймать солнце:

> Падали престолы и поднимались новые империи; рождались великие идеи и создавались великие картины, а мир революционизировали изобретения и науки; и тем не менее ни один человек по-прежнему не может сказать, какой век отмерен дубу, или какие государства и веры он переживет…
>
> Там, где скачет олень, где плещет форель, где ваша лошадь останавливается, чтобы испить ледяной воды, пока солнце греет вам затылок, где каждый новый вздох пьянит — там растут тополя…

И о любимом дереве отца:

> Пусть другие деревья вершат работу мира. А бук пусть стоит там, где не уступает и пяди…

Патриция так и не стала лебедем. И все же выпускница, появившаяся из гадкого утенка, поступившего на первый курс, знает, что любит и

как намеревается провести свою жизнь, а юность в любое время редко может похвастаться подобным. Те, кого Патриция не отпугивает, находят ее словно по запаху, эту колкую, непритязательную, прямолинейную девушку, которая избежала унижений постоянной социальной уступчивости. К изумлению Патриции у нее даже появляются ухажеры. Что-то в ней оживляет парней. Конечно, не внешность, но едва заметная особенность походки, мужчины оборачиваются Патриции вслед и не могут понять почему. Независимое мышление — сама по себе сила притяжения.

Когда к ней подходят знакомиться, она назначает свидание на Ричмондском кладбище — то обеспечивает нужды мертвых с 1848 года. Иногда парни убегают сразу, и на этом все. Если же они остаются и хотя бы упоминают в разговоре деревья, она встречается с ними вновь. Желание, записывает Патриция в своих полевых блокнотах, оказывается бесконечно вариативным, самым сладостным из фокусов эволюции. И в весенних бурях пыльцы даже она превращается во вполне привлекательный цветок.

Один парень не уходит, месяц за месяцем. Энди, с английской филологии. Он играет вместе с Патрицией в оркестре, любит Харта Крейна, О'Нилла

и «Моби Дика», хотя и не может сказать почему. Он может заставить птиц сесть себе на плечо. Ждет, пока что-нибудь не явится и не искупит его бесцельную жизнь. Как-то вечером, за партией в криббидж, он говорит, что, возможно, она — та, единственная. Патриция берет его за руку и ведет к узкой кровати. Неуклюжие и зеленые, они снимают с себя шелуху одежды. Десять минут спустя она превращается в дерево, но жалеть ее немного поздно.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ начинается в магистратуре. Иногда по утрам в Уэст-Лафейетте удача Патриции Вестерфорд пугает ее саму. Лесохозяйственный факультет. Она кажется себе недостойной. Университет Пердью платит ей за изучение предметов, которыми она хотела заниматься годами. Ей дают пищу и кров за то, что она преподает студентам ботанику, а за такое она бы с удовольствием доплатила сама. К тому же ради исследования ей надо целыми днями торчать в лесах Индианы. Это анимистский рай.

Но есть и подвох, как становится очевидно ко второму году. На семинаре по лесному хозяйству профессор заявляет, что коряги и бурелом необходимо убирать для оздоровления леса. И это кажется странным. Здоровому лесу нужны мерт-

вые деревья. Они же там были с самого начала. Их используют птицы и маленькие млекопитающие, на них живет, ими питается больше насекомых, чем наука когда-либо подсчитает. Патриция хочет поднять руку и сказать, прямо как Овидий, что вся жизнь превращается в новые формы. Но у нее нет данных. Есть только интуиция девочки, которая все детство провела, играя в лесной подстилке.

А потом она видит. Что-то не так со всей отраслью, причем не только в Пердью, но и по всей стране. Люди, заведующие американским лесным делом, мечтают лишь о том, чтобы с максимальной скоростью получать ровные, чистые однородные зерна. Они говорят об «экономичных» молодых лесах и «нездоровых» старых, о «среднегодовом приросте» и «экономической зрелости». Патриция уверена, что однажды мужчины, руководящие здесь всем, падут, в следующем году или еще через год. Из павших стволов их верований пробьется богатый новый подлесок. И там она будет процветать.

Она проповедует эту тайную революцию студентам.

— Через двадцать лет вы оглянетесь назад и поразитесь тому, что каждый умный человек в

лесном деле считал самоочевидной истиной. Это рефрен любой хорошей науки: «Почему же мы этого не видели раньше?»

Она ладит с коллегами по магистратуре. Ходит на барбекю и фестивали народной музыки, даже умудряется принимать участие в кафедральных сплетнях, при этом оставаясь независимым государством. Как-то ночью случается головокружительное и дикое недопонимание с женщиной с кафедры фитогенетики. Патриция запирает этот неуклюжий инцидент в ящик собственного сердца, чтобы больше никогда его оттуда не доставать.

Тайное подозрение отделяет ее от коллег. Она уверена, хотя у нее нет никаких доказательств, что деревья — социальные существа. Для нее это очевидно: неподвижные создания, которые растут смешанными массовыми обществами, должны были развить методы синхронизации друг с другом. Природа практически не знает одиноких деревьев. Но из-за подобных воззрений Патриция оказывается на необитаемом острове. Горькая ирония: вот она здесь, с людьми своих взглядов, но даже они не видят очевидного.

Пердью получает один из первых прототипов квадрупольной системы газовой хромато-масс-

спектрометрии. Какие-то языческие боги приносят машину прямо к Патриции как награду за ее постоянство. Теперь она может измерить, какие летучие органические соединения выделяют в воздух древние исполины Востока, и что эти газы делают с их соседями. Она забрасывает эту идею научруку. Люди понятия не имеют о том, что делают деревья. Это целый новый зеленый мир, созревший для открытий.

— И что полезного мы из этого получим?

— Возможно, ничего.

— А почему вы хотите проводить исследования в лесу? Почему не на контрольных делянках в кампусе?

— Нельзя изучать диких животных, отправившись в зоопарк.

— Вы думаете, что культивированные деревья ведут себя не так, как деревья в лесу?

Патриция в этом уверена. Но его вздох ясен без слов: девушки, занимающиеся наукой, похожи на медведей, катающихся на велосипедах. Возможно, но диковато.

— Я зарезервирую несколько деревьев на лесном участке. Так будет проще и сэкономит вам время.

— Но спешки нет.

— Это ваша диссертация. Вам время терять.

Она теряет его с огромным удовольствием. Работа не слишком привлекательная. Надо прикреплять нумерованные пластиковые мешки к кончикам веток, затем собирать их через определенные временные интервалы. Она делает это снова и снова, бездумно и молча, час за часом, пока весь мир вокруг нее неистовствует от убийств, расовых бунтов и войны в джунглях. Она целыми днями работает в лесах, по ее спине ползают клещи, по голове — вши, во рту — листовой гумус, в глазах — пыльца, паутины шарфами висят вокруг лица, на руках браслеты ядовитого плюща, колени содраны о землю, нос покрыт спорами, внутренняя часть бедер напоминает шрифт Брайля из-за укусов ос, а сердце также счастливо, насколько щедр день.

Патриция приносит собранные образцы в лабораторию и час за часом монотонно ломает голову над концентрациями и молекулярным весом, определяя, какие газы выдыхало каждое из ее деревьев. Там должны быть тысячи соединений. Десятки тысяч. Скука приводит Патрицию в восторг. Она называет такое состояние парадоксом науки. Это самая мозгодробительная работа, которую только может делать человек, но именно

она способна заставить разум увидеть, что еще, кроме него, действительно существует в мире. И Патриция идет к цели под пятнами солнца и дождем, смрад перегноя забивает ей нос неумолимо терпкой жизнью. Здесь, в лесах, отец снова с ней, дни напролет. Она задает ему вопросы вслух, и сам этот процесс проговаривания помогает ей видеть. Что заставляет чагу расти на определенной высоте ствола? Сколько квадратных метров солнечной панели производит то или иное дерево? Почему существует такая огромная разница в размерах между листьями ирги и платана?

Фотосинтез, говорит Патриция студентам, это чудо: достижение химической инженерии, лежащее в основе всего собора творения. Вся мишура жизни на Земле — лишь безбилетница в этом ошеломляющем магическом действе. Секрет жизни: растения едят свет, воздух и воду, а накопленная ими энергия продолжает создавать и творить все. Патриция ведет своих подопечных в святая святых тайны: сотни молекул хлорофилла собираются в антенные комплексы. Бесчисленное количество таких антенных систем формирует тилакоидные диски. Стопки дисков выстраиваются в отдельный хлоропласт. Около сотни подобных солнечных электростанций

питают растительную клетку. Миллионы клеток образуют один-единственный лист. В одном великолепном гинкго шелестят миллионы листьев.

Слишком много нулей: у студентов стекленеют глаза. Патриция должна вернуть их обратно по невероятно тонкой грани между оцепенением и благоговением.

— Миллиарды лет назад одна случайная самокопирующаяся клетка научилась превращать бесплодный шар ядовитого газа и вулканического шлака в этот населенный людьми сад. И стало возможным все, на что вы надеетесь, чего боитесь и что любите.

Они решат, что она не в себе, и Патрицию это устраивает. Ей хватает и того, что она сейчас отправляет воспоминания в их далекое будущее, будущее, которое будет зависеть от непостижимой щедрости зеленых созданий.

Поздно ночью, слишком устав от преподавания и исследований, чтобы работать дальше, она читает своего любимого Мьюра, от «Прогулки в тысячу миль по Заливу» и «Моего первого лета в Сьерра-Неваде» ее душа взмывает к потолку комнаты и вращается там, подобно суфию. Она выписывает любимые цитаты на форзаце полевых блокнотов и посматривает на них, когда

политика факультета и жестокость перепуганных людей угнетают ее. Слова не поддаются под безжалостностью дня.

«Мы путешествуем по Млечному пути вместе, деревья и люди… Каждый раз, выходя на природу, человек получает куда больше, чем ищет. Самый простой путь во Вселенную лежит через лесную глушь».

РАСТИТЕЛЬНАЯ ПЭТТИ становится доктором Пэт Вестерфорд, так можно спрятать свой пол в профессиональной переписке. Доктора она получает за работу по тюльпанным деревьям. Эти толстые, длинные дренажные трубы, стоящие торчком, — на самом деле оказываются целыми химическими фабриками, причем они богаче, чем кто-либо подозревает. Лириодендрон имеет целый репертуар запахов. Он выдыхает летучие органические соединения, которые совершают самые разные действия. Патриция еще не знает, как работает эта система. Ей лишь известно, что та разнообразна и прекрасна.

Доктор Пэт Вестерфорд получает ставку временного сотрудника в Висконсине. В Мэдисоне ищет реликвии Олдо Леопольда. Пытается найти могучую черную акацию с ее ароматными гроздьями и семенными стручками, то самое дерево,

которое так поразило Мьюра, что тот стал натуралистом. Но акацию, изменившую мир, срубили двенадцать лет назад.

С фиксированной ставки Патриция переходит на почасовую оплату. Зарабатывает она очень мало, но жизнь многого и не требует. Ее бюджет, к счастью, свободен от двух основных трат: развлечений и статуса. А в природе полно бесплатной еды.

В лесу к востоку от города Патриция начинает исследовать сахарные клены. Прорыв происходит так, как обычно и происходят прорывы: благодаря долгой и подготовленной случайности. В один благоуханный июньский день она прибывает в свою рощу и видит, что на одно из ее деревьев напали насекомые. Сначала ей кажется, что последние несколько дней данных пропали. Решив сымпровизировать, Патриция сохраняет образцы с поврежденного экземпляра, а также с некоторых кленов поблизости. В лаборатории расширяет список соединений. И в следующие несколько недель находит такое, во что даже она не готова поверить.

Следом заражается еще одно дерево. Патриция снова проводит замеры. И снова сомневается в данных. Начинается осень, листья сложных

химических фабрик закрываются и падают на лесную подстилку. Патриция задраивает исследование на зиму, преподает, снова проверяет результаты, пытаясь принять их безумные выводы. Бродит по лесам, думая о том, надо ли все публиковать сейчас или продолжить эксперимент в следующем году. Дубы все еще сияют красным, буки потрясают бронзой. Кажется мудрым подождать.

Подтверждение приходит следующей весной. Еще три пробы, и Патриция убеждена. Деревья, атакованные насекомыми, выбрасывают в воздух инсектициды, чтобы спасти свою жизнь. Это не вызывает сомнений. Но некоторые данные настолько невероятны, что мурашки бегут по коже: деревья, находящиеся в стороне и не тронутые прожорливым роем, также повышают защиту, когда их соседей атакуют. Их что-то предупреждает. Они узнают о катастрофе и начинают готовиться. Патриция проверяет все, что может, но результат всегда один и тот же. Только один вывод имеет смысл: раненые деревья испускают сигналы тревоги, которые чуют остальные. Ее клены подают знаки. Они соединены вместе воздушной сетью, разделяя иммунную систему, распространяющуюся на целые акры леса. Эти

неподвижные стволы без какого-либо мозга защищают друг друга.

Патриция не может поверить до конца. Но данные подтверждают ее выводы. И в тот вечер, когда она наконец принимает то, что говорят измерения, у нее начинают гореть ладони, а по лицу бегут слезы. Насколько ей известно, она — первое создание в расширяющемся приключении жизни, заметившее этот крохотный, но вполне определенный факт, на который способна эволюция. Жизнь говорит сама с собой, и Патриция ее услышала.

Она фиксирует результаты настолько тщательно и дотошно, насколько может. Отчет — сплошная химия, концентрации и статистика, в нем нет ничего, кроме того, что записывает оборудование по газовой хроматографии. Но в заключении статьи Патриция не удерживается и все-таки высказывает предположение, к которому подталкивают ее результаты исследования:

> Биохимическое поведение отдельных деревьев может иметь смысл только тогда, когда мы смотрим на них как членов сообщества.

Статью доктора Пэт Вестерфорд принимает

авторитетный журнал. Эксперты-рецензенты приподнимают брови, но ее данные логичны и обоснованы, и никто не может найти никаких проблем, кроме здравого смысла. В тот день, когда статью печатают, Патриция чувствует себя так, словно выплатила долг миру. Если она умрет завтра, то все равно останется этот скромный факт того, что жизнь узнала о себе.

Ее исследование попадается на глаза журналистам. Патриция дает интервью популярному научному журналу. Она с трудом слышит вопросы по телефону и мнется с ответами. Но статья выходит, и за нее ухватываются остальные газеты. «Деревья говорят друг с другом». Она получает несколько писем от исследователей со всей страны, они спрашивают о деталях. Ее приглашают выступить с речью на встрече среднезападного филиала профессионального лесохозяйственного общества.

Через четыре месяца журнал, опубликовавший статью Патриции, печатает письмо, подписанное тремя ведущими дендрологами. Они говорят, что ее методы ошибочны, а статистические данные сомнительны. Защита нетронутых деревьев могла быть активирована другими механизмами. Или же эти деревья уже могли быть заражены

насекомыми так, что она не заметила. Письмо высмеивает идею, что деревья шлют друг другу химические предупреждения:

> Патриция Вестерфорд демонстрирует вызывающее смущение непонимание единиц естественного отбора… Даже если сигнал каким-то образом «принимается», это ни в коем случае не подразумевает того, что подобный сигнал «посылается».

В коротком письме четыре раза упоминается слово «Патриция» и ни разу «доктор», если не считать подписей под текстом. Два профессора из Йеля и глава кафедры из Северо-западного университета против неизвестной преподавательницы на почасовой оплате из Мэдисона: никто в профессии не собирается повторять открытия Патриции Вестерфорд. Те исследователи, которые просили больше информации, перестают отвечать на ее письма. Газеты, строчившие восторженные статьи, разражаются рассказом о ее жестоком разоблачении.

Патриция проводит запланированное выступление на лесохозяйственной конференции в Колумбусе. Помещение маленькое и жаркое. Ее слуховой аппарат воет от фидбэка. Слайды

застревают в проекторе. Вопросы откровенно враждебные. Отбиваясь от них из-за кафедры, Патриция чувствует, как ее детский дефект речи возвращается, чтобы наказать за высокомерие. Все три мучительных дня конференции люди толкают друг друга, когда она проходит мимо них в холле отеля. «Вот женщина, которая думает, что деревья разумны».

Мэдисон не продлевает ее контракт. Она изо всех сил пытается найти работу где-нибудь еще, но уже не сезон. Ей даже мыть лабораторные склянки на другого исследователя не дают. Ни одно другое животное в мире не смыкает ряды быстрее, чем Homo sapiens. Без лаборатории Патриция не может оправдаться. В тридцать два года начинает работать учителем на замену в средних школах. Друзья из научной области сочувственно бормочут, но публично ее никто не защищает. Смысл стекает с нее, как зелень с клена осенью. После долгих недель в одиночестве, проигрывая в голове то, что произошло, она решает, что пора облетать.

Патриция слишком труслива, чтобы исполнить сценарии, которые прокручиваются у нее в голове почти каждую ночь, пока она пытается заснуть. Мешает боль. Не ее: боль, которую она

причинит матери, братьям и оставшимся друзьям. Только лес защищает ее от нескончаемого позора. Она бродит по зимним тропам, ощупывая замерзшими пальцами толстые, липкие почки конского каштана. Следы на снегу походят на нацарапанные от руки обвинения. Патриция прислушивается к лесу, к его болтовне, которая всегда поддерживала ее. Но слышит лишь оглушающую мудрость толпы.

Полгода проходят на дне колодца. Как-то в разгар лета, одним ярко-голубым свежим утром, в воскресенье, Патрисия находит несколько нераспустившихся шляпок *Amanita bisporigera*[32] под дубом в низинах Токен-Крик. Грибы прекрасны, но принимают такие формы, от которых покраснел бы любой приверженец древнего Учения о сигнатурах[33]. Она собирает их в мешок и приносит домой. Там готовит воскресный пир: куриное филе в сливочном и оливковом масле, обжаренное с чесноком, луком-шалотом и белым

---

[32] Примечания: 32

Мухомор белый — смертельно ядовитый гриб, после употребления его в пищу человеком в большинстве случаев наступает летальный исход. В Америке и Англии его часто называют «ангелом-разрушителем».

[33] Примечания: 33

Учение о сигнатурах — средневековое учение о связях в живой и неживой природе, согласно которому растения, напоминающие те или иные части тела, могут быть использованы докторами для лечения этих частей тела.

вином, приправленное «ангелом-разрушителем» в количестве, достаточном, чтобы отключить почки и печень.

Она накрывает на стол и садится за еду, которая пахнет здоровьем. Прелесть плана в том, что никто не узнает. Каждый год микологи-любители ошибочно принимают молодой *A. bisporigera* за Agaricus silvicola[34] или даже за *Volvariella volvacea*[35]. Ни друзья, ни семья, ни бывшие коллеги ничего другого и не подумают: она ошиблась в своих противоречивых исследованиях, а потом ошиблась с выбором грибов на обед. Патриция подносит дымящуюся вилку к губам.

Что-то останавливает ее. Сигналы наполняют мускулы лучше любых слов. *Не это. Приходи. Ничего не бойся.*

Вилка падает на тарелку. Она просыпается, словно лунатик. Вилка, тарелка, грибной пир: на глазах все превращается в припадок безумия. Еще один удар сердца, и Патриция не может поверить, на что ее толкнул животный страх. Из-за

---

[34] Примечания: 34

Шампиньон перелесковый — съедобный гриб, который даже можно есть в сыром виде.

[35] Примечания: 35

Вольвариелла вольвовая — съедобный гриб, популярный в Юго-Восточной Азии.

мнения окружающих она была готова к мучительной смерти. Патриция выбрасывает всю еду в мусоропровод, голод прекраснее любой пищи.

В ту ночь начинается ее настоящая жизнь — долгий посмертный дополнительный раунд. Ничто не может сделать ей хуже того, на что она была готова сама. Человеческие суждения больше не трогают Патрицию. Теперь она свободна и может экспериментировать. Открывать что угодно.

Потом года пропадают. По крайней мере, со стороны: Патриция Вестерфорд исчезает в мире неполной занятости. Сортировка складских ящиков. Мытье полов. Случайные работы, ведущие от Среднего Запада через Великие равнины к высоким горам. У нее нет места работы, нет доступа к оборудованию. Она не пытается устроиться в лабораторию или преподавать, даже когда бывшие коллеги уговаривают ее подать заявление. Почти все старые друзья заносят Патрицию в список жертв научного процесса. На самом деле, она занята изучением иностранного языка.

Лишь немногие претендуют на ее время и никто — на душу, а потому Патриция возвращается в лес, в это зеленое отрицание всех карьер. Она больше не теоретизирует и не размышляет.

Только наблюдает, подмечает и делает наброски в блокнотах — ее единственном постоянном имуществе, кроме одежды. Глаза смотрят только перед собой и лишь на то, что важно. Много ночей она проводит с Мьюром под елями и пихтами, совершенно потерянная, ее голова кружится от запаха сухопутных океанов. Патриция спит на кровати из плотного лишайника, на подушке из шестнадцати дюймов коричневых иголок, под сумкой живая земля, чья жидкая суть проникает в волокна ее тела и возвышающиеся вокруг стволы, охраняющие Патрицию. Частица ее личного «я» воссоединяется со всем, от чего была отделена, — с замыслом непрерывной зелени. «Я всего лишь вышел прогуляться, но решил не возвращаться до заката. Выходя из дому, я почувствовал, что ухожу глубже в себя»[36].

У костров ночью она читает Торо. «Как же мне не ощущать своего родства с землей? Разве сам я не состою отчасти из листьев и растительного перегноя?»[37] И еще: «Кто этот Титан, что овладел мной? Расскажите мне о тайнах! — Подумайте

---

[36] Примечания: 36

Джон Мьюр «Горный Джон: Неопубликованные дневники Джона Мьюра» *(цитата в пер. А. Кабалкина).*

[37] Примечания: 37

Г. Д. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (*пер. З. А. Александровой).*

о нашей жизни в природе — каждый день материя показывается нам, и с ней мы вступаем в связь, — камни, деревья, дуновение ветра на щеках! твердая земля! настоящий мир! здравый смысл! Связь! Связь! Кто мы? где мы?»[38]

Патриция уезжает все дальше на запад. Удивительно, как далеко могут завести даже небольшие деньги, если научится добывать себе пищу. В этой стране полно еды, которую можно есть бесплатно. Просто нужно знать, где искать. Однажды Патриция моется в туалете автозаправки рядом с национальным парком в штате, куда она только что приехала, и мельком замечает в зеркале собственное лицо. То выглядит удивительно обветренным, старым не по годам. Она опустилась. Скоро начнет пугать людей. Ну, она всегда их пугала. Разгневанные люди, ненавидевшие девственную природу, отняли у нее карьеру. Испуганные люди издевались над ней за то, что она рассказала им, как деревья посылают сообщения друг другу. Она прощает всех. Ничего. То, что больше всего страшит человека, однажды превратится в чудо. И тогда он сделает то, к чему его приучили четыре миллиарда лет: остановится

---

[38] Примечания: 38
Г. Д. Торо «Леса Мэна».

и наконец-то разглядит, что же находится у него перед глазами.

Поздним осенним днем Патриция останавливает свою старую колымагу на обочине вдоль живописной дороги Фишлейк, на западной окраине плато Колорадо в южноцентральной части Юты. Патриция ехала проселочными дорогами из Лас-Вегаса, столицы невежественных грешников, в Солт-Лейк-Сити, столицу коварных святых. Она выходит из машины и идет к деревьям на горе, что к западу от дороги. Тополи стоят под полуденным солнцем, расстилаясь вдоль хребта до самого горизонта. *Populus tremuloides*[39]. Облака золотых листьев блестят на тонких стволах, окрашенных в бледно-зеленый цвет. Воздух неподвижен, но деревья качаются, словно на ветру. Только они дрожат, когда все остальное замерло в мертвом спокойствии. Длинные приплюснутые стебли скручиваются от малейшего порыва, и миллионы двухцветных кадмиевых зеркал мерцают на фоне праведной синевы.

От прорицающих листьев ветер становится слышимым. Даже самый спокойный свет они наполняют предвкушением. Стволы прямые и

[39] Примечания: 39
Тополь осинообразный.

голые, снизу шероховатые от старости, затем гладкие и белеющие до первых ветвей. Круги бледно-зеленого лишайника разбрызганы по коре. Патриция стоит в этой бело-серой комнате, в холле с колоннами, ведущим в загробную жизнь. Воздух дрожит от золота, а земля усеяна буреломом и мертвыми ветвями. Горный кряж пахнет простором и увяданием. Атмосфера свежа, как бегущий горный ручей.

Патриция Вестерфорд обнимает себя и без причины начинает плакать. Дерево, важное для песнопений навахо о Доме солнца. Из его ветвей Геракл сплел себе венок, которым пожертвовал, возвращаясь из ада. Отвар из тополиных листьев защищал местных охотников от зла. Это самое широко распространенное дерево в Северной Америке, имеющее близких родственников на трех континентах, и в то же время оно кажется невыносимо редким. Патриция проследовала за тополями далеко на север, в Канаду, одинокую твердыню широколиственников на широте, монотонной от хвойных. Она зарисовывала их бледные летние тени по всей Новой Англии и Верхнему Среднему Западу. Разбила лагерь под их сенью на горячих, сухих скалах, что выступали над хлынувшими потоками талого снега в

Скалистых горах. Находила их в дендроглифах с зашифрованными знаниями, вырезанных коренным населением Америки. Лежала на спине с закрытыми глазами в далеких юго-западных горах, запоминая шум тополиной беспрестанной дрожи. И сейчас, переступая через упавшие ветки, она снова слышит его. Ни одно другое дерево не издает такой звук.

Тополя дрожат на незаметном ветру, а Патриция начинает замечать то, что сразу не разглядела. На одном из стволов высоко над головой виднеются порезы от когтей, загадочные письмена медведей. Но они старые и покрыты почерневшими шрамами; звери давно не ходили по этим лесам. Из берега над ручейком вырываются спутанные корни. Патриция изучает их, открытый край сети подземных каналов, проводящих воду и минералы через десятки акров, вверх, к другим стволам, казалось бы, отдельно стоящим вдоль скал, где жидкость трудно найти.

На возвышенности открывается небольшая поляна, вырубленная бензопилой. Кто-то что-то улучшал. Патриция снимает лупу с цепочки для ключей и прикладывает ее к одному из пней, чтобы посчитать количество колец. Самым старым поваленным деревьям около восьмидесяти

лет. Она улыбается этой цифре, такой смешной, потому что пятьдесят тысяч молодых деревьев вокруг нее выросли из массы невероятно старого корневища, которое родилось даже не в ближайшую сотню тысячелетий. Под землей этим восьмидесятилетним стволам по меньшей мере тысяч сто. Патриция совсем не удивилась бы тому, что этот сросшийся вегетативно размножающийся гигант, похожий на лес, живет здесь около миллиона лет.

Вот почему она остановилась: чтобы увидеть одно из древнейших и самых больших живых существ на земле. Вокруг нее раскинулся один-единственный самец, чьи генетически идентичные стволы покрывают более сотни акров. Он необычный, странный, его существование не укладывается толком в голове. Но, как прекрасно знает доктор Вестерфорд, абсурдные диковины мира встречаются повсюду, а деревья любят играть с человеческой мыслью как дети играют с жуками.

Через дорогу от того места, где она припарковалась, тополя спускаются к Рыбному озеру, где пять лет назад ранее китайский инженер-беженец вместе с тремя дочерьми разбил лагерь по дороге в Йеллоустоун. Старшую девочку, назван-

ную в честь героини из оперы Пуччини, скоро объявят в розыск федералы за поджог и ущерб на пятьдесят миллионов долларов.

В двух тысячах милях к востоку студент-скульптор, родившийся в фермерской семье из Айовы, совершая паломничество в Метрополитен, проходит мимо единственного дрожащего тополя во всем Центральном парке и не замечает его. Тридцать лет спустя он снова пройдет мимо этого дерева, так как поклялся героине Пуччини, что, как бы плохо все ни сложилось, он себя не убьет.

К северу, вверх по изогнутому хребту Скалистых гор, на ферме недалеко от Айдахо-Фолс, летчик-инвалид в тот же день строит стойла для лошадей своего друга из старой эскадрильи. Работу ему дали из жалости, вместе с проживанием и питанием, и ветеран планирует уехать отсюда, как только сможет. Но сейчас делает обшивку загона из тополя. Как ни плоха эта древесина для пиломатериалов, она не разобьется, когда лошадь ударит ее копытом.

В пригороде Сент-Пола, недалеко от озера Эльмо, у дома юриста по интеллектуальной собственности растут два белых тополя. Он почти ничего не знает о деревьях, и когда его свободолюбивая девушка спрашивает о них, говорит ей, что

это березки. Со временем два инсульта подкосят юриста, и все тополя, березы, буки, сосны, дубы и клены сведутся к одному слову, на произнесение которого у него будет уходить полминуты.

На Западном побережье, в зарождающейся Кремниевой долине, американский мальчик гуджаратского происхождения и его отец строят примитивные тополя из массивных черно-белых пикселей. Они пишут игру, которая для мальчика будет подобна прогулке по первозданному лесу.

Все эти люди ничего не значат для Растительной Пэтти. И тем не менее глубоко под землей их жизни уже давно связаны. Их родство подобно раскрывающейся книге. В будущем прошлое всегда становится яснее.

Через много лет Патриция и сама напишет книгу, «Тайный лес». И на первой ее странице будет следующее:

> Вы и дерево на вашем дворе произошли от общего предка. Полтора миллиарда лет назад вы расстались. Но даже сейчас, после невероятного путешествия по совершенно разным дорогам, вас по-прежнему объединяет четверть общих генов…

Она стоит на вершине холма, глядя на неглубокий овраг. Тополя повсюду, и у нее не укладывается в голове мысль, что ни один из них не проклюнулся из семечка. За последние десять тысяч лет лишь немногие деревья в этой части Запада пробились сквозь землю таким образом. Давным-давно климат изменился, и их семена здесь больше не прорастают. Но деревья размножаются корнями; они распространяются. На севере, там, где когда-то был ледник, существуют тополиные колонии старше его. Неподвижные деревья мигрируют — бессмертные, они отступили перед последними глетчерами толщиной в две мили, а затем снова последовали за ними на север. Жизнь не будет отвечать перед разумом. А смысл слишком молод, чтобы иметь над ней большую власть. Вся драма мира собирается под землей — это громогласный симфонический хор, который Патриция хочет услышать перед смертью.

Она смотрит по ту сторону вершины, гадая, в какую сторону направлен ее самец, этот гигантский тополиный клон. Он десять тысяч лет бродил по холмам и оврагам в поисках такой же дрожащей и гигантской самки, которую можно было бы оплодотворить. Но на следующем подъеме

что-то словно бьет Патрицию кулаком в грудь. Среди ленты новых дорог расположился жилой комплекс, вырезанный в сердце раскидистого клона. Кондоминиумы, возрастом в несколько дней, прорезали несколько акров корневой системы одного из самых роскошных растений на Земле. Доктор Вестерфорд закрывает глаза. По всему Западу она видела увядание. Тополя засыхают. Изъеденные всеми на свете копытными животными, отрезанные от живительного огня, исчезают целые рощи. Теперь она видит, как лес, который покорил эти горы еще до того, как люди покинули Африку, уступил место летним домикам. Она видит все в отблеске сверкающего золота: деревья и люди воюют за землю, воду и атмосферу. И громче шелеста дрожащих листьев слышит, чья сторона проиграет, выиграв.

В НАЧАЛЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ Патриция отправляется на северо-запад. В Континентальных Штатах все еще попадаются гиганты, островки древней растительности, разбросанные от Северной Каролины до самого Вашингтона. Она хочет посмотреть, как выглядит невырубленный лес, пока еще возможно. В Западных Каскадах стоит влажный сентябрь: ничто не может подготовить Патрицию к тому, что ее ждет. Издалека, без

понятия о масштабе, деревья кажутся не больше самых больших платанов и лириодендронов на Востоке. Но вблизи иллюзия исчезает, и Патриция теряется от того, что противоположно разуму. Она может только смотреть, смеяться и снова смотреть.

Тсуга, величественная ель, желтый кедр, дугласова пихта: огромные хвойные деревья исчезают в тумане над ней. На ситхинских елях выпирают капы величиной с микроавтобус — фунт за фунтом, дерево прочнее стали. Одним стволом можно заполнить большой лесовоз. Даже коротышки здесь так велики, что могли бы господствовать над восточным лесом, а на каждый акр приходится как минимум в пять раз больше древесины. Под этими гигантами, глубоко в подземелье, собственное тело кажется Патриции причудливо маленьким, напоминающим желудевых человечков, которых она делала в детстве. Дупло в одном из этих столбов затвердевшего воздуха могло бы стать ей домом.

Щелчки и щебетание нарушают соборную тишину. Воздух такой сумеречно-зеленый, что кажется, она находится под водой. Здесь идет дождь из частиц — облака спор, разорванная паутина и кусочки кожи млекопитающих, скелетирован-

ные клещи, экскременты насекомых и птичьи перья… Все карабкается друг на друга, борясь за клочки света. Если не двигаться достаточно долго, то побеги поглотят ее. Патриция идет молча, перемалывая десять тысяч беспозвоночных на каждом шагу, высматривая дорогу, и вспоминает, что в этой местности на одном из коренных языков для обозначения следа и понимания используется одно и то же слово. Земля прогибается под ногами, как истрепанный тюфяк.

По голой кромке холма она идет вниз, в лощину. Размахивает перед собой палкой, со свистом рассекающей воздух, и пройдя через тепловую завесу, чувствует, как резко падает температура. Крона деревьев — это сито, усеивающее солнечными бликами кишащие жуками поверхности. Около каждого крупного ствола в подстилке ютится несколько сотен ростков. Папоротник, печеночники, лишайники и листья размером с песчинку пятнают каждый дюйм сырых поваленных бревен. Даже мхи густые, как миниатюрные леса.

Патриция нажимает на трещины в коре, и пальцы погружаются в нее до сустава. Стоит слегка расчистить поверхность, и видны масштабы удивительной гнили. Рассыпающиеся, прони-

занные жизнью кряжи, разлагающиеся веками. Коряги готические и витые, серебристые, как перевернутые сосульки. Она никогда не вдыхала такого плодородного разложения. От чистой массы вечно умирающей жизни, упакованной в каждый кубический фут, сплетенной с грибковыми нитями и паутиной, преданной росой, кружится голова. Грибы стелются по стволам террасными уступами. Мертвая морошка кормит деревья. Пропитанная туманом губчатая зеленая субстанция, которую Патриция даже не может назвать, покрывает каждую деревянную колонну толстым сукном, поднимаясь выше человеческой головы.

Смерть повсюду, гнетущая и прекрасная. Она видит источник убеждений, которые так отталкивали ее в университете. Глядя на весь этот восхитительный распад, можно понять, почему люди считают старое нездоровым, а такие плотные разлагающиеся подстилки — настоящими целлюлозными кладбищами, нуждающимися в омолаживающем топоре. Патриция понимает, почему ее вид всегда будет бояться этих тесных зарослей, где красота одиноких деревьев уступает место чему-то массивному, пугающему и безумному. Именно здесь басня обретает мрач-

ность, слэшер превращается в первобытный ужас, и бродят обреченные дети и своенравные подростки. Здесь есть существа похуже волков и ведьм, глубинные страхи, которые никакая цивилизация никогда не укротит.

Чудесный лес тянет ее вперед, мимо огромной туи. Патриция поглаживает волокнистые полоски, отделяющиеся от рифленого ствола, который в обхвате соперничает с высотой цветущего кизила. Пахнет ладаном. Верхушка срезана, вместо нее — канделябр из ветвей, превращенных в отдельные стволы. На уровне земли в гнилой сердцевине открывается грот. Внутри него могли бы жить целые семейства млекопитающих. Но на тысячелетних ветвях в дюжине футов над головой, поникших, с чешуйчатыми сучками, все еще полно шишек.

Патриция обращается к туе, пользуясь словами первых людей этого леса:

— Создатель многолетия, я здесь. Внизу.

Поначалу она чувствует себя глупо. Но каждое следующее слово раздается чуть легче предыдущего.

— Благодарю тебя за корзины и коробки. Благодарю тебя за плащи, шляпы и юбки. Благодарю тебя за колыбели. Кровати. Подгузники. Каноэ.

Весла, гарпуны и сети. Столбы, бревна, жерди. Гнилостойкий гонт и щепу. Растопку, которая всегда горит.

Каждый новый предмет — это освобождение и облегчение. У нее нет причин останавливаться, потому признательность льется потоком.

— Благодарю тебя за инструменты. Сундуки. Террасы. Шкафы для одежды. Стенные панели. За все, что я позабыла… Спасибо, — говорит она, следуя древней формуле. — За все те дары, что ты дала нам. — И все еще не зная, как остановиться, Патриция добавляет: — Мы сожалеем. Мы не знали, как трудно тебе будет вырасти заново.

ОНА НАХОДИТ РАБОТУ в Службе леса. Лесным рейнджером. Описание работы кажется таким же чудесным, как огромные деревья: помогите сохранить и защитить для настоящих и будущих поколений места, где человек — всего лишь временный гость. Дикая женщина должна надеть униформу. Но ей платят за то, чтобы она была одна, носила рюкзак, читала топографическую карту, копала дренажные вырезы, искала дым и огонь, учила людей не оставлять следов, следовала ритмам земли и жила полной жизнью во все времена года. Убирать за человечеством, да. Собирать бесконечные обертки, мешочки, кольца

от пивных упаковок, фольгу, консервные банки и пробки от бутылок, которые оставлены на цветущих лугах и отдаленных живописных тропах, нанизаны на ветви благородных елей, брошены в холодные бегущие ручьи, за водопадами. Она с радостью заплатила бы правительству, чтобы сделать так много.

Ее начальник извиняется за состояние предоставленной ей хижины на краю древней кедровой рощи. Там нет водопровода, а паразиты по биомассе во много раз превосходят нового двуногого. Патриция только смеется.

— Вы не понимаете. Вы не понимаете. Это Альгамбра.

ЗАВТРА ОНА ПРОЙДЕТ двадцать пять миль, ослабляя болты на указателях, прикрепленных к деревьям вдоль тропы, чтобы камбий продолжал расти. На другой стороне хребта есть место, где кора большой ели поглотила старую табличку Лесной службы сороковых годов, на которой теперь написано только «БЕРЕГИТЕСЬ».

Начинается ночной дождь. Патриция выходит на поляну и сидит под ливнем, одетая только в свободную хлопчатобумажную рубашку, слушает, как древесина отращивает новые клетки. Потом возвращается в дом. На кухне зажигает

керосиновую лампу короткими и толстыми бестерочными спичками и несет свет в спальню. Стук лесной крысы с пушистым хвостом сигнализирует об очередном нападении на ее бесполезные вещи. На прошлой неделе это была пара заколок. Слишком темно, чтобы сегодня искать последнюю пропавшую добычу. Патриция вытирает губкой цинковый тазик с холодной водой в углу и ложится в постель. Едва ее ухо прислушивается к заплесневелой подушке, как она переносится в семейный загородный дом, где будущее все еще излучает многообразие бесконечно прекрасных форм.

* * *

ПАТРИЦИЯ РАБОТАЕТ одиннадцать блаженных месяцев. Дикая природа ни разу не угрожает ей, а ненормальные отдыхающие делают это лишь дважды. Под постоянным дождем все покрывается плесенью. Чудовищные деревья всасывают ливень и выдыхают его обратно в виде пара. Споры распространяются по любой влажной поверхности. На ногах Патриции микоз до колен. Когда она ложится и закрывает глаза, ей кажется, что мох покрывает веки. Патриция целыми днями делает площадку для хранения,

расчищая несколько квадратных футов. К концу года небольшая выемка в подлеске снова покрывается кустарником и ростками. Ей нравится чувствовать, что все успехи людей, отбирающих пространство у неумолимых зеленых войск, будут раздавлены.

ПАТРИЦИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ пожарные кольца в глуши, убирает незаконные кемпинги, загаженные пивными банками и туалетной бумагой, и не знает, что на свет появляется научная статья. Она опубликована в авторитетном журнале, одном из лучших, когда-либо издававшихся человечеством. В ней говорится, что деревья обмениваются аэрозольными сигналами. Они делают лекарства. Их ароматы предупреждают и пробуждают соседей. Деревья могут чувствовать атакующие виды и вызывать воздушные силы, которые приходят им на помощь. Авторы цитируют раннюю, осмеянную всеми статью Патриции. Они воспроизводят ее открытия и продолжают их в самых неожиданных направлениях. Слова, о которых она почти забыла, продолжали разноситься по воздуху, зажигая другие, как дуновение феромонов.

КАК-ТО РАЗ ПАТРИЦИЯ работает на незнако-

мом участке, распиливая бурелом и очищая отдаленную тропу. Она видит движение в зарослях — а такая игра может быть опасной. Подойдя ближе, Патриция замечает двух исследователей, парочку бродячих ученых из этого разрозненного союза, который каждое лето собираются в хлипких трейлерах, набитых лабораторным оборудованием, на поляне в нескольких милях от ее собственной хижины. Она боится стычек со своим старым племенем. Всегда говорит как можно меньше. А сегодня вообще к ним не подходит, лишь наблюдает. С такого расстояния сквозь деревья двое мужчин кажутся прямоходящими, неуклюжими цирковыми медведями в костюмах лесорубов.

Пара бродит по кустам, приближаясь к интересующему их месту. Один из мужчин тихо ухает по-совиному, у него выходит идеальное вкрадчивое перевоплощение. Патриция слышала этот звук ночью, хотя не видела, кто его издавал. Такая имитация вполне могла бы ее одурачить. Мужчина снова ухает. Невероятно, но что-то откликается. Возникает дуэт: яркая, дерзкая человеческая приманка, за которой следует сонный, но покладистый ответ от птицы, спрятавшейся на деревьях. Полоса в воздухе, и появляется

сова. Птица мудрости и колдовства. Патриция раньше никогда не видела *Strix occidentalis* вживую. Пятнистая неясыть: вымирающий вид, который ученые предлагают спасти, изолировав старые леса стоимостью в миллиарды долларов, единственное место, где эти птицы могут жить. Мифическое создание располагается на ветке в трех ярдах от своих соблазнителей. Птица и люди смотрят друг на друга. Один вид фотографирует. Другой просто крутит головой и моргает своими огромными глазами. Затем сова улетает, за ней, сделав дальнейшие заметки, уходят и люди, а Патриция Вестерфорд гадает, бодрствует она или спит.

Три недели спустя она оказывается в том же самом месте, дергает инвазивные виды растений. От толстых и пушистых побегов айланта пальцы пахнут кофе и арахисовым маслом. Патриция резво взбирается на горку и снова наталкивается на двух исследователей. Они находятся в паре ярдов вниз по склону, стоят на коленях у упавшего бревна. Патриция не успевает сбежать, они замечают ее и машут руками. Пойманная, она машет в ответ и подходит к ним. Старший сидит на земле и собирает крохотных созданий в склянки для образцов.

— Древесинники? — Обе головы поворачиваются к ней, удивленные. Мертвые бревна: эта тема когда-то ее невероятно привлекала, и сейчас Патриция забывается. — Когда я была студенткой, мой учитель говорил, что упавшие стволы — это только препятствия и пожарная опасность.

Мужчина на земле смотрит на нее:

— Мой говорил также.

— «Уберите их, чтобы улучшить здоровье леса».

— «Сожгите ради безопасности и чистоты. И главное, держите эти бревна подальше от ручьев и рек».

— «Внесите это в лесное право, и пусть мертвое место снова цветет».

Все трое хихикают. Но смех как будто зажимает рану. «Улучшить здоровье леса». Как будто он четыреста миллионов лет ждал, чтобы мы, новички, его исцелили. Наука на службе преднамеренной слепоты: как столько умных людей могли пропустить очевидное? Ведь надо было просто посмотреть, увидеть, что мертвые бревна куда живее живых. Но у чувств никогда нет шансов против силы доктрины.

— Ну, — говорит человек на земле, — теперь-то я перед старым ублюдком не прогнусь!

Патриция улыбается, надежда пробивается сквозь боль, как ветер сквозь дождь.

— Что вы изучаете?

— Грибы, членистоногих, рептилий, амфибий, маленьких млекопитающих, экскременты насекомых, паутины, лежбища, почву… Все, что производит мертвое бревно, а мы можем зафиксировать.

— И сколько вы уже ведете исследование?

Мужчины переглядываются. Молодой передает очередную склянку для образцов.

— Шесть лет.

Шесть лет в области, где большинство проектов не длятся и нескольких месяцев.

— Боже, где вы нашли финансирование на такой срок?

— Мы планируем изучать это конкретное бревно, пока оно окончательно не исчезнет.

Патриция снова смеется, уже не столь сдержанно. Кедровый ствол на влажной лесной подстилке: проект придется заканчивать прапрапраправнукам их студентов. Пока Патриции не было, наука стала совершенно безумной, как она о ней и думала.

Вы исчезнете задолго до того, как пропадет оно.

Старший ученый встает с земли.

— В этом и прелесть изучения леса. Ты умрешь, прежде чем будущее сможет обвинить тебя в том, что ты пропустил очевидное. — Он смотрит на нее так, словно она тоже достойна исследования. — Доктор Вестерфорд?

Патриция моргает, сбитая с толку хуже любой совы. Потом вспоминает, что на груди у нее бирка, которую может прочитать любой. Но «доктор»? Это слово он мог выкопать только из давно похороненного прошлого.

— Извините, — говорит она. — Не помню, чтобы мы встречались.

— Мы и не встречались. Много лет назад я слушал ваше выступление. Лесохозяйственная конференция в Колумбусе. Воздушные сигналы. Я был так впечатлен. Заказал тогда оттиски вашей статьи.

«Это была не я, — хочет сказать Патриция. — Это был кто-то другой. Он умер, и уже давно где-то сгнил».

— Они вас не пожалели.

Она пожимает плечами. Младший ученый сейчас походит на ребенка, попавшего в Смитсоновский институт.

— Я всегда знал, что вас реабилитируют, — ее

замешательство говорит ему обо всем. Почему она стоит перед ним в форме лесного рейнджера. — Патриция, меня зовут Генри. Это Джейсон. Приходите к нам на станцию. — Голос у него тихий, но настойчивый, как будто что-то стоит на кону. — Вам будет интересно посмотреть, чем занимается наша группа. Вам будет интересно узнать, на что повлияла ваша работа, пока вас не было.

К КОНЦУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ доктор Вестерфорд делает свое самое удивительное открытие: возможно, она любит своих ближних. Не всех, но крепко и с непоколебимой зеленой благодарностью, по крайней мере, это относится к трем дюжинам постоянных работников, которые принимают Патрицию и устраивают для нее дом на исследовательской станции Дрейера, в Экспериментальном лесу Франклина, в Каскадах, где она проводит несколько десятков месяцев подряд, счастливых и продуктивных, она даже представить себе не могла, что такое может быть. Генри Фоллоуз, старший научный сотрудник проекта, выделяет ей грант. От двух других исследовательских групп из Корваллиса она получает зарплату. С деньгами туго, но ей дают заплесневевший трейлер в Луговом научном гетто и доступ к пе-

редвижной лаборатории — всём необходимым реагентам и пипеткам. Уборные и общественные душевые — греховная роскошь по сравнению с ее хижиной от Бюро по управлению землями и холодными умываниями губкой на крыльце по ночам. К тому же есть готовая горячая еда в общей столовой, хотя иногда Патриция слишком погружена в работу, ей приходится напоминать о том, что снова пора есть.

Ее публичная репутация, как дочь Деметры, выползает из подземного мира. Целая россыпь научных статей подтверждает правоту оригинальной работы Патриции о воздушной системе сигнализации. Молодые исследователи находят доказательства ее теории от вида к виду. Акации предупреждают другие акации о бродящих жирафах. Ивы, тополя, ольхи: всех поймали за тем, как они по воздуху предупреждают друг друга о нашествии насекомых. Но реабилитация Патриции не важна. Ей все равно, что происходит за пределами леса. Весь мир, который ей нужен, находится здесь, под этим пологом — самой плотной биомассой на Земле. Крутые, суровые потоки омывают каменные рифы, где нерестится лосось, — вода достаточно холодная, чтобы убить всю боль. Водопады мелькают над хребтами, поросшими

нефритовым мхом и усеянными осыпавшимися ветвями. В разбросанных тут и там просветах в подлеске виднеются скопления морошки, бузины, черники, снеженики, заманихи, клюквы и толокнянки. Идеально прямые хвойные монолиты высотой в пятнадцать этажей и толщиной с автомобиль образуют крышу над всеми. Воздух вокруг Патриции наполнен шумом жизни. Щебет невидимых крапивников. Промышленный отбойный стук дятлов. Звон малиновки. Порхание дрозда. Попискивающие тетерева, разбегающиеся по лесной подстилке. Ночью неприветливое уханье совы леденит кровь. И неумолчная песня вечности древесных лягушек.

Потрясающие открытия ее коллег, сделанные в этом Эдеме, подтверждают подозрения Патриции. Долгие и медленные наблюдения выставляют на посмешище все, что люди думают о деревьях. Если вкратце: богатое коричневое месиво земли — состоящее из по большей части неизвестных микробов и беспозвоночных, где-то миллиона видов — учитывает разложение и строится на смерти так, как Патриция только сейчас начинает понимать. Ей нравится сидеть в столовой и участвовать в общем смехе и обмене данными, в головокружительной сети, торгующей открыти-

ями. Вся группа наблюдает. Орнитологи, геологи, микробиологи, экологи, зоологи-эволюционисты, почвоведы, верховные жрецы воды. Каждый знает бесчисленное количество мелких местных истин. Некоторые работают над проектами, рассчитанными на двести и более лет. Некоторые похожи на героев Овидия, людей на пути к превращению в нечто зеленое. Вместе они образуют одну великую симбиотическую ассоциацию, подобную той, которую изучают.

Оказывается, что миллионам запутанных петель джунглей умеренного климата нужны все виды манипулирующих смертью посредников, чтобы все циклы шли определенным курсом. Очисть такую систему — и бесчисленные самопополняющиеся колодцы иссохнут. Это евангелие нового лесного хозяйства подтверждается самыми удивительными открытиями: бороды лишайника, висящие высоко в воздухе, растут только на самых старых деревьях и вкачивают необходимый азот обратно в Живую систему. Подземные полевки кормятся трюфелями и распространяют споры ангельских грибов по лесной подстилке. Грибов, которые внедряются в корни деревьев и образуют с ними настолько крепкий симбиоз, что трудно сказать, где заканчивается

один организм и начинается другой. Массивные хвойные высоко в кронах пускают вторичные корни, которые спускаются вниз и кормятся на почвенных прослойках, собирающихся в углублениях ветвей.

Патриция все свои силы отдает дугласовым пихтам. Прямым, как стрела, нескончаемым, взлетающим на сотни футов, прежде чем отпустить первую ветку. Они — экосистема сама по себе, в которой живет более тысячи видов беспозвоночных. Рама для городов, королева промышленных деревьев, без нее Америка была бы совсем другой. Любимые индивидуумы Патриции находятся рядом со станцией. Она может осветить их прожектором. Самой большой пихте, наверное, около шестисот лет. Она настолько высокая, настолько близко подобралась к верхним границам, установленным гравитацией, что требуется полтора дня, чтобы доставить воду от ее корней к самым высоким из шестидесяти пяти миллионов иголок. И каждая ветка пахнет свободой.

Со временем Патриция замечает немало вещей, которые делают дугласовы пихты, и все они наполняют ее радостью. Когда их боковые корни встречаются друг с другом под землей,

они сливаются. Через эти самопривитые узлы два дерева объединяют свои сосудистые системы и становятся едины. Сплетенные под землей бесчисленными тысячами миль живых грибных нитей деревья Патриции кормят и лечат друг друга, не дают умереть молодым и больным, сводят ресурсы и метаболиты в объединенные фонды… Понадобятся годы, чтобы картина прояснилась до конца. Будут открытия, невероятные истины, подтвержденные расширяющейся мировой сетью исследователей в Канаде, Европе, Азии, счастливо обменивающихся данными по все более быстрым и лучшим каналам. Ее деревья куда социальнее, чем подозревала Патриция. Среди них нет отдельных индивидов. Нет даже отдельных видов. Все, что есть в лесу, это лес. Соперничество неотделимо от бесконечных оттенков сотрудничества. Деревья сражаются друг с другом не больше, чем листья на одной ветке. Кажется, в природе есть не только алый клык и коготь, в конце концов. Начать с того, что у этих видов, находящихся в основе пирамиды жизни, нет ни клыков, ни когтей. Но если деревья делятся своими запасами, тогда каждая капля красной плесени плавает на поверхности зеленого моря.

ЛЮДИ ХОТЯТ, чтобы Патриция приехала в Ко-

рваллис и начала преподавать.

— Но я не слишком хороша в этом. Я на самом деле все еще ничего не знаю.

— Но нас-то это не останавливает!

Генри Фоллоус просит ее подумать над предложением:

— Давай поговорим, когда ты будешь готова.

* * *

АДМИНИСТРАТОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ Деннис Уорд иногда забегает к ней с небольшими подарками. Осиными гнездами. Насекомьими галлами. Красивыми камням, отполированными ручьями. Их общение напоминает Патриции уговор, который у нее был с древесной крысой, жившей с ней в старой хижине. Регулярные визиты, молниеносные и застенчивые, обмен бесполезными сувенирами. А потом целые дни в бегах. И как Патриция когда-то прикипела к своей древесной крысе, так и теперь увлеклась этим спокойным и размеренно двигающимся мужчиной.

Как-то ночью Деннис приносит ей ужин. Это плод чистого собирательства. Жаркое из грибов и лесных орехов с хлебом, запеченным на костре из валежника в стеклянном колпаке для защиты

растений. Разговор не слишком вдохновляющий. Он таким редко бывает, и Патриция за это благодарна.

— Как деревья? — как обычно спрашивает он. Она рассказывает ему, что может, не упоминая о биохимии.

— Пройдемся? — спрашивает Деннис, когда они заканчивают мыть посуду, сливая воду для повторного использования. Любимый вопрос, на который она всегда отвечает:

— Пройдемся!

Деннис, наверное, лет на десять старше ее. Она ничего о нем не знает и не спрашивает. Говорят они только о делах— о ее медленном исследовании корней дугласовых пихт, о его невозможной работе: он организует ученых и заставляет их придерживаться хотя бы минимальных правил. Возраст Патриции — глубокая осень. Сорок шесть — старше, чем было ее отцу, когда он умер. Все ее цветы уже давно увяли. И тем не менее вокруг все равно жужжит пчела.

Далеко они не уходят; не могут. Полянка небольшая, а тропы слишком темные, чтобы их исследовать. Но им и не нужно забираться в чащу всего того, что любят Патриция. В гниль, в распад, навстречу корягам, буйному плодовитому уми-

ранию вокруг них, где поднимается ужасающая зелень, которая мчится во всех направлениях своими преобразующими кольцами.

— Ты — счастливая женщина, — говорит Деннис, находясь где-то в великом водоеме между вопросом и утверждением.

— Теперь — да.

— Тебе нравятся все, кто здесь работают. Это удивительно.

— Легко любить людей, которые всерьез принимают растения.

Но ей нравится и Деннис. Своими скупыми движениями и благодатной тишиной он размывает границу между практически идентичными молекулами, хлорофиллом и гемоглобином.

— Ты полагаешься только на себя. Как твои деревья.

— Но в том-то и дело, Деннис. Они не полагаются только на себя. Здесь, вокруг, все заключает сделки друг с другом.

— И я так тоже думаю.

Она смеется от чистоты его обмана.

— Но у тебя есть рутина. Работа. И они двигают тебя вперед, постоянно.

Патриция ничего не отвечает, чувствуя, как подступает страх. На пороге умиротворенного по-

жилого возраста ее вдруг подстерегает ловушка.

Деннис чувствует, как она сжимается; на протяжении двух совиных уханий он не произносит и слога. А потом:

— Вот в чем дело. Мне нравится готовить для тебя.

Патриция глубоко вздыхает и соскальзывает на уже готовую колею:

— И это хорошо, когда для тебя готовят.

Но все куда менее страшно, чем она предполагала. Куда легче. Деннис продолжает:

— Что если мы будем жить по отдельности? И просто… приходить друг к другу время от времени?

— Так… может быть.

— Будем делать свою работу. Встречаться за ужином. Как сейчас! — Кажется, он удивился, проведя связь между своим неожиданным предложением и тем, что и так есть в настоящем.

— Да.

Она не может поверить, что удача простирается настолько далеко.

— Но я бы хотел подписать бумаги, — Деннис смотрит в просвет между пихтами, где солнце заходит за горизонт. — Потому что так, когда я умру, ты получишь пособие.

В темноте Патриция берет его дрожащую руку в свою. Чувство хорошее, так, наверное, ощущает себя корень, когда спустя столетия находит другой, с которым можно сплестись под землей. На свете существует сто тысяч видов любви, изобретенных независимо друг от друга, каждый более изобретательный, чем предыдущий, и каждый продолжает творить.

ОЛИВИЯ ВАНДЕРГРИФФ

Снегу по бедра, поэтому идет она медленно. Оливия Вандергрифф разгребает заносы, как стайное животное, на пути к пансиону на краю кампуса. Ее последние занятия по линейно-регрессионному анализу и моделям временного ряда подошли к концу. Колокола на учебном дворе бьют пять, но сейчас почти зимнее солнцестояние, и темнота смыкается вокруг Оливии, словно полночь. Дыхание коркой застывает на верхней губе. Она всасывает воздух, и кристаллики льда покрывают глотку. Холод вставляет металлическое волокно прямо в нос. Она может здесь умереть, по-настоящему, в пяти кварталах от дома. Новизна этой мысли завораживает.

Декабрь выпускного года. Семестр почти закончился. Она может сейчас споткнуться, упасть плашмя, и все равно докатиться до финишной черты. Что осталось? Быстрый экзамен по анализу долговечности. Последняя работа по макроэкономике. Сто десять слайдов по шедеврам мирового искусства, ее факультативу. Еще десять дней и один семестр, а потом все закончится.

Три года назад она думала, что актуарное дело

похоже на бухгалтерский учет. Когда консультант по обучению сказал ей, что оно связано с ценой и вероятностью неопределенных событий, твердость и жесткость в сочетании с кровожадностью заставили ее объявить: «Да, пожалуйста». Если жизнь требовала рабской приверженности одной цели, то были вещи и похуже, чем высчитывать денежную стоимость смерти. К тому же она оказалась одной из всего трех женщин в программе, что тоже придавало немного нервного трепета.

Толчок, чтобы одержать победу несмотря ни на что.

Но толчок уже давным-давно выдохся. Она три раза сдавала предварительный экзамен Общества актуариев и все три раза его провалила. Отчасти проблема в способностях. Отчасти — в сексе, наркотиках и вечеринках ночи напролет. Оливия получит степень; с этим она все еще может справиться. А если нет, воспользуется любыми возможностями, которые поднимет со дна подобная катастрофа. Ведь это, как доказывает актуарное дело и как Оливия уверяет своих чрезмерно обеспокоенных друзей, лишь еще одна цифра.

Она поворачивает за угол в полутьме. Другие

студенты, также спотыкавшиеся под весом своих рюкзаков, протоптали тропинки в снегу, сбиваясь в кучу вокруг самых ужасных решений первопроходца. Под снежными заносами растрескавшийся асфальт поднимается над выступающими древесными корнями, изображая самые медленные сейсмические волны в мире. Оливия смотрит вверх. Хотя она мало по чему будет скучать, когда наконец покинет это убогое захолустье, уличные фонари ей нравятся. Их шары кремового цвета, родом откуда-то из Позолоченного века, выглядят, как потухшие свечи. Они мягко освещают дорогу до ее просторной американской готики, когда-то бывшей особняком какого-то хирурга, но теперь порезанной на частные апартаменты с пятью разными пожарными выходами и восемью почтовыми ящиками.

Перед ее домом, освещенное фонарем, стоит необычное дерево, которое когда-то покрывало всю землю — живое ископаемое, одно из самых древних и странных созданий, когда-либо познавших тайну древесины. Дерево со спермой, которая должна проплыть через капли, чтобы оплодотворить яйцеклетку. Его листья отличаются друг от друга, как человеческие лица. В уличном освещении ветви имеют выдающийся

силуэт, из-за него, а также из-за причудливых боковых отростков дерево не перепутать с другими, даже зимой. Оливия жила в его тени весь семестр, но даже не знает, что оно тут. И сейчас проходит снова, не обратив внимания.

Она, спотыкаясь, поднимается по заснеженным ступеням в темный зал, заставленный велосипедами. Закрывает за собой входную дверь, но холодный воздух продолжает просачиваться сквозь швы. Выключатель света дразнит ее на другом конце фойе. Шесть шагов по черной полосе препятствий, и Оливия режет лодыжку переключателем передач. Ее проклятия эхом раздаются по лестнице. Весь семестр, на каждом домашнем собрании она бушевала против велосипедов внизу. Но вот они, по-прежнему стоят тут, несмотря на все голосования, кожа на замерзшей лодыжке содрана и вымазана велосипедной смазкой, а разъяренное чувство справедливости кричит: «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!»

Но все это не имеет значения. Пять коротких месяцев, и жизнь начнется. Пусть она все еще живет в арендованной убогой комнатке с холодной водой над дешевой кафешкой, где работает официанткой, но все предстоящие преступления и проступки станут принадлежать ей одной, и

это будет замечательно.

Кто-то хихикает наверху лестницы.

— Все в порядке?

С кухни доносится сдавленный смешок. Соседей по дому как обычно развлекает ее рутинная ярость.

— Просто отлично, — оживленно и весело отвечает она. Дом. 12 декабря 1989 года. Падение Берлинской стены. От Балтики до Балкан миллионы угнетенных людей выходят на зимние улицы. Из расцарапанной лодыжки на пол сочится кровь. Ну и что? Оливия наклоняется, чтобы прижать к ране сухую салфетку, останавливая поток. Жжет безумно.

НАВЕРХЕ ЕЁ ЖДУТ ОБЪЯТИЯ: два дежурных, одно насмешливое, одно холодное, а в последнем чувствуется полугодовое угрюмое желание. Оливия ненавидит этот дешевый ритуал соседей по дому, но обнимает их в ответ. Прошлой весной группа сошлась в оргии взаимного энтузиазма. К концу сентября общий праздник любви перерос в ежедневные взаимные обвинения. «Чьи это волосы в моей бритве? Кто-то украл пакетик с дурью, который я оставила в морозилке. Кто, черт возьми, засунул оставшуюся тушку индейки в мусоропровод?» Но девушка может сделать все,

что угодно, когда видна финишная черта.

На кухне пахнет божественно, но никто не приглашает ее разделить трапезу. Она проверяет холодильник. Перспективы плачевные. Оливия не ела уже десять часов, но решает продержаться еще немного. Если она сможет подождать до окончания своей частной вечеринки, то еда будет похожа на танец с полубогами.

— Я сегодня развелась, — объявляет она.

Разрозненные возгласы и аплодисменты.

— Не сразу у тебя получилось, — говорит наименее любимая из ее бывших родственных душ.

— Это точно. Я разводилась дольше, чем была замужем.

— Только фамилию обратно не меняй. Эта тебе больше подходит.

— И о чем ты вообще думала, когда выходила замуж?

— А лодыжка выглядит не очень. Тебе надо хотя бы смазку счистить.

Снова приглушенные смешки.

— И я вас тоже люблю.

Оливия под шумок берет из холодильника чей-то ореховый эль — только он там еще не протух — и утаскивает его в свою отремонтированную комнату на чердаке. Там, в постели, выпивает

всю бутылку, даже не подняв головы от подушки. Хоть чему-то она научилась. Смазка и кровь с лодыжки оставляют пятна на простыне.

Оливия и Дэйви сегодня днем в последний раз встретились в суде, между ее парами по экономике и линейному анализу. Теперь с их браком покончено, и финальное решение уже не может опечалить ее еще больше. Впрочем, сожаления до сих пор мучают Оливию. Связать жизнь с другим человеком — каприз весны на втором курсе — казалось таким всеобъемлющим, таким залихватским и невинным решением. Два года их родители не могли прийти в себя от ярости из-за такой глупости. Друзья совершенно не понимали. Но Оливия и Дэйви были полны решимости доказать, что все ошибаются.

Они действительно любили друг друга, по-своему, пусть их отношения и состояли в основном из того, что они накуривались, читали Руми вслух, а потом трахались до умопомрачения. Но брак почему-то заставил их мучить друг друга. После третьего раза, когда комната смеха обернулась домом ужасов, а Оливия сломала пятую пястную кость, кто-то должен был протрезветь и выдернуть вилку из розетки. Никакой общей собственности у них не было, как и детей, если

не считать их двоих. Развод должен был занять дня полтора. Но длился больше десяти месяцев, в основном из-за ностальгической похоти истца и ответчика.

Оливия ставит пустую банку на батарею, к остальным мертвым рекрутам, и начинает рыться в гнезде всякой всячины у кровати, откуда выуживает дисковый плейер. Развод требует панихиды. Брак был ее приключением, и теперь она должна его отметить. Дэйви забрал томик Руми, но у нее осталась куча их любимой трансмузыки и достаточно дури, чтобы все сожаления превратились в смех. Конечно, есть еще экзамен по линейному анализу. Но до него еще три дня, и Оливия всегда учится лучше, когда слегка себя отпускает.

Еще два года назад, даже несмотря на первоначальное возбуждение, ей должно было прийти в голову, что отношения, в которых она умудрилась трижды солгать за первые два часа свидания, могут оказаться не слишком удачными в долгосрочной перспективе. Тогда они гуляли под вишнями в дендрарии кампуса. Она рассказывала о своей глубокой любви ко всему цветущему, что отчасти казалось правдой, по крайней мере тогда. Потом заявила о том, что ее отец — адвокат

по правам человека, опять-таки не совсем ложь, а мать — писательница, что было полной чушью, пусть и основанной на реальных фактах. Оливия не стыдится своих родителей. В начальной школе ее как-то раз даже отстранили от занятий за то, что она врезала одной девчонке: та обозвала ее отца «вялым». Но в мире историй с хорошим концом — ее любимой области — родители были куда меньше того, чем могли бы стать. Поэтому она немного приукрасила их для мужчины, с которым, как уже тогда решила, проведет остаток жизни.

Дэйви тоже солгал. Он заявил, что ему даже диплом не нужен, так как он блестяще сдал экзамены на государственную службу, и Госдепартамент уже предложил ему работу. Выдумка была настолько возмутительной, что казалась даже красивой. Оливия всегда питала слабость к фантазерам. Позже, под снегом из вишневых лепестков, он показал ей маленькую викторианскую жестянку с рекламой восковых усов на крышке, внутри которой лежали шесть длинных тонких пулек травки. Она никогда не видела ничего подобного, разве что в школьных антинаркотических фильмах. И достаточно быстро увлеклась изящным искусством дельтаплане-

ризма над оживленной землей. Так начался ее все еще не закончившийся роман с даром, что не обманывал, роман, который, в отличие от брака с Дэви, наверняка продлится всю жизнь.

Она включает трансовый плейлист, садится на свой любимый подоконник, открывает окно в холодную ночь и выпускает клубы дыма на пожарную лестницу, напоминающую смертельную ловушку. Бренчит телефон, но Оливия не берет трубку. Это один из трех мужчин, которые считают, что разбираются в ее логике, но их заблуждения она больше не собирается поддерживать. Телефон не унимается. У нее нет автоответчика. Зачем использовать устройство, которое обязывает тебя перезванивать? Она считает звонки, это своего рода медитация. Двенадцать, за это время Оливия выдувает два массивных гашишных облака на замерзшую улицу. Из-за безумной настойчивости звонящего круг подозреваемых сужается, пока она не понимает. Это может быть только бывший, он надеется отметить развод последней любовной потасовкой.

ПСИХО-СОЦИО-СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ юной Оливии: на такое количество образования она явно не подписывалась, когда приехала в город. Она прибыла в кампус три года назад с

игрушечным медведем, феном, аппаратом для попкорна и школьным знаком отличия за достижения в волейболе. Следующей весной Оливия собирается уехать отсюда с табелем, усеянным кратерами, двумя штангами в языке, витиеватой татуировкой на лопатке и дневником таких ментальных путешествий, о которых она даже не могла мечтать.

Она все еще хорошая девочка, ну или вроде того. План состоит в том, чтобы быть полуплохой еще несколько месяцев. А потом она все исправит, взмахнет крыльями и отправится на запад, куда вечно направляются все хорошие неудачники. Оказавшись там — где бы это ни было — она получит в свое распоряжение кучу времени, чтобы сообразить, как извлечь пользу из своей нелепой степени. Когда надо, Оливия умеет быть чрезвычайно изобретательной. А еще она, приложив совсем немного усилий, знает, как стать невероятно милой. Мир меняется, раскрывается с треском. Она может поехать в Берлин, теперь, когда будущее, похоже, направилось туда. В Вильнюс. Варшаву. Куда-то, где правила прямо сейчас куются с нуля.

Музыка бьет по ее дельтовидным мышцам, разум лениво парит. Под кожей основывают

колонию пауки. Когда Оливия кладет руку себе на бедро, толчок от прикосновения достигает горизонта идей. Скоро разум начинает штормить, и эти бури связываются в единое целое перед ее глазами, отчего весь беспорядок человеческой цивилизации кажется таким прекрасным и самоочевидным. Вселенная огромна, и Оливии позволено летать по соседним галактикам, стреляя молниями по всему вокруг смеха ради, если только она не злоупотребляет своими способностями и не приносит никому вред. Ей так нравится этот путь.

А потом появляются мелодии, прямо внутри. Оливия выключает плейер и пытается сообразить, как пересечь океан комнаты. Когда она встает, голова продолжает подниматься прямо вверх, в совершенно новый слой бытия. Смех помогает ей сдвинуться с места, найти равновесие, и Оливия плывет по половицам, ее груди сверкают, как драгоценные жемчужины. Не сразу, но она все-таки добирается туда, куда хотела, и замирает на минуту, пытаясь вспомнить, что же ей здесь понадобилось. Так трудно что-либо расслышать из-за мелодий собственного изобретения.

Она садится за свой студенческий стол из ДСП и находит блокнот для песен. Настоящая нотная за-

пись для Оливии — все равно что тайное письмо, потому она изобрела свою собственную систему для сохранения мелодий, приходящих к ней, когда она выходит за пределы. Цвет линий, их толщина, расположение — все это помогает кодировать подаренные мотивы. И на следующий день, после того как шум уляжется, она может посмотреть на эти каракули и снова услышать музыку. Словно ловишь кайф от кого-то, кто курит рядом, бесплатно.

Сегодняшняя мелодия вдавливает ее прямо в кресло, когда оркестр неизвестных инструментов исполняет песню, которую ангелы будут играть Богу, когда Он решит вернуть всех домой. Это лучший внутренний саундтрек, который у нее когда-либо получался, возможно, лучшее, что она вообще сделала в своей жизни. Оливия начинает плакать, хочет позвонить родителям. Хочет спуститься вниз и обнять своих соседок, на этот раз по-настоящему. Музыка говорит: *Ты не знаешь, как ярко ты сияешь.* Она говорит: *Кое-что ждет тебя, чистое, совершенное, именно этого ты хотела с самого детства.* А затем это священное блаженство становится смешным, и Оливия хохочет, чуть безумно, над своей обдолбанной душой.

Но от мелодии и блаженства кожу щекочет. Идея горячего душа приобретает религиозную настоятельность. В построенной из чего попало душевой — вырезанной из того же чердака, что и спальня, — северная стена покрыта инеем изнутри. Секрет в том, чтобы пустить горячую воду, а только потом раздеться. К тому времени как Оливия залезает под струи, она уже чуть не падает в обморок от голода, а воздух внутри напоминает водоворот изо льда и пламени в узорах пейсли. Она смотрит вниз. Пол в кабинке заливает кровавая пена. Оливия кричит. Потом вспоминает о порезанной лодыжке. Натирает мылом кровоточащую рану и снова начинает хихикать. Люди такие хрупкие. Как они так долго протянули, чтобы учинить все это дерьмо вокруг?

Ногу ужасно жжет. Порез неровный и уродливый. Если будет шрам, Оливия сможет его спрятать под еще одной татуировкой — например, цепочкой вокруг лодыжки. Она проводит мылом вверх по ногам. Гладкость кожи кажется лучшим подарком при разводе, о котором только может мечтать девушка. Каждое прикосновение словно разряд тока. Тело вспыхивает, требуя удовлетворения.

Кто-то тяжело стучит в дверь.

— У тебя там все в порядке?

Оливия не сразу справляется с собственным голосом.

— Уходи, пожалуйста.

— Ты кричала.

— Но больше не кричу. Спасибо!

Она материализуется в комнате. Тело, задрапированное полотенцем и паром, сияет от желания. Даже студеный воздух ласкает ее, как секс-игрушка. Мир не может предложить ничего лучшего, кроме как вознести на вершину экстаза. Оливия сбрасывает полотенце и растягивается на кровати. Падение на одеяло кажется вечностью и с каждой секундой делается все лучше. Она протягивает руку в тень лампы на полу, чтобы отключить ее и погрузиться в восхитительную тьму. Но когда влажная рука дотрагивается до выключателя на дешевой розетке, все напряжение дома входит в ее конечность и вливается в тело. Мускулы сжимаются от разряда, словно в каком-то научном эксперименте, смыкая ладонь вокруг электричества, убивающего Оливию.

Она лежит на кровати, обнаженная, мокрая, бьется в конвульсиях, вторая рука поднята в воздух, Оливия пытается выдавить слово «помогите» со дна легких через рот, застывший от

напряжения. Прежде чем останавливается сердце, она умудряется издать двусмысленный стон. Соседки внизу слышат его — уже второй за ночь. От грубой интимности этого звука они краснеют.

— Оливия, — говорит одна, ухмыляясь.

— Даже не спрашивай.

Когда она умирает, во всем доме гаснет свет.

СТВОЛ

Мужчина сидит за столом в камере тюрьмы общего режима. Сюда его посадили деревья. Деревья и слишком большая любовь к ним. Он все еще не может сказать, насколько неправ был, выбрал бы эту неправоту снова. Единственный текст, способный ответить на этот вопрос, ширится, нечитаемый, под его руками.

Пальцы скользят по волокнам в деревянной поверхности стола. Мужчина пытается увидеть, как эти дикие петли могли произойти из такой простой вещи как кольца. Некая тайна в угле среза, в плоскости, которая рассекла вложенные цилиндры. Если бы его разум был чуть другим, проблема решилась бы легко. Если бы он сам рос по-другому, то смог бы все увидеть.

Волокна колеблются неровными полосами — толстые светлые, тонкие темные. Мужчина как будто вот уже целую жизнь смотрит на дерево, и вскоре, потрясенный, понимает: он разглядывает годовой маятник, взрыв весны и свертывание осени; в среде, которую создала сама древесина, записано биение песни размером в две четвер-

ти. Волокна колеблются, как горные хребты и впадины на топографической карте. Бледные рвутся вперед, темные сдают назад. На секунду из углового среза стола как будто проявляются цельные кольца. Мужчина может увидеть их истории. Но он безграмотен. Понимает, что широкие — это хорошие годы, а узкие — плохие. Но ничего больше.

Если бы только он мог их прочитать, перевести... Если бы только был немного другим существом, тогда узнал бы о том, как светило солнце и шел дождь, куда дул ветер, как сильно и как долго. Он смог бы расшифровать невероятные проекты, организованные почвой, убийственные морозы, страдания и борьбу, нехватки и излишки, нападения насекомых, годы роскоши, пережитые бури, сумму всех шансов и угроз, что наступали со всех сторон, в каждое время года, прожитое этим деревом.

Палец мужчины двигается по тюремному столу, стараясь выучить чужой почерк, переписать его, подобно монаху в скриптории. Он отслеживает волокна и думает обо всем том, что мог бы ему рассказать этот древний нечитаемый альманах, обо всех тех вещах, про которые могло бы поведать ему вспоминающее дерево в этом

месте заключения, где нет смены времен года и одна установленная погода.

Она умерла на одну минуту и десять секунд. Ни пульса, ни дыхания. Потом тело Оливии отбросило от лампы, когда сгорели предохранители, оно перевалилось через край кровати и упало на пол. Удар запустил остановившееся сердце.

Голая, без сознания лежащая на сосновых половицах: такой Оливию находит ее новый бывший муж, когда приходит в надежде на крупный скандал, за которым последует примирительный секс. Он срочно отвозит ее в университетскую больницу, где она приходит в себя. Оливия все еще под кайфом. Ребра в синяках, рука обожжена, на лодыжке порез. Помощник доктора хочет получить полный отчет, который Оливия дать не может.

Беспомощный, безутешный бывший муж оставляет ее в руках врачей. Те хотят провести неврологическую оценку. Сканирование. Но Оливия убегает, пока за ней никто не смотрит. Это университетская больница, и все заняты. Она непринужденным шагом проходит по вестибюлю, само воплощение здоровья. Кто ее остановит? Возвращается в пансионат и баррикадируется в своей комнате. Соседки по дому поднимаются на

чердак, чтобы проверить ее, но она отказывается открывать дверь. Целых два дня прячется в комнате. Каждый раз, когда кто-то стучит, изнутри раздается голос: «Я в порядке!» Соседки не знают, кому звонить. Из-за двери не доносится никаких звуков, кроме приглушенного шарканья.

Оливия спит и молчит, держится за ушибленные ребра и пытается вспомнить, что произошло. Она умерла. В те секунды, пока у нее не было пульса, ее манили какие-то большие, мощные, но совершенно отчаявшиеся силуэты. Ей что-то показывали, ее умоляли. Но как только она вернулась к жизни, все исчезло.

Она находит свой блокнот с песнями, тот упал за стол. Цветные записи воссоздают мелодию, появившуюся в голове незадолго до того, как ее убило электрическим током. С помощью музыки она воссоздает большую часть вечерней катастрофы. Видит, как расхаживает по чердаку, такая зависимая от собственного тела. Все равно что смотреть на то, как животное в зоопарке кружит внутри клетки. Впервые она понимает, что в словосочетании «быть одной» кроется противоречие. Даже в самые сокровенные телесные моменты с ней рядом находится что-то еще. Оно говорило с ней, когда она была мертва.

Использовало голову как экран для бестелесных мыслей. Она прошла через треугольный тоннель рябящего цвета и вышла на поляну. Там призраки — Оливия не понимала, как еще их называть, — сняли с нее шоры и позволили ей посмотреть насквозь. А затем она снова упала в свое тюремное тело, и все невероятные видения, скользившие перед глазами, размылись в ничто.

Оливия думает: «Может, у меня повреждение мозга?». По несколько раз за час ей нужно закрывать глаза, пока слова двигают безмолвные губы. «Скажите мне, что случилось. Что мне теперь делать?» Она не сразу понимает, что молится.

ОЛИВИЯ ПРОПУСКАЕТ ВСЕ ЭКЗАМЕНЫ. Звонит родителям и говорит, что на Рождество не приедет. Отец сбит с толку, а потому явно уязвлен. Обычно она просто старается его перекричать. Но злость других людей не может навредить той, что уже умерла. Она рассказывает ему обо всем — о своей одинокой вечеринке по поводу развода, об ударе током. Теперь скрывать бессмысленно. Что-то наблюдает за ней — огромные живые стражи знают, кто она такая.

Отец растерян, так же себя чувствует и Оливия, когда лежит ночью в постели, уверенная, что больше никогда не обретет того, что ей показали,

когда она умерла. Теперь же, после смерти, она слышит страх в голосе отца — темные подводные течения в адвокате, о которых она даже не подозревала. В первый раз с самого детства ей хочется его успокоить.

— Папа, я облажалась. Дошла до предела. Мне нужно отдохнуть.

— Приезжай домой. Сможешь отдохнуть здесь. Тебе нельзя быть одной на праздниках.

Отец кажется таким хрупким. Он всегда был для нее чужим, человеком процедур даже тогда, когда нужны были страсти. Теперь же ей вдруг приходит в голову мысль, что и он тоже когда-нибудь умрет.

Они годами не говорили так долго. Оливия рассказывает, каково это — умереть. Даже пытается сообщить о призраках на поляне, тех, что так много ей показали, хотя и старается использовать такие слова, чтобы его не напугать. «Импульсы. Энергия». Дважды он уже хочет запрыгнуть в машину, проехать 650 миль и привезти ее домой. Но Оливия отговаривает его. Семьдесят секунд смерти придали ей странную силу. Между ними все изменилось, словно теперь он стал ребенком, а она — стражником.

Оливия просит о том, чего раньше никогда не

просила. — Позови маму на минутку. Хочу с ней поговорить.

Теперь она понимает, как успокоить ярость матери. К концу разговора обе женщины в слезах и обещают друг другу безумное.

ОЛИВИЯ ОДНА В ПАНСИОНАТЕ с Рождества до Нового года. Весь дурман она смывает в туалет. Ей присылают оценки: две «неудовлетворительно», «слабо с минусом» и «удовлетворительно». Буквы лишь отвлекают от того, что она с таким трудом пытается вспомнить. Целыми днями Оливия почти ничего не ест. Снежная буря покрывает город ювелирной коркой. Срывает ветки с дубов и кленов. Оливия сидит на кровати, там, где остановилось ее сердце, положив блокнот с песнями на колени. Встает, делает шаг. То место на полу, где Дэйви нашел ее, кажется горячим под босыми ногами. Она жива, но не понимает почему.

Ночью Оливия не спит, смотрит вверх, вспоминает то, как оказалась рядом с единственным важным открытием в своей жизни. Ей прошептали наставления, но она не смогла их записать. Молитвы срываются с губ все легче. «Я неподвижна. Я слушаю. Что вы хотите от меня?» В канун Нового года она засыпает в десять. Через два часа просыпается от стрельбы и вскакивает с крика-

ми. А потом часы подсказывают: фейерверки. Пришли девяностые.

Соседки возвращаются уже в новом году. Обращаются с ней так, будто она больна. Боятся ее теперь, когда вся стервозность Оливии исчезла. Оливия сидит на кухне, пока люди вокруг шутят, обдалбываются и стараются не обращать внимания на призрака за столом. Ее поражает, что раньше она никогда не чувствовала их печали или не замечала их отчаяния. Поразительно, но они все еще верят в свою безопасность. Живут так, словно хлипкие шайбы, прокладки и липкая лента, на которых держится их существование, не дадут им расклеиться. В глазах Оливии они стали ранимыми, а потому бесконечными родными.

В первый день нового семестра Оливия сидит на краю аудитории, похожей на чашу, пока красноречивый лектор рассчитывает страховые взносы и прибыли, нужные для того, чтобы как страховая компания, так и покойник чувствовали себя в выигрыше.

— Страхование, — говорит он, — это основа цивилизации. Не будет страхового пула — не будет небоскребов, блокбастеров, крупномасштабного сельского хозяйства и организованной медицины.

Пустое место рядом с Оливией шуршит. Она поворачивается. Там, в нескольких дюймах от ее лица, находится то, о чем она молилась. Конус заряженного воздуха врывается в ее мысли. Они вернулись, манят. Хотят, чтобы она встала и вышла из аудитории. Оливия сделает все, что они попросят. Спустившись по каменным ступеням в своем зимнем пальто, она пересекает обледенелый главный двор. Огибает классные комнаты, библиотеку, общежитие для первокурсников, идет, не задумываясь, увлекаемая призраками. На мгновение Оливия думает, что ее пункт назначения — кладбище Гражданской войны к югу от кампуса. Затем становится ясно, что она направляется к стоянке, где держит свою машину.

Сев в автомобиль, она понимает, что ехать придется долго. Останавливается у пансионата, чтобы забрать вещи. За три подъема перетаскивает все, что хотела. Кучей сбрасывает одежду на заднее сиденье. И уезжает.

Машина пробирается на внутриштатное шоссе. Вскоре Оливия минует осоковые луга и дубовые рощицы к северо-западу от города. Сквозь снег на полях пробивается стерня прошлой осени. Оливия едет долго, подчиняясь призракам. Как радиостанция из другого города, их сигнал то

совершенно чистый, то его забивает статика. Она стала инструментом их воли.

За Моми дорога сворачивает на юго-запад. Шоколадный батончик в бардачке — это завтрак Оливии. В кошельке у нее несколько купюр и дебетовая карта, на которой лежит меньше двух тысяч долларов. В голове ничего даже отдаленно не напоминает план. Но Оливия помнит, что Иисус говорил о цветах и не беспокоиться о дне завтрашнем. Как-то монахини заставили каждого студента зазубрить строчку из Библии: она выбрала эту, чтобы позлить учителя, который был помешан на личной ответственности. Ей нравился Иисус, который бы ужаснул каждого законопослушного, стяжательного американского христианина. Иисус-коммунист, безумный разоритель торговцев и друг бездельников. «Довольно для каждого дня своей заботы»[40], Неожиданно порыв раскаяния проносится сквозь нее. «Я пропускаю „Статистический анализ“». До этого момента в жизни она и так пропустила все. Теперь анализ исчезнет, и вскоре она, наконец, все узнает.

Сумерки и Индиана приходят быстрее, чем

---

[40] Примечания: 40
Матфей 6:34.

ожидала Оливия. Тьма падает смехотворно рано, ведь солнцестояние было недавно. Оливия изголодалась по настоящей еде и так устала, что время от времени врезается в занесенный снегом отбойник. Призраки исчезают на полчаса. Ее уверенность сразу сходит на нет. Трудно одновременно молиться и вести. Впереди расстилаются пустые кукурузные поля настоящего Среднего Запада. Оливия понятия не имеет, почему тут оказалась. Потом что-то снова занимает пассажирское сиденье, и она успокаивается на следующую сотню миль.

Дэйви как-то сказал ей, что в машине лучше всего спать рядом с гипермаркетом. Она довольно легко находит такой, загоняет автомобиль в хорошо освещенный угол расчищенной стоянки, прямо под камеры безопасности. Быстрый забег внутрь, пописать и купить еды, а потом Оливия возвращается в машину, устроив лагерь на заднем сиденье. Она засыпает под тремя слоями одежды, молясь, ожидая и слушая.

ЭТО ИНДИАНА, 1990 ГОД. Здесь пять лет — это поколение, пятьдесят — археология, а все, что старше, превращается в легенду. И все же места помнят то, что люди забывают. Автостоянка, на которой спит Оливия, когда-то была фруктовым

садом, чьи деревья посадил кроткий, сумасшедший последователь Сведенборга, который бродил по этим местам в лохмотьях и оловянном котелке вместо шапки, проповедовал о Новом Рае и тушил костры, чтобы те не убивали жуков. Ненормальный святой и убежденный трезвенник при этом снабжал четыре штата таким количеством сбраживаемого яблочного пюре, что каждый первопроходец в возрасте от девяти до девяноста лет мог не просыхать в течение десятилетий.

Весь день Оливия следовала за Джонни Яблочным Семечком. Однажды она прочитала об этом человеке в комиксе, который дал ей отец. Там его изобразили как супергероя, способного создавать вещи из грязи. В тексте ничего не говорилось о филантропе с нюхом на собственность, о бродяге, который умрет, владея тысячей двумястами акров самой богатой земли в стране. Она всегда считала его просто мифом. Ей только предстоит узнать, что мифы — это фундаментальные истины, превращенные в мнемонические коды, инструкции, отправленные из прошлого, воспоминания, ждущие того, чтобы стать предсказаниями.

С яблоком вот какая штука: оно застревает в горле. Это пакетная сделка: похоть и понимание.

Бессмертие и смерть. Сладкая мякоть с цианидными семечками. Удар по голове, от которого рождаются целые науки. Золотой восхитительный диссонанс, подарок, подброшенный на свадебный пир, из-за которого разгорается бесконечная война. Это фрукт, но в нем таится жизнь богов. Первое и самое страшное преступление, но и удачная неожиданность. «Благословенно то время, когда было сорвано яблоко»[41].

И вот какая штука с яблочными семечками: они непредсказуемы. Потомство может быть любым. Уравновешенные родители рождают дикого ребенка. Сладкое может стать кислым, а горькое — маслянистым. Единственный способ сохранить вкус сорта — привить черенок на новый подвой. Оливия Вандергрифф удивилась бы, если бы узнала, что каждое яблоко с именем восходит к одному и тому же дереву. «Джонатан», «Макинтош», «Империя»: удачные ходы в карточной игре рода *Malus*[42].

---

[41] Примечания: 41

Цитата из «Adam lay ybounden» средневекового английского христианского текста XV века, в котором пересказываются события третьей главы Бытия, об изгнании Адама и Евы из Эдема. Автор текста неизвестен.

[42] Примечания: 42

Malus (лат.) — яблоня, международное научное название, рода яблок. «Джонатан», «Макинтош» и «Империя» — это различные сорта яблок.

А названное яблоко — это патентоспособное яблоко, как сказал бы отец Оливии. Однажды она поссорилась с ним из-за одного дела. Он помогал транснациональной компании засудить фермера, который сохранил часть прошлогоднего урожая сои и пересадил ее, не заплатив при этом роялти. Оливия была возмущена.

— Вы не можете владеть правами на живое существо!

— Можем. И должны ими владеть. Защита интеллектуальной собственности — это корень богатства.

— А что насчет сои? Ей кто-то что-то заплатил за интеллектуальную собственность?

В его хмуром осуждающем взгляде читалось: «Чья ты дочь?»

Человек, который когда-то владел участком, на котором она сейчас спит, — бродячий яблочный миссионер в шапке-кастрюле, — был уверен, что черенкование причиняет дереву боль. Он собирал семена яблок из мельничного жмыха и высаживал сады, каждый раз продвигаясь чуть дальше на запад. И какие бы семена он ни посеял, они пускались в свои преднамеренные и непредсказуемые эксперименты. Благодаря взмахам его руки, словно по воле тайной магии, полоса от

Пенсильвании до Иллинойса превратилась во фруктовые деревья. Весь день Оливия ехала по этой стране. Сейчас она спит на парковке, которая когда-то была садом, полным непредсказуемых яблок. Деревья исчезли, и город забывает о них. Но не земля.

Оливия просыпается рано, окоченевшая от холода, под кучей одежды. Автомобиль наполнен существами из света. Они повсюду, их красота невыносима, они такие, какими были в ту ночь, когда у нее остановилось сердце. Они проходят в ее тело и сквозь него. Не ругают за то, что она забыла послание, которое они ей дали. Они просто наполняют ее снова. Оливия так радуется их возвращению, что начинает плакать. Они не говорят вслух. Никаких слов, ничего столь грубого. Даже не сказать, что они существуют сами по себе. Существа — часть Оливии, родственники в каком-то смысле, просто тот пока не ясен. Эмиссары творения — того, что она видела и знала в этом мире, потерянного опыта, забытых крупиц знаний, отсеченных семейных ветвей, которые она должна восстановить и возродить. Смерть подарила ей новые глаза.

«Ты была бесполезной, — напевают призраки. — Но теперь все иначе. Тебя пощадили,

вырвали из рук смерти, чтобы ты совершила нечто важное».

«Но что?» — хочет спросить она, но ей лучше оставаться безмолвной и неподвижной.

«Момент жизни уже здесь. Проверка, которой у нее еще не было».

Оливия проживает целую вечность под кучей одежды на заднем сиденье замерзшей машины. Бесплотные сущности с дальней стороны смерти дали о себе знать, здесь, сейчас, на парковке этого магазина, и зовут на помощь. Краешек солнца выступает из-за горизонта. Два покупателя выходят на улицу. Еще только рассвет, а они уже толкают тележку с коробкой размером с их машину. Мысли Оливии сжимаются до точки. «Просто скажите мне. Скажите, что вы хотите, и я все сделаю». Мимо проезжает контейнеровоз, скрежеща передачей на пути к разгрузке. От шума сущности исчезают. Оливию охватывает паника. Они так и не дали ей задание. Она роется в сумке, ищет, чем бы записать. На коробке с каплями от кашля пишет: «пощадили», «проверка». Но эти слова ничего не значат.

Наконец-то по-настоящему наступило утро. Мочевой пузырь Оливии сейчас разорвется. Еще минута, и ничего, кроме туалета, больше не будет

иметь значения. Она выходит из машины и отправляется в магазин. Внутри пожилой мужчина приветствует ее, словно старого друга. В огромном ангаре царит показушное шоу благополучия и веселья. В дальнем конце вдоль стены выстроены телевизоры всех размеров, от хлебницы до монолита. Все настроены на одну утреннюю развлекательную передачу. Сотни парашютистов устраивают прямо в небе церковную службу. Оливия бежит пятьдесят ярдов по коридору из экранов и врывается в уборную. Облегчение, когда оно наступает, неимоверное. А потом снова подступает грусть. «Дайте знак, — умоляет она и сушит руки. — Просто скажите, что вы хотите от меня».

В телевизионном коридоре массовая религиозная служба в воздухе сменилась другим собранием. По всей стене, на множестве разных устройств, люди сидят, прикованные друг к другу, в траншее перед бульдозером, дело происходит в маленьком городке, тот, если судить по тексту внизу, называется Солас, штат Калифорния. Быстрый переход и дюжина людей выстраивается в живое кольцо вокруг дерева, которое едва могут охватить. То похоже на спецэффект. Даже с расстояния в камеру попадает только его основание.

На стволе исполина виднеется синяя краска. Голос за кадром рассказывает о столкновении, но дерево, воспроизведенное на стене из экранов, настолько ошеломляет Оливию, что она упускает детали. Камера показывает женщину лет пятидесяти с зачесанными назад волосами, в клетчатой рубашке и с глазами, похожими на маяки. Она говорит: «Некоторые из этих деревьев росли здесь еще до рождения Иисуса. Мы уже срубили девяносто семь процентов древних гигантов. Разве мы не можем найти способ сохранить хотя бы последние три процента?»

Оливия замирает. Существа из света, которые устроили засаду в машине, снова окружают ее, говоря: «Вот оно, вот оно, вот оно». Но в тот момент, когда она понимает, что должна быть очень внимательной, сюжет заканчивается и начинается другой. Она стоит, смотрит на дебаты о том, защищает ли Вторая поправка огнеметы. Существа из света исчезают. Откровение превращается в бытовую электронику.

Она выходит, ошеломленная, из чудовищного магазина. Живот свело от голода, но Оливия ничего не покупает. Она даже думать не может о еде. В машине понимает, что должна двигаться на запад. Солнце встает позади нее, заполняя

зеркало заднего вида. Поля покрывает розовый от восхода снег. На западном небе начинают светлеть оловянные облака, и где-то под ними лежит момент жизни.

Ей надо позвонить родителям, но она не понимает, как им обо всем рассказать. Проезжает еще пятьдесят миль, пытаясь реконструировать, что же увидела. Убранные поля Индианы сияют желто-коричнево-черным цветом до самого горизонта. Дорога пуста, машин мало, о городах и речи нет. Еще два дня назад на таком шоссе Оливия выжала бы из машины все восемьдесят миль в час. Сейчас же едет так, словно ее жизнь все-таки чего-то стоит.

У границы с Иллинойсом она въезжает на вершину холма. Внизу вспыхивает железнодорожный шлагбаум. Длинный грузовой поезд медленно движется на север к суперузлу Гэри и Чикаго. Ровный стук колес отзывается дабовой мелодией в ее голове. Поезд бесконечен; Оливия устраивается поудобнее. Затем замечает груз. Мимо проносятся вагоны, каждый загружен пиломатериалами. Волнистая река древесины, рассеченная на одинаковые балки, течет мимо и, кажется, ей нет конца. Оливия начинает считать вагоны, но останавливается на шестидесяти.

Она никогда не видела столько дерева. В голове загорается карта: вот такие поезда в эту самую минуту проносятся по стране во всех направлениях, питая все большие мегаполисы и их пригороды. Она думает: «Эту демонстрацию они устроили специально для меня». Потом поправляется: «Нет, такие поезда ходят постоянно». Просто теперь она их замечает.

Проезжает последний вагон, шлагбаум поднимается, а красные огни прекращают сверкать. Оливия не двигается. Позади нее кто-то гудит. Она не шевелится. Гудящий жмет на клаксон, потом объезжает ее, кричит в закрытой кабине и трясет средним пальцем так, словно старается зажечь его. Она закрывает глаза: под веками вокруг огромного дерева сидят маленькие люди в цепях.

«Самому чудесному результату четырех миллиардов лет жизни на Земле нужна помощь».

Оливия смеется и открывает глаза, наполненные слезами. «Принято. Я вас слышу. Да».

Она смотрит через левое плечо и видит машину, направляющуюся в противоположную сторону, которая остановилась рядом с опущенным окном. Водитель, азиатский мужчина в

футболке с надписью NOLI TIMERE[43], уже во второй раз спрашивает ее: «Вы в порядке?» Она улыбается, кивает и машет рукой, извиняясь. Заводит двигатель, заглохший, пока она смотрела на бесконечную реку древесины. Снова едет на запад. Только теперь знает куда. В Солас. Воздух вокруг искрится от связей. Призраки светятся, поют новые песни. «Мир начинается прямо здесь. Это всего лишь начало. Жизнь может все. Ты даже не представляешь».



За годы до того, на северо-западе Рэй Бринкман и Дороти Казали Бринкман едут домой ночью после вечеринки в честь премьеры «Кто боится Вирджинии Вульф?» в театре Сент-Пола. Они только что исполнили роль молодой пары, Ника и Хани, которые, выпив несколько бокалов с новыми друзьями, узнают, на что способен вид человеческий.

Несколько месяцев назад, в начале репетиций, четверо главных героев смаковали жестокость пьесы.

---

[43] Примечания: 43
Не бойся *(лат.)*.

— Я чокнутая, — объявила Дороти остальным членам труппы. — В этом я могу вас уверить. Но эти люди… они совершенно безумны.

К премьере все четверо уже измотаны, их тошнит друг от друга, они готовы глотки грызть. Потому любительский театр обретает подлинное величие. Бринкманы блистают в пьесе, это их лучший выход. Рэй поражает всех мелочным коварством, Дороти великолепна в своем двухчасовом падении от невинности к пониманию. Понадобилось лишь совсем немного Станиславского, чтобы найти своих внутренних демонов.

В следующую пятницу Дороти исполняется сорок два. За последние несколько лет они потратили около ста пятидесяти тысяч долларов на лечение от бесплодия, которое оказалось бесполезным колдовством. За три дня до премьеры они получили последний удар. Больше им нечего пробовать.

— Это моя жизнь, правильно? — Дороти зациклилась, она рыдает на пассажирском сиденье, возвращаясь домой после своего триумфа. — Она принадлежит только мне. Я же по идее должна ей обладать, разве не так?

Она стала для них больным местом, собственность: ее Рэй охраняет каждый день. Он так и не

смог убедить жену, что преследование за кражу чужих идей — это лучший способ сделать всех богаче. Алкоголь тоже не помогает уровню дискуссии.

— Моя личная собственность. Может, мне теперь устроить, блин, гаражную распродажу?

Дороти плохо от ее работы. Люди судятся друг с другом, а она должна фиксировать каждую клевету на своей узкой стенографической машине, слово за словом и как можно точнее. Больше всего на свете она хочет ребенка. Ребенок дал бы ей наконец осмысленную работу. Но теперь и это невозможно, а потому ей тоже хочется кого-нибудь засудить.

Рэй превратил в настоящее искусство умение оставаться спокойным под ее нападками. Не в первый раз он говорит себе, что ничего у нее не забрал. И более того… Но он сразу отказывается от этой мысли. Таково его право — не размышлять о том, о чем вполне справедливо размышлять.

Но ему и не надо. Она все сделала за него. Рэй щелкает кнопкой, открывается гараж. Они въезжают внутрь.

— Ты должен меня бросить, — говорит она.

— Дороти. Пожалуйста, перестань. Ты сводишь меня с ума.

— Я серьезно. Оставь меня. Поезжай куда-нибудь. Найди кого-нибудь, заведи нормальную семью. Мужчины так поступают постоянно. Да блин, парни могут и в восемьдесят обрюхатить какую-нибудь крошку. И я не буду возражать, Рэй. Серьезно. Так будет справедливо. Ты же всегда ратуешь за справедливость, разве нет? Да надо же! Он ничего не говорит. Ему нечего сказать в свою защиту.

У Рэя есть только тишина. Его первое и последнее лучшее оружие.

Они подходят к парадной двери. «Какая помойка», — думают оба, но никому ничего не надо говорить. Они сбрасывают вещи на кушетку и отправляются наверх, где снимают одежду, каждый в отдельной гардеробной. Они стоят у своих раковин, чистят зубы. Сегодня было их самое лучшее выступление. Театр приличных размеров, буря аплодисментов. Вызовы на бис.

Дороти ставит одну ногу перед другой, подчеркнуто, как будто полиция — ее муж — заставляет ее пройти по прямой линии. Она поднимает зубную щетку ко рту, машет ей, затем разражается слезами, прикусывая один конец пластиковой палочки и сжав в руке другой.

Рэй сегодня вел машину, поэтому трезв больше,

чем ему хотелось бы, он откладывает щетку и подходит к ней. Она кладет ему голову на ключицу. Зубная паста сочится у жены изо рта на его клетчатый халат. Паста и слюна повсюду. Рот Дороти словно полон камешков.

— Мне просто хочется встать в вестибюле театра перед спектаклем и сказать каждому: «Не будет, сука, никакого ребенка!»

Он заставляет ее сплюнуть и вытирает рот салфеткой. Потом ведет Дороти в кровать, место, которое в последние два месяца больше напоминает Рэю двухместный гроб. Приходится поднять ей ноги, а затем подтолкнуть, чтобы она освободила для него место.

— Мы можем поехать в Россию. — Приятно снова говорить своим голосом, так как последние несколько часов он изображал чересчур вкрадчивого персонажа. Рэю больше не хочется играть в спектаклях, никогда. — Или в Китай. На свете так много детей, которым нужны родители.

В театре есть прием, который называется «повесить абажур». Скажем, из стены за кулисами торчит большой и уродливый кусок трубы, а избавиться от него нельзя. Повесьте на него колпак или абажур и скажите, что так и надо.

Дороти говорит невнятно из-за влажной по-

душки.

— Он не будет нашим.

— Конечно, будет.

— Я хочу маленького РэйРэя. Твоего ребенка. Мальчика. Такого, каким ты был.

— Но он не будет…

— Ну или маленькую девочку, вроде меня. Мне все равно.

— Дорогая. Ну не надо так себя вести. Ребенок — это тот, кого ты вырастил. А не тот, чьи гены…

— Гены — это то, что мы получаем, черт побери. — Она ударяет ладонью по матрасу и пытается встать. Но поднимается слишком резко и падает. — Единственная. Вещь. Которой. Мы. Обладаем. По-настоящему.

— Мы не обладаем нашими генами, — говорит Рэй, забыв упомянуть о том, что вместо нас ими вполне могут владеть корпорации. — Послушай. Мы поедем куда-нибудь, где слишком много детей. Усыновим двух. Мы будем любить их, играть с ними, научим их, как отличать хорошее от плохого, и они вырастут, неразрывно связанные с нами. И мне все равно, чьи гены в них будут.

Дороти закрывает голову подушкой.

— Вы только послушайте его. Этот парень любит всех. Так давайте подарим ему собаку. Или

нет, какой-нибудь овощ, о котором забудем, как только высадим в саду.

А потом она вспоминает об их обычае на годовщину, которым они пренебрегали последние два года. Подскакивает, чтобы забрать слова, уже вылетевшие наружу. Но ее плечо врезается ему в челюсть, когда Рэй наклоняется вперед. От удара он прикусывает язык. Рэй вскрикивает, потом хватается за лицо, искаженное болью.

— О, Рэй. Блин. Черт бы меня побрал! Я не… Я не то имела в виду…

Он машет рукой. «Я в порядке». Или: «Да что с тобой не так?» Или даже: «Отстань от меня». Она не может сказать точно, десять лет брака и другие любительские постановки тут не помогают. Во дворе вокруг дома растения, которые они посадили за прошедшие годы, обретают значение, создают смысл также легко, как делают сахар и древесину из воздуха, солнца и дождя. Но люди ничего не слышат.



НА ЗАПАД ВЕДУТ пять федеральных трасс, словно пальцы перчатки, положенной на континент, с запястьем в Иллинойсе. Оливия едет по сред-

ней. Теперь у нее есть цель — как можно быстрее добраться до Северной Калифорнии, прежде чем последние деревья, огромные, как ракеты, не срубят. Она пересекает Миссисипи в районе Четырех городов и решает отдохнуть на Самой большой стоянке грузовиков в мире, на шоссе 1-80, сразу за границей Айовы. Это место больше похоже на небольшой городок. На ее выбор столько заправок, что она даже сосчитать не может, не замерзнув. Несколько сотен грузовиков толкутся вокруг места, куда она подъезжает, они напоминают огромных акул в неистовости кормления.

Темнеет. Оливия платит за душ и снова становится человеком. Она идет по многолюдной крытой улице с кучей ресторанов, предлагающих сотни способов отведать кукурузу, кукурузный сироп, цыплят и говядину на кукурузном откорме. Тут есть стоматология и массажный салон. Огромный двухэтажный выставочный зал. Музей, демонстрирующий, как сильно весь мир зависит от грузовиков. Игровые, целые переулки с развлечениями, выставки, комнаты отдыха и камин с мягкими стульями по бокам. Оливия сворачивается на одном и задремывает. Просыпается от того, что охранник пинает ее по лодыжкам.

— Не спать.

— Но я просто спала.

— Спать нельзя.

Она возвращается в машину и засыпает до рассвета, укрывшись одеждой. В пищевом туннеле покупает себе маффин, разменивает четыре доллара на четвертаки, находит телефон и готовится к худшему. Но в ее груди странное и вновь обретенное спокойствие. Нужные слова придут.

Оператор просит ее внести кучу денег. Трубку берет отец.

— Оливия? Сейчас шесть утра. Что случилось?

— Ничего! Со мной все хорошо. Я в Айове.

— В Айове? Да что происходит?

Оливия улыбается. То, что происходит, слишком огромно, чтобы вместиться в телефон.

— Папа, все в порядке. Все хорошо. Очень хорошо.

— Оливия. Алло? Оливия?

— Я здесь.

— У тебя какие-то проблемы?

— Нет, пап. Совсем наоборот.

— Оливия, что, черт возьми, происходит?

— У меня появились… новые друзья. Э-э, организаторы.

И у них есть для меня работа.

— Какая работа?

«Самому чудесному результату четырех миллиардов лет жизни на Земле нужна помощь». Это так просто и очевидно теперь, когда ей на все указали создания света. Каждый разумный человек на Земле должен это увидеть.

— Есть один проект. На Западе. Важная добровольческая работа. И меня в нее взяли.

— Что значит, «взяли»? А как же занятия?

— Я не закончу колледж в этом семестре. Вот почему я звоню. Мне нужно взять отпуск.

— Что нужно? Не смеши меня. Нельзя «брать отпуск» за четыре месяца до выпуска.

В общем, это правда, хотя святые и будущие миллиардеры поступали именно так.

— Олли, ты просто устала. Но это всего лишь несколько недель. Все закончится, ты даже оглянуться не успеешь.

Оливия смотрит на водителей, которые собираются позавтракать. Любопытно до невероятия: в одной жизни она умирает от удара током. В другой стоит на самой большой стоянке грузовиков в мире и объясняет отцу, что ее избрали создания света, чтобы помочь сохранить самых удивительных существ на Земле. В голосе на том конце провода звучит отчаяние. Оливия не может сдержать улыбку: жизнь, в которую отец

умоляет ее вернуться, — наркотики, незащищенный секс, психованные вечеринки и опасные выходки — настоящий ад, тогда как путешествие на Запад — воскрешение из мертвых.

— Ты не сможешь получить обратно деньги за съем комнаты. И уже слишком поздно для возмещения платы за обучение. Просто закончи, и сможешь отправиться на свою работу летом. Уверен, твоя мать…

Где-то вдали раздается голос матери:

— Я уверен, твоя мать что?

Оливия слышит, как она кричит, что сама платила за свое образование. Вокруг толпятся люди. Она чувствует их нетерпение — очередь влечет голодом. Жизнь Оливии была мглой привилегий, нарциссизма и невероятно затянувшегося переходного возраста, наполненной подлым сардоническим цинизмом, модностью и самосохранением. Но теперь у нее есть призвание.

— Послушай, — шепчет отец в телефон. — Будь разумной. Если не можешь справиться прямо сейчас с еще одним семестром, приезжай домой.

С самого детства Оливия не чувствовала такой сильной любви.

— Папа? Спасибо. Но я должна это сделать.

— Да что сделать? Где? Милая? Ты еще там?

Хорошая моя.

— Я здесь, папочка. — Остатки той девчонки, которой она была еще несколько дней назад, тянут изнутри, поют «Борись с ним, борись». Но теперь борьба реальна и находится совсем не тут.

— Олли, никуда не уходи. Я приеду и заберу тебя. Я смогу добраться туда через…

Все так очевидно, так благословенно ясно. Но родители ничего не видят. Впереди ее ждет большая, радостная и очень важная работа. Но для начала человеку надо избавиться от бесконечной любви к себе.

— Папа, со мной все хорошо. Позвоню, когда у меня будет больше информации.

В разговор встревает записанный женский голос, требуя еще семьдесят пять центов. Но у Оливии больше нет мелочи. Есть только послание, сказанное женщиной со сверкающими глазами на стене из уцененных телевизоров и переработанное созданиями света, которые диктуют его так ясно, словно находятся на другом конце линии. «Ты нужна самым удивительным существам на земле».

Сквозь стеклянные двери стоянки Оливия видит десятки бензоколонок, а за ними — плоскую трассу 1-80 на рассвете, заснеженные поля,

идет бесконечный обмен заложниками между востоком и западом — едут путешественники. Отец продолжает говорить, используя все приемы убеждения, которым учат на юридическом факультете. Небо творит удивительные вещи. На западном просторе оно немного лиловеет, а на востоке раскрывается, как гранат. Телефон щелкает и отключается. Оливия вешает трубку, новоиспеченная сирота. Создание, тянущееся к солнцу и готовое на все.

ОНА ВЫХОДИТ СО СТОЯНКИ, влюбленная в бесцельное человечество. Возвращается на федеральную трассу, солнце снова восходит в зеркале заднего вида. Друмлины поднимаются и падают. Дорога прорезает двойную траншею сквозь зимнюю белизну до самого горизонта. Достопримечательностей немного, но каждая приводит Оливию в восторг. Библиотека и музей Герберта Говера. Аукцион Шарплесс. Колония Амана. Названия съездов с трасс звучат, как имена персонажей романа о своенравной и манерной южной аристократии: Уилтон Маскатин, Ладора Миллерсбург, Ньютон Монро, Алтуна Бондюран…

Что-то находит на Оливию, странная и прекрасная храбрость. У нее нет средств, только название пункта назначения, и нет реального

представления о том, что она должна делать, оказавшись там. Снаружи холодно и морозно, и все ее мирские пожитки остались в пансионате. Тем не менее, у нее есть банковская карта, на ней небольшая заначка, чувство судьбы, которое не бросит, и друзья, которые, как она предполагает, занимают очень высокое положение в мировом порядке.

Часы проходят, как плывущие облака. Оливия уже забралась далеко на территорию плоской геодезической линии между Де-Мойном и Каунсил-Блафс, и куда ни посмотри, везде нет ничего, кроме бесконечной замерзшей мякины, но вдруг что-то привлекает внимание Оливии. Она оборачивается и видит призрачного автостопщика, тот стоит в снегу за правой обочиной федеральной трассы. Рук у него больше, чем у Вишну. Одна из них держит плакат, который отсюда не прочесть.

Оливия притормаживает. Автостопщик превращается в такое большое дерево, что им можно заполнить целый вагон того деревянного поезда смерти в Индиане. Растрескавшийся ствол извивается штопором вверх на десятки футов, прежде чем разделиться на несколько могучих ветвей. Дерево стоит в стороне от автомагистра-

ли, колонна на фоне неба, единственное, что выше фермерских домов, на многие мили вокруг. Призраки шевелятся на пассажирском сиденье. Подойдя ближе, Оливия разбирает слова, нарисованные на вывеске, свисающей с огромного сука: БЕСПЛАТНОЕ ДРЕВЕСНОЕ ИСКУССТВО. Призраки запускают ветки вверх, щекоча ей затылок.

Оливия сворачивает на следующем съезде. Под знаком STOP, где трасса пересекается с окружным шоссе, нарисованный от руки плакат с такой же надписью, похожей на виноградную лозу, говорит ей повернуть направо. Согласно второму знаку, встретившемуся где-то через полмили, надо ехать обратно, к сказочному дереву. Оливия петляет по извилистой дороге и вдруг впереди видит настоящий Эдем — поляну с широколиственниками, цветущими так, словно сейчас май. Как будто она едет к порталу, ведущему с этой замерзшей, забытой земли в скрытое лето. Когда машина проезжает еще сотню ярдов, поляна превращается в стену старого амбара, преображенную оптической иллюзией. Оливия направляется по гравийке к дорожке рядом с сараем и выходит из машины. Стоит, глядя на фреску. Даже вблизи та сбивает ее с толку.

— Вы здесь из-за вывески?

Оливия в смятении оборачивается. Мужчина в джинсах и бело-серой вафельной рубашке, с волосами, как у пророка из Бронзового века, смотрит на нее. Его дыхание паром клубится на воздухе. Обнаженные руки обхватывают локти. Он на несколько лет старше Оливии и явно перепуган, увидев клиента. Дверь в дом за его спиной распахнута настежь. Дерево стоит чуть поодаль. Оливии кажется, что кто-то посадил его там давным-давно, просто чтобы привлечь внимание.

— Да, думаю, что из-за нее.

Она стоит, дрожит, хочет достать куртку из машины. Мужчина изучает ее так, как будто хочет убежать. Его подбородок дважды поднимается и опускается.

— Что ж, вы первая. — Он указывает длинным пальцем на сарайную фреску, рука словно с ренессансной картины распятия. — Хотите посмотреть галерею?

Он ведет ее по небольшому подъему и ныряет внутрь. По щелчку выключателя перед глазами Оливии открывается пространство, чем-то напоминающее помойку бездомного, а чем-то гробницу фараонов. Повсюду талисманы: тотемы, рисунки и статуэтки разложены на фанерных досках, брошенных на козлы. Все это походит

на работу аутичного неолитического пантеиста, раскопанную археологами.

Оливия качает головой, сбитая с толку.

— Вы это все раздаете?

— Думаете, не сработает, да?

— Я не понимаю.

Она хочет сказать «это безумие». Но с тех пор, как сама стала слышать голоса, слово несколько растеряло свой смысл. Ей приходит в голову мысль, что, наверное, надо бы побеспокоиться: она находится в какой-то глухомани рядом с человеком, которого по любым меркам можно счесть странным. Но одного взгляда достаточно, чтобы убедиться: самое странное в нем — это его невинность.

И он — настоящий художник. Оливия наклоняется к странной, даже готической картине. В тусклом свете сарая изображение видно достаточно ясно. На узкой постели лежит мужчина, он смотрит на кончик ветки, которая растет прямо сквозь окно, приближаясь к его лицу. Зеленая наклейка на раме гласит: $0. Оливия переходит к следующему полотну. Оно нарисовано на заглубленной дверной панели, стоящей на боку. Внутренняя доска превращена в дверь, ведущую на поляну сквозь густое переплетение ветвей.

Оливия осматривает стол, покрытый работами со сходными сюжетами. Одни деревья, они, змеясь, проникают сквозь окна, стены, потолки на первый взгляд совершенно безопасных комнат, ищут человеческие мишени, подобно нацеленным на жар зондам. На некоторых картинах над сюрреалистическими сценами парят нарисованные слова: «Семейное древо», «Обувное древо», «Денежное древо», «Лающий не на то древо». На другом столе четыре скульптуры из черной глины машут, словно руки мертвых, подымающихся из могилы в Судный день. На каждой виднеется зеленый ценник $0.

— Хорошо. Для начала…

— Я дам вам две по цене одной. Как первому клиенту.

Она откладывает рисунок, который взяла, и смотрит на его создателя. Руки у того скрещены на груди и хватаются за плечи, словно он надел на себя смирительную рубашку еще до того, как этим занялся мир.

— А почему вы это делаете?

Он пожимает плечами:

— Рынок потянет, если я все раздам бесплатно.

— Но такое можно реально продать в Нью-Йорке. В Чикаго.

— Только не говорите мне о Чикаго. Я два с половиной года рисовал на тротуарах в Грант-парке анаморфические меловые иллюзии. Потоптались на мне изрядно.

Она поджимает губы, надеясь услышать наставления. Но, приведя сюда — БЕСПЛАТНОЕ ДРЕВЕСНОЕ ИСКУССТВО — создания света оставляют ее.

— Я — первая, кто тут остановился?

— Я понимаю! Кто остановится из-за такой вывески? Ближайший город в двенадцати милях, и в нем живет человек пятьдесят. Я думал, что ко мне только всякие беглые уголовники заезжать будут. Вы не из таких, кстати?

Оливия должна подумать, сообразить, как все это относится к дарованной ей миссии. Она переходит от одного стола к другому. Сюрреалистические ящики Корнелла[44], наполненные затейливой древесной контрабандой. Ассамбляжи из сломанной керамики, бус, срезов потрепанной резины, сделанных так, чтобы напоминать корни и усики. Ветви привели ее сюда.

---

[44] Примечания: 44

Имеется в виду *Джозеф Корнелл* (1903–1972) — американский художник и создатель экспериментальных фильмов. Одними из самых знаменитых его работ были ящики из дерева или стекла, в которых он делал ассамбляжи из разных предметов, совмещая традиции конструктивизма и сюрреализма.

— Вы все это сделали? И все они…

— Мой древесный период. Девять лет и пара месяцев.

Оливия всматривается в его лицо, ищет ключ, который там должен быть. Возможно, она сама — ключ для него. Но она даже не понимает, каким может быть замок. Подходит к художнику, и он отшатывается, протягивая вперед руку. Она отвечает на рукопожатие, они представляются друг другу. Оливия Вандергрифф секунду держит ладонь Ника Хёла, нащупывая объяснение. Потом отпускает ее и поворачивается лицом к искусству.

— Почти десять лет? И что, только… деревья?

По какой-то причине он смеется.

— Еще полвека, и я стану своим собственным дедушкой.

Она смотрит на него, сбитая с толку. Решив объяснить, он подводит ее к карточному столику, стоящему чуть поодаль от выставки. Передает толстую самодельную книгу. Оливия открывает первую страницу, на ней фанатически детализированное изображение молодого дерева, сделанное пером и тушью. На следующей то же самое.

— Перелистайте. — Художник пальцами пока-

зывает, как надо.

Она подчиняется. Создание вздымается вверх.

— Боже! Это же дерево перед домом. — Еще один факт, который он не может отрицать. Она снова перелистывает книгу. Симуляция слишком точная, чтобы быть продуктом одного только воображения. — Как вы это сделали?

— По фотографиям. По одной каждый месяц в течение семидесяти шести лет. Я происхожу из длинного и заслуженного рода обсессивно-компульсивных невротиков.

Оливия продолжает осматривать выставку. Николас наблюдает, нервный, любопытный, владелец маленького бизнеса на грани банкротства.

— Если вам что-то понравилось, я могу все запаковать.

— Это ваша ферма?

— Моей родни. Они только что ее продали дьяволу и его филиалам. У меня два месяца, чтобы освободить помещение.

— Как вы живете?

Мужчина улыбается и склоняет голову набок.

— Сделайте предположение.

— У вас нет доходов?

— Полисы страхования жизни.

— Вы их продаете?

— Нет. Мне выплачивают страховку. Выплачивали. — Он смотрит на столы с работами, как сомневающийся аукционер. — Мне тридцать пять лет. Не слишком-то и большая выставка для целой жизни.

Смущение и замешательство исходит от него, как жар от полена в печи. Оливия чувствует их с двух ярдов.

— Почему? — Слово вырывается куда резче, чем она планировала.

— Почему раздача? Не знаю. Это как еще один арт-проект. Последний в серии. Деревья же все раздают бесплатно, разве не так?

Уравнение, словно ток, пронзает ее. Искусство и желуди: расточительные подачки, которые чаще всего идут не так, как надо.

Мужчина бросает холодный взгляд на козлы и доски.

— Можете называть это срочной распродажей. Нет… грибной распродажей.

— А что это значит?

— Вот, — он отправляется к двери сарая. — Я вам покажу.

Они идут мимо дома. Оливия останавливается, чтобы надеть куртку: на мужчине нет ничего, кроме джинсов и рубашки.

— Вам не холодно?

— Всегда. Холод — это хорошо. Люди слишком любят держать себя в тепле.

Ник ведет ее по ферме, и вот перед ними стоит исполин, раскинувшийся на фоне фарфорового неба. Странная и прекрасная математика управляет сотней ветвей, тысячью веточек, десятью тысячами прутиков, красотой, к которой Оливию подготовил амбар, полный произведений искусства.

— Я никогда не видела такого дерева.

— Его видело не так много людей.

С трассы она не заметила сжатую сужающуюся грацию этого создания. То, как оно течет вверх к первому, такому изобильному расхождению ветвей. Оливия и не заметила бы, если бы не кинеограф.

— Что это?

— Каштан. Красное дерево Востока.

От этого слова по коже Оливии бегут мурашки. Подтверждение, хотя она едва ли в нем нуждается. Они проходят под линией кроны.

— Они все исчезли. Вот почему вы никогда не видели ничего подобного.

И он рассказывает ей. Как его прапрапрапрадед посадил это дерево. Как прапрапрадед начал его

фотографировать в начале века. Как растительный мор пересек карту за пару лет и стер с лица земли лучшее дерево восточной Америки. Как этот дерзкий и одинокий индивид, находящийся так далеко от заражения, сумел выжить.

Оливия смотрит в переплетение ветвей. Каждый сук — этюд для одной из больных скульптур в сарае. Что-то произошло с семьей этого человека: она видит это так ясно, словно читает шпаргалку. И он жил в построенном предками доме десять лет, создавая искусство из причудливого выжившего титана. Она кладет руку на растрескавшуюся кору.

— И вы его… переросли? Решили двигаться дальше?

Ник отшатывается в ужасе.

— Нет. Никогда. Это он закончил со мной. — Он обходит гигантский кряж. Длинные ренессансные пальцы на что-то указывают. На коре в нескольких местах видны сухие кольца с оранжевыми пятнами. Он нажимает на одно. От прикосновений остаются углубления.

Оливия дотрагивается до рыхлого ствола.

— О черт! Что это?

— К сожалению, смерть. — Они отходят от умирающего бога. Медленными шагами подни-

маются вверх по склону, к дому. Ник оббивает ботинки на веранде у заднего входа, счищая с них снег. Машет рукой в сторону сарая, его импровизированной галереи. — Пожалуйста, не хотите ли взять с собой вещичку-другую? Тогда у меня сегодня будет очень хороший день.

— Сначала я вам расскажу, почему сегодня оказалась здесь.

ОН ЗАВАРИВАЕТ ЧАЙ на плите в кухне, где десять лет назад сидели его родители и бабушка, в то самое утро, когда он сказал им «до свиданья» и поехал в художественный музей, в Омаху. Его гостья гримасничает и улыбается, рассказывает историю и своей трансформации — ночь, гашиш, влажное голое тело, смертоносный выключатель. Он сидит и слушает, краснея и опуская глаза от каждого описания.

— Я не чувствую себя сумасшедшей. Вот что странно. Вот раньше я была сумасшедшей. И я знаю, каково это. Сейчас же я себя чувствую… Не знаю. Как будто наконец вижу очевидное. — Оливия прикрывает ладонью горячую чашку.

Умирающий каштан почему-то сильно волнует ее, но Ник не понимает почему. Она молода, свободна, импульсивна, ее зовет новое дело. По всем параметрам его неожиданная знакомая слегка

двинутая. Но он хочет, чтобы она оставалась такой и всю ночь говорила о безумных теориях на его кухне. В доме наконец-то есть компания. Кто-то вернулся с того света.

— Ты не кажешься сумасшедшей, — лукавит он. По крайней мере, опасной сумасшедшей.

— Поверь мне, я знаю, как это все звучит. Воскрешение. Странные совпадения. Послания в телевизорах на прилавке гипермаркета. Создания света, которых я не могу увидеть.

— Ну, когда ты так все формулируешь…

— Но объяснение существует. Оно должно существовать. Может, все дело в моем подсознании, и оно в кои-то веки уделяет внимание чему-то помимо моей персоны. Может, я услышала об этих протестующих несколько недель назад, прежде чем получила разряд током, и теперь вижу их повсюду.

Ник знает, каково это — жить под диктовку призраков. Он был один так долго, рисуя свое умирающее дерево, что сейчас не посмел бы опровергать чьи-то теории. Нет странности более странной, чем странность живых существ. Он усмехается, пережевывая горькую истину.

— Я делал магические безделушки последние девять лет. Тайные сигналы — мой диалект.

— И вот чего я не понимаю. — Ее глаза умоляют его о пощаде. Чай, пар на лице, глушь заснеженной Айовы: история столь древняя и обширная, что Оливия не может уложить ее в голове. — Я еду по дороге и вижу твою вывеску, свисающую с дерева, которое походит на…

— Ну, знаешь, если заехать достаточно далеко…

— Я не знаю. Я не знаю, во что верить. Глупо верить хоть во что-то. Мы же всегда, всегда неправы.

Ник представляет, как рисует это лицо яркой боевой краской.

— Можешь звать это как угодно. Что-то пытается привлечь мое внимание.

Кто-то думает, что все его эскизы и работы последних десяти лет, посвященные Каштану Хёлов, могут что-то значить. И для Ника этого достаточно. Он пожимает плечами:

— Поразительно, насколько безумными кажутся вещи, как только начинаешь на них смотреть.

Она буквально тут же переходит от отчаяния к уверенности.

— О том я и говорю! Что безумнее? Верить в то, что вокруг нас есть невидимые существа, о которых мы еще не знаем? Или срубить послед-

ние секвойи, оставшиеся на Земле, ради декора и дранки?

Ник поднимает палец, извиняется и удаляется наверх. Возвращается со старым дорожным атласом и тремя томами энциклопедий, которые его дед купил у коммивояжера в 1965 году. Действительно, в Калифорнии существует такой городок, Солас, прямо там, где секвойи. Красные деревья, высотой в тридцать этажей и возрастом с Иисуса. Безумцы — это вид, которому ничто не угрожает. Ник смотрит на Оливию: у той лицо сияет от целеустремленности. Он хочет последовать туда, куда ведет ее видение. И когда мечта разобьется о реальность, он все равно хочет отправиться вслед за Оливией, куда бы та ни шла.

— Ты не голоден? — спрашивает она.

— Всегда. Голод хорош для человека. Люди должны оставаться голодными.

Ник делает гостье овсянку с расплавленным сыром и острым перцем. Говорит:

— Мне надо ночью о многом подумать.

— Ты похож на меня.

— В чем?

— Я лучше всего слышу себя, когда сплю.

Он отводит Оливию в комнату бабушки, он не оставался там надолго с Рождества 1980 года,

только пыль иногда стирал. Сам спит внизу, в своей детской каморке под лестницей. И всю ночь напролет слушает. Его мысли раскидываются по всем направлениям, ищут свет. Ему приходит в голову, что больше ничто в его жизни даже по самым скромным меркам нельзя назвать планом.

Когда Ник просыпается, Оливия уже на кухне, сменила одежду, сходив к машине, и пытается наскрести на блинчики муки, о которой хозяин позабыл, отдав на поживу долгоносикам. Он сидит за центральным столом в своем фланелевом халате. Его голос цепляется за слова:

— Мне надо освободить этот дом к концу месяца.

Оливия кивает на блинчики:

— Это явно можно сделать.

— И мне нужно избавиться от моих картин и прочего. Если не считать этого, то у меня до конца года мало что запланировано в календаре.

Ник смотрит в разделенное на квадратики кухонное окно. Сквозь ветви Каштана Хёлов небо кажется таким глупым от синевы, словно ее толстым слоем краски размазал пальцами первоклассник.



К МИМИ МА СНОВА ПРИХОДИТ ВЕСНА — первая без ее отца. Кислицы, груши, багряник и кизил взрываются розовым и белым. Над ней издевается каждый бессердечный лепесток. Особенно из-за шелковицы хочется поджечь все, что цветет. Он никогда больше не увидит ни капли этой ослепительности. А они так и хлещут — жестокие, безразличные краски этого Сейчас.

С силой налетает вторая весна, потом третья. Работа ожесточает Мими — или это цветы потускнели. К маю ее летный баланс становится платиновым. Мими отправляют в Корею. В Бразилию. Она учит португальский. Узнает, что людям всех рас, цветов и вер очень нужно литье в керамические формы, изготовленные на заказ.

Она начинает бегать, ходить в походы, ездить на велосипеде. Идет на бальные танцы, на джазовые, потом на сальсу, которая перечеркивает для нее все остальные навсегда. Начинает наблюдать за птицами, и скоро ее список замеченных видов доходит до ста тридцати пунктов. Мими повышают до начальника отдела. Она проходит курс по живописи эпохи Возрождения, по вечерам посещает занятия по современной поэзии — в общем, занимается разной холиокской мишурой, которую она отбросила, чтобы стать инженером.

Цель почти патриотическая: поиграть во все игры. Распробовать все. Побывать всем.

Коллега уговаривает ее сыграть в хоккей от офиса. Скоро ей и этого мало. Она играет в покер на четырех континентах и спит с мужчинами на двух. Проводит неделю в Сан-Диего с девушкой поразительно разнообразных аппетитов и разбивает ей сердце, несмотря на их предварительный договор не терять голову. Чуть ли не влюбляется в женатого парня из другой хоккейной команды, который так нежно вбивал ее в борта. Однажды они встречаются — в Хельсинки, в декабре, три дня волшебной альтернативной жизни в полуденной тьме. Больше она никогда его не встретит.

Мими чуть не выходит замуж. А потом не может понять, как так получилось. Ей исполняется тридцать. Потом (надежный инженер) тридцать один и тридцать два. Во сне она вечно ходит по исполинским аэропортам в гуще толпы, а по громкой связи объявляют ее имя.

КОМПАНИЯ ПЕРЕВОДИТ ЕЕ В ГОЛОВНОЙ ОФИС. Прибавка в девять тысяч долларов не меняет для нее ничего, только снова пробуждает голод. Но она попадает из кабинки на заводе в угловой кабинет с окном в пол, выходящим на сосновую

рощу, которая почему-то в ее голове становится конечным пунктом очень долгой семейной поездки. Самый маленький и самый уединенный в мире эрзац природы.

Она украшает кабинет всем украденным, о чем не знает мама. Чемодан, покрытый наклейками: «ИНСТИТУТ КАРНЕГИ», «ГЕНЕРАЛ МЕЙГС», «НАНКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». Кофр с непроизносимым именем на нем. На ее столе — фотография двух людей в рамке, предположительно — бабушки с дедушкой, держащих фотографию троих необъяснимых внуков. Рядом — такая же фотография-внутри-фотографии: три расово неопределяемых девочки чопорно сидят на диване, притворяются истинными уитонками. Старшая, кажется, готова силой занять свое место в обществе. Она вырубит любого, кто подумает, что она потерялась.

По стенам офиса, как классический фриз, идет свиток отца. Неправильно подвергать картины воздействию северо-западного солнца, скудные лучи которого пробиваются сквозь большое окно. Неправильно мазать клеем обратную сторону столь древнего и редкого предмета искусства. Неправильно оставлять бесценную реликвию там, где любой ночной уборщик может скатать

ее и засунуть в карман комбинезона. Неправильно вешать ее там, где она напоминает Мими о самоубийстве отца каждый раз, стоит ей только поднять глаза.

Кто попадает в ее кабинет впервые, часто спрашивает о Буддах в вестибюле Просветления. Она слышит отца в тот день, когда он впервые показал ей свиток. «Эти люди? Они пройти финальный последний экзамен». Бывают дни за рабочим столом, в яростном профессиональном успехе, когда она поднимает глаза на свиток, отвлекаясь от волны чеков и расчетов, и видит, как получает ту же оценку, что и отец. Когда под грудью тянет и Мими кажется, что она тонет, она смотрит в окно на свою рощу, где три недолго свободных и диких девочки собирают шишечную валюту на берегах древнего озера. Иногда Мими успокаивается. Иногда почти видит человека — тот сидит на корточках и записывает все, что можно сказать об этой площадке для кемпинга, в своем многословном блокноте.

Коллеги ходят к ней как в столовую — когда она не ест столетние яйца. Сегодня в ее меню сэндвич с курицей, безопасно для всех этносов. Трое других менеджеров и один залетный из Кадров раскидывают покер с грошовыми ставками.

Мими — за. Она за любые игры с бессмысленным риском и временным забвением. Единственное условие: командирское кресло — ее.

— И чем распоряжаемся, командир?

Она машет на окно.

— Видами.

Остальные отрываются от карт. Щурятся, пожимают плечами. Ну ладно — мелкая аллея за пустырем, с деревьями. Эка невидаль на Северо-Западе — деревья. Они тут на каждом пригорке, друг другом погоняют, подползают, небо заслоняют.

— Сосны? — предполагает вице-президент по маркетингу.

Менеджер контроля качества, который жаждет должность Мими, объявляет:

— Орегонские.

— Орегонские сосны долины Уилламет, — говорит Человек-Британника, директор научных исследований.

Карты порхают над столом. Столбики монет сменяют хозяев. Мими ощупывает нефритовое кольцо. Она носит его резьбой вниз, чтобы никто не соблазнился отрубить ей палец, решив его украсть. Поворачивает кольцо. Искривленная шелковица — дерево, что ей досталось, когда

сестры делили имущество отца, — вращается вокруг пальца. Ладонь тянется к сдающему — Мими вся в игре.

— Давай уже. Играть не с чем.

Опять пустая рука. Она снова поднимает глаза. В ее личный лес льется синий полдень. Солнце гранит вспышки на медянке игл — тысячи фонарей астрального света. Большая динозаврья чешуя на стволах сменяет оттенки рыжего, терракотового и коричного. Менеджер контроля качества, которому так нужна ее должность, говорит:

— Когда-нибудь нюхали кору? Ваниль, — отвечает он сам.

— Это сосна Жеффрея, — объявляет Человек-Британника.

— Вы посмотрите, кто у нас эксперт. Опять!

— Не ваниль. Скипидар.

— Я вам говорю, — продолжает Контроль Качества. — Орегонская сосна. Ваниль. Я на курсах учился.

Человек-Британника качает головой.

— Нет. Скипидар.

— Кто-нибудь, сбегайте, понюхайте. — Общие смешки.

Контроль Качества шлепает по столу. Карты

шелестят, монеты падают.

— Десять баксов.

— Вот это разговор! — говорит залетный из Кадров.

Мими — на полпути к двери раньше, чем кто-нибудь успевает сообразить.

— Эй! Мы же не доиграли.

— Сбор данных, — отвечает дочь самого инженерного из инженеров. И через пару шагов уже на улице. Запах охватывает раньше, чем она доходит до деревьев, — аромат смолы и широких западных просторов. Чистый запах единственных нетронутых дней детства. И музыка деревьев, настраивается на ветру. Она вспоминает. Нос входит в темную расщелину между плоскими терракотовыми пластинами. Она падает в запах — сокрушительное дуновение из эпохи, бывшей двести миллионов лет назад. Она представить себе не может, в чем цель такого благоухания. Но сейчас оно что-то делает с ней. Управление сознанием. Не ваниль, не скипидар, но яркие оттенки того и другого. Капля духовной ириски. Веточка ананасового фимиама. Не похоже ни на что, кроме себя, — резко и возвышенно. Она вдыхает с закрытыми глазами истинное имя дерева.

Стоит с носом в коре — извращенная интим-

ность. Долго не снижает дозу, как пациент хосписа, давящий на кнопку капельницы с морфином. Химикаты струятся по трахее, по кровотоку во все уголки тела, через гемоэнцефалический барьер — в самые мысли. Запах стискивает мозговой ствол, и вот уже Мими и мертвец снова рыбачат бок о бок в тени сосны, где и прячется рыба, в самом сокровенном лесном заповеднике души.

Мимо по тротуару проходит женщина, видит, как она нюхает кору, и спрашивает, не случилось ли что. В блаженстве от воспоминаний и летучей органики Мими успокаивает ее одним взглядом. В кабинете картежники стоят у окна и глядят на нее так, будто она опасная. Она припадает обратно к дереву — в последний раз ныряет в этот невыразимый аромат. С зажмуренными глазами призывает архата, который сидит под своей сосной, она вспоминает легкую усмешку на его губах, когда он, наконец, переходит грань и полностью принимает жизнь и смерть. На Мими что-то находит. Свет становится ярче; запах углубляется. Отстранение возносит ее на волнах детства. Она отворачивается от ствола с глубоким чувством благополучия. «Это оно? Я там?» На соседнем стволе Мими видит приклеенное объявление:

Собрание в мэрии! 23 мая!

Она неспешно подходит и читает. Город объявил скопившиеся опавшие иголки и кору пожароопасными, а деревья — слишком старыми и дорогими, чтобы год за годом за ними чистить. Планируется заменить сосны породой чище и безопасней. Критики решения потребовали слушания.

Приходите и заявите о себе!

Деревья хотят срубить. Она оглядывается на свой кабинет. Коллеги прижались к стеклу, смеются над ней. Машут. Стучат по окну. Один фотографирует на мыльницу. Нос наполняется букетом ароматов, которому ничего не может сделать грубость слов. Зовите это памятью. Зовите предсказанием. Ваниль, ананас, ириска, скипидар.



БЕЗ ПЯТИ МИНУТ СОРОКАЛЕТНИЙ МУЖИК раздает серебряные доллары в придорожной закусочной «Спар», на шоссе 212, недалеко от

города с удачным названием Дамаск. Дамаск, штат Орегон.

— Празднуем, черт побери. Чтоб все купили себе пива.

У просьбы есть своя аудитория.

— Что празднуем-то, Рокфеллер?

— Мое пятидесятитысячное дерево. Девять часов в день, и в дождь, и в зной, пять с половиной дней в неделю, каждый месяц посадки, почти четыре года.

Разрозненные аплодисменты и одно одобрительно-совиное уханье. Все говорят, что за это выпьют.

— Непростое дело для мужика.

— Поясницу себе заодно не пересадил?

— Ты же знаешь, пара лет — и их обратно вырубят.

Благодарность барных незнакомцев — за халявную выпивку. Дуглас Павличек улыбается и смиряется. Он кладет еще двадцать серебряных долларов на угол бильярдного стола и помахивает кием из твердокаменного клена, зазывая всех желающих. Скоро появляются двое — Труляля и Траляля.

Играют с тремя шарами, по очереди. Дуглас жалок до невозможности. Четыре года возни в

слякоти, отбросах и грязи, работы в три погибели и постоянных посадок прикончили нервную систему, добили хромую ногу и оставили такой тремор, что тот регистрируется на сейсмометрах аж в Области Залива. Труляля и Траляля чуть ли не стыдно выигрывать его деньги треугольник за треугольником, партия за партией, ставка за ставкой. Но Дугги наслаждается — он в большом городе, закидывается пенистой собачьей мочой и вспоминает радости анонимной компании. Сегодня он будет спать в постели. Примет горячий душ. Пятьдесят тысяч деревьев.

Труляля выигрывает за три удара. Второй раз за вечер зарабатывает право первого удара. Может, накапливает силы для мгновенной победы. Дугласу Павличеку все равно. Затем Траляля справляется за четыре.

— Значит, пятьдесят тысяч деревьев, — говорит Труляля, только чтобы отвлечь Дагги, который и так страдает, а когнитивная нагрузка, чтобы начать беседу, его окончательно добьет.

— Ага. Можно хоть сейчас помирать, уже есть фора.

— А с женщинами там как?

— Хватает любительниц деревьев. У многих летний отпуск. Для них все сгодится, — отвлека-

ясь на счастливые воспоминания, Дугги кладет в лузу биток. Ему даже это смешно.

— Для кого сажаешь?

— Для всех, кто заплатит.

— Много нового кислорода благодаря тебе. Много парниковых газов развеял.

— Люди даже понятия не имеют. Ты вот знал, что из дерева делают шампуни? Ударопрочное стекло? Зубную пасту?

— Не знал.

— Ваксу. Загуститель для мороженого.

— Дома, правильно? Книжки и все такое. Лодки там. Мебель.

— Люди даже понятия не имеют. Мы все еще в деревянном веке. Самое дешевое бесценное сырье на свете.

— Аминь, приятель. Двадцать баксов на следующий раунд?

Игра идет часами. Дугги, который умеет пить без заметных последствий, не играет, а отбивается, держась на краю. Труляля и Траляля сменяют новички, Штучка Раз и Штучка Два[45]. Павличек оплачивает второй раунд объясняя ночной смене, что именно они празднуют.

---

[45] Примечания: 45

Штучка Раз и Штучка Два — персонажи из популярной детской книги Доктора Сьюза «Кот в шляпе». *(Пер. В. Гандельсмана.)*

— Пятьдесят тысяч деревьев. Да уж.

— Для начала неплохо, — говорит Дугги.

Штучка Два претендует на звание сволочи вечера. Даже недели.

— Ты уж прости, если расстрою, приятель. Но ты же знаешь, что одна только «Бойсе Каскейд» вывозит два миллиона лесовозов в год? Только для себя! Придется засаживать четыреста-пятьсот лет, чтобы…

— Ладно. Давай просто играть.

— А те, на кого ты работаешь? Ты же понимаешь, что они получают от правительства ништяки за каждый твой саженец? Каждый раз, как ты втыкаешь палку в землю, у них прибавляется годичная лесосека.

— Нет, — говорит Дуглас. — Не может быть.

— О, может-может. Ты сажаешь детишек, чтобы они вырубали дедов. И даже когда твои саженцы вырастут, это будут монокультурные пустышки, друг. Дорожные закусочные для довольных короедов.

— Так. Заткнись на хрен, будь добр. — Дуглас хватается за кий, потом за голову. — Ты выиграл, друг. Партия закончена.



НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ МИМИ НЕ ИГРАЕТ В ПОКЕР. Обедает на свежем воздухе, под соснами.

— Ну посидеть-то у тебя можно? — спрашивает залетный из Кадров.

— Кабинет весь ваш. Угощайтесь.

Она сидит спиной к рыжим стволам. Смотрит на вспышки света, прорезающиеся через полотна иголок. Подражает архату — ждет, дышит. Так было у индийского царевича Сиддхартхи, когда его оставила жизнь и ушли удовольствия. Он сел под величественным фикусом — баньяном, Ficus religiosa, — и поклялся не вставать, пока не поймет, чего жизни от него надо. Прошел месяц, другой. Потом он очнулся из сна человечества. Истины полыхали в разуме — такие простые, скрытые среди бела дня. И тогда дерево над новым Буддой — чьи чубуки по сей день растут по всей планете — буйно расцвело, а цветы превратились в сочные лиловые фиги.

Мими не ждет для себя и сотой доли той грандиозности. На самом деле она вообще ничего не ждет — ведь даже ничего достаточно, чтобы в нем затеряться. Этот невыразимый аромат — большего ей и не надо. Эта роща. Этот запах возрастом в двести миллионов лет. Ее семья в своем свободнейшем виде, родной народ. Мими

снова рыбачит рядом с единственным человеком, который ее знал, в течении реки, что не ушла в небытие.

На скамейке рядом присаживается женщина с двойной коляской, где сидят близнецы.

— Хороший тенек, — говорит Мими. — Вы знали, что город хочет их срубить?

Ударилась в политику. Агитирует. Она ненавидит агитаторов — как они всегда лезут с тем, что тебя никак не касается. Теперь она рассказывает перепуганной молодой матери о собрании в мэрии двадцать третьего. И недалеко стоит призрак ее отца, под соснами, улыбается.



ДУГЛАС ПАВЛИЧЕК ПРОСЫПАЕТСЯ, когда Мими наполняет легкие в последний раз и возвращается в царство климат-контроля. Еще одна короткая вечность — и он наконец соображает, что лежит в номере мотеля, куда заселился, когда раздал двести долларов на пиво и проиграл еще сотню в бильярд. Он даже не морщится. Сегодня куда важнее ужас наяву. Все его тревоги сосредоточились на годичной лесосеке, на том, не зря ли он

потратил последние четыре года своей жизни.

Он на четыре часа опоздал на бесплатный континентальный завтрак. Но портье продает ему апельсин, шоколадку и чашку кофе — три бесценных дара деревьев, что помогают добраться до библиотеки. Там он находит библиотекаря в помощь своим исследованиям. Тот достает с полок несколько томиков о политике и законах, и они ищут вместе. Ответ не радует. Штучка Два, эта шумная сволочь, не ошибся. Саженцы не дают ничего, они только помогают одобрить еще более колоссальные лесосеки. К ужину Дугги смиряется с этим фактом без малейших сомнений. Весь день он не ел ничего, кроме трех лесных сокровищ. Но его мутит от одной мысли, что когда-нибудь еще придется есть.

Нужно пройтись. Идти: единственное, что осталось разумного. На самом деле ему хочется бежать на оголенный склон и вернуть будущее в землю. Ничего другого его мышцы не знают, особенно самая большая — душа. Лопата и заплечный мешок, полный зеленых новобранцев. Их он до сегодняшнего дня считал надеждой.

Он ходит весь вечер, останавливаясь только для компромисса с телом: бургер, что так и проносится мимо вкусовых рецепторов. Ночь мягкая,

а воздух такой светлый, что на полмили он забывает о своем ужасном свободном падении. Но вопросы никуда не денешь: «Что мне делать следующие сорок лет? Какую работу эффективность единого человечества не нарубит в чистое удобрение?»

Он идет часами и милями, обходит центр Портленда и попадает в мирный разнородный район, привлеченный запахом, которому не знает названия. Останавливается в продуктовом на углу, чтобы купить бутылку зеленоватого сока, выпивает, читая объявления на доске у входа. «Пропала высокоинтеллигентная кошка». «Восстановление равновесия ци». «Дешевые звонки по межгороду». И тут:

Собрание в мэрии! 23 мая!

Какое-то безумное наследие в мозге вида homo sapiens плохо сочетается с другими его частями. Он спрашивает парня за кассой, где тот парк, о котором идет речь. Парень смотрит так, будто крыса укусила его за нос.

— Пешком далеко.

— Проверим?

Оказывается, Дугги его уже прошел. Он возвращается по своему маршруту. Чует скверик

раньше, чем видит, — как дольку торта на день рождении Бога. У деревьев, назначенных под снос, по три иголки в пучке, большая оранжевая чешуя. Старые друзья. Он разбивает лагерь на скамейке под соснами. Позволяет им себя успокоить. Темно, но район вроде безопасный. Безопаснее транспортников над Камбоджей. Безопаснее большинства баров, где он уже дрых. Так бы тут и уснул. На хрен практичность и все ее связывающие обязательства. Дайте человеку ночь на природе, где нет ничего между голой головой и дождем из семян. Двадцать третье, вдруг понимает он, — собрание в мэрии — всего через четыре дня.

Сон, когда тот приходит, самый яркий за годы. На этот раз самолет падает в кхмерские джунгли. Капитана Страуба протыкает какой-то зловещий куст, которого Дуглас не видит. Левин и Брагг приземляются поблизости, но дойти к ним не получается, и через какое-то время они перестают отвечать на его крики. Он снова один — как понимает, в альтернативном Портленде, сожранным единственным баньяном. Просыпается под шум вертолетов, прочесывающих лесной полог, ищущих прожекторами его.

Сегодня вертолеты превращаются в грузовики.

Из них высыпают мужчины с инструментами. Сперва они похожи на пехоту, пришли спалить деревню Дугги в последней перестрелке. Потом он наконец приходит в себя и видит у них цепные пилы. Смотрит на часы: чуть позже полуночи. Сперва думает, что заснул на четыре дня. Переходит в вертикальное положение и выходит на разведку.

— Эй! — Он подходит к высадке. — Привет! — Каски отшатываются, как от ненормального. — Вы же не рубить приехали?

Они продолжают работать, заправляют технику. Огораживают по периметру лентой загон. Ставят грузовик с краном, похожий на динозавра, закрепляют выносные опоры.

— Вы что-то перепутали. Собрание только через несколько дней. Почитайте объявление.

К нему подходит какой-то бригадир. Не то чтобы с угрозой. Лучше сказать — с полным правом.

— Сэр, мы вынуждены просить вас уйти перед вырубкой.

— Вы вырубаете? Так ведь темень кромешная.

Только, конечно, уже нет. Не когда выкатывают двухрядные прожекторы. Уже никакой темени. Затем наконец происходит гражданское озарение.

— Так, секундочку.

— Решение мэрии, — говорит бригадир. — Вам придется выйти за ленту.

— Решение мэрии? Это еще что значит?

— Это значит — уходите. За ленту.

Дуглас срывается с места к обреченным деревьям. Это всех ошарашивает. Каски не сразу бросаются в погоню. Догоняют в паре футов от ствола. Хватают за ноги. Кто-то прикладывает его длинными телескопическими ножницами. Он шлепается на землю, приземлившись на хромую ногу.

— Не делайте этого! Вы что, охренели?!

Двое лесорубов прижимают его к земле, пока не приезжает полиция. Час ночи. Просто очередное преступление против общественной собственности под покровом ночи. В этот раз его обвиняют в нарушении общественного порядка, препятствовании официальной работе и сопротивлении аресту.

— Думаешь, это смешно? — спрашивает полицейский, защелкивающий наручники.

— Уж поверьте, вы бы тоже так думали.

В отделении на Второй улице спрашивают его имя. «Заключенный 571». Только силой вырвав кошелек из джинсов, они узнают настоящее имя

арестованного. И приходится его изолировать, чтобы он не подначил остальных преступников на бунт.



СЕМЬ ТРИДЦАТЬ. Мими пришла на работу пораньше. Проблемы с аргентинским заказом на рабочие диски для центробежных насосов. Она ставит на стол кофе, включает свет, заводит компьютер и ждет, когда загрузится корпоративная локалка. Разворачивается на кресле, чтобы взглянуть на улицу, и воет. Там, где должна быть листва, — только серо-голубые дождевые облака.

Через две минуты она уже стоит на лысой полянке, где росли деревья, на которые она смотрела в секунды воспоминаний и покоя. Она даже еще не переобулась из кроссовок в туфли. Чистенькая просека говорит, что ничего не произошло. Не осталось ни бревна, ни сучка. Только опилки и просыпанные иглы вокруг свежих плоских срезов заподлицо с землей. Желто-оранжевая древесина, открытая воздуху, по внешним кольцам поднимается смола — кольца за кольцами, их намного больше, чем Мими — лет.

И запах — запах ожидания и утраты, свежесрубленной сосны. Послание, наркотик, что оживлял ее мозг, теперь сконцентрировалось, расстелилось после смерти. Начинает моросить. Мими закрывает глаза. Ее накрывает негодованием — человеческая подлость — чувство несправедливости больше всей ее жизни, старая утрата, на которую больше никогда-никогда не будет ответа. Когда она открывает глаза снова, в голову рвутся истины. Как Просветление, но только без света.



ПРОРАСТАНИЕ ПРОИСХОДИТ БЫСТРО. Нилай заканчивает свою космическую оперу. Какая-то частичка долговязого мальчика в футуристическом инвалидном кресле еще хочет отдать игру бесплатно. Но приходит время — как всегда бывает и в самой игре — когда надо превратить свой захолустный уголок вселенной в поток доходов.

Чтобы выпустить игру, нужна компания, пусть даже фальшивая. Головной офис корпорации — его пространство на первом этаже с пандусом рядом с Эль-Камино в Редвуд-Сити. Компании

нужно имя, даже если вся компания — это один двадцатилетний индо-американский инвалид, катающийся, как пучок сучков в тележке. Но назвать компанию оказывается даже труднее, чем накодить планету. Три дня Нилай играет с каламбурами и неологизмами, но все они либо не дотягивают, либо уже заняты. Он посасывает свой ужин — коричную зубочистку — и таращится на макет заголовка, когда в его адресе бросается в глаза слово «redwood» — «секвойя». В ухо словно шепчут очевидный ответ. В графическом редакторе он набрасывает пробный логотип — пародию на грозное дерево Стэнфорда. И так рождается «Семпервиренс»[46].

Первый релиз компании он называет «Лесные пророчества». Разрабатывает рекламу на новейшем софте для верстки. Наверху страницы ставит по центру слоган:

ПРЯМО ПО СОСЕДСТВУ — ЦЕЛАЯ НОВАЯ ПЛАНЕТА

Затем Нилай оплачивает рекламу на последних страницах комиксов и компьютерных журналов по всей стране. Компания по копированию в

---

[46] Примечания: 46

Sequoia sempervirens — название вида «секвойя вечнозеленая».

Менло-Парке выпускает три тысячи дискет. Он нанимает двух друзей по Стэнфорду, чтобы игра попала в магазины обоих побережий. «Лесные пророчества» разлетаются за месяц. Нилай выпускает еще больше дисков. Снова разлетаются. Он в шоке от того, сколько компьютеров отвечает его минимальным системным требованиям. Сарафанное радио работает вовсю. Прибыль идет, и скоро он не справляется одни.

Он снимает на пять лет бывший кабинет стоматолога. Нанимает секретаршу и называет ее офис-менеджером. Нанимает хакера и называет его старшим программистом. Находит человека со степенью бухгалтера, который преображается в коммерческого директора. Собирать команду — как строить родную планету в «Лесных пророчествах». Из десятков желающих Нилай нанимает тех, кто меньше всего дергается, когда видит его тощее тело, торчащее из моторизированного кресла.

Поразительно, но новые работники предпочитают наличку сразу вместо акций в будущем. Нулевое воображение. Они понятия не имеют, куда направляется их вид. Он пытается до них достучаться, но все предпочитают безопасность и бумажные доллары.

Скоро коммерческий директор просвещает Нилая: мало притворяться, что он — компания. Надо оформляться по-настоящему. «Семпервиренс» становятся юридическим лицом. Нилай видит сны о разветвлении и распространении. Это новая сфера с неограниченной кривой роста. Всего-то нужна пара рыночных хитов, чтобы каждый укреплял успех предыдущего. И тогда он переиначит мир, как ему было явлено — в проблеске, — чужеродными формами жизни в диком террариуме стэнфордского внутреннего двора.

Днем, когда Нилай не учится, как управлять компанией, он кодит. Программирование до сих пор его изумляет. Объявить переменную. Уточнить процедуру. Назначить каждую готовую программу, чтобы та делала свое дело внутри более крупных, умных, способных структур — как органеллы в клетке. И из простых указаний появляется сущность с автономным поведением. От слов к делу: это Следующий Хит всей планеты. Во время программирования Нилай — все еще семилетний мальчишка, и весь мир живых возможностей поднимается к нему по лестнице в руках отца.

Первая игра все еще распродается с хорошей скоростью, когда «Семпервиренс» выпускает

сиквел. «Новые лесные пророчества» демонстрируют невероятное разнообразие в поразительных 256 цветах. Теперь все оформлено как следует, с работой профессиональных художников, хотя геймплей — все те же старые добрые исследования и торговля в славной новой галактике повыше разрешением. Публике все равно, что это повторение пройденного. Публике все мало. Они обожают отсутствие цели. Выиграть невозможно. Как и в бизнесе, суть в том, чтобы играть как можно дольше.

«Новые лесные пророчества» занимают первые строчки в чартах раньше, чем их предок выпадает из топ-10. Игроки постят на сетевых бордах о диких существах, что они нашли на далеких планетах, — странных, непредсказуемых сочетаниях животного, растительного и минерального. Многим интереснее охотиться на флору и фауну игры, чем искать сокровища в центре галактики.

Вместе два проекта приносят больше денег, чем многие голливудские фильмы, причем с куда меньшим вкладом. Нилай вбухивает всю прибыль в третью часть — амбициознее двух предыдущих вместе взятых. Когда через девять месяцев появляется «Лесное откровение», оно стоит уже пятьдесят баксов, настоящий скандал.

Но для растущего числа людей это гроши за такой преображающий опыт, какого вовсе не существовало всего два года назад.

Большой издатель «Диджит-Артс» предлагает выкупить бренд. Условия совершенно разумные. Профессионалы берут на себя продажи и дистрибуцию всех будущих продуктов, освобождая «Семпервиренс» для разработки. Нилай не хочет свою компанию; он хочет свои миры. Предложение «Диджит-Артс» гарантирует свободу и навсегда обеспечит ему передовые инвалидные кресла.

В вечер, когда он в принципе соглашается на сделку, ему не спится. Он лежит в функциональной кровати, оснащенной карманами для вещей, сшитыми матерью, и стальной планкой над головой, обернутой пенопластом. Около полуночи ноги охватывают судороги, как у ходячего. Ему нужно встать. С сиделкой было бы проще, но Джина придет только через несколько часов. Кнопка поднимает изголовье до конца. Нилай обвивает правой ладонью вертикальный шест, левую закидывает на горизонтальную скобу. Из-за мышечного истощения его руки похожи на одинаковые коряги из речного плавника. Плечи вздымаются раздутыми узлами. Нужна вся сила,

чтобы сесть. Тело трясется, и он протискивается через момент, когда должен вот-вот упасть обратно в кровать. Какое-то время раскачивается, чтобы наклониться вперед достаточно и упереться руками назад. Первый шаг. Где-то из пятидесяти двух — или смотря как считать.

Треники спущены до колен — так он их держит, когда у него катетер. Нилай наклоняется как можно дальше вперед, чуть ли не складывается пополам, чтобы вес головы и плеч помог поставить руки рядом с задницей. Правая залезает под левое бедро. Там почти не осталось драгоценного мяса — не осталось вовсе, если честно, но багажа ног хватает, чтобы удерживать сморщенное туловище в вертикальном положении.

Он хватается за треники и припадает обратно на левый локоть. Закидывает вверх вялый подъемный мост ноги. Задница приподнимается достаточно, чтобы натянуть штаны. Успех заставляет себя ждать. Нога опускается, он падает на торчащие лопатки — снова простирается. Заново выгибаясь с висящим стременем, он повторяет процесс справа, пока не натягивает треники до самого пояса. Разгладить штанины по бокам — это тоже время, но посреди ночи его хватает в избытке. Затем Нилай хватается за планку над

головой и, снова стабилизировавшись, дотянувшись к одному из множества крюков, берет парусиновый строп в форме U, чтобы, миновав сотню последовательных этапов, обхватить им тело. Строп подхватывает снизу каждую ногу, поднимаясь между ними.

Нилай хватает лебедку, подтаскивает по горизонтальной балке, пока она не встает ровно над ним. Все четыре петли подвески закрепляются на крепежах лебедки, по две по бокам. Нилай сует пульт в рот и, держась за стропы, закусывает кнопку включения, пока лебедка поднимает его вертикально. Он закрепляет пульт на подвеске и отцепляет от бока кровати мешок с мочой из своего катетера. Взяв трубочку в зубы, чтобы освободить обе руки, закрепляет и его на подвеске, в которую завернулся. Потом снова зажимает кнопку лебедки и взлетает.

Пока он ползет боком в воздухе от кровати к поджидающему креслу, всегда бывает момент, когда шаткая система может дать сбой. Раньше он уже больно падал, ударившись о металлические стержни, валяясь на полу в моче. Впрочем, сегодняшний полет проходит без турбулентности. Еще надо настроить сидушку кресла, поправить колеса, зато посадка ему удается. Там, в кресле,

он повторяет все шаги в обратном порядке — отцепляет лебедку, вешает мочеприемник и, как Гудини, соскальзывает с подвески, даже не приподнимая зад. Надеть накидку просто. А ботинки — хоть и без шнурков, размером с клоунские — уже нет. Но зато теперь он мобилен, может носиться с помощью педали и джойстика с такой же легкостью, как выделывать иммельманы в симуляторе полета. И всего-то понадобилось чуть больше тридцати минут.

Еще десять — и он у фургона, ждет, когда гидравлический лифт опустится к земле. Закатывает кресло на стальной квадрат и поднимается. Едет через полый корпус в опустошенную кабину. Лифт задвигается, дверцы закрываются, и он устанавливает кресло перед пультом, где педали газа и тормоза — это рычажки на уровне пояса, с которыми управятся даже его истощенные руки.

Еще несколько десятков команд в этом алгоритме свободы — и он паркует фургон, выезжает из него и закатывается во внутренний двор Стэнфорда. Разворачивается там на 360 градусов, изучая, его снова окружают потусторонние формы жизни, как шесть лет назад. Существа из другой, далекой-далекой галактики: давидия, жакаранда, дазилирион Уиллера, камфорный лавр,

огненное дерево, императорское, караджонг, красная шелковица. Он помнит, как они нашептывали об игре, что ему суждено создать, — игре для бесчисленных людей по всему миру, игре, что отправит игроков в живые джунгли, полные лишь смутно воображаемого потенциала.

Сегодня деревья молчат, отказываются говорить. Он барабанит пальцами по сморщенным ляжкам, ждет, слушает даже дольше, чем сюда добирался. Никого нет. Луна — полыхающий телефон, по которому ему может позвонить любой на Земле, просто посмотрев наверх и увидев то, что видит он. Он мысленно просит зверинец деревьев дать знак. Внеземные существа помахивают причудливыми ветвями. Его гнетет это коллективное постукивание по воздуху. Внутри, словно смола, поднимаются воспоминания. И вот уже будто колыхающиеся, гнущиеся ветки указывают ему прочь отсюда, со двора, в Эскондидо, потом — по Панама-стрит, мимо Робл-холла…

Он направляется туда, куда его шлет колыханье. К югу над крышами кампуса поднимаются округлые верхушки гор Санта-Круз. И тут Нилай вспоминает об одном дне, который случился полжизни назад, а то и больше, о прогулке по лесной тропинке на том хребте с отцом, о живописной,

чудовищной секвойе — одиноком Мафусаиле, каким-то чудом избежавшим лесорубов. Теперь Нилай видит: это дерево, в честь которого он назвал компанию. И без раздумий понимает, что должен посовещаться именно с ним.

Серпантин Сэнд-Хилл-роуд, изнурительный днем, смертелен в потемках. Нилай поворачивает то туда, то сюда, словно в летающей капсуле, которую можно построить при технологии двадцать девятого уровня в «Лесных пророчествах». Дорога в такой час пуста — никто не увидит истощенного энта с бесполезными ногами, пилотирующего усовершенствованный фургон одними только жуткими костлявыми пальцами. На верхушке, на Скайлайн — дороге, названной в честь фуникулера, оголившего эти холмы, чтобы построить Сан-Франциско, — Нилай поворачивает направо. Уж это он помнит. Может, воспоминания и могут менять сигнальные пути в мозге, но уж тропа должна быть на месте. Остается только ждать, когда что-то дикое проступит из подлеска.

Он едет в туннеле молодой поросли, вернувшейся за сто лет, чтобы одурачить его в этой кромешной темени и притвориться девственным лесом. Стоянка справа достаточно узнаваема, чтобы он остановился. В бардачке есть фонарик.

Нилай опускается на лифте фургона на пружинистую почву и ждет, не зная, как вести кресло, пусть даже с толстыми колесами и виброустойчивостью, по тропинке. Но так уж требует его квест.

Первую сотню ярдов все в порядке. Потом левое колесо попадает на сырой склон и соскальзывает. Нилай налегает на джойстик, пытается пробиться. Сдает назад и раскручивается, надеясь выехать боком. Колесо только взбивает слякоть и зарывается еще глубже. Он машет перед собой фонариком. Тени дыбятся, как мечущиеся призраки. Каждый треск ветки звучит как поступь вымерших высших хищников. Вдалеке на Скайлайн доходит до крещендо двигатель машины. Нилай кричит во все свое тощее горло и машет фонариком, как ненормальный. Но машина пролетает мимо.

Он сидит в полной темноте, гадая, как же человечество выжило в таком месте. Когда взойдет солнце, его найдет какой-нибудь любитель походов. Или на следующий день. Кто знает, часто ли на эту тропинку ступает нога человека? Позади раздается визг. Он разворачивается с фонариком, но луч не достает куда нужно. Сердце не сразу возвращается к норме. А когда возвращается,

приходится опустошить полный мочеприемник на землю, как можно дальше от колес.

И тут он видит — оно вплетено в другие тени меньше чем в десятке футов перед ним. И понимает, почему не заметил сразу: слишком огромное. Слишком огромное, чтобы осмыслить. Слишком огромное, чтобы считать живым. Это врата тьмы тройной ширины в боку ночи. Луч фонаря достает недалеко, карабкаясь по бесконечному стволу. А тот убегает выше, за пределы понимания, — бессмертная коллективная экосистема, Sempervirens.

Под ошеломляющей жизнью закидывают головы крошечный мужчина и его совсем крошечный сын. Вместе они ниже нароста на корневой системе этого создания. Нилай наблюдает, зная, что будет дальше. Воспоминание плотное, словно только что закодированное в него. Отец откидывается назад и поднимает руки к небу. *Фикус Вишну, Нилайджи. Вернись поглотить нас!*

Стоящий мальчик, должно быть, рассмеялся, как сейчас хочется сидящему.

Pita! Приди в себя. Это секвойя!

Отец описывает все как есть: все деревья мира исходят из одного корня и растут наружу разбегающимися ветвями одного дерева, к чему-то

стремясь.

Только представь код этого гиганта, мой Нилай. Сколько там клеток? Сколько программ работает? Что все они делают? Чего хотят достичь?

В черепе Нилая загорается свет. И там, в темной чаще, размахивая крошечным фонариком и чувствуя гул, исходящий от головокружительной черной колонны, Нилай понимает ответ. Ветвь хочет лишь ветвиться. Цель игры — продолжать играть. Он не может продать компанию. Остался унаследованный код, присутствовавший еще в первых программах семьи Мехта, сына и отца, и он не закончил с Нилаем. Нилай видит свой следующий проект — тот проще некуда. Словно эволюция, вбирает старые успешные части всего, что было до него. И как само слово «эволюция», он значит просто развертывание.

Теперь Нилай не может ждать, пока его найдут. Начинается второй мозговой штурм — куда меньше, но куда насущнее. Он скидывает накидку со спины на землю перед завязшим колесом. Нажимает на джойстик — и он свободен, по тропинке и в фургон, и дальше уже едет, обнаженный, с помощью тысяч шагов и подпрограмм, в Редвуд-Сити, к своему рабочему месту.

На следующий день он звонит в «Диджит-Артс» и разрывает сделку. Их юристы грозят и завывают. Но на самом деле они затеяли слияние только ради него. Нилай — единственный капитал «Семпервиренса», стоящий приобретения. Без его желания контракт ничего не значит.

Остановив слияние, он собирает весь штат компании в конференц-зале и объявляет, в чем заключается следующий проект. Игрок начинает в необитаемом уголке уже собранной новой Земли. Он сможет копать шахты, рубить деревья, возделывать поля, строить дома, возводить церкви, рынки, школы — все, что душе угодно и до чего он сможет добраться. Игрок пройдет по раскинувшимся веткам огромного дерева технологий, исследуя все — от обработки камня до космических станций, вольный выбирать любой этнос, любую культуру, что поддержит на плаву его передовые суда.

Но вот в чем подвох: в остальных краях этого девственного мира будут развивать собственную культуру другие люди, настоящие, выходящие в сеть по своим модемам. И каждый из этих реальных людей захочет землю чужих империй.

Через девять месяцев по офису ходит альфа-копия, и работа в «Семпервиренс» встает намертво.

Стоит работникам поиграть, как они больше не хотят ничего. Они не спят. Забывают поесть. Отношения их лишь раздражают. *Еще один раунд. Всего один.*

Игра называется «Господство».



ДВЕ НЕДЕЛИ ОНИ ЗАКРЫВАЮТ ДОМ ХЁЛОВ — Ник и его гостья. Приезжают Хёлы из Де-Мойна купить машину и забрать семейные ценности. За ними следуют организаторы аукциона и лепят зеленые наклейки на всю мебель и приборы, за которые можно что-то выручить. Здоровяки с массивными бицепсами закидывают движимое имущество и ржавеющие фермерские инструменты в семифутовый грузовик и увозят за два округа, где все продадут по консигнации. Ник не просит минимальных ставок. Накопленная за поколения собственность рассеивается, как пыльца на ветру. Нет больше дома Хёлов.

— Мои предки приехали в этот штат с пустыми руками. Уйти я должен так же, согласна?

Оливия касается его плеча. Они закрывали дом четырнадцать дней и тринадцать ночей, словно

после того, как полвека засеивали поля и терпели прихоти погоды, наконец уходят на пенсию в Скоттсдейл, где умрут лоб ко лбу над шахматной доской. Бездонная странность ситуации не дает Нику уснуть. Он едет в Калифорнию с женщиной, которая, увидев его нелепую вывеску, свернула к нему, повинуясь мимолетному порыву. Женщиной, которая слышит безмолвные голоса. «Вот это, — думает Николас Хёл, — настоящий перформанс».

Люди занимаются сексом с незнакомцами. Вступают в брак с незнакомцами. Люди проводят полвека в постели, а в итоге оказываются незнакомцами. Николас все это знает; он прибирался за покойными родителями и прародителями, совершил все ужасные открытия, что позволяет только смерть. Сколько нужно времени, чтобы узнать человека? Пять минут — и готово. Первое впечатление уже ничто не изменит.

Правда в том, что у них с Оливией сходятся одержимости. У каждого — половина тайного послания. Что еще остается, кроме как сложить половинки? А если их вынесет на обочину, если они очнутся ото сна ни с чем, то чем он пожертвует, кроме одинокого ожидания?

Ник сидит в пустой спальне предков после по-

луночи, читает в тусклом свете лампы. Десять лет жил в этом месте — а ощущение, будто он отшельник в уединенной хижине. Он все перечитывает статью о секвойях в энциклопедии — энциклопедии, помеченной наклейкой аукциона. Читает о деревьях высотой с длину футбольного поля. Деревьях, на чьем пне два десятка человек танцевали котильон.

Читает и статью об умственных расстройствах. В части о шизофрении есть такая фраза: «Убеждения не считаются бредовыми, если соответствуют общественным нормам».

Его соседка, готовясь к отъезду, напевает про себя. От ее хмурости у него захватывает дух. Она молодая и бесхитростная, лишена страха, чувствует призвание сильнее средневековой монашки. Он, как одержимый, превращает свои сны в рисунки и ровно также никак не может отказаться от поездки с ней. Все равно Ник и так снимался с места. Теперь в его жизни появилась роскошь, какой он еще не знал: направление — и человек, с которым ему по пути.

Две недели они вместе в доме, вокруг бушует зима, — и он даже не пытался дотронуться до Оливии. Вот в чем шизофрения. И она знает, что он не станет. Рядом с ним ее тело не осквернено

ничем грубым вроде нервозности. Она боится его не больше, чем озеро — ветра.

Наутро после того, как грузовик увозит на аукцион последние пожитки Хёлов, Оливия и Ник завтракают, ничего не разогревая. Ночевали они в спальниках. Теперь она сидит на белом сосновом полу рядом с местом, где больше века простоял дубовый стол, сделанный прапрапрадедом Ника. Углубления в дереве запомнят его навечно. На ней — рубашка-оксфорд, к счастью, длинная, и трусики, полосатые, как карамельная трость.

— Тебе не холодно?

— Мне теперь как будто все время жарко. После смерти.

Он отворачивается и машет рукой на ее голые ноги.

— Ты можешь… прикрыться, не знаю?

— Брось ты. Чего ты здесь не видел.

— Не у тебя.

— Все у всех одинаково.

— Мне-то откуда знать.

— Ха. Здесь жили женщины. Недавно.

— Ошибаешься. Я художник, принявший целибат. У меня особый дар.

— В аптечке — крем от морщин. Лак для ног-

тей. — Она осекается и краснеет. — Если только ты…

— Нет. Не настолько креативный. Женщины. Женщина.

— История?

— Уехала вскоре после того, как я выяснил, что каштан болен. Испугалась. Думала, человек время от времени должен рисовать что-то кроме веток.

— Кстати. Нам теперь нужно найти дом для твоей галереи.

— Дом? — Его улыбка кривится, будто он сосет квасцы, — воспоминания о складе в Чикаго, где был дом великих работ его двадцатилетнего возраста, пока он не превратил их все в один большой горящий концептуальный шедевр.

Она смотрит куда-то вдаль, словно снова слушает чужие формы жизни.

— Может, закопаем во дворе?

В голову сразу приходят мысли о древних техниках, о патине и кракелюрах, о выдерживании керамики под землей — обо всем этом Ник узнал, когда учился в художественной школе. По крайней мере так будет не хуже, чем раздать все проезжающим водителям.

— Почему бы и нет? Пусть компостируются.

— Я думала завернуть в пленку.

— Все-таки январь. Пусть и теплый. Придется взять напрокат экскаватор, чтобы вырыть хоть что-то. — Тут он вспоминает. Смеется от мысли. — Одевайся. Бери куртку. Идем.

Они стоят бок о бок на пригорке за сараем с техникой, невидимые от дома, глядя на холмик из щебня по пояс высотой и внушительную яму рядом.

— Мы с кузенами вечно копались тут в детстве. Продвигались к расплавленному ядру Земли. Зарыть так никто и не удосужился.

Она оглядывает участок.

— Хм. Неплохо. Думал наперед.

Они хоронят искусство. Туда же отправляется и стопка фотографий — столетний кинеограф с растущим каштаном. Надежней, чем где угодно над землей.

Той ночью они снова на кухне, готовятся к утреннему отъезду. Теперь она скромнее — в толстовке и легинсах. Он мечется по кухне, в животе — пустота, которая всегда наступает перед прыжком в неизвестность. Где-то ужас, где-то восторг: все рассыпано в воздухе. Мы живем, гуляем, а потом раз — и нет, навсегда. И мы знаем, что грядет — благодаря плоду с запретного древа,

который нас раззадорили отведать. А зачем еще его сажать, а потом запрещать? Только чтобы плод точно сорвали.

— Что теперь говорят? Твои кураторы.

— Это не так работает, Николас.

Он складывает руки под губами.

— А как?

— Вот так и говорят: «Проверь уровень масла». Хорошо?

— Как мы их найдем?

— Моих кураторов?

— Нет. Протестующих. Любителей деревьев.

Она смеется и касается его плеча. Взяла себе в привычку, о чем он очень жалеет.

— Они сами пытаются попасть в газеты. Это несложно. Если подберемся, но так и не сможем их найти, начнем собственное движение.

Он пытается посмеяться в ответ, но она, похоже, не шутит.

Утром они выезжают. Машина набита до отказа. Пять часов на запад — и они знают друг друга так хорошо, насколько можно, если не хочешь катастрофы. Пока она ведет, он рассказывает ей то, чего не рассказывал никому. О той незапланированной ночевке в Омахе, о приезде домой, о том, как отравились родители и бабушка.

Она касается его руки.

— Я знала, что все было так. Почти так.

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЧАСОВ Оливия говорит:

— Тебя совершенно не смущает тишина.

— Долго практиковался.

— Мне нравится. Мне самой надо наверстать.

— Я хотел спросить… Не знаю. Твоя поза. Твоя… аура. Ты будто искупаешь какие-то грехи.

Она смеется, как десятилетняя.

— Может, и так.

— Какие?

Оливия находит ответ на западном горизонте, клокочущем далекими горами.

— Искупаю, какой я была стервой. Какой не была заботливой.

— В этом особое удовольствие — когда не говоришь.

Она вертит мысль со всех сторон и, похоже, соглашается. Он думает: «Если бы мне пришлось сидеть в тюрьме или бункере во время войны, в напарники я бы выбрал ее».

В мотеле за Солт-Лейк-Сити клерк спрашивает:

— Одна или две кровати?

— Две, — говорит Ник и слышит рядом детский смех. В ванной они устраивают неловкий танец. Потом еще час не спят, болтая через двухфутовую

пропасть между кроватями. Многословно в сравнении с тысячей миль, что они сейчас проехали.

— Я никогда не участвовала в протестах.

Ему надо подумать: был же в колледже какой-нибудь акт политического негодования. С удивлением Ник говорит:

— Я тоже.

— Представить не могу, кто бы не присоединился к этому.

— Лесорубы. Либертарианцы. Те, кто верят в предназначение человека. Те, кому нужны веранды и крыша.

Скоро глаза закрываются сами собой, его уносит в сон — в еженощный приют растительного избавления.

НЕВАДА ТАКАЯ ШИРОКАЯ И МРАЧНАЯ, что вся человеческая политика кажется смешной. Пустыня зимой. Ник тайком подглядывает, как ведет Оливия. Ее чуть ли не мутит от благоговения. В горах Сьерра Невада они сталкиваются с метелью. Нику приходится купить у придорожного спекулянта цепи. На Перевале Доннера автомобиль застревает за фурой — обе полосы закупорены металлом, все идут со скоростью шестьдесят миль в час по утрамбованному снегу. Ник ведет машину чуть ли не телепатически, на-

ходит просвет в левой полосе, пытается обогнать грузовик. Потом — белая мгла. Марлевый бинт на лобовом стекле.

— Оливия? Блин. Я ничего *не вижу!*

Машина вываливается на обочину и виляет обратно. Он с трудом удерживается на полосе, ускоряется, пробирается вслепую и уклоняется от смерти в паре снежных дюймов.

Спустя мили Ника все еще трясет.

— Господи боже. Я чуть тебя не убил.

— Нет, — говорит Оливия, будто кто-то ей рассказывает, что случится дальше. — Этого не будет.

Они спускаются по западному склону в Шангри-Ла. Меньше чем через час мир снаружи их капсулы меняется: вместо хвойных лесов, занесенных снегом, перед ними предстает широкая зеленая Центральная долина с цветущими на берегах шоссе многолетними растениями.

— Калифорния, — говорит Оливия.

Ник даже не пытается скрыть улыбку.

— Пожалуй, ты права.



ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ДУГЛАСА В СУДЕ.

— Вы обвиняетесь в препятствии официальному делу, — говорит судья. — Вы признаете свою вину?

— Ваша честь. От этого официального дела несет, как кучи чего-то вонючего и собачьего на тротуаре.

Судья снимает очки и потирает переносицу. Заглядывает в пучины юриспруденции.

— К сожалению, к вашему делу это не имеет отношения.

— Позвольте со всем уважением спросить, ваша честь: почему?

За две минуты судья объясняет, как устроен закон. Собственность. Гражданская власть. Все.

— Но чиновники пытались помешать демократии.

— Для любой группы граждан, желающих правосудия в случае любого решения мэрии, существуют суды.

— Ваша честь, я награжденный ветеран. Мне дали Пурпурное сердце и Крест ВВС. За последние четыре года я посадил пятьдесят тысяч деревьев.

Он привлек внимание суда.

— Я прошел сам не знаю сколько тысяч миль, втыкая саженцы в землю и стараясь хоть чуточку

откатить прогресс. Потом я узнаю, что на самом деле даю сволочам повод срубать больше старых деревьев. Простите, но столкновение с дуростью в городском парке вывело меня из себя. Вот и все.

— Вы уже были в тюрьме?

— Сложный вопрос. И да, и нет.

Суд размышляет над решением. Подзащитный препятствовал работе частного лесоповального подрядчика, вырубавшего парк в глухую ночь по решению мэрии. Он не трогал бригаду. Не уничтожал собственность. Судья дает Дугласу семь дней условно плюс штраф в двести долларов либо три дня общественного труда — сажать орегонские ясени для городского лесоводства. Дуглас выбирает сажать. Когда он приносится из зала суда обратно в мотель, его пикап уже эвакуировали. Вымогатели требуют за него триста баксов. Он просит придержать пикап, пока собирает деньги. Надо выкопать серебряные доллары.

Затем он надрывается ради города, сажает деревья целую неделю — дольше, чем требуется по сроку.

— Почему? спрашивает лесовод. — Если необязательно?

— Ясень — благородное дерево.

Прочное, как мало что. Материал рукояток и

бейсбольных бит. Дуглас любит эти сложные перистые листья, как они рассеивают свет, от него жизнь кажется мягче, чем она есть. Любит зауженные парусные семена. Ему нравится сама мысль сажать ясени, прежде чем сделать то единственное, что действительно должен сделать каждый.

Чем усерднее он трудится, тем виноватее себя чувствует лесовод.

— Не лучший поступок мэрии — то, что случилось в парке.

Небольшая уступка, но человек все-таки на бюджетной зарплате, уже без пяти минут измена.

— Да уж ни хрена не лучший. Под покровом темноты. За несколько дней до слушания, которого ждали жители.

— Жизнь — кровавый спорт, — говорит лесовод. — Как и природа.

— Люди ни хрена не понимают в природе. Или демократии. Никогда не думал, что психи правы?

— Смотря какие психи.

— Зеленые психи. Сейчас целая куча помогает засадить вырубку в Сиусло. Еще встречал людей на протесте в Умпкве. Они по всему Орегону рас-

тут как из-под земли.

— Молодежь да наркоманы. Почему они все косят под Распутина?

— Эй! — говорит Дугги. — Распутин знал толк в стиле.

Он надеется, лесовод не сдаст его за крамолу.

ОН НЕ СРАЗУ УЕЗЖАЕТ ИЗ ПОРТЛЕНДА. Направляется в библиотеку, почитать о партизанском лесничестве. Старый друг-библиотекарь продолжает приносить пользу. Он как будто запал на Дугги вопреки ужасному аромату. А может, благодаря. Некоторые кайфуют от суглинка. Глаз цепляется за статью об акции у Салмон-Хаклберри-Уайлдернесс — группа учит людей перекрывать лесовозные дороги. Дугласу остается только выкупить пикап. Впрочем, сперва он сам немножко партизанит. Он не уверен в законности возвращения на свое место преступления. Вполне возможно, очередной акт гражданского неповиновения приведет его за решетку. Та частичка Дугласа, которой нравится смотреть на Землю с большой высоты, как когда он был старшим по погрузке, на это почти что надеется.

По мере приближения к парку нарастает гнев. Еще нет полудня. Плечи, шея и хромая нога снова все чувствуют — как его швырнули за землю

головорезы, издевающиеся над людьми. От гнева, впрочем, не распирает. Наоборот. Гнев сутулит и бьет под дых, у самой рощи Дуглас уже еле шаркает.

Из первого свежего пенька еще сочится смола. Он падает рядом на землю и достает тонкий фломастер и водительские права — как линейку. Подносит оба к спиленному дереву, словно проводит операцию, и отсчитывает в обратном направлении. Под пальцами проходят годы — их наводнения и засухи, их заморозки и жара, написанные на разных кольцах. Когда отсчет доходит до 1975-го, он делает тонкий черный крест на этой дате. Потом проходит еще двадцать пять лет, ставит еще один крест против часовой стрелки по отношению к первому и помечает — 1950-й.

Работа продолжается четвертьвековыми шажками, пока он не доходит до самого центра. Он не знает, сколько лет городу, но это дерево явно прочно стояло на месте до того, как рядом ступила нога белого человека. Указав год как можно точнее, Дуглас возвращается к краю, совсем недавно еще живому, и пишет большими буквами вдоль половины окружности: «ИХ СРУБИЛИ, ПОКА ВЫ СПАЛИ».

Он еще там, помечает пеньки, когда Мими

выходит на обед. Ее новая обеденная карточная игра — гнев, она играет в солитер, пока ест сэндвичи с яйцом и острым перцем на скамейке в этом недавно минимизированном дзен-саду. С самого ночного рейда она не слезала с телефона, посетила бессильное общественное собрание и поговорила с двумя юристами — оба сообщили, что о правосудии можно только мечтать. Ее единственный выход — уличный обед с видом на свежие пеньки, пережевывание гнева. Она видит, как человек на четвереньках аннотирует ущерб, и взрывается.

— Ну теперь-то вы что делаете?

Дугги смотрит на вылитую копию ночной бабочки Лалиды из Патпонга, которую когда-то любил больше дыхания. Женщину, стоящую любых ям для саженцев. Она надвигается, угрожая сэндвичевым копьем.

— Мало их убить? Надо еще и осквернить?

Он поднимает руки, потом показывает на иероглифы на пне. Она останавливается и видит — надписанные кольца, идущие к центру круга. Год, когда отец размазал себе мозги по всему двору. Год, когда она выпустилась и устроилась на эту проклятущую работу. Год, когда все семейство Ма бросилось врассыпную от медведя. Год

когда отец показал ей свиток. Год ее рождения. Год, когда отец приехал учиться в великом Технологическом институте Карнеги. И на самом внешнем кольце — надпись: «ИХ СРУБИЛИ, ПОКА ВЫ СПАЛИ».

Она переводит взгляд на человека, стоящего на коленях.

— О боже. Простите, пожалуйста. Я думала, вы… чуть не пнула вас в лицо.

— Вас уже опередили те, кто это сделал.

— Минутку. Вы тогда были? — Ее брови сходятся, пока она производит расчеты предела текучести. — Если бы я тогда оказалась здесь, то точно кого-нибудь травмировала.

— Большие деревья падают по всей стране.

— Да. Но это был мой парк. Мой ежедневный хлеб.

— Знаете, вот так смотришь на эти горы и думаешь: «Цивилизация уйдет, но *это* будет длиться вечно». Только цивилизация фыркнет, как жеребец на гормонах роста, — и горы рухнут.

— Я говорила с двумя юристами. Законы не нарушены.

— Естественно. Все права — не у тех людей.

— Что можно сделать?

Глаза безумца пляшут. Он похож на двена-

дцатого архата, позабавленного глупостью всех человеческих устремлений. Он колеблется.

— Вам можно доверять? В смысле, вы же не хотите у меня почку украсть, ничего такого?

Она смеется — и это все, что ему нужно, чтобы поверить.

— Тогда слушайте. У вас не найдется триста баксов? Или, может, рабочая машина?



БРИНКМАНЫ НАЧАЛИ ЧИТАТЬ, когда они вместе и наедине. А вместе они почти всегда наедине. Любительский театр остался в прошлом; они не выходили на сцену с той пьесы про несуществующего младенца. Ни разу не сказав друг другу вслух, что с театром покончено. Тут диалог не требуется.

Значит, вместо детей — книги. Во вкусах оба остаются привержены мечтам юности. Рэю нравится видеть, как великое начинание цивилизации возвышается к все еще неведомой судьбе. Ему хочется читать, допоздна, только о растущем уровне жизни, неуклонном раскрепощении человечества посредством изобретательства,

появлении знаний, что в конце концов спасут весь род людской. Дороти нужны заявления еще невероятней — истории, свободные от идей, но с выраженными личностями героев. Ее спасение — тесное, жаркое и личное. Оно зависит от способности человека сказать «И все-таки», сделать ту мелочь, что вроде бы ему недоступна, и на миг вырваться из хватки времени.

Полки Рэя организованы по темам; Дороти — в алфавитном порядке по имени авторов. Он предпочитает дорогие тома с копирайтами поновее. Ей нужно общаться с далекими мертвыми и чужими душами, как можно более непохожими на нее. Раз начав книгу, Рэй заканчивает ее, как бы ни было тяжело. Дороти не прочь пропустить философствования автора, чтобы дойти до мгновений, когда один персонаж — чаще всего самый неожиданный — заглядывает в себя и оказывается лучше, чем позволяет природа.

Жизнь в сорок лет. Стоит томику попасть в дом, как он его уже не покинет. Для Рэя цель — готовность: книга на все непредвиденные потребности. Дороти стремится поддерживать местные независимые магазины и спасает заброшенные жемчужины из корзин с макулатурой. Рэй думает: «Никогда не знаешь, когда наконец

дойдут руки до книги, купленной пять лет назад». А Дороти: «Однажды нужно взять зачитанный томик и пролистать до того абзаца внизу на правой странице, в десяти страницах с конца, что переполняет такой нежной и лютой болью».

Дом превращается в библиотеку медленно, почти незаметно. Книги, которые ей не подходят, Дороти кладет на бок поверх рядов. Так обложки мнутся, и это доводит Рэя до белого каления. Какое-то время они спасаются покупкой новой мебели. Пара шкафов из вишневого дерева между окнами в его кабинете на первом этаже. Большой из каштана — в переднюю комнату, туда, где традиционно живет телеалтарь. Кленовый — в гостиную. Он говорит: «На какое-то время хватит». Она смеется, зная из каждого своего романа, каким мимолетным может быть «какое-то время».

Умирает мать Дороти. Они не в силах расстаться ни с одной книгой покойницы. И добавляют их в коллекцию, которой позавидовали бы и короли. Букинист в центре предлагает Дороти с невероятной скидкой полное собрание «Романов Уэверли» Вальтера Скотта.

— Тысяча восемьсот восемьдесят второй! И посмотри на эти красивые форзацы. Мраморный

водопад.

— Знаешь, что можно сделать? — подбрасывает идейку Рэй по пути к кассе. К Скотту он примостил «Эпоху разумных машин». — Та дурацкая стена в маленькой спальне наверху. Можно попросить плотника встроить полки.

Их прежние планы на эту комнату теперь кажутся старше любой книги в шкафах. Дороти кивает, пытается улыбнуться, лезет куда-то вглубь себя за словом. Она не знает слова. Даже не знает, что делает. «И все-таки». Слово — «и все-таки».

У НИХ ЕСТЬ ДАВНЯЯ ШУТКА, рождественская, — шутка, которая всегда готова вмиг перестать быть шуткой. Одним подарком они пытаются перетянуть друг друга на свою сторону. В этом году Рэй вручает Дороти «Пятьдесят идей, изменивших мир».

— Милый! Как ты угадал!

— Меня она точно изменила.

Никогда он не изменится, думает она и целует его в щеку, рядом с губами. Потом настает ее часть ритуала: новое издание «Четырех великих романов» Джейн Остин с аннотациями.

— Дороти, дорогая. Ты читаешь мои мысли!

— Знаешь, ты мог бы попробовать ее почитать,

ну хотя бы раз.

Он пробовал, много лет назад, и чуть не задохнулся от клаустрофобии.

Праздники они проводят в халатах, читая друг другу свои подарки. На Новый год с трудом дотягивают до полуночи. Лежат в постели — бок о бок, нога к ноге, но руки — на страницах. Засыпая, Рэй перечитывает десяток раз один и тот же абзац; слова превращаются в какую-то круговерть, как крылатки в воздухе.

— С Новым годом, — говорит он, когда наконец падает шар.[47] — Еще один пережили, а?

Они разливают шампанское, дожидавшееся во льду. Чокаются. Она пьет и говорит:

— В этом году нам нужно приключение.

Шкафы забиты предыдущими решениями — принятыми и поставленными на полку. «Индийская кухня без труда». «Сто троп для походов в Большом Йеллоустоне». «Полевое руководство по певчим птицам Востока США». «По диким цветам Востока США». «Нехоженые тропы Европы». «Неизвестный Таиланд». Пособия по пивоварению и виноделию. Нетронутые тексты на иностранных языках. Все эти разрозненные исследования —

---

[47] Примечания: 47

Новогодняя традиция в США — опускать шар времени в Нью-Йорке ровно в полночь.

бери да трать впустую. Они жили, как ветреные и забывчивые боги.

— Что-нибудь опасное для жизни, — добавляет она.

— *Как раз* об этом думал.

— Может, пробежать марафон.

— Я… могу быть твоим тренером. Или как-то так.

— Нужно что-нибудь, чтобы вместе. Может, получим летное удостоверение?

— Может, — говорит он в коме от усталости. — Ну. — Рэй ставит бокал и хлопает себя по ногам.

— Да. Еще страничка и отбой?

ДОРОТИ ПОГРУЖАЕТСЯ в настоящую боль воображаемых существ. Лежит неподвижно, стараясь не разбудить мужа всхлипами. «Что это? Оно хватает мое сердце, как будто что-то значит. Почему придуманный мир имеет такую власть надо мной?» Ответ прост: Дороти смотрит на кого-то, кто видит то, что не должен видеть. На героиню, которая даже не знает, что выдумана, но не сдается перед лицом неизбежного сюжета.

ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ на годовщину Бринкманы опять забывают что-нибудь посадить.



СЕКВОЙИ вышибают из них все слова. Ник едет молча. Даже молодые стволы — как ангелы. А где-то через несколько миль они минуют монстра, бросающего свою первую ветку вверх в двенадцати футах от земли, и ветка эта толщиной с большинство восточных деревьев. Ник понимает: слову «дерево» надо вырасти, прийти в *себя*. Врасплох застает не размер — или *не только* размер. А каннелюрное дорическое совершенство красно-бурых колонн, взметающихся из папоротников ростом по плечи и заросшего мхом войлока — прямо вверх, без сужения, как ржавый жесткий идеал. А когда от колонны все же расходится крона, то начинается это слишком высоко, так далеко от основания, что там, наверху, уже может существовать второй мир, ближе к вечности.

У Оливии схлынуло все волнение от поездки. Она словно знает эти места, хотя никогда не была западнее парка «Шесть Флагов в Сент-Луисе». На узкой дороге вдоль прибрежного леса она объявляет:

— Остановись.

Ник сворачивает на обочину, мягкую от толсто-

го слоя иголок. Дверь открывается — и воздух на вкус сладкий и пряный. Оливия входит в рощу великанов. Когда он присоединяется, на лице девушки полосы света, а глаза — жаркие и жидкие от радости. Она в неверии качает головой.

— Это оно. Это они. Мы на месте.

* * *

ЗАЩИТНИКОВ ЛЕСА НАЙТИ НЕСЛОЖНО. Вдоль Затерянного берега организуются разные группы. В местных газетах печатают репортажи о каких-нибудь выступлениях чуть ли не каждый день. Ник и Оливия живут на природе, несколько дней ночуют в машине, прощупывая, кто есть кто в разношерстной компании — доморощенной с, мягко говоря, импровизированной организацией.

Они узнают о волонтерском поселении, расположившемся на заболоченной земле сочувствующего рыбака на пенсии, неподалеку от Соласа. Лагерь бурлит скорее от деятельности, чем от вменяемости. Над полем с палатками раздаются голоса быстрых молодых людей, шумных в своей преданности делу. Носы, уши и брови бликуют железом. Дреды спутываются с волокнами многоцветных нарядов. От волонтеров несет почвой, потом, идеализмом, маслом пачули и сладкой

сенсимильей, растущей во всех местных лесах. Кое-кто задерживается на два дня. Другие, судя по их микрофлоре, уже пару лет безвылазно торчат в лагере.

Лагерь — один из множества нервных центров хаотичного движения без вожаков, известного как «Оборонительные силы жизни». Ник и Оливия проводят разведку, говорят со всеми подряд. Ужинают яичницей и фасолью с пожилым человеком, Моисеем. Тот и сам их допрашивает и одобряет, убедившись, что они не шпионы из «Вейерхаузер», «Бойсе Каскейд» или более актуальной для этих краев силы — «Гумбольдт Тимбер».

— Как получать… задания? — спрашивает Ник. Моисей смеется вслух из-за этого слова.

— Заданий у нас нет. Но работы — непочатый край.

Они готовят на десятки человек и потом помогают убираться. На следующий день — марш. Ник пишет плакаты, а Оливия присоединяется к хору. По лагерю проходит огневласая, ястребиного вида женщина в вязаной шали, клетчатой одежде. Оливия хватает Ника.

— Это она. Из телеролика в Индиане.

Та, кого ее просили найти существа света.

Моисей кивает.

— Это Мать Эн. Она может мегафон превратить в скрипку Страдивари.

С рассветом Мать Эн проводит беседу на поляне рядом с палаткой Моисея. Осматривает кольца сидящих волонтеров, признает ветеранов, приветствует новичков.

— Хорошо, что под конец сезона вас осталось так много. В прошлом многие из вас уходили на зиму домой, когда ливни прерывали лесозаготовки до весны. Но «Гумбольдт Тимбер» начали работать круглый год.

По толпе проносится негодование.

— Они хотят вырубить как можно больше, пока закон не спохватился. Но они не учли вас!

Ликование накрывает Николаса гребнем волны. Он поворачивается к Оливии, берет ее за руку. Она сжимает его ладонь в ответ, словно это не первый раз, когда он коснулся ее от радости. Она сияет, и Ник снова дивится ее уверенности. Оливия довела их сюда по наитию — «Теплее, еще теплее», — шептала указания от сущностей, что слышит лишь она одна. И вот они здесь — будто с самого начала знали, куда едут.

— Многие из вас здесь уже давно, — продолжает Мать Эн. — Так много полезных дел! Пикеты.

Партизанщина. Мирные демонстрации.

Моисей потирает бритую голову и выкрикивает:

— А теперь нагоним на них страху!

Ликование удваивается. Даже Мать Эн улыбается.

— Ну, может быть! Но «Силы жизни» относятся к ненасилию всерьез. Те, кто только что прибыл, должны пройти обучение пассивному сопротивлению и присягнуть кодексу ненасилия, прежде чем непосредственно участвовать в действии. Мы не одобряем причинение прямого вреда собственности…

— Но вы удивитесь, какие чудеса творит быстротвердеющий цемент на колесной базе! — снова встревает Моисей.

Уголки губ Матери Эн слегка дергаются.

— Мы — часть очень долгого, очень широкого процесса, который происходит по всему миру. Если великолепные женщины Чипко в Индии подвергают себя угрозам и побоям, если бразильские индейцы каяпо рискуют своей жизнью, значит, можем и мы.

Моросит. Ник и Оливия почти не замечают дождя.

— Многие из вас уже все знают о «Гумбольдт

Тимбер». Для тех, кто не в курсе: почти век это было семейное дело. Им принадлежала последняя прогрессивная компания в штате, они выплачивали невероятные льготы работникам. Их пенсионная система лопалась по швам. Они заботились о своих и редко нанимали контрактных подрядчиков. А главное — вырубали с умом и могли бы существовать вечно. Поскольку старые деревья они почти не трогали, у них оставалось бы несколько миллиардов футов лучшей хвойной древесины на планете, в то время как все их конкуренты на побережье уже прогорели бы. Двести тысяч акров — сорок процентов оставшихся старых лесов в регионе. Но акции ГТ отставали от компаний, максимизирующих прибыль. А по правилам капитализма это значит, что пора кому-то прийти и показать старперам, как заправлять бизнесом. Помните Генри Хэнсона, короля мусорных облигаций? Которого засадили в прошлом году за рэкет? Он устроил сделку. Его приятель-рейдер провернул кражу, не выходя с Уолл-стрит. Это даже гениально: вливаешь наличку от мусорных облигаций во враждебное поглощение и продаешь долг своей сберегательно-кредитной компании, причем еще просишь финансовой помощи у государства. Потом закла-

дываешь купленную компанию до последнего гвоздя, чтобы расплатиться по надуманному долгу, разоряешь пенсионный фонд, растрачиваешь резервы, распродаешь все ценное и избавляешься от оставшейся банкротной шелухи за бесценок. Волшебство! Добыча, которая сама платит тебе за разграбление. Сейчас они на предпоследней стадии: обналичивают все до последней щепки в собственности. То есть дело дошло до лесов, которым семьсот-восемьсот лет. Деревья шире, чем ваши мечты, идут на лесопилку и выходят досками. «Гумбольдт» вырубает в четыре раза быстрее по отрасли. И они ускоряются, пока их не нагнал закон.

Ник поворачивается к Оливии. Она на годы моложе его, но он уже обращается к ней за объяснениями. Ее лицо ожесточилось, глаза закрылись от боли. По щекам бегут слезы.

— Очевидно, мы законодателей ждать не можем. Новый, эффективный «Гумбольдт Тимбер» поубивает всех великанов, прежде чем закон опомнится. И я спрашиваю каждого из вас. Чем вы можете помочь нашему делу? Мы будем рады всему. Времени. Усилиям. Деньгам. Деньги удивительно хорошо помогают!

После ее речи звенят аплодисменты и крики,

и люди отступают к завтраку из чечевичной похлебки, приготовленному на нескольких кострах. Оливия помогает готовить — та, кто воровала еду соседей из холодильника вместо того, чтобы вскипятить воду для рамена. Ник чувствует, как лесной народ — кое-кто из них не мылся неделями — изображает равнодушие, когда она их кормит, словно на лугу рядом с ними только что не появилась дриада.

Отряд под руководством человека по кличке Черная Борода возвращается с рейда, они залили двигатель «Катерпиллар D8» кукурузным сиропом. Добровольцы сияют от успехов в мерцании костра. Собираются по темноте снова испытать бдительность компании в отношении техники покрупнее и дальше по склону.

— Я не люблю преступления против собственности, — говорит Мать Эн. — Правда.

Моисей смеется над ней.

— Ценная собственность не пострадала, не считая лесов. Мы ведем войну на измор. Мы мешаем бригадам на несколько часов — пока они ремонтируют машины. Но они тем временем теряют время и доллары.

Черная Борода хмурится.

— «Гумбольдт» и есть сплошное преступление

против собственности. А мы, значит, должны играть по правилам?

Два десятка волонтеров начинают перебивать друг друга. После многих лет в сельской Айове Ник напоминает себе ребенка, который рос на дребезжащем радио и теперь впервые слышит симфонию вживую. Он попал в культ друидов, вроде тех, о которых читал зимними вечерами в семейной энциклопедии Хёлов. Почитание дубов у оракула в Додоне, рощи друидов в Британии и Галлии, синтоистское преклонение перед сакаки, украшенные деревья желаний в Индии, майанские капоки, египетские смоковницы, китайские священные гинкго — все ветви первой мировой религии. Его десятилетняя одержимость — подготовка к тому искусству, которого от него потребуют в этой секте.

Оливия придвигается.

— Ты как?

Его ответ застревает в широкой довольной ухмылке.

Рейд готовится к выходу. Черная Борода, Игла, Мохоед и Богослов: воины, что состязаются за пальму, лавры, оливковую ветвь.

— Погодите, — говорит им Ник. — Давайте кое-что попробуем.

Усаживает их на раскладном стуле в тени костра и раскрашивает их лица. Макает кисточку в банку зеленого латекса, которой девушка по имени Тинкербелл пишет буквы на транспарантах. Следует контурам их черепов, дугам лбов и грядам скул, открывая завитки и спирали — сюрреалистические импровизированные воспоминания о татуировках тамоко у маори. Футболки с узелковым крашением и лица в пейсли: эффект сокрушительный. Коммандос ночи отступают и любуются друг другом. В них что-то проникает; они становятся другими существами, расписанными и измененными, преисполненными силой древних знаков.

— *Господи боже!* Они обосрутся со страху.

Моисей качает головой при виде работы новенького.

— Неплохо. Пусть думают, что мы опасны.

Оливия подходит к Нику сзади с гордостью. Кладет ему руки ниже плеч. Она понятия не имеет, что с ним от этого происходит — после того, как они много дней ехали через всю страну, ночевали бок о бок в толстых спальниках. А может, и знает, но ее это не волнует.

— Молодец, — шепчет она.

Он пожимает плечами:

— Пользы маловато.

— Это необходимо. Я знаю из надежных источников.

Той ночью они дают себе лесные имена, под ласковой моросью секвой, на одеяле из иголок. Игра кажется инфантильной, спервa. Но все искусство инфантильно, все истории, все человеческие надежды и страхи. Почему бы не взять новые имена для новой работы? У деревьев десяток разных названий. Техасский, испанский, конский каштан и монильо — это все одно растение. С именами деревья так же расточительны, как с семенами клена. Есть чинар, он же платан, он же сикомор: как человек с ящиком, набитым фальшивыми паспортами. В английском языке, например, для обозначения липы существуют три слова — *lime, linden, tilia* — а еще, когда она превращается в древесину или мед, ее называют *basswood*. У одной только широкохвойной сосны двадцать восемь названий.

Оливия окидывает Ника взглядом в темноте, вдали от костра. Щурится, выискивая намеки, как его называть. Убирает ему волосы за ухо, наклоняет подбородок прохладными руками.

— Хранитель. Звучит? Ты мой Хранитель.

Наблюдатель, свидетель. Будущий защитник.

Он широко улыбается, раскрытый.

— Теперь назови меня!

Он берет кончиками пальцев материю цвета пшеницы, что скоро никогда не будет легче грязи. Она распадается на прядки.

— Адиантум.

— Есть такое слово?

Да, говорит он, это другое название венериного волоса, живого ископаемого, оно старше цветущих деревьев, столь же древнее, как первые хвойные, какое-то время адиантум встречался в этих верховьях, но потом пропал на миллионы лет, прежде чем человек не вернул его. Это дерево из начала деревьев.

* * *

ПОКА ОНИ ЗАСЫПАЮТ В ПОХОДНОЙ ПАЛАТКЕ, Оливия сворачивается рядом с Ником, ничего более интимного, чем тепло от близости множества других волонтеров, ей не грозит. Он лежит, глядя на ее спину, на то, как еле заметно поднимается и опускается ее грудная клетка. Футболка, которую она надевает вместо пижамы, соскальзывает с плеча, обнажая татуировку на лопатке, витиева-

тым шрифтом: «Грядут перемены»[48].

Ник лежит, стараясь не двигаться, — возбужденный монах. Считает удары ее сердца, пока шум прибоя в ушах не убаюкивает его. В дремлющем мозгу плетется паучья мысль. Инопланетяне будут удивляться, что не так с земными именами, зачем для одной вещи нужно столько названий. Но вот он лежит рядом с подругой, которую знает всего несколько недель, воссоединившись после стольких жизней. Ник и Оливия, Хранитель и Адиантум — весь квартет — открыты для январской ночи под бесконечными колоннами прибрежных секвой, вечноживых Sempervirens.



ПАТРИЦИЯ ВЕСТЕРФОРД сидит на стуле со спинкой-лесенкой, за сосновым столом, с ручкой в воздухе, пишет под диктовку насекомых. Одиннадцать часов близко, а у нее — ноль, ни одного предложения, что она не заредактировала бы до смерти. В окно веет ветром, дышащим компостом и кедром. Аромат пробуждает старое, глубокое

[48] Примечания: 48

Цитата из духовной песни A Change Is Gonna Come (1964) Сэма Кука, одного из гимнов движения за права чернокожих в США.

томление, как будто не имеющее цели. Леса зовут — и Патриция должна идти.

Всю зиму напролет она с трудом пыталась донести до людей радость от работы всей жизни и открытия, утвердившиеся за немногие короткие годы: как деревья разговаривают друг с другом, над землей и под ней. Как лелеют и кормят друг друга, дирижируя общим поведением через почвенную сеть. Целую главу расписывает, как мертвое бревно дарует жизнь другим видам без счета. Уберите корягу — убьете дятла, а тот не дает распоясаться долгоносикам, уничтожающим другие деревья. Патриция рассказывает о костянках и соцветиях, метелках и бокальчиках, мимо которых иной будет ходить всю жизнь, да так и не заметит их. Говорит, как ольха с шишечками добывает золото. Как у дюймового пекана может быть шесть футов корней. Как березовое лыко может накормить голодных. Как в одной сережке хмелеграба содержится несколько миллионов зерен пыльцы. Как туземные рыбаки пользовались толчеными листьями каштана, чтобы дурманить и ловить рыбу. Как ивы очищают почву от диоксинов, полихлоридбифиминов и тяжелых металлов.

Она раскладывает по полочкам, как гифы гри-

бов — несметные мили волокон, уложенных в каждую ложку почвы, — уговаривают раскрыться древесные корни и пьют из них. Как энергичные грибки освобождают древесные минералы. Как дерево расплачивается за эти питательные вещества сахарами, которые сами грибки производить не могут.

> Под землей происходит нечто удивительное, и мы лишь теперь начинаем понимать, что именно Слои микоризной проводки объединяют деревья в гигантские умные сообщества, охватывающие сотни акров. А вместе они образуют обширные торговые сети товаров, услуг и информации…
>
> В лесу нет индивидуальностей, нет обособленных событий. Птица и ветвь, на которой она сидит, едины. Треть или больше веществ, что производит дерево, кормит другие организмы. Даже разные виды заключают партнерства. Сруби березы — и зачахнет ближайшая пихта Дугласа…
>
> В великих лесах Востока дубы и гикори синхронизируют урожаи орехов, чтобы

путать питающихся ими животных. Разносятся слухи, и деревья конкретного вида — хоть на солнце, хоть в тени, мокрые или сухие, — плодоносят обильно либо не вынашивают вообще ничего, вместе, как сообщество…

Леса лечат и формируют друг друга с помощью подземных синапсов. А формируя себя, они формируют и десятки тысяч других связанных существ, образующих их изнутри. Может, лучше думать о лесах как об огромных, простирающихся, ветвящихся, подземных супердеревьях.

Патриция рассказывает, как вяз помог начать Войну за независимость. Как огромный пятисотлетний прозопис растет посреди одной из самых засушливых пустынь планеты. Как конский каштан за окном даровал Анне Франк надежду даже в безнадежном укрытии. Как семена, отправленные на Луну и обратно, заколосились по всей Земле. Что мир населен величественными существами, о которых ни* кто не знает. Как можно веками узнавать о деревьях то, что когда-то людям уже было известно.

Ее муж живет в городе, до которого четырна-

дцать миль. Они видятся раз в день, на обед, который Деннис готовит из сезонных продуктов. Сутки напролет ее единственный народ — деревья, а единственный способ говорить за них — слова, эти органы опоздавших сапрофитов, живущих за счет энергии всего зеленого.

И журнальные статьи-то всегда давались Патриции непросто. Годы в затворничестве дают о себе знать каждый раз, когда она их пишет, даже если в выходных данных десятки соавторов. Когда в деле другие, она волнуется еще больше. Патриция лучше снова ушла бы, чем причинила любимым коллегам ту боль, которую когда-то испытала сама. И все же журнальные статьи — прогулка по лесу в сравнении с текстом для широкой публики. Научные статьи пылятся в архивах, Не волнуя почти никого. Но этот неподъемный труд: она не сомневается, что в прессе ее высмеют и все переврут. И она никогда не отобьет то, что уже заплатил издатель.

Всю зиму напролет она с трудом пыталась рассказать совершенным незнакомцам о том, что знает. Не месяцы, а ад, но при этом и рай. Уже скоро адский рай закончится. В августе она закроет полевую лабораторию, соберет оборудование и перенесет все скрупулезные образцы на

побережье, в тот университет, где — немыслимо — снова будет преподавать.

Сегодня вечером слова не идут. Лучше просто поспать, посмотреть, что скажут сны. И все-таки она поднимает голову и смотрит на кухонные часы, висящие над допотопным покатым холодильником. Еще есть время для полуночной прогулки к пруду.

Ели у хижины волнуются от жутких пророчеств под почти полной луной. Их прямая линия — воспоминание о некогда стоявшей тут ограде, на ней еще так любили сидеть клесты и испражняться семенами. Сегодня деревья в трудах — запасают углерод в своей ночной фазе. Скоро уже все будет в цвету: черника и смородина, щегольской молочай, высокая магония, тысячелистник и сидальцея. Вновь и вновь Патриция удивляется тому, как высший разум планеты открыл счет и закон всемирного тяготения раньше, чем кто-нибудь узнал, для чего нужен цветок.

Сегодня рощи промокшие и сумрачные, как ее переполненный словами разум. Она находит тропинку и подныривает под свою любимую пихту. Дорожка идет под шпилями, озаренными луной конца зимы, — дорожка, где она ходит чуть ли не еженощно, туда и обратно, как в том старом па-

линдроме: La ruta nos aportó otro paso natural.[49] Множество неописанных нестабильных соединений, которые выдохнули ночью иголки, замедляют ее сердцебиение, смягчают дыхание и, если она права, даже меняют настроение и мышление. Сколько веществ в лесных аптеках еще никто не выявил. Могущественных молекул в коре, сердцевине и листьях, чей эффект еще предстоит открыть. Одно семейство гормонов стресса в ее деревьях — жасмонаты — придает ядрености женственным благоуханиям, что играют на тайнах и интригах. «Нюхай меня, люби меня, я в беде». А им действительно угрожает беда, всем этим деревьям. Всем лесам в мире, даже на землях с отставшим от жизни названием «госрезервы». Такая беда, что Патриция не смеет рассказать о ней читателям своей книжонки. Беда, как атмосфера, разливается всюду, в течениях за пределами человеческих предсказаний или контроля.

Вдруг Патриция выскакивает на лужайку у пруда. Над ней извергается звездное небо — никакого другого объяснения не нужно, чтобы понять, почему люди объявили вечную войну ле-

---

[49] Примечания: 49
Маршрут дал нам еще один естественный шаг (исп.).

сам. Деннис рассказывал, что лесорубы говорят: «Прольем свет в это болото». Люди паникуют от лесов. Там слишком много всего творится. Людям нужно небо.

То место, куда Патриция идет, пусто, ждет ее, — покрытое мхом питательное бревно у кромки воды. Стоит бросить взгляд над прудом, как голова проясняется, и Патриция находит те слова, что искала. Она искала название для великих и древних кряжей невырубленного леса, тех, что поддерживают рынок углеродов и метаболитов. Теперь оно есть:

> Грибок разрабатывает камень, чтобы снабдить деревья минералами. Он охотится на вилохвосток и скармливают их хозяевам. Деревья, со своей стороны, хранят в синапсах своих грибков больше сахара, чтобы делиться с больными, затененными и ранеными. Лес заботится о себе, строя местный климат для своего выживания.
>
> Перед смертью пихта Дугласа, возрастом в полтысячелетия, отправит запас химикатов обратно в корни, а оттуда — грибковым партнерам, жертвуя в по-

следней воле свои богатства сообществу. Можно называть этих древних благодетелей щедрыми деревьями.

Читающей публике нужна такая фраза, чтобы чудо стало ярче, зримей. Это Патриция узнала уже давно, от отца: люди лучше видят то, что похоже на них. *Щедрые деревья* — это поймет и полюбит любой великодушный человек. И этими двумя словами Патриция Вестерфорд предрешает свою судьбу и меняет будущее. Даже будущее деревьев.

НАУТРО ОНА ПЛЕЩЕТ холодной водой в лицо, готовит завтрак из органических хлопьев и красных ягод, выпивает его, перечитывая вчерашние страницы, потом сидит за сосновым столом, зарекаясь вставать без абзаца, достойного внимания Денниса за обедом. Запах карандаша из красного можжевельника приводит ее в восторг. Медленное давление графита на страницу напоминает о постоянном испарении, каждый день поднимающем литры воды на десятки футов в пихтовых стволах. Возможно, сам этот акт ожидания над страницей, когда сдвинется рука, больше всего похож на просветление растений, ничего ближе Патриции не доведется испытать.

Последняя глава ускользает. Ей нужна невозможная триада: надежда, польза и правда. Например, можно написать о Старом Тикко — ели, что живет в Швеции. Над землей дереву всего несколько сотен лет. Но в богатой микробами почве его корни уходят на девять тысяч лет или больше — они на тысячи лет старше, чем письменность, с помощью которой Патриция пытается о них рассказать.

Все утро она втискивает девятитысячелетнюю сагу в десять предложений: череду стволов, что падают и поднимаются вновь от одного и того же корня. Это та надежда, что она ищет. *Правда* куда безжалостней. Ближе к полудню Патриция нагоняет настоящее, и в нем новая, созданная человеком атмосфера умасливает обычно согбенный снегом криволесный ствол Старого Тикко распрямиться в полноценное дерево.

Но людям ни к чему надежда и правда без пользы. Неловкими, неуклюжими словами, всегда больше похожими на рисование пальцами, а не кисточкой, она на ощупь ищет пользу Старого Тикко — Старого Тикко на голом кряже, дерева, что бесконечно умирает и возрождается с каждой переменой климата. Его польза — показывать, что мир создан не для нас. Какая польза от *нас*

деревьям? Патриция вспоминает слова Будды: дерево — это нечто чудесное, оно укрывает, кормит и защищает все живое. Даже дарует тень дровосеку, что его срубает. И в этих словах находит финал книги.

ДЕННИС ПРИЕЗЖАЕТ В ПОЛДЕНЬ, надежный, как часы, привозит лазанью с брокколи и миндалем — его очередной обеденный шедевр. Патриция думает, — и эта мысль приходит ей в голову несколько раз за неделю, — как же ей повезло прожить эти немногие благословленные годы замужем за единственным мужчиной на Земле, что не мешает проводить большую часть жизни в одиночестве. Согласный, терпеливый, добродушный Деннис. Защищает ее творчество и так мало просит взамен. В глубине своей ремесленнической души он и так знает, насколько немногим вещам мера человек. И он великодушный и неунывающий, как сорняки.

Обедая на пире, сотворенном Деннисом, Патриция зачитывает ему сегодняшнюю часть о Старом Тикко. Он слушает в изумлении, как иной счастливый ребенок слушает греческие мифы. Она заканчивает. Он хлопает.

— О, детка. Просто замечательно. — В глубине своей неискушенной зеленой души ей нравится

быть самой старой в мире деткой. — Жаль тебе говорить, но, кажется, ты закончила.

Страшно, но он прав. Она вздыхает и смотрит в окно кухни, где три вороны вынашивают сложные планы вторжения в ее бак с компостом.

— И что мне делать теперь?

Его смех такой душевный, словно она шутит.

— Напечатаешь, мы пошлем издателям. С опозданием на четыре месяца.

— Я не могу.

— Почему?

— Все не так. Начиная с названия.

— Чем тебе не нравится «Как деревья спасут мир»? Деревья не спасут мир?

— Уверена, что спасут. Когда мир скинет нас с шеи.

Он посмеивается и собирает грязную посуду. Отвезет ее домой, где глубокие раковины, душлаги и горячая вода. Смотрит на нее с другого конца кухни.

— Ну назови «Спасение леса». Тогда не придется объяснять, кто кого спасает.

— Как же я тебя люблю.

— А кто-то говорит, что нет? Слушай. Детка. Это же чистое удовольствие. Рассказывать людям о величайшей радости в твоей жизни.

— Знаешь, Ден. В последний раз, когда я оказалась в центре всеобщего внимания, дела повили так себе.

Он решительно машет рукой.

— Да это было-то в другой жизни.

— Свора. Они не хотели меня опровергнуть. Они хотели крови!

— Ноты реабилитировалась. Не раз и не два.

Ей хочется рассказать ему о том, о чем она не рассказывала никогда: травма тех дней была столь велика, что она устроила себе смертельный лесной пир. Но Патриция не может. Слишком стыдно за ту давно скончавшуюся девчушку. Сейчас ей даже не верится, что она вообще могла думать о таком пути. Сейчас все кажется театром. Игрой. И потому она скрывает то единственное, в чем ему никогда не признавалась: как поднесла ко рту вилку с ядовитыми грибами.

— Детка. Ты нынче практически пророчица.

— А еще я провела кучу лет парией. Пророчицей быть веселее.

Она помогает ему донести до машины грязную посуду. — Люблю тебя, Ден.

— Пожалуйста, хватит так говорить. Ты меня пугаешь.

ПАТРИЦИЯ НАБИВАЕТ ЧЕРНОВИК. Подрезает

пару слов и прививает пару фраз. Теперь есть глава «Щедрые деревья» о ее любимых пихтах Дугласа и их подземном государстве общественного благополучия. Она охватывает леса всей страны, от хлопковых тополей, что за десятилетие превышают полсотни футов, до остистых сосен, что медленно умирают пять тысяч лет. Потом — почта, где все тревоги испаряются в тот же миг, как она покупает марки и отправляет рукопись на другое побережье.

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ в ее кабинете звенит телефон. Она ненавидит телефоны. Шизофрения на проводе. Шепот незримых голосов издалека. Теперь ей не звонят, если только по неприятному поводу. Это ее редактор, с которым она никогда не встречалась, из Нью-Йорка, которого она никогда не видела.

— Патриция? Твоя книга. Только что дочитал.

Патриция морщится в ожидании топора.

— Невероятно. Кто бы мог подумать, что деревья умеют столько всего?

— Ну. Несколько сотен миллионов лет эволюции как-никак расширяют репертуар.

— Они у тебя оживают.

— Вообще-то они и так живые.

Но сама вспоминает книгу, которую ей в че-

тырнадцать дал отец. Осознает, что обязана посвятить свой текст отцу. И мужу. И всем, кто со временем обретет формы новые.

— Пэтти, ты не поверишь, что я благодаря тебе увидел между остановкой метро и офисом. Глава про щедрые деревья? Взрыв мозга. Мы тебе еще мало заплатили.

— Вы заплатили больше, чем я заработала за последние пять лет.

— Ты столько заработаешь за два месяца.

Заработать бы свое одиночество, анонимность, которых, чувствует Патриция — так же, как деревья издали чувствуют нападение насекомых, — она теперь будет лишена навсегда.



«Господство» выходит — и пути назад нет. Через два месяца после релиза в Северной Америке президент, руководитель компании и держатель контрольного пакета «Семпервиренс» включает его на своей рабочей лошадке, в квартире, находящейся над новеньким и блестящим головным офисом компании, у подножия холмов на Пейдж-Милл-роуд. Сплошь красное дерево

и стекло — песочница причудливых, медитативных пространств. Непрямые углы окружают открытые атриумы, засаженные гигантскими пиниями. Работа в своей кабинке — как поход в национальном парке.

Приют Нилая укрыт высоко над ульем. Единственный путь к нему — на личном лифте, спрятанном за пожарной лестницей. Посреди тайного убежища стоит сложная больничная койка. Нилай ею уже почти не пользуется. Сорок минут, чтобы подняться или вернуться; в эти дни лечь в нее все равно что в гроб. Времени нет. Он спит в кресле, редко когда больше сорока минут за раз. Идеи мучают его, как фурии. Планы и прорывы для незаконченного мира без жалости гонят его по галактике.

Он сидит перед огромным экраном на рабочей поверхности — такой высокой, чтобы пододвинуть кресло под нее. Панорамное стекло за экраном являет вершину горы Белло. Этим видом и звездными пейзажами, сияющими в ночное окно на потолке, и ограничиваются заграничные путешествия Нилая. Сейчас его вылазки — как сегодняшняя: экспедиции по побережьям континентов, что начинаются окутанными туманом и оборачиваются открытиями. Он разработал

основы игры, написал немалую часть кода и месяцами прорабатывал возможные пути. «Господство» больше не должно бы его удивлять; и все же не перестает ускорять пульс. Щелчок мыши, пара клавиш — и он вновь лицом к лицу с девственным континентом.

На самом деле игра ничтожна. Двумерна — ни запаха, ни осязания, ни вкуса, ни чувства. Маленькая и зернистая, а мировая модель проста, как в Бытии. И все же стоит ее включить, как она вгрызается в ствол мозга. Карты, климаты и рассеянные ресурсы каждый раз разные. Его противниками могут быть Конкистадоры, или Зодчие, или Технократы, Природопоклонники, Скупцы, Гуманитарии, или Радикальные Утописты. Ничего подобного этому месту еще не существовало. И все же там он как дома. Его разум дожидался такой игровой площадки с тех пор, как он упал с предательского дерева.

Сегодня он решает быть Мудрецом. По модемным бордам всего мира расходится слух о нечестной победной стратегии, которую игроки зовут *Просвещением*. Лидеры рейтингов требуют запретить этот подход. Но даже Мудрецом он обязан накопить достаточно угля, золота, руды, камня, древесины, еды, чести и славы, чтобы

заплатить за рост своего населения. Обязан исследовать неведомые земли, прокладывать торговые маршруты и разграблять соседние поселения, пробираясь по ветвящимся деревьям Культуры, Ремесла, Экономики и Технологии. В игре представлены почти такие же серьезные выборы, как в Реальной Жизни — или, как привык называть ее персонал, слегка презрительно: РЛ. Этим утром графика выглядит утловатей в сравнении с «Господством 2», что уже в разработке. Но графика для Нилая никогда не играла роли. Видима только заплатка на месте истинного желания. Все, что нужно ему и полумиллиону других игроков «Господства», — простое и бесконечное превращение в вечно растущем царстве.

В нем что-то скручивается. Нилай не сразу распознает в ощущении голод. Надо поесть, но это такой затратный процесс. Он подкатывается к мини-холодильнику, хватает энергетический напиток и еще что-то, вроде пирожок с курицей, заглатывает, даже не разогревая в микроволновке. Вечером он приготовит настоящий ужин, или завтра. Он собирает из кипарисовых досок от своей лучшей бригады дровосеков исполинский ковчег, когда звонит телефон. Утренняя встреча с журналистом, тот хочет взять интервью у восхо-

дящей звезды индустрии — паренька, которому и близко тридцати нет, а он уже построил дом для столь многих бездомных пареньков.

Репортер кажется не старше своего субъекта — и оцепеневшим от волнения.

— Мистер Мехта?

Мистер Мехта — это его отец, которого Нилай пристроил в скромные хоромы под Купертино, с бассейном, домашним кинотеатром и прудом в окружении мандиров из розового дерева, где миссис Мехта готовит каждую неделю пуджу и молится богам, чтобы принесли ее сыну счастье и девушку, что разглядит в нем того, кто он есть.

Отражение в панорамном стекле дерзко поднимает на него взгляд: бурый щуплый богомол с мосластыми суставами и огромным черепом, обтянутым кожей, вместо головы.

— Зовите меня Нилай.

— О боже. Хорошо. Вау! Нилай. Я Крис. Спасибо за разговор. Так, сначала я хотел спросить: вы знали, что «Господство» будет таким хитом?

Нилай знал задолго до того, как игру выпустили на волю Знал с того самого момента, когда ему пришла эта мысль под огромным, раскинувшимся, пульсирующим деревом ночью, на Скайлайне.

— Примерно. Да. Из-за бета-релиза в офисе встала вся работа. Проект-менеджеру пришлось ввести запрет на игру.

— Черт возьми. У вас есть данные о продажах?

— Продается очень хорошо. В четырнадцати странах.

— Как думаете, почему?

Успех игры прост. Это сносное факсимиле того места, что Нилай представил себе в семь, когда его отец впервые притащил огромную картонную коробку по лестнице. «А теперь, Нилай. Что сделать этому маленькому созданию?» Мальчик хотел от него немногого: вернуться в дни мифа и зарождения, когда куда ни пойди, все зеленое и податливое, а жизнь все еще могла быть чем угодно.

— Не знаю. Здесь простые правила. Мир на тебя реагирует. Все происходит быстрее, чем в жизни. Можно смотреть, как растет твоя империя.

— Я… я признаюсь. Я просто влюбился! Вчера ночью, когда я наконец оторвался, на часах было где-то четыре утра. А я все себе говорил — «ну, еще один заход». И когда я отошел от экрана, вся спальня так и расплывалась перед глазами.

— Мне это знакомо. — И Нилаю правда знакомо. Все, кроме вставания.

— Как думаете, игра не влияет на мозги тех, кто в нее играет?

— Влияет, Крис. Но, думаю, как и все на свете.

— Вы видели статью в «Таймс» на прошлой неделе, об игровой зависимости? О том, что люди тратят пятьдесят часов в неделю на видеоигры?

— «Господство» — не видеоигра. Это игра разума.

— Ну ладно. Но признайте, на нее уходит много продуктивного времени.

— Это явно хронофагическая игра. — Он так и слышит, как на том конце провода возникает маленький знак вопроса в комиксовом облачке. — Она поглощает время.

— Вас это беспокоит? Что вы будете подрывать продуктивность?

Нилай смотрит на склон горы, выбритый наголо полвека назад.

— Не думаю… Может, даже не так уж плохо чуть-чуть подорвать продуктивность.

— Хм. Ну ладно. Уж точно игра убивает мое время. Я все натыкаюсь на то, чего нет в руководстве пользователя на сто двадцать восемь страниц.

— Да. Отчасти поэтому люди не могут от нее оторваться.

— Пока я в игре, я чувствую, что у меня есть

цель. Всегда надо сделать что-то еще.

«Да, о да», — хочет ответить Нилай. Безопасно и вменяемо, без болот двусмысленностей, без межличностного мрака — и твоя воля получает свою законную землю. Считайте это смыслом.

— Думаю, там многие чувствуют себя уютнее. Чем здесь, — говорит он.

— Может быть! По крайней мере люди моего возраста.

— Да. Но мы планируем на следующий релиз самые разные новые роли. Новые стили игры. Векторы возможностей для самых разных людей. Мы хотим, чтобы там было хорошо каждому.

— Вау. Ясно. Круто. И что компания будет делать дальше?

Компания ускользает из-под контроля Нилая. Команды и менеджеры населяют организационное древо быстрее, чем он успевает уследить. К ним каждый день стучатся лучшие разработчики в Долине — хотят поиграть. Программисты с шоссе 128 вокруг Бостона, недавние выпускники из Карнеги Меллон — мозги, с младенчества сформированные играми, которые Нилай раньше раздавал, — умоляют его дать им шанс помогать уже вовсю идущему огульному исходу.

— И хотелось бы ответить, но не могу.

Крис всхлипывает.

— А если я буду умолять?

В его голосе — вся уверенность здорового ходячего мужчины. Скорее всего, белого, приятной внешности. Очарование и оптимизм парня, который еще не знает, что люди делают с другими людьми, с другими живыми существами, когда ощутят ужас, и страдания, и потребности.

— Хотя бы намек?

— Ну, все просто. Больше всего. Больше сюрпризов. Больше возможностей. Больше мест, где будет больше существ. Представьте себе «Господство», только насыщенность и сложность умножены на сорок. Мы даже не знаем, на что это может быть похоже.

«Все из зернышка вот такого размера».

— Ого. Так здорово. Так… прекрасно!

Что-то кольнуло Нилая. Хочется сказать: «Спрашивай еще. Это не все».

— Можно спросить о вас?

У Нилая подскакивает пульс, будто он пытается подняться на своих гимнастических кольцах для упражнений. «Пожалуйста, нет. Пожалуйста, только не это».

— Конечно.

— Я уже много о вас читал. Ваши собственные

работники зовут вас отшельником.

— Я не отшельник. Просто… у меня не ходят ноги.

— Я про это читал. Как вы управляете компанией?

— По телефону. По электронной почте. По мессенджерам.

— Почему нигде нет ваших фотографий?

— Лучше их не видеть.

Ответ смущает Криса. Нилаю хочется сказать: «Ничего страшного. Это же только РА».

— Как вы считаете, то, что вы росли в семье иммигрантов…

— О, вряд ли. Скорее всего, нет.

— Что — нет?

— Не думаю, что это оказало на меня такое уж большое влияние.

— Но… то, что вы индоамериканец? Вам не кажется…

— Вот что я думаю. Я был Ганди, Гитлером и вождем Джозефом. Я носил больше шести мечей и кольчужные бикини, от которых, если честно, так себе защита!

Крис смеется. Красивый, уверенный смех. Нилаю все равно, как выглядит Крис. Все равно, если он весит под двести килограммов и зарос кож-

ным лишаем. Его охватывает желание сказать «Не хочешь куда-нибудь сходить?» Но, выходя из дома, лишь глубже уходишь в себя. «Ничего такого не будет. Ничего такого и не может быть. Это уже в провалом. Можно просто… посидеть, что ли, поболтать обо всяком — без страха, без боли, без последствий. Просто посидеть и поболтать, куда идут люди».

Невозможно. Один взгляд на усохшие конечности Нилая — и даже этот уверенный в себе смеющийся журналист придет в отвращение. И все же этот Крис — он любит игру Нилая. Играет ночь напролет, до утра. Код, написанный Ни-лаем, влияет на мозг этого человека.

— Просто. Я много кем был. Много что пережил. В Африке каменного века и на границах других галактик. Думаю, уже скоро — не сейчас, но скоро, — если технологии будут развиваться и давать нам больше пространства, думаю, мы сможем стать кем захотим.

— Это… уже немного слишком.

— Да. Наверное.

— Игры не… Люди все равно хотят денег. Все равно хотят престижа и социального статуса. Политику. Эго все навсегда.

— Да. Навсегда? Наверное. — Нилай смотрит в

экран, на прущий на него мир, где социальный статус будет накапливаться исключительно в виде голосов в пространстве одновременно мгновенном, глобальном, анонимном, виртуальном и безжалостном.

— У людей все еще есть тела. Они все еще хотят реальной власти. Друзей и любовников. Вознаграждений. Достижений.

— Конечно. Но скоро все это будет у нас в карманах. Мы будем жить, торговать, заключать сделки и заводить романы в символическом пространстве. Весь мир будет игрой с таблицей результатов на экране. А это? — Он взмахивает рукой, как бывает при разговоре по телефону, хоть и знает, что Крис его не видит. — Все то, что, по-вашему, люди реально хотят? Это реальная жизнь? Скоро мы даже не вспомним, какой она была.



МАШИНА ЕДЕТ НА СЕВЕР ПО ШОССЕ 36. «Импала», превышает скорость на десять миль, забираясь на пригорок. Внизу, за долгим уклоном, дорогу перегораживает десяток черных ящиков.

Гробы. Водитель бьет по тормозам и останавливается в двух шагах от огромных похорон. В воздухе над гробами, по канату, натянутому между двумя деревьями, основательными, как маяки, ползет горная львица. Ее коричневую талию охватывают ремни, пристегнутые карабином к страховочному тросу. Хвост мечется между гладкими задними лапами, а благородная голова с усиками качается на шее, когда она оглядывает зацепившийся транспарант.

С юга едет другая машина. Она походит на кролика, тормозящего перед гробами. Он дважды сигналит, и только потом водитель замечает пуму. Зрелище странное даже для этого ганджакрая, и водитель не прочь минуту поглазеть. Зверь молодой, гибкий, одет только в обтягивающее трико, со словами «Грядут перемены» на торчащем из-под формы плече. Кошка борется с транспарантом; водители с интересом ждут. За следующей на север встревает еще одна. Потом еще.

На платформе, стоящей на обочине, медведь наваливается на лебедку, пытаясь сдвинуть застрявшую простынь на растяжке. Его морда и запавшие глаза — роскошно расписанное папье-маше. Глазницы такие маленькие, что медведю

приходится ворочать всем рылом, лишь бы что-нибудь разглядеть. Через несколько минут пробки нарастают в обоих направлениях. Двое выходят из машин. Они раздражены, но не могут удержаться от смеха при виде мегафауны. Взмах лапы пумы — и простыня наконец падает, ловит ветер и хлопает над шоссе, как парус.

ХВАТИТ ПРИНОСИТЬ В ЖЕРТВУ ДЕВСТВЕННИЦ

Рамки кишат от ветвей с листьями и цветов с полей средневекового манускрипта. Миг вставшие водители могут только смотреть. Парочка устраивает спонтанные аплодисменты. Кто-то выкрикивает из опущенного окна: «Могу помочь с девственностью, красотка!» Пума высоко над шоссе машет. Заложники жестикулируют в ответ — большими или средними пальцами. Ее дикая маска при взгляде снизу ворошит что-то древнее в нутре наблюдателей.

Один водитель бросается на гробы.

— Мы, лесорубы, оплачиваем ваши пособия. Валите с дороги! — Он пинает черные ящики, но те не двигаются с места. Из-под чокера на шее пума достает свисток и дает три сигнала. Ящики одновременно раскрываются, и из них встают

тела, как в Судный день. Медведь способствует переполоху, разбрасывая дымовые бомбы. Из каждого гроба лезут существа во всех красках творения. Вот олень, чьи рога ветвятся ввысь, как ангельские крылья. Сономский бурундук с огромными резцами-палочками. Колибри Анны сверкает ярко-розовым и переливается бронзой. Кошмар Дали в виде тихоокеанской амбистомы. Солнечно-желтая масса бананового слизня.

Застрявшие водители смеются над воскрешением зверей. Новые аплодисменты, новая ругань. Животные пускаются в дикий пляс. Это пугает водителей; такую вакханалию они уже видели — как звери скачут безумными кругами, — она запала в память с иллюстрированных страниц первых книг, что они листали, когда все еще было возможно и реально. Во время диверсии звериной пляски медведь и пума расстегивают ремни и торопятся спуститься со своих верхотур. Когда из-за колонны машин вскрикивает полицейская сирена, это уже кажется очередным аттракционом. Полиция ползет по обочине закупоренной дороги, давая зверям предостаточно времени броситься врассыпную в подлесье. За ними в лесу растворяются мужчина и женщина постарше, с видеокамерой на ладони.

Через два дня пленка попадает в национальные новости. Реакция охватывает весь спектр. Транспарантщики — герои. Эпатажные уголовники, которых надо бы посадить. Они животные. Животные — да. Мозговитые, альтруистичные, звериные мошенники, умудрившиеся перекрыть федеральное шоссе и выставить все так, будто дичь еще имеет право голоса.



ЧЕТЫРЕ ГОДА. В ФОРТУНА-КОЛЛЕДЖЕ сводятся к одному дню: Адам, на своем месте на первом ряду, аудитория имени Дэниэлса. За кафедрой — профессор Рубен Рабиновски, «Аффект и познание». Последняя лекция перед итоговым экзаменом, и Раби-мэн изучает все доступные свидетельства, говорящие — к радости переполненного класса, — что преподавание психологии — это пустая трата времени.

— А теперь я покажу вам ответы людей на вопрос, насколько они подвержены зацикленности на прошлом, причинно-следственной ошибке обоснования оценки, эффекту владения, эффекту доступности, эффекту стойкости убеждения,

заданности восприятия, ложной корреляции, подсказкам — всем тем предвзятостям, о которых вы узнали на этом курсе. Вот данные по контрольной группе. А вот данные по тем, кто обучался на этом курсе в прошлые годы.

Громкий смех — цифры практически одинаковые. Обе группы уверены в своей железной воле, четком понимании и независимом мышлении.

— А вот показатели с других проверок, задуманных так, чтобы скрыть, что именно проверяется. Большую часть второй группы тестировали меньше чем через полгода после этого курса.

Смех перерастает в стон. Слепота и неразумность — во все края. Выпускники работают вдвое усерднее, чтобы сэкономить пять баксов, а не заработать их. Выпускники боятся медведей, акул, молний и террористов больше, чем пьяных водителей. Восемьдесят процентов мнит себя умнее среднего. Выпускники бешено преувеличивают число бобов в банке на основании чьих-то нелепых догадок.

— Работа психики — поддерживать блаженное невежество о том, кто мы есть, что мы думаем и как себя ведем в любых ситуациях. Все мы действуем в густом тумане взаимного подкрепления. Наш разум подчиняется в первую очередь уста-

ревшей технике, которая эволюционировала с мыслью, что все остальные *обязательно правы*. Но даже когда о тумане говорят вслух, *лучше не становится*. Тогда почему, можете поинтересоваться вы, я вообще о чем-то рассказываю? Зачем год за годом продолжать и обналичивать чеки колледжа?

Теперь смех — сплошь сочувственный. Адам восхищается блестящим преподаванием. Дает себе клятву, что хотя бы он запомнит эту лекцию на долгие годы — и эти откровения сделают его мудрее, что бы там ни показывали исследования. Хотя бы он опровергнет обвиняющие цифры.

— Позвольте показать ответы, что вы сами написали в простой анкете, которую я попросил вас заполнить в начале семестра. Вы, наверное, уже о ней и забыли, — профессор бросает взгляд на среднестатистические ответы и кривится. Губы сжимаются от боли. В зале хихикают. — Возможно, вы не помните, что я спросил, как вы думаете… — Профессор Рабиновски теребит галстук. Расправляет левую руку, снова кривится. — Прошу прощения. — Бросается со сцены в дверь. По аудитории пробегает ропот. Слышится стук — опрокинулись коробки. Пятьдесят четыре студента сидят и ждут шутки. Из коридора слы-

шатся какие-то слабые, приглушенные звуки. Но никто не двигается.

Адам оглядывает ряды за собой. Студенты хмурятся друг другу или возятся с конспектами. Поворачивается к великолепной девушке, которая всегда сидит в двух местах слева. Она готовится к поступлению на медика, рыжеватая, красивая, но сама об этом не знает, папки набиты конспектами, сделанными убористым почерком, — и он снова думает, как славно было бы посидеть с ней за пивом в «Бакки» и поговорить об этом потрясающем курсе. Но семестр кончается через два дня, шансы считай что упущены.

Она бросает на него непонимающий взгляд. Он качает головой и не может удержаться от усмешки. Наклоняется, чтобы прошептать, и она наклоняется в ответ. Может, шансы еще есть.

— Китти Дженовезе. Эффект свидетеля. Дарли и Латане, 1968 год.

— Но с ним-то все хорошо?

— Помнишь, нам надо было ответить, поможем ли мы человеку, если…

Женский крик внизу просит вызвать скорую. Но, когда санитары въезжают на внутренний двор, профессор Рабиновски уже скончался от инфаркта миокарда.

— Я НЕ ПОНИМАЮ, — говорит роскошный будущий медик, сидя в «Бакки». — Если ты думал, что он демонстрирует эффект свидетеля, почему просто остался сидеть?

Она берет уже третий кофе со льдом, и это беспокоит Адама.

— Суть не в том. Вопрос — почему ничего не сделали остальные пятьдесят три человека, включая тебя, которые думали, что у него инфаркт. Я-то думал, что он над нами прикалывается.

— Тогда встал бы и сказал!

— Я не хотел портить представление.

— Должен был вскочить уже через пять секунд.

Он бьет по столу.

— Ни хрена бы не изменилось!

Она отдергивается в глубину будки, будто он хотел ударить ее. Адам поднимает ладони, наклоняется извиниться — и она отдергивается снова. Он застывает с руками в воздухе, увидев то, что видит испуганная девушка.

— Прости. Ты права.

Последний урок профессора Рабиновски. То, что психология и в самом деле практически бесполезна. Адам расплачивается и уходит. И больше ее не видит, разве что на следующей

неделе, в четырех местах от него, пока два часа идет итоговый экзамен.

* * *

ОН ПОСТУПАЕТ В НОВУЮ послевузовскую программу по социальной психологии в Санта-Крузе. Кампус — зачарованный сад на горе с видами на залив Монтерей. Хуже места для диссертации не придумаешь — да и для любой работы в принципе. С другой стороны, идеальное место для межвидовых контактов с морскими львами на пирсе, ночным лазаньям по Закатному древу голым и накуренным, валяния на Большом лугу, поиска темы диссертации в безумных облаках звезд. Через два года остальные начинают звать его Предвзятым Парнем. В любом разговоре о психологии общественно-экономических формаций Адам Эппич, магистр наук, заваливает слушателей исследованиями о том, что унаследованная когнитивная слепота никогда не даст людям действовать в своих интересах.

ОН СОВЕТУЕТСЯ С НАУЧРУКОМ. Профессор Мике Ван Дейк, обладательница великолепного голландского боба, отрывистых согласных и смягченных чувственных гласных. На самом

деле она приглашает его к себе в кабинет каждые две недели в надежде, что новый подопечный наконец приступит к исследованиям.

— Ты никуда не движешься.

И это правда, он развалился на ее викторианской кушетке на другом конце кабинета, словно она его психоаналитик. Это забавляет обоих.

— Не двигаюсь?.. Глупости. Я в принципе парализован.

— Но почему? Ты раздуваешь из мухи слона. Представь эту диссертацию… — у нее не совсем получается произнести звук «т», — как длинный проект для семинара. Не надо спасать мир.

— Нет? Можно хотя бы пару стран?

Она смеется; ее широкий прикус ускоряет его пульс.

— Послушай, Адам. Притворись для себя, что это никак не связано с твоей карьерой. Никак не связано с одобрением профессоров. Что конкретно ты лично хочешь открыть? Какая тема принесет тебе удовольствие на пару лет?

Он следит, как слова слетают с этих красивых уст, свободные от социологически-научного жаргона, который она любит подбавлять на семинарах.

— Удовольствие, говорите…

— Ш-ш. Ты же хочешь что-то *знать*.

Он хочет знать, думала ли она о нем когда-нибудь, хоть раз, с точки зрения секса. Это вполне возможно. Она всего на десять лет старше. И она — хочется сказать «энергичная». Адам чувствует странное желание рассказать, как пришел сюда, в ее кабинет, в поисках темы. Хочется вытянуть всю свою интеллектуальную историю в прямую линию — от момента, как он раскрашивал муравьев лаком для ногтей, до того, как у него на глазах скончался его любимый наставник, — и спросить, куда эта линия ведет.

— Мне интересно… разослепиться. — Он украдкой бросает взгляд на профессора Ван Дейк. Вот если бы люди бешено багровели, когда чувствуют влечение. Сразу сократился бы невроз у всего вида.

Она поджимает губы. И даже не знает, как ей это идет. — Разослепление? Уверена, это слово что-то значит.

— Могут ли люди принимать независимые нравственные решения, идущие наперекор убеждениям их племени?

— Ты хочешь изучить преобразовательный потенциал как производную сильного фаворитизма внутри консолидированной группы.

Он кивает, но как же его бесит этот жаргон.

— Дело такое. Я считаю себя хорошим человеком. Хорошим гражданином. Но, скажем, я хороший гражданин раннего Рима, когда у отца была власть — а иногда и обязанность — убить своего ребенка.

— Понимаю. И ты, хороший гражданин, мотивирован сохранить позитивную индивидуальность…

— Мы в ловушке. В ловушке социальной идентичности. Даже когда большая, огромная истина смотрит нам прямо… — Он слышит насмешки коллеги: «Предвзятый Парень».

— Ну, нет. Очевидно, нет, иначе внутри консолидированной группы никогда не произошла бы перестройка. Преобразование социальной идентичности.

— Правда?

— Конечно! Здесь, в Америке, люди за одно поколение перешли от убеждения, что женщины не могут голосовать, до женщины-кандидата в вице-президенты крупной партии. За несколько лет — от Дреда Скотта до эмансипации. Дети, иностранцы, заключенные, женщины, черные, инвалиды и душевнобольные: все стали из собственности личностью. Я родилась во время,

когда мысль, чтобы шимпанзе выслушали в суде, казалась полным абсурдом. Когда ты будешь моего возраста, мы уже будем удивляться, как лишали животных положения разумных существ.

— А сколько вам, кстати, лет?

Профессор Ван Дейк смеется. Ее точеные высокие скулы розовеют; он уверен. Попробуй это скрыть с такой кожей.

— Пожалуйста, не отходим от темы.

— Я бы хотел найти личностные факторы, которые позволяют отдельным личностям задумываться, почему все остальные так слепы…

— …тогда как другие все еще стабилизируют преданность к консолидированной группе. Вот мы к чему-то и приходим. Это может быть темой. Если *сильно* сузить и уточнить. Можно рассматривать следующий шаг в этой же исторической прогрессии сознания. Изучать тех, кто поддерживает точку зрения, которую любой в нашем обществе считает безумной.

— Например?

— Мы живем во времена, когда говорят о нравственном авторитете выше человеческого.

Ловкое напряжение мышц живота — и он сидит.

— В каком смысле?

— Ты видел новости. Люди по всему побережью рискуют жизнью ради растений. На прошлой неделе я читала статью — мужчине отрезала ноги машина, к которой он пытался приковаться.

Адам и правда видел статьи, просто не обратил на них внимания. Теперь не понимает, почему.

— Права растений? Личность растений. — Мальчик, которого он однажды знал, прыгнул в яму и рисковал быть погребенным заживо, чтобы защитить от вреда саженец нерожденного брата. Тот мальчик мертв. — Ненавижу активистов.

— Вот как? И почему?

— Ортодоксия и речевки. Скука. Ненавижу, когда гринписовцы дергают меня на улице. Любой, кто строит из себя праведника… просто не понимает.

— Что не понимает?

— Как мы все безнадежно хрупки и неправы. Во всем. Профессор Ван Дейк хмурится.

— Понимаю. Хорошо, что мы не проводим психологическое исследование тебя.

— Правда ли эти люди апеллируют к какому-то новому и нечеловеческому нравственному порядку? Или просто любят, когда все вокруг красивое и зеленое?

— Тут в дело и вступают контролируемые пси-

хологические измерения.

С виду он чуть усмехается. Но внутри него нарастает что-то большое, и он не может даже шелохнуться, а то оно пропадет. Путь вперед.

— Формирование идентичности и Большая пятерка факторов личности у активистов за права растений.

— Или: к кому на самом деле прикасается «обнимальщик деревьев», когда обнимает дерево?



Солнце светит на западные Каскадные горы, когда Мими и Дуглас сворачивают на забитую машинами дорогу Лесной службы. На поляне мельтешат тела. Это не марш протеста. Это карнавал. Менеджер по литью в керамические формы спрашивает раненого ветерана:

— А это еще кто?

Дугги выходит из машины с той дурацкой, всасывающей воздух и солнце ухмылкой, которая уже начала Мими нравиться — как может нравиться тявканье собачки, спасенной из пруда. Он с придурковатой ковбойской радостью обводит загрубевшей от работы рукой толпу.

— Homo sapiens. Вечно у них что-то на уме!

Мими торопится его нагнать. От суматохи вокруг кружится голова.

— Что они делать?

Дуглас наклоняется к ней здоровым ухом.

— Что-что?

Толпа шумит в цирке своего правого дела, а он растерял слух за время на транспортных самолетах.

И все равно ее это удивляет. Мужчина, которому не лень прислушаться.

— Это так мой отец говорил. «Что они делать?»

— Что они делать?

— Ага. То есть «Какого хрена они надеются добиться?»

— Он что, был странненький?

— Китаец. Он считал, что английский должен быть эффективнее.

Дуглас шлепает себя по лбу.

— Так ты *китаянка.*

— Наполовину. А ты что думал?

— Не знаю. Кто-то посмуглее.

На самом деле вопрос, как понимает Мими, — что она делать? Ее поражает, что он умудрился вытащить ее на протест. Ее единственная в жизни политическая акция — студенческая вендетта

против председателя Мао. Ее враг — город, его коварные ночные рейды на сосны. А эти деревья, так далеко от города, — она же инженер, в конце-то концов. Эти деревья так и напрашиваются на то, чтобы их пустили на дело.

Но две лекции и посещение организационного собрания на пару с этим невинным лопухом разбили ей сердце. Эти горы, эти лесные каскады — теперь, когда она их увидела, они — ее. И вот она здесь, на общественной демонстрации, с которой бы отец-иммигрант забрал ее силой, боясь депортации, пыток или того хуже.

— Только посмотри на всех!

Бабушки с гитарами и младенцы с водяными бластерами. Студенты выделываются друг перед другом. Выживальщики качают детские коляски, будто внедорожные «Хоббит-Хаммеры». Аспиранты расхаживают с прочувствованными плакатами. «УВАЖАЙТЕ СТАРШИХ» «НАМ НУЖНЫ НАШИ ЛЕГКИЕ». К лесовозному усу топает радужный союз разносортной обуви — лоферы и кроссовки, шлепающие по пяткам сандалии, растрескавшиеся «чак тейлоры» и — да — бутсы лесорубов. Одежда еще разнообразней: строгие оксфорды и растянутые джинсы, яркие футболки хиппи и фланель, клетчатые рубахи — даже

бомбер «ВВС США», как тот, что Дугги заложил за пару баксов пятнадцать лет назад. Клоунские, плавательные, спортивные костюмы — на любой вкус, кроме костюмов-троек.

Почти всех привезли четыре очень разных экоорганизации, которые цапаются друг с другом, когда цели поближе нет. Походная группа с рюкзаками пробиралась по высокогорью к зрелищу два дня — все хотят вычерпать океан капитализма шляпкой желудя. Заявляется посмотреть на зрелище россыпь местных. В такой дали большинство людей в стомильном радиусе существуют с милости древесины. У них тоже есть написанные вручную таблички. «ЛЕСОРУБЫ: ВОТ КТО НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ». «ЗЕМЛЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ ВЫРУБИМ ПОЗЖЕ».

На краю двое, с бородами до груди, целятся наплечными камерами. Сероволосая женщина в «данскинс», фетровой Федоре и безрукавном жилете записывает интервью со всеми, кто пожелает. В чаще мужчина и женщина с мегафонами выстраивают настроение толпы. «Народ! Вы молодцы. Какая явка! Спасибо всем! Готовы к прогулке по лесу?»

Люди ликуют, и марш выходит на гравийную тропинку к свежему волоку. Дуглас шагает с

ними в ногу, Мими — рядом. В этой праздничной атмосфере под таким синим небом, рука об руку с незнакомцами на легком уклоне, Мими видит. Всю свою жизнь она сама того не замечая подчинялась главному общему принципу родителей: не шуми. Она, Кармен, Амелия — все три девочки Ма. Не высовывайтесь; у вас нет права. Вам никто ничего не должен. Будьте потише, голосуйте как все и кивайте, будто все понимаете. И все-таки она здесь, ищет неприятности. Ведет себя так, будто тоже имеет значение.

Они идут плечом к плечу по дороге, по десять человек в ряд, рядов больше, чем она может сосчитать. Они распевают песни, которые Мими пела в последний раз в летнем лагере в Северном Иллинойсе, — песни звенящего детства. «Это земля — твоя». «Если бы у меня был молоток». Дугги улыбается и мычит нестройным басом. Между песнями заводила с мегафоном, идущий боком впереди, руководит толпой. «Вырубка стоит слишком дорого! Спасем последние леса!»

Праведность бесит Мими. У нее всегда была аллергия на людей с убеждениями. Но еще больше таких убеждений она ненавидит коварную власть. Она узнала об этой горе такое, что с души воротит. Богатая лесозаготовительная компа-

ния при поддержке пропромышленной Лесной неуклюжбы пользуется вакуумом власти перед важным судебным решением, спешно и незаконно захватывает смешанные хвойные, что росли за столетия до того, как в этих краях возникла идея собственности. Мими готова на все, чтобы замедлить воровство. Даже на праведность.

Они маршируют по густому ельнику три припева. Стволы кромсают солнечный свет на осколки. Божьи пальцы — так она с сестрами называла эти скошенные лучи. Вокруг взметаются деревья, чьих названий она не знает, охваченные лозами или падающие на землю баррикадами — столько жизни в стольких оттенках, что так и хочется раздеться и носиться по округе. В подлеске прорастают стволы, которые она может охватить ладонью, — худые скелетики, что могли выжидать своего времени и сотню лет. Но полог покоится на стволах, которых не обнять и нескольким протестующим сразу.

За зелеными зубцами раскрываются виды. Мими тянет Дуга за рукав и показывает. На северо-восток, по слишком крутым для человека оврагам и склонам раскинулась игольная подушка здоровья. Туман окутывает верхушки пихт так же, как в тот день, когда первые европейские ко-

рабли унюхали гавани на этом побережье. Но за другим перевалом, к югу, по склону горы ползет лунное запустение — прорез, облитый дизелем и горевший, пока не вымерли даже грибки, а потом пропитанный гербицидами, чтобы там не росло больше ничего, кроме монокультурных плантаций краткого цикла, что продлится, как она узнала, всего несколько раундов максимум, после чего умрет почва. С высоты кажется, будто сами деревья, растущие на этих склонах, — на войне. Насыщенно-зеленые пятна выступают против пятен грязной рвоты, до самого горизонта. И те, кто здесь собрались: невежественные армии, идущие друг на друга, как уже было целую вечность, по причинам, скрытым даже от самых ярых. Когда будет довольно? Сейчас, если верить этой скандирующей, смеющейся толпе, собирающейся уговаривать бригаду в конце этой колеи. Сейчас: хорошее время, но на втором месте.

Дорога сужается, изумрудный лес сгущается. Чудовищные деревья нависают, дезориентируют Мими. Все густыми одеялами накрывает мох. Даже папоротник ей по грудь. Мужчина рядом знает названия деревьев, но Мими слишком гордая, чтобы спрашивать. Несмотря на десятилетие жизни в этом штате, несмотря на по-

стоянные попытки освоить полевые руководства и дихотомические ключи, Мими не отличает кедровую сосну от сахарной, что уж говорить о Порт-Орфордском кипарисовике или ладанном. Серебристые, белые, красные и большие пихты — кружевное пятно. А уж кишащий подлесок просто невероятен. Гаультерию она еще откуда-то знает. Кислицу и триллиум. Но остальное — смешанный салат непостижимой листвы, ползущий к обочине, готовый схватить ее за лодыжки.

Дуглас показывает налево.

— Смотри!

Посреди зелено-голубой путаницы семь толстых деревьев стоят в ряд, ровно, как в мечтах Евклида.

— Какого черта? Кто-то?..

Он посмеивается и похлопывает ее по плечу. Ей приятно.

— Представь прошлое. Далекое прошлое.

Она представляет, но ничего не видит. Дуглас еще немного наслаждается неведением Мими.

— Несколько сотен лет назад, как раз когда паломники думали: «А почему бы и нет, а? Погнали», — упал какой-то из этих монстров. Гнилое бревно — прекрасная рассада. Всходы воспользовались им как грядкой, будто их посеял сам Бог

с мотыгой!

Перед Мими что-то поблескивает, раскрывшись в пятнистом свете, — как роса выдает паутину. Тугие сети десятков тысяч видов, сплетенных слишком тонко, чтобы их мог отличить друг от друга человек. И кто знает, что за лекарства там таятся? Новый аспирин, новый хинин; новый таксол. Уже повод, чтобы одна эта последняя роща оставалась нетронутой подольше.

— Это просто нечто, да?

— Еще бы, Дуглас.

Этот человек пытался спасти ее сосны. Заслонить деревья от пил телом. Ее бы здесь не было, даже в этом обреченном раю, без него. Но, на ее взгляд, он все-таки ненормальный чуть выше среднего. Его лихая готовность на что угодно пугает. Он игриво смотрит на лес впереди, и чувствуется в этом взгляде что-то неприрученное. Он вертит головой, дивясь толпе, довольный, как щеночек, что его пустили домой.

— Слышала? — спрашивает он.

Но Мими не нужно лишний раз спрашивать. Через четверть мили тупой гул обостряется. Дальше по дороге, за кустарниками, горчичные и рыжие машины взрывают землю — грейдеры и скреперы прокладывают дорогу на новую тер-

риторию.

— Ну блин, Мими. Сама посмотри, что они делают с этой красотой. *Что они делать?*

Протестующие упираются в ворота из сплавленных металлических прутьев. Авангард останавливается, вокруг разливаются транспаранты. Женщина с мегафоном говорит:

— Мы готовы войти на просеку. Это уже проникновение на лесозаготовки, против которых мы протестуем. Кто не хочет, чтобы его арестовали, оставайтесь здесь. Ваше присутствие и голоса все равно важны. Пресса увидит ваше отношение!

Аплодисменты, словно трепет тетерева.

— Те, кто готов пойти дальше, — спасибо. Мы идем. Сохраняйте порядок. Сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь на провокации. Это мирное противостояние.

Часть толпы подходит к воротам. Мими выгибает бровь, глядя на Дугласа.

— Уверен?

— До хрена. Мы же здесь за этим, да?

Она задумывается: «здесь» — это край национального леса, продающегося на аукционе, или «здесь» — это Земля, единственная сущность, способная на предвидение? Потом выкидывает всю философию из головы.

— Пошли.

Еще десять футов — и они преступники. Рев становится тошнотворным. Через полмили они встречают человеческую изобретательность на пике. Металлических бестий Мими может назвать лучше, чем разные деревья. Дальше по просеке — валочно-пакетирующая машина, собирает пачки небольших стволов, срезает сучья и подравнивает бревна, за день выполняя то, на что у живой бригады уйдет неделя. Саморазгрузочный трейлер, укладывает срезанные бревна в себя. Ближе продлевает дорожное полотно фронтальный погрузчик, а скрепер ровняет ее перед приездом катка, Она узнала о машинах, которые впиваются пастью в пятнадцатифутовые деревья и дробят их быстрее, чем кухонный комбайн измельчит морковку. Машинах, которые укладывают бревна, как зубочистки, и тащат на лесопилки, где пятифутовые стволы вращаются на стержнях так быстро, что одно только касание наклонного лезвия срезает плоть непрерывным слоем шпона.

Дорогу перегораживают каски. Бригадир говорит:

— Вы на чужой собственности.

Женщина с мегафоном, в которую Мими уже

по-детски втюрилась, отвечает:

— Это общественные земли.

Другой обладатель мегафона отдает приказ, и протестующие рассеиваются по грунтовой дороге. Садятся плечом к плечу поперек нее. Мими и Дуг берут друг друга под руки, вливаясь в прочную линию. Мими сцепляет ладони перед собой в замок. Шелковица нефритового кольца впивается в запястье. Когда лесорубы понимают, что происходит, дело уже сделано. Два конца живой цепи приковывается велосипедными замками к деревьям по бокам дороги.

К сомкнувшейся линии подходят два вальщика. Их укрепленные сталью сапоги доходят чуть ли не до уровня глаз Мими.

— Блин, — говорит блондин. Мими чувствует его искреннее беспокойство. — Когда вы уже повзрослеете и придете в себя? Может, не будете лезть в наше дело, а мы не будем лезть в ваше?

— Это общее дело, — отвечает Дуглас. Мими слегка его дергает.

— Хотите знать, где настоящие проблемы? В Бразилии. Китае. Вот где безумные вырубки. Вот там и протестуйте. Посмотрим, что они сделают, когда вы скажете, что им нельзя разбогатеть, как нам.

— Вы вырубаете последний американский старый лес.

— Да вы не отличите старый лес, даже если он на вас упадет. Мы работаем на этих холмах уже десятилетиями и засаживаем все обратно. Десять деревьев на одно срубленное.

— Поправка. *Я* засаживал. Десять ростков, годящихся только на целлюлозу, в обмен на этих древних гигантов.

Мими наблюдает, как бригадир производит экономные расчеты. Интересная штука, капитализм: деньги, которые теряешь от замедления, всегда важнее денег уже заработанных. Один вальщик взмахивает сапогом и брызжет грязью в лицо Дугласа. Мими ослабляет хватку, чтобы стереть, но Дуглас ее сжимает.

Еще капли грязи.

— Ой! Простите, ребят. Я это случайно.

Мими взрывается.

— Ты бандит!

— Поговорите об этом вон с теми ребятами. Засудите меня из своей тюремной камеры.

Вальщик показывает за сидячую вереницу, где на дорогу Лесной службы высыпает полиция. Они разбивают цепь с такой легкостью, будто срывают одуванчик. Снова сковывают звенья

наручниками. Между Мими и Дугласом оказывается два человека, еще по двое — сбоку. Их оставляют сидеть на грязной дороге, пока полиция наводит порядок.

— Мне надо пописать, — говорит Мими копу где-то в два часа дня. Через полчаса повторяет ему же: — Мне очень-очень надо в туалет.

— Нет, не надо. Вообще не надо.

Моча стекает по ноге. Она начинает всхлипывать. Женщина, к которой она прикована, давится и кривится.

— Простите. Простите, не сдержалась.

— Ш-ш-ш, все хорошо, — говорит Дуглас, прикованный через два человека. — Не забивай голову. — Ее всхлипы все истеричней. — Все хорошо, — твердит Дуглас. — Я тебя обнимаю, мысленно.

Плач прекращается. И не начнется еще много лет. Воняя, как помеченное собакой дерево, Мими подчиняется аресту. Когда полицейская в участке снимает ее отпечатки, она впервые со смерти своего отца чувствует, что отдала дню все, что он просил.



НА МАКУШКУ РЭЯ ОПУСКАЕТСЯ ПОЦЕЛУЙ, сзади, пока он сидит в своем кабинете и читает. Поцелуи, быстрые и точные, словно индуктивно управляемые бомбочки, — в эти дни фирменная черта Дороти. И всегда леденят кровь.

— Ушла петь.

Он выгибает к ней голову. Ей сорок четыре, но для него — как двадцать восемь. Это все отсутствие детей, думает он. Расцвет никуда не ушел, чистейшая приманка, словно у нелепой красоты еще остались дела, даже намного позже молодости. Джинсы и блузка из белого хлопка, собранного в гармошку, облегают ее заунывные ребра. Все приправлено сиреневой шалью, очаровательно растрепанной и наброшенной на шею — это единственной участок кожи, что, как она думает, ее выдает. Волосы ниспадают на шаль — блестящие, каштановые, идеальные, все той же длины, как когда она пробовалась на леди Макбет на их первом свидании.

— Прекрасно выглядишь.

— Ха! Я рада, что тебя подводят глаза, — она щекочет место, куда упал поцелуй. — Уже редеют, вот тут.

— Время — крылатая колесница.

— Пытаюсь представить такой транспорт. И

как он работает?

Он выгибается сильнее. В руке у ее ног бегуньи сжат бледно-зеленый «Питерс Эдишен» с гигантским черным словом на обложке:

БР МС

рассеченным ее идеальной рукой. Ниже — поменьше:

Ein Deu equiem[50]

Концерт — в конце июня. Она стоит на сцене с двумя сотнями других голосов, незаметная среди женщин, не считая того, что Дороти — одна из немногих, кто еще не поседел, и поет:

Siehe, ein Ackermann wartet
auf die köstliche Frucht der Erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драго-

---

[50] Примечания: 50

Имеется в виду «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса, сочиненный между 1865 и 1868 годами на слова из Священного Писания.

ценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.[51]

Пение теперь — все. Очередное дело в веренице хобби, в которые она с силой ударилась, надеясь проводить неделю как можно продуктивнее. Плавание. Спасение жизни на воде. Рисование углем и пастельными красками. А Рэй тем временем удалился в крепость своего кабинета. Работает долго как никогда, в смутной надежде купить им второй дом — что-то прекрасней. Что-то окруженное если не природой, то хотя бы памятью о ней.

— Много репетиций.

Две двухчасовые репетиции каждую неделю — и ни одну она не пропустила.

— Там здорово.

Она готова уже несколько недель. На самом деле она так усердно репетировала дома, что может пропеть песню сегодня же от начала до конца, каждую партию.

— Точно не хочешь сходить? Нам не помешают басы.

Дороти поражает Рэя как никогда. И что она сделает, если он согласится?

— Может, осенью. На Моцарта.

---

[51] Примечания: 51
Иакова 5:7.

— Хватает, чем заняться?

Так и поступают люди — решают свои проблемы в чужих жизнях. Он смеется.

— На данный момент — да. Расправляюсь вот с этим, — он поднимает ей страницы: «Имеют ли деревья права». Она читает заголовок и хмурится. Рэй сам озадаченно изучает слова. — Похоже, автор говорит о том недостатке закона, что в нем как жертвы признаются только люди.

— И это плохо?

— Он хочет расширить права на все нечеловеческое. Хочет, чтобы деревья вознаграждались за свою интеллектуальную собственность.

Она усмехается.

— Плохо для бизнеса, а?

— Не знаю, то ли выкинуть и посмеяться, то ли поджечь и покончить с собой.

— Скажи, что решишь. Увидимся в десять-одиннадцать. Не дожидайся, если захочешь спать.

— Уже хочется. — Он снова смеется, будто пошутил. — Тебе не холодно? Сегодня будет зябко. Застегивай пальто.

Она застывает в дверях — и снова между ними вспышка. Внезапная волна гнева и взаимного поражения.

— Я не твоя собственность, Рэй. Мы договори-

лись.

— Что это значит? Я и не говорил, что ты моя собственность.

— Еще как сказал, — отвечает она и пропадает. Только когда дверь захлопывается, он проводит связь. Пальто. Пуговицы. Дующий ветер. «Заботься о себе. Ты принадлежишь мне».

ДОРОТИ ЕДЕТ ПО БИРЧ НА ЗАПАД, под рыжими кленами. Рэй не следит за задними фарами, не смотрит, где она повернет. Это оскорбление для них обоих. Она слишком умна, чтобы не проехать сперва мимо аудитории. К тому же: он уже стоял у окна в прошлые вечера, уже следил за фарами. Все делал, все отчаянное и отвратительное. Проверял неизвестные номера в счетах за телефон. Обшаривал карманы ее одежды с прошлого вечера. Перерывал сумочку в поисках записок. Записок нет. Только судебные доказательства его стыда, от А до Я.

Его недели недоверия уже давно превратились в свободное падение намного страшнее их молодого увлечения скайдайвингом. Паника от разоблачения скоро сгустилась в скорбь — такую же, как когда умерла его мать. Скорбь затем преобразилась в добродетель, какую он и лелеял неделями в тайне, пока и добродетель не рухнула

под собственным взрывным ростом и не стала горькой нерешительностью. Каждый вопрос — добровольное безумие. Кто? Почему? Давно ли? Как часто до того?

Какая разница? Хочешь, не застегивайся. Ему уже нужен только покой, и побыть бы с ней побольше, сколько можно, пока она не разобьет все, лишь бы наказать его за то, что он узнал.

ДОРОТИ ПАРКУЕТ МАШИНУ на стоянке за консерваторией. Даже на минуту заходит — не столько чтобы подтвердить алиби, сколько чтобы сделать раскрывающийся под ней люк еще более захватывающим. Когда сотня исполнителей гурьбой выходит на сцену, она ускользает, словно что-то забыла в машине. Уже через минуту она на скользкой от дождя улице, холодная, *живая*, сердце заходится как сумасшедшее. Ее поимеет, по-разному, долго, любовно и бесцельно, без контрактных обязательств, мужчина, которого она совсем не знает. Мысль пробегает с головы до пят, словно она чем-то укололась.

Она будет плохой. Опять. Плохой до дурости. Делать то, чего и не воображала. Новенькое. Узнает больше о себе — до страшного больше, на огромной скорости, захлебываясь от восторга. Что ей нравится и не нравится, когда она не

врет ленивой ложью приличий. Гори последние тридцать лет высвобождающим жар пламенем. Сама мысль ее сокрушает — волшебство. Это развитие — и она уже мокрая и чуть ли не кончает от хлюпанья собственных ног, словно зеленая шестнадцатилетка, когда видит черный БМВ на обочине и садится внутрь.

Сорок восемь минут диких экспериментов. Сразу после она не может их вспомнить толком. Будто он ей чего-то подмешал, просто для прикола. Она помнит, как сидела на раздвинутых коленях на огромной кровати, хихикала, как пьяная принцесска в общаге. Помнит, как чувствовала себя большой, поэтической, королевской, божественной, потоп Брамса. Потом снова боль в ногах и легких — как у бегуна на длинные дистанции. Помнит, как он шептал ей в ухо, трахая пальцами, — смутные, зловещие, обожающие, возбуждающие слоги, которыми она питалась, не разбирая.

Время от времени в бурном море, как и неделю назад в голове с ужасающей конкретностью мелькают подробности из ее любимых романов об изменах. Она помнит, как думала: «Теперь я — героиня собственной обреченной истории». Потом — долгий и нежный поцелуй на ночь,

на обочине в темной машине, в трех кварталах от консерватории. Десять шагов по скользкому тротуару — и она предает все приключение воображению: так бывает только в книжках.

Она снова на сцене, до конца еще далеко, ждет, когда мелодия пойдет вверх, и тут баритон поет: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе»[52].

РЭЙ ПРИТРАГИВАЕТСЯ К УЖИНУ — фисташки и яблоко. Чтение идет медленно, его отвлекает все на свете. Глядя на дно огрызка, он понимает, что «калике» — слово, которого он в жизни не слышал, — это всего лишь остатки зачахшего яблочного яблока. Он отрывается от чащи слов три раза в минуту, ожидая, что истина ударит, как падающий дуб через крышу дома. Его так ничто и не убивает. Вообще ничего не происходит, и продолжает не происходить с огромной силой и терпением. Ничего не происходит так всецело, что, когда он смотрит на часы, гадая, почему Дороти еще не дома, в шоке обнаруживает, что прошло меньше получаса.

Он склоняет голову и сосредотачивается на

---

[52] Примечания: 52
Коринфянам 15:51–52.

странице. Статья разжигает волнение. Должны ли деревья иметь права? В этот же день в прошлом месяце ему принесло бы огромное удовольствие испытать на прочность этот хитроумный аргумент. Чем можно владеть и кто может владеть? Что дает *права* — и почему их на всей планете могут иметь только люди?

Но сегодня слова плывут перед глазами. Восемь тридцать семь. Все, что принадлежало ему, рухнуло, а он даже не понял почему, что вызвало катастрофу. Ужасная логика статьи сводит его с ума. Дети, женщины, рабы, аборигены, больные, безумные и инвалиды: за века все немыслимо превратились в людей, по закону. Так почему же деревья, орлы, реки и живые горы не могут судить людей за кражу и бесчисленный ущерб? Эта идея — полный кошмар, смертельный танец правосудия, как тот, что он переживает сейчас, глядя, как отказывается двигаться секундная стрелка часов. Вся его карьера вплоть до этого момента — защита собственности тех, у кого есть право на рост, — начинает казаться сплошным военным преступлением, будто, случись революция, его за это посадят.

Предложение неизбежно прозвучит странно, пугающе или смехотворно. Отчасти потому,

что, пока бесправная вещь не получит права, мы не можем ее представить иначе как вещью для «нашего» пользования — тех, у кого права на данный момент есть.

Восемь сорок два — и Рэй в отчаянии. Теперь он готов на все — обмануть Дороти, сделать вид, что ни о чем не подозревает. Припадок безумия сойдет на нет. Лихорадка, превратившая ее в ту, кого он не узнает, прогорит, и Дороти снова станет здоровой. Стыд приведет ее в чувство, и она вспомнит все. Годы. Как они ездили в Италию. Как прыгали с самолета. Как она въехала на машине в дерево, читая его письмо на годовщину, и чуть не погибла. Любительский театр. То, что они посадили вместе на своем дворе.

Сказать, что ручьи и леса не имеют прав, потому что ручьи и леса не могут говорить, — не ответ. Не могут говорить и корпорации; не могут штаты, фонды, младенцы, недееспособные, муниципалитеты или университеты. За них говорят юристы.

Главное — она никогда не должна понять, что он знает. Нужно быть жизнерадостным, остроумным, веселым. Стоит ей заподозрить, как это погубит их обоих. Она сможет жить с чем угодно, но только не с прощением.

Но молчание его убивает. Он никогда бы не сыграл никого, кроме честного Макдуфа. Восемь сорок восемь. Он пытается сконцентрироваться. Вечер растягивается, как два пожизненных срока. У него есть только статья для компании и мучения.

Что нам дает потребность не просто удовлетворять базовые биологические желания, но и насаждать свою волю среди других, объектифицировать их, делать нашими, манипулировать ими, держать на психологической дистанции?

Пальцы листают статью. Он не может уследить, не может решить, шедевр это или мусор. Распадается все его «я». Все права и привилегии, все, чем он обладает. Великий дар, принадлежавший ему с рождения, отняли. Это грандиозный, роскошный самообман, неприкрытая ложь — та претензия Канта: «Животные существуют только как средства, не сознающие собственной самости, а человек является целью»[53].

КОГДА ОНА ЕДЕТ ДОМОЙ, прорывается отвращение. Но даже оно похоже на свободу. Если человек в силах видеть худшее в себе… Если человек в силах найти полную честность, полное

---

[53] Примечания: 53
Пер. А. Судакова и В. Крыловой.

знание о том, кто он есть на самом деле… Теперь, насытившись, Дороти снова хочет чистоты. На светофоре она смотрит в зеркало заднего вида и замечает, что прячет глаза от собственного скрытного взгляда. Думает: «Я прекращу. Верну жизнь обратно. Порядочность. Необязательно заканчивать все синим пламенем». Скорый концерт поглотит всю ее избыточную энергию. Потом она найдет еще какое-нибудь занятие. Чтобы оставаться в своем уме и не отрываться от реальности.

К Лексингтон, в десяти кварталах от дома, она уже планирует еще одну дозу. Последнюю, чтобы напомнить себе, каково это — нестись на лыжах по горному континенту. Она не будет ничтожной. У нее будет зависимость без всяких жалких решений с ней покончить. Она не знает, у чего именно зависимость — у тела или у воли. Только знает, что пойдет за собой до самого падения, чего бы это ни стоило. Сворачивая к лиственному каньону их улицы, она уже снова спокойна.

ДОРОТИ ВХОДИТ РОЗОВАЯ С ХОЛОДА. Шарф парит за ней, когда она закрывает дверь. Из рук выпадает «Реквием». Она наклоняется за ним, а когда выпрямляется, их взгляды сталкиваются, признаваясь во всем. Испуг, дерзость, мольба,

наглость. Желание снова быть как дома, со старым другом.

— Эй! Ты не сдвинулся с места.

— Хорошая репетиция?

— Лучшая!

— Рад. Что ты пела?

Она подходит к его креслу. Что-нибудь из их старого ритма. Она обнимает его — Ziemlich langsam und mit Ausdruck.[54] Не успевает он встать, как она уже ускользает на кухню, чувствует, как от нее словно пахнет солью и отбеливателем.

— Я ненадолго в душ и спать.

Она умная, но у нее никогда не хватало терпения на очевидное. Вдобавок она не считает Рэя способным на простые наблюдения. Дороти моется двадцать минут, после чего выходит петь своего Брамса.

В ПОСТЕЛИ, В ПИЖАМЕ С ПАВЛИНАМИ, ошпаренная и обновленная после горячих брызг, она спрашивает:

— Как чтение?

Он не сразу вспоминает, что читал весь вечер. «Требуется миф…»

— Трудно. Я постоянно отвлекался.

---

[54] Примечания: 54
Довольно медленно и с выражением *(нем.)*.

— Хм-м. — Она переворачивается на бок лицом к нему, с закрытыми глазами. — Расскажи.

Не думаю, что придется долго ждать, когда мы начнем считать Землю, как многие уже предлагали, единым организмом, а человечество — его функциональной частью: возможно, разумом.

— Он хочет дать права всему живому. Автор заявляет, что если платить деревьям за их изобретения, то выиграет весь мир. Если он прав, тогда вся наша социальная система… все, ради чего я работал…

Но ее дыхание уже изменилось, она уплывает, как новорожденный после дня первых открытий.

Он гасит прикроватный свет и отворачивается. Но Дороти бормочет во сне и цепляется за него, прижимается к спине из-за тепла, что он генерирует. Ее голые руки — на его: женщина, в которую он влюбился. На ком женился. Смешная, маниакальная, дикая, неприрученная леди Макбет. Любительница огромных романов. Прыжков с парашютами. Лучшая актриса-любитель, что он знал в жизни.



Хранитель и Адиантум — в чаще леса. Он тащит рюкзак с провизией. Она несет видеокамеру из лагеря; другой рукой вцепилась в его ладонь, как пловец-марафонец, повисший на шлюпке. Время от времени дергает его, направляя внимание на что-нибудь красочное или мелькающее у самых пределов их понимания.

Вчера они заночевали на стылой земле, открытые всем стихиям. Их заросший папоротником остров омывали моря грязи. Он лежал в одном спальнике, старом, с пятнами мочи, она — в другом, под созданиями доброты, капитальности и покоя.

— Не мерзнешь? — спросил он.

Она ответила, что нет. И он поверил.

— Не жестко?

— Не очень.

— Не страшно?

Ее глаза спросили: «Почему?» Губы ответили:

— А надо?

— Они такие большие. В «Гумбольдт Тимбер» работают сотни людей. Тысячи машин. Они принадлежат многомиллиардной многонациональной корпорации. Все законы — на их стороне, как и поддержка американского народа. Мы всего лишь кучка безработных вандалов на

походе в лесу.

Она улыбнулась ему, как маленькому ребенку, который спросил, могут ли китайцы прийти к ним по туннелю через Землю. Ее рука вызмеилась из спальника.

— Поверь. Мне все сказали. Случится что-то великое.

Ее рука оставалась между ними, как трос канатоходца, пока она засыпала.

ОНИ СПУСКАЮТСЯ ПО СЕРПАНТИНУ в далекий овраг, пока тропа не превращается в речку из грязи. Три мили — путь пропадает вообще, дальше только продираться через заросли. Свет просеивается сквозь полог. Хранитель смотрит, как она идет по ковру седмичника с щавелем. По ее словам, всего какие-то месяцы назад она была наглой, черствой, эгоистичной стервой с зависимостью, вылетела из колледжа. А теперь она — кто? Кто-то, примирившийся с тем, что он человек, — и в союзе с тем, что совсем не походит на людей.

Секвойи умеют странное. Они гудят. Они излучают дуги силы. Их кап приобретает волшебные формы. Оливия хватает Ника за плечо. «Только посмотри!» Двенадцать деревьев-апостолов стоят в идеальном кольце фейри, как маленький Никки

рисовал циркулем десятки лет назад, дождливыми воскресеньями. Через века после кончины своего пращура дюжина клонов окружает пустой центр, словно лимб картушки. В мозгу Ника мелькает химический сигнал: предположим, такой круг разработал бы человек. Одна эта работа стала бы вехой человеческого искусства.

Вдоль галечного ручья они выходят к поваленному гиганту, что даже на боку выше Оливии.

— Пришли. Мать Эн сказала, сразу направо. Сюда.

Он видит первым: роща стволов шестисотлетнего возраста, они идут наверх, исчезая вдали. Столпы коричневого кафедрального нефа. Деревья старше подвижных созданий. Но их борозды помечены спреем, белыми цифрами, словно кто-то вытатуировал на живой корове схему мясника, показывая разные отрезы мяса под шкурой. Приказ на убийство.

Оливия поднимает «Хэндикам» к лицу и снимает. Ник скидывает рюкзак, пару шагов парит невесомым. На свет показывается радуга баллончиков с краской. Он выкладывает их на полянке молодого хвоща: полдесятка цветов со всего спектра. С вишней в одной руке и лимоном — в другой он медленно подходит к помеченному дереву.

Разглядывает уже существующие белые штрихи. Потом поднимает банку и рисует.

Позже видео смонтируют, добавят закадровый голос, разошлют всем сочувствующим журналистам в адресной книге «Оборонительных сил жизни». А пока саундтрек — крики леса перемежаются благоговением — «Как ты это делаешь?» — вплотную к микрофону. Ник возвращается к палитре на лесном войлоке и берет еще два оттенка. Красит, затем отступает, чтобы оценить свою работу. Разновидности такие же дикие, как в любой витрине музеев. Он переходит к следующему дереву, осквернённому цифрами, и начинает заново. Уже скоро те не узнать — они превращаются в бабочек.

Он отправляется к стволам, помеченным простой синей галочкой. Они везде — эти смертные приговоры, сделанные одним росчерком. Потом раскрашивает деревья вообще без знаков, пока уже невозможно понять, какие стволы отобрали на вырубку, а какие — лишь свидетели. День исчезает; они слишком долго жили лесным временем, чтобы отмерять его какими-то часами. Работа кончается за секунду, в мгновение лукавого ока.

Оливия обводит камерой преображенную ро-

щу. Где были мерки и перспективы, проект голых цифр, теперь лишь толстоголовки и махаоны, морфиды, хвостатки и пяденицы. Это могла быть роща священных пихт в мексиканских горах, где самоцветные насекомые поколение за поколением проводят миграцию. Так два человека за день портят недельный труд оценщиков и землемеров.

На неотредактированной записи голос говорит:

— Они вернутся.

Он имеет в виду этих людей цифр — чтобы пометить выборку способом понадежнее.

— Но это красиво. И это будет им стоить денег.

— Может. Или просто придут лесорубы и заберут все, как в роще Маррелет.

— Теперь у нас есть пленка.

В музыке записанного голоса Оливии уверенность, что любовь еще решит трудности свободы. Потом пленка обрывается. Никто не видит, что происходит дальше между двумя людьми, на лесном войлоке, между зарослями папоротника и купены. Никто, если не считать несметных невидимых созданий, копающихся в почве, ползающих под корой, присевших в ветвях, карабкающихся, скачущих и порхающих в лист-

венном пологе. Даже деревья-великаны вдыхают пару молекул из того миллиарда, что остался рассеянным в воздухе, после того как Оливия и Ник вернулись домой.



ПАТРИЦИЯ СЛЫШИТ ЕГО за четверть мили. Пикап Денниса грохочет по гравийной стиральной доске. Ее это радует — радует раньше, чем она замечает, насколько. По-своему хруст и жужжание поднимают ей настроение не хуже хриплого чириканья пугливого лесного певуна, мелькающего на краю поляны. Пикап — сам по себе редкая фауна, хоть и появляется каждый день, как по часам.

Ее несет к дороге, и она чувствует, как нервничала эти последние двадцать минут. Он везет обед, да, и почту — ее непредсказуемый мешок связей с внешним миром. Новые данные из лаборатории в Корваллисе. Но Деннис: вот что теперь нужно ее душе. Он заземляет ее — как он слушает, — и она задумывается в радостном ужасе, не слишком ли это долго — двадцать два часа между встречами. Она подходит к остановившемуся

пикапу и вынуждена отступить, когда он открывает дверцу. Его широкая рука подхватывает ее за талию, лицо — уткнулось в шею.

— Ден. Мое любимое млекопитающее.

— Детка. Ты погоди, пока узнаешь, что мы едим.

Он вручает ей почту и забирает холодильник. Они поднимаются к хижине по склону, плечом к плечу, в молчаливом мире друг с другом.

Она сидит на веранде за столом-катушкой, перебирая почту, а он раскладывает обед. Как мастерское двуличие — «Важные сведения о вашей страховке. Открыть без промедления!» — находит ее даже здесь? Она десятками лет живет вдали от торговли, и все же ее имя — ходовой товар, без конца покупается и продается, пока она сидит в своей хижине и читает Торо. Она надеется, покупатели не переплачивают. Нет: надеется, что у них вытягивают все деньги.

Из Корваллиса — ничего, но есть папка от ее агента. Патриция кладет ее на деревянные доски рядом с тарелкой. Папка все еще там, когда Деннис выносит две маленькие и чудесно начиненные радужные форели.

— Все хорошо?

Она кивает и качает головой одновременно.

— Плохие новости, да?

— Нет. Не знаю. Не могу открыть.

Он раскладывает рыбу и берет папку.

— Это от *Джеки*. Чего тут бояться?

Она и не знает. Иски. Взыскания. Официальные дела. Открыть без промедления. Он вручает ей конверт и рубит ладонью воздух, укрепляя ее смелость.

— Ты мне на пользу, Деннис. — Она пропускает палец под запечатанный край — и вываливается сразу много всего. Отзывы. Почта фанатов. Письмо от Джеки с чеком на скрепке. Патриция смотрит на чек и вскрикивает. Бумажка падает на вечно сырую землю лицом вниз.

Деннис поднимает его и протирает. Присвистывает.

— Батюшки! — Смотрит на нее, задрав брови. — Ошиблись с запятой, не иначе?

— Сразу в двух местах!

Он смеется, его плечи трясутся так, словно он пытается завести свой древний пикап после ночи заморозков.

— Она же тебе говорила, что книга хорошо продается.

— Это ошибка. Нам надо их вернуть.

— Ты сделала хорошую вещь, Пэтти. Люди лю-

бят хорошее.

— Это невозможно…

— Не перевозбуждайся. Это не так уж и много.

Но ведь много. Больше, чем у нее лежало в банке за всю жизнь.

— Это не мои деньги.

— Что значит — не твои? Ты работала над книгой семь лет!

Она не слышит. Слушает ветер из ольховой рощи.

— Всегда можешь отдать. Выпиши чек на «Американские леса». А может, на ту программу по обратному скрещиванию каштанов. Можно вложить в исследовательскую команду. Брось. Ешь форель. Два часа ловил этих ребяток.

ПОСЛЕ ОБЕДА ОН ЧИТАЕТ ей рецензии. В радиобаритоне Денниса они почему-то звучат в целом неплохо. Благодарно. Люди говорят: «Я и не думал». Люди говорят: «Я начал многое замечать», Потом он читает письма читателей. Некоторые просто говорят «спасибо», другие путают ее с матерью всех деревьев. Из-за третьих она чувствует себя Подругой скорбящих. «У меня на дворе растет большой крупноплодный дуб, которому лет двести. Прошлой весной одна его сторона заболела. Сердце кровью обливается ви-

деть, как он умирает в замедленном движении. Что мне делать?»

Многие упоминают «щедрые деревья» — те древние пихты Дугласа, которые на последнем издыхании возвращают все свои вторичные метаболиты в сообщество.

— Слышала, детка? «Благодаря вам я задумался о жизни по-новому». Похоже на комплимент.

Патриция смеется, но звук больше напоминает о рыси в силке.

— О. Вот это уже что-то. Просьба выступить на самой прослушиваемой радиопередаче в стране. Там делают серию о будущем планеты и ищут того, кто расскажет о деревьях.

Она слышит его сверху, на пихте Дугласа посреди завывающей бури. Всюду — человеческая активность. Людям что-то от нее нужно. Люди с кем-то ее путают. Люди хотят ее насильно затащить в то, что ошибочно называют «миром».



МОИСЕЙ ПРИХОДИТ В ЛАГЕРЬ изнуренным. Всюду акции, за полнедели они потеряли тринадцать человек из-за арестов и задержаний.

— У нас есть пост на дереве, где нужна смена. Кто-нибудь хочет посидеть ненадолго?

Рука Адиантум вскидывается раньше, чем Хранитель понимает, о чем речь. Какое же выражение мелькает у нее на лице: «Да. Это. Наконец-то».

— Уверена? — спрашивает Моисей, словно только что не исполнил пророчества голосов света. — Это минимум на несколько дней.

СОБИРАЯСЬ, ОНА успокаивает Ника.

— Если думаешь, что сделаешь больше внизу… Я и сама справлюсь. Меня не посмеют тронуть. Подумай о прессе!

Он не будет в порядке, если только не рядом с ней. Вот так все просто, так смешно. Он не признается. Это так кричаще очевидно — даже в том, как он стоит рядом и кивает. Конечно, она знает. Она же слышит даже то, чего не видишь. Конечно, она слышит его колотящиеся мысли, шум крови в ушах, даже за бесконечным дождем.

ПЕРВЫМИ ЧЕРЕЗ ВОРОТА идут их рюкзаки. Следом — они: Адиантум, Хранитель и их провожатый Локи, уже неделями поддерживающий пост на этом дереве. Опускаются их ноги уже на территории «Гумбольдт Тимбер» — злоумышлен-

ное проникновение на частную собственность. Рюкзаки — тяжелые, тропинка — крутая. Недели постоянного дождя превратили землю в кофе по-турецки. Недели назад они бы и трех миль не прошли. Даже сейчас, на восьмой миле, Хранитель хватает воздух большими глотками. Ему стыдно, он отстает, чтобы она не слышала его одышку. Тропинка поднимается по слякотному валу. Вес рюкзака и всасывающая грязь тянут вниз, и вот уже каждый шаг — прыжок с шестом. Он останавливается перевести дыхание — и дождливый воздух свистит через него. Адиантум выше прет, как мифическая бестия. От покрытой иголками земли в ее ноги вливается сила. Каждый бросок в грязь обновляет ее. Она танцует.

В рюкзак Ника подваливает кирпичей трусость. Ему не хочется в тюрьму. Он не фанат высот. Лишь любовь ведет его по утесу. Адиантум заряжена потребностью спасти все живое.

Локи поднимает ладонь.

— Видите фонарик? Гриф и Искра. Они нас слышат, — он прикладывает руку к губам и ухает. В высоте леса снова сверкает свет, нетерпеливо. Это тоже вызывает у Локи смех. — Засранцам не терпится спуститься. Чувствуете?

Нику уже самому не терпится, а он еще не под-

нимался. Они плетутся последние сотни футов по колее. Из кустов возникает профиль — такой огромный, что спутать его невозможно.

— Вот и он, — ни к чему говорит Локи. — Вот и Мимас.

Изо рта Ника вырываются звуки — слоги, значащие примерно «О, безнадежный Иисусе». За недели он насмотрелся на чудовищ, но такого еще не видел. Мимас шире старой фермы его прапрапрадедушки. Здесь, когда их накрывает закат, ощущение первобытное — даршан, столкновение лицом к лицу с божественным. Ствол уходит прямо вверх, как дымоход, и отказывается останавливаться. Это мог бы быть и Иггдрасиль, Мировое древо с корнями в преисподней и кроной — в небесах. В семи футах от земли из широкого бока растет второй ствол — ветка больше Каштана Хёлов. Выше вырываются еще два. Весь ансамбль выглядит как какое-то упражнение по кладистике, Эволюционное Древо Жизни — великая идея, пускающая целые семейные деревья на протяжении долгого времени.

Хранитель добредает к глазеющей Адиантум, гадая, не поздно ли сбежать. Но даже в гаснущем свете ее лицо сияет от правого дела. Все возбуждение, что было такой важной ее частью с тех

пор, как она свернула на его гравийную дорожку в Айове, ушло, сменилось уверенностью чистой и болезненной, как у одинокой зовущей совы. Она раскидывает руки поверх борозд. Как блоха, готовая обнять свою собаку. Ее лицо приникает к титаническому стволу.

— Поверить не могу. Поверить не могу, что такую штуку можно защитить только нашими телами.

— Если никто не теряет деньги и физически не страдает, то закону наплевать, — говорит Локи.

В основании дерева между двумя огромными наплывами есть угольно-черное дупло, где сегодня могли бы заночевать все трое. Следы черной сажи взбегают ввысь — шрамы пожаров, горевших задолго до того, как появилась Америка. Прореха в нижней кроне напоминает об ударе молнии — таком недавнем, что еще сочится смола. А откуда-то сверху, из спутанной массы, невероятно далеко над землей, слышатся радостные крики двух уставших людей вне своей стихии, которые сегодня просто хотят в сухость, тепло и безопасность, на несколько часов.

К ним что-то скатывается. Хранитель вскрикивает и оттаскивает Адиантум подальше. На землю шлепается змея. Веревка болтается в возду-

хе — шириной с указательный палец Хранителя — перед шахтой шире его поля зрения.

— И что нам с этим делать? Привязать рюкзаки?

Локи посмеивается.

— Залезать.

Он достает сбрую, бухты узловатой веревки и карабины. Надевает ремень на пояс Хранителя.

— Погоди. Это что? Это скобки?

— Мы ей уже давно пользуемся. Не переживай. Твой вес придется не на скобки и скотч.

— Нет, мой вес придется на этот вот шнурок.

— Он выдерживал кое-что потяжелее тебя.

Между руганью вступает Оливия и берет ремни. Надевает себе на пояс. Локи застегивает ее карабины. Привязывает к тросу двумя узлами Прусика, один — для груди, а второй — для стремени.

— Видишь? Твой вес стягивает узлы на тросе, как кулачки. Но когда отпустишь… — Он поднимает один свободный узел по тросу. — Вставай в стремя. Подними грудной узел как можно выше. Откинься — и пусть он примет вес. Сиди в страховке. Подними стремя как можно выше. Потом встань на него. И повторяй.

Адиантум смеется.

— Как землемер?

В точности. Она меряет длину ствола. Встает. Откидывается и садится. Встает и снова двигается, взбирается по лестнице из воздуха, воздевая себя по самодвижущимся опорам с лица Земли. Хранитель стоит под ней, под сиденьем из штанов, пока она поднимается в небо. От чувства близости — ее тело корчится над ним — душа краснеет. Она, белка Рататоск, преодолевает Иггдрасиль, носит послания между адом, раем и нами.

— Да у нее талант, — говорит Локи. — Она летит. Доберется до верхушки за двадцать минут.

И добирается, хотя к этому времени у нее дрожат уже все мышцы. Сверху ее подъем встречают ликованием. На уровне земли Ника охватывает ревность, и, когда страховочные ремни снова падают, он вскакивает в них. Успевает подняться футов на тридцать, и тут начинает психовать. Веревка в принципе не может его выдержать. Она заворачивается и издает странный нейлоновый стон. Он выгибает шею посмотреть, сколько еще. Вечность. Потом делает ошибку — смотрит вниз. Локи вращается медленными кружками внизу. Его лицо смотрит вверх, как крошечный тихоокеанский седмичник под ботинком. Мышцы

Хранителя уступают панике. Он закрывает глаза и шепчет: «Я не могу. Я труп». Чувствует, как по ногам бежит приближение земли, бесконечное падение. Из горла в ветровку срывается рвота.

Но Оливия говорит — прямо над ухом. «Ник. Ты это уже делал. Несколько недель. Я все видела. Рука, — говорит она. — Нога. Поднять узел. Встать». Он открывает глаза, перед ним ствол Мимаса — самого большого, сильного, широкого, старого, надежного, разумного и живого существа, что он видел. Хранитель полумиллиона дней и ночей — и он хочет принять Ника в своей кроне.

Сверху доносятся приветственные крики. Люди над ним привязывают его двумя зажимами к дереву. Оливия скачет по платформам, соединенным веревочной лестницей. Гриф и Искра давно рассказали ей о каждом пункте договора сдачи. Теперь они мечтают лишь оказаться на земле, пока их не застала ночь. Они спускаются по веревке к Локи, тот кричит в наползающей тьме:

— Через несколько дней придет ваша смена. Вам надо только продержаться до тех пор на плаву.

А ПОТОМ НИК ОСТАЕТСЯ НАЕДИНЕ с этой девушкой, принявшей на себя всю его жизнь. Она берет его за руку, так и не разжавшуюся после

троса.

— Ник. Мы здесь. На Мимасе.

Она произносит имя создания, словно это ее старый друг. Словно она уже давно с ним беседует. Они сидят бок о бок в расцарапанной хвоей тьме, на высоте в двести футов, в месте, что Гриф и Искра называли Бальным залом: платформе семь на девять футов, из трех прибитых вместе дверей. С трех сторон их укрывают раздвигающиеся брезентовые стенки.

— Больше моей комнаты в общаге, — говорит Оливия. — И лучше.

На ветке ниже, куда можно добраться по веревочной лестнице, балансирует фанерка поменьше. Ванная укомплектована дождевой бочкой, банкой и ведром с крышкой. В шести футах над ними два сука держат существенную библиотеку, оставленную прошлыми сидельцами. Весь трехэтажный домик на дереве покачивается на огромной развилке на месте удара молнии многовековой давности. Он сообщает о каждом ветерке.

Ее лицо освещает керосиновая лампа. Он никогда не видел на нем такую убежденность.

— Иди сюда, — она берет его за руку и ведет к себе. — Сюда. Ближе.

Словно тут может быть дальше. И она берет его, как человек, уверенный, что нужен жизни.

В НОЧИ ЕГО ЛИЦА КАСАЕТСЯ что-то мягкое и теплое. Ее рука, думает Хранитель, или волосы от того, что она наклонилась над ним. Даже медленная баркарола спальника, вызывающая морскую болезнь, и то блаженство — тесный уголок любви. В щеку впивается коготь — и суккуб издает вопль фальцетом. Хранитель вскакивает с криком «Черт!» Отшатывается к краю платформы, но его подхватывает страховочный трос. Одна ладонь бьет по фантазии брезентовых стенок. С веток с визгом вспархивают какие-то существа.

Вмиг она рядом, зажимает его руки.

— Ник. Хватит. *Ник!* Все хорошо.

Опасность разлетается вдребезги. В ливне стрекота он не сразу слышит, что она твердит.

— Белки-летяги. Они над нами играют уже десять минут.

— Господи! Почему?

Адиантум смеется, гладит его и притягивает обратно в горизонтальное положение.

— Это ты их спроси. Если они еще вернутся.

Она прижимается к нему, живот — на его копчике. Сон нейдет. Есть существа, которые живут так высоко и далеко от человека, что не ведают

страха. И — спасибо безумию в его клетках — сегодня, в свою самую первую ночь на самом первом древесном посту — Ник их ему научил.

СВЕТ СОБИРАЕТСЯ НА ЛИЦЕ пятнистыми пригоршнями. Он почти не спал, но встает свежим — так, как обычно полагается трудолюбивым. Перекатывается на бок и поднимает брезент. Внутрь струится весь спектр цветов, от синего до бурого, от зеленого до абсурдно-золотого.

— *Ты только посмотри!*

— Чего, — выдыхает в его ухо ее голос, сонный, но заинтересованный. — О господи.

И они смотрят вместе — топографы-канатоходцы ново-открытых краев. Вид надламывает его грудь. Облако, гора, Мировое древо и туман — все переплетено, насыщенная стабильность творения, что и придает силу словам, — лишают его разума и дара речи. Из основной магистрали Мимаса растут повторяющиеся стволы, выстреливают параллельно, как пальцы на поднятой руке Будды, воссоздавая материнское древо в меньшем масштабе, снова и снова повторяя врожденную форму, ветки сталкиваются друг с другом — слишком запутанные и сплавленные воедино, чтобы отследить.

Туман окутал лиственный полог. В просвете

кроны Мимаса стоят замотанные марлей китайского пейзажа ватные шпили ближайших деревьев. В сероватых клоках больше твердости, чем в протыкающих их серо-коричневых шипах. Всюду раскинулась фантасмагорическая, ордовикская сказка. Утро, как то время, когда жизнь впервые вышла на сушу.

Хранитель откидывает другую брезентовую стенку вдоль веревки и поднимает взгляд. Выше разворачиваются еще десятки ярдов Мимаса — стволы, что продолжили путь, когда молния покалечила этот. Верхушка сплетенной системы пропадает в низком облаке. Всюду — грибок и лишайник, как кляксы краски из небесного баллончика. Хранитель и Адиантум сидят почти на высоте Флэтайрон-билдинг. Он опускает взгляд. Земля — кукольный пейзаж, что может собрать из желудей и веточек девочка.

Ноги холодеют при мысли о падении. Он опускает брезент. Адиантум смотрит на него — безумие в карих глазах изливается не хуже хохота.

— Мы здесь. Мы справились. Вот где мы должны быть, так они хотят.

Она выглядит так, словно призвана помочь самому чудесному итогу четырех миллиардов лет жизни.

Тут и там над хором великанов поднимаются одиночные шпили. Они похожи на зеленые грозовые тучи — или ракетные шлейфы. Снизу самые высокие соседи кажутся ладанными кипарисами среднего размера. Только сейчас, в где-то семидесяти ярдах над землей, Николас оценил истинный размер немногих стариков — в пять раз больше крупнейшего кита. Великаны маршируют в овраг, откуда они втроем выкарабкались вчера ночью. На среднем плане лес расширяется в более густую и глубокую синеву. Ник читал об этих деревьях и их тумане. Со всех сторон деревья лижут низкое сырое небо, тучи, что сами и помогли засеять. Мотки воздушных иголок— узлистей и заскорузлей, совсем не те гладкие побеги, что растут на земле, — пьют туманы, конденсируют водяные пары и сливают по стокам веток и сучьев. Ник бросает взгляд наверх, на кухню, где вовсю трудится их собственная система сбора воды, скатываются в бутылку капли. Что поразило его изобретательностью вчера ночью — вода из воздуха, — кажется примитивным в сравнении с воображением дерева.

Николас смотрит драму, словно листая бесконечную книгу с картинками. Пейзаж разворачивается хребет за хребтом. Глаза привыкают к

барочному изобилию. В тумане купаются леса пяти разных оттенков, каждый — биом еще неоткрытых существ. И каждое дерево принадлежит техасскому финансисту, в жизни не видевшему секвойю, но решившему выпотрошить их все для уплаты долга, который взял, чтобы их приобрести.

Изменение тепла рядом напоминает Хранителю: он не единственное большое позвоночное в этом гнезде.

— Если не перестану смотреть, описаюсь.

Он наблюдает, как Оливия спускается по веревочной лестнице на нижнюю платформу. Думает: «Надо бы отвернуться». Но он живет на дереве в двухстах футах над поверхностью планеты. Белки-летяги изучали его лицо. Туманы из детства мира повернули время на эпохи вспять — и он чувствует, как становится другим видом.

Она приседает над широким кувшином, из нее шумит ручей. Он в жизни не видел, как мочатся женщины — это же может на смертном одре повторить немалое число всех живших на свете мужчин. Ритуальное сокрытие вдруг кажется каким-то странным животным поведением, хоть показывай по Би-би-си в документалке о диких животных — как рыба, меняющая пол по необ-

ходимости, или пауки, пожирающие партнеров после спаривания. Он слышит, как почитаемое Британское Произношение шепчет за кадром: «Вдали от своих отдельные люди могут меняться удивительным образом».

Она знает, что он смотрит. Он понимает, что она знает. Грубо, здесь и сейчас: вот какая культура подходит к этому месту. Закончив, она опрокидывает кувшин над краем платформы. Ветер подхватывает и развеивает жидкость. Пять ярдов — и ее моча атомизируется в туман. Иголки снова переделают ее во что-то живое.

— Моя очередь, — говорит он, когда она возвращается. И тогда уже она наблюдает сверху, как он приседает над проложенным пакетами ведром, что они отдадут Локи на компост, когда он придет в следующий раз.

Завтракают на свежем воздухе. Замерзшие пальцы вкладывают фундук и курагу в челюсти, отпавшие от такого вида. Неподвижно сидеть и смотреть: их новая работа. Но они люди, и скоро глаза переполняются до отказа. «Давай исследовать», — говорит она. Главные тропы от Бального зала выстелены скобами и шлямбурами, веревочными лестницами, местами, куда пристегивается карабин. Она отдает сбрую. Потом сама делает

себе такую же из трех нейлоновых тросов.

— Босыми. Так лучше прилипаешь.

Он болтается над колыхающейся веткой. Налетает ветер — и вся крона Мимаса кренится и качается. Он умрет. Упадет с двадцатого этажа на ложе из папоротников. Но Хранитель свыкается с этой мыслью — есть способы уйти и похуже.

Они расходятся в разных направлениях. Нет смысла страховать друг друга. Он пробирается по ветке шириной с бочонок, на тросе, на своем кресле из штанов. От расцарапанной ветви веет лимонами. Из нее растет сук — на нем гроздь шишек, каждая меньше детского мраморного шарика. Он срывает одну и стучит по открытой ладони. Семена сыплются, как перец грубого помола. Одно западает за его трос. Из такой мелочи выросло дерево, что сейчас держит его в двухстах футах от земли, не напрягаясь. Эта крепостная башня, где может заночевать целая деревня и еще место останется.

Она окликает сверху:

— Черника! Целая поляна.

Роятся жуки — переливающиеся, пестрые, миниатюрные монстры из ужастиков. Он пробирается к странной развилке, стараясь не смотреть вниз. Две огромные балки за столетия слились

вместе, как ваяльная глина. Он хватается за верх пригорка — и обнаруживает, что тот полый. Внутри — маленькое озерцо. Вдоль кромки растет зелень, пестрая от мелких ракообразных. Что-то движется в мели, переливаясь каштановым, бронзовым, черным и желтым. Проходят секунды, прежде чем Ник выдавливает слово: саламандра. Как ищущее сырости создание с лапками длиной в пару дюймов взобралось на две трети футбольного поля по сухой волокнистой коре? Может, ее сюда занесла птица, выронив ужин в полог. Вряд ли. Грудь скользкого создания еще ходит. Единственное правдоподобное объяснение — его предки поднялись на борт тысячу лет назад и поднимались на лифте целых пять сотен поколений.

Ник крадется, как пришел. Сидит в углу Бального зала, когда возвращается Адиантум. Она уже сбросила страховочную пуповину.

— В жизни не поверишь, что я нашла. Шестифутовый болиголов — растет в почве вот такой толщины!

— Господи боже. *Оливия*. Свободным скалолазанием занимаешься?

— Не волнуйся. В детстве я часто лазила по деревьям. — Она его целует — быстрый предва-

рительный клевок. — И чтобы ты знал. Мимас говорит, что не даст нам упасть.

ОН РИСУЕТ ЕЕ, пока она записывает утренние открытия в блокнот на кольцах. Ему муштра одиночества дается куда проще, чем ей. После многих лет на ферме в Айове день на вершине этого левиафана — что недолгая прогулка. Она же в своем химическом костяке все еще студентка, подсевшая на такой уровень раздражителей в секунду, что ей еще не надоело. Туман выгорает. Глубоко в просторе середины дня она спрашивает:

— Как по-твоему, который час?

Она скорее озадачена, чем взбудоражена. Солнце еще не прошло над головой — и все же они двое намного старше, чем были в это же время вчера. Он отрывается от набросков местного лабиринта веток и качает головой. Она хихикает.

— Ну ладно. А какой *день?*

И вскоре полдень, полчаса, минута, полфразы или полсловечка — все кажутся на один размер. Они исчезают в ритме полного безритмия. Уже перейти шестифутовую платформу — национальный эпос. Проходит еще время. Десятая часть вечности. Две десятых. Когда Адиантум заговаривает вновь, его сокрушает мягкость ее голоса.

— Я и не знала, какой это сильный наркотик

— другие люди.

— Сильнейший. По крайней мере, им чаще всего злоупотребляют.

— И сколько времени… идет детокс?

Он задумывается.

— С него еще никто не слез.

* * *

ОН РИСУЕТ ЕЕ, пока она готовит обед. Пока дремлет. Умасливает птиц или играет с мышью на высоте в двести футов. Ее попытки замедлиться для него смотрятся человеческой сагой в зародыше, в секвойном семени. Он зарисовывает овраг, полный секвой и других разбросанных великанов, что высятся над братьями меньшими. Потом откладывает альбом, чтобы лучше разглядеть меняющийся свет.

— ТЫ ИХ СЛЫШИШЬ? — спрашивает он. Далекое гудение, систематическое и профессиональное. Пилы и двигатели.

— Да. Они повсюду.

С каждым павшим гигантом бригады все ближе. Деревья со стволами по десять футов в обхвате, которые жили девятьсот лет, падают за двадцать минут и раскряжевываются еще за

час. Когда рушатся крупные, даже на расстоянии кажется, будто артиллерийский снаряд попал в собор. Земля разжижается. Платформа на Мимасе содрогается. Самые большие деревья в мире припасены на последний раунд.

В ГАМАКЕ-БИБЛИОТЕКЕ Адиантум находит книгу. «Тайный лес». На обложке — доисторический тис, над землей и под ней. На задней стороне надпись: «Бестселлер-сюрприз года — переведен на 23 языка».

— Хочешь, я тебе почитаю?

Она читает, будто декламирует долгий товарный поезд строф из «Листьев травы», который задали зазубрить всему десятому классу.

«Вы и дерево на вашем дворе произошли от общего предка».

Адиантум прерывается и выглядывает за прозрачную стену их древесного дома.

«Полтора миллиарда лет назад вы расстались».

Она снова замолчала, словно подсчитывая.

«Но даже сейчас, после невероятного путешествия по совершенно разным дорогам, вас по-прежнему объединяет четверть общих генов».

И вот так, подстраиваясь под ветер авторской мысли, они пробираются через четыре страницы,

пока не начинает смеркаться. Снова едят при свете свечи — быстрорастворимый суп в двух чашках воды, согретых на походной плитке. Когда заканчивают с ужином, уже правит тьма. Двигатели лесорубов заглохли, сменившись тысячей призрачных зовов ночи, которые пара не может расшифровать.

— Надо поберечь свечку, — говорит она.

— Надо.

До сна еще часы. Они лежат на длинной раскачивающейся платформе своей обязанности, болтают в потемках. Наверху угроз нет, кроме самой древней. Когда дует ветер, кажется, будто они пересекают Тихий океан на самодельном плоту. Когда ветер не дует, неподвижность зависает между двумя вечностями — целиком препорученная «Здесь и сейчас».

В темноте Адиантум спрашивает:

— О чем думаешь?

Хранитель думает, что в этот самый день его жизнь достигла зенита. Что он увидел все, что хотел. Дожил со своего счастья.

— Я думал, что сегодня ночью опять похолодает. Может, пристегнуть спальники друг к другу.

— Я за.

Над ними катится каждая звезда в галактике

— за черно-синими иголками, в реке пролитого молока. Ночное небо — самый лучший наркотик, пока люди не придумали что-то покрепче.

Они пристегивают спальники друг к другу.

— Знаешь, — говорит она, — если упадет один, упадет и второй.

— Я последую за тобой куда угодно.

ОНИ ПРОСЫПАЮТСЯ ДО СВЕТА — от шума двигателей глубоко под ними.



Штраф за незаконное собрание обходится Мими в триста долларов. Не так уж и плохо. Зимняя куртка стоила вдвое дороже, а удовольствия принесла вдвое меньше. Слухи об аресте расходятся на работе. Но ее начальники — инженеры. Если она может сдавать проекты по формовке в срок, компании плевать, пусть хоть из тюрьмы работает. Когда тысяча протестующих идут маршем с плакатами на Лесную службу в Салеме, требуя реформы процесса одобрения в лесозаготовке, Мими и Дуглас присоединяются к ним.

Рано утром в апрельскую субботу они едут в Коуст-Рэндж. Дуглас берет выходной в магазине

хозтоваров, где он устроился. Утро бесподобное, небо остывает от закатно-розоватого до лазурного, пока они направляются на юг, слушая гранж и новости дня. В рюкзаке на заднем сиденье — чистые и дешевые очки для плавания, футболки, чтобы завернуть носы и рты, и модифицированные бутылки для воды. А еще стальные двузвенные наручники, как у полиции, цепи и пара велосипедных замков. Это гонка вооружений. Протестующие начинают верить, что у них бюджет даже больше, чем у полиции, которую финансируют общественность, считающая, что налоги — воровство, а вот отдавать народные леса на вырубку — нет.

Они сворачивают в тупик, к лагерю протестующих. Дуглас окидывает взглядом стоящие машины.

— И ни одного телефургона. Ни одного.

Мими чертыхается.

— Ладно, без паники. Наверняка из газет приехали.

С фотографиями.

— Никого с телика — считай, ничего и не случилось.

— Еще рано. Может, едут.

Дальше по дороге поднимается крик — шум

стадиона после гола. За деревьями друг перед другом стоят две армии. Крики, свалка. Потом — перетягивание чьей-то куртки. Опоздавшие переглядывается между собой и срываются на бег. Оказываются у стычки на поляне в голом лесу. Там будто итальянский цирк. Двойное кольцо протестующих окружило гусеничного монстра «Кат С7», с краном поверх всех голов, будто это динозавр с длинной шеей. Вокруг анархии — лесорубы и распильщики. В воздухе разлита особая ярость — все из-за того, насколько далеко этот лесистый холм от ближайшего города.

Мими и Дуг трусцой преодолевают склон. При звуке рева цепной пилы она тянет его за рукав. За одной машиной взревывает другая. Скоро по лесу орет целый хор бензопил. Лесорубы лениво, лаконично помахивают инструментами. Жнецы с косами.

Дуглас останавливается.

— Они на хрен с ума посходили?

— Это фарс. Никто не порежет безоружного человека. — Но не успевает Мими договорить, как водитель погрузчика с двумя прикованными к машине женщинами заводит двигатель и тащит их по земле. Люди кричат, не могут поверить глазам.

Лесорубы поворачиваются к захваченному «Катерпиллару». Принимаются за рощу больших пихт, грозя обрушить стволы в прикованную толпу. Дуг что-то бормочет под нос и срывается с места. Не успевает Мими отреагировать, как он уже с рюкзаком несется к месту действия. Барахтается в сутолоке, как сеттер, рвущийся через прибой, мечется среди протестующих, хватая за плечо то одного, то другого. Показывает на вальщиков, подступающих к пихтам.

— Давайте туда как можно больше людей.

— Где, блин, полиция? — кричит кто-то. — Когда мы побеждаем, они тут как тут.

— Ну все, — рявкает Дуглас. — Через десять минут эти деревья будут историей. Шевелитесь!

Не успевает Мими его догнать, как он мчится к пихте с такой низкой юбкой ветвей, что на нее можно заскочить. После этого сучья для него все равно что лестница на шесть футов. Два десятка поникших протестующих оживляются и следуют его примеру. Лесорубы видят, что происходит по флангам. Начинают погоню, насколько им позволяют шипастые бутсы.

Первые протестующие уже карабкаются в кроны. Мими находит глазами пихту, куда может забраться даже она. Она в двадцати футах от

ствола, как тут ее по ногам бьет что-то свирепое. Она падает ничком в куст заманихи. Плечо отскакивает от покрытого лишайником булыжника. На ее ноги приземляется что-то тяжелое. Дуглас на своем дереве, вопит тому, кто ее повалил:

— Господи, я тебя убью! Оторву твою дурную башку. Сидящий на ногах Мими отвечает, растягивая гласные: — Но только для этого придется сперва слезть, а?

Мими сплевывает грязь. Противник надавливает голенями на ее бедра. Она, вопреки себе, вскрикивает. Дуглас спешит вниз по веткам.

— Нет! — кричит она. — Останься!

На земле лежат и другие поваленные демонстранты. Но кое-кто добрался до деревьев и заскочил на ветки. Там они в безопасности. Ботинки выигрывают у вытянутых пальцев.

— Слезь с меня, — стонет Мими.

Прижавший ее лесоруб колеблется. Их-то меньше, а он тратит силы, удерживая такую маленькую азиатку, что она и на куст с трудом залезет.

— Обещай, что не встанешь.

Ее поражают такие приличия.

— Если бы *твоя* компания сдерживала обещания, нас бы здесь не было.

— Обещай.

Всего лишь хлипкие клятвы, сковывающие все живое. Она обещает. Лесоруб вскакивает и присоединяется к своей стороне, вставшей в тупик. Они собираются, пытаются спасти ситуацию. Срубить пихту, не убив кого-нибудь, не получится.

Мими бросает взгляд на Дугласа. Она уже видела это дерево. Но узнает далеко не сразу: оно было за третьим архатом на свитке ее отца. Лесорубы снова заводят пилы. Срезают кустарник, складывают его в местах падений перед пихтами. Один вальщик делает надрез на большом дереве. Мими наблюдает, слишком ошарашенная, чтобы кричать. Они собираются уронить его прямо через ветки пихты с протестующим. Ствол трещит, Мими вскрикивает. Зажмуривается от оглушительного грохота. Открывает глаза, когда поваленный кряж прорывается через рощу. Протестующий держится за свою мачту и стонет от ужаса.

Дуглас осыпает лесорубов проклятьями.

— Вы с ума посходили? Вы же могли его убить!

— Вы вторглись на чужую территорию! — кричит бригадир. Вальщики расчищают новое место падения. Кто-то приносит болторез и разрезает наручники протестующих у «Катерпиллара»,

будто подстригает кизил. По всей поляне завязываются драки; роскоши ненасилия конец. В вечнозеленой роще вальщик вонзает лезвие в масло очередной обреченной пихты, намереваясь обрушить ее в трех футах от дерева с другими протестующими. Крики почти теряются за шумом пил, совсем теряются для лесорубов в наушниках. Но они видят, что он размахивает руками, как сумасшедший, и задерживаются, пока перепуганная мишень не сползает на землю. По обоим фронтам — полноценный провал. Блокированные машины заревели. Девятеро из оставшихся сидельцев слезают с насестов. Лесорубы торжествующе размахивают пилами. Протестующие отступают, как олени от пожара.

Мими сидит, где обещала. Воздух за ней визжит. Она оглядывается на сверкающие мигалки и думает: «Кавалерия подоспела». Бронированный грузовик изрыгает двадцать полицейских в полной защите. Черные поликарбонатные шлемы с щитками. Кевларовые бронежилеты. Пуленепробиваемые ударопрочные полицейские щиты. Полиция проносится по поляне, сгоняет вместе посторонних, защелкивает браслеты на запястьях даже тех, у кого уже есть один отрезанный.

Мими поднимается. На ее плечо опускается

рука, прижимая обратно к земле. Она разворачивается навстречу копу — перепуганному и двадцатилетнему.

— Сидеть! И не двигаться.

— Я никуда и не собиралась.

— Еще раз вякнешь — пожалеешь. — Мимо трусцой пробегают трое субботних лесных воинов — обратно к дороге, своим машинам. Ребенок-полицейский кричит вслед: — Замерли и сели. Живо, живо, живо!

Они вздрагивают, разворачиваются и садятся. Ближайшие лесорубы ликуют. Малыш крутится на месте и бросается к другим протестующим, пытавшимся сбежать. Отряд рассеивается под деревьями. Занимают позиции парами под последними протестующими на ветках, постукивая им по ногам дубинками. Пятеро оставшихся сдаются — все, кроме Дугласа Павличека, который забирается еще выше. Достает из рюкзака свои наручники и закрывает одно запястье. Потом обхватывает ствол и защелкивает второе.

Мими хватается за голову.

— Дуглас. Спускайся. Все кончено.

— Не могу! — он трясет наручниками, запершими его в объятиях дерева. — Придется сидеть, пока не приедет телевидение.

Озверевший отказник отбрыкивается от лестниц, которые полиция приставляет к пихте. От одной — так атлетично, что смеются даже лесорубы. Но уже скоро под ним четверо полицейских. Прикованный Дуглас не может сдвинуться. Полиция тянется болторезами, чтобы отхватить цепь. Он прижимает цепь к стволу. Лесорубы передают полиции топорики. Но Дуглас сплетает пальцы поверх цепи. Выше его пояса полиция залезть не может. Быстро посовещавшись, они режут его штаны большими ножницами. Двое хватают за ноги. Третий прорезает рваную джинсу до промежности.

Мими смотрит во все глаза. Она никогда не видела голые бедра Дугласа. Думала все эти месяцы, увидит ли. Его страсть читается так же открыто, как удивление, когда они делят между собой холодный шоколадный шейк. Но он лишь раз положил ей руку на затылок и на большее не решался. Почему — непонятно. Мими решила, что во всем виновата какая-то военная рана. Теперь она смотрит, как его раздевают на глазах у ошарашенной толпы. Нога открыта воздуху, костлявая и белая, почти безволосая — морщинистые бедра мужчины куда старше Мими. Потом — другая нога, и вот джинсы повисают на поясе

рваным стягом. В ход идет перцовый баллончик — смесь капсаицина с газом «Сирень».

Люди кричат:

— Он же прикован к месту. Он не может сдвинуться!

— Чего вы от него хотите?

Полицейский подносит баллончик Дугласу между ног и нажимает на кнопку. Член и яйца охватывает жидкое пламя — коктейль, равный нескольким миллионам сковиллей. Дуглас висит, болтается на наручниках, дышит мелкими глотками:

— Ч, ч, черт…

— Вашу ж мать. Он не может сдвинуться. Отстаньте от него!

Мими разворачивается посмотреть, кто кричит. Лесоруб, низкий и бородатый, как разгневанный гном из книжки братьев Гримм.

— Сними наручники, — приказывает полицейский. Слова закупоривают рот Дугласа. Не выходит ничего, кроме такого низкого стона, как в первые полсекунды воздушной тревоги. Полицейские брызжут снова. Мирно сидевшие протестующие начинают бунтовать. Мими в ярости вскакивает. Кричит то, что через час даже не вспомнит. Вокруг нее встают остальные. Собира-

ются у дерева пленника. Полиция расталкивает их обратно. Дугласу снова поливают промежность. Он стонет еще выше.

— Сними наручники — и можешь спуститься. Все просто.

Он пытается что-то выговорить. Внизу кто-то кричит.

— Да дайте ему сказать, вы, животные!

Полицейский придвигается и разбирает шепот:

— Я уронил ключ.

Дугласа срезают и спускают с дерева, как Иисуса с креста. Мими к нему не подпускают.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ИХ ВСЕХ ПРИНЯЛИ в отделении, она везет его домой. Пытается отмыть — всеми успокаивающими средствами, какие может найти. Но его мясо — дрожащий лосось, он стесняется его показывать.

— Со мной все будет хорошо. — Он лежит в постели, читает слова с потолка. — Со мной все будет хорошо.

Она проверяет каждое утро. Оранжевый цвет кожи не сходит еще неделю.



ПРИБЫЛЬ ОТ «ГОСПОДСТВА 2» больше ежегодных доходов целых штатов. «Господство 3» появляется, как раз когда устаревает его предок. В новый мир вливаются люди с шести континентов — первопроходцы, паломники, фермеры, шахтеры, воины, жрецы. Они образуют гильдии и консорциумы. Они строят такие здания и создают такие товары, каких не ожидали даже программисты.

«Господство 4» — в 3D. Это монументальное начинание, компания чуть не надрывается, привлекая в два раза больше программистов и художников, чем для его родителя. Предлагается разрешение в четыре раза выше, игровая область в десять раз больше, еще с десяток квестов. Тридцать шесть новых технологий. Шесть новых ресурсов. Три новых культуры. Больше чудес света и шедевров, чем человек может исследовать за годы игры. Скорости процессоров постоянно удваиваются, но лучшие игровые компьютеры еще месяцами кряхтят от игры на пределе.

Все так, как много лет назад предсказывал Нилай. Появляются браузеры — очередной гвоздь в крышку гроба времени и пространства. Щелчок — и ты в ЦЕРНе. Еще один — слушаешь андеграунд в Санта-Крузе. Еще — и читаешь газету в МТИ.

На начало второго года — пятьдесят больших серверов, а на конец — пятьсот. Сайты, поисковые системы, шлюзы. Выдохшиеся, переполненные города индустриализованной планеты воплотили сеть в жизнь — и как раз вовремя: она — мессия из евангелия о бесконечном росте. Сеть становится из невообразимой незаменимой, сплетает весь мир за полтора года. «Господство» не отстает, выходит онлайн — и еще миллион одиноких мальчишек эмигрируют в новую и улучшенную Небывалию.

Дни самообеспечения окончены. Игры разрастаются; вступают в ряды элитных товаров мира. «Господство 5» превосходит целые операционные системы своей сложностью и числом строчек кода. Лучшие ИИ в нем умнее прошлогодних межпланетных спутников. Кнопка «Играть» становится двигателем человеческого роста.

Но все это мало что значит для Нилая в квартире над головным офисом компании. Комната трещит по швам от экранов и модемов, мигающих, как на Рождество. Электроника варьируется от модулей размером со спичечный коробок до шкафов выше человеческого роста. И каждое устройство, как говорил пророк, неотличимо от магии. Такие чудеса не могла предсказать и

самая дикая фантастика времен детства Нилая. И все же с каждым удваиванием технических характеристик в нем удваивается нетерпение. Он алчет как никогда — еще одного прорыва, следующего, чего-то простого и элегантного, что снова изменит все. Он навещает деревья-оракулы в марсианском ботаническом саду, спрашивает их, что будет дальше. Но те молчат.

Его мучают пролежни. Из-за все более хрупких костей опасно выходить за порог. Два месяца назад он ударился ногой, залезая в ванную: такая опасность всегда есть, когда не чувствуешь собственные конечности. Руки все в синяках от постельного поручня, о который Нилай бьется, когда встает и ложится. Он привык есть, работать и спать в кресле. Больше всего на свете — даже свою компанию променял бы — ему хочется посидеть у озера в Высокой Сьерре, пройдя десять миль по тропе, и посмотреть, как клесты пикируют на ветки елей на опушке, извлекая семечки из шишек своими неправдоподобными клювами. Этого у него не будет никогда. Никогда. Теперь ему можно гулять только в «Господстве 6».

А там в его отсутствие процветают игровые колонии. Динамичные конкурирующие экономики. Города, где настоящие люди торгуют

и принимают законы. Творение во всей своей изощренной напрасности. За жизнь там выкладывают ежемесячную плату. Смелый шаг, но в игровом мире смелость несмертельна. Убиться можно, только если не прыгнешь.

Нилай уже не отличает покой от отчаяния. Часами сидит у панорамного окна, потом забрасывает эпическими требованиями разработчиков, желает все того же, о чем твердил уже годами:

> Нужно больше реализма… Больше жизни! Животные должны ходить и останавливаться, гулять и всматриваться, прямо как живые прообразы… Я хочу видеть, как волк приседает, как загорается зелень его глаз, словно изнутри. Я хочу видеть, как медведь ворошит муравейник когтями…
>
> Построим этот мир во всех подробностях из того, что снаружи. Настоящие саванны, настоящие леса умеренной зоны, настоящие болота. Братья ван Эйк вписали в Гентский алтарь 75 опознаваемых видов растений. Я хочу, чтобы в «Господстве 7» насчитывалось 750 видов симулированных растений, и каждое

— со своим поведением…

Пока он пишет, стучатся и входят работники с документами на подпись, спорами на его суд. В их лицах не видно ни отвращения, ни жалости к огромной трости, торчащей в кресле. Они к нему привыкли, эти молодые кибернавты. Они даже не замечают катетер, который опустошается в резервуар, висящий на раме кресла. Они знают, сколько Нилай стоит. Сегодня стоимость акций «Семпервиренс» втрое превысила прошлогодний выход на IPO. Этому дистрофику в кресле принадлежат двадцать три процента компании. Он их всех озолотил — а сам стал богаче величайших императоров игры.

Нилай отправляет новую служебную записку размером с целую брошюру, и тут на него находит тень. И тогда он делает то, что делает всегда в отчаянную минуту: звонит родителям. Трубку поднимает мать.

— О, Нилай. Я так, так за тебя рада!

— Я тоже рад, Moti. У вас все хорошо? — И тут не важно, что она ответит. Pita слишком много спит. Планируется поездка в Ахмедабад. Гараж захватили божьи коровки — очень пахучие. Может, она скоро радикально подстрижется. Нилай

упивается всем, о чем рассказывает мать. Жизнь во всех жалких подробностях, которые еще не влезают ни в какую симуляцию.

Но затем — убийственный вопрос, и в этот раз — так быстро:

— Нилай, мы тут все еще думаем, что тебе можно кого-то найти. В нашем сообществе.

Как они только не затаскали эту тему за годы. Затягивать в такую жизнь женщину — социальный садизм.

— Нет, Moti. Мы об этом уже говорили.

— Но, Нилай. — Он слышит в ее словах: «Ты же стоишь миллионы, десятки миллионов, а то и больше — даже своей матери не говоришь! Так в чем тут самопожертвование? Кто тут не научится любить?»

— Мам? Надо было тебе уже признаться. Есть одна женщина. Вообще-то моя сиделка. — Звучит вполне достоверно. Затишье на другом конце провода сокрушает его отчаянной надеждой. Нужно какое-то не вызывающее подозрений и успокаивающее имя, чтобы самому не забыть. Рули, Руту.

— Ее зовут Рупал.

Страшный вдох — и она плачет.

— О, Нилай. Я так, так за тебя рада!

— Я тоже, мама.

— Ты познаешь истинное счастье! Когда мы с ней встретимся?

Он удивляется, как его преступный разум не предусмотрел такую мелочь.

— Скоро. Не хочу ее спугнуть!

— Ее спугнет твоя родная семья? Что это за девушка такая?

— Может, в следующем месяце? Под конец? — Он рассчитывает, конечно, что мир закончится задолго до этого. Уже предчувствует безграничную скорбь матери из-за симулированного разрыва всего за несколько дней до встречи. Но он уже осчастливил ее в единственном месте, где люди живут по-настоящему, — в пятисекундном окне Сейчас. Все хорошо, и еще до конца разговора он обещает людям и в Гуджарате, и в Раджастане предупредить минимум за четырнадцать месяцев, чтобы освободить время, купить билеты и подготовить сари, что обязательно для любой свадьбы.

— Ох. Это все требует времени, Нилай.

Когда они вешают трубки, он поднимает руку и бьет по краю стола. Очень скверный звук и резкая белая боль, он знает, что сломал по меньшей мере одну кость.

В ослепительной боли Нилай спускается на личном лифте в роскошный вестибюль — красивая отделка из красного дерева оплачена желанием миллионов людей жить где угодно, лишь бы не здесь. Его глаза застилают слезы и гнев. Но он молча, вежливо показывает распухшую руку перепуганной секретарше и произносит:

— Мне надо в больницу.

Он знает, что его ждет, когда ему залатают там руку. Ни-лая отругают. Положат под капельницу и потребуют дать слово, что он будет питаться как следует. Пока секретарша в панике звонит врачу, Нилай смотрит на стену, где повесил слова Борхеса — до сих пор руководящий принцип его юной жизни:

> Всякий человек должен быть способен вместить все идеи, и полагаю, что в будущем он таким будет.



ПОРТЛЕНД КАЖЕТСЯ ПАТРИЦИИ ТОКСИЧНЫМ. Статус просветительского свидетеля-эксперта звучит еще хуже. Утром перед предваритель-

ными слушаниями доктор Вестерфорд лежит в постели, будто после инсульта.

— Не могу, Ден.

— А надо, милая.

— Надо по морали или по закону?

— Это труд твоей жизни. Ты не можешь просто уйти — Это не труд моей жизни. Труд моей жизни — слушать деревья!

— Нет. Это удовольствие твоей жизни. А труд — рассказывать другим, что они говорят.

— Судебная приостановка вырубки на особых федеральных землях. Это вопрос для юристов. Что я понимаю в законах?

— Они хотят знать, что ты знаешь о деревьях.

— Свидетель-*эксперт?* Мне сейчас будет плохо.

— Просто расскажи, что знаешь.

— В том-то и заковыка. Я ничего не знаю.

— Это как выступать перед классом.

— Вот только вместо двадцатилетних идеалистов, которым хочется узнать новое, слушать будут юристы, грызущиеся за миллионы долларов.

— Не долларов, Пэтти. Дело в другом.

И да, она соглашается, опуская ноги на холодный паркет. Дело в другом. В полной противоположности долларов.

В том, для чего требуются все свидетели, какие есть.

ДЕННИС ВЕЗЕТ ЕЕ СОТНЮ МИЛЬ на полуразвалившемся пикапе. Когда она выходит перед зданием суда, в ушах уже гудит. Во время предварительного заявления ее детский речевой дефект расцветает, как большая майская магнолия. Судья то и дело просит Патрицию повторить. Та с трудом слышит вопросы. И все-таки рассказывает: тайна деревьев. Слова поднимаются в ней, как смола после зимы. В лесу нет индивидуальностей. Каждое дерево полагается на остальных.

Она не говорит о личных догадках и придерживается консенсуса научного сообщества. Но во время показаний сама наука начинает казаться взбалмошной, как конкурс популярности в старшей школе. К сожалению, адвокат противной стороны с ней согласен. Представляет письмо редакторам журнала, где вышла ее первая серьезная научная статья. Письмо за подписью трех ведущих дендрологов, втаптывающих ее в грязь. Неправильная методология. Сомнительная статистика. «Патриция Вестерфорд демонстрирует вызывающее смущение непонимание единиц естественного отбора…» Кровь приливает к каждому дюйму кожи. Ей хочется исчезнуть,

никогда не быть. Подмешать ядовитые грибы себе в утренний омлет, пока Деннис не отвез ее на этот трибунал.

— Все в этой статье подтверждается новыми исследованиями.

Она не замечает ловушку, пока та не захлопывается.

— Вы низвергли превалирующие на тот момент убеждения, — говорит адвокат противной стороны. — Можете ли вы гарантировать, что новые исследования не низвергнут вас?

Не может. У науки тоже есть свои сезоны. Но это слишком тонкий момент для любого суда. Наблюдение — наблюдение многих — сойдется на чем-то возобновляемом, несмотря на потребности и страхи любого отдельного человека. Но она не может поклясться перед судом, что лесоведение наконец сошлось на новом лесоведении — системе убеждений, которые выдвинули она и ее друзья. Не может даже пока поклясться, что лесоведение — это наука.

Судья спрашивает, правда ли то, что ранее утверждал свидетель-эксперт противной стороны: что молодая, контролируемая, быстрорастущая роща лучше старого и анархичного леса? Судья ей кого-то напоминает. Долгие поездки по

свежевспаханным полям. «Если вырезать свое имя в коре бука на высоте четырех футов, как высоко оно окажется через пятьдесят лет?»

— В это верили мои учителя двадцать лет назад.

— В данном вопросе двадцать лет — это большой срок?

— Для дерева это пустяк.

Все собравшиеся в зале суда смеются. Но для людей — неустанных, изобретательных, трудолюбивых людей — двадцати лет хватит, чтобы убить целые экосистемы. Обезлесение: от него климат меняется больше, чем от всего транспорта вместе взятого. В срубленных лесах в два раза больше углерода, чем во всей атмосфере. Но это уже для другого суда.

— Молодые, прямые, быстро растущие деревья *не лучше* старых и гниющих? — спрашивает судья.

— Для нас — лучше. Не для леса. На самом деле молодую, контролируемую, гомогенную рощу даже лесом назвать нельзя.

Слова, стоит их произнести, прорывают плотину. Теперь она счастлива, что жива — жива, чтобы исследовать жизнь. Патриция чувствует себя благодарной без каких-либо причин, разве

что от воспоминаний обо всем, что смогла открыть о *других существах*. Патриция не может сказать об этом судье, но она их *любит* — эти изощренные, переплетенные народы связанной между собой жизни, которые она так долго слушала. Она и свой вид любит — пронырливый и самовлюбленный, застрявший в зашоренных телах, слепой к разуму вокруг, но все же избранный творением, чтобы *знать*.

Судья просит уточнить. Деннис был прав. Действительно, как перед студентами выступать. Она объясняет, что гниющее бревно — дом для живой ткани на порядки больше, чем живое дерево.

— Иногда я даже задумываюсь, вдруг истинная цель дерева на Земле — готовиться к тому, чтобы долго лежать мертвым на лесной почве.

Судья спрашивает, каким живым существам нужно мертвое дерево.

— Назовите любую семью. Любой класс. Птицам, млекопитающим, другим растениям. Десяткам тысяч беспозвоночных. Они нужны трем четвертям амфибий региона. Почти всем рептилиям. Животным, которые не дают вредителям убивать другие деревья. Мертвое дерево — это бесконечный отель.

Она рассказывает судье о короеде. Его окружает алкоголь гниющей древесины. Он заползает в бревно и роет. Разносит в системе туннелей грибок, что хранит в особом образовании на голове. Грибок ест дерево; жук ест грибок.

— Жуки устраивают фермы в бревнах?

— Самые настоящие. Без госсубсидий. Если не считать бревно.

— А эти существа, которые зависят от гниющих бревен и коряг: они под угрозой исчезновения?

Патриция объясняет: все зависит от всего. Есть полевки, живущие только в старых лесах. Они питаются грибами, растущими на гниющих бревнах, и испражняются спорами в другом месте. Нет гниющих бревен — нет грибов; нет грибов — нет полевки; нет полевки — нет распространения грибка; нет распространения грибка — нет новых деревьев.

— Как вы считаете, возможно сохранить эти виды, оставив нетронутыми отдельные участки старых лесов?

Перед ответом она задумывается.

— Нет. Только не участки. Большие леса живут и дышат. Развивают сложные виды поведения. Маленькие участки не так устойчивы или насыщенны. Они должны быть большими, чтобы в

них проживали большие животные.

Адвокат противной стороны спрашивает, стоит ли сохранение лесных участков тех миллионов долларов, которые за них платят люди. Судья просит на звать конкретные цифры Противоположная сторона подсчитывает упущенную выгоду — тяжелую цену невырубки деревьев.

Судья просит доктора Вестерфорд ответить. Она хмурится.

— Гниль добавляет лесу ценности. Леса — самые богатые скопления биомассы. В ручьях старых лесов в пять-десять раз больше рыбы. Люди могут зарабатывать на сборе грибов, рыбалке и прочем, год за годом, намного больше, чем на сплошной вырубке каждые полдесятка лет.

— Правда? Или вы это фигурально?

— У нас есть расчеты.

— Тогда почему рынок не реагирует?

Потому что экосистемы склонны к разнообразию, а рынки — к ее противоположности. Но ей хватает ума не сказать это вслух. Не стоит оскорблять местных богов.

— Я не экономист. И не психолог.

Адвокат противной стороны заявляет, что сплошная вырубка спасает леса.

— Если люди не будут вырубать, миллионы

акров сдует или их выжжет катастрофическими верховыми пожарами.

Это не ее сфера, но Патриция не может просто так оставить его слова.

— Сплошная вырубка усиливает ветровал. А верховые пожары происходят, только когда пожары подавляются слишком долго. — Она объясняет как есть: огонь дарует жизнь. Есть шишки — поздние, — которые просто не могут раскрыться без пламени. Широкохвойные сосны десятилетиями держатся за свои, дожидаясь пожара. — Раньше подавление пожаров казалось рациональным подходом. Но расходы от этого намного выше доходов.

Адвокат ее стороны морщится. Но ей уже не до дипломатии.

— Я открывал вашу книжку, — говорит судья. — Мне и в голову не приходило! Деревья призывают животных и велят им что-то делать? Запоминают? Кормят и лелеют других?

В зале суда, обшитом темными деревянными панелями, из нор выходят ее слова. Из нее изливается любовь к деревьям — к их изяществу, их гибким экспериментам, постоянному разнообразию и сюрпризам. Это медленные вдумчивые создания с хитроумным лексиконом, каждое не

походит на другое, они влияют друг на друга, порождают птиц, впитывают углерод, очищают воду, фильтруют токсины из земли, стабилизируют микроклимат. Объедини достаточно живых существ — в воздухе и под землей, — и получишь то, у чего есть цель. Лес. Существо на грани исчезновения.

Судья хмурится.

— То, что вырастает после сплошной вырубки, уже не лес?

В Патриции закипает досада.

— Можно заменить леса плантациями. А еще можно сыграть Бетховена на казу. — Смеются все, кроме судьи. — В пригородных дворах и то больше разнообразия, чем на лесных фермах!

— Сколько осталось нетронутого леса?

— Мало.

— Меньше четверти того, с чего мы начали?

— О боже! Намного. Наверное, не больше двух-трех процентов. Может, квадрат сто на сто миль. — Последние остатки ее клятвы быть осмотрительной пропадают без следа. — На этом континенте было четыре великих леса. Каждый мог просуществовать вечно. Каждый погиб за какие-то десятилетия. Мы даже не успели их толком романтизировать! Эти деревья — наша

последняя линия обороны, и они исчезают со скоростью сотни футбольных полей в день. В этом штате случались речные заторы бревен шириной в десять миль. Хотите максимизировать чистый доход леса для нынешних хозяев и доставить как можно больше древесины в кратчайшие сроки — тогда пожалуйста: вырубайте старые леса и засаживайте рядами свои плантации, которые сможете вырубить еще много раз. Но если хотите, чтобы в следующем веке была почва, чистая вода, разнообразие и здоровье, стабилизаторы и функции, которые мы даже не умеем измерять, — тогда будьте терпеливы и дайте лесу расти медленно.

Договорив, она застенчиво замолкает. Но адвокат, требующий судебного постановления, сияет.

— Вы бы сказали, что старые леса… знают то, чего не знают плантации? — спрашивает судья.

Она прищуривается и видит отца. Голос не тот, но те же очки без оправы, высокие удивленные брови, постоянное любопытство. Вокруг клубятся первые уроки полувековой давности, дни на побитом «паккарде» — ее передвижном классе, — работа на проселках юго-западного Огайо. Патриция ошеломлена, она понимает, что корни ее взрослых убеждений кроются там

— рожденные парой слов, между делом сказанных в машине, когда в пятницу днем окно было опущено, а в зеркалах заднего вида отражались соевые поля округа Хайленд.

Помнишь? «Люди думают, что они — высший вид, но это не так». Другие существа — больше, меньше, медленнее, быстрее, старше, моложе, могущественнее — всем заправляют, делают воздух и едят солнечный свет. Без них не будет ничего.

Но судьи в той машине не было. Судья — другой человек.

— Возможно, это вечная задача человечества — узнать то, что уже поняли леса.

Судья задумчиво двигает губами, как ее отец жевал сассафрас — эти веточки с запахом рутбира, что остаются зелеными всю зиму.

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ после перерыва на принятие решения. Судья объявляет приостановку работ на спорном участке. А заодно издает запрет на все продажи древесины с общественной земли на западе Орегона, пока не будет исследовано влияние сплошной вырубки для видов на грани исчезновения. К Патти подходят и поздравляют, но она не слышат. Ее уши закрылись, как только молоток ударил по кафедре.

Выходит она как в тумане. Рядом — Деннис,

ведет ее по коридору и на площадь, где друг перед другом стоят две толпы демонстрантов, создавая туннель из плакатов.

НЕЛЬЗЯ ПРОРУБИТЬ СЕБЕ ПУТЬ В РАЙ
ШТАТ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ;
ЛЕСОЗАГОТОВКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ШТАТ

Враги перекрикиваются через раскол, подстегнутые победой и унижением. Порядочные люди, и каждый любит свою страну по-своему — непримиримо. Они кажутся Патриции стаей ссорящихся птиц. Кто-то трогает ее за правое плечо, и она оборачивается к свидетелю-эксперту противной стороны.

— Вы только что сделали лесозаготовки намного дороже.

Она моргает от такого обвинения, не понимая, что здесь плохого.

— Все компании с частной землей или текущими правами теперь будут вести вырубки намного быстрее.



РУКИ ЗАСТЫВАЮТ, НОГИ ЗАТЕКАЮТ — слишком тесно, чтобы ворочаться. Ночи такие холодные, можно отморозить покрытые смолой пальцы. Нескончаемый ветер и хлопающий брезент рвет попытки заговорить. Иногда с шумом падают толстые суки. Тишина пугает еще больше Все их физические упражнения — лазанье. Но в меняющемся свете и плывущих днях то, что казалось невозможным на земле, становится рутиной.

Утро — игра в кошки-мышки. Или, скажем, сову и полевку, когда Хранитель и Адиантум смотрят из своего промозглого птичника на крошечных млекопитающих, шмыгающих далеко внизу на земле. Бригады приходят раньше, чем рассеивается туман. Сегодня — всего три. Назавтра — уже двадцать, шумные в кабинах своих машин. Иногда лесорубы ноют:

— Спуститесь хоть на десять минут.

— Не можем. Мы заняты сидением на деревьях!

— Нам же кричать приходится. Мы вас там даже не видим. Совсем шеи свело.

— Тогда поднимайтесь. Места на всех хватит!

Патовая ситуация. В разные дни приходят разные люди, пытаются договориться. Бригадир.

Прораб. Швыряют хриплые угрозы и разумные обещания. Наносит визит даже вице-президент по лесной продукции. Встает под Мимасом в белой каске, словно ораторствует в зале Сената.

— Мы можем посадить вас в тюрьму на три года за незаконное проникновение.

— Поэтому мы и не спускаемся.

— Мы несем убытки. Огромные штрафы.

— Это дерево того стоит.

На следующий день вице-президент в белой каске возвращается.

— Если вы двое спуститесь к пяти часам дня, мы снимем все обвинения. Если нет, мы не можем дать никаких гарантий. Спускайтесь. Мы вас отпустим. Ваша история будет чиста.

Адиантум склоняется над краем Бального зала.

— Так мы не за свою волнуемся. А за вашу.

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО она снова спорит с кем-то из лесорубов, когда он прерывается на полуслове.

— Эй! А сними-ка каску.

Она снимает. Его шок очевиден и на расстоянии в две трети футбольного поля.

— Блин! Ты же *офигенная.*

— Ты бы вблизи меня видел! Когда я не мерзну и не живу без душа пару месяцев.

— Ну и какого хрена ты там делаешь на дереве? Любой мужик тебе ноги целовать будет.

— А кому нужны мужики, когда есть Мимас?

— Мимас?

Уже маленькая победа — чтобы он произнес это имя.

ХРАНИТЕЛЬ ДАЕТ ПО ЛЕСОРУБАМ залп из бумажных бомб. Развернутые, они демонстрируют карандашные эскизы жизни на высоте в двести футов. Лесорубы впечатлены.

— И ты это сам нарисовал?

— Каюсь, грешен.

— Серьезно? У вас там даже *черника?*

— Ведрами!

— И пруд с *рыбками?*

— И это еще не все.

ИДУТ ДНИ, сырые и ледяные, один унылей другого. Смена, которую ждали Хранитель и Адиантум, так и не приходит. Начинается вторая неделя противостояния, кольцо рабочих у подножия Мимаса уже злится.

— Вы тут в глуши. До ближайшего человека — четыре мили. Всякое может случиться. Кто знает.

Адиантум блаженно сияет им улыбкой.

— Вы же порядочные люди. Даже угрожать не умеете!

— Вы нас без заработка оставляете.

— Не мы, а ваши начальники.

— Брось заливать!

— За последние пятнадцать лет треть работ на лесозаготовках ушла машинам. Чем больше рубят, тем меньше людей работает.

Зайдя в тупик, лесорубы пробуют другие тактики.

— Господи боже. Это же растения. Ну новые вырастут! Вы не видели лес к югу?

— Это одноразовый джекпот, — кричит в ответ Хранитель. — Пройдет тысяча лет, прежде чем система восстановится.

— Да что с вами не так-то? Почему вы ненавидите людей?

— О чем вы? Мы это делаем *для* людей!

— Эти деревья сами умрут и попадают. Надо рубить, пока они еще крепкие.

— Отлично. Давай порубим твоего дедушку на ужин, пока на нем еще есть мясо.

— Психи какие-то. Чего с вами вообще разговаривать?

— Надо научиться любить это место. Надо стать местными.

Один лесоруб заводит бензопилу и сбивает сучья с крупного нароста Мимаса. Отступает и потрясает веткой, как мачтой шлюпки.

— Мы кормим людей. А вы что делаете?

Они кричат на Адиантум дуэтом:

— Мы знаем эти леса. Мы уважаем эти деревья. Эти деревья убивали наших друзей.

Адиантум замирает. Мысль о том, что дерево убило человека, слишком чудовищна для нее.

Люди снизу давят.

— Вам не остановить рост! Людям нужна древесина.

Хранитель видел цифры. Сотни досковых футов, полтонны бумаги и картона на человека в год.

— Тогда надо лучше соображать, что нам действительно нужно, — говорит он.

— Мне вот надо кормить детей. А вам?

Хранитель уже готов крикнуть то, о чем потом пожалеет. Его останавливает ладонь Адиантум на его руке. Она смотрит вниз, стараясь услышать этих людей, атакованных за то, что им приказывают. За опасную и жизненно важную профессию, в которой они стали настоящими мастерами.

— Мы и не говорим, что не надо рубить вовсе, —

она качает рукой, пытаясь дотянуться до людей с двухсот футов. — Мы говорим — рубите так, будто это дар, а не будто вы это заслужили. Никто не любит брать в дар больше, чем ему нужно. А *это* дерево? Это дерево будет таким даром, словно спустился сам Иисус и…

Она осекается из-за мысли, одновременно приходящей и Хранителю. «Было дело. Тоже срубили».

ДНИ, УНЫЛЫЕ ОТ ДОЖДЯ. Промозглые вечера. А смена так и не приходит. Хранитель совершенствует систему сбора дождевой воды. Адиантум строит биде для женщин. Под конец третьей недели лесорубы принимаются за деревья поближе. Но через пару часов упираются в тупик. Трудно валить стволы размером с небоскребы, когда один сбой пилы, и легкий ветерок может привести к непреднамеренному убийству.

Той ночью наконец приходят Локи и Искра. Локи поднимается в верхний лагерь Мимаса. Искра остается внизу на дозоре.

— Простите, что так охренительно долго. В лагере были… небольшие распри. А еще «Гумбольдт» и их войска огородили весь склон. Две ночи назад устроили за нами погоню. Поймали Грифа. Он в тюрьме.

— Они сторожат дерево ночью?

— Мы пришли по первой возможности.

Разведчик передает драгоценный провиант — пачки быстрорастворимого супа, персики и яблоки, хлопья из десяти злаков, смесь с кускусом. Просто добавь воды. Хранитель оглядывает припасы.

— Нас не сменяют?

— Сейчас рисковать нельзя. Мохоед и Серый Волк испугались угроз расправой и ушли домой. У «Оборонных сил» не хватает людей. Перебои со связью. Если честно, мы сейчас под огнем. Можете посидеть хотя бы еще неделю?

— Конечно! — говорит Адиантум. — Можем хоть целую вечность.

Он бы тоже не прочь сидеть целую вечность, думает Хранитель, если бы слышал голоса созданий света. Локи содрогается при свете свечи.

— Блин, ну у вас тут и холодрыга. Этот сырой ветер пронизывает насквозь.

— А мы его уже и не чувствуем, — говорит Адиантум.

— Почти, — уточняет Хранитель.

Локи готовится к выходу.

— Пора спускаться, пока и меня с Искрой не поймали. Берегитесь Древолаза Кэла. Серьезно.

У «Гумбольдта» есть мужик, который лазает по деревьям голый, только с кошками и большой бухтой троса. Он как только не мешал другим древесным пикетам.

— Как будто лесная легенда, — говорит Хранитель.

— Но он не легенда.

— И он что, снимает людей с деревьев силой?

— Нас двое, — объявляет Адиантум. — И мы уже нашли равновесие.

ЛЕСОРУБЫ ПЕРЕСТАЮТ ПРИХОДИТЬ. Спорить-то больше не о чем. Иссякают и поставки «Оборонительных сил». «Наверное, мы еще в осаде», — говорит Хранитель. Но кордонов не видно. С тем же успехом люди могли пропасть отовсюду, кроме палеонтологической летописи. Высоко, в кронах, они не видят других животных кроме белок-летяг, которые по ночам гнездятся в тепле их тел.

Оба уже потеряли счет дням. Ник отмечает каждое утро на нарисованном календаре, но, сходив в туалет, помывшись с губкой, позавтракав и помечтав о коллективных произведениях искусства, что воздадут должное лесу, он часто забывает, отметил уже день или нет.

— Какая разница? — спрашивает Адиантум. —

Грозы почти прошли. Теплеет. Дни становятся длиннее. Другого календаря нам и не надо.

Хранитель рисует целыми днями. Набрасывает мхи, растущие во всех щелках. Зарисовывает уснею и другие висячие лишайники, превращающие дерево в сказку. Рука движется, образуется мысль: «А кому что нужно, кроме еды?» И те, кто, как Мимас, делает еду себе сам, свободнее всех.

По-прежнему стонут машины, где-то под отвесным холмом. Вблизи — пила, подальше — лесотаска: двое пикетчиков научились различать эти создания на слух. Иногда по утрам это их единственный способ понять, надвигается ли еще система свободного предпринимательства к стене божественных размеров.

— Наверное, морят нас голодом. — Но в этот долгий период, когда к ним не доходят припасы, есть кускус и воображение.

— Погоди, — говорит Адиантум. — Глазом моргнуть не успеешь, как опять вырастет черника. — Она грызет сушеный горошек, будто это курс по философии. — Я раньше и не умела чувствовать вкус.

Он тоже. И не знал, как пахнет его тело — и свежее дерьмо, пока оно превращается в компост. И как меняется мышление, если часами смотреть

на резной свет, падающий через ветки. И как шумит кровь в ушах в час после рассвета, пока все живое затаивает дыхание и ждет, что будет, когда рухнет небо.

С каждым порывом ветерка реальность отклоняется от перпендикулярности. Ветреные вечера — эпичный спорт для тандемов. Когда нарастает ветер, нет ничего — совсем ничего, кроме ветра. Он превращает их в дикарей — брезент хлопает, как ненормальный, иголки хлещут до потери сознания. Когда дует ветер, в мозгу больше ничего нет — ни рисования, ни стихов, ни книжек, ни правого дела, ни призвания, только ветер и безумные мысли, бешено мотающиеся вокруг, пока их вид кувыркается сломя голову с семейного древа.

Когда темнеет, остается только звук. Свечи и керосин слишком драгоценны, чтобы переводить их на роскошь чтения. Они понятия не имеют, когда через кордон прорвется следующая поставка, есть ли еще кордон, есть ли еще «Оборонные силы жизни» или любое человеческое объединение, что еще помнит о них, высоко на тысячелетнем дереве, ждущих припасов.

В темноте Адиантум берет Хранителя за руку — другого сигнала не надо. Они зарываются друг

в друга, как и каждую ночь, на фоне черноты.

— Где они?

Есть только два варианта, что за «они». Три, если считать созданий света. И его ответ — один на все три.

— Не знаю.

— Может, забыли про этот лес.

— Нет, — говорит он. — Вряд ли.

Лунный свет за спиной набрасывает капюшон на ее лицо.

— Им не победить. Не одолеть природу.

— Но они могут многое запороть на очень долгое время.

И все же в такую ночь, как эта, когда лес играет симфонию на миллион голосов, а ветки Мимаса рвут толстую полыхающую луну, даже Нику легко поверить, что у зелени есть план, благодаря которому эпоха млекопитающих покажется мелким объездом.

— Ш-ш, — говорит она, хоть он и так молчит. — Что это?

Он знает и не знает. Очередная экспериментальная инкарнация — заглянула, объявила о своем местонахождении, опробовала тьму, откалибровала свое место в гигантском улье. Сказать по правде, у него тяжелеют веки, и он не может

удержать ее вопрос, тот вырождается в иероглифы. Без возможности одомашнить мрак или как-то его использовать Хранителя накрывает сон. Но все-таки ему хватает сил осознать: «Я впервые так долго живу без того, чтобы меня не накрыло хандрой».

Они спят. Уже не привязываются. Но еще держатся друг задруга, часто, так что если скатятся с платформы, то вместе.

СНОВА СВЕТЛО, снова он делает бессмысленную пометку на бессмысленном самодельном календаре. Моется, опорожняется, ест и ложится в традиционную позу бодрствования — голова у ее ног, чтобы видеть друг друга. Ник вдруг удивляется, как это ему пришло в голову переместить свою жизнь на двадцать этажей в воздух. Но как люди попадают куда угодно? И как можно остаться на земле, раз увидев жизнь в кроне? Пока солнце мало-помалу скользит по летнему небу, он рисует. Начинает понимать, как так может быть, чтобы пара черных отметин на пустом белом поле изменили мир.

Оливия сидит на краю платформы, задрав брезент, и смотрит на волнующийся лес. Лысые плеши — все ближе. Она слушает свои бестелесные голоса, свое постоянное успокоение. Они

приходят не каждый день. Она достает свой блокнот и набрасывает пару стишков меньше секвойного семечка.

Он смотрит, как она моется губкой и водой, скопившейся в брезенте.

— Твои родители знают, где ты? На случай… если что-то произойдет?

Она оборачивается, голая и дрожащая, хмурится, будто это вопрос по углубленной нелинейной динамике.

— Я не разговаривала с родителями с тех пор, как уехала из Айовы.

Уже чистая и одетая, через семь градусов спуска солнца, она добавляет:

— И нет.

— Что нет?

— Ничего не произойдет. Меня успокоили, что у этой истории хороший конец. — И она гладит Мимаса, который даже в своем преклонном возрасте сегодня съел и добавил к своей массе два литра углерода.

ОНИ ЧИТАЮТ В СПАЛЬНИКАХ бесконечными часами. Читают все книжки, оставшиеся от прошлой смены в местной библиотеке. Читают Шекспира, поставив толстый томик на животы. Читают по пьесе в день, разыгрывая роли. «Сон в

летнюю ночь». «Король Лир», «Макбет». Читают два великолепных романа, один — трехлетней давности, другой — стадвадцатитрехлетней. Под конец старого ей трудно удержать голос от дрожи.

— Ты любишь этих людей?

Его истории захватили. Его волнует, что будет дальше.

Но ее — ее сломали.

— Любовь? Вау. Ну, может быть. Но они же все заперты в обувной коробке и понятия об этом не имеют. Так и хочется их тряхнуть как следует и крикнуть: «Вылезайте из себя, блин! Оглянитесь вокруг!» Но они не могут, Никки. Все живое для них навсегда за гранью.

Ее лицо сморщивается, глаза снова оголяются. Оливия плачет до слепоты, даже по вымышленным созданиям.

ОНИ ОПЯТЬ ЧИТАЮТ «ТАЙНЫЙ ЛЕС». Он как тис: со второго взгляда открывается больше. Они читают, как ветка знает, когда расти. Как корень находит воду — даже воду в трубе. Как пятьсот миллионов корней дуба могут повернуть с пути конкурента. Как листья в «застенчивой кроне» оставляют зазор между собой и соседями. Как деревья различают цвета. Читают о дикой

фондовой бирже, торгующей товарами ручного производства — как над землей, так и под ней. О сложных ограниченных партнерствах с другими видами жизни. Об изобретательных способах разнести семена на сотни миль. О хитростях размножения, которым подвергаются ничего не подозревающие подвижные создания на десятки миллионов лет моложе деревьев. О взятках зверям, которые мнят, будто получили обед на халяву.

Читают об экспедициях по пересадке мирры, изображенных на рельефах в Карнаке три тысячи пятьсот лет назад. Читают о деревьях, которые мигрируют сами. О деревьях, которые помнят прошлое и предсказывают будущее. О деревьях, которые гармонизируют свое плодо- и орехоношение расширяющимся хором. О деревьях, которые бомбят землю, чтобы выросли только их отпрыски. О деревьях, которые призывают себе на помощь воздушные силы насекомых. О деревьях с такими полыми стволами, что там умещается население маленькой деревеньки. Листьях с мехом на нижней поверхности. Утонченных черенках, разгадывающих ветер. О круге жизни на столбе мертвой истории, где каждый слой настолько толстый, насколько был щедрым

творящий сезон.

— ЧУВСТВУЕШЬ? — спрашивает она под буйством западного неба однажды ранним вечером — а может, и следующим. И без всяких объяснений он знает, о чем она. Теперь Ник читает ее мысли, столько часов они провели вместе в бесцельном созерцании, колено к локтю, локоть — к колену.

«Ты чувствуешь, как она поднимается и исчезает? Эта стоячая волна постоянных помех. Такая вездесущая, что даже не замечаешь, когда она тебя окутывает. Человеческая уверенность. Она не дает увидеть даже то, что находится прямо под носом, — и теперь пропала». Он чувствует — *чувствует*. Дерево — словно какой-то исполинский маяк. Они вдвоем превращаются в существ, работающих на точках пятнистого солнца, проникающих через ветки Мимаса.

— Давай взберемся на вершину, — говорит Оливия. И не успевает он возразить, как уже смотрит на чумазую горгулью, пристроившуюся на поколотом молниями шпиле: ноги охватили трубу, бегущую до земли, руки — вскинуты и просеивают небо.

НОЧЬЮ НИК ГЛУБОКО СПИТ зеленым сном, но

тут Мимас содрогается, и Ник перекатывается к краю платформы. Рука хватается за тонкий сук. Он вцепляется в него, глядя на двадцать этажей внизу. За ним вскрикивает Оливия. Он торопится обратно на середину платформы, когда порыв еще сильней подхватывает брезент и приподнимает всю конструкцию. Ветер разжижает воздух, ливень пронзает их своими иглами. Ник вскидывает глаза на оглушительный треск. В тридцати футах над ним отрывается сук толще его ноги и падает в замедленном движении, ломая по пути другие ветки.

Яростные шквалы впечатывают Оливию в Мимаса. Она в истерике впивается в платформу. Ствол отклоняется на пару футов от вертикали, потом отшатывается на столько же в другую сторону. Ник качается, как подвижный груз на самом высоком в мире метрономе. Так же, как знает все, он понимает, что умрет. Сжался от челюсти до пальцев ног, прилепился к жизни всеми силами, какие остались. Если отпустит — земля все решит за него.

Кто-то кричит ему через ливень. Оливия.

— Не. Сопротивляйся. Не сопротивляйся!

Слова хлещут его и приводят в чувство. Она права: поджавшись, он не переживет и следую-

щие три минуты.

— *Расслабься. Катайся!*

Он видит ее глаза — обезумевший зеленый селадон. Оливию мотает в диких изгибах, ловкую, словно буря ей нипочем. Через пару секунд он видит, что так и есть. Секвойе — нипочем. Тысяча таких бурь прошла через эту крону, десятки тысяч, и все, что приходилось делать Мимасу, — так это поддаться.

Ник сдается на милость гнева, как поступало это дерево целое тысячелетие убийственных бурь. Как восемьдесят миллионов лет поступали все sempervirens. Да, бури валят деревья таких размеров. Но не сегодня. Вряд ли. Сегодня на этом ветру верхушка секвойи не опаснее земли. Просто гнись и поддавайся.

Вой рассекает густой от дождя ветер. Ник воет в ответ. Их вопли превращаются в хохот умалишенных. Ник и Оливия хором визжат, пока все боевые кличи и дикие зовы мира не становятся благодарением. Еще долго после того, как разжались бы его сжатые кулаки, они орут, распевая, в бурю.

ПОД КОНЕЦ СЛЕДУЮЩЕГО УТРА у подножия Мимаса появляются три лесоруба.

— Вы там как? Вчера ночью был сильный бу-

релом. Большие деревья валило. Мы уж за вас волновались.



НЕВЕРОЯТНО, НО КОПЫ ВСЕ СНИМАЮТ. Год назад это было бы трясущейся размытой уликой, которую полиция бы уничтожила. Теперь же тактика беззакония не стоит на месте. А против нее полиции нужны новые эксперименты. Методы, которые требуется документировать, анализировать и оттачивать.

Камера обводит толпу. Люди высыпают на улицу из-за сияющей таблички компании. Окружают офис, примостившийся, как охотничья хижина, на опушке пихт и елей. Даже в объективе самого настороженного оператора здесь нет ничего, кроме демократии в Америке, права на мирные собрания. Толпы стоят далеко от границ собственности, поют свои песни и размахивают простынями с надписями: «ПРЕКРАТИТЕ НЕЗАКОННЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ. ХВАТИТ СМЕРТЕЙ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ». Но в кадре мелькает полиция. Офицеры, пешие и в седле. Люди в кузовах машин, напоминающих

БТРы.

МИМИ УДИВЛЕННО КАЧАЕТ ГОЛОВОЙ.

— Я и не знала, что в этом городе столько копов. — Дугги идет вразвалку рядом, колченогий. — Ты знаешь, мы не обязаны. Нас бы с радостью подменило еще полдесятка человек.

Он так резко разворачивается к ней, что чуть не падает.

— Ты это *о чем*? — Он как золотой ретривер, отхвативший по голове газетой, которую только что с гордостью принес. — Погоди-ка. — Дугги в замешательстве трогает ее за плечо. — Тебе что, страшно, Мим? Потому что можешь не…

Она не может это выдержать, его доброту.

— Ладно. Просто прошу, давай сегодня без геройств.

— Я и в *прошлый* раз не геройствовал. Кто знал, что они так подмочат мою старую добрую мужскую гордость?

Она ее видела — в тот день, когда джинсы разрезали на радость всем ветрам. Мужскую гордость, болтающуюся на ветру, обожженную химикатами. С тех пор он так часто хотел ей показать — чудесное восстановление, — можно сказать, почти что воскрешение. Просто она не может себя заставить. Она его любит — может, даже больше

всех, кроме своих сестер и их детей. Не устает поражаться, что такой простодушный человек дожил до сорока лет. Не может представить, чтобы не заботилась о нем. Но они из разных пород. Вот это дело, которому они себя посвятили, — защита неподвижных и неповинных, борьба за что-то лучше бесконечного самоубийственного аппетита, — это все, что у них есть общего.

Они идут к машине, где раздают новое секретное оружие протеста — стальные прутья для приковывания по прозвищу «черные мишки».

— Мы еще как это сделаем. А ты как думала? Это у меня не первое Пурпурное сердце. И не последнее. Будет целая гирлянда, прямо как у червяка.

— Дугги. Давай без травм. Я сегодня не выдержу.

Ом показывает подбородком на кордон полицейских, так и дожидающихся неприятностей.

— Это ты к ним. — И потом, как зверек, который не помнит ничего, кроме солнца: — Блин! Глянь, сколько народу! Вот это я понимаю — *движение.*

ПЕРВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ — переход границ корпоративной собственности — происходит за кадром. Но скоро объектив находит поживу. Автоматическая фокусировка жужжит и фиксирует, как несколько мирных протестующих переходят

шоссе. Там они встают на подстриженном газоне и кричат в ответ на призывы мегафона:

Народ! Единый! Никем непобедимый!

Лес! Если срубить! Уже не возродить!

К ним подходят двое полицейских и просят уйти. На записи голоса приглушенные, но достаточно вежливые. Впрочем, скоро та россыпь нарастает, как рыбная стая в защитной формации — как раз то, чего полиция надеялась избежать. Беловолосая горбатая женщина кричит:

— Мы будем уважать их собственность, когда они будут уважать нашу!

Камеру резко мотнуло налево, где через газон перебегает девять человек. Первая стычка оказывается мастерской диверсией, чтобы отвлечь полицию от входа в здание. У каждого бегущего — полая стальная трубка V-образной формы трехфутовой длины, толстая, чтобы внутрь поместилась рука.

Потом склейка. Камера уже внутри. Активисты сковали себя вокруг столба в вестибюле. В коридоры высыпают любопытные работники. Из-за оператора выходят полицейские, пытаются восстановить распадающийся порядок.

ПРОТЕСТУЮЩИХ МУШТРОВАЛИ, как зани-

мать позиции как можно быстрее. Но в самом вестибюле, где кишат работники и преследует позиция, попробуй их займи. В куче-мале Мими и Дуглас разрываются. Оказываются на противоположных концах круга. У них три секунды, чтобы приковаться. Дуглас сует левую руку в «черного мишку», а карабин троса на запястье прикрепляет к стальному кольцу посреди трубы. Его товарищи делают так же. Спустя секунды девять человек не вырезать с места ничем, кроме разве что алмазной дисковой пилы.

Они сидят, скрестив ноги, на полу вокруг толстого столба. Дуглас наклоняется в сторону — но все равно ее не видит. Кричит «Мими!», и круглое коричневое лицо, которое он привык ассоциировать со всем хорошим в мире, выглядывает и ухмыляется. Он показывает большой палец раньше, чем вспоминает, что тот теперь в стальной трубе.

ОДИН НЕПРЕРЫВНЫЙ КАДР в движении фиксирует каждого человека на крупном плане. Долговязый мужчина с щербинкой между передними зубами и длинной лохматой шевелюрой, стянутой в хвост, начинает петь. «Мы победим. Мы победим». Сперва — смешки. Но вот уже трое из группы подпевают. Пятеро полицейских тянут

демонстрантов в стороны, но простой вариант — не вариант. Человек в форме говорит, как с суфлера читает:

— Меня зовут шериф Сандерс. Вы нарушаете уголовный кодекс, статьи… — Его заглушают крики из кольца. Он прерывается, закрывает глаза и начинает сначала. — Это частная собственность. Именем штата Орегон я приказываю вам удалиться. Если вы не уйдете мирно, вас задержат за незаконное собрание, а также злоумышленное проникновение. Попытки сопротивления аресту будут расцениваться как нарушение уголовного кодекса, статьи…

Долговязый и щербатый перекрикивает:

— Ты должен сидеть здесь с нами.

Полицейский отшатывается. Кто-то из-за кадра кричит:

— Вы все преступники. Вам бы только другим людям жизнь испоганить!

Кольцо снова начинает скандировать. По периметру набивается больше полицейских. Снова выступает шериф. Говорит он медленно, четко и громко, как учитель в начальных классах.

— Освободите руки от ваших… из ваших труб. Если вы не уйдете через пять минут, мы применим перцовый газ, чтобы принудить вас к

подчинению.

Кто-то в кольце отвечает:

— Вы не можете.

Камера находит маленькую азиатку с круглым лицом и черными волосами и стрижкой боб. Шериф за кадром говорит:

— Еще как можем. И применим.

Из кольца кричат. Камера не знает, куда смотреть. Слышно, как круглолицая говорит:

— По закону Соединенных Штатов всем государственным служащим запрещено применять перцовый газ, кроме как при самозащите. Сами посмотрите! Мы даже сдвинуться не можем!

Шериф сверяется с часами.

— Три минуты.

Все говорят разом. Камера обводит замешательство в вестибюле и возвращается к перепуганным крупным планам. Стычка: молодого человека в кольце пинают со спины по почкам. Камеру мотает, она останавливается на щербатом. Его хвост так и пляшет туда-сюда.

— У нее астма, чуваки. Жуткая. Нельзя применять газ против астматика. От этого умереть можно, чуваки.

Кто-то за кадром кричит:

— Делайте, как говорит полиция.

Щербатый кивает так, будто у него сломалась шея.

— Давай, Мими. Отцепляйся. *Давай.*

Его криком перебивает седоволосая женщина.

— Мы договорились вместе сидеть до конца.

— Вы нарушаете закон, и ваши действия причиняют вред обществу, — отвечает шериф. — Пожалуйста, освободите помещение. У вас шестьдесят секунд.

Шестьдесят секунд проходят в том же замешательстве.

— Я снова призываю вас отцепиться, вынуть руки из труб и уйти с миром.

— Я получил Крест Военно-воздушных сил за то, что был сбит, защищая нашу страну.

— Я отдал приказ разойтись пять минут назад. Вас предупредили о последствиях, и вы их приняли.

— Я не принимаю!

— Теперь мы применим перцовый газ и другие химические реагенты, чтобы вы освободили руки из металлических труб. Мы будем их применять, пока вы не согласитесь освободиться. Вы готовы освободиться и избежать газа?

ДУГЛАС НАКЛОНЯЕТСЯ ТО ТУДА, ТО СЮДА. Не видно. Между ними столб, а кольцо сходит с ума.

Он зовет ее по имени — и вот она, наклонилась со своим испуганным взглядом навстречу ему. Он кричит то, что она не слышит в шуме. Они встречаются глазами на крошечную вечность. Он с силой направляет в этот узкий канал десяток призывов. «Ты не обязана. Для меня ты важней всех лесов, которые может убить эта компания».

Ее взгляд еще гуще от посланий, и все сводятся к твердейшему зернышку: «Дуглас. Дуглас. Что они делают?»

* * *

ОНИ НАЧИНАЮТ С БЛИЖАЙШЕГО К ШЕРИФУ ТЕЛА — женщина лет сорока, толстая, волосы со светлыми кончиками и очки по прошлогодней моде. Сзади к ней подходит полицейский с одноразовым стаканчиком в одной руке и ватной палочкой — в другой. Голос шерифа спокоен.

— Не сопротивляйтесь. Любые угрозы будут расцениваться как нападение на полицейского, а это является преступлением.

— Мы прикованы! Мы прикованы!

К первому с палочкой и стаканчиком подходит второй коп. Он удерживает женщину и закидывает ей голову. Она выпаливает:

— Я преподаю биологию в средней школе име-

ни Джефферсона. Я отдала двадцать лет жизни, чтобы…

За кадром кричат:

— Сейчас тебя поучат!

— Освободитесь из трубы, — говорит шериф.

Учительница задерживает дыхание. Крики. Полицейский опускает ватную палочку ей на правый глаз. С трудом старается наложить побольше на левый. Химикаты скапливаются под веком, сбегают по щеке. Учительница издает звериные стоны. Они все громче, пока она уже не кричит. Кто-то просит:

— Прекратите! Немедленно!

— У нас есть вода для глаз. Освободитесь — и вы ее получите. Вы освободитесь? — Полицейский снова закидывает ее голову, второй с палочкой размазывает перцовую жидкость по глазам и носу. — Освободитесь — и мы промоем лицо холодной водой.

— Вы ее убиваете! Ей нужен врач! — кричит кто-то.

Полицейский с палочкой дает знак помощнику.

— Дальше брызнем «мейсом». Будет намного хуже.

Учительница уже не кричит, а блеет. Ей слиш-

ком больно, она даже не может освободиться. Руки не находят карабин. Двое слуг общества следуют по часовой стрелке к следующему в круге — мускулистому мужчине тридцати лет, который сам больше похож на дровосека, чем на любителя сов. Он пригибается и с силой зажмуривается.

— Сэр? Вы освободитесь?

Его широкие сильные плечи пытаются поежиться, но «черные мишки» на обеих руках не дают их свести. Полицейский с трудом загибает ему голову назад. Сила на стороне полиции, и, когда подходит третий коп, шея протестующего выгибается. Открыть глаза так просто не удается. Они водят палочкой по щелкам век, зафиксировав большую голову. Концентрированный перец стекает большими каплями. Одна попадает в нос, мужчина начинает задыхаться. Камера рассекает вестибюль. Задерживается на окне, где снаружи скандируют протестующие, не представляя, что творится внутри. Захлебывающиеся звуки перекрывает полицейский.

— Вы освободитесь? Сэр? Сэр. Вы меня слышите? Вы готовы освободиться?

— У вас совесть-то есть? — кричит кто-то.

— Сразу из бутылки! Лейте им в глаза! — заливается кто-то.

— Это пытки. В Америке!

Камера мутнеет. Болтается, как взгляд пьяницы.

КОГДА КОПЫ ИСЧЕЗАЮТ ЗА КОЛОННОЙ, из Дугласа слова льются рекой.

— У нее астма. Ее нельзя перцовым газом, чуваки. Ради бога, вы же ее убьете.

Он с силой гнется направо, наперекор «черным мишкам». Видит, как полицейские встает от нее по бокам, человек в форме наклоняется со спины и любовно обнимает Мими за голову. Изнасилование в глаза тремя мужиками.

— Мэм, просто освободите руки — и можете быть свободны. Страдать необязательно, — говорит шериф. Женщину возле Мими рвет.

Дуглас кричит ее имя. Полицейский с палочкой берет ее одной рукой за затылок.

— Мисс? Вы хотите освободиться?

— Пожалуйста, не делайте мне больно. Я не хочу.

— Тогда просто освободитесь.

Дуглас чуть не ломается пополам. «Уходи!» Глаза Мими сталкиваются с его. Они безумно полыхают, ноздри раздуваются, как у кролика в силке. Он не понимает взгляда, какого-то предсказания. Ее глаза говорят: «Что бы ни случилось,

помни, чего я добивалась». Полицейский закидывает ее красивое лицо. Ее горло раскрывается в клокочущем агх-х-х…

И тут он вспоминает. Он-то может двигаться. Так просто: Дуглас возится с карабинами, приковывающими запястья к кольцам «черных мишек», — и он свободен. Вскакивает, завывая:

— Назад!

Не то чтобы все замедляется. Просто его мозг ускоряется. У него есть все минуты на свете, чтобы несколько раз подумать: «Нападение на полицейского. Уголовное преступление. От десяти до двенадцати лет тюремного заключения». Но коп сбивает его на пол раньше, чем Дугги успевает замахнуться. Раньше, чем кто-нибудь успел бы крикнуть «Дерево I».

Той ночью потрясенный оператор делает копию пленки и сдает ее прессе.



ДЕННИС ПРИНОСИТ ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ в хижину Патриции на обед.

— Патти? Даже не знаю, стоит ли об этом говорить.

Она тыкается лбом ему в плечо.

— Уже поздно сомневаться, нет?

— Запрет не продержится. Уже закончился.

Она отстраняется и мрачнеет.

— Что это значит?

— Вчера по телевизору сказали. Еще одно судебное решение. Лесная служба освобождена от временной приостановки, принятой на твоем слушании.

— Освобождена.

— Они готовы одобрить новый план лесозаготовки. По всему штату сходят с ума. В головном офисе лесозаготовительной компании провели демонстрацию. Полиция заливала людям химикаты в глаза.

— Что? Ден, не может быть.

— Показывали видео. Я не смог смотреть.

— Точно? *Здесь?*

— Я сам видел.

— Но ты же сказал, что не смог смотреть.

— Я видел.

Его тон — как пощечина. Кажется, они ссорятся — хотя оба не умеют. Деннис тоже смущенно опускает голову. Плохой песик; больше так не будет. Она берет его за руку. Они сидят над пустыми мисками, глядя в узкий просвет в роще болиго-

лова. Вспоминаются вопросы, которые задавал на слушаниях судья. Какой толк от природы? Какая разница, когда право на неограниченное развитие превратит все леса в геометрические доказательства? Дует ветер, болиголов машет своими перистыми побегами. Какой изящный профиль, какое элегантное дерево. Ему стыдно за людей, стыдно за эффективность, запреты. Серая кора, ветки — сочно-зеленые; иголки — плоские вдоль стеблей, смотрят вовне. Характер развития спокойный, даже философский в своей безмятежности. Шишки — маленькие — что бубенчики на санях, довольные своей вечной тишиной.

Это Патриция нарушает тишину, как раз когда накатывает спокойствие.

— В глаза!

— Перцовый газ. Ватными палочками. Так выглядело, будто… это не наша страна.

— Люди прекрасны.

Он поворачивается к ней в ужасе. Но он — человек веры, и потому ждет, удосужится ли она объяснить свои слова. И да, думает она. Набирается упрямства от этой мысли. «Да: прекрасны». И обречены. Поэтому она никогда и не могла жить среди них.

— От безнадежности они становятся решитель-

ней. Нет ничего прекраснее.

— Думаешь, мы безнадежны?

— Ден. Как остановить вырубку? Она даже не замедляется. Единственное, что мы знаем, — это как расти. Расти активнее, расти быстрее. Больше, чем в прошлом году. Расти до самой пропасти и дальше. Без вариантов.

— Понимаю.

Очевидно, не понимает. Но из-за его готовности ей врать у нее тоже сердце кровью обливается. Она бы рассказала ему, как высокая, шаткая пирамида большой жизни уже валится, в замедленном темпе, от огромного и быстрого пинка, сдвинувшего планетарную систему. Нарушаются великие круговороты воздуха и воды. Древо Жизни снова падет, свернется в пенек беспозвоночных, жесткого земного покрова и бактерий, если только человек… Если только человек.

Люди подставляют собственные тела прямо на линию огня. Даже здесь, в стране, где ущерб давно нанесен, где потери этого года — ничто в сравнении с тем, что произошло на далеком юге… людей бьют, над людьми измываются. Людям мажут глаза перцем, а она — та, кто знает, что каждый день мы теряем по триллиону листьев без возможности восстановления, — не делает

ничего.

— Ты бы назвала меня мирным человеком?

— О, Ден. Ты мирный почти как растение!

— Мне плохо. Мне хочется покарать этих копов.

Она сжимает его руку в ритм качающемуся болиголову.

— Люди. Столько боли.

ОНИ СОБИРАЮТ ГРЯЗНЫЕ ТАРЕЛКИ в пикап для поездки в город. У двери Патриция хватает Дугласа.

— Я же богатая, да?

— Не настолько, чтобы пойти во власть, если ты об этом.

Она смеется слишком громко и замолкает слишком быстро.

— На данный момент сохранение природы в тупике. И теперь я вижу, что ничего не изменится. — Он смотрит на нее и ждет. А она думает: «Если бы весь наш вид мог вот так смотреть и ждать, как этот человек, мы бы еще могли спастись». — Я хочу открыть семенной фонд. Сейчас в мире вдвое меньше деревьев, чем когда мы с них слезли.

— Из-за нас?

— Один процент мирового леса — каждое

десятилетие. Площадь больше Коннектикута — каждый год.

Он кивает, словно это удивило бы любого, кто не следит за ситуацией.

— Когда я уйду, вымрет уже до трети существующих видов.

Денниса удивляют ее слова. Она куда-то собирается?

— Десятки тысяч деревьев, о которых мы почти ничего не знаем. Виды, которые и классифицировать толком не начали. Это как сжигать библиотеку, художественный музей, аптеку и архив одновременно.

— Ты хочешь создать ковчег.

Она улыбается из-за слова, но пожимает плечами. Слово как слово.

— Я хочу создать ковчег.

— Где можно сохранить… — Его захватывает странность идеи. Хранилище для сотен миллионов лет работы. Положив руку на дверцу пикапа, он смотрит на верхушку кедра. — И что… что ты будешь с ними делать? Когда они?..

— Ден — я не знаю. Но семена могут пролежать тысячи лет.



Они встречаются вечером, на холме, выходящем на море. Отец и сын. Немало воды утекло. После этого часа вместе в новейшем окружении утечет еще больше.

Нилай-джи. Это ты?

Pita. Мы здесь. Сработало!

Старый попрошайка подходит к синекожему богу и машет. Бог стоит неподвижно.

Очень плохой звук, Нилай.

Я тебя слышу, пап. Не волнуйся. Тут только ты и я.

В голове не укладывается. Так прекрасно!

Это еще ерунда. Только подожди.

Синий бог сдвигается с места и запинается.

Только посмотри на свой костюм! Посмотри на меня!

Тебя хотел посмешить, Pita.

Бок о бок, неверными шажками, они идут вдоль утесов, о которые бьется океан. Уже давно, с тех пор, как отец уехал в клинику в далекой Миннесоте, такие прогулки вместе были невозможны. С самого раннего детства они так не гуляли, не беседовали друг с другом, когда слова торопились угнаться за их шагами.

Тут все такое большое, Нилай.

Есть еще. Намного больше.

И детальность! Как у тебя получилось?

Pita, это только начало, уж поверь.

Синий бог с трудом плетется к краю утеса.

Не может быть. Только посмотри. Волны!

Они стоят на вершине водопада, что обрушивается на побережье под ними. Вырезанные прибоем скалы торчат из песка, как сказочные замки. Бликуют литорали.

Нилай. Так красиво. Я хочу увидеть все! Они еще недолго идут по побережью, потом сворачивают от океана. *А где мы? Что это за место?*

Оно вымышленное, Pita.

Да, но знакомое.

Это хорошо!

Потом отец расскажет матери мальчика. Как его похитили в младенческий мир, до появления людей. Его дезориентируют туманный воздух и косой тропический свет. Коричневатый цвет песка и лазурное море, окружающие их кольцом сухие горы. Он щурится на зелень, такую буйную. Он никогда не обращал на растения особого внимания. Никогда не было времени их изучить. А теперь и не будет.

Они идут по тропинке вдоль стволов, что раскрываются огромными грубыми зонтиками против солнца.

Что это, Нилай? Твоя фантастика?

Словно палповые журналы сына так и собирают пыль в стопках под его детской кроватью.

Нет, Pita. Земля. Драконово дерево.

Они настоящие? Такие деревья — ив нашем мире?

Попрошайка улыбается и показывает.

Все основано на реальных событиях!

Синий бог наконец понимает: рыба в море, птица в воздухе, все, что ползает по этой искусственной Земле, — лишь грубые зачатки какого-то будущего убежища, спасения из исчезающего оригинала. Он подходит к одной из чудовищных древесных поганок.

И что здесь могут делать игроки?

У попрошайки вырываются незапланированные слова.

А что, по-твоему, они должны делать, пап?

А, Нилай, я вспомнил. Хороший ответ!

Попрошайка объясняет, как велика песочница. Человек может собирать травы, охотиться на животных, сажать поля, рубить деревья и вырезать доски, рыть глубокие шахты для добычи минералов и руды, вести торговлю и переговоры, строить хижины, и ратуши, и соборы, и чудеса света…

Они снова идут. Климат становится роскошней.

В подлеске рыщут звери. Над ними кувыркаются стаи.

Когда придут люди?

В конце следующего месяца.

Понятно. Скоро!

Ты еще будешь здесь, пап.

Да, конечно, Нилай. Еще раз, как тут кивать? Синий бог учится кивать. Сколько еще предстоит узнать. И что будет тогда?

Тогда случится наводнение. Уже зарегистрировано пятьсот тысяч человек. Двадцать долларов в месяц. Мы рассчитываем еще на миллион.

Я рад, что могу посмотреть на все вот так. До людей.

Да. Только мы двое!

Начинающий Вишну запинается, поднимаясь по тропе. Теперь надо перейти горы. Покрытые лозами каньоны. Бог ненадолго замирает, сраженный окружением. Потом снова бредет по лесной тропинке.

Только четверть века, пап. С тех пор, как мы написали «Hello World». А кривая на графике все еще указывает прямо вверх.

На расстоянии двух тысяч миль, на скорости в несколько триллионов циклов на часах процессора — процессора, произошедшего от того,

что помог собрать синекожий бог, — отец и сын вместе смотрят через горы и в будущее. Эта земля воплощенных желаний будет шириться без пределов. Она наполнится еще более богатой, дикой и удивительной жизнью после жизни. Карта разрастется до размеров своей модели. Но люди все равно будут голодными и одинокими.

Они идут по величественным грядам. Далеко внизу через джунгли, насыщенные зеленью, петляет старая широкая река. Синий бог останавливается и смотрит. Всю свою жизнь он тосковал по дому. Томление погнало его из деревни в Гуджарате в Золотой штат. У него не было страны, только работа и семья. И всю свою жизнь он думал: «Есть только я». Теперь он смотрит на змеящуюся реку. Миллионы будут каждый месяц платить за то, чтобы прийти сюда. А его не будет.

Где мы теперь, Нилай-джи?

Я же тебе говорил, пап. Тут все с нуля.

Да. Нет. Я понимаю. Но растения и животные. Мы перешли из Африки в Азию?

Иди за мной. Я кое-что покажу. Попрошайка ведет их по серпантину в густые джунгли. Они входят в лабиринт переплетенных, совершенно одинаковых тропинок. По подлеску шмыгают

какие-то существа.

Мелия, Нилай. Волшебство!

Погоди. Это еще не все.

Джунгли густеют, тропинка истончается. В вайях и ползучих лозах играют тени. И тут отец видит, в листве этой бесконечной симуляции: разрушенный храм, проглоченный единственным фиговым деревом.

О, принц мой. Ты правда сделал нечто.

Не только я. Сотни людей. Тысячи. Я даже не знаю, как всех зовут. И ты тоже здесь. Твоя работа… Попрошайка поворачивается. Обводит рукой корни, что змеятся по древним камням, ищут трещины, куда можно заползти, напиться из земли. Поднимает кончик своего морщинистого мизинца. *Видишь, Pita? И все ~ из зернышка вот такого размера…*

Вишну хочется спросить: «Как заплакать?» Но говорит только: *Спасибо, Нилай, но мне уже пора.*

Да, пап. Скоро увидимся. Безобидная ложь. В этом мире попрошайка прошел полконтинента. Но в другом он слишком хрупок и изможден, чтобы рисковать перелетом. А синий бог, только что босым перешедший зазубренный горный кряж: в мире наверху его тело так пронизано шальными программами и ошибками синтаксиса, что он не

доживет до премьеры этого.

Его марионеточное тело кивает, ладони складываются.

Спасибо за эту прогулку, дорогой Нилай. Скоро мы будем дома.



ОТ ПРОСВЕТЛЕНИЯ ДО ПРОРЫВА ПЛОТИНЫ в мозгу Рэя Бринкмана проходит тринадцать секунд.

Телевизор в спальне гремит вечерними новостями. Израильские войска срывают палестинские оливковые рощи. Рэй под одеялом сжимает пульт, делая так громко, чтобы заглушить мысли. Дороти в спальне, готовится ко сну. Ее ежевечерний ритуал переходит от одного шума к другому: фен, электрическая зубная щетка, вода в керамической раковине. Каждый звук говорит ему «ночь» — как однажды вой волков или крик бакланов. И, как зовы тех животных, скоро исчезнут и эти звуки.

Она там целую вечность — и ради чего? После катастрофы этого вечера… Что из всех этих приготовлений она не может сделать — с большей

пользой — наутро? Хочет быть чистой для сна и готовой ко всему, что принесет ночь, хотя ночь не принесет кошмара больше, чем этот день.

Он ничего не понимает. После этого вечера немыслимо, что она ляжет в постель, как в последний десяток лет. Но еще немыслимей, что она будет спать в комнате дальше по коридору, той, что когда-то, много лет назад, мечтала переделать в детскую. Он уничтожит эту кровать. Нарубит резное изголовье на дрова. Ведущий говорит: «Тем временем вырубают деревья в школьных дворах по всей Канаде, чтобы защитить детские жизни после…»

Рэй смотрит на экран, но не понимает, что видит. Это — с первой до третьей секунды. Он думает, и поток его сознания еще вменяем. «Я человек, который с удовольствием путает уговор с реальностью. Человек, который никогда не сомневался, что у жизни есть смысл и будущее. Теперь с этим покончено».

Эти мысли занимают меньше четверти секунды. Глаза на миг закрываются — он прокручивает повтор. Их первое свидание. Ведьмы говорят ему не заботиться о завтрашнем дне. С ним ничего не случится, пока лес не пройдет много миль и не полезет на холм. Он в безопасности, отныне он

в безопасности, ведь нельзя нанять деревья, как солдат, нельзя стволам скомандовать «вперед». «Всю жизнь нести уверенно венец в надежде на естественный конец».[55] Но ему дали другую роль. Человека, не рожденного от женщины, что сдвинет лес.

Веки Рэя приоткрываются на полсекунды. На этих живых экранах он видит, как они спали вместе — в ночь их первой премьеры в любительском театре. Все наши вчера, снова и снова. Юная леди Макбет, не старше двадцати четырех, переживающая в фойе взрослой жизни. Его нервная подруга, рядом с ним в темноте, бомбардирующая тревожными вопросами, как из собеседования: «Как ты относишься к родителям? Тебя посещали расистские мысли? Когда-нибудь воровал в магазине?» Даже тогда, в первый вечер, он видел, что они могут заботиться друг о друге до старости. Вдвоем, подчиняясь замыслу, предписанному задолго до их встречи и обещавшему раскрыться в свое время. Вечно. И вечно. И вечно.

Пророчество оказалось с подвохом. Нужно собраться с силами и жить. Но как? Зачем? Новости переходят к сцене из дикой природы. Рэй смот-

---

[55] Примечания: 55
Уильям Шекспир, «Макбет», пер. Б. Пастернака.

рит, как в тумане: прикованные люди, полиция их забирает. Шум воды в ванной прекращается. Это шестая и седьмая секунды.

Все имущество выглядит ворованным. Так ему сказала жена, всего час назад: «Думаешь, все само собой пройдет и я просто приду в себя? Превращусь в твою милую причудливую Дот?»

Он пытался сказать, что знал уже много месяцев. Год, больше. Что он еще здесь. Еще ее муж. Приходи и уходи. Будь с кем хочешь. Делай, как знаешь. Только будь рядом.

Хуже воровства. Убийство. «Ты меня убиваешь, Рэй».

Он пытался напомнить: между ними еще должно что-то случиться. Причина, почему они обязаны оставаться вместе. Он это уже видел, предчувствие двигало им все эти месяцы неподвижности. Какая-то цель их союза, которая существовала всегда. Они принадлежат друг другу.

«Никто и никому не принадлежит, Рэй. Отпусти меня».

В ванной что-то происходит — все, похожее на ничто. Две секунды тишины, и он в ужасе. Ничего не понятно. Ничего не сделать. Он снова смотрит на телевизор. Людям жгут глаза — ни за

что. Совершенно напрасно.

На девятой и десятой секунде мозг превращается в окружной суд. Наполняется мыслью многомесячной давности, когда он однажды вечером читал, а его законопослушную жену трахали до потери сознания. Мысль, что он украл из чьей-то чужой книги с копирайтом, за которую теперь надо расплатиться. Время меняет, чем можно владеть и кому можно владеть. Человечество ошибается в отношении соседей — и никто этого не видит. Мы обязаны заплатить миру за каждую идею, за все, что украли.

Люди на экране начинают вопить. А может, вопль исходит из него, когда он видит, как желтеет и опадает. Она в дверях, кричит. Его губы движутся, но звука нет.

«Как будто у меня было слово „книга“, а ты вложила мне ее в руки».

Он сползает с кровати на сосновый паркет. Глаза прижимаются к завихрениям волокон. Что-то в голове ломается, и все, что когда-то было надежно, как дом, рушится, как чересчур разработанная шахта. Кровь наливается в коре его мозга, и он больше ничем не владеет. Ничем, кроме этого.



КОГДА МИМИ ПРИХОДИТ НА РАБОТУ в понедельник, к семи тридцати утра, у ее стола уже стоит мужчина в темно-сером костюме из сержа. Она с первого взгляда знает, кто этот незнакомец.

— Мисс Ма?

К ее столу прислонены сложенные картонные коробки. Он ждал уже давно. Его работа зависит от того, чтобы прийти первым и проследить, что проблем не будет. Ее компьютер уже отключен, все провода аккуратно свернуты на корпусе. Документов давно нет — унесли, пока она запивала бейгл кофе в миле отсюда.

— Меня зовут Брендан Смит. Я помогу вам с переводом из нашей компании.

Она знала, что так будет, уже несколько дней. Ее показывали во всех новостях — преступное проникновение на чужую собственность. Другие инженеры бы бровью не повели — в конце концов, наш вид полон конструкторских ошибок, — но она вдобавок виновна в борьбе с прогрессом, свободой и благополучием. Правом их рода от рождения. Такое в ее профессии не прощается.

Она смотрит на своего профессионального увольнителя, пока он не отворачивается.

— Гаррет что, думает, я разнесу офис? Украду международные тайны керамики?

Мужчина раскладывает коробку.

— У нас двадцать минут, чтобы их заполнить. Только личные вещи. Я опишу все, что вы хотите забрать, и мы получим одобрение, после чего вы отметитесь в книге ухода.

— Отмечусь? Отмечусь?!

Гнев встает комом в горле — гнев, для чьего обнуления и наняли частную охранную фирму. Она отворачивается и направляется к двери. Темно-Серый ее останавливает, чуть ли не силой.

— Как только вы выйдете, мы считаем кабинет опечатанным.

Она колеблется, садится за свой стол. Не свой стол. Ей словно облили перцовым газом мозги. Как они смеют? Как кто угодно смеет? «Да я отсужу у них все до гроша». Но все права и привилегии добросовестной практики — на их стороне. Человечество — головорез. Закон — бандит. Коллеги проходят мимо ее двери, мешкая, только чтобы разглядеть драму, после чего пристыженно ускользают.

Она складывает книги в коробку, которую ей разложил сопровождающий. Потом свои блокноты.

— Никаких записок. Блокноты принадлежат компании.

Она борется с желанием бросить степлер. Заворачивает фотографии в бумагу, которую передает сопровождающий, и кладет в коробку. Кармен и ее Кентуккийская горная верховая лошадь. Амелия с детьми в бассейне в Таксоне. Ее отец у ручья в Йеллоустоне. Ее дедушка и бабушка в Шанхае, в лучших костюмах, с фотографией американских девочек, которых никогда не встретят.

Задачки на логику из гнутых гвоздей. Шутки в рамочках: «Реакция говорит громче слов. Для одних стакан наполовину полон, для других — наполовину пуст; для инженера — это емкость в два раза больше нужного».

— Закончили? — спрашивает ее личный агент по отправке на раннюю пенсию.

Чемодан, покрытый этикетками. Дорожный кофр с чужим именем.

— Ключи. — Она качает головой, потом передает рабочие ключи. Он отмечает их в списке, который просит подписать. — Прошу следовать за мной. — Брендан Смит несет коробки. Она берет чемодан и кофр. В коридоре разбегаются любопытные коллеги. Он ставит коробки на пол и запирает дверь. Стоит щелкнуть замку, как она

вспоминает.

— Блин. Откройте.

— Кабинет уже опечатан.

— *Откройте.*

Он открывает. Она подходит к стене, залезает на стул. Снимает — фут за футом — свиток с архатами на пороге Просветления, возрастом в тысячу и двести лет, скатывает и забирает. Потом идет за мужчиной к главному входу, мимо людей, которые много лет тепло с ней здоровались, а теперь заняты срочной работой. Когда она переносит всю накопившуюся рабочую жизнь на парковку, мужчина встает в дверях фирмы, как ангел у восточных врат Эдема, не пускающий людей — разорителей запретного древа — вломиться в сад и съесть другой плод, который все исправит.



— ЕДИНСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ, которые знают, что их поливают: с этого, — твердит Дугги около полуночи, перекрикивая рок-хиты в придорожной забегаловке, набитой ополчением в увольнительной и прочими вооруженными патриотами, — и начинаются все неприятности.

— В смысле, как знание, что ты умрешь, может дать фору? То есть у тебя хватает мозгов разглядеть, что ты мешок гниющего мяса на сливной трубе, которая скоро развалится, — и что? Какой толк понимать, что сдохнешь через тысячу рассветов?

Его коллега по философии, сидящий рядом за стойкой из атласного дерева, отвечает:

— Ты можешь на хрен заткнуться?

— А вот дерево. Эти ребята знают в таком масштабе и на протяжении такого времени, что мы не можем даже…

Кулак выстреливает и встречается с его скулой, так быстро, что Дуглас словно застыл на месте. Он падает головой на еловый паркет и отключается так быстро, что даже не слышит, как ударивший встает над ним и произносит панегирик:

— Прости. Но я предупреждал.

Когда Дуглас приходит в себя, Спинозы уже нет. Он трогает голову и лицо робкими пальцами. Все на месте, но есть какая-то не такая мягкость. Звезды и огни, темные облака и боль, хотя бывало и хуже. Дуглас позволяет заботливой официантке поднять его на ноги, потом вырывается. «Люди не то, чем кажутся». В этот раз никто не возражает.

Он сидит в своей машине на парковке забега-

ловки, разрабатывает незапланированный план. Насколько он знает, ему не к кому обратиться за помощью и утешением, кроме его напарницы по спасению мира — женщины, поддержавшей с ним дело, которое куда больше обреченного Павличекизма. Она одна знает, как взять его и придать ему цель в этой жизни. Это уже слишком — свалиться Мими на голову в такой час. Она никогда не запрещала приходить к ней ночью, но в восторге, понятно, тоже не будет. И все-таки Мими знает, что делать с этим кошмаром — его лицом.

Как-то раз, когда они долго сидели, скованные цепью, поперек дороги, которая, как оказалось, не так уж и интересна лесозаготовительным компаниям, она ему рассказала о своих великих Любовях молодости. Этого признания с лихвой хватило, чтобы его ошеломить. Он поддержит ее, с кем бы она ни хотела быть. Мир зависит от стольких разных видов, и каждый — дурацкий эксперимент. Просто хотелось бы, чтобы она когда-нибудь допустила его в святая святых — доверенным собеседником, слугой, кем угодно. Хотелось бы, чтобы она и тот, кто сейчас является ответом ее жизни, позволили присмотреть за ними — подобно стражу, охраняющему их от

зловещего мира.

Дуглас с трудом вставляет ключ в зажигание. Наверное, сейчас ему не стоит доверять тяжелую технику. Но щека болтается, что-то вытекает из уголка глаза. Больше деваться, если честно, некуда. Он выныривает с парковки на шоссе — к городу, к любви.

Он не видит грузовик на обочине перед баром. Не видит, как тот сдает на асфальт позади. Ничего не видит, пока зеркало заднего вида не заполняется двумя белыми глазами и зверь не врезается в его задний бампер. Дуглас содрогается, его заносит. Грузовик снова надвигается и таранит. Павличек не может затормозить, не успевает даже подумать. Дорога идет под уклон. Он давит на педаль, но грузовик не отстает. У подножия холма он перелетает через железнодорожный переезд, переводит дыхание.

К нему плывет перекресток. Он внезапно и с силой сдает направо — вдвое быстрее, чем надо. В замедленном слаломе машину заносит на 270 градусов по часовой стрелке. Останавливается он на перекрестке, перпендикулярно, пока пустой лесовоз уносится по шоссе, водитель налегает на гудок — долгое громкое прощание.

Дуглас стоит на дороге, психует. Нападение

разжижило его хуже всего, что выкидывала полиция. Хуже, чем когда подбили его самолет. Там-то был просто Бог с Его обычной рулеткой. А тут — псих, с планом.

Дуглас двигается в выбранном направлении, долгой дорогой в город. Не может оторвать глаз от зеркала заднего вида, где в любой момент ждет двойной белый луч. Но добирается до кондоминиума Мими без дальнейших происшествий. У нее еще горит свет. Когда она открывает, очевидно, что она пьяная. Комната за ее спиной перевернута вверх дном. По полу гостиной расстилается свиток.

Она покачивается и еле выговаривает:

— Что случилось?

Он удивленно касается своего лица. Уже и забыл. Не успевает ответить, как она затягивает его внутрь. И вот так деревья наконец приводят их домой.



АДАМ ЭППИЧ СТАВИТ ПРАВУЮ НОГУ в воображаемую нишу и поднимается. Сдвигает узел веревки, наступает левой. С трудом пытается за-

быть, сколько пустых шагов уже сделал. Говорит себе: «Раньше я все время лазил по деревьям». Но Адам не лезет по дереву. Он лезет по воздуху на веревке толщиной с карандаш, которая болтается на таком широком стволе, что у него краев не видно. Борозды на коре толщиной в фут длиннее его ладони. Над ним долгая бурая дорога исчезает в облаке. Веревка начинает кружиться.

Голос свыше произносит:

— Погодите. Не боритесь.

— Я не могу.

— Можете. И *справитесь*, сэр.

Горло забивается отрыжкой и страхом. Фут за футом он сокращает невозможный разрыв. У самого верха смеет поднять взгляд. Два лесных создания тихо его подбадривают, но он все равно не слышит, да и не верит. Тянется к чему-то твердому, все еще дыша. Плохо, но все-таки дыша.

— Видишь? — От сияющего лица женщины он задумывается, не умер ли по пути. Мужчина — дряблая кожа и ветхозаветная борода — вручает ему кружку воды. Адам пьет. Не сразу верит, что все в порядке. Платформа под ним покачивается на ветру. Древесная пара парит, предлагая ягоды.

— Спасибо, и так хорошо. — Потом: — Наверное, было бы убедительней, если бы я сказал это пять

минут назад.

Женщина по имени Адиантум спешит по ветке к самодельному буфету, ищет чай, который, как она уверяет, спасет его от головокружения. Она ни за что не держится. Босая, на высоте двадцать этажей. Он зарывается лицом в подушку, набитую иголками.

Когда обретает силы, смотрит вниз. По лесу внизу растекается лоскутный бульон. Он пробрался через эту резню, проведенный посланцем Локи. Но вид с высоты птичьего полета еще хуже. Самый длинный и самый решительный древесный пикет в окрестностях — проводящийся идеальными субъектами для его исследования ошибочного идеализма, — последний большой пережиток, пощаженный вырубкой. Разрозненные рощи усеивают голые плеши, как клочки, пропущенные на подбородке неопытного подростка. Всюду свежие пни, мусор и сожженный валежник, обломки, усыпанные опилками, редкие стволы — в слишком крутых оврагах, чтобы с ними возиться. И куст вокруг большого дерева, которое эти пикетчики называют по имени.

Мужчина, Хранитель, показывает достопримечательности.

— Весь освобожденный грунт смоется по тому

утесу в реку Ил. Убьет рыбу до самого океана. Уже трудно вспомнить, но, когда мы только пришли, десять месяцев назад, тут была зелень везде, насколько хватало глаз. Вот так мы и замедлили вырубку.

Адам — не врач, и после двухсот пятидесяти интервью с активистами вдоль Утраченного побережья не торопится раздавать диагнозы. Но Хранитель — либо в глубокой депрессии, либо прозревший реалист.

Вспышка далеко внизу, шмелиный гул тяжелой техники, и Хранитель наклоняется посмотреть.

— Вон.

Желтые лучи ярче бананового слизня полосуют растворяющийся лес в полумиле отсюда.

— Что у нас? — спрашивает Адиантум.

— Канатная трелевка. Пара «Катов» с бревнозахватами. Нас могут блокировать к завтрашнему дню. — Хранитель смотрит на Адама. — Лучше спрашивай, что хотел, и возвращайся вниз сегодня.

— Или присоединяйся, — говорит Адиантум. — Отдадим тебе гостевую.

Адам не может ответить. Голову все еще давит. Мутит от дыхания. Хочется обратно в Санта-Круз, анализировать данные из опросников и делать

сомнительные выводы из железобетонной статистики.

— Будем только рады, — говорит ему женщина. — В конце концов, мы сами вызвались только на пару дней — и вот, пожалуйста, прошел почти год.

Хранитель улыбается.

— У Мьюра есть хорошая строчка. «Я всего лишь вышел прогуляться…»

Содержимое желудка Адама льется с двухсотфутовой высоты.

СУБЪЕКТЫ СИДЯТ НА ПЛАТФОРМЕ, глядя на анкету и карандаши, которые им вручил Адам. Их руки заляпаны коричневым и зеленым, под ногтями — корка перегноя. От них пахнет крепко и кисло, как от секвойи. Сам исследователь забрался в смотровой гамак над ними, тот не прекращает качаться. Он ищет в их лицах напряжение параноидного синдрома спасателей, который так часто видел в уже опрошенных активистах. Мужчина — способный, но все же фаталист. Женщина — хладнокровна, как не имеет права быть хладнокровным никто, кому так досталось.

— Это для твоей докторской диссертации? — спрашивает Адиантум.

— Да.

— В чем твоя гипотеза?

Адам так давно ведет опросы, что уже и слово-то узнает с трудом.

— Если я что-то скажу, это повлияет на ваши ответы.

— У тебя есть теория о людях, которые?..

— Нет. Никаких теорий. Просто собираю данные.

Хранитель смеется — хрупко и односложно.

— Но это же не так устроено, да?

— А как?

— Научный метод. Нельзя собирать данные без существующей теории.

— Я уже сказал. Я изучаю личностные профили экоактивистов.

— Патологическая уверенность? — спрашивает Хранитель.

Вовсе нет. Я просто… я хочу узнать что-нибудь о тех, кто… кто верит, что…

— Что растения — тоже личности?

Адам смеется и тут же жалеет об этом. Это все высота.

— Да.

— Думаешь, что, сложив все результаты и проведя какой-то регрессионный анализ…

Женщина тыкает в лодыжку партнера. Тот сразу замолкает, одновременно отвечая на один из двух вопросов, которые Адаму хочется подсунуть в его анкету. Второй вопрос — как они испражняются друг перед другом, в семидесяти ярдах над землей.

От улыбки Адиантум Адам чувствует себя фальшивкой. Она на годы моложе его, но на десятилетия — уверенней.

— Ты изучаешь, почему одни люди принимают живой мир всерьез, когда для всех остальных важны только другие люди. Тебе бы изучать тех, кто думает, будто важны только люди.

Хранитель смеется.

— К слову о патологиях.

На миг солнце над ними замирает. Потом медленно сваливается на запад, обратно в ждущий океан. Полуденный свет омывает пейзаж позолотой и акварелью. Калифорния, американский Эдем. Последние клочки юрского леса, мир, как нигде на Земле. Адиантум пролистывает брошюрку вопросов, хотя Адам просил не подсматривать. Качает головой из-за какой-то наивности на третьей странице.

— Все это не даст тебе ничего важного. Если хочешь нас узнать, давай просто поговорим.

— Ну, — Адама мутит в гамаке. Он может смотреть только на страну площадью в сорок девять квадратных футов под ним.-*- Проблема в том…

— Ему нужны данные. Простые параметры, — Хранитель машет на юго-запад, а там пилами плачет песня прогресса. — Закончите аналогию: опросники для сложных личностей — то же самое, что канатная трелевка для…

Женщина вскакивает так пружинисто, что Адам уверен — сейчас свалится. Наклоняется на бок, пока Хранитель отклоняется в противоположную сторону для противовеса. Они и не замечают своих двойных маневров. Адиантум поворачивается к Адаму. Он так и ждет, что она сейчас спорхнет, как Икар.

— Мне не хватило трех кредит-часов для диплома по актуарной науке. Знаешь, что такое актуарная наука?

— Я… это вопрос с подвохом?

— Наука по замене всей человеческой жизни на ее денежную стоимость.

Адам выдыхает.

— А ты, не знаю, не могла бы присесть?

— Ветра же нет! Но ладно уж. Если можно задать один вопрос.

— Ладно. Только, пожалуйста…

— Что ты можешь узнать о нас через анкету, чего не узнаешь, глядя нам в глаза и задавая вопросы?

— Я хочу знать… — Это испортит опросник. Он будет подавать намеки, которые обесценят любые их ответы. Но почему-то здесь, на вершине этого тысячелетнего бобового стебля, ему уже все равно. Адаму хочется поговорить — хотя давно уже не хотелось. — Имеющиеся данные говорят, что преданность группе берет верх над здравым смыслом.

Адиантум и Хранитель обмениваются усмешками, будто услышали, что наука доказала: атмосфера в основном состоит из воздуха.

— Люди *создают* реальность. Гидроэлектрические дамбы. Подводные морские туннели. Сверхзвуковой транспорт. Попробуй против этого возрази.

Хранитель улыбается, устало.

— Нет, мы не творим реальность. Мы ее только избегаем. Пока. Разграбляя природный капитал и скрывая затраты. Но счет уже идет, и расплатиться мы не сможем.

Адам не может решить, улыбнуться или кивнуть. Только знает, что у этих людей — крошечного меньшинства, не подверженного

общественной реальности, — есть тайна, и он должен ее понять.

Адиантум разглядывает Адама, словно через одностороннее стекло в лаборатории.

— Можно задать еще вопрос?

— Сколько угодно.

— Он простой. Как думаешь, сколько у нас времени?

Он не понимает. Смотрит на Хранителя, но мужчина тоже ждет его ответа.

— Не знаю.

— В глубине души. Когда мы раздолбаем все вокруг?

Ему стыдно за ее слова. Какой-то вопрос для студенческих общаг. Для баров в субботу вечером. Он упустил ситуацию из-под контроля, и все это — незаконное проникновение на частную собственность, подъем, расплывчатая беседа — не стоит двух дополнительных пункта данных. Он отворачивается, глядя на разоренные леса.

— Ну серьезно. Не знаю.

— Ты веришь, что люди расходуют ресурсы быстрее, чем мир их восполняет?

Вопрос настолько далек от реальных расчетов, что теряет смысл. Тут в нем сходит с места какой-то затор, и это как разослепление.

— Да.

— Спасибо! — Она довольна своим ученикомперерослком. Он широко улыбается в ответ. Адиантум придвигается, топорщит брови.

— И как по-твоему, темпы нарастают или снижаются?

Он видел графики. Все видели. Топку только-только раскочегарили.

— Все так просто, — говорит она. — Так очевидно. Экспоненциальный рост в конечной системе ведет к коллапсу. Но люди не видят. А значит, авторитет людей несостоятелен. — Адиантум пронзает его взглядом, в котором сплелись интерес и жалость. Адаму просто хочется, чтобы его колыбель прекратила мотаться. — Дом горит?

Он пожимает плечами. Косо поднимает уголок губ.

— Да.

— И ты хочешь наблюдать за горсткой людей, которые кричат: «Тушите!», пока все остальные с удовольствием смотрят, как все полыхает.

Минуту назад она была субъектом наблюдательного исследования Адама. Теперь же ему хочется ей довериться.

— У этого есть название. Мы это называем эффектом свидетеля. Я однажды допустил смерть

профессора, потому что больше никто в аудитории не встал. Чем больше группа…

— …тем труднее кричать «Пожар»?

— Потому что если бы проблема действительно была, кто-нибудь…

— …а многие уже…

— …пока остальные шесть миллиардов…

— Шесть? А семь не хочешь? Через пару лет — пятнадцать. Мы скоро будем жрать две трети чистой продуктивности планеты. Только за твою жизнь спрос на дерево вырос втрое.

— Нельзя ударить по тормозам, когда ты уже готов врезаться в стену.

— Проще выколоть глаза.

Далекий рев обрывается, снова слышимый в тишине. Все исследование начинает казаться Адаму баловством. Изучать надо болезнь невообразимого масштаба — болезнь, которую ни один свидетель даже не видит, не то что не признает.

Адиантум нарушает молчание.

— Мы не одни. С нами пытаются связаться другие. Я их слышу.

От затылка до копчика у Адама встают дыбом волосы. У него много волос на теле. Но сигнал невидим, потерян в эволюции.

— Кого слышишь?

— Не знаю. Деревья. Жизнь.

— В смысле, они говорят? Вслух?

Она гладит ветку как кота.

— Не вслух. Скорее как греческий хор в голове. — Адиантум смотрит на Адама — лицо простое, будто она только что предложила ему остаться на ужин. — Я умерла. Меня ударило током в кровати. Сердце остановилось. Я вернулась — и уже их слышала.

Адам поворачивается к Хранителю, чтобы убедиться в реальности. Но бородатый пророк только выгибает брови.

Адиантум стучит пальцем по анкете.

— Вот тебе и твой ответ. О психологии спасателей мира?

Хранитель трогает ее за плечо.

— Что безумней — когда растения говорят или когда люди слушают?

Адам не слышит. Он только что настроился на то, что все это время скрывалось на виду. Говорит в пустоту:

— Я иногда разговариваю вслух. С сестрой. Она пропала, когда я был маленький.

— Ну хорошо. Можно исследовать тебя?

Рядом изгибается истина — та, которую его дисциплина не найдет никогда. Само сознание

— это оттенок безумия на фоне мыслей о зеленом мире. Адам протягивает руку, чтобы зафиксироваться, но находит только качающуюся ветку. Он поднят над невероятно далекой поверхностью существом, которому бы, по-хорошему, желать ему смерти. Мозг кружится. Дерево его одурманило. Он снова вращается на тросе толщиной с лозу. Вперяется глазами в лицо женщины, словно его еще может защитить последняя отчаянная попытка прочитать тип личности.

— Что?.. Что они говорят? Деревья?

Она пытается рассказать.

* * *

ПОКА ОНИ ГОВОРЯТ, война перемещается к ближайшему стоку. Отдача каждого нового падения сокрушает Адама, она пробивает целые валы среди оставшихся вели-каков. Он и не воображал такой свирепости — это больше походит на снос небоскреба. Воздух туманится от иголок и измельченной древесины. «Области падения — убийцы, — поясняет Адиантум. — Они ровняют бульдозерами каждую полосу, чтобы деревья не раскалывались. Это убивает почву».

Ниже по склону срывается и разбивается исполин толщиной с рост Адама. Земля на месте удара

разжижается.

ПОД ВЕЧЕР ОНИ ЗАМЕЧАЮТ вдалеке Локи — тот идет через выпотрошенный лес, чтобы забрать психолога через кордон «Гумбольдта». Но что-то в его целеустремленности говорит, что миссия изменилась. У основания дерева он кричит, чтобы ему скинули веревку и ремни.

— Что случилось? — спрашивает Хранитель.

— Поднимете — расскажу.

Они расступаются в тесном гнезде. Он побледнел и не может отдышаться, но не от подъема.

— Мать Эн и Моисей.

— Снова били?

— Мертвы.

Адиантум вскрикивает.

— Кто-то взорвал офис. Они были там, писали речь для митинга у Лесной службы. Полиция говорит, сами подорвались на складе взрывчатке. Обвиняют «Оборонительные силы жизни» в терроризме.

— Нет, — говорит Адиантум. — Нет. Пожалуйста, только не это.

Долгая тишина, но вовсе не тихая. Заговаривает Хранитель.

— Мать Эн — террористка! Да она не разрешала мне шиповать деревья. Сказала: «Человек с пи-

лой может пострадать».

* * *

ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ О МЕРТВЫХ. Как их обучала Мать Эн. Как Моисей попросил посидеть на Мимасе. Поминки на высоте в двести футов. Адам вспоминает то, что узнал в магистратуре: память — всегда соавторский процесс.

Локи спускается, торопясь вернуться к скорбящим на земле.

— Ничего нельзя поделать. Но хотя бы это можно вместе. Идешь? — спросил он Адама.

— Можешь остаться, — говорит Адиантум.

Ученый лежит в болтающемся гамаке, боится шевельнуть и пальцем.

— Я бы хотел посмотреть на темноту отсюда.

СЕГОДНЯ ТЬМА ПЫШНАЯ, ее стоило увидеть. И унюхать: вонь спор и гниющих растений, мхов, заползающих на все, рождающейся почвы, — даже здесь, на высоте многих этажей над Землей. Адиантум варит белые бобы на плитке. Ничего вкуснее Адам не ел с начала исследований. Когда не видишь землю, и высота не так тревожит.

Показываются белки-летяги познакомиться с гостем. Он не против — столпник посреди ночно-

го неба. Хранитель рисует в карманном блокноте при свечном свете. Время от времени показывает наброски Адиантум. «Ах да. В точности они!»

Звуки на всех расстояниях, тысяча громкостей, меццо и мягче. Во тьме бьет крыльями птица с неизвестным Адаму названием. Пронзительные укоры невидимых млекопитающих. Скрип древесины этого высокого дома. Эхо его собственного дыхания. Дыхание двух других людей — до нелепого близко в этой облачной деревне, в их немом бдении. Адама удивляет этот шаг от ужаса до уюта. Женщина впивается в художника, рисующего на остатках свечного света. Часть плеча ловит свечение, кожа голая и прекрасная. Она словно мохнатая или пернатая. Затем чернильный шрифт проступает в два разборчивых слова.

* * *

ОНИ ПРОСЫПАЮТСЯ под рев неподалеку. Под ними люди рыщут в кучах никому не нужных обрезков древесины, переговариваются по рациям.

— Эй, — кричит вниз Адиантум. — Что случилось?

Лесоруб поднимает голову.

— Вы бы лучше валили. Эта хрень идет на вас!

— Какая хрень?

Из рации рвутся помехи. Воздух гудит от натяжения. Дрожат даже лучи света. Над горизонтом поднимается звук хлопков.

— Не верю, — говорит Хранитель. — *Не может быть.*

Через ближайший пригорок перелетает вертолет. Сперва игрушка, но еще полминуты — и дерево колотится, словно тамтам. Зверь кренится. Адам вцепляется в болтающийся гамак. Порыв воздуха дует кощунственным шепотом ему в лицо, когда обезумевший шершень встает на дыбы и жалит.

В дерево бьет ветер — маниакальный и восходящий, — затем обратная тяга. Верхушки секвой становятся гуттаперчевыми, ветки кромсают кроны. Хранитель карабкается на склад за видеокамерой, а Адиантум хватает отломанный сук размером с бейсбольную биту. Вылезает поближе к натиску. Адам кричит: «Назад!» Роторы месят слова в пыль.

Она упирается босыми ногами в ветвь — та, хоть и массивная, а хлещет, как резиновая, на этом вывернутом наизнанку тайфуне. Вертолет наклоняется, и женщина оказывается лицом к лицу с машиной. Та прет на нее, Адиантум бешено размахивает палкой. Хранитель подбирается

сзади, снимая все на камеру.

Вертолет здоровый, с отсеком размером с целое бунгало. Такой огромный, что может поднять дерево старше Америки в небо и потащить через всю страну. Лопасти пенят воздух вокруг фигурки девушки. Внутри стеклопластиковой капсулы сидят двое, спрятавшись за козырьками и шлемами с ремешками на подбородках, трещат по крошечным микрофонам с какой-то далекой базой.

Адам уставился на оптический обман блокбастерной рирпроекции. Он еще никогда не был так близко к чему-то настолько огромному и злобному. Видит миллион его частей — поршни, эксцентрики, лопасти, фланцы, штуки, для которых даже не знает названия, — такое за пределами человеческих сил собрать, не то что придумать. И все же их тысячи, у компаний на каждом континенте. Еще десятки тысяч, вооруженных и опасных, во множестве арсеналов планеты. Самый распространенный хищник в мире.

Ветки хрустят, воздух наполняется мусором. От зверя пышет горелым ископаемым, вонь, как от пылающей нефтяной платформы. Адама тошнит. Рев пронзает барабанные перепонки, убивая любую мысль. Девушку мотает на ее ветке, как

стяг, потом она роняет оружие и держится. Ее оператор теряет равновесие на искусственном шквале — камера падает вниз и разбивается вдребезги. Из вертолета доносится металлический голос, чудовищно усиленный. *Покиньте дерево немедленно.*

Девушку начинает трясти. Долго ей не продержаться. Мимас содрогается. Вопреки здравому смыслу Адам смотрит вниз. Дерево таранят бульдозеры цвета желчи. Мужчины, пилы и машины готовят землю у самых наплывов Мим аса. Он смотрит на Хранителя — тот показывает вниз на другую бригаду работающую над секвойей в двухстах футах от них. Они хотят обрушить ее рядом с Мимасом. Адиантум обхватывает ногой ветку, норовящую ее сбросить. Вертолет орет: *Спускайтесь сейчас же!*

Адам кричит и размахивает руками. Выкрикивает то, что сам не слышит за всем безумием. «Хватит. Свалите на хрен!» Он не будет свидетелем этой смерти.

Вертолет зависает, потом подает в сторону. Из динамиков слышится голос: *Закончили?*

— Да! — кричит Адам.

Слог пробуждает Хранителя из транса. Он смотрит на Адиантум — та вцепилась в ветку,

всхлипывает. Не осталось путей, кроме здравого смысла. Хранитель запрокидывает голову — и работа прекращается. Внизу бригадир совещается по рации с невидимой сетью. Новый треск из вертолета: *Спуск подтвержден. Уходите.* Летающий хищник задирает нос и разворачивается. Ветер прекращается. Оглушающий шум затихает вдали, не оставляя ничего, кроме мира и поражения.

Они слезают в ремнях: перепуганный психолог, стоический художник, затем — пророчица, чье лицо, когда она спускается на двести футов, в растерянности. Их арестовывают и ведут по изрубленному склону к лесовозной дороге, уже подползшей на несколько сот ярдов к основанию Мимаса. Они сидят в грязи и часами ждут полицию. Потом офицеры расторопно их упаковывают, троих в ряд, на заднее сиденье патрульной машины.

Лесовозная дорога ползет по оврагу. Трое пленников оглядываются на оголенный хребет, на очертания великого древа, лишь вдвое моложе христианства. Голос ниже стрекота вертолета что-то говорит, но его никто не слышит, даже Адиантум.



ПОКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ УДЕРЖИВАЮТ, Патриция Вестерфорд начинает переговоры с консорциумом четырех университетов для учреждения Глобального хранилища рассадной зародышевой плазмы. Пара заявлений — и «Рассада» становится юридическим лицом.

— Пора, — говорит доктор Вестерфорд разным публикам, у которых надо собирать средства на климат-контроль, высокотехнологические залы и обученный персонал. — Давно пора сохранить те десятки тысяч видов растений, что исчезнут еще при нашей жизни.

Она дошла до того, что эти предложения сами слетают у нее с языка. Через два месяца она направляется на юг, на первую исследовательскую экспедицию в бассейн Амазонки. Еще тысяча квадратных миль леса исчезнет раньше, чем она до него доберется. Когда Патриция вернется, ее будет ждать обед от Денниса.

ПОКА ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ИЗОБРАЖАЮТ СОН, Нилай Мехта наслаждается лучшими часами творения. Из постели в кабинете он издает приказ эльфам «Семпервиренс» о сути «Господства 8»:

Как не дать нескольким миллионам игроков уйти? Мир должен быть полнее и перспективнее их жизни офлайн… Представьте себе, как миллионы пользователей сообща обогащают мир каждым своим действием. Помогите им построить такую прекрасную культуру, что им будет больно ее потерять.

* * *

В ИНОМ МЕСТЕ У ДРУГОЙ ЖЕНЩИНЫ начинается свой, особый тюремный срок. Кровотечение в мозгу ее мужа захватывает и ее. Она звонит 911. Едет в скорой, ночь теплая. В больнице подписывает осведомленное согласие, хотя больше никогда не почувствует себя осведомленной. Идет к нему после первой операции. То, что осталось от Рэя Бринкмана, лежит в регулируемой койке. У него убрали половину черепа, мозг заклеили лоскутом скальпа. Из него торчат шланги. Лицо Рэя застыло в ужасе.

Никто не скажет Дороти Казали Бринкман, сколько он таким еще будет. Неделю. Еще полвека. В первые ночи, во время бдения в реанимации, ее посещают разные мысли. Страшные. Она останется, пока его не стабилизируют. После этого

надо спасаться.

Снова и снова она слышит, что кричала всего за несколько часов до того, как рухнул его мозг. «Все кончено, Рэй. Все кончено. С нами двумя кончено. Я за тебя не отвечаю. Мы друг другу не принадлежим и никогда не принадлежали».

В ТЮРЬМЕ, ВОРОЧАЯСЬ НА ВЕРХНЕЙ КОЙКЕ, Адам видит, как великие секвойи взрываются, словно ракеты на стартовых площадках. Его исследование цело — все драгоценные данные опросников, собиравшиеся месяцами, — но не он. Он начал видеть в вере и законе то, что скрывалось за простором здравого смысла. Тюремный срок без предъявления обвинений помогает прозреть.

— Ты видишь их план, — говорит Хранитель. — Они не хотят судить нас ценой огласки. Просто пользуются юридической системой, чтобы потрепать как можно сильнее.

— А разве нет закона?..

— Есть. Они его нарушают. Они могут продержать нас без обвинения семьдесят два часа. Срок закончился вчера.

Адам вдруг понимает, откуда появилось слово «радикал». Radix. Wrad. «Корень». Растения, планеты, мозг.

НА ЧЕТВЕРТУЮ НОЧЬ В КАМЕРЕ Нику снится Каштан Хёлов. Он наблюдает, как тот, ускоренный в тридцать миллионов раз, раскрывает свой невидимый план. Вспоминает во сне, на тонком матрасе, как дерево машет набухающими руками в ускоренной съемке. Как эти руки испытывают все вокруг, исследуют, подстраиваются под свет, пишут послания в воздухе. Во сне дерево над ними смеется. «Спасти нас? Как это по-человечески». Даже смех занимает годы.

ПОКА СПИТ НИК, спит и лес — все девятьсот видов, опознанных людьми. Четыре миллиарда гектаров, от бореальных до тропических, — главный вид бытия Земли. И, пока мировой лес спит, люди собираются в общественном лесу одного северного штата. Четыре месяца назад поджог очернил десять тысяч акров в месте под названием Дип-Крик — один из множества удобных пожаров того года. Он подает Лесной службе идею устроить распродажу слегка поврежденную, все еще не срубленной древесины. Преступника так и не нашли. Никто и не хочет его найти. Никто, кроме нескольких сотен хозяев леса, которые и собираются на распроданных рощах с табличками. У Мими написано «НИ ОДНОЙ ПОЧЕРНЕВШЕЙ ПАЛКИ». У Дугласа — «СКАЖИ, ЧТО ВСЕ НЕ ТАК,

СМОКИ»[56].

АДАМА, НИКА И ОЛИВИЮ удерживают без привлечения к суду на два дня дольше положенного. Им грозят десятками обвинений, только чтобы снять все в одночасье.

Мужчины встречают Адиантум у ворот. Видят в окошко проволочной сетки, как она идет по женскому крылу с бродяжническим комком вещей в руках. И вот она уже налетает, обнимает. Отступает и щурит огненно-зеленые глаза. «Хочу увидеть».

Они едут на машине Адама, хотя ему кажется, та уже чужая. Лесорубы пропали; валить больше нечего. Давно уехали к новым рощам. Их отсутствие очевидно за милю. Где когда-то было зеленое плетение текстур, что ты мог изучать целый день напролет, теперь осталась только синева. Дерева, обещавшего Оливии, что никто не пострадает, нет.

«Сейчас, — думает Адам. — Сейчас она декомпенсирует. Впадет в гнев».

У основания она протягивает руку, касается какого-то окончательного доказательства, в

---

[56] Примечания: 56

Исторический слоган. *Медведь Смоки* — символ Лесной службы. На этом плакате Смоки прячет за спиной бензопилу.

изумлении.

— Посмотрите! Даже пень выше меня.

Касается края поразительного пореза и рыдает. Ник делает шаг к ней, но она не подпускает его к себе. Адам обязан увидеть каждый ее спазм. Есть утешения, которые не может дать даже сильнейшая человеческая любовь.



— КУДА ТЕПЕРЬ? — спрашивает Адам, взяв яичницу на завтрак в придорожной забегаловке.

Адиантум смотрит в широкое окно, где вдоль тротуара на обочине растут кистистые платаны. «И они поводят пальцами в воздухе. Машут и пахнут, как церковный хор».

— Мы на север, — отвечает она. — Что-то стряслось в Орегоне.

— Сопротивление, — говорит Хранитель. — Повсюду. Мы им там пригодимся.

Адам кивает. Этнография закончена.

— Это… *они* сказали? Твои… голоса?

Она коротко, бешено хохочет.

— Нет. Помощница шерифа одолжила свое радио для бега. Кажется, она на меня запала. Езжай

с нами.

— Ну. Мне надо закончить исследование. Диссертацию.

— Там и закончишь. Там полно тех, кого ты так хочешь изучить.

— Идеалистов, — говорит Хранитель.

Адам не понимает его выражения. То ли на дереве, то ли в узкой камере психолог утратил способность отличать сарказм от серьезности.

— Немоту.

— Ну. Что ж. Не можешь так не можешь. — Может, Адиантум ему сочувствует. Может, окончательно добивает. — Еще встретимся. Когда приедешь.

ПРОКЛЯТИЕ СЛЕДУЕТ ЗА АДАМОМ в Санта-Круз. Он неделями обрабатывает данные. Почти двести человек ответили на двести сорок вопросов Обновленного личностного опросника. А также заполнили его особую анкету на тему убеждений, в том числе по поводу отношения к человеческому праву на природные ресурсы, масштабу личности и правам растений. Оцифровка результатов проста. Адам пропускает данные через разные программы анализа.

С итогом знакомится профессор Ван Дейк.

— Хорошая работа. Долго ты. Случилось что-ни-

будь интересное во время работы в поле?

Точно что-то случилось с его либидо. Профессор Ван Дейк хороша как никогда. Но для Адама она словно из другого вида.

— Пять дней в тюрьме считаются за интересное?

Она думает, это шутка. Он не разубеждает.

В ДАННЫХ ВЫЯВЛЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ тенденции темперамента радикальных экоактивистов. Главные ценности, чувство идентичности. Материал всего по четырем из тридцати личностных факторов, измеряемых опросником, предсказывает с удивительной точностью, верит ли человек или нет, что «лес заслуживает защиты вне зависимости от ценности для людей». Адам хочет проверить самого себя, но теперь тест уже ничего ему не скажет.

У себя в квартире после десяти часов в компьютерной лаборатории Адам включает телевизор. Нефтяные войны и насилие в сектах. Еще рано ложиться, хотя только этого ему и хочется. Он все еще находится высоко над землей, в руках уже несуществующего дерева, слушает скрип высокого дома и пение птиц, чьи имена хотел бы знать. Пытается читать роман — что-то о привилегированных людях, которым трудно поладить между

собой в экзотических местах. Швыряет книгу в стену. В нем что-то сломалось. Умер аппетит к человеческому эгоизму.

Он направляется в любимое местечко аспирантов, где употребляет пять стаканов пива, девяносто шесть децибелов бласт-бита и сто минут синусоидных волн баскетбола размером со стену в обществе двадцати мгновенных друзей. Вырвавшись из кокона развлечений, перегруппировывается на парковке бара. Он не настолько напился, а потому не думает, что может водить, но по-другому домой не добраться.

Здание плещет волнами симулированного веселья, а по Кабрильо ревет парад масл-каров. Женщина под уличным фонарем кричит в пустоту: «Чтоб я сдохла из-за того, что хотя бы *пытаюсь* тебя понять». На другой стороне переулка люди ждут в очереди, когда их впустят на какое-то позднее мероприятие только для своих, куда Адаму, ожившему при виде мини-толпы, вдруг срочно надо попасть. Очередная человеческая иррациональность, о которой он все знает, но слишком опьянел, чтобы вспомнить название. Он проходит полквартала, в спину толкает огромная волна, что питается собой, разбрасывая отходы: пузыри, геноциды, крестовые походы,

мании в диапазоне от пирамид до камней-питомцев, — отчаянный бред культуры, от которого одной недолгой ночью, высоко над Землей, Адам пробудился.

На углу он прислоняется к уличному фонарю. От него с трудом пытается сбежать факт — он чувствовал его давно, но не мог сформулировать. Почти все потребности людей создаются рефлексами, фантазмами и демократическим комитетом, чья работа — превращать необходимости одного года в гаражную распродажу следующего. Адам вваливается в парк, где полно народа, радующегося веселью и ночи. От воздуха слегка несет влажными салфетками, травкой и сексом. Всюду — голод, а единственная еда — соль.

По голове бьет что-то твердое, падает и откатывается на пару футов. Адам приседает и потемках шарит руками по траве. Виновник — таинственная пуговица промышленного размера, на ее плоской поверхности — идеальный крест. Похоже, ее следует открывать большой крестовой отверткой, вид у нее стимпанковский — хитроумный, викторианский, мастерски исполненный. Вот только сделана она из дерева.

Вещь слишком странная, для нее не хватает

слов. Адам рассматривает ее целую минуту, снова понимая, что ничего не знает. Ничего вне своего рода. Поднимает глаза на ветки гибкого эвкалипта, откуда выпала загадка. Толстый кряж начал свой фирменный стриптиз. Основание засыпано листами коричневой тонкой коры, обнажая ствол такой белый, что даже неприлично.

— Что? — спрашивает он дерево. — *Что?*

Дерево не видит необходимости отвечать.



ОДИННАДЦАТЬ МИЛЬ ДОРОГИ ЛЕСНОЙ СЛУЖБЫ так великолепны, что аж страшно. Адам следует по просеке, поднимаясь вместе с хвойными стражами — от ели до болиголова, от болиголова до пихты Дугласа, тиса, можжевельника, трех видов настоящих пихт, и все он называет «елками».

Стипендия на годовую работу над диссертацией — дар богов — и вот как он ее тратит. Рюкзак давит на бедра. Над ним, в синеве, солнце делает вид, будто больше никогда уже не скроется. Но свежий воздух и ранние тени на серпантине намекают, что нет. Пара недель — и работа будет

закончена. Но сперва это: последние оттягивающие исследования.

По расстоянию на северо-западе больше лесовозных дорог, чем шоссе. Больше лесовозных дорог, чем ручьев. Хватит, чтобы десяток раз обойти Землю. Стоимость их прокладки не облагается налогами, и ветки растут быстро как никогда, словно у пробившегося только что источника. Наконец изгибы просеки расширяются, появляется поселение. У края лагеря заняли последний рубеж цветастые люди, где-то под сотню, в основном — молодежь. Адам приближается; проясняется их занятие. Общественное рытье траншей. Анархическая постройка подъемного моста. Из валежника возводятся частоколы и колья. Взгляд на ров поперек перерубленной дороги — и стяг объявляет:

Свободный Биорегион Каскадия

Слова пускают стебли и корни. На растительности шрифта сидят птицы. Адам узнает стиль, знает художника. Входит в крепость из «Бревен Линкольна»[57] через подъемный мост над

[57] Примечания: 57

«Бревна Линкольна» — название американской игрушки-конструктора, придуманной в 1916 году.

незаконченным окопом. Сразу за укреплениями посреди дороги лежит человек в камуфляже, с хвостом и залысинами. Правая рука вытянута вдоль бока, как у отдыхающего Будды. Левая — исчезла в яме.

— Приветствую, двуногий! С добром пришел или с худом?

— Вы как?

— Меня зовут Дуг-пихта. Просто проверяю новый запор. На шесть футов под нами — нефтяной бак, залитый бетоном. Если захотят меня сдвинуть, придется оторвать руку!

Из гнезда на вершине треножника из связанных бревен посреди дороги Дуга окликает миниатюрная темноволосая и этнически непознаваемая девушка:

— Все в порядке?

— Это Шелковица. Думает, ты фредди.

— Что такое «фредди»?

— Просто проверяю, — говорит Шелковица.

— «Фредди» — это федералы.

— Он вряд ли фредди. Я просто…

— Наверное, из-за рубашки и чинос.

Адам смотрит на гнездо девушки.

— Они не смогут проехать по этой дороге, не сбив и не убив меня, — говорит она.

Парень с рукой в земле цокает языком.

— Фредди так не поступят. Для них жизнь священна. По крайней мере, человеческая. Венец творения и все такое. Сентиментальность. Лишняя брешь в броне.

— Если ты не фредди, — спрашивает Шелковица, — тогда кто?

Адам вспоминает то, о чем он не думал десятки лет.

— Я — Клен.

Шелковица чуть криво улыбается, будто видит его насквозь.

— Хорошо. Кленов у нас еще не было.

Адам отворачивается, гадая, что сталось с тем деревом.

Его дворовым вторым «я».

— Вы знаете кого-нибудь по имени Хранитель и Адиантум?

— Еще бы, — отвечает человек, прикованный к Земле.

Девушка на треножнике ухмыляется.

— У нас нет вожаков. Но есть эти двое.

СОКАМЕРНИКИ ВСТРЕЧАЮТ АДАМА так, будто знали, что он идет. Хранитель хлопает его по плечам. Адиантум обнимает — долго.

— Хорошо, что ты здесь. Ты нам пригодишься.

Они изменились, но так незаметно, как не отследить ни одному личностному тесту. Стали угрюмей, решительней. Смерть Мимаса сжала их, как сланец в уголь. При виде их преображения Адам жалеет, что не выбрал другую тему. Стойкость, имманентность, божественность — эти качества его дисциплина, как известно, измеряет так себе.

Она хватает его за руку.

— У нас есть церемония, когда присоединяются новенькие.

Хранитель окидывает взглядом рюкзак Адама.

— Ты же присоединяешься?

— Церемония?

— Все просто. Тебе понравится.

В ОДНОМ ОНА ПРАВА: ВСЕ ПРОСТО. Все происходит тем же вечером на широком лугу за стеной. Свободный Биорегион Каскадия собирается при полном параде. Десятки людей в клетчатом и гранжевом. Развевающиеся хиппарские юбки в цветах с флисовыми жилетами. Не все в пастве молоды. Стоит в трениках и кардиганах пара крепких abuelas[58]. Церемонию проводит бывший священник-методист. Ему под девяносто,

[58] Примечания: 58
Старики *(исп.).*

на шее ожерельем идет шрам с тех пор, как он привязался к лесовозу.

Начинают с песен. Адам борется с ненавистью к добродетельному пению. От косматых любителей природы и их банальностей с души воротит. Ему стыдно, словно он вспоминает детство. Люди по очереди рассказывают о задачах дня и предлагают решения. Вокруг расползаются аляповатые краски импровизированной демократии. Может, оно и ничего. Может, массовое вымирание оправдывает смутность. Может, и от простодушия в спасении его раненого вида будет польза. Кто Адам такой, чтобы судить?

Бывший священник говорит:

— Мы приветствуем тебя, Клен. Мы надеемся, ты останешься, сколько сможешь. Пожалуйста, если к тому лежит твоя душа, повторяй за мной. «С этого дня и впредь…»

— «С этого дня и впредь…» — Как тут не повторять, когда на него собралось посмотреть столько людей.

— «…я посвящаю себя уважению и защите…» — «.. я посвящаю себя уважению и защите…» — «…общего дела всего живого».

Не самые разрушительные слова, что он говорил, и не самые жалкие. Что-то отдается в

голове — цитата, которую он однажды выписал. «Хороша… хороша любая мера…»[59] Но никак не вспоминается. Вокруг его последнего эхо раздается ликование. Люди начинают складывать большой костер. Полыхает высоко, широко и рыже, обугливающееся дерево пахнет детством.

— Ты психолог, — говорит Мими новобранцу. — Как убедить людей, что мы правы?

Новоиспеченный каскадец рискует.

— Даже лучшие доводы в мире не заставят их передумать. Это может сделать только хорошая история.

Адиантум рассказывает историю, которую остальные знают наизусть. В начале она умерла, и не было ничего. Потом вернулась, и было все, и создания света рассказывали ей, что самые чудесные итоги четырех миллиардов лет жизни нуждаются в ее помощи.

Пожилой кламатец с длинными седыми волосами и очками, как у Кларка Кента, кивает. Выходит для благословения. Поет старые песни и учит всех паре слов из кламат-модока.

---

[59] Примечания: 59

«Хороша любая мера, способствующая сохранению целостности, стабильности и красоты биотического сообщества» — Олдо Леопольд «Календарь песчаного графства» (A Sand Country Almanac, 1953), пер. И. Гуровой.

— Все, что здесь происходит, уже было известно. Наш народ давно сказал, что этот день настанет. Рассказывали, что лес будет умирать и люди вдруг вспомнят всю свою семью.

И полночи эксцентрики сидят вокруг огня, смеются, и слушают, и шепчутся, и воют на луну, сияющую за шпилями елей.

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ — ЧИСТЕЙШИЙ ТРУД. Окопы надо расширять и углублять, стену — укреплять. Адам машет молотком часами. К вечеру валится с ног. Ест вместе с четырьмя друзьями, что кажутся ему юнгианской архетипной семьей: Адиантум — мать-Жрица; Хранитель — отец-Защитник; Шелковица — дитя-Ремесленник; и Дуг-пихта — дитя-Шут. Адиантум — клей, очаровывает всех в лагере. Адам дивится ее неприступному оптимизму даже после тех разгромов, что она потерпела. Она говорит с авторитетом человека, уже видевшего будущее — видевшего с высоты.

Его принимают тем же вечером — простодушное пятое колесо. Он не понимает, какова его роль в этом сплоченном отчаянием клане. Дуг-пихта зовет его профессор Клен — им он и становится. Тем вечером Адам засыпает в глубоком забвении изможденного волонтера.

Свои страхи он озвучивает через два вечера, за консервной банкой тушеной фасоли, подогретой на костре из шишек.

— Уничтожение федеральной собственности. Это не шутки.

— О, ты уголовник, дружок, — говорит Дугпихта.

— Насильственное преступление.

Дуглас отмахивается.

— Я уже насовершался настоящих насильственных преступлений. По заказу правительства.

Шелковица сжимает его тыкающую руку.

— Вчерашние политические преступники — на сегодняшних почтовых марках!

Адиантум где-то далеко, в другой стране. Наконец она произносит:

— Это не радикально. Радикальное я уже видела.

И тогда Адам тоже это видит. Живой и дышащий склон горы, раздетый догола.

ПРИБЫВАЮТ ПРИПАСЫ, купленные на пожертвования сторонников. Лагерь — частичка сети, расползающейся по штату. Ходят рассказы об армии, идущей рука об руку по улицам столицы. Голодном забастовщике, сидящем сорок дней и ночей на ступенях Окружного суда в Юджине.

Духе Леса, одетом в одеяло из серых лоскутов, который прошел сотню миль на ходулях по шоссе 58.

Той ночью, лежа в спальнике, прижавшись к Земле, Адаму хочется вернуться в Санта-Круз и доделать диссертацию. Любой может копать ров, строить валы, приковываться. Но только он может закончить свой проект и описать во взвешенных фактах, почему людей вообще волнует, выживет лес или умрет. Но он остается еще на день, становится чем-то новеньким — собственным объектом исследований.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ ДЛИТСЯ ОККУПАЦИЯ, тем дольше приходится идти журналистам со всех краев страны. Отряд в фургоне Лесной службы просит разойтись. Свободные каскадцы встают шеренгой и прогоняют их несолоно хлебавши. Заглядывает послушать пара людей в костюмах из офиса местного конгрессмена. Обещают донести их жалобы до Вашингтона. Их визит восторгает Шелковицу.

— Если заявляются политики, значит, дело сдвинулось с мертвой точки.

Адам — Клен — соглашается.

— Политики хотят на сторону победителей. Держат нос по ветру.

— Земля побеждает всегда, — бормочет Шел-

ковица.

Однажды ночью по дороге хлещут фары, гремят выстрелы. Через три дня перед баррикадами появляются потроха оленя.

В СОТНЕ ФУТАХ ОТ ПОДЪЕМНОГО МОСТА встает громоздкий «F-35 °Супер-Дьюти». Двое в оливковых охотничьих куртках с высокими воротами. Водитель — молодой, с опрятной эспаньолкой — мог бы быть секс-символом из журнала.

— И что у нас здесь? Любители цветочков! Ага — понятно!

— Мы просто защищаем все хорошее, — кричит девушка по имени Триллиум.

— Может, будете защищать что-нибудь свое, а мы уж сами защитим свою работу, свои семьи, свои горы и свою жизнь?

— Деревья не принадлежат никому, — говорит Дуг-пихта. — Деревья принадлежат лесу.

Открывается пассажирская дверца, выходит человек постарше. Встает перед машиной. Когда-то давным-давно, в другой жизни, Адам ходил на семинар по психологии кризиса и конфликта. Теперь он не помнит ничего. Мужчина высокий, но сутулый, седые волосы ниспадают на лицо. Он как большой гризли, вставший на задние лапы. В его руке что-то бликует. Адам думает: «Пистолет.

Нож. Беги».

Старик опирается слева на бампер и поднимает металлическое оружие. Но эта угроза мягкая, философская, озадаченная, а оружие — только металлическая рука.

— Я потерял руку по локоть, когда рубил здесь деревья.

— А у меня от работы синдром белых пальцев, — кричит из кабины секс-символ. — Слышали про такую штуку — работа? Делать то, что надо другим?

Старик опускает здоровую руку на капот и качает головой.

— Чего вы хотите? Мы же не можем жить без древесины.

Появляется Адиантум, переходит подъемный мост. Стоячий гризли отступает на шаг.

— Мы не знаем, что люди могут, а чего не могут, — говорит она. — Мы еще так мало пробовали!

Ее вид приводит бородатого водителя в какое-то исступление.

— Нельзя ставить какие-то доски выше жизни порядочных людей.

Он в шоке; он ее хочет. Это Адам видит и с сотни футов.

— Мы и не ставим, — говорит она. — Мы не ставим деревья выше людей. Люди и деревья — вместе.

— Это еще что за хрень?

— Если бы люди знали, из чего делаются деревья, они были бы намного, намного благодарнее за жертву. И благодарны, что людям столько не нужно.

Какое-то время она с ними беседует. Говорит:

— Нам нужно перестать жить как гости. Нужно жить, где мы живем; снова стать местными.

Человек-медведь пожимает ей руку. Идет обратно к пассажирской двери и садится. Когда монстр-трак разворачивается, водитель кричит воинству за мостом:

— Любите свои цветочки на здоровье! Вас еще всех порвут.

И уносится в фонтане гравия.

«Да, — думает Адам. — Скорее всего. А потом планета порвет порывальщиков».

ИДЕТ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПРОТЕСТА. Насколько видит Адам, все уже давно должно было развалиться. Безнадежная некомпетентность идеалистского характера уже должна была упереться в тупик. Но Свободный Биорегион живет и здравствует. По лагерю расходится слух, будто

о протесте услышал президент — *Соединенных Штатов* — и уже готов приостановить все федеральные продажи спасенной древесины, особенно из-за поджога, пока не будет пересмотрена политика.

Яркий прохладный день, два часа после солнечного зенита. Хранитель раскрашивает всем лица для вечера историй у костра. Ниже по склону кто-то трубит в альпийский рожок, словно древняя мегафауна при виде заходящего солнца. На хребет приносится марафонец по имени Куница, входит трусцой в лагерь.

— Они идут.

— Кто? — спрашивает Хранитель.

— Фредди.

И вот, день настал. Они выходят к гласису, где уже закончены стена и ров. Ниже, по лесовозной дороге, по которой когда-то давно поднимался Адам, ползет конвой, полный людей в униформе четырех разных цветов и покроев. За ведущим фургоном Лесной службы следует исполинский экскаватор, переделанный для атаки. За ним — больше техники, больше фургонов.

Свободные каскадцы в боевой раскраске стоят и смотрят. Затем восьмидесятилетний священник со шрамом-ожерельем говорит:

— Ну все, народ. Мобилизуемся.

Они занимают позиции, окапываются, поднимают мост, встают на стене или отступают на обороноспособные позиции. Скоро конвой у ворот. Двое из Лесной службы выходят из первого фургона и встают перед частоколом.

— У вас десять минут, чтобы уйти мирно. После этого вас отправят в место заключения.

На валах все разом кричат. Предводителей нет — должен быть услышан каждый голос. Движение месяцами жило этим принципом, а теперь по нему и умрет. Адам ждет перерыва в граде слов. А потом кричит и он.

— Дайте нам три дня — и все уладится мирно, — к нему поворачиваются головы конвоя. — К нам приходили из офиса конгрессмена. Президент готовит приказ.

Как быстро он завоевал их внимание, так же быстро и потерял.

— У вас десять минут, — повторяет офицер, и политическая наивность Адама умирает. Действия Вашингтона — не решение этого столкновения. *А причина.*

Через девять минут сорок секунд длинношеий рептильный экскаватор раскачивает надо рвом таран и бьет по верхушке стены. С валов

слышатся крики. Защитники в боевой раскраске скатываются и бегут. Адам торопится, но его сбивает на землю. Ковш снова колотится в стену. Щелкает, как рука, и шлепает по подъемному мосту. Еще тычок — и мост срезан. Два резких взмаха по столбам обрушивают всю преграду. Месяцы работы — самые внушительные баррикады, что могли возвести в Свободном Биорегионе, — рассыпаются, как детский замок из палочек от леденцов.

Зверь подъезжает к окопу и сгребает мусор с противоположной стороны. Экскаватору хватает всего минуты, чтобы соскрести бревна из разваленной стены и скатить их в ров. Гусеницы едут по земле и упавшему частоколу. Каскадцы, со стекающей боевой раскраской, высыпают, как термиты из развороченного муравейника. Одни направляются к дороге. Несколько взывают к нападавшим с доводами и мольбами. Адиантум начинает скандировать: «Задумайтесь! Есть лучший путь!» Полиция из конвоя — везде, заламывает и валит на землю.

Речевки сменяются на «Ненасилие! Ненасилие!»

Адам падает быстро, сбитый громадным копом с такой розацеа, что он сам похож на раскра-

шенных эковоинов. В двухстах футах от него, на эскарпе, Хранителя бьют дубинкой по ногам, он скользит по гальке на синем лице. Остаются только прикованные. Экскаватор замедляет свой натиск по дороге. Доходит до первого треножника и тыкается ковшом в основание. Треножник покачивается. Полиция отворачивается от зачистки, посмотреть. Шелковица в своем вороньем гнезде обхватывает руками трясущиеся шесты. Каждый шлепок ковша по основанию конуса мотает ее, как манекен для аварии.

— Господи. Хватит! — кричит Адам.

Крик подхватывают другие — по обе стороны битвы. Даже Дуг из своего ложа на дороге.

— Мим. Все кончено. Спускайся.

Ковш шлепает по основанию типи. Три бревна рамы стонут и подгибаются. Ужасный скрип — и одно трещит. Трещина зарождается на глубине в сотню колец в цилиндре лигнина и распахивается наружу. Пихта рвется, раскалывая свою верхушку в виде кола панджи.

Мими кричит, ее воронье гнездо падает. Разорванный шест пронзает ей скулу. Она отскакивает от кола и опрокидывается, скатывается по древесине и бьется о камень внизу. Дуглас отцепляется от замка и бежит к ней. Водитель

экскаватора в ужасе отдергивает ковш, словно ладонь, заявляющую о невиновности. Но в этом обратном взмахе сшибает парня, упавшего, как марионетка с подрезанными нитками.

Война за Землю прекращается. Обе стороны спешат к раненым. Мими визжит и сжимает лицо. Дуглас лежит без сознания. Полиция бежит к каравану и сообщает о травмах. Ошарашенные граждане рухнувшего Свободного Биорегиона сбиваются в ужасе. Мими перекатывается на бок в позе эмбриона и открывает глаза. Небо нанизано на деревья всех оттенков зеленого, от нефритового до аквамаринового. «Смотри на цвет», — думает она, а потом тоже теряет сознание.

АДАМ НАХОДИТ АДИАНТУМ И ХРАНИТЕЛЯ в мельтешащей толпе, подсчитывающей урон. Адиантум показывает на пригорок, где четыре мятежницы еще лежат поперек дороги, прикованные к земле.

— Мы еще не проиграли.

— Проиграли, — говорит Адам.

— Теперь они не посмеют вырубать эти деревья. Когда об этом пронюхает пресса.

— Посмеют. — И эти, и другие древние, пока все леса не станут участками под застройку или

фермами.

Адиантум качает грязными прядями.

— Эти женщины могут оставаться прикованными, пока Вашингтон не примет меры.

Адам ловит взгляд Хранителя. Правда слишком ужасна, чтобы ее сказал даже он.

ВЕРТОЛЕТ ЗАБИРАЕТ РАНЕНЫХ в центр травмы второго уровня в Бенде. Дугласу сразу же проводят операцию на переломе по типу Ле Фор III. Мими заправляют лодыжку и латают глазницу. Реаниматологи мало что могут поделать с бороздой на щеке, но зашивают до дня, когда ей смогут заняться пластические хирурги.

Фредди не выдвигают обвинений против сквоттеров. Сажают только последних четырех женщин, продержавшихся еще тридцать шесть часов. Затем оставшиеся граждане Свободного Биорегиона Каскадии покидают холм, и добыча ресурсов продолжается.

И все-таки: двадцать восемь дней спустя загорается гараж с техникой в Национальном лесу Уилламетт.



ЭТО ПОНАРОШКУ. Не больше чем театр, симуляция, пока они не видят последствия.

В газетах публикуют снимок: пожарный и два рейнджера осматривают обугленный экскаватор. Пятеро пускают снимок по столу в столовой Мими Ма. К ним присоединяется мысль — подпольно, как теперь часто делают мысли. «Твою мать. Это же мы».

Долгое время слова не нужны. Их общее настроение мотается, как волатильные акции. Но устаканивается в пассивном вызове.

— Получили, что заслужили, — говорит Мими. Из-за двадцати двух швов на лице каждое слово жжет. — Мы квиты.

Адам не может смотреть на нее, да и на Дугласа, тоже с перебинтованной мешаниной вместо лица. Адам хотел отомстить технике, чуть не ослепившей одну и обезобразившей второго. Расплата за человеческий садизм. Теперь он не знает, чего хочет или как этого получить.

— Вообще-то, — говорит Ник, — им еще платить и платить.

ЭТО ПРОСТО ОТЧАЯНИЕ. Но потребность в правосудии — как владение или любовь. Если подпитывать ее, она только растет. Через две недели после гаража они атакуют лесопилку под

Соласом, штат Калифорния, месяцами работавшую при отозванной лицензии и уложившей штраф в недельную прибыль. Женщина, которая слышит голоса, говорит, как должно пройти нападение. Обученный наблюдатель встает на дозор. Инженер превращает два десятка пластиковых бутылок молока во взрывчатку. Ветеран берет на себя детонацию. Психолог поддерживает в них силы. Смертоносная машинерия горит лучше, чем они ожидали. В этот раз они оставляют послание на стене ближайшего склада — не тронутого, потому что хранит невинную древесину. Буквы искусные, даже вычурные:

НЕТ
САМОУБИЙСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
ДА НАСТОЯЩЕМУ РОСТУ

Они сутулятся за столом Шелковицы, будто готовы сдавать колоду карт. Теперь философия и другие тонкости им не помогут. Рубикон перейден, дело сделано; слова не имеют значения. И *все-таки* они не могут перестать говорить, пусть предложения и не длинные. Все-таки они спорят, когда вывод спора давно пропал в зеркале заднего вида их фургона.

Адам наблюдает за соучастниками по поджо-

гу, подмечает вопреки себе. Шелковица рубит воздух в замедленном движении. Опускает край ножа на раскрытую ладонь в четком выводе.

— Я как будто два года подряд на нескончаемых похоронах.

— С тех пор, как сняли шоры, — соглашается дитя-шут.

— Все протесты. Все письма. Все побои. Орали, срывая голос, но никто не слышит.

— Мы за две ночи добились больше, чем за годы стараний.

Адам больше не умеет мерить достижениями. Что они делают — *что делал он,* — так это просто ненадолго притупляют боль, чтобы выдержать.

— Больше это не похороны, — говорит Мими.

— Не самый трудный выбор, — говорит Ник. Его голос затихает, застигнутый врасплох засадой здравого смысла. — Мы уничтожаем немного техники — или эта техника уничтожает много жизни.

Психолог слушает. В человеческом сердце есть и другие, куда более глубокие обманы. Он бросил жребий ради потребности спасти то, что можно спасти. Нужно отыграть хоть сколько-то времени у наползающего апокалипсиса. Больше этого ничто не имеет значения. Вот и ответ для его

диссертации.

Оливии достаточно только опустить подбородок — и остальные замолкают. Ее власть над ними растет с каждым преступлением. Она приложила руку к пню размером с часовню. Она наблюдала, как умирает лес старше ее собственного рода. Она внимала советам от чего-то больше человека.

— Если мы ошибаемся, мы заплатим. Они не могут отнять больше, чем наши жизни. Но если мы правы? — Она опускает взгляд, задумавшись. — А все живое говорит мне, что мы правы…

Мысль пояснять не нужно. На что не готов человек, чтобы помочь самым чудесным результатам четырех миллиардов лет творения? Пока Адам задается этим вопросом, он понимает и кое-что еще: они впятером идут на очередную вылазку. *Еще одну.* Она должна быть последней. Потом они разойдутся, сделав то немногое, что могли, чтобы помешать человечеству убить само себя.

АДАМ САМ НАХОДИТ СЮЖЕТ: «Лесная служба ищет проекты многократного использования». Тысячи акров общественных земель в Вашингтоне, Айдахо, Юте и Колорадо в аренду для частных спекулянтов и девелоперов. Расчистка лесов под новую финальную прибыль. Группа слушает репортаж в тишине. Даже голосовать не

приходится.

Без физических или электронных писем, почти без созвонов. Они общаются лицом к лицу или не общаются. Живут на наличные. Ничто не записывают. Работа Шелковицы становится все изощренней. Она приступает к лучшему произведению, пользуясь самодельными подпольными трактатами: «Четыре правила поджога», «Пожар с электронным таймером». Новая разработка надежней. Клен и Дуг-пихта ездят за ее материалами чуть ли не за восемьдесят миль.

Хранитель и Адиантум изучают одну из сданных площадок — Стормкасл в Айдахо, в Биттеррутсе, рядом с границей Монтаны. Здоровые куски общественного леса распродаются под очередной всесезонный курорт. Они выезжают и обходят точку застройки ночью, когда там никого нет. Художник все зарисовывает — новое дорожное полотно, гаражи с техникой и трейлеры строителей, след свежего котлована. В его идеальных эскизах жар — и смирение. Пока он рисует, недоучка-актуарий бродит по расчищенной земле, измеряя шагами расстояние между мерными вехами. Склоняет голову, прислушиваясь.

Все пятеро работают в гараже Шелковицы, в палатке, в малярных костюмах и перчатках.

Собирают каскады двадцатилитровых ведер с таймерами в пластмассовых футлярах «Таппервейр». Размечают на картах Хранителя, где должно сработать каждое устройство для самого живучего пожара. Они сделают это последнее заявление — и конец. Потом разделятся, растворятся в невидимой рутине, завоевав внимание страны. Воззвав к совести миллионов. Заронив семя, которое раскрывается только в пожаре.

ВСЕ СКЛАДЫВАЮТ В КУЗОВ ФУРГОНА. Когда поднимается гаражная дверь, и они выбираются наружу, кажется, друзья просто направляются в горный поход. Они берут полицейский сканер частот. Перчатки и балаклавы на всех. Они одеты в черное. Покидают Западный Орегон спозаранку. Любая авария на межштатном шоссе — и фургон вспыхнет огромным огненным шаром.

В машине они болтают и любуются пейзажами. Проезжают длинные потемкинские леса — видовые завесы всего в несколько футов глубиной. Дуг достает книжку с викторинами и задает остальным вопросы о Войне за независимость и Гражданской. Выигрывает Адам. Они наблюдают за птицами — любителями мелкой падали в шоссейном коридоре. Через два часа Мими замечает белоголового орлана с семифутовым размахом

крыльев. Все притихают.

Они слушают кассету с наговоренной на пленку книгой: мифы и легенды первых народов Северо-Запада. Старик из древних, Кемуш, возрождается из пепла северного сияния и творит все. Койот и Вишпуш разрывают ландшафт в эпичной битве. Животные сплачиваются, чтобы украсть огонь у Сосны. И все духи тьмы меняют форму, многочисленные и зыбкие, как листья.

В Битеррутсе опускается ночь. Последние мили самые сложные — медленные, петляющие, удаленные. Наконец они останавливаются на перевалочном пункте далеко от шоссе штата. Участок выглядит ровно так, как его написал Хранитель. Мими остается в фургоне — с шарфом на шрамах лица, прочесывая радиоволны полицейским сканером. Остальные молча приступают к делу. Все задачи проговорили десятки раз. Они двигаются, как одно существо, волоча двадцатилитровые баки с топливом по местам и связывая их в венок фитилями полотенец и простыней, облитых пропеллентом. Потом подключают таймеры.

ХРАНИТЕЛЬ УХОДИТ НА ПОРУЧЕННОЕ ЕМУ ДЕЛО. Сегодня его последний шанс поработать в виде искусства, что увидят миллионы. Он на-

правляется прочь от недостроенного каркаса главного здания будущего курорта, где остальные закладывают взрывчатку. За луговым склоном подходит к паре трейлеров, слишком далеких от места взрыва. Их стены — его лучший доступный холст. Он достает из карманов куртки два баллончика с краской и подходит к самой чистой стене. Со всей аккуратностью, на которую способна его рука, пишет:

КОНТРОЛЬ УБИВАЕТ
СВЯЗЬ ИСЦЕЛЯЕТ

Отступает, чтобы оцепить зачаток того единственного, что знает наверняка. Большим фломастером украшает строчные буквы стеблями и сучьями, пока не кажется, что буквы расцвели из апокалипсиса. Они напоминают египетские иероглифы или танцующие фигуры бестиария оп-арта. Под этими двумя строчками — хвост надежды:

ВЕРНИСЬ ДОМОЙ ИЛИ УМРИ

На месте взрыва, волоча баки по местам, Адам и Дуг не рассчитывают движения. Топливо плещет на куртку и черные джинсы Адама. Провоняв

нефтехимией, тот сжимает кулаки, пока из промокших перчаток не капает. Пальцы не слушаются от стольких трудов. Он смотрит на скат крыши стройконторы и думает: «Какого хрена я делаю?» Ясность последних недель, внезапное пробуждение из сомнабулизма, уверенность, что мир крадут и атмосферу убивают ради кратчайших из краткосрочных прибылей, ощущение, что он должен делать все в своих силах, чтобы биться за самых чудесных созданий живого мира, — все это оставляет Адама, и он остается в безумии отрицания основ человеческого существования. Имущество и владение: больше ничего не считается. Землю монетизируют, и скоро деревья будут расти прямыми рядами, три человека будут владеть всеми семью континентами, а все крупные организмы — разводиться только на убой.

НА БОКУ ВТОРОГО ТРЕЙЛЕРА Хранитель рисует слова диким и живым алфавитом. Строки растут и разливаются по пустой белизне:

Ибо есть у вас пять деревьев в раю,
которые неподвижны
и летом и зимой,
и их листья не опадают.

Тот, кто познает их,
не вкусит смерти.[60]

Он отступает с комом в горле, сам слегка удивляясь тому, что из него изливается, этой молитве, которую ему так важно послать тем, кто ее не поймет. Затем бац, и его бьет в спину ударная волна. Жар пышет в воздухе задолго до того, когда планировался взрыв. Хранитель оборачивается и видит, как в быстром симулированном рассвете подскакивает рыжий шар. Ноги подгибаются, и он бежит к пламени.

В поле зрения врезается другой силуэт. Дуглас, в стреноженном беге — одна нога неподвижна, пунктирный ритм. Они добираются до огня одновременно. Затем Дуглас, в крике-шепоте: «Сука, нет. Сука, нет!» Он на коленях, скулит. На земле лежат двое. Один начинает двигаться, когда приближается Ник, и это не тот, кто ему нужен.

Адам отрывает плечи от земли. Голова перископом осматривает округу. По лицу стекает завеса крови.

— Ох, — говорит он. — Ох!

Его поднимает Дуглас. Ник налетает поднять Оливию. Она все еще на спине, лицом к звездам.

---

[60] Примечания: 60
Апокрифическое Евангелие от Фомы, стр. 22.

Ее глаза открыты. Вокруг воздух окрашивается оранжевым.

— Ливви? — Его голос ужасен. Густой скрежет оселка, для нее — хуже взрыва. — Ты меня слышишь?

На губах пузырится. Затем — слово:

— Ннн.

Из ее бока что-то сочится, по талии. Черная рубашка поблескивает в темноте. Он приподнимает ее и вскрикивает, опускает обратно. Из него рвется приглушенный плач. Затем он — снова чудовище профессионализма. Раненая смотрит на него в ужасе. Он наглухо затыкается, смотрит спокойно, лицо выдержанное. Механически оказывает всю возможную помощь. Воздух начинает мерцать. Над ними — капюшоном две фигуры. Дуглас и Адам.

— Она?..

Что-то в словах задевает Оливию. Она пытается поднять голову. Ник нежно ее опускает.

— Я, — говорит она. Глаза снова закрываются.

Все обжигает. Дуглас вертится узкими кругами, схватив голову руками. Из него сыплются подрезанные звуки:

— Черт-черт-черт-черт…

— Ее нужно перенести, — говорит Адам. Ник

останавливает его порыв.

— Нет!

— Нужно. Пламя.

Их неуклюжая потасовка кончается раньше, чем начинается. Адам берет ее под руки и тащит по каменистой земле. В ее горле клокочет. Ник снова наклоняется над ней, беспомощный. Он будет это видеть следующие двадцать лет. Выпрямляется, пошатывается в сторону, его рвет на землю.

Затем — рядом Мими, в темноте. Ника охватывает облегчение. Другая женщина. Женщина знает, как их спасти. Инженер все видит с первого взгляда. Сует ключи от фургона Адаму в руку.

— Давай. В последний город, который мы проезжали. Десять миль. Вызови полицию.

— Нет, — говорит женщина на земле, напугав всех. — Нет. Продолжайте…

Адам показывает на пламя.

— Мне плевать, — говорит Мими. — Давай. Ей нужна помощь.

Адам стоит неподвижно, протестует само его тело. «Помощь ей не поможет. Но убьет нас всех».

— Закончите, — бормочет распростертая женщина. Слово такое тихое, что его не различает даже Ник.

Адам таращится на ключи в руке. Кренится вперед, пока не срывается на бег к фургону.

— Дуглас, — рявкает Мими. — Хватит.

Ветеран прекращает ныть и встает на месте. Тут уже Мими на земле, хлопочет над Оливией, распахивает ворот, успокаивает животную панику.

— Помощь в пути. Не двигайся.

Слова только будоражат окровавленную.

— Нет. Закончите. Продолжайте…

Мими ее утешает, гладит по щеке. Ник тихо отступает. Смотрит с расстояния. Все происходит, неисправимо, навечно, по-настоящему. Но на другой планете, с другими людьми.

Из середины Оливии что-то сочится. Губы движутся. Мими придвигается, ухо — у губ.

— Воды?

Мими разворачивается к Нику.

— Воды!

Он застывает, беспомощный.

— Я найду, — кричит Дуглас. Видит провал в склоне, за полыханием, — там овраг. Там должен быть ручей.

Они ищут, во что налить. Вся тара испачкана катализаторами. В кармане Ника — пакетик. Он опустошает его от семечек подсолнуха и отдает

Дугласу, тот бежит в лес за стройкой.

Ручей найти нетрудно. Но, когда Дуглас окунает пакетик, его охватывает приученное отвращение. «Не пить воду на природе». В стране нет ни единого озера, пруда, ручья или речушки, где вода безопасна. Он берет себя в кулак и наполняет пакетик. Женщине нужно просто подержать во рту глоток прохладной прозрачной жидкости, пусть и ядовитой. Дуглас берет пакетик в пригоршню и бежит обратно по склону. Вливает каплю ей в губы.

— Спасибо. — Ее глаза лихорадочны от благодарности. — Хорошо. — Она отпивает еще. Потом глаза закрываются.

Дуглас держит пакетик, беспомощный. Мими окунает в жидкость пальцы и проводит по заляпанному лицу Оливии. Берет под затылок, поглаживает каштановые волосы. Зеленые глаза открываются вновь. Теперь они настороже, разумны, смотрят прямо в лицо сиделки. Черты Оливии искажаются в ужасе, как у зайца в капкане. Так же четко, как если бы сказала вслух, она доносит идею до Мими: «Что-то не так. Мне же показывали, что будет, — не это».

Мими удерживает ее взгляд, впитывает всю боль, какую может. Утешить невозможно. Они со-

единились глазами — и уже не могут отвернуться. Мысли выпотрошенной женщины вливаются в Мими через расширяющийся канал — мысли слишком большие и медленные для понимания.

Ник стоит неподвижно, глаза закрыты. Дуглас бросает пакетик на землю и плетется прочь. Небо вспыхивает в ярком отрицании. В воздухе раскатываются два новых взрыва. Оливия вскрикивает, снова ищет глаза Мими. Ее взгляд становится свирепым, цепляющимся, словно отвернуться — даже на миг — хуже самой страшной смерти.

На окраине ада появляется третий. Вид Адама — настолько раньше, чем ожидалось, — снова заводит Ника.

— Позвал на помощь?

Адам смотрит на пьету. Отчасти он словно удивлен, что драма еще не закончилась.

— Помощь будет? — кричит Ник.

Адам не отвечает. Всеми силами выкарабкивается из безумия.

— Ты, бесхребетный… Дай сюда ключи. *Дай сюда ключи!*

Художник бросается на психолога, борется с ним. Только звук его имени в устах Оливии удерживает Ника от насилия. В миг он рядом с ней на

земле. Оливия уже с трудом дышит. Лицо сжато кулаком от боли. Анестезия шока идет на убыль, девушка извивается и задыхается.

— Ник? — Тяжелое дыхание прекращается. Глаза вдруг большие. Ник борется с желанием посмотреть через плечо, что за кошмар она там видит.

— Я здесь. Я здесь.

— *Ник?* — Теперь вопль. Она пытается встать, и из-под рубашки вываливается мягкое. — *Ник!*

— Да. Я здесь. Прямо здесь. С тобой.

Снова одышка. Изо рта сочится протест. Хнн, хнн, хнн. Ее хватка ломает его пальцы. Она стонет, и звук истекает, пока не остается ничего громче огня с трех сторон. Ее глаза зажмуриваются. Потом распахиваются, бешеные. Она смотрит, не зная, что видит.

— Сколько еще?

— Недолго, — обещает он.

Она впивается в него — зверек, падающий с большой высоты. И снова успокаивается.

— Но не это? То, что у нас есть, никогда не закончится. Правда?

Он ждет слишком долго, и за него отвечает время. Она еще борется несколько секунд, чтобы услышать ответ, и затем обмякает для того, что

наступает потом.

КРОНА

Лучи северного рассвета озаряют мужчину, который лежит на холодной земле лицом вверх. Голова торчит из одноместной палатки. Наверху колышутся пять тонких цилиндрических стволов: белые ели измеряют скорость ветра. Гравитация — ничто. Вечнозеленые верхушки изрисовывают утреннее небо каракулями. Он раньше не задумывался о том, что каждое дерево ежедневно и ежечасно преодолевает милю за милей — плавно, исподволь. Эти создания все время движутся, не сходя с места.

Человек, высунувший голову из палатки, спрашивает себя: «На что похожи эти верхушки деревьев? На ту игрушку для рисования с зубчатыми колесами, которая позволяет создавать неожиданные узоры из простейших вложенных циклов. На внимающую диктовке извне планшетку доски для спиритических сеансов». *На самом деле, они похожи только на самих себя. Они — окончания пяти белых елей, увешанных шишками и гнущихся на ветру изо дня в день.* Сходство — проблема, ведомая лишь людям.

Но ели распространяют вести посредством СМИ собственного изобретения. Они говорят иголками, стволами и корнями. В собственных телах записывают историю каждого пережитого кризиса. Человек в палатке лежит, омываемый сигналами на сотни миллионов лет старше его безыскусных органов чувств. И все-таки он в силах воспринимать эти сигналы.

Пять белых елей чертят знаки в синей пустоте. Они пишут: «Свет, вода и горстка щебня требуют пространных ответов».

Неподалеку скрученные сосны и сосны Банкса возражают: «Для пространных ответов нужно много времени. А „много времени“ — как раз то, чего становится все меньше».

Черные ели на друмлине высказываются без обиняков: «Тепло питается теплом. Вечная мерзлота извергается. Цикл ускоряется».

Широколиственные деревья дальше к югу согласны. Шумные осины и уцелевшие березы, тополя и лираны присоединяются к хору: «Мир превращается в форму новую».

Мужчина переворачивается на спину, лицом к лицу с утренним небом. Голова гудит от сообщений. Даже здесь, будучи бездомным, он думает: «Ничего не будет прежним».

Ели отвечают: «Ничто никогда не было прежним».

«Мы все обречены», — *думает мужчина.*

«Мы все всегда были обречены».

«Но на этот раз все по-другому».

«Да. На этот раз *ты* здесь».

Надо встать и заняться делом, следуя примеру деревьев. Его работа почти закончена. Он соберет лагерь завтра или послезавтра. Но в эту минуту, этим утром, он смотрит, как ели что-то пишут на небе, и думает: «Мне не нужно становиться совсем другим, чтобы солнце казалось без малого солнцем, зелень — почти что зеленью, радость и скука, страдание, ужас и смерть — сами собой, ничто не потребовало бы убийственной ясности, и тогда это — все это, растущие кольца света, воды и камня — окутало бы меня целиком, и другие слова были бы не нужны».

ЛЮДИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ФОРМЫ НОВЫЕ. Двадцать лет спустя, когда все будет зависеть от воспоминаний о произошедшем, факты той ночи давно давным-давно станут ядровой древесиной. Они положили ее тело в огонь, лицом вниз. Трое это запомнят. Ник не запомнит ничего. Надежный как скала в ту минуту, когда она нуждалась в нем, впоследствии он превращается в ничто и

сидит на земле у огня, достаточно близко, чтобы опалить себе брови, сам такой же бесчувственный, как горящий труп.

Остальные кладут ее на готовый погребальный костер, древний, как ночь. Сначала горит ее одежда, потом кожа. Витиеватые слова на лопатке — «Грядут перемены» — чернеют и испаряются. Языки пламени отправляют в полет частички ее обугленной души. Труп, конечно, найдут. Зубы с пломбами, несгоревшие шишковатые утолщения костей. Каждую улику обнаружат и истолкуют. Они не избавляются от трупа. Они отправляют его в вечность.

О том, как они покинули место происшествия, никто не вспомнит ничего, кроме момента, когда затолкали Ника в фургон. Оранжевое мерцание над вечнозелеными лесами, такое же призрачное, как северное сияние. Затем на десятки миль — темные моментальные снимки. В течение получаса они не повстречали ни одного транспортного средства, а пассажиры первой машины, супруги-пенсионеры из Элмхерста, штат Иллинойс, которым оставалось ехать еще пять часов до ночлега, даже не вспомнят о белом фургоне, мчавшемся в противоположную сторону, к тому времени, когда увидят огонь.

Поджигатели молчат, лишь изредка срываясь на крики. Адам и Ник угрожают друг другу. Ми-ми ведет машину, сидя в звуконепроницаемом пузыре. В двухстах милях от Портленда Дуглас требует, чтобы они сдались. Что-то подсказывает им не делать этого. Оливия. Только ее они все запомнят.

— Никто ничего не видел, — Адам сообщает это остальным слишком часто.

— Все кончено, — говорит Ник. — Она мертва. Нам кранты.

— Заткнись на хрен, — приказывает Адам. — Нас никто не сумеет выследить. Просто сиди тихо.

Они вообще ничего не смогли защитить. Они соглашаются, по крайней мере, защищать друг друга.

— Ничего не говорите, что бы ни случилось. Время на нашей стороне.

Но люди понятия не имеют, что такое время. Они думают, это нить, которая возникает позади, за три секунды до, и исчезает так же быстро, через три секунды после, в тумане прямо по курсу. Им невдомек, что время — это растущее кольцо, в котором еще одно кольцо, и оно становится все больше и больше, пока наконец внутри

тончайшей оболочки «текущего момента» не оказывается заключена огромная масса всего, что успело умереть.

В Портленде они разбегаются кто куда.

НИКОЛАС РАЗБИВАЕТ ЛАГЕРЬ НА ПРИЗРАКЕ МИМАСА. Ни палатки, ни спального мешка. С наступлением ночи он лежит на боку, положив голову на туго свернутую куртку рядом с кольцом, возникшим в год смерти Карла Великого. Где-то под его копчиком — Колумб. На уровне щиколоток первый Хёл покидает Норвегию, направляясь в Бруклин и просторы Айовы. За пределами его тела, подступая к месту рассечения, видны кольца, засвидетельствовавшие его собственное рождение, гибель его семьи, встречу с женщиной, которая его поняла, научила держаться и жить.

Края обрубка сочатся жидкостью такого цвета, для которого у художника нет названия. Он переворачивается на спину и смотрит в небо, на высоту двадцати этажей, пытаясь точно определить то место, где они с Оливией прожили год. Он не хочет быть мертвым. Он просто хочет услышать переливы ее голоса, его нетерпеливую открытость — пусть они продлятся еще несколько слов. Ему просто нужно, чтобы девушка, которая всегда понимала, чего от них хочет

жизнь, вышла из огня и сказала, что он должен делать с собой отныне. Нет никакого голоса. Ни ее, ни воображаемых существ. Ни белок-летяг, ни стариков, ни сов, ни любого другого существа, которое пело им на протяжении того года. Сердце сжимается и обретает тот же размер, какой у него был, когда она нашла его. Молчание, решает Николас, лучше лжи.

Он почти не спит на своей жесткой постели. В ближайшие двадцать лет у него будет не так уж много спокойных ночей. И все же еще двадцать колец оказались бы не шире его безымянного пальца.

МИМИ И ДУГ ОБДИРАЮТ ФУРГОН до каркаса и уничтожают все тряпки, шланги и резину. Протирают металл разными растворителями. Она продает эту штуку за бесценок и платит наличными за крошечную «хонду». Она уверена, что продажа обернется рассказом Эдгара По. Новый владелец фургона обнаружит какой-нибудь обличающий клочок бумаги, забытый на самом видном месте.

Она выставляет жилье на продажу.

— Почему? — спрашивает Дуглас.

— Мы должны разделиться. Так безопаснее.

— Как это может быть безопаснее?

— Мы выдадим друг друга, если останемся вместе. Дуглас. Посмотри на меня. Да посмотри же ты на меня! Мы этого не допустим.

ЭТО МОГЛА БЫ БЫТЬ ВСЕГО ЛИШЬ заметка на третьей полосе. В результате поджога разрушен фундамент на строительной площадке курорта. Досадная помеха. Работы возобновятся в ближайшем будущем. Но в просеянной золе находят кость, свидетельствующую о человеческой жертве. За считанные дни историю подхватывает каждое новостное агентство в девяти западных штатах и публикует ее.

Следователи не могут установить личность. Женщина; молодая, ростом пять футов семь дюймов. Ничего нельзя сказать по поводу насилия или надругательства. Единственная зацепка — загадочные надписи рядом с местом пожара:

КОНТРОЛЬ УБИВАЕТ
СВЯЗЬ ИСЦЕЛЯЕТ
ВЕРНИСЬ ДОМОЙ ИЛИ УМРИ
Ибо есть у вас пять деревьев в раю…

Коллективная мудрость склоняется к наиболее правдоподобному объяснению.

Убийца — чокнутый.

АДАМУ УДАЕТСЯ ПРОШМЫГНУТЬ ОБРАТНО в Санта-Крус. Немыслимо, после всего, что случилось. Но он бы лишь привлек всеобщее внимание, бросив диссертацию перед финишной прямой. От годичной стипендии остались крохи. Он целыми днями сидит в своей съемной квартирке, задернув шторы. Парит в двух футах над собственной макушкой, смотрит вниз на свое тело. Глубокой ночью его охватывает возбуждение, которое сменяется неудержимой тревогой. Даже десятиминутная прогулка до круглосуточного магазина кажется опасной для жизни.

Поздно вечером в пятницу он заскакивает на кафедру, чтобы забрать свою университетскую почту. Он даже не может подсчитать, когда в последний раз был в здании. Требуется три попытки, чтобы вспомнить комбинацию. Почтовый ящик так забит рекламными листовками, что приходится их выковыривать. В конце концов многомесячный никому не нужный хлам изливается на пол почтового отделения, как шампанское из откупоренной бутылки. Кто-то позади произносит:

— Привет, незнакомец.

— Привет! — отвечает он, слишком взбудораженный, чтобы обернуться.

Мэри Элис Мертон, научный сотрудник, которому плевать на диссертацию. Милое личико девочки-с-фермы и улыбка, как в стоматологической брошюре.

— Мы думали, ты умер.

Внутри него струится худшая из всех свобод.

«Не умер. Но я помог кое-кого убить».

— Нет. Долг дружбы.

— Что случилось? Где ты был?

Он слышит, как покойный наставник-старшекурсник цитирует Марка Твена. «Если вы говорите правду, вам не нужно ничего запоминать».

— Собирал фактический материал. Кажется, немного запутался.

Она легонько шлепает его по предплечью тыльной стороной ладони.

— Не ты первый, мистер.

— Я собрал достаточно. Просто не могу как следует структурировать факты.

— Все начинают беспокоиться, когда работа близка к завершению. Ну что в написании этого вашего диссера прям чертовски сложного? В общем, полный бардак. Пошли все к чертям и сдавайся.

Он изо всех сил пытается подавить безум-

ное возбуждение и вспомнить, в каком темпе разговаривают нормальные люди. Ему нужно выдать себя за самого себя, а не за поджигателя и соучастника непредумышленного убийства. Психологи должны быть величайшими лжецами на планете. Они годами изучают, как люди обманывают себя и остальных. Он вспоминает все, чему научился. Делай противоположное тому, что подсказывают преступные инстинкты. И когда тебя повесткой вызывают на суд общественного мнения, заморочь всем голову, подавая ложные сведения.

— Есть хочешь?

Он вспоминает, что нужно чуть-чуть приподнять брови.

Он видит, как внутри нее включается сигнал тревоги. «Кто этот парень? Три года ничего, разговоры только по делам, на грани аутизма — и теперь собрался поиграть в человека?» Но предвзятое отношение всегда преобладает над здравым смыслом. Данные это подтверждают.

— Умираю с голоду.

Он запихивает почту за несколько месяцев в свой рюкзак, и они уходят, чтобы в столь поздний час поужинать фалафелем. Пять лет спустя у него есть папка, полная значимых публикаций

о внутригрупповом идеализме, и он претендует на постоянный пост в университете штата Огайо. Еще через пятнадцать лет — очень короткий срок — он станет авторитетным специалистом в своей области.

ЛЕГЧЕ ПРОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ высоко на ветвях секвойи, чем провести семь дней на уровне земли. Все кому-то принадлежит; годовалый ребенок, и тот в курсе. Это такой же закон, как и законы Ньютона. Ходить по улице без наличных — преступление, и никто из ныне живущих не в силах даже на минуту вообразить, что в реальной жизни все может быть устроено иначе. Ник не может допустить, чтобы его арестовали за бродяжничество, кемпинг без разрешения, поедание ягод толокнянки в государственном парке или что-то еще. Он находит хижину с понедельной арендой в унылом городке у подножия лесистых гор. Его двор выходит на заросли секвой — молодых, с прямыми и чистыми стволами толщиной всего в полтора фута, но знакомых. Они вся родня, какая у него осталась.

Он должен покинуть это место, убраться как можно дальше, если не ради душевного спокойствия, то хотя бы из соображений банальной безопасности. Но он не может перестать ждать,

не может отказаться от шанса получить сообщение, которое могло бы хоть чуть-чуть смягчить катастрофу. Он жил в этом месте, с ней. Здесь, в течение почти года, знал, что такое цель. Из всех мест на этой забывчивой Земле оно единственное, куда она хотела бы вернуться.

Он ни с кем не разговаривает, никуда не ходит. Снова сезон дождей, сезон, который только что закончился. Он засыпает, когда снаружи моросит, и просыпается, когда льет как из ведра. Крыша оживает под напором воды. Он не спит, слушает и не может перестать. Стоит закрыть глаза, как он в панике просыпается: за окном дневной свет, и дождь сложил оружие.

Он выходит на задний двор, чтобы проверить водопропускную трубу. Та проходит под арендованной верандой; вода хлещет бурным потоком, словно родился новый ручей. Ник стоит в футболке и трениках, наблюдая, как лучи рассвета заливают гору. Пахнет влагой и суглинком, и почва гудит под босыми ногами. Две мысли борются в нем. Первая, которая намного старше, чем чье-либо детство, такова: «Радость приходит утром». Вторая, совсем новая: «Я — убийца».

Что-то рвется. Николас смотрит вверх и видит, что склон размыло. От ночного ливня земля сде-

лалась мягкой — и, лишившись покрова, который удерживал ее на месте сто тысяч лет, гора с грохотом ползет вниз. Деревья выше маяков ломаются, как веточки, врезаются друг в друга; по склону катится раздувшаяся волна. Ник поворачивается, бежит. Над ним вздымается двадцатифутовый вал из камня и дерева. Он мчится прочь по тропе и успевает обернуться, чтобы увидеть, как река из деревьев обрушивается на хижину. Его гостиная заполняется пнями и камнями. Здание отрывается от фундамента, и поток увлекает его за собой.

Он бежит к соседям, кричит им, чтобы немедленно убирались. И вот его соседи тоже бегут со своими двумя малышами по подъездной дорожке к семейному грузовику. Но обломки добираются до грузовика первыми и блокируют его. Деревья подступают к дому-ранчо, вспучиваясь древесной лавой.

— Сюда! — кричит Ник, и соседи следуют за ним.

Он ведет их через овраг по более пологому склону. И там оползневая волна останавливается у тонкой линии секвой. Грязь и щебень сочатся через последний барьер, но деревья держатся. Это последняя капля для матери. Она начинает рыдать, хватает своих сыновей. Отец и Ник смот-

рят вверх, на обнаженный горный склон, чей гребень вдруг стал до жути низким.

— Иисусе, — шепчет мужчина, и Ник вздрагивает.

Он глядит туда, куда указывает сосед. На каждом стволе в стойкой баррикаде, которая только что спасла им жизнь, нарисован ярко-синий крестик. Жатва, запланированная на следующую неделю.

ДУГЛАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ К МИМИ, как пес, в не самое подходящее время. Сначала просто заглянуть и проверить, все ли с ней в порядке. Затем рассказать свой самый замечательный сон. Она отключила автоответчик. Поэтому он приходит к ней домой собственной персоной, что немного сводит ее с ума.

Во сне он и Мими сидят лицом к лицу в парке красивого города на берегу еще более красивого залива. Появляется Адиантум. Она улыбается и говорит: «Подожди! Все прояснится. Вот увидишь». Дугги не может усидеть на месте от волнения, вызванного рассказом.

— Как будто она все видела! И хотела сообщить об этом. Когда я проснулся, все было таким четким. Все будет хорошо.

Мими не проявляет особого энтузиазма. Мысль

о том, что «все будет хорошо», едва не вынуждает ее кричать. Поэтому он некоторое время держится в стороне. Но сон приходит снова, со свежими, новыми нюансами, о которых она, несомненно, захочет услышать. После продолжительного и настойчивого стука в дверь Мими открывает и втаскивает Дугги внутрь. Усаживает его за обеденный стол, где они приготовили к отправке тысячи протестных писем.

— Дуглас. Мы сжигали здания дотла. Мы действовали как безумцы. Общественно опасные психи. Нас растерзают. Ты это понимаешь?! Мы проведем остаток нашей жизни в федеральной тюрьме.

Он ничего не говорит. Слово «тюрьма» пробуждает в памяти отрывок прошлого — того самого, из-за которого он и ступил на эту скользкую дорожку.

— Ладно, я понял. Но во сне она обнимала тебя одной рукой и говорила…

— Дуглас! — кричит Мими достаточно громко, чтобы было слышно сквозь стены. Продолжает, понизив голос. — Больше не приходи. Я продаю квартиру. Уезжаю.

У него глаза лезут на лоб, как у лягушки, пытающейся сглотнуть.

— Уезжаешь?

— Послушай меня. Ты. Должен. Уйти. Начни новую жизнь. Возьми новое имя. Это поджог. *Непредумышленное убийство.*

— Пожары мог устроить кто угодно. Нас не выследят.

— Нас уже арестовывали. Мы известные экологические радикалы. Они проверят списки. Посмотрят каждую запись…

— Какую еще запись? Мы платили за все наличными. Проехали сотни миль. В этих списках много людей. Списки ничего не доказывают.

— Дуглас. Исчезни. Забейся в нору. Не возвращайся. Не ищи меня.

— Ладно. — Его глаза горят. До нее не докричаться. Держась одной рукой за дверь, он поворачивается. — Знаешь, не то чтобы я вылезал когда-нибудь из этой твоей норы.

Ему снова снится сон. Они сидят на возвышении над городом будущего. Адиантум говорит им: «Подождите! Вы еще увидите!» И, конечно же, вокруг вырастают леса. Это превосходит все мыслимые понятия о чудесном, и Мими должна знать. Но когда он добирается до ее дома, перед входом висит большая красная вывеска: ПРОДАНО.

Ему больше некуда идти. Восток кажется лучшим из трех доступных вариантов. Итак, он загружает свое движимое имущество в грузовик и направляется вверх по ущелью Колумбия. Не говорит об этом даже своему боссу в хозяйственном магазине. Пусть оставят себе его жалование за последние две недели.

На границе с Айдахо Дугласа осеняет: надо осмотреть площадку. По западным меркам, он практически рядом. Может, хоть попрощается как следует. Мими кричит ему в ухо, дескать, не сходи с ума. Любой разумный человек сказал бы то же самое. Но разум — то, что превращает все леса мира в прямоугольники.

Он едет по местному шоссе, сердце рвется на волю из грудной клетки. Сворачивает на пустынную подъездную дорогу, вдоль которой высятся ели, в сгущающейся Темноте неподвижные, словно судьи. Мышцы помнят. Словно выжившая четверка опять в фургоне, охваченная дурнотой после всего, что было. Но, приближаясь к строительной площадке, он видит другой огонь, резкий, контролируемый и белый — электрические дуги ночных трудяг. Повсюду роятся люди в касках, устраняя повреждения. «Кэпитал» решила вопрос со сбоем в расписании простым

способом: добавила еще несколько смен.

Огромная фура, нагруженная фермами. Сигнальщик с красным флажком. Дуглас сбавляет скорость, чтобы осмотреться. Никаких признаков того, что здесь когда-либо что-то горело. Мими кричит ему, чтобы он убирался к черту, пока какая-нибудь камера слежения на столбе не запечатлела его номера. Что-то еще подсказывает, что здесь искать нечего. Адиантум.

Он проносится мимо строительной площадки по пустому шоссе. На следующем перекрестке снова сворачивает на восток. После полуночи машина медленно пробирается через Монтану. Он съезжает с трассы у начала тропы для туристов в лесном заповеднике и несколько часов спит на откинутом водительском сиденье.

Дневной свет превращает небо в мрамор. Дуглас ездит по проселочным дорогам, понятия не имея о направлении. питаясь вяленой говядиной и коричными леденцами, которые покупает на заправках. Проезжает через широкую плоскую котловину, обрамленную скалами — каменистые пастбища, слишком сухие для реального употребления. Но жизнь по-прежнему использует эти места миллионом способов. Его внимание привлекает движение на другой стороне поля —

вилорог сражается с проволочным заграждением. Зверей пятеро, и один ранен. Нумерологический аспект происходящего — знак! — овладевает Дугласом, и он начинает дрожать. Останавливается на обочине. На него наваливается огромная, пустая даль размером с небо. Он засыпает с приоткрытым окном, и койоты воют вокруг, будто мир все еще принадлежит им.

Утром второго дня он едет дальше наугад. Восходящее солнце помогает ему кое-как ориентироваться. Проходят мили и часы, не всегда следуя друг за дружкой. Слева от дороги появляется что-то странное. Зрелище воспринимается как неправильное еще до того, как он понимает, что именно видит. Посреди золотисто-серого простора затерялся оазис деловитой зелени. Аванпост на берегу реки, без реки. Он слишком быстро сворачивает на следующем повороте и попадает на раздолбанную щебеночную дорогу, которую не пощадили ни снежные зимы, ни корни упертых сорняков. Грузовик замедляет ход, но дорога все. равно хочет сломать оси и размолотить ходовую. Потом Дуглас оказывается в роще тополей, лохматых, как банда подростков.

Он выходит из машины и идет пешком. В нескольких ярдах впереди из травы вспархива-

ет стайка воробьев. Это место лишено смысла. Деревья взмывают фонтанами. Некоторые распадаются на букеты стволов, семи футов в диаметре. Деформированные тополя. На мили вокруг ни единого признака человеческого жилья, но все деревья растут в виде сетки, которая напоминает детскую логическую головоломку. Под сводами одной из зеленых аркад до него доходит: это улицы невидимого города. Тротуары, парковки, дворики, фундаменты, магазинчики, церкви, дома: все исчезло, рассыпалось прахом, остались лишь лесопосадки на месте нескольких кварталов. Он садится под деревом, которое когда-то было гордостью семейного панорамного окна. Теперь тень гиганта ни на кого не падает.

Где-то журчит потаенный ручей. С расстояния в сотню лет доносятся бурные аплодисменты. Он окидывает взглядом колоннады из тополей, несколько квадратов рукотворной тени — они поют под дуновением ветерка, радуясь, что кто-то вернулся в заброшенный городок, чтобы ими полюбоваться. Их шелест напоминает гимн, доносящийся из сгинувшей церкви, чтобы пролететь по-над широким исчезнувшим бульваром, где его могли бы услышать люди, которых больше нет. Теперь псалом слушает лишь журчащий хор, и в

этом нет ничего плохого. Хор тоже заслуживает памяти. «Да радуется поле и всё, что на нём, и да ликуют все дерева дубравные»[61].

МИМИ СИДИТ В ЧЕРНОМ КРЕПОВОМ ПЛАТЬЕ-ФУТЛЯРЕ у стойки администратора галереи Четырех искусств на Грант-стрит. Она балансирует на краешке кожаного кресла с откидной спинкой, каждые несколько секунд одергивая развратный подол на своих увядающих коленях. Утром наряд казался подходящим для встречи с арт-дилером, он мог принести на пару сотен долларов больше при любых переговорах с мужчиной. Она подумала, платье компенсирует шрам, рассекающий лицо. Теперь все кажется таким непрофессиональным.

Вновь появляется коротко стриженная ассистентка, отводит взгляд от пореза на лице Мими, предлагает еще кофе и обещает, что мистер Сян вот-вот придет. Мистер Сян опаздывает на семнадцать минут. Свиток у него уже несколько недель. Он дважды откладывал эту встречу. Что-то происходит в задней комнате. Мими собираются кинуть, и она не может сказать, как именно.

Прочие сокровища загромождают галерею. Ла-

[61] Примечания: 61
Псалтирь 95.12.

кированные яхты. Окутанная облаками парящая гора, изображенная с предельной тщательностью. Состоящие из тысячи фигурок сферы из слоновой кости, каждый замысловатый мир вложен в другой такой же. Ее внимание привлекает картина на дальней стене: огромное черное дерево с радужными ветвями на фоне голубого неба. Она встает, одергивает подол и медленно пересекает комнату. То, что казалось крошечными листьями, извергающимися из рога изобилия, превращается в сотни медитирующих фигур. Она читает надпись на бирке: «Поле заслуг», также именуемое «Древом прибежища». Тибет, примерно середина XVII века. Кажется, что человечки-листья, из которых состоит раскидистая крона, колышутся на ветру.

Позади кто-то обращается к ней по имени.

— Мисс Ма?

Мистер Сян в свинцово-сером костюме и кроваво-красных очках ведет ее в заднюю комнату. Видит борозду на ее лице и даже не моргает. Властным жестом усаживает ее за стол для совещаний, сделанный из запрещенного красного дерева, и коробка со свитком оказывается между ними. Обращаясь к окну, он произносит:

— Вещь очень красивая. Замечательные архa-

ты, выполненные в самобытном стиле. Печально, что у вас нет ни документов, ни провенанса.

— Да. Я… у нас их никогда не было.

— По вашим словам, свиток прибыл в Америку вместе с вашим отцом. Он был частью коллекции произведений искусства, которую собрала его семья в Шанхае?

Она теребит платье под столом.

— Верно.

Мистер Сян отворачивается от окна и садится напротив нее, держа спину очень прямо. Его левая ладонь обхватывает правый локоть, два пальца на правой вытянуты, словно держат воображаемую сигарету.

— Мы не можем датировать его с нужной точностью. И не уверены насчет художника.

Она настораживается.

— А как насчет печатей владельцев?

— Мы отследили их в хронологическом порядке. Неясно, как на самом деле семья вашего отца вступила во владение этим имуществом.

Теперь она знает то, о чем подозревала в течение нескольких недель. Приносить свиток на экспертизу было ошибкой. Ей хочется схватить его и убежать.

— Надписи также трудно разобрать. Форма кал-

лиграфии династии Тан, которую мы называем неистовой скорописью. Если точнее, разновидность «Пьяный Су». Возможно, они были сделаны позже.

— Что там написано?

Он откидывает голову назад, старательно подчеркивая ее дерзость.

— Стихотворение, автор неизвестен.

Он развертывает свиток между ними. Его палец скользит сверху вниз по колонке слов.

На этой горе, в такую погоду,

К чему задерживаться надолго?

Три дерева настойчиво машут мне ветвями.

Я прислушиваюсь, но их тревожные сигналы неотличимы от воя ветра.

Новые почки появляются даже зимой.

Она покрывается мурашками, не дослушав стихотворение. Мими в аэропорту, слышит собственное имя по громкой связи. Она читает стихотворение, которое отец оставил вместо предсмертной записки. «В чем наша радость, наша беда?» Она поспешно разжигает пламя на склоне горы, где царит чернильная тьма и холод. Пламя, которое убивает женщину.

— Три дерева?

Мистер Сян демонстрирует ладони, извиняясь.

— Это поэзия.

Ее бросает то в жар, то в холод. Разум отключился. Что-то пытается добраться до нее издалека. «К чему задерживаться надолго?» Она видит, как ее сестра Амелия, двенадцати лет от роду, в зимнем комбинезоне размером вдвое больше нужного, ковыляет к задней двери и плачет. «Дерево для завтраков распустилось слишком рано. Снег убьет его». А ее отец просто улыбается. «Новый лист всегда где-то там. Даже перед началом зимы». Факт, который Мими за свои шестнадцать зим каким-то образом упустила из виду.

— Мог ли это стихотворение прочитать… обычный человек?

— Возможно, ученый. Знаток каллиграфии.

Она понятия не имеет, знатоком чего был ее отец. Миниатюрной электроники. Кемпингов. Разговоров с медведями.

— Видите кольцо?

Она протягивает сжатую в кулак руку через стол. Артдилер наклоняется. Его улыбка выражает двойную порцию смущения.

— Да? Нефритовое дерево в стиле династии Мин. Работа мастера. Мы могли бы оценить.

Она отводит руку.

— Проехали. Расскажите о свитке.

— Архаты изображены очень искусно. Исходя из исторической редкости и качества рисунка, предлагаемая нами стоимость в пределах… — Он называет две цифры, которые вызывают визгливый обезьяний смешок. Мими не успевает его подавить. — Галерея четырех искусств готова заплатить вам сумму, соответствующую середине этого диапазона.

Она откидывается на спинку кресла, притворяясь спокойной. Она надеялась на небольшую свободу от денежного ига. Два года, может быть, три. Но это целое состояние. Свобода. Достаточно, чтобы заплатить за совершенно новую жизнь. Мистер Сян оценивает ее изуродованное шрамом лицо. Его глаза за кроваво-красными стеклами очков остаются бесстрастными. Она смотрит в ответ, готовая к решающей схватке. Она видела, как гаснет самый яростный огонь. После Оливии может выдержать взгляд любого живого существа.

Свиток лежит между ними на столе. Неистовая, пьяная каллиграфия, загадочное стихотворение, одиноко сидящие фигуры в своих древних лесах, почти преображенные, почти ставшие частью всего — и она может ими распоряжаться. Но

избавление от них внезапно кажется преступлением. Три дерева чего-то хотят от нее. Она понятия не имеет, что им нужно.

Одолеть мистера Сяна проще простого. Три секунды, и он отводит взгляд. В тот самый миг, когда он отворачивается, Мими заглядывает оценщику произведений искусства прямо в душу. Он наткнулся на какую-то ссылку на этот самый свиток где-то в архивах. Этот факт так же очевиден, как нервное подергивание его века. Свиток во много раз дороже его предложения. Это давно утраченное национальное достояние.

Мими делает вдох, не в силах сдержать улыбку.

— Интересно, не мог бы кто-нибудь из Музея азиатского искусства помочь с опознанием?

Пересмотренное предложение от «Галереи четырех искусств» появляется очень быстро. Ни Мими, ни двум ее сестрам, ни их детям еще долго не придется беспокоиться о деньгах. Для нее это выход. Новая профессия. Новая личность. «К чему задерживаться надолго?»

Она звонит им обеим, Кармен и Амелии, впервые за год Сначала Кармен. Мими не упоминает о своем лице. О том, что потеряла работу. О продаже квартиры. О том, что ее разыскивают в трех

штатах. Она извиняется за то, что исчезла.

— Прости. У меня был сложный период.

Кармен смеется.

— Ты хочешь сказать, что бывают простые?

Мими упоминает о предложении.

— Я не знаю, Мими. Это семейное наследие. Что еще у нас осталось от папы?

«Три нефритовых дерева, — хочет сказать Мими. — Настойчиво машут ветвями».

— Я просто хочу поступить так, как поступил бы он.

— Тогда сделай со свитком именно то, что делал он. Это практически единственная вещь, с которой папа не расставался всю жизнь.

Затем Амелия. Амелия — крепкая, терпеливая святая, укрощающая диких, ликующих детей на заднем плане, не переставая слушать свою чокнутую сестру. Мими едва сдерживается, чтобы не сказать: «Я в бегах. Моя подруга мертва. Я сожгла частную собственность дотла». Вместо этого она читает переведенное стихотворение.

— Мило, Мими. Я думаю, это означает, что надо расслабиться. Расслабиться, любить и делать, что хочешь.

— Кармен говорит, это наша единственная семейная реликвия.

— Господи. Не надо быть такой сентиментальной. Папа был наименее сентиментальным человеком в целом мире.

— И осторожным с деньгами.

— Осторожным? Да он был скрягой! Помнишь подвал, полный барахла, купленного за гроши на распродажах? Ящики с колой, пуховики и торцевые ключи за полцены?

— Она говорит, он носил этот свиток с собой всю жизнь.

— Пф-ф-ф. Вероятно, ждал нужного момента на рынке антиквариата.

И вновь бремя самого важного в целом мире выбора ложится на плечи не шире детских. Той ночью инженер с неизменной улыбкой, хранитель походных записных книжек, нежный самоубийца, шепчет Мими. Он шепчет ответ прямо ей на ухо. «Прошлое — это Лотосовое древо, Сидрат аль-мунтаха. Обрежь его, и оно вырастет вновь».

* * *

ДОРОТИ КАЗАЛИ БРИНКМАН с чересчур сверкающей улыбкой несет из кухни в комнату мужа палисандровый поднос с протертым завтраком. С механической кровати на нее глядят так, словно

беззвучно воют. Лицо с застывшей гримасой ужаса, с искривленным ртом, напоминает маску из греческой трагедии. Она борется с желанием попятиться через дверной проем.

— Доброе утро, РэйРэй. Как спалось?

Она ставит поднос на прикроватную тумбу. Ужасные глаза следят за каждым ее движением. «Похоронен. Заживо. Навсегда». Она заставляет себя продолжать. Ландыши в вазочке отправляются на столик у кровати. Дороти откидывает верхнюю часть покрывала, влажную от натекшей слюны. Затем устанавливает палисандровый поднос с горячим завтраком поверх полупарализованного тела.

Каждое утро она отрабатывает систему Станиславского и становится понемногу более убедительной. Ничто и никто в целом мире не подскажет, сколько еще таких дней впереди и как долго она продержится. Он издает какой-то звук. Она наклоняется, пока ухо не касается его губ. Все, что она может услышать: «Ннндо».

— Я знаю, Рэй. Все в порядке. Ты готов? — Она устраивает комическое шоу, засучивая рукава. Рот трагической маски слегка шевелится, и она истолковывает это так, как ей нужно. Рот в большей степени, чем паралич и искаженная

речь, превращает его в нечто иное. — Это новый древний сорт зерна. Из Африки. Полезен для восстановления клеток.

Он приподнимает подвижную руку на дюйм, вероятно, чтобы остановить ее. Дороти игнорирует его; у нее это хорошо получается. Вскоре крупинки каши из древнего зерна стекают по его подбородку на слюнявчик. Она вытирает его мягкой тканью. Застывшее от инсульта лицо кажется жестким на ощупь. Но его глаза… его глаза говорят яснее ясного: «Ты — последнее, что у меня осталось сносного, не считая смерти».

Ложка входит и выходит. Какой-то атавистический импульс требует, чтобы она изобразила гул летящего самолета.

— Ты слышал сов прошлой ночью? Как они звали друга дружку?

Она вытирает ему рот и опять берется за ложку. Вспоминает момент на второй неделе, когда он еще был в больнице. Кислородная маска прилипла к его лицу. Игла капельницы впилась в руку. Он все время тянулся к ним действующей рукой. Ей пришлось вызвать медсестру, которая привязала эту руку бинтами. Он смотрел из-под маски с упреком: «Позволь мне покончить с этим. Разве ты не видишь, что я пытаюсь тебе помочь?»

В течение нескольких недель ее единственной мыслью было: «Я не справлюсь». Но человек привыкает к невозможному. Привычка помогла ей преодолеть прагматизм врачей и жалость друзей. Привычка помогает ей сдвинуть его окаменевший торс без рвотных позывов. Привычка учит разбирать его слова-айсберги. Еще немного потренироваться, и она привыкнет даже к тому, что мертва.

После завтрака она проверяет, не нуждается ли он в мытье. Нуждается. В первый раз, когда со всем справилась опытная медсестра в больнице, он стонал от позора. Даже сейчас из-за резиновых перчаток, губок, шланга и теплых комков, которые она уносит в ванную, на его горгульих глазах проступают слезы.

Она моет и переворачивает его на кровати, проверяет пролежни. Сегодня она совсем одна. Карлос и Реба, специалисты по мобильному уходу, приезжают всего четыре раза в неделю, в два раза чаще, чем хотелось бы Рэю, и в два раза реже, чем нужно Дороти. Она кладет руку на его каменное плечо. Нежность — вестник ее усталости.

— Включить телевизор? Или я тебе почитаю?

Ей кажется, что он говорит: «Читай». Она начинает с «Таймс». Но заголовки вынуждают его

беспокоиться.

— Я тоже, Рэй. — Она откладывает газету в сторону. — Меньше знаешь — лучше спишь, да?

Он что-то говорит. Она наклоняется. «Крсрт».

— Крест? Не дуйся, Рэй. Это была глупая шутка. — Он повторяет то же самое. — Сердишься? Почему?

Ну, помимо миллиона причин.

Еще один слог срывается с его застывших губ: «…врд».

Дороти пугается. На протяжении всех лет, что они прожили вместе, это был его утренний ритуал. Ныне невозможный. Хуже того, сегодня суббота — день демонической головоломки. Единственный день, когда она слышала, как он ругается.

Они трудятся над кроссвордом все утро. Она читает определения слов, а Рэй смотрит в арктическую даль. «Возможно, задача ему не по зубам. Все равно что „Браунз Блю“[62]. На расстоянии вытянутой руки». Через промежутки времени равнозначные геологическим эпохам он издает стоны, которые могут быть словами. К ее удивлению, это проще, чем посадить его перед

---

[62] Примечания: 62

Brown's Blue — торговый знак, под которым в США производят синие бутылочки с соской для младенцев.

телевизором. Она даже ловит себя на фантазии о том, что ежедневный кроссворд — просто выполнение определенного ритуала — мог бы помочь перестроить его мозг.

— Первый весенний знак зодиака. Четыре буквы. Первая «о».

Он издает два слога, которые она не может разобрать. Просит его повторить. Он рычит, а смысл по-прежнему превращается в оплывший шлак.

— Возможно. Запишу карандашом, потом вернемся к этому слову. — Все равно что вальсировать с тряпичной куклой. — Как насчет вот этого: утешительное перерождение почки. Шесть букв, первая «л», четвертая «т», пятая «в».

Он пристально смотрит на нее, замкнувшись в себе. Невозможно сказать, что осталось внутри этой запертой комнаты. Его голова опустилась, действующая рука скребет одеяло — так травоядный зверь разгребает снег на зимнем пастбище.

Утренние церемонии затягиваются почти до полудня. Она откладывает в сторону кроссворд, полный исправлений и сомнений. Пора подумать об обеде. Что-то такое, чем он не подавится, и что она не готовила ему уже несколько раз на этой неделе.

Пообедать — все равно что пересечь Атлантику

на лодке с веслами. Во второй половине дня она читает ему вслух «Войну и мир». Кампания долгая и изнурительная, растянувшаяся на недели, но он, похоже, хочет продолжения. Она потратила столько лет, пытаясь привить ему интерес к художественной литературе. Теперь у нее есть слушатель, которому некуда деться.

Смысл повествования ускользает даже от нее. Слишком много людей испытывают слишком много чувств, за которыми невозможно уследить. Князь-герой погибает в эпицентре грандиозной битвы. Он лежит парализованный на холодной земле, а вокруг царит хаос. Над ним ничего, кроме неба, величественного неба. Он не в силах пошевелиться, может только смотреть вверх. Князь лежит и удивляется, как же его угораздило до сих пор упускать из виду главную истину бытия: весь мир и все людские души — ничто, суета под бесконечной синевой.

— Прости, пожалуйста, Рэй. Я забыла про эту часть. Можем прыгнуть вперед.

Опять этот взгляд, этот беззвучный вой. Но, быть может, его сбивает с толку не вымышленная история. Может, он просто не понимает, почему жена опять плачет.

Ужин снова превращается в затяжную кампа-

нию, очередную сухопутную войну в Азии. Она усаживает его перед телевизором. Затем уходит на второй ужин. Для нее. Алан встречает ее у дверей своей мастерской. Его волосы припудрены древесной стружкой. Глаза тоже полны мольбы. Она отводит взгляд. Он заключает ее в объятия, и это ужасно похоже на возвращение домой. Ее будущий жених. Можно ли иметь жениха, если развод отложили из-за того, что в профессии ее мужа любят называть форс-мажорными обстоятельствами?

— Как прошел твой день?

И да, он ждет ответа. Но этим вечером, поедая из коробочки «Цыпленка генерала Цзо» среди расчлененных скрипок, альтов и виолончелей, корпусов без грифов, обнаженных белых верхних дек, висящих рядами на проволоке, кленовых половинок нижних дек, запаха еловых и ивовых брусков, плашек из чистого черного дерева для накладок на гриф, кусочков самшита и восстановленного красного дерева для прочих деталей, все упирается в способность вдыхать полной грудью, а потом выдыхать.

Она щелкает одноразовыми палочками для еды.

— Жаль, что мы не встретились, когда были

моложе. Видел бы ты меня тогда.

— О нет. Старая древесина намного лучше. Деревья с высоты северных склонов гор.

— Рада быть полезной.

— А вот я действительно прискорбно старый. Мог бы преуспеть в этом. — Он взмахом руки указывает на отшлифованные, резные деревянные деки, висящие на держателях. — Я только сейчас начинаю постигать смысл древесины.

Два часа спустя она возвращается домой. Рэй, должно быть, услышал, как машина подъезжает, как открывается дверь гаража, как ее ключ поворачивается в замке задней двери. Но когда она входит в комнату, его глаза закрыты, а кривой рот безвольно разверст. По телевизору люди смеются над шутками друг друга, завывая, словно банши. Она выключает ящик и обходит кровать, чтобы прикрыть испачканным покрывалом напряженное тело. Его единственная здоровая конечность хватает ее за запястье. Глаза распахиваются, взгляд обжигает адским пламенем. Она вздрагивает и вскрикивает. Потом успокаивается и пытается успокоить его.

Рэй всегда был самым нежным мужчиной в мире. Выдерживал ее выходки с терпением святого. Прослезился, когда она объявила о расставании,

и сказал, что хотел для нее только лучшего. Что она может остаться и делать, что вздумается. Что если она попадет в беду, он всегда будет рядом. Сейчас она в беде. И да. Он. С ней. Навсегда.

— Рэй! Боже. Я думала, ты спишь.

Он издает звуки, достаточно замысловатые, словно мантра на санскрите.

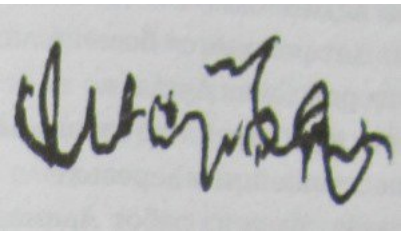
— Что? — Она склоняется к его рту, принимая мучительную игру в шарады без помощи пантомимы. Два слога, оба невнятные. — Еще раз, Рэй.

Как и в жизни перед смертью, его терпение превосходит ее собственное. Мышцы на не заледеневшем боку подрагивают. Всевозможные призраки ласкают ее кожу и запускают пальцы в волосы.

— РэйРэй. Мне жаль. Я не могу разобрать, о чем ты говоришь.

Еще больше звуков срываются с его едва подвижных губ. Она опять наклоняется и слушает. Сперва она слышит: «Писать». Истинный смысл просьбы кажется настолько неправдоподобным, что на мгновение она ничего не понимает. *Писáть.* Вопреки здравому смыслу, она разыскивает ручку и бумагу. Вкладывает ручку в левую руку правши и наблюдает, как пальцы двигаются, словно стрелка сейсмографа. Он тратит несколь-

ко минут, чтобы изобразить ужасные каракули.



Она смотрит на клубок спутанных линий *каждая — подземный толчок* и ничего не понимает. Это какая-то ерунда, однако она не может такое сказать человеку, который остается в ловушке под грудой каменных обломков. Затем возникает слово, и смысл обрушивается на нее. Она начинает всхлипывать, дергать его за онемевшую руку, говорить то, что он и так знает.

— Ты прав. Прав! Шесть букв, первая «л». «Утешительное перерождение почки». Листва.

ДВАДЦАТЬ ВЕСЕН — ЭТО ОЧЕНЬ БЫСТРО. Самый жаркий год в истории наблюдений приходит и уходит. За ним еще один. Потом еще десять, и почти каждый — из самых горячих в истории человечества. Уровень мирового океана растет. Череда времен года нарушается. Двадцать весен,

и последняя начинается на две недели раньше первой.

Виды исчезают. Патриция пишет о них. Слишком много видов, не перечесть. Коралловые рифы обесцвечиваются, а заболоченные территории высыхают. Пропадает то, что еще не успели открыть. Скорость исчезновения целых видов живых существ в тысячу раз превышает базовый уровень вымирания. Леса, площадь которых больше многих стран, превращаются в сельскохозяйственные угодья. «Посмотрите на жизнь вокруг вас; теперь удалите половину того, что вы видите».

За двадцать лет рождается больше людей, чем было во всем мире в год рождения Дугласа.

Ник прячется и работает. Что такое двадцать лет для труда, который неспешней, чем деревья?

Как доказывает одна из работ Адама, мы не приспособлены к тому, чтобы видеть медленные фоновые перемены, когда что-то яркое и красочное маячит перед носом.

Мими обнаруживает, что можно наблюдать за часовой стрелкой, не сводить с нее глаз, пока она проходит циферблат по кругу, и ни разу не увидеть, как она движется.

В «ГОСПОДСТВЕ 8» НИЛАЙ весит 145 фунтов,

он белокожий и с шевелюрой как у Эйнштейна. Черты его лица приобретают сходство с разными расами в зависимости от освещения и того, в каком городе он находится. Его рост всего четыре фута восемь дюймов, но гибкие икры и мускулистые бедра позволяют добраться куда угодно. Его зовут Спора, и он никто. Как и любой другой поселенец на любом из одиннадцати континентов, он завоевал несколько медалей, построил несколько памятников и припрятал немного наличных. В его жизни есть девушки, живущие в расположенных далеко друг от друга провинциях. Он мэр одного микроскопического городка и руководит гобеленовой мастерской в другом. Некоторое время он служил священником в монастыре, который, похоже, захирел. Больше всего он любит прогуливаться. Наблюдать за незнакомцами. Любоваться ветвями раскачивающихся кипарисов и подмечать, в какую сторону дует ветер.

Он переместился в параллельный мир вместе с сотнями миллионов людей, каждый в своей любимой игре. Он не помнит время до возникновения Всемирной паутины. Так действует сознание: превращает «сейчас» во «всегда», принимает то, что есть, за то, что было предначертано. Порой кажется, что он и остальные

участники Долины радости сердца не изобретали онлайн-жизнь, а просто расчистили проход к ней. Эволюция, третий этап.

В среду, когда следовало бы присутствовать на заседании совета директоров по вопросу приобретения студии 3D-моделирования, он идет по широкой дороге. Он в игре, занимается частными научными исследованиями. Вот уже несколько дней совершает паломничество от полюса до экватора, беседуя с каждым гражданином, которого встречает на каждой широте. Случайные фокус-группы. Исследование продукта и персональная тренировка в одном флаконе.

Сегодня день ярмарки перед зданием ратуши процветающего города в кантоне, где он раньше не бывал. Под призывные мелодии карильона люди торгуются из-за всевозможных товаров и услуг: телег, свечей, моторов, оптики, драгоценных металлов, земли, садов. Домотканая одежда, мебель ручной работы, лютни, которые издают настоящую музыку. В прошлом году это был бы чистый бартер: люди обменивались друг с другом товарами, которые трудно заполучить. Но теперь речь идет о реальной наличности — долларах, иенах, фунтах стерлингов, евро — миллионах электронных переводов, осуществляемых в мире,

расположенном уровнем выше.

— Идиоты, — говорит кто-то на канале городского рынка.

Нилай озирается в поисках говорившего. Рядом с ним в толпе стоит мужчина, одетый в оленью шкуру. На секунду Нилай думает, что это бот, какой-нибудь хитроумный неигровой ИИ. Но в том, как незнакомец переступает с ноги на ногу, есть что-то особенное. Что-то голодное и человеческое.

— Ты кого назвал идиотом?

— Неужели этим, наверху, все мало?

— Наверху?

— В мире редокса. Работай от звонка до звонка, тащи домой бекон из кабанятины, набей дом всякой хренью. Тут так же плохо, как и в Бодиленде.

— Здесь еще много чем можно заняться.

— Раньше я так думал, — говорит человек в оленьей шкуре. — Ты бог?

— Нет, — врет Нилай. — А что?

— У тебя столько баффов[63].

Он делает пометку: в следующий раз не переусердствовать.

— Я давненько играю.

---

[63] Примечания: 63

Бафф (англ, buff) — временное усиление возможностей игрока в компьютерной игре.

— Ты знаешь, где тусуются какие-нибудь боги?

— Нет. Нужно что-то починить?

— Все это место.

Это злит Нилая. Доходы достигли небывало высокого уровня. Какой-то пацан в Корее недавно убил мать за то, что она донимала его требованиями выйти из игры. Он два дня использовал ее кредитку и одерживал победы в виртуальном мире, в то время как тело матери лежало в соседней комнате. Но все только и знают, что критиковать.

— Что тебе не нравится?

— Просто хочу снова полюбить этот мир. Когда я только начал играть, то думал, что попал в рай. Миллион способов победить. Я даже не мог сказать, что значит «победить». — Исследователь в оленьей шкуре на мгновение застывает. Может быть, его анимусу приходится выносить мусор, отвечать на телефонные звонки или укачивать новорожденного. Затем аватар воскресает странным образом, в два этапа. — Теперь здесь снова и снова повторяется старая хрень. Минируйте горы, вырубайте леса, стелите листовой металл на луга, возводите дурацкие замки и склады. Едва все налаживается, приходит какой-то урод с наемниками и надирает тебе зад. Хуже, чем в

реальной жизни.

— Хочешь сообщить о каком-то конкретном игроке?

— Выходит, ты все-таки бог?

Нилай оставляет вопрос без ответа. Бог, который десятилетиями не может ходить.

— Знаешь, что не так с этим местом? Проблема Мидаса. Люди строят всякую хренотень, пока не заканчивается свободное место. Тогда вы, боги, просто создаете еще один континент или придумываете новое оружие.

— Есть и другие способы играть.

— Я тоже так думал. Таинственные существа за горами и морями. Но нет.

— Может быть, стоит пойти куда-нибудь еще.

Человек в оленьей шкуре машет руками.

— Я думал, что уже *пришел.*

Мальчик, который все еще хочет сделать так, чтобы цифровой воздушный змей станцевал для его давно умершего отца, понимает, что лесной житель прав. «Господство» столкнулось с проблемой Мидаса. Все умирает позолоченной смертью.

АДАМ ЭППИЧ ПОЛУЧАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ДО ДОЦЕНТА. Это не передышка — просто нагрузка возросла. Каждая минута и секунда его времени

расписана: конференции, литературные обзоры, сбор фактического материала, подготовка к занятиям, рабочее время, огромные стопки эссе на проверку, комитеты, досье в связи с продвижением по службе и отношения на расстоянии с женщиной из издательства, расположенного в 536 милях.

Он редактирует статью для публикации, одновременно просматривая новости и поедая разогретого в микроволновке цыпленка в соусе терияки, сидя в своем первом доме в Колумбусе, штат Огайо. У него нет времени ни на текущие события, ни на полноценную трапезу. Он втискивает их в работу и почти убеждает себя, что справился. Через десять секунд после начала сюжета понимает, на что смотрит: разрушенные здания и почерневшие балки, последствия, которые его собственная память уже не в силах восстановить мало-мальски точно. Кто-то взорвал в штате Вашингтон исследовательскую лабораторию, занимавшуюся модификацией генома тополей. Камера задерживается на закопченной стене. На бетоне краской из баллончика написаны слова, которые он когда-то помог сформулировать:

КОНТРОЛЬ УБИВАЕТ
СВЯЗЬ ИСЦЕЛЯЕТ

Их старые лозунги. Какая-то бессмыслица. Диктор новостей только усугубляет ситуацию. «Власти полагают, что пожар, нанесший ущерб в семь миллионов долларов, связан с аналогичными инцидентами, имевшими место за последние несколько лет в Орегоне, Калифорнии и северном Айдахо».

Мир делится, раздваивается, и Адам превращается в свою собственную имитацию. Потом ему на ум приходит более логичное объяснение: один или несколько его приятелей действует в одиночку. Скорее всего, Ник, после смерти возлюбленной. Или похожий на ребенка ветеран Дуглас. Или оба, объединившись с новыми адептами, чтобы продолжать поджоги. Тот, кто устроил этот новый пожар, использовал старые лозунги так, как будто ему принадлежат авторские права.

Камера показывает обугленную потолочную балку разрушенной лаборатории. Адам узнает обломки так, словно сам установил заряд. Не пять лет назад, а прошлой ночью. Как будто он только что вернулся домой и теперь должен сжечь свою

пропитанную дымом одежду. Кадр задерживается на последних каракулях аэрозольной краской в конце коридора:

НЕТ ЭКОНОМИКЕ САМОУБИЙСТВ

Через шесть недель после того, как стал доцентом, он снова стал поджигателем.

ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ ВЗРЫВАЕТСЯ АНГАР для машин на лесозаготовительном складе недалеко от Олимпийского полуострова. Мими читает об этом в «Кроникл». Она сидит на траве у Цветочной оранжереи, в углу парка Золотые Ворота, в десяти минутах ходьбы от Хиллтопа, Университета Сан-Франциско, где заканчивает магистратуру по реабилитации и консультированию в области психического здоровья. Она узнает лозунги, нацарапанные на месте происшествия — лозунги, которые когда-то принадлежали им всем. К новостной заметке прилагается боковая панель: «Хронология экологического террора, 1980–1999».

Арест, должно быть, всего лишь вопрос времени. Через месяц, через год раздастся стук в дверь, мелькнет значок… Люди проходят мимо, пока она сидит и читает. Бомж со всеми своими мирскими пожитками в засаленном рюкзаке.

Туристы в желтых кепках следуют за женщиной, размахивающей японским флагом. Влюбленные смеются и швыряют друг в друга плюшевым жирафом. Мими сидит на траве и читает о преступлениях, которые, по-видимому, совершила сама. Она расстилает газету на траве перед собой и запрокидывает голову. Небо кишит невидимыми спутниками, которые могут определить ее координаты с точностью до десяти футов. Камеры в космосе могут прочитать заголовки: «Хронология экологического террора». Она смотрит вверх, ожидая, что будущее спикирует и арестует ее. Затем собирает газету вместе с мусором, оставшимся после обеда, и направляется мимо прибрежных виргинских дубов в сторону Лоун-Маунтин, на свою дневную лекцию по этическим и профессиональным вопросам в терапии.

ИЗВЕСТИЕ О НОВЫХ ПОЖАРАХ так и не доходит до Ника. Он узнает новости на автобусных остановках и кофейнях, от спецов по телефонному маркетингу и переписчиков населения, попрошаек в маленьких городках по всему побережью, готовых раскрыть — зачастую бесплатно — секреты, спрятанные от почти любого комментатора и аналитика.

В Бельвью, штат Вашингтон, он получает

идеальную работу: да здравствует кладовщик, коему полагается сновать на мини-погрузчике по огромному сортировочному складу, распаковывать громаднейшие поддоны с книгами, сканировать штрих-коды и фиксировать их точное местоположение в колоссальной трехмерной матрице. Предполагается, что он установит рекорд скорости. Так и происходит. Это своего рода перформанс для самой утонченной аудитории: ни для кого.

Продуктом здесь являются не столько книги, сколько цель десятитысячелетней истории — то, чего человеческий мозг жаждет больше всего на свете, а природа наотрез отказывается дать. Удобство. Стремление к простоте — болезнь, а Ник — переносчик заразы. Его работодатели — это вирус, который однажды будет жить в симбиозе с каждым. Как только вы купили роман, сидя дома в пижаме, пути назад уже нет.

Ник распаковывает следующую партию, тридцать третью на сегодня. В хороший день он успевает открыть, отсканировать и разложить по полкам более сотни ящиков, на каждый уходит четыре минуты. Чем быстрее он движется, тем сильнее отдаляется перспектива неизбежной замены кладовщика-человека роботом. По при-

кидкам Ника у него в запасе пару лет, а потом он падет жертвой эффективного менеджмента. Чем усерднее он работает, тем меньше ему нужно думать.

Он ставит коробку с книгами в мягкой обложке на стальную полку и оценивает обстановку. Перед ним проход между стеллажами с книгами, похожий на бесконечное ущелье. Десятки таких проходов только в этом сортировочном центре. И каждый месяц открываются новые центры на нескольких континентах. Его работодатели не остановятся, пока не отсортируют все потребности, какие только могут быть. Ник тратит целых пять секунд своего бесценного времени, вглядываясь в книжную бездну. Зрелище наполняет его ужасом, неотделимым от надежды. Где-то посреди этих безграничных, замысловатых, тучнеющих лабиринтов печатного слова прячутся, закодированные в миллионах тонн соснового волокна, несколько слов правды — а может, страница или абзац, — способные разрушить сортировочные чары и вернуть людям риск, желания и смерть.

По ночам он трудится над своими фресками. Вырезает трафареты, сидя дома, а потом бродит с ними по всему городу, высматривая голые стены.

Это игра с огнем — поступки, которые могут привлечь к нему внимание полиции. Но желание кричать посредством образов чересчур сильное. Он может выполнить работу среднего размера, от приклеивания скотча до его сдирания, минут за двадцать. Между двумя и четырьмя часами ночи, когда в противном случае он бы лежал без сна и грыз себя изнутри, можно оставить след в нескольких районах. Коровы в кевларовых жилетах. Протестанты, бросающие кленовые крылатки вместо гранат. Крошечные военные самолеты и вертолеты, роящиеся над цветущими шпалерами роз в натуральную величину, словно намереваясь их опылять.

Сегодня у него грандиозные планы: покрыть комплекс, в котором разместилось несколько адвокатских контор, шестнадцатью трафаретами, накладывающимися друг на друга. Забравшись на стремянку, Ник приклеивает пронумерованные листы, создавая узор в форме вазы, которая расширяется кверху и книзу. Трафареты покрывают фасад из шлакоблоков и, повернув на девяносто градусов, растекаются по тротуарам. Дальше приходит черед красок из баллончиков, и вырезанные фрагменты наполняются разноцветьем, которое просачивается через бумажный

скотч. Несколько секунд на высыхание — и он сдирает трафарет, обнажая каштан. Ветви поднимаются на второй этаж офисного здания. Ствол опускается и переходит в массу корней, которые через бордюр устремляются в городскую канализацию. На высоте человеческого роста, чуть ниже уровня глаз, борозды коры превращаются в штрих-код шириной два фута.

Ник достает из рюкзака кисточку из верблюжьей шерсти шириной в палец, баночку с черной эмалевой краской и без помощи трафарета выводит рядом с полосками штрихкода строчку из Руми:

Любовь — дерево,
чьи ветви
в вечности,
чьи корни
в бесконечности,
а ствол и вовсе нигде

* * *

Кто-то однажды прочитал ему это стихотворение в домике на дереве, на дальнем конце ветки, на устремленном вовне краю бытия. «Если

один из нас сорвется с края, — напоминает ему этот кто-то, — другой отправится следом». Ник пятится, чтобы оценить результат. Эффект его озадачивает, он не уверен, что ему нравится. Но «нравится» и «не нравится» — альфа и омега общества потребления — для него мало что значат. Он хочет только заполнить как можно больше стен чем-то таким, что невозможно замуровать.

Он собирает трафареты и баллончики с краской, запихивает их обратно в рюкзак и, спотыкаясь, возвращается домой, чтобы еще пять часов поспать в постели, которую нужно сменить. Оливия преследует его во снах, снова зовет, паникуя и умирая.

«То, что у нас есть, никогда не закончится. Правда?»

«ОСТАВЬ МЕНЯ», — ГОВОРИТ РЭЙ БРИНКМАН своей жене по нескольку раз в неделю. Но она не может понять скомканные, бесформенные слова, вылетающие из его рта; или делает вид, что не может. Он ликует, когда она уходит на несколько часов по ночам. Тогда он возлагает все свои надежды на то, что она со своим другом — преображается, разговаривает, чувствует боль, плачет в темноте какой-нибудь дальней комнаты обо всем, что маячит вне досягаемости. И все же, по

утрам, когда она входит в его комнату и говорит: «Доброе утро, РэйРэй. Все хорошо?», он не может не радоваться на свой манер, пусть его радость и разбил паралич.

Жена кормит его и усаживает возле телевизора. Экран — новости, путешествия, компания других людей и напоминание о том, что всю свою жизнь он понятия не имел, как же ему повезло. Этим утром в Сиэтле воюют. Что-то по поводу будущего всего мира, ресурсов и собственности. Ведущие утренней программы кажутся сбитыми с толку. Делегаты из десятков стран пытаются собраться в конференц-центре; тысячи исступленных протестующих отказываются их впустить. Юнцы в пончо и камуфляжных штанах прыгают на крышу горящего бронетранспортера. Кто-то вырывает почтовый ящик из тротуара и швыряет в стеклянную витрину банка, какая-то женщина кричит. Под деревьями, чьи ветви мерцают белыми огоньками рождественских гирлянд, собираются шеренги солдат в черных костюмах и шлемах, чтобы запустить в толпу баллончики с розовым дымом. Рэй Бринкман, проведший двадцать лет в окопах, защищая патенты, радуется каждый раз, когда полиция усмиряет анархиста. Но Рэй Бринкман, которого Бог небрежным

щелчком превратил в соляной столп, разбивает витрину.

Толпа, всколыхнувшись, разделяется, вскидывается и перегруппировывается. Фаланга спецназовцев со щитами отбивает удар. Синхронное беззаконие перетекает через баррикады, огибает бронированные машины. Камеры задерживаются на чем-то примечательном в толпе: стаде диких животных. Рога, усы, бивни и огромные уши — замысловатые маски на головах юнцов в толстовках и куртках-бомберах. Существа умирают, падают на тротуар и снова поднимаются, словно в снафф-видео от клуба «Сьерра»[64].

Воспоминание прокрадывается в искалеченный мозг Рэя. Он закрывает глаза от боли, которую оно причиняет. Он узнает эти маски животных, эти раскрашенные трико. Они ему знакомы. Он их видел, кажется, на фото. Он понимает, что это невозможно, однако факты не в силах прогнать жуткое ощущение. Он зовет Дороти, чтобы она пришла и вырубила ящик.

— Почитаем? — всегда спрашивает она, хотя в этом нет необходимости. Он никогда не скажет

---

[64] Примечания: 64

Снафф-видео — короткометражный фильм, в котором демонстрируется настоящее убийство. *Клуб «Сьерра»* — американская природозащитная организация, основанная в 1892 г.

«нет». Теперь он живет ради чтения вслух. За эти годы они углубились в «Сто величайших романов всех времен и народов». Он не помнит, почему художественная литература раньше вызывала у него такое раздражение. Теперь не существует более действенного средства, которое помогло бы дожить до обеда. Он цепляется за самый нелепый сюжетный поворот, словно тот способен изменить будущее всего человечества.

Книги отличаются друг от друга и излучают свет, они проворны, как вьюрки, обитающие на изолированных островах. Но у них есть общее ядро, настолько очевидное, что его принимают за нечто само собой разумеющееся. Каждая книга предполагает, что страх и гнев, насилие и страсть, ярость, приправленная спонтанным умением прощать, — то есть свойства так называемого «героя» — это всё, что в конечном счете имеет значение. Это, конечно, детское кредо, на волосок от веры в то, что Творец Вселенной способен снизойти до вынесения приговоров, будто судья в федеральном суде. Быть человеком — значит путать *красивую* историю со *значимой* и думать, что жизнь — нечто огромное и двуногое. Это ошибка: у жизни гораздо больше конечностей, и мир погибает именно потому, что ни один роман

не в силах сделать борьбу за планету столь же убедительной, как битву между несколькими заблудшими душами. Но Рэй сейчас нуждается в художественной литературе как никто другой. Герои, злодеи и представления, которые жена устраивает по утрам, лучше, чем истина. «Хотя я фальшивка, — говорят они, — и нет во мне ровным счетом ничего по-настоящему ценного, я все-таки прихожу к тебе издалека, чтобы сидеть рядом на твоей механической кровати, составлять тебе компанию и помогать отвлечься от реальности».

После десятков тысяч страниц они вернулись к Толстому и теперь на добрых полтора дюйма углубились в «Анну Каренину». Дот продолжает повествование без тени смущения или стыда, без намека на то, что искусство и жизнь записались в один и тот же кружок рисования. И это, по мнению Рэя, величайшее милосердие, которое дарует художественная литература: худшее из того, что они двое сделали друг другу, превращается в еще одну историю, которую можно вместе перечитать вечерком.

Пока она читает, его веки опускаются. Вскоре он проникает в книгу, прячась на полях: второстепенный персонаж, чья судьба никак не влияет

на главных героев. Он просыпается от звука, который слушает вот уже треть столетия: жена храпит. Ему остается лишь то занятие, которому приходится уделять полдюжины часов каждый день этой ново-обретенной жизни. Он смотрит в окно на задний двор.

Дятел снует взад-вперед по огненно-красному дубу, засовывает орехи в проделанные дырочки. Две белки бешеными спиралями взбираются вверх по стволу липы, сбросившей листву. Тучи маленьких черных жучков роятся над травой, встревоженные приближающимися холодами. Куст, который они с Дороти, должно быть, посадили много лет назад, покрылся лохматыми желтыми цветами, хотя все листья давно опали. Увлекательное представление для паралитика. Ветер разносит какие-то сплетни; ветви всех растений, посаженных Бринкманами в честь тех или иных дат, колышутся от возмущения. Повсюду опасность, готовность, интрига, постепенно нарастающее действие, эпические финалы сезонов, которые когда-то сменяли друг друга чересчур медленно, а теперь проносятся мимо его постели с такой быстротой, что он не успевает их осмыслить.

Дороти фыркает, просыпаясь.

— Ой! Прости, Рэй. Я не хотела бросать тебя.

Он не может ей сказать. Никто и никогда не будет покинут, нигде — до самого конца времен. Вокруг них разыгрывается полномасштабный симфонический нарративный хаос на четыре тревожных сигнала[65]. Она понятия не имеет, и он никак не может ей все объяснить. Все ухоженные дворы ухожены одинаково. Каждый одичалый двор одичал по-своему.

ЧАСЫ СОТЕН МИЛЛИОНОВ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ готовятся к переходу на цифры, для которых они не были предназначены. Люди пополняют запасы в погребах на случай конца информационной эры. Дуглас не знает наверняка, когда закончится тысячелетие. Там, где он находится, временной промежуток больше недели не имеет большого значения. Дневной свет нынче длится всего несколько часов, глубина снежного покрова достигает шести футов, и даже при полуденной температуре волоски на руках становятся дыбом. Если компьютеры уже взбесились и вывели из строя всю инфраструктуру земного шара,

[65] Примечания: 65

Четыре тревожных сигнала (four-alarm) — четвертая (из пяти) категория сложности пожара, согласно системе классификации, используемой в США.

Дуглас в своей бревенчатой хижине в глубинах Монтаны узнает об этом последним.

Он просыпается, когда гаснет огонь, и приходится выбирать: разжечь его заново или замерзнуть насмерть. Он выпрыгивает из своего зимнего спального мешка в одних кальсонах, как нечто, вылупляющееся из кокона, толком не покончив со стадией личинки. Надевает парку, но пальцы так онемели, что на розжиг пары сосновых щепок уходят жутковатые пятнадцать минут. Он поджаривает пальцы на огне, как сосиски, пока к ним не возвращается жизнь. На завтрак у него два яйца, три ломтика бекона по рецепту викингов и кусок черствого хлеба, разогретого на дровяной плите.

Выйдя на крыльцо, он осматривает город. Серо-коричневые деревянные фасады усеивают заснеженный склон холма внизу. Полуразрушенный трехэтажный отель, пустой универмаг, кабинет врача и парикмахерская, бордель и различные салуны — он владеет всем этим единолично. Высоко на гребне холма — белокорые сосны. Снег покрыт следами гостей — лосей, оленей, кроликов, — и Дуглас учится читать по следам сценарий очередной лаконичной драмы. Он видит изрытый кратерами снег: поэму о

хищнике, который спикировал, одолел добычу, а затем исчез, не оставив адреса для пересылки корреспонденции.

Зимний сторож в «Самом гостеприимном городе-призраке Запада»: в жизни Дугласа бывали дурацкие работы, но этой они и в подметки не годятся. Перевалы с обеих сторон — двадцать миль серпантина с выбоинами — завалены снегом. До конца мая здесь не будет ни души. Ну да, конечно: что-нибудь может случиться во время его вахты. Может быть, землетрясение или метеорит. Пришельцы. Ему все это не по зубам. Даже его грузовик с отвалом для уборки снега, выделенный Бюро по управлению землями, еще очень долго никуда не поедет.

Горы высокие, почва редкая и пустая, деревья слишком часто вырубали, а все запасы драгоценных металлов израсходованы. Осталось лишь продавать ностальгию по тому недавнему «вчера», когда все были уверены, что «завтра» принесет ответы на все вопросы, какие только могут прийти на ум человечеству. Когда наступит лето, он нарядится шахтером и будет рассказывать байки туристам, которые отважатся проехать по дороге, похожей на стиральную доску, чтобы добраться до места, чья удаленность сама по себе

делает его достойным галочки в списке подвигов. Дети подумают, что ему полторы сотни лет. Семьи ворвутся сюда и сделают несколько снимков по пути к Старому Служаке, в Глейшер или какое-нибудь другое место, достойное внимания.

Он садится за шаткий кухонный стол и берет в руки сокровище, которое хранит рядом с намертво забитой солонкой. Дуглас обнаружил эту драгоценную штуковину прошлой осенью, наполовину закопанной рядом с надшахтным копром. Темно-коричневая бутылка; на том, что осталось от выцветшей этикетки, можно разглядеть несколько китайских иероглифов, похожих на существ из доисторических океанов планеты. Бутылка — это загадка; что на ней написано, что внутри? Она принадлежала кому-то из многочисленных китайских рабочих, трудившихся в шахте и в прачечной. Он разглядывает иероглифы, прищурившись, и шепчет: «Что они делать?» Этой фразе его научила подруга — он не помнит, где и когда. Фраза как-то связана с Китаем и ее отцом. Она смеялась каждый раз, когда слышала от него эти слова. Он старался повторять их почаще.

Дуглас ставит бутылку на стол и приступает к утреннему ритуалу: написанию священной

книги для своей новой религии, основанной на абсолютном смирении. С середины ноября он трудится над «Манифестом провала». Стопка желтоватых страниц, исписанных шариковой ручкой, высится там, где стол примыкает к стене. Они хранят историю о том, как он предал себе подобных. Он не называет настоящих имен, только лесные. Но больше ничего не скрывает: как пелена спала с его глаз, как осознание превратилось в ярость, как он встретил единомышленников и услышал, как говорят деревья. Он пишет о том, что они надеялись сделать, и как попытались. Объясняет, что пошло не так и почему. Его переполняет энтузиазм, он не жалеет деталей, но тексту не хватает хорошей структуры. Слова просто ветвятся, дают ростки и опять ветвятся. Он чувствует, что занят делом. Оно даже позволяет бороться с раздражительностью от сидения в четырех стенах; впрочем, бывают и плохие дни.

Сегодня Дуглас перечитывает написанное вчера — две страницы о том, каково ему было смотреть на Мими, которой протирали глаза пламенем. Потом он берет шариковую ручку и ведет ею по странице, оставляя борозды. Как будто опять сажает деревца на склоне холма. Проблема в том, что он, затронув общий вопрос «Провала»,

не может не коснуться соседней, родственной темы: «Что за хрень происходит с человечеством?».

Ручка движется; идеи рождаются, как будто под диктовку кого-то незримого. Что-то начинает вырисовываться — некая истина, до того самоочевидная, что слова спешат родиться на свет. Мы обналичиваем планетарные облигации, рассчитанные на миллиард лет, и тратим средства на всевозможную ерунду. Дуглас Павличек хочет знать, почему это так просто понять, когда ты один в хижине на склоне холма, и почти невозможно — когда выходишь из дома и вливаешься в миллиардное море людей, пошедших ва-банк из-за необоримой веры в статус-кво.

Он отвлекается, чтобы снова развести огонь. Собирает подножный корм — крекеры с арахисовым маслом и картошку, испеченную прямо на горящих сосновых поленьях. Потом наступает время прогуляться по городку и удостовериться, что призраки не шалят. Он напяливает несколько слоев одежды и пристегивает подержанные снегоступы. Большие перепончатые «лапы» — способ приноровиться к зиме — превращают Дугласа в химеру, помесь человека и прямоходящего зайца-великана. Спускаясь с горы к пустому городу через сугробы, он все равно проваливается

в снег раз десять, если не больше.

На центральной улице ничего особенного не произошло. Он проверяет покосившиеся здания, витрины и экспонаты: не устроил ли кто-нибудь себе гнездо или логово, не погрызено ли имущество. Он сам себе придумал такую работу. Правда в том, что босс из «Кроу Нейшн» предоставил ему домик в пользование на зиму, потому что Бюро по управлению землями это ничего не стоит, а Дугги изобрел рутинную инспекцию, чтобы отработать подачку. С балкона верхнего этажа отеля он кричит: «Тут все сдохли!» Два-три раза «…хли» огибает Гранатовый хребет, а потом эхо успокаивается. Дуглас поднимается обратно длинным путем, вдоль хребта, ради полумили дополнительной физической нагрузки и ради возможности взглянуть на ущелье. В такой ясный день, как сегодня, видно заросли лиственниц за много миль от города-призрака. Хвойные деревья, которые зимой сбрасывают листву.

Он идет, нащупывая тропу снегоступами. Крутой поворот — первая из завитушек маршрута, — и открывается вид на долину. За крутым откосом расстилается ковер из деревьев — такой густой, что невозможно поверить, будто мир обветшал до предела и вот-вот треснет. На тяже-

лых ветвях скопилось столько мелкого снега, что они выглядят как волочащиеся по земле юбки. Пурпурные торчащие шишки пихт распались на семена. На верхушках елей их гроздья еще висят — этакие забывшие упасть яйца с белыми шляпками. Можжевельник растет прямо из девственных скал, на которых даже нет трещин. Еловые старейшины стоят над ним, будто собрались судить.

Дуглас не спеша подходит к краю откоса, чтобы полюбоваться видом — и то, что он принимает за твердый камень, осыпается под ногами. На первом же заснеженном выступе его подбрасывает в пустоту над тысячефутовой пропастью. За миг до падения кувырком по снежной осыпи он задевает ногой ель. Двести футов плотного снега ползут вниз прямо перед ним. Он кричит и умудряется схватиться за спасительный ствол. Деревья во второй раз не дают ему погибнуть.

Кровь застывает на покрытом ссадинами лице. Воздух такой холодный, что бьет током прямо в нос. Рука вывернута в плечевом суставе под неправильным углом. Снег укрывает его. Он лежит неподвижно, и ему кажется, что вокруг нет ничего, кроме ели в снежной юбке. Небо темнеет. То, что лишь казалось холодом, уступает место

подлинным минусовым температурам. Мозг Дугласа просыпается, вынуждает его открыть глаза и посмотреть на смертоносную белизну. Он видит откос и, потрясенный обнажившейся каменной стеной, думает: «Я просто чуть-чуть передохну прямо здесь». И все-таки в конце концов мертвая женщина, которая стоит рядом с Дугги на коленях и гладит его по лицу, заставляет его подняться.

«Ты — это не просто ты».

— Разве?

Звук собственного голоса приводит его в чувство. Поглаживающие пальцы мертвой женщины превращаются в ветку ели, за которую он зацепился при падении. Нос сломан, плечо вывихнуто. Нога, поврежденная давным-давно, не слушается. Быстро приближается ночь, а с нею и мороз. Над головой крутой подъем в восемьдесят футов. Но факты — это ерунда. Мертвая женщина ему об этом сообщает в четырех словах: «Ты еще не закончил».

ДОСТИГНУВ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, Патриция работает так, словно завтрашний день не наступит. Или наступит лишь при условии, что достаточно много людей будут трудиться, засучив рукава, У нее две работы, противоположные

друг другу. На той работе, которую Патриция ненавидит, ей приходится стоять у трибуны, выпрашивая деньги и тараторя со скоростью черноспинного дятла, вбивающего клюв в сосну. Она предъявляет аудитории уйму цитат, подготовленных специально для таких популистских мероприятий. Блейк: «Глупец видит не то же самое дерево, что мудрый человек». Оден: «Культура ничем не лучше своих лесов». Десять процентов слушателей жертвуют на ее банк семян по двадцать долларов.

Она говорит о цифрах, хотя сотрудники просят этого не делать. Разве Шоу не был прав насчет того, что показатель истинного интеллекта определяется статистикой? Семнадцать разновидностей вымирания лесов, и все усугубляются глобальным потеплением. Тысячи квадратных миль в год отводятся под застройку. Ежегодные чистые потери составляют сто миллиардов деревьев. Половина древесных пород на планете исчезнет к концу нового столетия. Десять процентов слушателей дают ей по двадцать долларов.

Она рассуждает об экономике, добросовестном бизнесе, эстетике, морали, духе. Она рассказывает им истории, в которых есть драма, надежда, гнев, зло и персонажи, чтобы их полюбить. Она

рассказывает им про Чико Мендеса. Она рассказывает им про Вангари Маатаи[66]. Каждый десятый дает ей двадцать баксов, а какой-то ангел — миллион. Этого достаточно, чтобы продолжать заниматься любимой работой: летать по всему миру — выбрасывая в воздух немыслимые объемы парниковых газов, ускоряя гибель планеты — и собирать семена и саженцы деревьев, которые вот-вот исчезнут.

Гондурасское розовое дерево. Дуб Хинтона из Мексики. Камедное дерево с острова Святой Елены. Кедры с мыса Доброй Надежды. Двадцать видов чудовищных каури, толщиной в десять футов и без единой ветки до высоты в сто футов и более. Фицройя с юга Чили — древнее самой Библии, но все еще дает семена. Половина видов из Австралии, южного Китая, африканского пояса. Инопланетные формы жизни с Мадагаскара, которые больше нигде на Земле не встречаются. Мангры, растущие в соленой воде — морские питомники и защитники побережья, — исчезают в сотнях стран. Борнео, Папуа — Новая Гвинея,

[66] Примечания: 66

Чико Мендес (1944–1988) — бразильский экоактивист, защитник каучуковых деревьев. Был убит на пороге собственного дома. *Вангари Маатаи* (1940–2011) — кенийская общественная деятельница, основавшая движение «Зеленый пояс», участники которого посадили более 50 млн деревьев.

Молуккские острова, Суматра: самые продуктивные экосистемы на Земле уступают место плантациям масличных пальм.

Она прогуливается по унылым, ухоженным остаткам лесов истощенной Японии. Проходит по живым корневым мостам на северо-востоке Индии, в глубинке — жители гор Кхаси поколение за поколением заставляют *Ficus elastica* тянуться с одного берега реки на другой, — и попадает в леса, где эндемики уступили место быстрорастущим соснам. Она идет по земле, на которой некогда в изобилии произрастало тайское тиковое дерево, а теперь там лишь тощие эвкалипты, которые жнут каждые три года. Она осматривает то, что осталось от бесчисленных акров юго-западного пиньона — выкорчеванных, вспаханных и превращенных в пшеничные поля. Дикие, разнообразные, не внесенные в каталог леса тают на глазах. Местные жители всегда говорят ей одно и то же: не хочется убивать золотую гусыню, но в наших краях это единственный способ добраться до яиц.

Прессе нравится ее предприятие, такое отчаянное и обреченное. «Женщина, которая спасает семена». «Жена Ноя». «Прячем деревья в сейф до лучших времен». Она привлекает внимание

всего мира на пятнадцать минут. Если бы она разместила свое хранилище в одной из крепостей глубоко под землей в Арктике, то могла бы рассчитывать на полчаса. Но бункер-коробка в верхних предгорьях Передового хребта едва ли стоит того, чтобы снимать его на видео.

Внутри хранилище похоже на гибрид часовни с высокотехнологичной библиотекой. Тысячи резервуаров, упорядоченных и снабженных ярлыками с датой, видом и местом происхождения, лежат в пронумерованных ящиках из герметичного стекла и матовой стали, как в депозитных ячейках настоящего банка, только вот температура в помещении — двадцать градусов ниже нуля. Патриция испытывает очень странное чувство, когда находится там. Она в одном из самых биоразнообразных регионов на Земле, окруженная тысячами спящих семян, очищенных, высушенных, просеянных и просвеченных рентгеном, и все они ждут, когда их ДНК пробудится и начнет превращать воздух в древесину при малейшем намеке на оттепель и воду. Семена гудят. Они поют — она готова поклясться в этом, пусть и не может толком ничего расслышать.

Репортеры спрашивают, почему ее группа, в отличие от любого другого неправительственного

банка семян на планете, не отбирает растения, которые будут полезны людям, если произойдет катастрофа. Ей хочется ответить, что «польза» и «катастрофа» — синонимы. Вместо этого она говорит: «Мы хотим уберечь деревья, способ применения которых еще не обнаружен». Журналисты оживляются, когда она упоминает все «горячие точки», в которых проблема исчезновения лесов наиболее актуальна. В каждом случае имеется очевидная причина: кислотные дожди, ржавчина, антракноз, корневая гниль, засуха, инвазии, безалаберное сельское хозяйство, короеды, резистентные грибки, опустынивание… Но глаза репортеров стекленеют, когда она переходит к вопросу о том, что все эти угрозы становятся фатальными из-за одной-единственной вещи: продолжающейся трансформации атмосферы ввиду того, что люди сжигают все зеленое. Ежемесячные, еженедельные, ежедневные, ежечасные и сиюминутные издания пишут о ней и переходят к следующей новости. Несколько человек прочитали и послали ей двадцать долларов. И она вольна искать в следующем исчезающем лесу очередное дерево на грани вымирания.

НА ЗАПАДЕ БРАЗИЛИИ, В МАШАДИНЬЮ-Д'УЭСТИ, Патриция узнает, на что способен лес.

Лучи солнечного света пробиваются между стволами, увитыми лианами — между самыми неистовыми моторами жизни, какие существуют на Земле. Повсюду кишат разнообразные виды, оживляя мертвую метафору, притаившуюся в самом сердце слова «замешательство»[67]. Всюду бахрома, шнурки и складки, чешуйки и колючки. Ей приходится напрягаться, чтобы рассмотреть деревья среди похожих на тросы стеблей лиан, орхидей, плотного мха, бромелиевых, зарослей гигантского папоротника и водорослевых матов.

Есть деревья, у которых цветы и плоды появляются прямо на стволе. Причудливые капоки, чьи корни расползаются футов на сорок, а ветви варьируют от колючих до гладких, блестящих, и все это рождается из одного ствола. Мирты, разбросанные по всему лесу, но зацветающие в один и тот же день. Бертолетии с их плодами-пиньятами, начиненными орехами. Деревья, которые творят дождь, показывают время, предсказывают погоду. Семена непристойных форм и расцветок. Стручки похожи на кинжалы и ятаганы. Ходуль-

[67] Примечания: 67

Непереводимая игра слов: английское bewilderment (замешательство) образовано путем соединения приставки be- в значении «совершенно» и архаичного глагола wilder в значении «сбить с пути, заманить в дикие земли».

ные корни, извивающиеся корни и досковидные корни, будто сотворенные скульптором, а также корни, которые дышат воздухом. Решения, живущие своей жизнью. Биомасса сошла с ума. Одного взмаха сачка достаточно, чтобы в него угодило двадцать видов насекомых. Армады муравьев нападают на нее за то, что она прикасается к деревьям, которые их кормят и укрывают.

Здесь неделя — это семь долгих дней, посвященных переписи населения. Команда доктора Вестерфорд от рассвета до заката считает; такой рабочий день должен измотать любую женщину за шестьдесят. Но она живет ради этого. Вчера они насчитали 213 различных видов деревьев на площади чуть более четырех гектаров, и каждый вид появился на свет, потому что Земля размышляла вслух. В такой плотной живой массе рискованно полагаться на нечто столь капризное, как ветер. У большинства разновидностей деревьев свои собственные опылители. Оборотной стороной этого безумного разнообразия является рассредоточенность. Ближайший адресат пыльцы может находиться на расстоянии мили или более. Они регулярно натыкаются на виды, которые никто из команды не может опознать. Новые и неизвестные формы жизни: «О, взгляните, опять

то-не-знаю-что». Тысячи уникальных разновидностей деревьев произрастают в бассейне реки с ветвящимся руслом. Любая из этих исчезающих химических фабрик могла бы создать следующий блокатор ВИЧ, еще один суперантибиотик, новейшее противораковое средство.

Воздух такой влажный, что Патриция взмокла до мозга костей. Идти по заросшим лианами зарослям трудно. Каждый кубический дюйм занят превращением почвы и солнечного света в тысячи летучих веществ, которые химики, возможно, никогда не смогут идентифицировать. Команда сборщиков каучука растягивается, словно полицейский поисковый отряд, и не покладая рук ищет восемь тысяч амазонских видов, которые могут исчезнуть, прежде чем Патриция успеет поместить их в свои хранилища с регулируемой температурой в Колорадо.

Более ста лет назад один англичанин контрабандой вывез отростки каучукового дерева из страны, к вящему неудовольствию Бразилии. Теперь почти весь мировой запас натурального каучука производит на свет Южная Азия, на землях, избавленных от прочих деревьев, которые никто никогда не каталогизировал как положено. Это заставляет бразильцев относиться к

гостье с опаской — еще одна коллекционерка из Англии приехала воровать семена. Но в тот день, когда ее команда обнаруживает изрубленные на куски старые деревья, свитению и ипе, местные меняют свое мнение. Они никогда не видели, чтобы кто-то, кроме них, плакал над деревьями.

Ее люди вооружены, пусть и винтовками XIX века, принадлежавшими прадедам. Pistoleiros[68] рыщут по ночам вдоль ручья и обочин. Браконьеры убивают любого, кто встает между ними и добычей. Не обязательно быть и на сотую долю таким героем, как Мендес, чтобы умереть, защищая деревья. Один из ее лучших гидов, Элизеу, рассказывает у ночного костра историю через переводчика Ружериу.

— Мой друг, с детства собиравший каучук, — вжух! Голову начисто отрезало куском проволоки. Просто за то, что защищал свою рощицу.

Элвис Антониу кивает, глядя в огонь.

— Мы нашли еще одного, три месяца назад. Труп засунули в логово какого-то животного у корней большого дерева.

— Это американцы, — говорит ей Элизеу.

— Американцы? Здесь?

---

[68] Примечания: 68
Pistoleiros — вооруженные бандиты *(порт.).*

«Вот дура». Она понимает это, как только слова слетают с ее губ.

— Американцы создают рынок. Вы покупаете контрабанду. Вы платите любые деньги! А наша полиция — просто издевательство. Полицейские в доле. Они хотят, чтобы деревья погибли. Удивительно, что мы еще не стали контрабандистами. Контрабандист по сравнению с добытчиком каучука? Ха-ха.

— Ну тогда почему бы вам и впрямь не заняться браконьерством?

Элизеу улыбается, прощая ей этот вопрос.

— Одно и то же дерево может давать каучук на протяжении поколений. Но браконьер прикончит его за один раз.

Она засыпает под сеткой от москитов, думая о Деннисе. Жалеет, что он не видит это место, так похожее на детскую книгу о затерянных мирах. А Деннис ее ждет во втором банке семян в Колорадо. Он к этому штату никак не привыкнет. Слишком веселый, холодный и сухой — самая суровая из версий страны Оз. Все эти осины и солнечные деньки кажутся ему противоестественными. «Здесь нет дерева выше, чем молодая тсуга у нас дома».

Он с удовольствием занимается обслуживани-

ем объекта, следя за тем, чтобы в хранилищах никогда не менялась температура или влажность. Но в основном проводит свой разделенный на части год в ожидании возвращения охотницы за семенами с ее пробирками, полными видов, которые вскоре не будут существовать нигде, кроме как в их гробницах с контролируемым климатом. Он ей не перечит, но настроен скептически.

«Детка, сколько они, по-твоему, продержатся?»

Она рассказала ему о семени иудейской финиковой пальмы двухтысячелетней давности, найденном во дворце Ирода Великого в Масаде — финиковой косточке с дерева, чьи плоды, возможно, пробовал сам Иисус; дерева, про которое Мухаммед говорил, что оно сделано из той же материи, что и Адам. Косточка проросла несколько лет назад. Патриция рассказывает о семенах лихниса, похороненных в нескольких ярдах под вечной мерзлотой Сибири. Растут по прошествии тридцати тысяч лет. Деннис просто присвистывает и качает головой. Но не задает свой главный вопрос, тот самый, которого она ждет.

«И кто же их посадит?»

ПАТРИЦИЯ ПРОСЫПАЕТСЯ НА РАССВЕТЕ, посреди густой зелени. Свет просачивается сквозь слои оплетенной лианами гнили, и эту картину

можно было бы изобразить на листовке церкви, вновь вспомнившей о своих языческих корнях. Незаданный вопрос Денниса крутится у нее в голове. Изобилие жизни за пределами палатки заставляет задуматься, что хорошего в том, чтобы спасти отдельный вид без всех этих эпифитов, грибов, опылителей и других симбионтов, которые, словно солдаты в окопах, защищают его подлинный дом. Но какова альтернатива? Она недолго лежит в своем спальном мешке, воображая лагерь как пастбище, которое ежедневно увеличивается на сто двадцать квадратных миль. А сжимающиеся площади лесов только ускоряют глобальное потепление, затрудняя прокорм.

Вернувшись после завтрака к работе, они натыкаются на штабель свежих бревен. Разведчики расходятся веером. Через несколько минут раздаются выстрелы из винтовок, потом ворчание мотоцикла, который пробирается через подлесок. Элвис Антониу возвращается из зарослей, машет руками, демонстрируя, что все чисто. Патриция следует за ним по дороге, которую едва можно назвать таковой, в палаточный лагерь pistoleiros, откуда население в спешке эвакуировалось. Там почти ничего не осталось, не считая стопки засаленной одежды, пакета заплесне-

велой маниоковой муки, мыльных хлопьев и португальского журнала с девочками, который был в употреблении чересчур много раз. Они поджигают лагерь. На огонь приятно смотреть — оранжевый мститель обращает прогресс вспять.

Они идут вдоль ручья к равнине, которая, как клянутся проводники, удовлетворит все желания Патриции в том, что касается редких семян. Она останавливается по пути, чтобы рассмотреть странные плоды. Представители рода *Annona*: анона колючая, «бычье сердце», анона сетчатая, дикорастущие виды и гибриды, каждый намекает на некий замысел. Невероятный *Lecythis* ошарашивает безумным смрадом. Стволы хоризии сверху донизу утыканы шипами. Пора достать пробирки для сбора семян. Они находят поразительный бомбакс в цвету, не похожий на те, что уже были задокументированы.

Элвис Антониу появляется рядом с ней, смеется и дергает за рукав.

— Иди посмотри!

— Конечно. Минуточку.

— Нет, сейчас!

Она вздыхает и следует за ним в укромный уголок из ветвей и обезумевших лиан. Четверо мужчин в восторге глядят на большое дерево с

досковидными корнями, похожими на ниспадающие складки ткани. Патриция не в силах определить даже семейство, не говоря уже про род и вид. Однако вид — не то, что вызывает интерес. Она подходит к возбужденным мужчинам и ахает. Никто не указывает ей, на что смотреть. Это понятно и ребенку. А также одноглазому и близорукому. На гладком стволе выступают узлы и завитки, складывающиеся в мышцы. Это человек, женщина — торс изогнут, руки подняты, пальцы превращаются в веточки. Круглое лицо кажется встревоженным, и «глаза» смотрят так пристально, что Патриция отворачивается.

Потом она подходит ближе, пытаясь разглядеть следы резьбы. Какой мастер вложил столько навыков и усилий в творение, которое в столь отдаленном краю могли вовсе не обнаружить? Но это не резьба. Никаких следов шлифовки или какой-то другой обработки древесины. Только контуры дерева. Мужчины тараторят на трех языках. Один из дендрологов утверждает, безудержно жестикулируя, что дерево подвергли некоей обработке, чтобы оно приобрело сходство с женщиной. Собиратели каучука глумятся. Это Дева, в ужасе взирающая на умирающий мир.

— Парейдолия, — говорит Патриция.

Переводчик не знает такого слова. Патриция объясняет: механизм адаптации, который заставляет человека видеть в вещах сходство с людьми. Стремление превратить два отверстия от сучков и дырку в лицо. Переводчик говорит, что в португальском нужного понятия нет.

Патриция присматривается. Ей не померещилось. Женщина, олицетворение жизненной коды, воздела глаза к небесам и вскинула руки непосредственно перед тем моментом, когда опасение превращается в осознание. Возможно, лицо возникло в результате хаотичного антракноза, а жуки его доделали, выступив в роли пластических хирургов. Но руки, кисти, пальцы: семейное сходство. Патриция обходит дерево по кругу, и впечатление усиливается. Собака бы облаяла это изогнутое тело. Ребенок бы заплакал.

На этом тропическом нагорье к ней возвращаются мифы, истории из ее собственного и мирового детства. Овидий в пересказе для детей, подаренный отцом. «Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы новые». Она натыкалась на одинаковые истории везде, где собирала семена — на Филиппинах, Шри-Ланке, в Синьцзяне, Новой Зеландии, Восточной Африке. Люди, которые в один миг пускают корни и

обрастают корой. Деревья, которые ненадолго обретают способность говорить и двигаться, подобрав корни.

Даже произнесенное мысленно слово кажется причудливым, чужеродным. Миф. Миф! Это какая-то ошибка. Гротеск. Воспоминание, разосланное повсюду теми, кто вплотную подошел к рубежу великого прощания человечества с прочими живыми существами. Отправленная напоследок телеграмма, полная скептицизма относительно планируемого побега: «Вспомните об *этом* через тысячу лет, когда, куда ни кинь взгляд, увидите только самих себя».

Чуть выше по течению племя ачуар — народ пальм — поет своим садам и лесам, но тайком, в уме, чтобы слышали только души растений. Деревья — их родственники, со своими надеждами, страхами и социальными нормами; целью племени всегда было очаровать и прельстить эти зеленые существа, сподвигнуть их к символическому браку. Вот какие свадебные песни Патриция должна поместить в свой банк семян. Такая культура могла бы спасти Землю. Она даже не в состоянии придумать, кто еще на это способен.

Ботаники и проводники достают из рюкзаков

фотоаппараты и начинают снимать феномен со всех возможных ракурсов. Они спорят о том, что означает это лицо. Смеются над ошеломительно малыми шансами того, что из безмозглого дерева могло совершенно случайно вырасти нечто подобное, так похожее на *нас*. Патриция просчитывает в уме вероятность. Сущая ерунда на фоне первых двух великих бросков космических костей: того, который возвысил инертную материю до жизненных высот, и того, благодаря которому простые бактерии превратились в замысловатые клетки, в сто раз крупнее и сложнее. По сравнению с этими двумя пропастями зазор между деревьями и людьми — пустяковина. И учитывая диковинную лотерею, способную породить какое угодно дерево, что такого уж чудесного в дереве с обликом Девы Марии?

Патриция тоже делает снимок, запечатлевая женщину, вырастающую из ствола. Она и собиратели берут образцы для идентификации. Семян нет. Отправляются дальше, коллекционировать. Но теперь каждый ствол кажется им неимоверно реалистичной скульптурой, слишком сложной для любого творца, кроме самой жизни.

Она никому в «Рассаде» не показывает свои фотографии, когда возвращается из странствий

в сверкающее здание за пределами Боулдера. Сотрудники, ученые, совет директоров: никому нет дела до *мифов*. Мифы — древние просчеты, догадки детей, которых давным-давно уложили спать. Мифы в уставе фонда не упоминаются.

А вот Деннису она их показывает. Ему она все показывает. Он ухмыляется и склоняет голову набок. Надежный Деннис. Семьдесят два года, но способен удивляться, как маленький ребенок.

— Только посмотрите на это! Боже ты мой!

— Вживую совсем жутко.

— Да уж, *вживую*. — Он не может отвести взгляд от снимка. Смеется. — Знаешь, детка, это может тебе пригодиться.

— В смысле?

— Сделай из этой фотографии плакат. Добавь броскую подпись: «Они пытаются привлечь наше внимание».

Той ночью Патриция просыпается в темноте и чувствует, что его большие и нежные руки обмякли.

— Деннис? — Она тянет его за запястье. — Ден?

В мгновение ока вырывается из-под безвольной конечности, вскакивает. Комнату заливает свет. Руки Патриции вытянуты вперед, пальцы растопырены, а на лице застыло выражение такого

ужаса, что даже труп вынужден отвести взгляд.

СКРИПИЧНЫЙ МАСТЕР, чьи волосы припорошены древесной пылью, мужчина, который успокаивает Дороти и заставляет ее смеяться всякий раз, когда она хочет купить штурмовую винтовку, тот, кто написал ей стихотворение, подсказывающее, где его искать, если они однажды потеряют друг друга, умоляет ее выйти замуж. Но в законе есть пунктик насчет невозможности многомужества.

— Дори. Я больше не могу. Мой нимб тускнеет. Святость переоценивают.

— Да. Как и греховность.

— Ты не можешь поехать со мной в отпуск. Ты даже не можешь остаться на ночь. Когда бы ты ни появилась, наступают лучшие сорок пять минут моего дня. И все же… Прости, я больше не могу быть номером два.

— Ты не номер два, Алан. Это просто двойная нота[69]. Помнишь?

— Больше никаких двойных нот. Мне нужна хорошая и долгая сольная мелодия, прежде чем пьеса закончится.

— Ладно.

---

[69] Примечания: 69

Двойная нота (англ, double stop) — прием игры на скрипке.

— Что «ладно»?

— Ладно. Однажды.

— Дори. Господи. Ну почему ты приносишь себя в жертву? От тебя никто этого не ждет. Даже он.

Никто не знает, чего ждет он.

— Я подписала бумаги. Я дала слово.

— Какое еще слово? Два года назад вы были на грани развода. Вы уже практически поделили имущество.

— Да. Когда он еще мог ходить. И говорить. И подписывать соглашения.

— У него есть страховка. На случай нетрудоспособности. Две сиделки. Он может себе позволить нанять кого-то на полный рабочий день. Ты даже сможешь и дальше помогать. Я просто хочу, чтобы ты жила здесь. Возвращалась ко мне домой каждую ночь. Была моей женой.

Любовь, о чем свидетельствуют все хорошие романы — вопрос владения, пользования и распоряжения. Она и ее возлюбленный уже много раз натыкались на эту стену. И теперь, в новом тысячелетии, мужчина, который помог ей сохранить рассудок, мужчина, который мог бы стать ее второй половинкой, если бы ее душа была несколько иной формы, в последний раз ударяется о преграду и без сил падает к подножию.

— Дори? Час пробил. Я устал делиться.

— Алан, ты либо делишься, либо не получишь ничего.

Он выбирает *ничего*. И она долго размышляет над тем, чтобы выбрать то же самое.

Одним кристально-голубым осенним утром из соседней комнаты доносится рев. Ее прозвище, растянутое до бесконечности, без последней согласной: «До-о-о…» Мурашки по коже. Это хуже, чем рев, который он издает, когда пачкает постель и нуждается в том, чтобы она пришла его помыть. Она бежит, как будто не случалось ложной тревоги. В комнате кто-то разговаривает с ее мужем, и он стонет. Она распахивает дверь.

— Я здесь, Рэй.

На первый взгляд, там только мужчина в маске застывшего ужаса, к которой Дороти, наконец, привыкла. Потом она поворачивается и видит. Она опускается на кровать рядом с ним. По телевизору говорят:

— Господи. О Господи. Это *вторая* башня. Вы все видели. Только что. В прямом эфире.

Какой-то твердый, шныряющий по кровати зверек задевает ее запястье. Она вздрагивает и кричит. Действующая рука мужа хватается за нее.

— Это сделали намеренно, — говорит диктор. — Это наверняка сделали намеренно.

Она берет его жесткие, скрюченные пальцы и сжимает их. Муж и жена смотрят друг на друга, ничего не понимая. Оранжевый, белый, серый и черный цвета переливаются на фоне безоблачной синевы. Башни истекают дымом, как трещины в земной коре. Шатаются. Затем рушатся. Кадр трясется. Люди на улицах разбегаются и кричат. Одна из башен складывается плашмя, как портативный тканевый шкаф. Звериный визг не прекращается. Изо рта Рэя сочится неверие: «Нх, нх, нх…»

Дороти уже видела, как падали чудовищные колонны, слишком большие, чтобы их можно было срубить. Она думает: «Наконец-то вся эта странная мечта о *безопасности*, об *изоляции* умрет». Но в том, что касается предсказаний, ей еще ни разу в жизни не удалось хотя бы приблизиться к правде.

ГАЙД-СТРИТ В НОБ-ХИЛЛЕ; квартал, в котором скрюченная азиатская слива — единственная среди американских платанов в камуфляжном наряде — каждую весну три недели фонтанирует кремовым безумием. Мими Ма сидит в полумраке своего офиса на первом этаже, готовясь ко второ-

му и последнему клиенту за день. Первый прием продлился три часа. По договору клиент имел право оставаться столько, сколько потребуется. Но после сессии Мими чувствует себя как сточенный до предела карандаш. Второй прием высосет остаток жизненной силы, отведенной на день. Сегодня вечером она запрется в своей квартире в Кастро, будет смотреть документальные фильмы о природе и слушать трансовую музыку. Потом сон, и завтра — еще две встречи с клиентами.

Нетрадиционные терапевты заполонили город — консультанты, аналитики, духовные проводники, помощники по самореализации, личные советчики и без пяти минут шарлатаны, многие из которых так же, как и Мими, сами удивлены тем, что избрали это ремесло. Но у нее до того хорошее «сарафанное радио», что она может позволить себе арендовать чудовищно дорогой офис, принимая всего двух клиентов в день. Главная проблема обостряется с каждой сессией: сможет ли она сама оставаться в здравом уме, пока клиенты пожирают ее душу?

Многие из ее потенциальных клиентов страдают всего лишь от избытка денег. Она говорит им об этом на отборочных собеседованиях каждую вторую пятницу. Она не принимает тех, кому

не больно, и она может определить, насколько человек страдает, уже через двадцать секунд после того, как тот сядет в вольтеровское кресло напротив нее в комнате для сессий, где нет больше никакой мебели. Она разговаривает с каждым обратившимся несколько минут, но не об их психике, а о погоде, спорте или домашних животных. Затем либо назначает сеанс, либо отправляет просителя домой, говоря: «Я вам не нужна. Вам просто надо понять, что вы и так счастливы». За совет она ничего не берет. Но для настоящего сеанса нужно чем-то пожертвовать. Двух жертвоприношений в день ей хватает, чтобы держаться на плаву.

Она сидит справа от замурованного камина и восстанавливает силы. Пятидесятый день рождения маячит на горизонте, однако у нее по-прежнему стройная фигура благодаря бегу на длинные дистанции; впрочем, в копне черных волос теперь мелькают каштановые блики. Шрам на щеке так и не исчез. Она поглаживает джинсы стального цвета и перебирает складки голубой блузы, в которой чувствует себя немного трубадуром. Ее офис-менеджер позвонила следующему клиенту и сказала, что терапевт свободен. Времени как раз достаточно, чтобы оправиться после

утреннего трехчасового котла страха, горя, надежды и преображения, в котором они варились с совершенно незнакомым человеком, прежде чем снова погрузиться в него с кем-то другим.

Она купает свой разум в дзенской бесцельности. Берет с каминной полки один из снимков в рамке — тот, на котором пожилая китайская пара держит фотографию трех маленьких девочек. Это студийный снимок, на фоне задника. Мужчина одет в дорогой льняной костюм, а женщина — в шелковое платье, сшитое в Шанхае еще до войны. Супруги с грустью смотрят на своих американских внучек с непостижимыми именами. Они никогда не встретятся ни с этими маленькими иностранками, ни с их матерью, сломанной веткой виргинского древа, которая умрет в лечебнице, забыв, к какому виду живых существ принадлежит. А что касается их блудного сына, то пара как будто узнала в тот самый миг, когда открылся объектив, какое жестокое преступление случится в конце концов. Спросите: в чем наша радость, наша беда? Песней ответит рыбак на излуке речной.

Жила-была малышка, колючка и задира, которая пыталась сохранить себя над великим разломом. Ни желтая, ни белая — такой в Уитоне

отродясь не видали. Только этот рыбак понимал ее, неподвижно стоя рядом долгими, медленными днями в пустошах, когда они оба смотрели на один и тот же бегущий поток, забросив в него удочки. Она опять испытывает гнев из-за его ухода, и чувство становится сильнее из-за непостижимости времени и разделяющего их расстояния. Потом чувство превращается в гнев на весь мир из-за вырубки безобидной рощи, где его призрак любил гулять, где ей нравилось сидеть и спрашивать его, почему, и где однажды она почти получила ответ.

Звон колокольчика выводит Мими из задумчивости. Стефани Н., ее дневная гостья, входит в приемную. Мими ставит фотографию на место и нажимает кнопку на нижней стороне каминной полки, сообщая Кэтрин, что готова. Тихий стук в дверь; Мими встает, чтобы поприветствовать пышнотелую женщину с жесткими рыжими волосами и в очках в черепаховой оправе. Рубашка цвета хаки и накидка не скрывают животик. Не нужно быть чокнутым эмпатом, чтобы почувствовать, что у посетительницы сломана ходовая пружина.

Мими улыбается, касается плеча Стефани.

— Расслабьтесь. Беспокоиться не о чем.

Глаза Стефани распахиваются: «В самом деле не о чем?» — Стойте спокойно. Я хочу на вас посмотреть, пока вы просто стоите. Вы уже были в уборной? Поели? Оставили свой мобильный телефон, часы и прочие гаджеты у Кэтрин? На вас ничего нет? Ни косметики, ни украшений? — Стефани чиста по всем пунктам. — Хорошо. Пожалуйста, садитесь.

Посетительница садится в предложенное кресло, не уверенная, как все это может привести к волшебству, которое ее шурин назвал самым болезненным и глубоким переживанием в своей взрослой жизни.

— Наверное, вам надо что-то узнать обо мне?

Мими склоняет голову набок и улыбается. У того, чего все до смерти боятся, есть много названий, и каждый хочет сообщить *свою* версию.

— Стефани, к тому моменту, когда мы закончим, мы будем знать друг о друге больше, чем можно выразить словами.

Стефани вытирает глаза, кивает, коротко смеется и щелкает пальцами. Готова.

Через четыре минуты Мими обрывает сеанс. Наклоняется и дотрагивается до колена посетительницы.

— Послушайте. Просто смотрите на меня. Это

все, что вам нужно делать.

Стефани хватает ее за руку, извиняется, потом опять подносит ладонь ко рту.

— Я знаю. Простите.

— Если вам стыдно… если вы боитесь, не надо волноваться. Это неважно. Просто не сводите с меня глаз.

Стефани склоняет голову. Она садится поудобнее, и они повторяют попытку. Фальстарты случаются часто. Никто не подозревает, как трудно смотреть другому человеку в глаза более трех секунд. Четверть минуты — и они в агонии; интроверты и экстраверты, подчиняющие и покоряющиеся, все равны. Их настигает скопофобия, боязнь увидеть и быть увиденным. Собака укусит, если смотреть на нее слишком пристально. Человек выстрелит. И хотя Мими часами смотрела в глаза сотням людей, хотя она в совершенстве овладела искусством выдерживать чужой пристальный взгляд, ей немного страшно сейчас, когда она смотрит в бегающие глаза Стефани, которая, слегка покраснев, преодолевает стыд и успокаивается.

Женщины, словно сцепившиеся бойцы на ринге, неуклюжие и голые. Уголки губ Стефани подрагивают, заставляя Мими улыбнуться в

ответ.

«Елки-палки», — говорят глаза клиентки.

«Да, — соглашается терапевт. — Унизительно».

Неловкость переходит в нечто приятное. Стефани — симпатичная, Стефани добродушная, по большей части уверенная в себе.

«Я порядочный человек. Понимаешь?»

«Это неважно».

Нижнее веко Стефани напрягается, а orbicularis oculi[70]подергиваются.

«Ты понимаешь, кто я? Я такая же, как все? Почему мне кажется, что в нормальном обществе для меня нет места?»

Мими прищуривается меньше, чем на ширину двух ресниц. Микроскопический выговор:

«Просто смотри. Смотри. И все».

Через пять минут Стефани начинает дышать спокойнее.

«Ладно. Поняла. Дошло».

«Это тебе так кажется».

Мими видит эту женщину все более отчетливо. У нее есть ребенок, и не один. Она жаждет позаботиться даже о терапевте. Ее муж, спустя десяток лет стал вежливым и отстраненным, этаким мед-

---

[70] Примечания: 70

Круговые мышцы глаз *(лат.).*

ведем в берлоге. Секс в лучшем случае похож на рутинный техосмотр. «Но ты ошибаешься, — говорит себе терапевт, размышляя. — Ты ничего не знаешь». Мысль превращается в трепет мельчайших мышц лица. «Просто смотри». Этого должно хватить для исправления и исцеления любого разума.

Через десять минут Стефани начинает ерзать. «Когда же начнется волшебство?» Мими не опускает глаз. Несмотря на рутину, пульс Стефани учащается. Она подается вперед. Ее ноздри раздуваются. Затем она вся расслабляется, от макушки до лодыжек. «Ну вот, понеслось. Мне скрывать нечего».

«Ты понятия не имеешь, что именно я вижу».

«Надеюсь, всякая хрень не покинет стен этой комнаты». «Эти стены надежнее, чем в Вегасе».

«Толком не понимаю, что я здесь делаю».

«Я тоже».

«Сомневаюсь, что ты бы мне понравилась, если бы я познакомилась с тобой на вечеринке».

«Я и себе-то не всегда нравлюсь. На вечеринках — почти никогда».

«Все это никак не может стоить таких денег. Даже если я останусь на весь день».

«Какую сумму ты готова заплатить за то, чтобы

на тебя смотрели без осуждения столько времени, сколько тебе нужно?»

«Кого я обманываю? Это деньги моего мужа».

«Я живу на наследство отца. Которое, возможно, было украдено».

«Я позволила мужчинам определять меня».

«На самом деле я инженер. Я только притворяюсь психотерапевтом».

«Помоги мне. Я просыпаюсь в три часа ночи от того, что что-то черное царапает мою грудь».

«На самом деле меня зовут не Джудит Хэнсон. Мое настоящее имя — Мими Ма».

«По воскресеньям, когда садится солнце, я не хочу жить».

«Воскресные вечера спасают меня. Так как я знаю, что через несколько часов пора на работу».

«Это из-за башен? Я думаю, все дело в них. Я стала хрупкой, как лед…»

«Башни падают, таково их предназначение».

Проходит четверть часа. Безжалостный внимательный взгляд другого человека: самый странный трип, который Стефани когда-либо случалось испытывать. Пятнадцать бесконечных минут пристального рассматривания женщины, незнакомой дочери Евы, заставляют задуматься кое о чем впервые за десятилетия. Она смотрит

на Мими и видит кривоногую, со шрамом на лице азиатскую версию своей школьной подруги, девушки, с которой порвала в девятнадцать лет из-за какого-то воображаемого оскорбления. Теперь не перед кем извиниться, кроме этой незнакомки, которая не перестает пялиться на нее.

Проходит время, целая жизнь, еще несколько секунд в комнате, где не на что смотреть, кроме изуродованного лица незнакомки. Ловушка, в которую угодила Стефани, захлопывается. Ее глаза затуманиваются от обиды, граничащей с ненавистью. Дрожание губ Мими возвращает Стефани в тот день три года назад, когда она, наконец, бросила вызов своей матери и назвала ее сукой. Рот ее матери в тот момент выглядел именно так… Стефани зажмуривается — будь прокляты правила игры, — и когда она снова открывает глаза, то видит свою мать через восемь месяцев, в панике, на ИВА, умирающей в больничной палате от обструктивной болезни легких — видит, как женщина всячески пыталась изгнать из своего разума мысли о брошенных в тот день обвинениях, пока дочь наклоняется, чтобы поцеловать ее в каменный лоб.

Часы, которые Стефани оставила в приемной,

тикают, сокрытые от глаз и ушей. Вдали от них, вдали от всех претензий к ее персоне, посетительница вспоминает себя, мягкосердечную, печальную, в возрасте шести лет, когда ей почему-то захотелось стать медсестрой. Игрушечный реквизит — шприц, манжета для измерения кровяного давления, белая шапочка. Книжки с картинками и куклы. Три года одержимости, а затем тридцать пять лет амнезии, которую она одолела, только упав в кроличью нору глаз другой женщины. За пределами их соглашения не существует ничего другого. Зрачки скованы, и эти цепи не разорвать. Годы проносятся в голове Стефани: детство, юность, отрочество, неуязвимая молодость, за которой следует бесконечная испуганная зрелость. Теперь она обнажена перед той, с кем пообещала больше никогда не встречаться.

У этого зеркала две стороны, и Мими тоже видит. «Как же тебе больно. И здесь тоже болит. Как такое могло случиться?» В пятне солнечного света, которое лежит на полу между ними, пробуждается нечто зеленое. Мими позволяет ему отразиться на своем лице, не пряча от клиентки. Терапия «Смотрю на тебя и вспоминаю своих сестер» Она впускает эту женщину, позволяет ей вскарабкаться на дерево для завтраков на зад-

нем дворе в Уитоне, штат Иллинойс, где Мими, Кармен и Амелия уже устроились с мисками, полными хлопьев, на ветвях, покрытых летней листвой, и предсказывают друг дружке будущее по плавающим овсяным кольцам. У кухонного окна стоит дочь миссионера из Вирджинии, та самая, которая умрет от деменции в доме престарелых, так и не взглянув в глаза своим дочерям дольше чем на полсекунды. Мужчина из народа хуэй выходит из дома и кричит своим дочерям: «Моя шелковичная ферма! Что вы делать?» Шелковица, такая милая, кривая и откровенная, окруженная тенью и источающая покой, лгущая обо всем, что сулит будущее.

Стефани охвачена мощным сестринским чувством. Она тянет руку к этой маленькой шаманке, наполовину азиатке, через разделяющие их четыре фута. Мимолетное сокращение мышц — Мими морщится — служит предупреждением. Это не конец. Далеко не конец.

Через полчаса Стефани на грани нервного срыва. Она голодная, окостенелая, у нее все чешется, и еще она противна самой себе до такой степени, что хотела бы уснуть и не проснуться. Правда сочится из нее, как пот. «Мне нельзя доверять. Я этого не заслуживаю. Понимаешь? Даже мои

дети не догадываются, насколько я испорчена. Я обокрала своего брата. Я покинула место аварии. У меня был секс с мужчинами, чьих имен я не знаю. Несколько раз. Недавно».

«Да. Тс-с. Меня разыскивают в трех штатах».

Их лица безжалостным образом обмениваются информацией. Движение мышц — будто самое неторопливое в мире слайд-шоу. Ужас, стыд, отчаяние, надежда: череда жизней, каждая длиной три секунды. Через час острова эмоций смывает в открытое море. Два лица увеличиваются в размере; рты, носы и брови расширяются до масштабов Рашмора[71]. Истина витает между ними огромным туманным облаком, соприкоснуться с которым мешает собственная телесность.

Еще час. Посреди бесконечной скучной пустыни вырастают немыслимо высокие горы. Новые уничтоженные воспоминания прорываются откуда-то снизу — как много в этом зацикленном смотрении друг на друга моментов, которые возрождаются, чтобы вновь сгинуть. Воспоминания множатся, словно головы гидры, и длятся дольше жизней, которые их породили. Стефани видит. Теперь сомнений нет: она животное, всего-навсего

[71] Примечания: 71

Рашмор — гора в Южной Дакоте, известная благодаря огромному барельефу с изображением лиц четырех президентов США.

аватар. Другая женщина — такой же дух, заключенный в темницу материи, пребывающий в заблуждении относительно своей автономности. И все же они соединены, связаны друг с другом, пара мелких божеств, которые успели пожить и ощутить все, что только можно. У одной возникает мысль, которая тут же становится мыслью другой. Просветление — совместное предприятие. Для него необходим другой голос, который скажет: «Ты не ошиблась…»

«Если бы я только помнила об этом в реальной жизни, под огнем! Я бы исцелилась».

«Лекарства не существует».

«Это все? Будет что-то еще? Наверное, мне пора». «Нет».

На третьем часу истина бушует, неукротимая и жуткая. Из потаенных убежищ выходят откровения, которые выгнали бы из любого клуба, кроме этого — членство в нем нельзя отменить.

«Я лгала своим самым близким друзьям».

«Да. Я позволила матери умереть без присмотра».

«Я шпионила за мужем и читала его личную переписку».

«Я счистила кусочки отцовского мозга с камней на заднем дворе».

«Мой сын не хочет со мной разговаривать. Он говорит, я разрушила его жизнь».

«Да. Я помогла убить свою подругу».

«Как ты можешь смотреть на меня?»

«Есть вещи и посложнее».

Солнечный свет меняется. Тонкие полосы ползут по стенам. Стефани гадает: это все еще «сегодня», или оно уже миновало. Ее зрачки попеременно сужаются и расширяются, от чего комната то погружается в полумрак, то делается ослепительно яркой. Она не может даже собраться с силами, чтобы встать и уйти. Все закончится, когда не сможет продолжаться. И они расстанутся на веки вечные.

Ее глаза горят. Она моргает, оцепенелая, онемевшая, голодная как волк, разбитая; ей нужно поскорее опорожнить мочевой пузырь. Что-то мешает дышать — эта хрупкая женщина со шрамом, которая не отводит взгляд. Пронзенная взглядом, Стефани становится чем-то другим, чем-то огромным и неподвижным, раскачивающимся на ветру и поливаемым дождем. Весь список неотложных потребностей — то, что она называла своей жизнью — сокращается до поры на нижней стороне листа; лист — крайний на ветке, которую треплет ветер; ветка — часть кроны, то

есть общества — дерева настолько огромного, что его никто не может охватить одним взглядом. А где-то внизу, под землей, в перегное, по корням *смирения* текут дары.

Ее щеки напряжены. Она хочет крикнуть: «Кто ты? Почему не остановишься? Никто и никогда не смотрел на меня так, разве что желая осудить, ограбить или изнасиловать. За всю мою жизнь, от начала до сегодняшнего дня, ни разу…» Она краснеет. Медленно, тяжело и недоверчиво качает головой, начиная плакать. Слезы живут своей жизнью. Это называют «рыданием». Терапевт тоже плачет.

«Почему?! Почему я больна? Что со мной не так?» «Одиночество. Но дело не в том, что тебе нужны другие люди. Ты оплакиваешь то, чего толком не знала».

«Но что же оно такое?..»

«Великое, сложное, неукротимое, пронизанное взаимосвязями место, которое невозможно заменить. Ты даже не догадывалась, что способна его потерять».

«Куда же оно исчезло?»

«Растратило себя, сотворив нас. Но все равно чего-то хочет».

Стефани вскакивает с кресла, хватается за

незнакомку. Обнимает ее за плечи. Кивает, плачет, кивает. И незнакомка ей позволяет. Конечно, это скорбь. Скорбь по чему-то слишком великому, чтобы его можно было осознать. Мими отступает, чтобы спросить, все ли в порядке со Стефани. Достаточно ли она в порядке, чтобы уйти. И сесть за руль. Но Стефани, приложив палец к губам терапевта, заставляет ее умолкнуть навсегда.

Преображенная женщина открывает дверь на Гайд-стрит. Два маляра на строительных лесах орут друг на друга, перекрикивая вопящее радио. Через шесть домов мужчины с тележками выгружают из грузовика какие-то коробки. Парень в грязном пиджаке и шортах, с волосами, подвязанными амортизирующим тросиком, проходит мимо, громко разговаривая: по телефону или с голосами в своей голове — у каждого своя шизофрения. Стефани выходит на улицу, и перед ней проносится машина. Яростный звук клаксона разлетается эхом на целый квартал. Она пытается удержать то, что ей только что открылось. Но машины, вопли, суета; жестокость улицы давит со всех сторон. Стефани ускоряет шаг и чувствует, как подступает былая паника. Все ее победы начинают блекнуть под воздействием непреодолимой силы — других людей.

Что-то острое царапает лицо. Она останавливается и прикасается к поцарапанной щеке. Виновник проплывает мимо: пурпурно-розовый, как на рисунке пятилетнего художника, которому плевать на правила. Из металлической решетки в тротуаре возле ее ног рвется на свободу нечто вдвое выше ее роста и вдвое шире раскинутых рук. Одна-единственная мощная дорога ввысь распадается на несколько более тонких, а те — на тысячи других, еще более тонких, и каждая полна сомнений, дилемм, покрыта шрамами, обременена историей и увенчана безумными цветами. Зрелище укореняется в ней, разветвляется, и на мгновение Стефани вспоминает: ее жизнь была неукротимой, как слива весною.

В ДВУХ ТЫСЯЧАХ МИЛЬ К ВОСТОКУ Николас Хёл въезжает в июньскую Айову. Каждая выбоина на земле, каждая запомнившаяся силосная башня в стороне от шоссе заставляет его нутро скручиваться, словно это последнее, что он видит перед смертью. Словно он возвращается домой.

Подсчеты ошеломляют — прошло так мало лет… Столько всего осталось нетронутым. Фермы, придорожные склады, объявления о церковных службах, отчаянно взывающие «Ибо так

возлюбил Бог мир…»[72]. Так много отпечатков глубокого детства, неизгладимых шрамов в прерии и в нем самом. И все же каждая достопримечательность кажется искаженной и далекой, как будто он смотрит на нее через бинокль из дешевого магазина. Ничто из этого не могло уцелеть там, где он побывал.

Он едет на запад, и перед последним пригорком до съезда его пульс учащается. Он ищет взглядом одинокую мачту на горизонте. Но там, где должна быть колонна Каштана Хёлов, только всепоглощающая июньская синева. Он покидает шоссе и следует по прямой длинной дороге к ферме. Только это уже не ферма. Это фабрика. Хозяева срубили дерево. Он паркует машину на обочине гравийной дороги, проехав лишь полпути, и идет через поле к пню, позабыв, что поле уже ему не принадлежит, и он не может здесь гулять без разрешения.

Через сто пятьдесят шагов видит зелень. Десятки свежих побегов каштана прорастают из мертвого пня. Он видит листья с перистым жилкованием и зубчатым краем, копья из детских лет, когда он даже не думал, что «лист» может

---

[72] Примечания: 72
От Иоанна 3:16.

выглядеть иначе. На несколько ударов сердца все воскресает. Потом он вспоминает. Эти молодые ростки вскоре тоже погибнут. Они будут умирать и воскресать снова и снова, достаточно часто, чтобы смертоносная зараза продолжала существовать в свое удовольствие.

Он поворачивается к дому предков. Взмахивает руками, чтобы успокоить всех, кто мог бы наблюдать из гостиной. Но на самом деле не дерево умерло, а дом. Вагонка отходит от стен. На северной стороне водосточная труба сломалась пополам. Николас бросает взгляд на часы. Пять минут седьмого — обязательное время ужина на всем Среднем Западе. Он пересекает заросшую сорняками лужайку и подходит к восточным окнам. Они мутные, пыльные, не блестят; по ту сторону темнота и ничего кроме. Вертикальные брусья, рейки, верхние перемычки и прочие детали деревянных оконных переплетов превратились в покрытую краской труху. Прикрыв глаза одной рукой, Николас заглядывает внутрь. Гостиная его бабушки и дедушки заставлена металлическими тазами и канистрами. Дубовая отделка, которая украшала в доме каждый дверной проем, содрана.

Он обходит дом и поднимается на крыльцо.

Ступеньки дрожат под ногами. Пять ударов латунным дверным молотком ничего не дают. Он направляется к старым хозяйственным постройкам на возвышенности за домом. Одну снесли. От другой остался только каркас. Третья заперта. Его старая фреска-тромплёй — с трещиной посреди кукурузного поля, открывающей потаенный широколиственный лес — сгинула под слоем свинцово-серой краски.

Он опять на крыльце, сидит там, где когда-то стояло кресло-качалка, спиной к переднему окну. Он не знает, как поступить. Вломиться в дом? Последние три ночи провел в ужасных условиях. Его до смерти напугала корова у гор Бигхорн в Вайоминге, перед рассветом сунув нос в спальный мешок. В национальном лесу в Небраске ему не давали спать два туриста, ставящие рекорды двужильности в палатке неподалеку. Хорошо бы кровать. И душ. Но в доме, похоже, нет ни того, ни другого.

Он ждет, когда наступят мягкие сумерки Среднего Запада, хотя нет особой нужды в прикрытии. Вдалеке сельскохозяйственный монстр — управляемый через спутник, почти робот — колесит по колышущемуся на ветру полю. Здесь нет ни души, никто не увидит Ника. Он сделает все, что

нужно, и уйдет.

Но он ждет. Ожидание стало религией. Можно слушать кукурузу, которой вокруг целые мили. Наблюдать за ростом фасоли, созерцать сараи и силосные башни на горизонте, шоссе и силуэт огромного дерева, вырезанный из неба — негативное пространство, как на картине Магритта. Он сидит, прислонившись к дому, и чувствует, как ферма возвращается из небытия, словно дикое животное на краю тропы, если турист долго простоит на месте. Когда облака становятся багровыми, он идет к машине и берет свою складную походную лопату. Неправильный инструмент для неправильного дела, но это лучшее, что у него есть. Через минуту он уже на холме за сараем для тракторов, ищет рыхлый гравий. Земля кажется другой; расстояния не те. Даже сарай переместился.

Нужное место обнаруживается выше, чем он предполагал, скрытое под буйно разросшимися сорняками. Николас вонзает лопату и копает, пока не натыкается на прошлое. Возвращение изгнанников. Он вытаскивает коробку и открывает. Панно и несколько работ на бумаге. Верхняя картина в догорающем дневном свете: мужчина лежит в постели и смотрит на кончик огромной

ветки, что проникла в окно.

Так все и случилось. Он спал, она ворвалась. У каждого из них была половина пророчества. Они сложили половинки и прочитали послание. Нашли свое общее призвание, занялись одним и тем же делом. Духи гарантировали, что все будет хорошо. Теперь она мертва, он вновь стал лунатиком, и то, что они собирались спасти, погибает.

Он ставит коробку рядом с ямой и продолжает копать. А вот и вторая, наполненная картинами, про которые он забыл: «Семейное древо», «Обувное древо», «Денежное древо», «Лающий не на то древо». Все они были написаны в годы, предшествующие ее появлению на подъездной дорожке, ее историям о воскрешении и голосах, несущих свет. Картины доказывали, что дальше они будут странствовать вдвоем. Картины ошиблись.

Он ставит вторую коробку на первую и опять копает. Наконечник лопаты ударяется о какую-то неровность: Ник обнаружил скульптурные залежи. Они с Оливией закопали четыре штуки, ни во что не заворачивая, чтобы проверить, как живая почва воздействует на керамическую поверхность. Грязь: еще одна вещь, которую она научила его видеть. Каждые несколько веков прирастает один-два дюйма. Микроскопиче-

ский лес, сто тысяч видов в нескольких граммах Айовы. Он опускается на колени, аккуратно вытаскивает закопанные штуковины и вытирает смоченным слюной носовым платком. Их монохромные поверхности теперь покрыты пятнами насыщенных цветов, почти как полотна Брейгеля. Бактерии, грибки, беспозвоночные — трудяги из живых подземных мастерских — нанесли на скульптуры патину и сотворили пестрые шедевры.

Он расставляет преображенные статуи на спасенных ящиках и возвращается за подлинным сокровищем. Вновь задается вопросом, о чем думал, оставляя его здесь. Они хотели путешествовать налегке. Похоронить искусство. А потом откопать, и пусть бы это был отдельный перформанс. Но вещь, которая все еще лежит в земле, дороже его собственной жизни, и Нику не следовало упускать ее из виду. Еще шесть взмахов лопатой — и сокровище вновь у него. Он открывает коробку, расстегивает молнию на сумке и достает стопку фотографий, собранных за сто лет. Нет смысла их перебирать, слишком темно и ничего не видно. Но Николас в этом и не нуждается. Стопка в его руках, и он чувствует, как дерево взмывает ввысь, будто фонтан, на

который смотрят поколения Хёлов.

Он несет половину добычи вниз по склону, к машине. Укладывает в багажник и поворачивает назад за остальным. На полпути к месту захоронения тьму пронзают два белых огня: кто-то свернул на гравийную дорогу. Полиция.

К патрульной машине идут с поднятыми руками. Любое объяснение может быть задокументировано. Улики подтвердят его историю. Да, вторгся на чужую собственность, но лишь для того, чтобы забрать свое имущество. Он выходит из-за дома, прямо на свет фар. Приходит осознание того, что зарытое сокровище может на самом деле уже не принадлежать ему. Он продал землю и все, что с ней связано. Покупка и продажа земли кажется таким же абсурдом, как и арест за возвращение своего собственного искусства.

Полицейская машина рывком выезжает на подъездную дорогу, от колес летит гравий. «Люстра» вспыхивает красным, и Николас застывает как вкопанный. Машина резко поворачивает, преграждая ему путь, и останавливается. Вой сирены сменяется голосом из динамиков.

— Стоять! Лечь на землю!

Взаимоисключающие требования. Он поднимает руки и опускается на колени. Переносится

на сорок лет назад и слышит детсадовский стишок-дразнилку: «Но тут хлынул дождь — и уплыл паучок»[73]. Два офицера мгновенно оказываются рядом. Лишь в этот момент Николас понимает, что у него серьезные проблемы. Если они снимут с него отпечатки пальцев и проверят по своей базе…

— Руки вытянуть.

Один из полицейских упирается коленом в спину Ника и стягивает его запястья. Надев наручники, они усаживают его на землю, светят в лицо фонариком и записывают данные.

— Это безделицы, — объясняет он. — Они ничего не стоят.

Они морщатся, рассматривая «шедевры». К чему создавать такие вещи, не говоря уже о том, чтобы их воровать? Интересен лишь тот факт, что они были закопаны. Но пожилой коп узнает фамилию на водительских правах Ника. Часть местной истории. Ориентир для всего региона: «Вам еще ехать милю-полторы, мимо дерева Хёлов».

Они звонят управляющему, который отве-

---

[73] Примечания: 73

Речь идет о «бесконечном» детском стихотворении про паучка, который снова и снова забирается в водосточную трубу, хотя его каждый раз смывает дождем.

чает за эту собственность. Его совершенно не интересует, что за мусор выкопали на территории. Сельская Айова: полиция не проверяет по федеральной базе данных, не было ли у него приводов. Просто еще один чокнутый бродяга из разорившейся семьи фермеров, который ездит на помятом автомобиле и пытается вернуть исчезнувшее прошлое.

— Вы свободны, — говорят ему. — Больше никаких раскопок на чужой территории.

— А можно я?.. — Ник машет рукой в сторону вырытых сокровищ. Офицеры пожимают плечами: «На здоровье». Потом наблюдают, как он укладывает последние коробки в багажник. Он поворачивается к ним: — Вы когда-нибудь видели, чтобы дерево состарилось на восемьдесят лет за десять секунд?

— В будущем соблюдайте осторожность, — говорит полицейский, надевший на него наручники.

А потом они отпускают человека, на чьей совести три поджога, на все четыре стороны.

НИЛАЙ СИДИТ ВО ГЛАВЕ овального стола и смотрит на пятерых лучших координаторов проектов. Растопыривает костлявые пальцы на столешнице. Не знает, с чего начать. Трудно даже сообразить, как называть саму игру.

Номера версий в прошлом. Их заменили постоянные обновления. Сейчас «Господство Онлайн» — истинный левиафан, неуклонно растущее и развивающееся предприятие. Но сердце у него гнилое.

— Мы столкнулись с проблемой Мидаса. У нашей игры нет финала, она превратилась в строительство бесконечной пирамиды, что вызвало застой. Вечное, бессмысленное процветание.

Команда слушает, нахмурившись. Все они зарабатывают шестизначные суммы, большинство — миллионеры. Самому младшему двадцать восемь лет, самому старшему — сорок два. Но они, одетые в джинсы и футболки скейтбордистов, с волосами, собранными в модный пучок, в заломленных набок бейсболках, выглядят как симуляции подростков. Боэм и Робинсон откидываются на спинки своих кресел, потягивая энергетики и грызя протеиновые батончики. Нгуен положил ноги на стол и смотрит в окно, как будто нацепил очки виртуальной реальности. Все пятеро пищат и дзинькают, свистят и вибрируют — у них столько «протезов», сколько писателям-фантастам и не снилось.

— Как в ней можно выиграть? Точнее, разве в ней возможно *проиграть*? Единственное, что

имеет значение — накопить еще чуть-чуть. После того, как ты достиг определенного уровня, дальнейшее кажется пустой тратой времени. Чем-то грязным. Повторением пройденного.

Мужчина в инвалидном кресле у стола склоняет голову и заглядывает в свою могилу. Его длинные сикхские волосы по-прежнему ниспадают до талии, но теперь в них седые пряди. Борода ложится на толстовку с изображением Супермена, словно слюнявчик. На руках еще есть кое-какие мышцы, наработанные благодаря десятилетиям вынужденных перемещений из постели и в постель. Но ноги под штанинами брюк-карго с трудом заслуживают право считаться таковыми.

На столе книга. Эльфы в курсе, что это значит: босс снова читает. У него визионерский заскок. Скоро он всех принудит проштудировать этот томик в поисках решения проблемы, которая существует только в его воображении.

Кальтов, Раша, Робинсон, Нгуен, Боэм: пятеро полных энтузиазма умников собрались в суперпупер-продвинутом военном штабе, оснащенном множеством экранов и всеми электронными прибамбасами для конференций, какие только могут понадобиться завтра. Но сегодня они спо-

собны лишь смотреть на босса, разинув рот. Он говорит, что «Господство» сломалось. Волшебная франшиза, настоящий денежный станок, нуждается в переосмыслении.

От раздражения у Кальтова едва не вспыхивают усы.

— Это же игра в богов, господи боже. Нам платят, чтобы наслаждаться божественными проблемами.

— У нас уже семь миллионов подписчиков, — говорит Раша. — Четверть из них играют около десяти лет. Игроки нанимают китайских заключенных с подключением к Интернету, чтобы те прокачивали их персонажей, пока они спят.

Босс делает бровями то движение, на какое способен он один.

— Если бы поднятие уровня по-прежнему было веселым занятием, они бы так не поступали.

— Возможно, проблема и впрямь существует, — признает Робинсон. — Но это та же проблема, с которой мы имеем дело с самого начала «Господства».

Нилай качает головой, но это не кивок.

— Я бы не сказал, что мы с ней «имеем дело». Скорее, «продолжаем откладывать».

Он так отощал, что мог бы сойти за святого.

Провисающий ворот толстовки обнажает торчащие ключицы. Он похож на изваяние индийского аскета — обтянутый кожей скелет, сидящий под священной смоковницей или деревом ним.

Боэм демонстрирует кое-какие картинки.

— Вот что мы предлагаем. Снова добавим уровни опыта. И еще введем в игру кучу технологических штучек. Мы их называем «Техника будущего 1», «Техника будущего 2»… Все они генерируют различные виды очков престижа. Затем устроим посреди Западного океана еще одно вулканическое событие и создадим новый континент.

— По-моему, это смахивает на «продолжаем откладывать».

Кальтов разводит руками.

— Люди хотят расти. Расширять свои империи. Вот почему они платят нам каждый месяц. Места становится все меньше. Мы немного расширяем пространство. Нет другого способа управлять миром.

— Ну ясно. Намылить, сполоснуть, повторить, пока не помрешь от истощения.

Кальтов хлопает по столу. Робинсон искренне хохочет. Раша думает: «Все дело в том, что босс — тот парень, который пишет миллион служебных

записок в неделю, тот парень, который построил компанию из ничего — использует свое гениальное право на заблуждение».

— Что интереснее? — тем временем продолжает Нилай. — Двести миллионов квадратных миль, заполненных сотней разновидностей биомов и девятью миллионами видов живых существ? Или горстка мигающих цветных пикселей на плоском экране?

Вокруг стола раздается нервный смех. Они понимают, конечно, какой из двух вариантов — лучший дом. Но каждый знает почтовый адрес своей нынешней пассии.

— Босс, абсолютно ясно, куда эмигрирует наш вид.

— Но *почему*? Как можно променять бесконечно богатое место на мультик?

Для мальчиков-миллионеров столько философии — это уже перебор. Но они решают подыграть человеку, который их всех нанял. Они отвечают, усердно перечисляя бонусы символического пространства: чистота, скорость, мгновенная обратная связь, власть и контроль, сопричастность, огромное количество предметов, которые можно накопить, баффы и медальки. Сговорчивые услады, от которых кора головного мозга искрится.

Они говорят о безупречности игры, о том, что она не стоит на месте, и ее скорость отчетливо видна. Можно оценивать свой прогресс. Понимать, что усилия не напрасны.

Нилай снова кивает в знак того, что не согласен.

— До определенного момента. Пока игра не наскучит.

Группа затихает. Наступает всеобщее отрезвление. Нгуен убирает ноги со стола.

— Люди нуждаются в лучших историях, чем те, которые у них есть.

Лохматый садху наклоняется вперед так быстро, что чуть не вываливается из своего инвалидного кресла.

— Да! А какое свойство есть у всех хороших историй? — Нет ответа. Нилай поднимает руки и разводит ими в странном жесте. Кажется, еще миг — и его пальцы покроются листвой. Птицы прилетят, совьют гнезда. — Они немного убивают. Превращают тебя в того, кем ты не был.

Осознание настигает их — медленное и неумолимое, как смерть. Босс играет в другую игру, которая запросто пустит «Господство» на растопку.

— И что нам делать? — спрашивает Боэм.

Нилай показывает книгу, словно ее надиктовали свыше. Они видят название на обложке, под вздымающейся паутиной листьев. «Тайный лес». Робинсон стонет.

— Опять растения, босс? Из растений игры не получится. Разве что у них будут базуки.

— Давайте введем в модель атмосферу. Добавим качество воды. Циклы питательных веществ. Конечные материальные ресурсы. Давайте создадим прерии, болота и леса, отражающие богатство и сложность реальных мест.

— И что потом? Обесцвечивание рифов, повышение уровня моря и лесные пожары, вызванные засухой?

— Раз уж люди постоянно играют именно по таким правилам.

— Зачем? Наши подписчики хотят спрятаться от всего этого дерьма.

— Игра не отпускает своих игроков. Такова великая тайна.

— Ну и как же выиграть при *таком* раскладе? — насмешливо спрашивает Кальтов.

— Выяснив, какие способы работают. Отыскав истину методом проб и ошибок.

— То есть никаких новых континентов.

— Никаких новых континентов. Никакого

внезапного появления новых месторождений полезных ископаемых. Регенерация только с реалистичной скоростью. Никаких восстаний из могилы. Неправильный выбор в игре должен приводить к перманентной смерти.

Эльфы переглядываются. Босс вышел из-под контроля. Он готов разрушить франшизу, уничтожить механизм, который превращает их жизнь в вечный праздник, просто чтобы решить проблему чрезмерного удовлетворения потребностей.

— Но что… — начинает Нгуен. — Что веселого в лимитах, дефиците и перманентной смерти?

На миг лицо со впалыми щеками становится гибким, словно резина, и босс вновь превращается в мальчишку, который учится программировать, а его код знай себе ветвится во всех направлениях.

— Семь миллионов пользователей должны будут изучить правила нового опасного места. Узнать, что стерпит этот мир, как на самом деле устроена жизнь, чего она хочет от игрока в обмен на продолжение действа. Вот это я понимаю, игра. Совершенно новая эпоха Великих географических открытий. Разве это не лучшие приключения из всех, какие только могут быть?

— Надо продать свои акции «Семпервиренс», —

говорит Кальтов. — Игроки уйдут. Все без исключения!

— Куда? Слишком многое поставлено на карту. Большинство игроков потратили на «Господство» годы. Они сколотили в игре целые состояния. Они придумают, как восстановить доброе имя этого мира. Они удивят нас, как всегда.

Эльфы сидят ошарашенные; кажется, что их состояния тают на глазах. Но босс — о, босс сияет, как не сиял с того дня, когда упал с дерева в детстве. Он берет со стола книгу, открывает и читает вслух:

— «Под землей происходит нечто удивительное, и мы лишь теперь начинаем понимать, что именно». — Для пущего эффекта он захлопывает книгу. — Не существует ничего даже отдаленно похожего. Мы можем стать первыми. Вообразите игру, в которой надо прокачивать мир, а не себя.

Вслед за его безумным предложением сгущается тишина.

— Не сломано, босс, — говорит Кальтов. — Не надо чинить. Я голосую против.

Святой, тощий как скелет, обращается к каждому из сидящих за столом. Раша? Нгуен? Робинсон? Боэм? Нет, нет, нет и нет. Единодушный дворцовый переворот. Нилай не чувствует ничего,

даже удивления. «Семпервиренс», с ее пятью подразделениями и бесчисленным количеством сотрудников, с ее огромными годовыми доходами от подписки и СМИ, уже давно не контролируется конкретными личностями. Десятки тысяч поклонников, пишущих на интернет-форумах, имеют больше власти над развитием событий, чем кто-либо из начальства. Сложная адаптивная система. Божественная игра, которая сбежала от своего бога.

Он все понял: коллективная онлайновая жизнь в параллельном мире будет продолжаться, скрупулезно вторя тиранической сути того места, откуда все эти люди пытаются сбежать. А шестьдесят третий самый богатый человек в округе Санта-Клара — основатель «Семпервиренс Инк.», создатель «Лесных пророчеств», единственный ребенок, поклонник далеких планет, любитель комиксов на хинди, заядлый фанат историй не по правилам, оператор цифровых летающих змеев, робкий ругатель учителей, падатель с прибрежных виргинских дубов — узнает, каково быть заживо съеденным собственным ненасытным потомством.

ДУГЛАС ПАВЛИЧЕК ХРАНИТ эту древнюю, десятилетней давности историю в своем арсенале,

чтобы с ее помощью атаковать какого-нибудь ничего не подозревающего посетителя, который летним днем забредет в бывший бордель, ныне информационный центр для гостей города-призрака. Он выкладывает ее всем, кто задержится на достаточно долгий срок.

— Потом мне пришлось пятиться вверх по склону, на заднице, отталкиваясь от древесных стволов здоровой ногой. Преодолел восемьдесят футов по снегу, двигаясь зигзагами, а вывихнутое плечо было все равно что Дух Святой, тыкающий в меня раскаленной кочергой. Я дополз, то и дело теряя сознание, до надшахтного копра старой серебряной шахты, это примерно в ста ярдах отсюда. И там пролежал, полумертвый, невесть сколько времени — у меня были видения, я слышал, как разговаривает лес. Наверное, росомахи и иже с ними слизывали соленый пот с моего лица. Чудом добрался до офиса, вызвал санавиацию, и меня доставили в Миссулу на вертушке. Ощущение было такое, будто я снова угодил во Вьетнам, где собрался сигануть из старой «Птички Герки» и начать Колесо вечного возвращения заново.

Он часто рассказывает эту байку, и туристы, в основном, терпят. А однажды вечером, через десять минут после окончания рабочего време-

ни, он повествует ее девушке, которая слушает всерьез. Вроде, молоденькая; в бандане и с рюкзаком; с чертовски милым восточноевропейским акцентом; от нее чуть попахивает немытым телом, зато она дружелюбная, как покрытый клещами ретривер. Аж подпрыгивает на месте в ожидании развязки: выживет, не выживет? Дуглас, увлекшись нарастающим темпом, слегка импровизирует. Будем честны: запас прочности у каркаса его сюжета отнюдь не бесконечный. Но слушательница внимает, как будто он один из страдающих эпилепсией русских романистов, и все, чего ей хочется, — узнать, что будет дальше, что будет потом.

Когда история заканчивается, девушка наблюдает, как он закрывает офис. Снаружи, на стоянке, только его служебный белый «форд». Все посетители уехали обратно по ухабистой дороге на своих «экспедишнах» и «патфайндерах». Девушка — ее зовут Алена — спрашивает:

— Как думаете, поблизости есть место, где можно разбить лагерь?

Дуглас бывал в такой ситуации: долгий путь позади, а палатку поставить негде. Он взмахивает руками, указывая на все заброшенные здания, которые должен каждый вечер проверять на

предмет посторонних личностей. Кемпинг запрещен, но кто узнает о нарушении правил?

— Выбирай.

Она склоняет голову.

— А у вас не найдется крекеров или чего-то в этом духе?

Дугласу приходит на ум, что, возможно, ее привлек вовсе не его талант рассказчика. Но он ведет ее в хижину и угощает ужином. Пускается во все тяжкие: филе кролика, которое берег с неведомыми целями, жареные грибы с луком, приличный кофейный кекс из хлопьев для завтрака «Грейп-Натс», а также пару стаканчиков малиновой настойки.

Она рассказывает о полном приключений путешествии через Гранатовый хребет.

— Мы пустились в путь вчетвером. Понятия не имею, куда подевались те трое.

— Здесь опасно. Ты не должна путешествовать одна, с твоим-то видом.

— А какой у меня вид? — Она надувает щеки и машет ладонью перед носом. — Как у больной обезьяны, которую надо помыть.

По мнению Дугласа, она выглядит достаточно хорошо, чтобы быть невестой по переписке, мошенницей.

— Нуда, конечно. Молодая женщина в гордом одиночестве. Никто и внимания не обратит.

— «Молодая»? Это кто здесь молодой? И вообще. Величайшая страна. Американцы — самый дружелюбный в мире народ. Всегда хотят помочь. Как ты. Взгляни-ка! Ты приготовил замечательную еду. Ты же не был обязан так поступать.

— Тебе понравилось? Правда?

Она протягивает стаканчик, чтобы он налил ей еще малиновой настойки.

— Что ж, — говорит Дуглас, когда молчание становится неловким даже по его меркам, — можешь накачать себе сколько угодно воды из колонки. Выбирай любое здание внизу. Я бы держался подальше от цирюльни. Там, кажется, недавно что-то сдохло.

— Мне нравится этот дом.

— Ой. Ну-у. Слушай, ты мне ничего не должна. Я просто тебя угостил.

— А кто у нас такой нервный? — Она садится ему на колени, внимательно изучает его лицо, легонько целует, вытягивая губы. Прерывается. — Эй! Ты плачешь. Ну какой же ты странный.

Нет ни единой веской причины, по которой эволюция могла бы наделить живое существо столь бессмысленным поведенческим паттерном.

— Я старик.

— Серьезно? Давай проверим!

И она возобновляет попытки. Дугласа впервые за много лет согревает женское тело. Как будто кто-то ковыряется отмычкой в покореженном замке у него в груди. Он сжимает ее запястья.

— Я тебя не люблю.

— Ну и ладно, мистер! Никаких проблем. Я тебя тоже не люблю. — Она хватает его за подбородок. — Чтобы наслаждаться, не обязательно любить!

Дуглас отпускает ее.

— Поверь мне, ты ошибаешься.

Руки слабеют, как прикованные к трубе, торчащей из врытой в землю бетонной плиты.

— Ладно, — опять говорит Алена, становясь угрюмой. Толкает его в грудь, встает. — До чего же ты унылое млекопитающее.

— Верно. — Он встает и собирает остатки пиршества. — Ты займешь кровать. Я буду спать в мешке, тут. Удобства во дворе. Осторожнее, там жгучая крапива.

Кровать приводит ее в восторг. Американское Рождество.

— Ты славный старик.

— Не особенно.

Он объясняет, как включать и выключать лампу. Лежа на полу в передней комнате, видит свет под дверью. Кое-кто читает допоздна. Он лишь потом поймет, что именно она читала той ночью.

Утром опять кофейный кекс из «Грейп-Натс» и настоящий кофе. Больше никаких авантюр из-за межкультурных недоразумений. Она уходит, прежде чем появляются первые туристы, одолевшие перевал. Вскоре гостья перестает быть даже историей, которую он рассказывает сам себе по ночам, чтобы подпитать свои сожаления и покарать себя за ностальгию.

Но Америка, как выясняется, и впрямь величайшая страна. Люди здесь такие добрые, земля невообразимо богата, а власти готовы пойти на сделку за полезную информацию, даже если у тебя на счету многочисленные преступления. Через два месяца, когда люди с инициалами на куртках будут подниматься в гору, Дуглас почти забудет о своей ночной посетительнице. И только когда копы остановят его на дороге, перевернут хижину вверх дном и заберут рукописный дневник в пластиковой коробке, он вспомнит. Он едва сдержит улыбку, пока его будут вязать и усаживать в правительственный «лендкрузер».

«Тебе что, смешно?»

Нет. Нет, разумеется, ему не смешно. Ну, может, чуть-чуть. Все это уже происходило, и, насколько может судить Дуглас Павличек, будет происходить вечно. Заключенный 571 прибыл по месту отбытия наказания четыре десятилетия спустя.

Они не задают много вопросов. Да им и не нужно. Он все сам записал, в мельчайших подробностях, исполняя еженощный ритуал воспоминаний и объяснений. Подписано, запечатано, доставлено. Все преступления, которые они совершили впятером: Адиантум, Хранитель, Шелковица, Пихта и Клен. Но забавно: его тюремщиков интересуют отнюдь не лесные имена.

ДОРОТИ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ДВЕРЯХ, в ее руках неизменный поднос с завтраком.

— Доброе утро, РэйРэй. Голоден?

Он не спит, спокойно смотрит в окно на полтора акра Бринкмановских владений. В последнее время он стал таким умиротворенным. Бывали тяжелые, жуткие дни, когда ей хотелось его убить. Прошлая зима оказалась хуже всего. Однажды февральским днем она несколько минут пыталась понять смысл его стонов. Когда наконец разобралась, то показалось, что он прочитал ее мысли: «С меня хватит. Неси цикуту».

Но весна привела его в чувство, и теперь, в

преддверии летнего солнцестояния, Дороти готова поклясться, что никогда не видела мужа счастливее. Она ставит поднос на прикроватную тумбочку.

— Как насчет персиково-банановогo коблера?

Он пытается поднять руку, возможно, хочет на что-то указать, но у руки на этот счет иное мнение. Совладав, наконец, с речевым аппаратом, он как будто атакует Дороти из засады:

— Вон. Там.

Слова невнятные и тягучие, как горячая фруктовая каша, которую она приготовила на завтрак. Он указывает взглядом.

— Там. Дерево.

Дороти выглядывает в окно, старательно изображая интерес, как будто просьба имеет смысл. В том, что касается актерского мастерства, она по-прежнему безнадежная дилетантка.

— Да-а?

Он открывает рот и произносит нечто среднее между «что» и «кто».

Она спрашивает, по-прежнему бодрым голосом:

— Как оно называется? Рэй, ты же знаешь, я по этой части полный бездарь. Вечнозеленое что-то там?

— От… когда?

Два слова — все равно что подъем на велосипеде по грязной горной дороге.

Дороти смотрит на дерево, как будто видит его впервые в жизни.

— Хороший вопрос. — На мгновение она не может вспомнить, как долго они живут в этом доме и что посадили. Он слегка вздрагивает, но не от негативных эмоций. — Что ж. Давай разберемся!

И вот она стоит перед стеной книг. От пола до потолка: все печатное слово, что они скопили на протяжении своей жизни. Она кладет ладонь на полку на уровне плеча; сама не знает, из какого дерева та сделана. Ведет пальцем по пыльным корешкам, ища то, в существовании чего не уверена. Прошлое пытается убить ее — убить все, чем они были или надеялись стать. Она пропускает «Ого пеших прогулок по Йеллоустону». Задерживается на «Полевом справочнике певчих птиц, обитающих на востоке», когда в памяти мелькает нечто ярко-красное, оставшееся неопознанным. Тоненькая книжечка, почти брошюра, притаилась в дальнем углу полки. «Легкий определитель деревьев». Дороти вытаскивает ее. Надпись на титульном листе атакует из засады:

Моему дорогому первому измерению,

Моей единственной и неповторимой Дот.

Давай узнаем, где растет ясень,

А где можно лишь наломать орясин?

Она никогда раньше не видела этих слов. У нее нет даже смутного воспоминания о попытках вместе выучить названия деревьев. Но благодаря стишку его автор воскресает в памяти целым и невредимым. Лучший в мире рифмоплет.

Она листает страницы. Количество дубов выходит за рамки здравого смысла. Пунцоволистный, красильный, белый, бархатный, серый, шарлаховый, железный, крупноплодный, дольчатый, черный — все с листьями, которые совсем друг на друга не похожи. Теперь она вспоминает, почему у нее никогда не хватало терпения на природу. Никакой драмы, никакого развития, никаких столкновений надежд и страхов. Разветвленные, запутанные, хаотичные сюжеты. И попробуй разберись в характерах героев.

Она опять читает посвящение. Сколько лет было рифмоплету? Лучший из худших поэтов. Лучший из худших актеров. Юрист по патентам и авторским правам, который доводил мошенников до банкротства, а потом десятую часть

каждого года помогал людям бесплатно. Он мечтал о большой семье, чтобы ночи напролет играть в карты и во время долгих автомобильных поездок распевать новые песни на четыре голоса. Вместо этого остались только он сам и его дорогое первое измерение.

Она несет буклет обратно в его комнату.

— Рэй! Посмотри, что я нашла! — Его лицо, воющая маска, кажется почти довольной. — Когда ты мне это подарил? Хорошо, что мы сберегли книжку, да? Как раз то, что нам сейчас нужно. Готов?

Он не просто готов. Он как ребенок, который собирается в летний лагерь.

— Итак, поехали. «Если вы живете к востоку от Скалистых гор, перейдите к пункту 1. Если вы живете к западу от Скалистых гор, перейдите к пункту 116».

Она смотрит на него. Его глаза блестят и лучатся жаждой странствий.

— «Если на вашем дереве есть шишки и иголки, перейдите к пункту 11-с».

Они оба смотрят в окно, как будто ответ не маячил там последние четверть века. В полуденном свете искривленные ветки — крепкие, расположенные с большими промежутками — приобретают странный голубовато-серебристый

отблеск, которого Дороти раньше не замечала. Узкая, коническая верхушка мерцает в лучах солнца.

— По иголкам определенно «да». И по шишкам. Рэймонд? Кажется, мы напали на след. — Она перелистывает страницы и переходит к следующему этапу поиска сокровищ. — «Хвоя вечнозеленая и растет пучками по две-пять хвоинок в каждом? Если да, перейдите к пункту…»

Она поднимает взгляд. Его гримаса напоминает улыбку больше, чем должна. Глаза сияют.

«Приключение. Волнение. Прощай — счастливого пути».

— Я сейчас вернусь.

От удивления у нее в верхней части груди что-то трепещет. Она уходит. Через кухню в кладовую, где множество шкафчиков ломятся от всякой ерунды, припрятанной и забытой на десятилетия. Однажды наступит выходной, когда она разберется с этим мусором, выкинет его и облегчит спасательной шлюпке последние мили. Открыв заднюю дверь, Дороти чувствует, как на нее волнами травянистого запаха накатывает лето. Она босая. Соседи решат, что эта женщина, ухаживая за мужем-овощем, сама потеряла рассудок. Если они правы — что ж, так сложилось.

Она пересекает лужайку, тянется к нижней ветке, наклоняет ее к себе и считает. Ей приходит на ум, что об этом есть песня. Песня, молитва, история или фильм. Ветка выскальзывает из руки. Она возвращается к дому по траве, переливающейся солнечными бликами, напевая мелодию, которая как раз о таком моменте.

Он с трепетом ждет ее — и развязку.

— Пять в пучке. Нам везет. — Она пролистывает книгу до следующей развилки. — «Шишки длинные, с тонкими чешуйками?»

Альтернативы, варианты выбора: Дороти знает в этом толк. Похоже на юриспруденцию, нате дела, с которыми она работала на протяжении всех лет, пока была судебной стенографисткой. Улики, перекрестные допросы, недобросовестные переговоры, подтасованные факты — все меньше возможностей свернуть с пути, который ведет к единственному допустимому вердикту. Все равно что эволюционное древо решений: «Если зимы суровые, а воды не хватает, попробуйте чешуйки или иголки». И еще причудливым образом напоминает актерскую игру: «Если ответ должен выразить страх, перейдите к жесту 21-с, удивление — 17-а. В противном случае…» Это автоматическая телефонная служба поддержки

для живущих на Земле. Это разум, движущийся от загадки к загадке, и объяснение всегда маячит где-то за следующей развилкой. Более того, это похоже на само дерево с центральным стеблем-вопросом, который разветвляется на десятки гипотез, каждая из которых выдает сперва сотни, а затем тысячи зеленых, самостоятельных ответов.

— Оставайтесь с нами, — говорит Дороти и снова исчезает.

И опять черная эмалевая ручка задней двери протестующе скрипит под рукой. Дороти идет через двор к дереву. Короткий путь, повторенный ad nauseam, столько раз, на сколько никто и никогда не подписывался, на одном и том же знакомом пятачке: путь любви. «Если хотите продолжать борьбу, перейдите к пункту 1001. Если хотите вырваться и спастись…»

Она стоит под деревом и изучает шишки. Они усеивают почву — споры, упавшие на Землю с какого-то далекого астероида. И обратно в дом, с ответом. Путь по сырой траве в чулках достаточно долог, чтобы Дороти задумалась, почему она все еще здесь, погребенная заживо, на годы прикованная к обездвиженному мужу, когда все, чего она хотела в этой жизни — обрести свободу. Но в

дверях тюрьмы, размахивая книгой в знак триумфа, она понимает. *Это* ее свобода. Она самая. Свобода противостоять ежедневным ужасам.

— Победа. Белая восточная сосна.

Она готова поклясться, что по окаменевшему лицу прокатилась волна удовлетворения. Она теперь может читать его мысли с помощью телепатии, отточенной за годы угадывания смысла исковерканных слогов. Дороти думает: «Мы сегодня славно потрудились. Отличный день».

В тот вечер он заставляет ее читать ему о дереве, чьи заросли когда-то тянулись огромными вертикальными жилами живой руды от Джорджии до Ньюфаундленда, через Канаду и мимо Великих озер к их лагерю на двоих, озаренному светом ночника. Она повествует о гигантах со стволами шириной в четыре фута, у которых первые боковые ветви появлялись на высоте не меньшей, чем восемьдесят футов. О бесконечных рядах деревьев, которые каждой весной туманили воздух пыльцой, и она осыпалась облаками золотистой пыли на палубы кораблей далеко в море.

Она читает ему о тех временах, когда англичане только заполонили континент, поднявшийся из океана за ночь, в поисках мачт для своих колоссальных фрегатов и линейных кораблей — мачт,

которых не было больше нигде в раздетой догола Европе, даже на далеком севере. Она показывает ему картины, изображающие колоссальные Pinus strobus размером с церковный шпиль, до того ценные, что Корона клеймила даже растущие на частной земле, «широкой стрелой». И ее муж, всю жизнь защищавший частную собственность, не мог не предвидеть последствия из будущего: Сосновый бунт[74]. Революция. Война, развязанная из-за того, что росло на этих берегах, когда люди еще не спустились с деревьев.

Эта история может соперничать с любым вымыслом: край, покрытый густыми лесами, становится жертвой процветания. Легкие, гладкие, прочные и большие доски увозят за океан, чтобы продать в далекой Африке. Трехсторонние выгодные деловые отношения позволяют новорожденной стране разбогатеть: древесина следует на побережье Гвинеи, черные тела — в Вест-Индию, сахар и ром — обратно в Новую Англию с ее величественными особняками, выстроенными сплошь из белой восточной сосны. Белая сосна превращается в каркасы домов и городов, приносит миллионные прибыли лесо-

[74] Примечания: 74

Сосновый бунт (The Pine Tree Riot) произошел в Нью-Гэмпшире 14 апреля 1772 г.

пилкам, ложится шпалами по всему континенту; из нее строят и ею же просмаливают военные корабли и китобойные флотилии, которые отправляются из Бруклина и Нью-Бедфорда в неизведанные южные регионы Тихого океана — на каждый корабль уходит тысяча или больше деревьев. Белые сосны Мичигана, Висконсина и Миннесоты расщепляют на сто миллиардов гонтовых пластин. Сто миллионов досковых футов в год распиливают на спички. Скандинавские лесорубы расчищают в сосновых лесах просеки шириной в три штата, сбрасывают колоссальные бревна в реки с помощью талей и лебедок, а потом плывут на плотах длиной в мили вниз по течению, до рынка. Гигантский богатырь и его огромный синий бык[75] рубят сосну, чтобы расчистить место под район, где теперь живут Бринкманы.

Дороти читает, и ветер усиливается. Во дворе все гнется и жалобно стонет. Начинается ливень. Маленькая комната становится еще меньше. Ночь: третья часть каждых суток, на протяжении которой мир становится непознанным. Соседний дом исчезает, как и те, что к северу от него, пока

[75] Примечания: 75

Поль Баньян и бык Бейб (Малыш) — персонажи американского фольклора.

Бринкманы не остаются одни на краю безлюдной пустоши. Действующая нога Рэя бьется под одеялом. Все, чего он когда-либо хотел — честно зарабатывать на жизнь, способствовать общему благосостоянию, заслужить уважение общества и иметь достойную семью. «Богатству нужны заборы». Но для заборов требуется древесина. На континенте не осталось даже намека на былое. Тысячи миль сплошных задних дворов и ферм, которые изредка перемежаются куцыми молодыми лесами. И все-таки почва еще некоторое время будет помнить об исчезнувших лесах и прогрессе, который их погубил. Память почвы питает сосну, которая растет у них на заднем дворе.

Слюна копится на дрожащих губах Рэя, пока Дороти не вытирает ее около полуночи. Губы шевелятся. Она наклоняется и как будто слышит его шепот: «Еще раз. Завтра».

НОЧЬ ТЕПЛА, СТВОРКИ ОКОН в хижине постукивают от ветерка, а «осетровая луна» восходит над озером, похожая на красноватый пенни. Патриция кладет ладони на стопку тетрадей, заполненных ее аккуратным почерком.

— Что ж, Ден. Думаю, мы наконец-то закончили.

Сегодня, как и всегда, ответа нет. Слова про-

сто повисают в воздухе. Их слышат множество существ, как в хижине, так и снаружи. Звуки, которые она изрекла, взаимодействуют и меняют всевозможные щебеты, стоны, вздохи, а также планы и прикидки, которыми кишит эта ночь. Долгий, терпеливый разговор, превосходящий чью угодно способность постигать смысл; особые разновидности шума, которые добавляет к этому разговору человечество, все еще в новинку его участникам.

На миг она прислушивается к сигналам проверки времени. Потом упирается руками в ореховую столешницу. Выпрямляет ноги, встает. Открывает верхнюю тетрадь и пролистывает до страницы, где только что написала: «В мире совершенной полезности нам тоже придется исчезнуть».

— А это точно хорошая идея?

Она спрашивает себя, она спрашивает мертвеца. Мембрана между ними тонка. Она знает, что больше никогда не увидит его ни в этой, ни в будущей жизни. И все же зрит его, куда бы ни посмотрела. Такова жизнь; живые живут благодаря мертвым. Каждую ночь она просит своего отсутствующего друга подсказать слово и фразу. Поделиться мужеством. Терпением, которого хватит, чтобы не бросить записи в дровяную печь.

Теперь с просьбами покончено. Она переворачивает страницу:

> Никто не видит деревьев. Мы видим плоды, орехи, древесину, тень. Видим ландшафтные украшения или великолепие осенней листвы. Препятствия, блокирующие дорогу или портящие горнолыжную трассу. Темные, грозные места, которые надо расчистить. Ветки, которые вот-вот проломят крышу. Урожай, который принесет много денег. Но деревья — деревья невидимы.

— Неплохо, Ден. Может, мрачновато.

И маловато, могла бы добавить она. Даже ее первенец не был таким маленьким. Можно было еще о многом рассказать, но Патриция уже стара, у нее нет времени, а еще столько видов предстоит найти и взять на борт ковчега. Книга представляет собой достаточно простую историю. Пересказ уместился бы на одной-двух страницах: как она и еще несколько человек потратили годы на путешествие по всем континентам, кроме Антарктиды. Как спасли немного семян с нескольких тысяч деревьев — малую часть видов, которые исчезнут во время вахты нынешних хра-

нителей Земли, увлекая за собой бесчисленное множество зависимых существ…

Она попыталась сохранить надежду, рассказать каждую историю, способную немного облегчить сокрушительное бремя истины. Посвятила целую главу миграции. Описала все деревья, которые уже движутся на север со скоростью, поражающей измерителей. «Но самые уязвимые деревья должны двигаться гораздо быстрее, чтобы не сгореть. Они не могут пересекать автострады, фермы и жилые комплексы. Возможно, мы сумеем им помочь».

Она сочиняет краткие биографии своих любимых персонажей: деревьев-одиночек, хитрецов, мудрецов и ответственных членов общества, деревьев, которые могут быть импульсивными, застенчивыми или щедрыми — у них столько форм бытия, сколько в лесу возвышенностей и живописных мест. «Как было бы здорово, сумей мы понять их сейчас, когда на их жизненном пути случился пик». Она пытается перевернуть историю с ног на голову. «Это не наш мир, в котором растут деревья. Это мир деревьев, куда люди пришли совсем недавно».

Один отрывок она то ли из страха, то ли из научной скрупулезности все время подрезает, а

он вырастает опять. «Деревья знают, когда мы рядом. В нашем присутствии химия их корней и ароматы листьев меняются… Когда вы чувствуете себя хорошо после прогулки по лесу, возможно, дело в том, что какой-то вид вас подкупил. Так много удивительных лекарств получено из деревьев, а мы едва начали изучать то, что они нам предлагают. Деревья давно пытаются достучаться до нас, но они говорят на чересчур низких частотах, чтобы люди сумели их услышать».

Она выбирается из-за стола со стоном, ни для кого не предназначенным. В передней кладовке находит вложенные друг в друга картонные коробки, которые они с Деннисом всегда выбрасывали с огромным трудом. Заплесневелые коробки, хранящиеся десятилетиями. Кто знает, когда понадобится конкретный размер? Тетради помещаются, словно они с коробкой созданы друг для друга. Завтра она отправит их ассистенту, чтобы тот все перепечатал. Потом редактору в Нью-Йорке, который уже много лет ждет продолжения первой книги — та все еще допечатывается, все еще продается, все еще заставляет Патрицию мучиться из-за того, сколько за все это уплачено в соснах.

Едва запечатав коробку упаковочной лентой,

Патриция ее опять вскрывает. Последняя строчка последней главы все еще неверна. Она смотрит на то, что написала, хотя фраза давно запечатлелась в ее памяти. «Если повезет, некоторые семена сохранят жизнеспособность в хранилище с контролируемой средой внутри склона горы Колорадо до того дня, когда бдительные люди вернут их в землю». Она поджимает губы и дописывает: «Если нет, другие эксперименты будут продолжаться сами по себе еще долгое время после того, как человечества не станет».

— Так, наверное, лучше, — говорит она вслух. — Верно?

Но призрак на сегодня закончил диктовать.

Когда коробка готова к отправке, Патриция готовится ко сну. На омовения уходит мало времени, на уход за собой — еще меньше. Затем чтение, ее ежевечерняя тысяча миль до залива.[76] Когда глаза начинают слипаться, она заканчивает стихами. Сегодняшнее стихотворение — китайского поэта Ван Вэя, двенадцативековой давности, из антологии поэзии, по которой Патриция привычно странствует наугад:

---

[76] Примечания: 76

Отсылка к книге американского натуралиста Джона Мьюра A Thousand-Mile Walk to the Gulf (1916).

В сердце давно
Обширных замыслов нет.
Знаю одно:
Вернуться к роще родной…

Спросите: в чем наша радость,
Наша беда?
Песней ответит рыбак
На излуке речной.

Потом речные воды плещутся над головой Патриции, и она понимает, что сил больше нет. Гасит тусклую, маломощную лампочку, прикрепленную к изголовью кровати. Остается только луна. Патриция переворачивается на бок и сворачивается калачиком, уткнувшись лицом в холодную подушку. Через минуту уголок ее рта растягивается в неизменной улыбке.

— И ничего я не забыла. Спокойной ночи.

Ночь спокойна.

* * *

АДАМ В ПАРКЕ ЦУККОТТИ, Нижний Манхэттен. На этот раз фактический материал находит его сам. Силы, которые он изучал всю свою професси-

ональную жизнь, снова буйствуют и веселятся в самом центре Финансового округа, в нескольких кварталах к югу от места его работы и проживания. Парк шумит. Угловатые кроны гледичий уже пожелтели, а под ними повсюду спальные мешки и палатки: лагерь с видом на небоскребы. Сотни людей спали здесь прошлой ночью, в очередной раз. Они засыпают под песни протеста и просыпаются, когда приносят бесплатную горячую еду от шеф-поваров пятизвездочных ресторанов, которые сочувствуют протестующим. Только вот Адам не уверен, что те сами понимают, в чем смысл их протеста. Таковой в процессе разработки. Для девяноста девяти процентов он заключается в справедливости. Тюрьме для предателей-финансистов и ворюг. Всплеске добросовестности и порядочности на всех континентах. Свержении капитализма. В счастье, которое рождается благодаря чему-то еще, кроме насилия и жадности.

В городе запрещен любой усиленный звук, но человеческий мегафон не остановить. Одна женщина начинает скандировать, а люди вокруг нее следуют примеру.

— Банки откупились.

— БАНКИ ОТКУПИЛИСЬ!

— А нас продали.
— А НАС ПРОДАЛИ!
— Оккупируем.
— ОККУПИРУЕМ!
— Чьи это улицы?
— ЧЬИ ЭТО УЛИЦЫ?
— Наши улицы.
— НАШИ УЛИЦЫ!

Все еще решительно молодые, хранящие верность мечтам юности о спасении всего мира. Но среди жилетов в этническом стиле и рюкзаков есть и мужчины старше Адама. На бурных заседаниях, которые происходят тут и там по всему скверу, женщины за шестьдесят делятся опытом, вспоминая прошлые бунты. Люди в трико крутят педали закрепленных велосипедов, вырабатывая электричество для ноутбуков оккупантов. Парикмахеры стригут бесплатно, раз уж банкиры не спешат подравнивать кончики. Люди в масках Гая Фокса раздают листовки. Студенты колледжа встают в кольцо и бьют в барабаны. Адвокаты за хлипкими походными столами дают юридические консультации. Кто-то усердно портит вывески:

В ПАРКЕ ЗАПРЕЩЕНО КАТАТЬСЯ НА

СКЕЙТБОРДАХ, РОЛИКАХ И ВЕЛОСИПЕДАХ
В ОСТАЛЬНОМ, ДРУЖОК, ВСЕ ХОРОШО

А какой же цирк без оркестра? Целый батальон гитар — одна из них с надписью «Этот инструмент убивает внутридневных трейдеров» — объединяются, чтобы сыграть припев из тоскливой баллады в стиле кантри:

> *И полиция чинит мне препятствия, куда бы я ни пошел,*
>
> *Потому что у меня в этом мире нет дома.*[77]

За дальним углом сквера — незаживающая рана. Дыра в куполе из крон уже давно заросла, но все равно саднит. С момента падения башен прошло десять лет. Подсчеты поражают Адама. Его собственному сыну всего пять, но кажется, теракт случился недавно. Дерево, груша Каллери, которое выжило, наполовину сгорев и с вырванными корнями, недавно вернулось в добром здравии на Граунд-Зиро.

---

[77] Примечания: 77

Отрывок из баллады Ain't Got No Home («У меня нет дома») американского музыканта и певца в стиле фолк и кантри Вуди Гатри (1912–1967), с 1943 года выступавшего с гитарой, на которой было написано This machine kills fascists («Этот инструмент убивает фашистов»).

Он протискивается сквозь толпу рядом с Народной библиотекой. Невольно задевает полки и мусорные баки. Вот «Подчинение авторитету» Милгрэма с миллионом пометок бисерным почерком на полях. Вот собрание сочинений Тагора. Много Торо и еще больше копий «Ты против Уоллстрит»[78]. Книги можно брать, здесь верят в честность. Ему кажется, что это попахивает демократией.

Шесть тысяч книг, и в подобном изобилии маленький томик всплывает на поверхность, как ископаемое, извергнутое торфяным болотом. «Золотой определитель насекомых». Ярко-желтая обложка — единственное настоящее издание этой классики. Потрясенный Адам берет ее и открывает, готовый увидеть на титульной странице собственную смазанную фамилию, которую старательно вывел большими буквами, давя на карандаш № 2. Но там чужая подпись, написанная чернилами по методу Палмера: «Рэймонд Б.».

Страницы пахнут плесенью и чистотой детской науки. Адам листает, вспоминая все. Полевые тетради и домашний музей естественной истории. Тину из пруда на стеклышке дешевого

---

[78] Примечания: 78

Имеется в виду популярное пособие для начинающих инвесторов, впервые опубликованное в 2009 г. (автор — Натали Пейс)

детского микроскопа. И, конечно, мазки лака для ногтей на тельцах муравьев. Каким-то образом ему удалось провести всю свою жизнь, повторяя этот эксперимент. Он поднимает глаза от миниатюрной страницы — «Долгоносики и ручейники», — чтобы окинуть взглядом этот счастливый, разъяренный, анархичный рой. На протяжении нескольких секунд он видит систему званий и обязанностей, ритуальные танцы, следы феромонов, которые ощущаются изнутри улья как чистая физика, влияние гравитации. Ему хочется покрасить их всех лаком и подняться на сороковой этаж соседней высотки, чтобы получше рассмотреть. Он словно настоящий естествоиспытатель. Он словно десятилетний ребенок.

Адам засовывает «Золотой определитель» в карман брюк и ныряет обратно в толпу. Десятью ступеньками ниже призрак, сидящий на краешке гранитной скамьи, поворачивает к нему лицо и вздрагивает.

— Оккупируем! — кричит кто-то в человеческий мегафон.

И слово повторяется в сто раз громче:

— ОККУПИРУЕМ!

Удивление призрака превращается в ухмылку.

Этот человек для Адама — все равно что брат, восставший из мертвых. Мужчина прячет под бейсболкой лысину; а в воспоминаниях Адама у него был роскошный хвост. Поначалу Адам не в силах вспомнить, кто это. Потом вспоминает — и сразу хочет забыть. Но уже поздно что-либо предпринимать, можно лишь подойти, схватить незваного гостя за руку, смеясь над внезапностью встречи и подлостью судьбы, готовой вновь и вновь разыгрывать старое представление.

— Пихта.

— Клен. Ого! Глазам своим не верю! — Они обнимаются, как два старика, уже преодолевшие финишную черту. — Господи боже! Жизнь полна сюрпризов, да?

Не то слово. Психолог не может перестать качать головой. Не нужен ему такой поворот. Труп, который жестокие археологи вытаскивают из кургана — не он! Но встреча в некотором смысле забавная. Случай — комик, который идеально чувствует подходящий момент.

— Это… ты здесь ради вот этого? Адам машет рукой в сторону бурлящей толпы, спасающей человечество от самого себя.

Павличек… да, точно, его фамилия — Павличек… морщит лоб и оглядывает площадь. Как

будто только что сообразил, где находится.

— О нет, чувак. Только не я. Теперь я просто зритель. Я и на людях нечасто бываю. Не высовывался с тех пор, как… ну, ты знаешь.

Адам берет мужчину — все еще неуклюжего, как подросток — за костлявый локоть.

— Давай прогуляемся.

И они прогуливаются по Бродвею, мимо «Ситибанка», «Ameritrade», «Фиделити». Годы, которые им нужно наверстать, в Нью-Йорке пролетают за минуту. Профессор психологии в Нью-Йоркском университете, с женой, которая публикует книги по самопомощи, и пятилетним сыном, который хочет стать банкиром, когда вырастет. Давний сотрудник Бюро по управлению землями, в перерыве между вахтами приехавший повидаться с приятелем. Вот и вся история. Но они продолжают идти — мимо шпиля Тринити-черч, мимо призрака того самого платана, под которым когда-то дельцы договорились торговать акциями, а теперь здесь главный машинный зал всей системы свободной торговли. Они продолжают разговаривать, огибая прошлое по такой замысловатой траектории, что час спустя Адам не в состоянии ее повторить. Дуглас все время трогает козырек бейсболки, как будто

хочет приподнять ее перед каждым прохожим.

— Ты… поддерживаешь с кем-нибудь связь? — спрашивает Адам.

— Связь?

— С остальными.

Дуглас возится с бейсболкой.

— Нет. А ты?

— Я… нет. Понятия не имею, что с Шелковицей. А вот Хранитель… Это прозвучит как бред. Он как будто ходит за мной по пятам.

Дуглас останавливается на тротуаре, посреди толпы бизнесменов.

— В смысле?

— Я, наверное, спятил. Но я много путешествую по работе. Лекции и конференции по всей стране. И по крайней мере в трех городах я видел уличное искусство, которое выглядит точно так же, как его старые рисунки.

— Древесный народ?

— Да. Помнишь, какие они были странные…

Дуглас кивает, трогает козырек. На тротуаре перед ними группа туристов огибает дикое животное. Огромное, мускулистое, атакующее, с раздутыми ноздрями, длинными страшными рогами, готовыми разорвать толпу, которая кружит рядом и делает селфи. Семь тысяч фунтов бронзо-

вого партизанского искусства: скульптор привез статую под покровом ночи и оставил у входа в Фондовую биржу в качестве подарка общественности. Когда городские власти попытались его убрать, люди выступили против. Троянский бык.

Считанные недели прошли после того, как одна балерина исполнила пируэт на спине быка и стала героиней потрясающего плаката новейшего движения «Остановите человечество».

КАКОВО
НАШЕ
ЕДИНСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ?
#OCCUPYWALLSTREET
ПРИНОСИТЕ ПАЛАТКУ

Люди по очереди фотографируются с атакующим зверем. Дуглас, кажется, не понимает иронии. Его взгляд устремлен куда угодно, только не туда, куда смотрит толпа. Он что-то скрывает.

— Итак… — Он потирает шею. — У тебя все неплохо сложилось?

— Безумно повезло. Хотя приходится пахать. Исследования… мне нравятся.

— Что за исследования?

У Адама на этот случай есть подготовленная речь для всех, от редактора антологии до незна-

комца в самолете, и он исполнял ее тысячи раз. Но этот человек… он заслуживает большего.

— Я уже работал над этой темой, когда мы встретились. Когда мы впятером… С годами кое-что изменилось. Но основная проблема все та же: что мешает нам увидеть очевидное?

Дуглас кладет ладонь на медный бычий рог.

— И? Что мешает?

— В основном другие люди.

— Знаешь… — Дуглас бросает взгляд на Бродвей, как будто проверяя, что так разгневало быка. — Возможно, я сам додумался до этой идеи.

Адам смеется так громко, что туристы оборачиваются. Он вспоминает, почему когда-то полюбил этого человека. Почему доверил ему свою жизнь.

— Есть и более интересный вопрос.

— Как некоторым людям удается увидеть?..

— Именно.

Азиатский турист жестом просит двух мужчин ненадолго отойти от статуи, чтобы он мог сделать фото. Адам подталкивает Дугласа, и они идут дальше, в парк Боулинг Грин, крошечный, как слеза.

— Я много думал, — говорит Дуглас. — О том, что произошло.

— Я тоже, — отвечает Адам и ему мгновенно

хочется отказаться от лжи.

— Чего мы надеялись достичь? Что мы делали?

Они стоят под сенью закамуфлированного платана, самого покорного из восточных деревьев, на том самом месте, где остров был продан людьми, которые прислушивались к деревьям и очищали их. Оба смотрят на фонтан, похожий на гейзер.

— Мы поджигали здания, — говорит Адам.

— Да, мы это делали.

— Мы верили, что люди совершают массовое убийство.

— Верно.

— Никто другой не понимал, что происходит. Если бы люди вроде нас не форсировали события, не было шансов все остановить.

«Клюв» бейсболки Дугласа раскачивается взад-вперед.

— Знаешь, мы не ошиблись. Посмотри по сторонам! Внимательные люди уже поняли, что вечеринка окончена. Гея мстит.

— Гея? — Адам улыбается, но с болью.

— Жизнь. Планета. Мы уже платим по счетам. Но даже сейчас, если скажешь такое вслух, тебя объявят чокнутым.

Адам внимательно смотрит на собеседника.

— Так ты бы все повторил? То, что мы делали?

Вопросы философов-изгоев звучат в голове Адама. Запретные вопросы. Сколько деревьев равнозначны одному человеку? Может ли надвигающаяся катастрофа оправдать небольшое, точечное насилие?

— Все повторил? Не знаю. Я не понимаю, о чем ты.

— О поджогах зданий.

— Я спрашиваю себя по ночам, может ли все, что мы сделали — все, что мы могли бы сделать — когда-либо возместить смерть той женщины.

А потом обоим кажется, что день сменяется ночью, город — елово-сосновым лесом, парк вокруг них весь в огне, и прекрасная, странная, бледная женщина лежит на земле, просит воды.

— Мы ничего не достигли, — говорит Адам. — Совсем ничего.

Они поворачиваются, чтобы покинуть парк, слишком людное место для такого разговора. Только у ворот в низкой железной ограде оба понимают: нет места безопаснее.

— Она бы все повторила.

Дуглас показывает на грудь Адама.

— Ты любил ее.

— Мы все любили ее. Да.

— Ты был влюблен в нее. Так же, как и Храни-

тель. Как и Мими.

— Это было очень давно.

— Вы бы разбомбили Пентагон ради нее.

Улыбка Адама — слабая, тусклая.

— У нее действительно была сила.

— Она сказала, что деревья говорили с ней. Что она их слышит.

Пожатие плечами. Быстрый взгляд на наручные часы. Ему надо вернуться в город, чтобы подготовить лекцию. От переизбытка прошлого Адама подташнивает. Выходит, когда-то он был моложе, злее. Принадлежал к другому виду. Просто неудачный эксперимент. Лишь настоящее заслуживает того, чтобы о нем беседовать.

Дуглас не унимается.

— Думаешь, с ней действительно что-то говорило? Или она просто…

Когда появились люди, на планете было шесть триллионов деревьев. Осталась половина. Еще половина исчезнет через сто лет. Что бы ни говорили весьма многие о своей способности понимать исчезающие деревья, весь вопрос в том, что мы слышим только одну сторону — людей. И все же Адам испытывает к проблеме интерес. Что слышала мертвая Жанна д'Арк? Это было озарение или заблуждение? На следующей неделе

ему предстоит рассказывать старшекурсникам о Дюркгейме, Фуко, криптонормативности: о том, что разум — всего лишь еще одно оружие контроля. О том, что «разумное», «приемлемое», «соответствующее здравому смыслу» и даже «гуманное» — понятия куда более молодые и неоперившиеся, чем можно себе представить.

Адам бросает взгляд им за спину, на бетонный каньон Бивер-стрит, Бобровой улицы. Бобры: существа, на чьих шкурах вырос этот город. Изначальная Манхэттенская биржа. Он слышит свой ответ со стороны.

— Раньше деревья все время разговаривали с людьми. Здравомыслящие их слышали.

Вопрос в том, заговорят ли они снова, перед концом.

— Той ночью… — Дуглас поднимает лицо к стене небоскреба. — Когда мы послали тебя за помощью… Почему ты вернулся?

Гнев захлестывает Адама, как будто они снова сейчас поссорятся.

— Слишком поздно. Поиск помощи занял бы несколько часов. Она уже была мертва. Если бы я пошел в полицию… она бы все равно умерла. А мы бы угодили в тюрягу.

— Ты этого не знал, чувак. И сейчас не знаешь.

Ярость — радикальная разновидность горя, которую время никогда не искоренит.

Они проходят мимо небольшого церциса двадцати футов высотой. Его хребет согнут дугой, а конечности изгибаются, как у балерины, танцующей на спине быка. До изобилия пурпурно-розовых съедобных почек, растущих прямо из ствола и тонких веток, еще целая зима. Семенные коробочки болтаются, словно многочисленные висельники. Говорят, Иуда повесился на церцисе. Это достаточно новый миф, как и все мифы о деревьях. Иудины деревья растут в укромных уголках Нижнего Манхэттена. Это погибнет, не успев расцвести и двух раз.

Мужчины останавливаются на Бэттери-плейс, где их пути расходятся. Дальше по улице и за Водой — статуя Свободы. Существует некая белка, гипотетический зверек, предмет бесконечных восхвалений, которая вечно бегает по кронам обширного леса-призрака, простирающегося до Миссисипи. Белка не касается земли лапками. В реальном мире ей бы пришлось скакать с острова на остров, по разрозненным фрагментам вторичного леса, окруженным шоссе, где повсюду лежат трупы сбитых зверей. Но мужчины стоят и смотрят, как будто перед ними в самом деле

начинается бескрайний лес.

Они Поворачиваются друг к другу и обнимаются на прощание, как медведи, испытывающие друг на друге силу. Как будто больше никогда не увидятся в этой жизни. Как будто «никогда» наступит слишком скоро.

ДЕРЕВЬЯ УПРЯМО МОЛЧАТ. Нилай сидит во внутреннем дворике Стэнфорда — межгалактическом ботаническом саду — и ждет объяснений. Призвание всей жизни пошло наперекосяк. Он потерял след, на который они его натолкнули. Что теперь?

Но деревья пренебрегают им. Выпуклый резервуар для воды бутылочного дерева, колючая броня сейбы великолепной: не слышно даже шороха листвы. Как будто родственная душа — в единственной галактике, где таковую удалось отыскать — при первой же неудаче перешла от блаженства к панике и обрубила все каналы связи. Он портит туристам фотографии. Никому не нужен снимок милого, псевдо-испано-романского монастырского дворика с каким-то калекой на переднем плане. Он разворачивается, чтобы уехать, разъяренный, как любой отвергнутый любовник. Но куда ему идти? Даже вернуться в свои апартаменты над штаб-квартирой «Семпер-

виренс» равнозначно унижению.

Он бы позвонил матери, но сейчас в Бансваре — где она проводит большую часть года, готовясь к смерти — глубокая ночь. Мать с опозданием на десять лет поняла, что у Нилая нет и не будет никакой Рупал, что наука не вернет ему ноги, и что лучший способ любить сына — позволить ему пребывать в изоляции. Она теперь возвращается, только когда он попадает в больницу, где врачам приходится обрабатывать эпических размеров пролежни и удалять омертвевшие части ступней и ягодиц. Каждый авиаперелет — сеанс боли. Он ей не скажет, когда в следующий раз угодит в лапы врачей.

Он катится по Овалу к грандиозному строю пальм. Небо чересчур ясное, день чересчур жаркий, и все стволы превратились в синхронизированные солнечные часы. Он находит тенистое местечко — популярность этого вида спорта растет во всем мире. А потом сидит неподвижно, стараясь пребывать только здесь и сейчас, дома. Не получается. Через минуту он уже проверяет телефон на предмет сообщений, которые еще не отправлены. Где люди могут жить? Эльфы, наверное, правы: только среди символов, в симуляции.

Когда он кладет гаджет обратно в чехол для инвалидной коляски, устройство жужжит, как стая цикад. Сообщение от его личного искусственного интеллекта. Живого, уклончивого существа, которое дразнит его своим сходством с человеком. С детства, еще до падения, Нилай мечтал о таком питомце-роботе. Этот превосходит все пророчества из научной фантастики, прочитанной давным-давно: он умнее, льстивее и покладистее. Работает круглосуточно, отслеживает деятельность человечества целиком и докладывает о результатах. Он послушен и неутомим, и у него — как у той единственной разновидности существ, которым Нилай теперь доверяет, — нет ног. Нилай склоняется к выводу, что ноги — признак безумия эволюции.

Нилай и его люди создали этого домашнего любимца, и теперь создает он кое-что для него. ИскИну велено следить за любыми новостями на тему, которой нынче одержим его хозяин: древесная коммуникация, лесной интеллект, микоризные сети. Патриция Вестерфорд, «Тайный лес»… Книга пронизана жуткими отголосками тех шепотов, которые он слышал десятилетия назад от инопланетных форм жизни, теперь не удостаивающих его своим вниманием. Он за это

поплатился статусом креативного руководителя собственной компании. Они хотят от него большего, хотят, чтобы он платил и спасал. Но как?

Он открывает сообщение от бота. Оно содержит ссылку и название: «Слова воздуха и света». Уровень рекомендации — максимальный из тех, на какие способен питомец. Даже в тени Нилай не может ничего рассмотреть на экране. Он подкатывает к фургону, припаркованному неподалеку. Вернувшись в свой опустевший межзвездный корабль, нажимает на ссылку и в замешательстве наблюдает. Круговерть тени и сияния. Столетний каштан проживает жизнь за двадцать секунд, как будто кто-то крутит ручку кинетоскопа. Все заканчивается быстрее, чем Нилай успевает что-нибудь понять. Он запускает повтор. Дерево опять взмывает фонтаном, распускает крону. Стремящиеся ввысь веточки тянутся к свету, к тому, что скрыто у всех на виду. Ветви разветвляются и утолщаются на глазах. На такой скорости Нилай видит главную цель дерева и понимает, какой математический расчет скрывается за флоэмой и ксилемой, какие геометрические фигуры кишат и бурлят под тонким слоем живого камбия, устремленного вовне.

Код — неистово ветвящийся код, подрезанный

из-за неудачи — творит эту огромную спиралевидную колонну по инструкции, которую Вишну умудрился втиснуть в нечто, не превышающее своим размером ноготь мальчишки. Когда столетний рост дерева завершается, старые каштановые слова исчезнувшего трансцендентализма прокручиваются на черном фоне, строка за строкой:

Видит садовник

лишь сад, что принадлежит садовнику.

Ибо глаза не были сотворены для

столь низменных идей, коим нынче служат, изнемогая;

ведь их роль — созерцать красу сокрытую.

УЗРИМ

ЛИ

МЫ

ЛИК

БОГА?

И Нилай, оторвав взгляд от крошечного экрана, именно его и видит.

ИЗ КАМПУСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ эвкалиптовой рощи, где стоит его фур-

гон, разлетаются приглашения. Рассеиваются сгустками, словно пыльца, которую подхватил ветер. Одно приземляется у Патриции Вестерфорд, в институтской хижине в Великих Дымчатых горах. Патриция ищет лучшие среди десятков разновидностей лиственных деревьев, обреченных в течение нескольких лет погибнуть из-за ясеневой изумрудной узкотелой златки и жуков-усачей. Нынче подобные приглашения приходят в огромных количествах, и она, как правило, их игнорирует. Но это — «Ремонт дома: Противодействие глобальному потеплению» — звучит так болезненно, что она перечитывает его дважды. Кто-то предлагает ей пролететь две тысячи пятьсот девяносто шесть миль, а потом еще столько же, чтобы вернуться домой, ради конференции по разрушенной атмосфере. Она никак не может переварить название: «Ремонт дома». Как будто нужно просто починить водостоки, установить на крыше болотный охладитель, и все опять станет хорошо.

Она сидит на шейкерском стуле[79] у стола и слушает сверчков. Давным-давно отец научил ее старой формуле, которая переводит количество звуков, издаваемых сверчком в минуту, в градусы по Фаренгейту. Вот уже шестьдесят лет ночной оркестр вокруг нее исполняет один из тех народных танцев, которые продолжают ускоряться до тех пор, пока все танцоры не валятся в кучу, изнемогая. «Мы были бы очень рады, если бы вы рассказали о любой роли, которую деревья могут сыграть в обеспечении устойчивого будущего человечества». Организаторы конференции хотят, чтобы с основным докладом выступила женщина, которая когда-то написала книгу о способности древесных растений восстанавливать разрушающуюся планету. Но она написала эту книгу десятилетия назад, когда была еще достаточно молода, чтобы набраться смелости, а планета — достаточно здорова, чтобы выстоять.

Этим людям нужны мечты о технологическом прорыве. Какой-то новый способ переработки

---

[79] Примечания: 79

Шейкер-стиль в мебели (особенно кухонной) тесно связан с христианской религиозной сектой шейкеров (Shakers) и характеризуется надежностью, простотой материалов и минимализмом внешнего вида. Шейкерский стул имеет характерные перекладины на спинке, за которые его можно повесить на специальный настенный крючок, чтобы освободить пространство.

тополя в бумагу, позволяющий сжечь чуть меньше углеводородов. Какая-нибудь генетически измененная товарная культура, которая позволит построить лучшие дома и избавить бедняков всего мира от страданий. «Ремонт дома», который им нужен, — всего лишь чуть менее расточительный снос. Она могла бы рассказать им о простой машине, работающей без топлива и с минимальным техобслуживанием, стабильно поглощающей углерод, обогащающей почву, охлаждающей грунт, очищающей воздух и легко меняющей размер. Технологии, которая копирует саму себя и даже раздает еду бесплатно. Устройстве настолько прекрасном, что о нем пишут стихи. Если бы леса можно было запатентовать, Патриции бы аплодировали.

Калифорния — это три потерянных рабочих дня. Иисус потратил меньше времени на очистку ада. С годами ее агорафобия усугубилась, и в переполненных аудиториях она вечно никого не слышит. Но список приглашенных просто невероятный: реестр волшебников и инженеров, занятых клонированием исчезающих видов или изобретением источников неограниченной дешевой энергии; каждый — на расстоянии одного крупного гранта от той точки на оси времени, в

которой выхлоп от его бурной деятельности станет причиной солнечного затмения. Там будут художники и писатели, чья задача — вникать в хитросплетения человеческого духа. Венчурные капиталисты, ищущие следующее «золотое дно», на этот раз зеленого цвета. У нее больше никогда не будет такой аудитории.

Она перечитывает запрос, представляя себе место, где «устойчивое будущее» означает нечто большее, чем «сладкий самообман». Она дочитывает до волнующей концовки письма. «Как однажды написал Тойнби, „человек достиг уровня цивилизации… в результате ответа на вызов в исторической ситуации особой сложности, которая побудила его предпринять беспрецедентную до того попытку“»[80]. Приглашение похоже на проверку честности, которую она пыталась воспитать в себе с той поры, когда бродяжничала. Кто-то спрашивает ее, что людям нужно сделать, чтобы спасти это умирающее место. Могла бы она рассказать собранию таких выдающихся и влиятельных людей то, что, по ее мнению, является правдой?

Сегодня слишком поздно для мудрого ответа.

---

[80] Примечания: 80
Пер. К. Я. Кожурина.

Однако еще есть время спуститься к порогам Миддл-Пронга. За дверью хижины колышутся пышные, медленно растущие кусты боярышника, в свете почти полной луны выдавая жуткие пророчества. Их алые плоды цепляются за ветки, и многие продержатся до конца зимы. Crataegus, исцеляющий сердце. Люди будут находить лекарства до тех пор, пока будут продолжать искать среди деревьев.

Проходя через поляну, Патриция вспугивает копающегося в земле опоссума, который два часа назад списал человечество со счетов. Она машет фонариком. Лесная подстилка завалена оранжево-охряным мертвым покровом, источающим сладкий запах плесневелого теста для торта. Две пестрые неясыти, скорбные и прекрасные, перекликаются на большом расстоянии. На гребне холма на землю сыплются желуди и орехи. Медведи — по два на каждую квадратную милю — отсыпаются после дневного пиршества.

Она ныряет сквозь тоннели из понурых рододендронов, проходит вдоль зарослей черемухи поздней, помнящей старые выемки, мимо оксидендрумов и ароматного сассафраса. Магнолия и клен пенсильванский растут на месте погибших каштанов. Тсуги вымирают, пораженные херме-

сом, которому помогают кислотные дожди. Все пихты Фразера на высоком гребне Аппалачского хребта мертвы. Лес вокруг нее приходит в себя после самого жаркого и засушливого года с начала наблюдений. Еще один феномен, которому положено случаться раз в столетие, а он теперь происходит чуть ли не ежегодно. Пожары вспыхивают по всему заповеднику. Что ни день, то «красный код».

Но степенные лириодендроны по-прежнему укрепляют ее иммунную систему, в то время как буки поднимают настроение и помогают сосредоточиться. Под сенью гигантов Патриция становится умнее и сообразительнее. Она видит хурму, чья кора похожа на шкуру аллигатора. Плоды амбрового дерева, подобные крошечным средневековым Моргенштернам, хрустят под ногами. Она отрывает кончик у опавшего листа и нюхает — аромат детства, глоток рая. Недалеко от тропы растет почтенный красный дуб, чьи ветви тянутся в разные стороны футов на двенадцать с гаком. Это помогает унять даже то ужасное беспокойство, которое вызвало у нее приглашение. «Устойчивое будущее». Они не хотят, чтобы древесная женщина выступала на этом собрании. Им нужен иллюзионист высшей категории. Писа-

тель-фантаст. Лоракс. Может быть, колоритный знахарь с эпифитами вместо волос.

Спустившись к своим излюбленным перекатам, она снимает обувь. А потом понимает, что зря. Ручей, который должен бушевать, превратился в россыпь валунов, окруженных водой. Она переворачивает несколько камней в поисках саламандр. В заповеднике их тридцать видов, несчетные миллионы особей, населяющих каждый сырой уголок — и Патриция не может отыскать ни одной. Она стоит босиком в воде, ощущая воображаемое течение.

«Что думаешь, Дэн? Стоит выступить на этом „Ремонте дома“?»

Воспоминание о руке, лежащей на плече.

«Если спрашиваешь меня, детка, то ответ тебе не по карману».

ОТ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЛИТТЛ-РИВЕР В ТЕННЕССИ до Нью-Йорка всего семьсот миль. Пыльца белой восточной сосны может преодолеть это расстояние, если подует сильный ветер. На дальнем конце маршрута Адам Эппич с озадаченной улыбкой смотрит на двести шестьдесят студентов-психологов, первокурсников, слушающих лекцию о когнитивной слепоте, и видит в дальнем углу аудитории вооруженную троицу,

ожидающую финала. Его потрясение длится не дольше нескольких пиков на кардиограмме. Хватает одного взгляда, чтобы понять, что это за люди и зачем они здесь. Конечно, пистолеты «Глок-23» и темно-синие форменные куртки с желтой надписью ФБР помогают разобраться. Вот уже на протяжении десятилетий, в случайные моменты каждого времени года, то в разгар трезвого дня, то ночью, в снотворном тумане, он испытывал ужас, думая о том, что эти люди вот-вот появятся. Он так долго ждал их прибытия, что позабыл о нем. И в этот прекрасный день, поздней осенью, его тюремщики наконец-то объявились, именно такие, как он предполагал: серьезные, мрачные и прагматичные, с проводками в ушах. Адам моргает, не переставая улыбаться, и его ужас уступает место своему кузену: облегчению от того, что пророчество сбылось.

«Они пройдут по проходу и арестуют меня прямо за кафедрой», — думает он. Но мужчины, которых уже пятеро, собираются за последним рядом сидений и ждут, пока Адам закончит лекцию.

Сегодняшняя тема очень проста. Когда человек делает выбор, столько всего происходит метафорической ночью, под землей или просто вне

поля зрения, что выбирающий узнает об этом последним. Страницы заметок соскальзывают с кафедры на пол, и пальцы Адама гладят пустоту. Двадцать лет с головой, вжатой в плечи в ожидании, когда упадет молот — и вот наконец-то можно больше не трепетать. Он упорно трудился, пытаясь раствориться в своих достижениях. Дважды получал награду как лучший преподаватель университета, а в прошлом месяце его номинировали на премию Американской психологической ассоциации за исследования, которые эмпирически продвигают материалистическое понимание человеческого разума. Он так долго выступал на публике, что его одурачила собственная биография. Теперь выборы, сделанные в молодости, вернулись, чтобы разбить эту фантазию в пух и прах.

Что ж, все ясно. Случайная встреча с бывшим сообщником. То, как он возился с кепкой. Вырванное признание. «Мы поджигали здания». «Да, мы это делали». Они готовы были отдать жизнь друг за друга, все пятеро. Одна — отдала.

Он бросает взгляд на свои рукописные заметки. Словно по команде слова, обведенные красным, выплывают из ясновидящего прошлого в беспамятное будущее. Адам произносил эти

строки и раньше, он читает этот вводный курс уже несколько лет, но их истинный смысл ждал своего часа. Он сдвигает очки без оправы обратно на потный нос и качает головой перед переполненным залом. Какой урок сегодня получат студенты…

— Вы не можете увидеть то, чего не понимаете. Но то, что, как вам кажется, вы уже поняли, вы не замечаете.

Несколько слушателей хихикают; они еще не видят мужчин, стоящих позади, в глубине зала. Некоторые приберегают фразу для экзамена, который предстоит сдавать совсем не в той форме, на которую они рассчитывают. Большинство притаились в ожидании, когда их перестанут обучать. Эппич пролистывает последние слайды. За пятнадцать секунд он подводит итог исследований в области внимания и излагает выводы. Он думает: «Я был в этом деле не так уж плох». Затем распускает аудиторию, идет по проходу через море студентов и пожимает руки тем, кто пришел его арестовать. Ему хочется спросить: «Что же вас так задержало?»

Ошеломленные студенты беспомощно смотрят, как агенты уводят их профессора в наручниках. Фэбээровцы выталкивают Эппича из лекцион-

ного зала на тротуар. Погода прекрасная, небеса — цвета надежд юнца. Кто-то перебегает им дорогу. Опергруппе приходится приостановиться, чтобы пропустить пешеходов. Кажется, что этим осенним утром весь город выбрался наружу по делам.

Легкий ветерок доносит до носа Адама вонь прогорклого масла. Он уже много раз чувствовал этот лекарственный, фруктово-рвотный запах, но сейчас источник остается неведомым. Спецагенты в синих куртках конвоируют его несколько ярдов по тротуару к черному минивэну. Мужчины ведут себя жестко, но вежливо: странная смесь целеустремленности, нервозности и рутины, свойственная правоохранителям. Они торопят Адама к открытой двери. Один из агентов придерживает ему голову, когда они запихивают его на заднее сиденье.

Адам сидит в охраняемом отсеке, держа скованные руки на коленях. На переднем сиденье агент, прижав к лицу прямоугольник из черного стекла, докладывает об успешном захвате. С тем же успехом он мог бы чирикать, как птица. На улице за тонированным окном кто-то машет Адаму. Он поворачивается и смотрит. Прямо рядом с автомобилем на холостом ходу из дыры

в бетоне растет дерево и трепещет листвой, как будто нарисованной желтым мелком из детского набора. Деревья разрушили его жизнь. Деревья — причина, по которой эти люди пришли, чтобы запереть его на все оставшиеся годы. Фургон не движется. Его тюремщики оформляют документы, необходимые для отъезда. Желтые листья говорят: «Смотри. Сейчас. Здесь. Ты еще долго не увидишь окружающий мир».

Адам смотрит и видит лишь одно: дерево, мимо которого ходил три раза в неделю в течение семи лет. Это единственный вид единственного рода в единственном семействе единственного порядка в одиноком классе ныне позабытого отдела, который когда-то господствовал на земле — живое ископаемое возрастом триста миллионов лет, исчезнувшее с континента еще в неогене и вернувшееся, чтобы кое-как выживать среди теней, солей и выхлопных газов Нижнего Манхэттена. Дерево старше хвойных, с подвижными сперматозоидами и шишками, способными выбрасывать триллион и более частиц пыльцы ежегодно. В древних островных храмах на другой стороне Земли его тысячелетние собратья, оплавленные и обожженные, почти достигшие просветления, выросли до невероятной тол-

щины, и их воздушные корни стали такими толстыми, что напоминают новые стволы. У этого дерева ствол тощий, и Адам мог бы его коснуться, если бы не закрытое окно. Если бы не кандалы на руках. Такое же дерево росло на улице прямо перед домом человека, отдавшего приказ о бомбардировке Хиросимы, и несколько его сородичей выжили после взрыва. Плоды немыслимо воняют, мякоть содержит вещество, которое убивает даже бактерии, устойчивые к антибиотикам. Веерообразные листья с лучистыми прожилками, по слухам, излечивают болезнь забывчивости. Адаму не нужно лекарство. Он помнит. Помнит. Гинкго. Дерево Адиантум.[81]

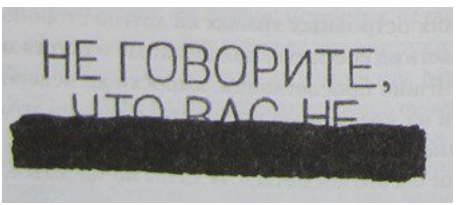
Ветви колышутся на ветру. Минивэн отъезжает от обочины и вливается в поток машин. Адам поворачивается, чтобы посмотреть в заднее стекло. И у него на глазах дерево оголяется целиком. Переход от одного состояния к другому происходит мгновенно, самый синхронный сброс листьев, когда-либо задуманный природой. Порыв воздуха, последнее трепетное возражение — и все веера с прожилками разом улетают вдоль Западной Четвертой улицы стаей золотистых телеграмм.

---

[81] Примечания: 81

Здесь заложена игра слов. По английски гингко двухлопастный называется maidenhair tree, также как папоротник адиантум (maidenhair).

КАК ДАЛЕКО может пролететь лист, несомый ветром? Над Ист-Ривер, несомненно. Через верфь, где норвежский иммигрант шлифовал массивные гнутые дубовые бимсы для корпусов фрегатов. Через Бруклин, некогда холмистый и лесистый, полный каштанов. Вверх по реке, где через каждую тысячу футов вдоль набережной, на каждой отметке высоты воды, до которой он сумел дотянуться, потомок корабельного плотника при помощи трафарета оставил надпись:



Над погруженными в воду буквами рощи новых зданий борются за суррогат солнца.

НА ЗАПАДЕ ДВА СТАРЫХ ЧЕЛОВЕКА путешествуют, преодолевая расстояние, на которое у леса ушли бы десятки тысячелетий. На протяжении нескольких недель они совершенствуют правила игры. Дороти выходит на улицу и собирает веточки, орехи и опавшие листья. Затем

она приносит улики Рэю, и вместе, с помощью ветвящейся книги, они сужают круг поисков и определяют очередной вид. Каждый раз, добавив в свой список незнакомца, они делают паузу на несколько дней, чтобы узнать о нем все возможное. Шелковица, клен, Дугласова пихта — у каждого дерева уникальная история, биография, химия, экономика и поведенческая психология. Каждое новое дерево — отдельная эпопея, меняющая пределы возможного.

Сегодня, однако, Дороти возвращается, слегка озадаченная.

— Что-то не так, Рэй.

Для Рэя, чья посмертная жизнь в самом разгаре, ничто и никогда больше не будет «не так».

«Что?» — безмолвно спрашивает он.

Она отвечает сдержанно и даже загадочно.

— Наверное, мы где-то ошиблись.

Они проверяют древо решений, но в итоге оказываются на той же самой ветке. Дороти качает головой, отвергая факты.

— Я ничего не понимаю.

Теперь он вынужден прокричать единственный трудный слог:

— Пчму? — или что-то вроде.

Ей требуется время, чтобы ответить. Их воспри-

ятие времени так сильно изменилось.

— Ну, для начала, мы находимся в сотнях миль от родного ареала.

Он вздрагивает всем телом, но она знает, что этот сильный спазм — просто пожатие плечами. Деревья в городах могут расти далеко от того места, которое считают своим домом. Они оба узнали об этом благодаря неделям чтения.

— Хуже того: ареала как такового не осталось. Предполагается, что выжила всего лишь горстка зрелых американских каштанов.

А это дерево высотой почти с дом.

Они читают все, что могут, об идеальном, исчезнувшем дереве Америки. Узнают о чуме, которая опустошила ландшафт незадолго до их рождения. Но ничто из новообретенных знаний не может объяснить, каким образом дерево, которого не должно существовать, раскинуло огромный шатер тени по всему их двору.

— Может быть, в наших краях растут каштаны, о которых никто не знает.

Рэй издает звук, который, как знает Дороти, эквивалентен смеху.

— Ладно, тогда мы ошиблись с идентификацией.

Но в их растущем каталоге деревьев нет ни

единого кандидата на соответствующую роль. Они оставляют загадку на потом и продолжают читать.

Дороти находит книгу в публичной библиотеке: «Тайный лес». Приносит ее домой для чтения вслух. Замолкает, прочитав первый же абзац.

> Вы и дерево на вашем дворе произошли от общего предка. Полтора миллиарда лет назад вы расстались. Но даже сейчас, после невероятного путешествия по совершенно разным дорогам, вас по-прежнему объединяет четверть общих генов…

Одна-две страницы могут занять у них целый день. Все, что они думали о своем заднем дворе, оказалось неверным, и требуется некоторое время, чтобы на смену рухнувшим убеждениям пришли новые. Они сидят вместе в тишине и осматривают участок, как будто попали на другую планету. Каждый лист — часть единого подземного целого. Дороти воспринимает эту новость, как шокирующее откровение в нравоописательном романе XIX века, где ужасный секрет одного персонажа воздействует на жизнь целой деревни.

По вечерам они сидят вдвоем, читают и наблюдают, а по зубчатым листьям каштана пляшут зеленовато-желтые солнечные блики. Каждая отдельная веточка кажется Дороти экспериментальным существом, одновременно чем-то самостоятельным и частью целого. В том, как ветвится каштан, она видит несколько умозрительных путей прожитой жизни: всех людей, которыми могла бы стать, всех, кем еще может стать или станет в мирах, раскинувшихся рядом с этим миром. Она некоторое время следит за колыханием кроны, потом опускает взгляд на страницу и читает вслух:

— Иногда трудно сказать, является ли дерево одним существом или их миллион.

Она начинает читать следующее поразительное предложение, но прерывается, потому что муж рычит. Кажется, он говорит: «Бумажный стаканчик».

— Рэй?

Он произносит те же самые слоги.

— Прости, Рэй, я не понимаю.

«Бумажный стаканчик. Саженец. На подоконнике».

Тон взволнованный, и у Дороти от него мурашки по коже. Его безумная напряженность

в вечернем свете заставляет подумать о новой катастрофе в мозгу. У нее резко учащается пульс, и она неуклюже вскакивает. А потом понимает, в чем дело. Он развлекает ее, превращая *то, что есть*,[82] в нечто лучшее. Рассказывает историю в обмен на те, которые она ему читала годами.

«Посадили. Каштан. Наша дочь».

— ВАШЕ?

Патриция Вестерфорд съеживается. Человек в форме указывает на ее ручную кладь, когда та выезжает из сканера на конвейерной ленте. Патриция кивает, ей почти удается изобразить бесстрастность.

— Можно взглянуть?

Это не совсем вопрос, и он не ждет ответа. Сумку открывают, начинают в ней рыться. Он действует словно медведь, обирающий ежевичную грядку возле хижины в горах, где живет Патриция.

— Что это?

Она хлопает себя по лбу. Склероз.

— Мой набор для сбора образцов.

Он рассматривает лезвие в три четверти дюйма,

---

[82] Примечания: 82

«То, что есть, или Приключения Калеба Уильямса» (Things as They Are: or, The Adventures of Caleb Williams) — роман английского писателя, философа и журналиста Уильяма Годвина. Издавался в переводе на русский под названием «Калеб Уильямс».

секатор, раскрывающийся на ширину карандаша, крошечную пилу короче первой фаланги мизинца. В стране уже более десяти лет не было серьезных инцидентов во время авиаперелетов, за что уплачено миллиардом перочинных ножей, тюбиков зубной пасты, флаконов шампуня…

— Что собираете?

Сто неправильных ответов, и ни одного правильного.

— Растения.

— Вы садовник?

— Да. — Для всего есть правильное время и место, даже для лжесвидетельства.

— А это?

— Это? — повторяет она. Глупо, но позволяет выиграть три секунды. — Это просто овощной бульон.

Ее сердце колотится и может убить ее столь же верно, как и содержимое банки. Этот человек имеет над ней власть, всеобъемлющую власть паникующей нации, стремящейся к невозможной безопасности. Один слишком откровенный взгляд — и она опоздает на рейс.

— Это больше, чем три унции.

Она засовывает дрожащие руки в карманы и стискивает зубы. Он заметит, это его работа. Од-

ной рукой он подталкивает к ней два предмета, а другой — ее сумку.

— Можете вернуться в терминал и отправить их по почте.

— Я пропущу свой рейс.

— Тогда придется их конфисковать. — Он опускает пластиковую банку и набор для сбора образцов в уже полный контейнер. — Счастливого пути.

В самолете она в последний раз просматривает свой основной доклад. «Лучшая и единственная вещь, которую человек может сделать для мира будущего». Все записано. Она уже много лет не выступала перед публикой со шпаргалкой. Но в этом случае полагаться на импровизацию недопустимо.

В Международном аэропорту Сан-Франциско она проходит по коридору для прибывающих пассажиров. У выхода кольцом стоят водители с листками, на которых написаны имена. Ее имени нет. Ее должен был встретить один из организаторов конференции. Патриция ждет несколько минут, но никто не появляется. Ну и ладно. Сойдет любой повод, чтобы отказаться от задуманного. Она садится на скамейку у стены в углу зала для встречающих. На табло со светящимися буквами,

которое тянется через весь вестибюль, написано: «Бостон Бостон Бостон Чикаго Чикаго Чикаго Даллас Даллас…». Люди и их *путешествия*. Люди и их *суета*. Больше скорости, больше ощущений, больше мобильности и больше власти.

Ее привлекает какое-то движение. Даже новорожденный повернется, заметив птицу, предпочтя ее чему-то более медленному и близкому. Патриция следит за существом, вторя его траектории, хаотичной дуге. Домовой воробей скачет по верхней части вывески в пятнадцати футах от нее. Он совершает короткие, целенаправленные полеты над залом для встречающих. Никто из толпы не обращает на него внимания. Он залетает в укромный уголок под потолком, затем опять спускается. Вскоре два воробья, а потом и три принимаются исследовать мусорные баки. Первое зрелище с момента посадки, которое ее порадовало.

У воробьев на лапках что-то, похожее на орнитологическое кольцо, но крупнее. Патриция достает булочку, которую припрятала в сумке на ужин, и крошит на сиденье рядом. В глубине души ожидает, что появится охранник и арестует ее. Птицы жаждут заполучить приз. Каждый опасливый прыжок сокращает дистанцию и

удлиняет время ожидания. Наконец прожорливость берет верх над осторожностью, и один воришка летит к цели. Патриция не шевелится, воробей подпрыгивает ближе, кормится. Когда кольцо оказывается на виду, она читает надпись: «Нелегальный иностранец». Она смеется, и испуганная птица отпрыгивает.

Рядом с изяществом кошки возникает молодая женщина.

— Доктор Вестерфорд?

Патриция улыбается и встает.

— Где же вы были? Почему не отвечали на звонки?

«Потому что мой телефон остался жить в Боулдере, штат Колорадо, подключенным к зарядке», — могла бы ответить Патриция.

— Я все это время бегала кругами по залу прилета и вокруг него. Где ваш багаж?

Кажется, весь проект «Ремонт дома» едва не рухнул.

— Вот мой багаж.

Девушка ошарашена.

— Но вы же пробудете здесь три дня!

— Эти птицы… — начинает Патриция.

— Да. Чья-то шутка. Аэропорт не может придумать, как от них избавиться.

— С какой стати?

Водительница не создана для философии.

— Нам сюда.

Они со скоростью улитки покидают город и едут по Центральному полуострову. Водительница называет имена светил, которые выступят в ближайшие дни. Патриция созерцает пейзаж. Справа от них — холмы, поросшие молодыми секвойями. Слева — Кремниевая долина, фабрика будущего. Водительница загружает доктора Вестерфорд пластиковыми папками и высаживает у Факультетского клуба. У Патриции есть вся вторая половина дня, чтобы побродить по самой необычной коллекции кампусных деревьев в стране. Она находит изумительный синий дуб, величественные калифорнийские платаны, ладанные кедры, кряжистый и анархичный перуанский перец, десятки из семисот видов эвкалиптов, буйно цветущие кумкваты. Каждый студент, наверное, даже не подозревая об этом, хмелеет от воздуха. Лигниновое Рождество. Старые, потерянные друзья. Деревья, которых она никогда не видела. Сосны, чьи шишки вьются спиралями, безупречно соответствующими завихрениям Фибоначчи. Захолустные роды Майтенус, Сизигиум, Зизифус. Она перебирает их и все грунтовые культуры в

поисках образцов, заменяющих конфискованные Управлением транспортной безопасности.

Тропа ведет ее вдоль апсиды фальшивой романской церкви. Она проходит под монументальным трехствольным авокадо, расположенным слишком близко к стене — вероятно, дерево начало свою жизнь на столе секретаря. Пройдя через портал во внутренний двор, Патриция застывает, прижимая руку к губам. Деревья — могучие, невероятные, диковинные деревья, пришедшие из какого-нибудь бульварного романа Золотого века научной фантастики о буйных джунглях под кислотными облаками Венеры — стоят, перешептываясь друг с другом.

КАМЕРА, В КОТОРУЮ АГЕНТЫ ПОМЕЩАЮТ Адама Эппича, больше платформы, которую он когда-то делил с двумя другими людьми на высоте двухсот футов. Государство берет на себя ответственность за него. Он во всем сотрудничает и почти ничего не помнит, даже полчаса спустя. Сегодня утром он был профессором психологии в одном из крупнейших городских университетов. Теперь он задержан за древние преступления, связанные с нанесением имущественного ущерба на несколько миллионов долларов и сожжением женщины.

Его родители, к счастью, умерли. Как и его сестра Джин, его брат Чарльз, его единственный друг на всю жизнь и наставник, открывший глаза на человеческую слепоту. Он достиг того возраста, когда смерть — это новая норма. Он не разговаривал со своим старшим братом с тех пор, как Эммет обманом лишил Адама наследства. Ему некому рассказать обо всем, кроме жены и сына.

Лоис берет трубку, удивленная тем, что муж звонит в середине дня. Смеется, когда он говорит ей, где находится. Чтобы убедить ее, требуется долгое молчание. На следующее утро она приходит к нему в переполненный следственный изолятор в часы посещений. Ее непонимание превратилось в жажду действия, лицо раскраснелось от первой за много лет стоящей цели. Сквозь пуленепробиваемое стекло она читает ему из новенькой четырехдюймовой тетради, аккуратно помеченной «Адам, правовые вопросы». Масштаб ее деятельности шедеврален.

Она составила подробный контрольный список, не жалея сил. Даже морщинки в уголках ее глаз свидетельствуют о готовности сражаться с несправедливостью.

— У меня есть кое-какие наводки на адвокатов. Попросим о домашнем аресте. Это дорого, но ты

будешь дома.

— Ло, — говорит он, ощущая тяжесть прожитых лет. — Я расскажу тебе, что случилось.

Она касается одной рукой пуленепробиваемого стекла, другой — собственного рта.

— Тс-с-с. Парень из Американского союза гражданских свобод сказал ни о чем не говорить, пока ты не выйдешь отсюда.

Неукротимая надежда, как это на нее похоже. Он зарабатывал на жизнь, изучая неукротимую надежду. Неукротимая надежда — то, что привело его сюда.

— Я знаю, что ты этого не делал, Адам. Ты бы не смог.

Но она отводит взгляд — так делают все млекопитающие вот уже десять миллионов лет. Она пребывает в неведении — она ничего не знает о человеке, с которым прожила много лет, ее законном муже, отце ее сына. Он как минимум мошенник и, насколько она может судить, соучастник убийства.

В ДРУГОМ КОНЦЕ ГОРОДА, в другом следственном изоляторе тот, кто его предал, снова ускользает от властей, своих работодателей, ставших тюремщиками, и отправляется на ночные поиски женщины, которая превратила Дугла-

са Павличека в радикала. Он уверен, что у нее теперь другое имя. Может, она далеко, в другой стране, проживает вторую жизнь, которую он не в силах себе представить. Прощение — больше, чем он может у нее просить, больше, чем он способен дать самому себе. Он заслуживает худшей участи, чем та, которую определили для него фэбээровцы — семь лет тюрьмы общего режима с правом на УДО через два года. Но он должен ей кое-что рассказать. «Вот как все случилось. Вот как все пошло наперекосяк». Она услышит о том, что он сделал. Она узнает худшее и будет его презирать. Он не в силах это изменить, сказав что бы то ни было. Но она будет задаваться вопросом, почему, и этот вопрос причинит ей боль. Боль, которую он может заменить на что-то лучшее.

Его камера — куб из шлакоблока, покрытый каучукоподобным слоем зеленой краски, совсем как та фальшивая камера, в которой он прожил неделю в возрасте девятнадцати лет. Теснота заключения позволяет ему вволю путешествовать. Каждую ночь он закрывает глаза и отправляется ее искать. Кино в лучшем случае тусклое, ее лицо — расплывчатое. Он забыл даже те черты, которые раньше вызывали ощущение, что можно вдохнуть воздух и не спеша выдохнуть вечность.

Но сегодня он почти видит ее, не такой, какой она должна быть сейчас, а такой, какой была. «Вот как все случилось», — говорит он. Его предали — неважно, кто. Он попал в засаду. И к тому времени, как федералы нагрянули и схватили его, он уже был потерян.

Дознаватели были добры. Дэвид, пожилой мужчина, немного похожий на дедушку Дугги. И задумчивая женщина по имени Энн, в сером пиджаке и юбке — она все время что-то записывала и пыталась понять. Они сказали ему, что все кончено, что его рукописные мемуары дали все необходимое, чтобы навсегда упрятать за решетку его и всех его друзей. Осталось только прояснить несколько деталей.

«У вас ничего нет. Я написал роман. Я все выдумал, блин».

Они ответили, что в романе есть информация о преступлениях, неизвестных широкой публике. Они сказали, что уже знают о его друзьях. Собрали досье на каждого. Им просто надо, чтобы он все подтвердил — ив интересах Дугласа им помочь.

«Помочь? Я что, Иуда?» — вырвалось у него.

На одно слово больше, чем следовало.

Он рассказывает Мими об ошибке. Кажется, она слышит, даже слегка вздрагивает, хотя отворачи-

вает свое лицо со шрамом от заостренной палки. Он рассказывает, как продержался несколько дней, как сказал агентам, чтобы они посадили его пожизненно — он все равно не назовет имен. Рассказывает, как дознаватели предъявили фотографии. Истинная жуть: словно кадры домашнего видео, зернистые снимки событий, во время которых ни у кого не было камеры. Сами события он помнил хорошо, особенно те места, где его избивали. На многих фотографиях оказался он сам. Он забыл, каким молодым был когда-то. Каким наивным и непостоянным.

«Знаете, — сказал он своим собеседникам, — я гораздо симпатичнее, чем выгляжу».

Энн улыбнулась и что-то записала.

«Видишь? — сказал ему Дэвид. — У нас все есть. Нам ничего от тебя не нужно. Однако сотрудничество может сильно смягчить обвинения против тебя».

В этот момент Дуглас начал понимать, что нанять собственного адвоката, возможно, не то же самое, что признать вину. Конечно, чтобы нанять кого бы то ни было для чего бы то ни было, требовалось гораздо больше, чем тысяча двести тридцать долларов на счету.

И кое-что не складывалось с фотографиями. На

них были люди, которых он никогда не видел. А еще этот список пожаров, которые они хотели на него повесить. О половине из них он даже не слышал. Затем два агента начали спрашивать, кто есть кто.

«Кто из них Шелковица? А Страж? И Клен? Это она?» Они блефовали. Писали свой собственный роман.

Два дня они держали его в помещении, похожем на общежитие обанкротившегося сербского колледжа. Он хранил молчание. Тогда они сказали ему, что ему грозит: внутренний терроризм — попытка повлиять на действия правительства путем запугивания или принуждения — наказывается в соответствии с Законом об ужесточении наказаний за терроризм, совершенно новым механизмом обеспечения государственной безопасности. Он никогда больше не выйдет на свободу. Но если он просто подтвердит личность одной из этих персон — на которых уже составлены досье, — то проведет в тюрьме от двух до семи лет. И они закроют дело по любому из пожаров, в которых он признался.

«Закроете дело?»

Не будут преследовать других людей за эти преступления.

«Отныне и впредь? По любым преступлениям, в которых я признаюсь или не признаюсь?»

Одно имя. И федеральное правительство ему полностью доверится.

Дугласу было все равно, сядет ли он в тюрьму на семь лет или семьсот. Он столько не протянет, у его тела заканчивался допустимый пробег. Но гарантированное помилование для женщины, которая его приютила, и для мужчины, который, похоже, все еще боролся со стремлением человечества к смерти… в этом был некий смысл.

В галерее, которую два следователя разложили перед Дугласом, были фотографии человека, который всегда казался ему лазутчиком. Человека, который пришел изучать их. Парня, которого они послали в ту ужасную ночь за помощью для Оливии — любой помощью, — а он вернулся с пустыми руками.

— Вот, — сказал Дуглас, и его палец дрожал, как веточка на ветру. — Это Клен. Парень по имени Адам. Изучал психологию в университете Санта-Круза.

«Вот как все случилось, — говорит он своей напарнице по спасению. — Вот что я сделал. И почему. Ради тебя, Ника и, возможно, деревьев».

Но когда Мими поворачивается, обращая к

нему призрачное лицо, она ничем не выказывает понимания. Просто смотрит пристально ему в глаза, как будто это бесконечное единение взглядов скажет ей все, что следует знать.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ТЕМНЫЙ, облицованный красным деревом сомнительного происхождения. Патриция смотрит с подиума на сотни экспертов. Она поднимает глаза выше людей, которые ждут начала, и кликает мышкой. Позади нее на экране появляется изображение в наивном стиле: деревянный ковчег, в который извилистым строем забираются животные.

— Когда наступил первый конец света, Ной взял всех животных, каждой твари по паре, и погрузил их на борт своего спасательного судна для эвакуации. Но забавная вещь: он оставил растения умирать. Он не взял с собой то, что было необходимо для восстановления жизни на суше, и сосредоточился на спасении нахлебников!

Все смеются. Она им нравится, но лишь потому, что они не знают, что она хочет сказать.

— Проблема была в том, что Ной и иже с ним не верили, что растения действительно *живые*. Никаких намерений, никакой жизненной искры. Все равно что камни, только умеют расти.

Она опять щелкает мышкой, демонстрируя кар-

тинки: мухоловки смыкаются, поймав добычу; чувствительные растения обижаются; мозаичный полог из не соприкасающихся друг с другом крон камфорных деревьев.

— Теперь мы знаем, что растения общаются и помнят. Они чувствуют вкус, запах, прикосновения, даже слышат и видят. Наш вид сумел это выяснить, и мы очень многое узнали о тех, с кем делим этот мир. Мы начали понимать глубокие связи между деревьями и людьми. Но пропасть между нами растет быстрее, чем связь.

Она щелкает мышкой, и слайд меняется.

— Вот спутниковый вид Северной Америки ночью, 1970 год. А вот что мы видим спустя десять лет. И еще десять. И еще. Еще один снимок, и готово. — Четыре щелчка, и свет проносится по континенту, заполняя черноту от моря до моря. Она кликает, и на экране появляется фото лысеющего барона-разбойника с пышными усами, в костюме с высоким воротничком. — Однажды репортер спросил Рокфеллера, сколько ему надо. Он ответил: «Еще немного». И мы все хотим того же: есть и спать, пребывать в комфорте, быть любимыми — и заполучить *еще немного*.

На этот раз смех превращается в вежливое бормотание. Тяжелая публика. Они уже слишком

много раз видели это шоу со вспышкой света. Все в этом зале уже давно очерствели. Два человека сзади встают и выходят. М-да, вот вам и экологическая конференция. Пятьсот участников, семь враждующих фракций, десятки возражений против каждого плана по спасению планеты. И все ради одного цунами.

Далее следуют четыре коротких ролика: покадровая замедленная съемка с воздуха лесов Бразилии, Таиланда, Индонезии и Тихоокеанского Северо-Запада в процессе исчезновения.

— Еще немного древесины. Еще немного рабочих мест. Еще немного акров кукурузных полей, чтобы прокормить еще немного людей. Понимаете? В мире нет материала полезнее древесины.

Публика ерзает в удобных креслах, кашляет и шепчется, безмолвно призывает покончить с проповедями.

— Только в этом штате за последние шесть лет погибла греть лесных массивов. Леса гибнут от многих причин — засухи, пожаров, фитофторы, непарного шелкопряда, соснового лубоеда и короеда-гравера, ржавчины растений, да и просто от вырубки под фермы и застройку. Но всегда есть одна и та же подспудная причина, и вы ее знаете, и я знаю, и все, кто обращает на это

внимание, знают. Времена года сдвинулись на месяц или два. Целые экосистемы распадаются. Биологи напуганы до смерти. Планета так щедра, а мы так… ненасытны. Но ничто из того, что я могу сказать, не разбудит лунатика и не сделает угрозу самоубийства реальной. Она не может быть реальной, да? Ведь мы все еще здесь…

С начала выступления прошло двенадцать минут, и она трясется. На три секунды вскидывает руку в умоляющем жесте. Отступает за трибуну, достает пластиковую бутылку с водой, оставленную благонамеренными организаторами «Ремонта дома». Откручивает крышку и демонстрирует контейнер.

— Синтетический эстроген. — Она сжимает трескучий пластик. — Девяносто три процента американцев напичканы этой дрянью. — Она наливает немного в стакан. Из кармана на бедре достает запасной стеклянный флакон. — А это экстракты растений, которые я нашла, гуляя вчера по кампусу. Боже мой, здесь просто заповедник. Маленький рай!

Рука дрожит, грозя расплескать содержимое. Держа флакон обеими руками, Патриция ставит его на трибуну.

— Видите ли, многие люди думают, что деревья

— это простые создания, не способные ни на что интересное. Но у каждого дерева под небом есть предназначение. Их химический состав поразителен. Воски, жиры, сахара. Дубильные вещества, стерины, камеди и каротиноиды. Смоляные кислоты, флавоноиды, терпены. Алкалоиды, фенолы, пробковые суберины. Они учатся производить все, что можно произвести. И большинство из того, что они производят, мы даже не определили.

Она кликает мышкой, демонстрируя пестрое разнообразие коры. Драцена драконовая, у которой смола красная, как кровь. Жаботикаба, у которой плоды в виде бильярдных шаров растут прямо из ствола. Тысячелетние баобабы, похожие на приземленные метеорологические зонды, наполненные тридцатью тысячами галлонов воды. Эвкалипты с радужными стволами. Причудливые колчанные деревья с оружием на концах ветвей. Hura crepitans, дерево-песочница, чьи плоды взрываются, выбрасывая семена со скоростью сто шестьдесят миль в час. Ее аудитория расслабляется, успокоенная поворотом к живописным вещам. Патриция и сама не против в последний раз взглянуть на самое красивое, что есть в этом мире.

— На протяжении последних четырехсот

миллионов лет растения перепробовали все стратегии, имеющие хоть отдаленный шанс на успех. Мы только начали осознавать, насколько разнообразным может быть этот успех. У живой природы есть способ передавать послания будущему. Он называется «память». Он называется «гены». Чтобы решить проблему с будущим, мы должны сохранить прошлое. Мое простое эмпирическое правило таково: когда вы срубаете дерево, ваша цель должна быть по крайней мере такой же чудесной, как и то, что вы срубили.

Патриция не понимает, смеется ли ее аудитория или стонет. Она барабанит пальцами по краю трибуны. Стук приглушенный. Весь зал как будто тускнеет.

— Всю свою жизнь я была аутсайдером. Но у меня нашлись соратники. Мы обнаружили, что деревья способны общаться по воздуху и через корни. Здравомыслящие люди нас высмеяли. Мы обнаружили, что деревья заботятся друг о друге. Коллективная наука отвергла эту идею. Аутсайдеры совершили открытие: семена помнят, с каким временем года совпало их детство, и закладывают почки соответственно. Аутсайдеры выяснили, что деревья ощущают присутствие других живых существ поблизости. Что дерево

учится экономить воду. Что деревья кормят свой молодняк, плодоносят синхронно, накапливают ресурсы, предупреждают родственников и посылают сигналы осам в случае угрозы нападения, чтобы те прилетели и спасли их. Вот что вам может рассказать аутсайдер — а вы можете дождаться подтверждения этой информации. Лес о многом знает. Деревья связаны через подземную сеть. Там, внизу, есть мозги, которые наш собственный мозг не в состоянии познать. Пластичность корней, решение проблем и принятие решений. Микоризные синапсы. Как еще это можно назвать? Соедините достаточное количество деревьев, и лес осознает себя.

Слова кажутся далекими, словно уши заткнуты пробками или Патриция оказалась под водой. Либо оба слуховых аппарата вырубились разом, либо детская глухота ждала именно этого момента, чтобы вернуться.

— Нас, ученых, учат никогда не искать себя в других видах. Поэтому мы следим за тем, чтобы ничто не было похоже на людей! Еще совсем недавно мы не позволяли даже шимпанзе иметь сознание, не говоря уже о собаках или дельфинах. Только человек, видите ли: только человек может знать достаточно, чтобы чего-то хотеть. Но

поверьте мне: деревья хотят чего-то от нас, так же как мы всегда хотели чего-то от них. Это не мистика. «Окружающая среда» — живая; текучая, изменчивая паутина целеустремленных жизней, зависящих друг от друга. Любовь и война неразделимы. Цветы воздействуют на пчел так же, как пчелы воздействуют на цветы. Ягоды могут конкурировать за право быть съеденными сильней, чем животные конкурируют за ягоды. Колючая акация делает сахаристые белковые лакомства, чтобы накормить и поработить муравьев, которые ее охраняют. Плодоносящие растения обманывают нас, распространяя семена, а созревающие плоды привели к развитию цветового зрения. Научив нас находить свою приманку, деревья открыли нам тот факт, что небо голубое. Наш мозг эволюционировал, чтобы разгадывать лесные загадки. Мы и лес воздействовали друг на друга задолго до того, как наш вид стал Homo sapiens.

Люди и деревья состоят в более близком родстве, чем вы думаете. Мы выросли из одного семени, идем в противоположных направлениях, используем друг друга в среде, которую друг с другом делим. Эта среда нуждается во всех своих частях. Что касается нашей части… у нас своя

роль в организме Земли, но дело в том, что… — Она поворачивается и смотрит на проецируемое изображение. Это Arbre du Ténéré, единственное дерево на четыреста километров в округе. Насмерть сбито грузовиком, за рулем которого был пьяный водитель.[83] Патриция кликает мышкой и демонстрирует залу флоридский болотный кипарис, на полторы тысячи лет старше христианства, убитый несколько месяцев назад брошенной сигаретой?[84] — Наша роль не может быть такой.

Еще один щелчок мышкой.

— Деревья занимаются наукой. Проводят миллиард полевых испытаний. Они выдвигают гипотезы, а живой мир подсказывает им, что работает. Жизнь — это спекуляция, а спекуляция — это жизнь. Я использую слово в его чудесном философском значении. «Спекулировать»

---

[83] Примечания: 83

Дерево Тенере — уникальная акация возрастом около 300 лет, предположительно единственный остаток леса, поглощенного пустыней — погибло при указанных обстоятельствах в 1973 году.

[84] Примечания: 84

По официальной информации, болотный кипарис Сенатор, возрастом около 3500 лет, сгорел в январе 2012 года из-за того, что после закрытия парка два человека забрались внутрь полого ствола, чтобы покурить метамфетамин, и разожгли костер из древесного мусора. Ствол сработал как дымоход, усиливающий тягу, и пламя очень быстро вышло из-под контроля.

— рассуждать умозрительно. Смотреться в метафорическое зеркало.

Деревья занимают центральное место в экологической системе, и они должны занять центральное место в человеческой политике. Тагор сказал: «Деревья — бесконечные усилия земли поговорить со слушающими ее небесами». Но люди — о, мое слово — люди! Люди могут стать тем небом, с которым пытается говорить Земля.

Если бы мы могли по-настоящему увидеть зелень, мы бы узрели нечто, становящееся тем интереснее, чем меньше шагов нас разделяют. Если бы мы поняли, чем занята зелень, нам никогда не было бы одиноко или скучно. Если бы мы осознали зелень, мы бы узнали, как выращивать всю необходимую нам пищу в три слоя, на трети той площади, которую используем сейчас, с растениями, которые защищают друг друга от вредителей и стресса. Если бы мы знали, чего хочет зелень, нам не пришлось бы выбирать между интересами Земли и своими. Они бы совпали!

Еще один щелчок мышкой — и она переходит на следующий слайд: гигантский рифленый ствол, покрытый красной корой, которая пульсирует, как мышцы.

— Увидеть зелень — значит понять намерения

Земли. Давайте рассмотрим пример. Это дерево растет от Колумбии до Коста-Рики. В виде саженца оно похоже на кусок пеньки. Но стоит ему найти брешь в пологе, как саженец вырастает в гигантский ствол с расширяющимися досковидными корнями.

Патриция бросает взгляд через плечо на картинку. Это колокол огромной ангельской трубы, погруженный в землю. Так много чудес, так много ужасной красоты. Как она может покинуть столь совершенное место?

— Знаете ли вы, что у каждого широколистного дерева на Земле есть цветы? Многие взрослые виды цветут минимум раз в год. Но это дерево, Tachigali versicolor, цветет только один раз. А теперь представьте, что вы можете заняться сексом только один раз за всю свою жизнь…

Публика смеется. Патриция не слышит, но чувствует нервозность зрителей. Ее извилистая тропа через лес снова совершает резкий поворот. Они не могут понять, куда их ведет проводник.

— Как можно выжить, вложив все силы в секс на одну ночь? Действия Tachigali versicolor настолько быстрые и решительные, что это приводит меня в недоумение. Видите ли, в течение года после единственного цветения дерево

умирает.

Она поднимает глаза. Зал наполняется настороженными улыбками: до чего же странная штука, эта ваша природа. Но слушатели пока не могут связать ее бессвязную речь с чем-либо, напоминающим «ремонт дома».

— Оказывается, дерево может давать больше, чем пищу и лекарства. Полог тропического леса густой, и семена, переносимые ветром, никогда не приземляются марко от своего родителя. Потомство Tachigali, единственное за всю жизнь, прорастает тут же, в тени гигантов, заслоняющих солнце. Семена обречены, если только старое дерево не упадет. Умирающая мать открывает дыру в пологе, ее гниющий ствол обогащает почву для молодой поросли. Это можно назвать высшей родительской жертвой. Обиходное название Tachigali versicolor — дерево-самоубийца.

Она берет пузырек с древесным экстрактом с того места, где поставила его на трибуну. Ее уши бесполезны, но руки, по крайней мере, обрели прежнюю уверенность. Сначала было все. Скоро не будет ничего.

— Я задала себе вопрос, для ответа на который вы меня сюда пригласили. Я поразмыслила, опираясь на все имеющиеся факты. Я старалась не

позволить чувствам заслонить меня от реальности. Я старалась не допустить, чтобы надежда и тщеславие ослепили меня. Я попыталась взглянуть на этот вопрос с точки зрения деревьев. «Какова лучшая и единственная вещь, которую человек может сделать для мира будущего?»

Струйка экстракта попадает в стакан с чистой водой и расползается зелеными усиками.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗАВИХРЕНИЯ распространяются по Астор-Плейс. Сперва на фоне серого тротуара — лаймовое пятно. Потом еще одно, уже цвета авокадо. Адам стоит у окна и смотрит вниз с высоты в дюжину этажей. Машины, проезжающие по четырем разбегающимся в разные стороны улицам, пачкают зеленью перекресток неправильной формы. Еще через мгновение третий цвет — оливковый — расплывается по бетонному полотну огромными мазками в стиле Поллока. Команда под чьим-то руководством сбрасывала бомбы с краской.

Уже второй день Адам под домашним арестом в квартире в центре города, где он и его семья живут уже четыре года. Власти снабдили его браслетом слежения — топовый экземпляр из линейки «ХоумГард» — и отпустили в клетку над Уэверли и Бродвеем. Браслеты слежения:

украшения, общие для вымирающих видов и предателей собственной расы. Он и Лоис платят частной компании-подрядчику безумную сумму за устройство, а фирма делит выручку с властями штата. Выигрывают все.

Вчера офицер-техник обучил Эппича правилам содержания под домашним арестом. «Вы можете пользоваться телефоном и слушать радио. Вы можете выходить в Интернет и читать газеты. Вы можете принимать посетителей. Но если хотите покинуть здание, надо согласовать это с командным центром».

Лоис отвезла маленького Чарли к бабушке и дедушке в Кос Коб. Чтобы на пару дней они могли сосредоточиться на защите Адама, объяснила она. На самом деле, мальчика травмирует черная плитка, привязанная к лодыжке отца. Ребенку пять лет, но он все понимает.

— Папа, сними.

Адам нарушает клятву не врать сыну гораздо раньше, чем надеялся.

— Скоро, малыш. Не волнуйся. Все будет хорошо.

С высоты Эппич наблюдает, как полотно в стиле «живопись действия» продолжает расти. Еще одно пятно — нефритовое — появляется на

бетоне. Машина, сбросившая краску, продолжает ехать через площадь в сторону Купер-сквер. Это партизанский театр, скоординированный удар. С каждой новой машиной зеленые дуги вырастают на перекрестке пяти улиц, добавляя еще несколько мазков к растущему целому. Еще один автомобиль выезжает с Восьмой улицы и выливает три канистры коричневого цвета. Там, где зеленые полосы расходятся и разветвляются, коричневые ложатся в виде покрытой бороздами колонны. Совсем нетрудно увидеть, что растет двенадцатью этажами ниже.

Красные и желтые пятна появляются возле ступенек, ведущих на станцию метро. Когда из подземки выходят ни о чем не подозревающие пешеходы, их подошвы разносят краску, и рисование продолжается. Сердитый бизнесмен пытается обойти это безобразие, но терпит неудачу. Двое влюбленных идут по картине рука об руку, как будто танцуют, и вслед за ними среди раскидистых ветвей появляются разноцветные мазки — цветы и фрукты. Кто-то приложил немало усилий, чтобы создать, наверное, самую большую в мире картину с изображением дерева. Почему именно здесь, задается вопросом Эппич, в относительно захолустном районе? Это произве-

дение достойно Мидтауна, скажем, окрестностей Линкольн-центра. А потом он понимает, почему оно здесь. Потому что предназначено для него.

Он забирает ключи и куртку и, думая лишь о том, как бы поскорее оказаться на виду, спускается по лестнице. Проходит через вестибюль, минует почтовые ящики и выходит через дверь, направляясь на восток по Уэверли к гигантскому дереву. Кирпич с аккумулятором, спрятанный под мешковатой штаниной цвета хаки, сходит с ума и начинает визжать. Два грузчика оборачиваются, а пенсионер с ходунками в ужасе застывает столбом.

Адам возвращается в здание, но браслет не умолкает. Он воет, как авангардная музыка, всю дорогу до лифта. Эппич бежит по коридору на своем этаже. Сосед — оператор ПК, работающий в ночную смену — высовывает голову, решив узнать, что происходит. Адам машет рукой, безмолвно извиняясь, после чего баррикадируется в своей квартире. Звонит сторожам и сообщает об ошибке.

— Вас проинструктировали, — говорит ему сотрудник службы слежения. — Не пытайтесь покинуть свою геозону.

— Я понимаю. Простите.

— В следующий раз нам придется действовать.

— Это случайная ошибка. Человеческий фактор. — Его сфера деятельности.

— Причины не имеют значения. В следующий раз пошлем опергруппу.

Адам возвращается к окну, чтобы посмотреть, как сохнет гигантская картина. Он все еще стоит там, когда жена возвращается из Коннектикута.

— Что это? — спрашивает Лоис.

— Сообщение. От друга.

И впервые до нее доходит, что газеты не врали. Фотографии обугленного домика в горах. Мертвая женщина. «Обвиняется член радикальной группы экотеррористов».

ОДНАЖДЫ РАНО ВЕЧЕРОМ ДОРОТИ тихонько заходит в комнату мужа, чтобы проведать его. Он не издавал ни звука в течение нескольких часов. Переступив порог, за миг до того, как он услышит и повернется, она видит все ту же картину, что и в предыдущие дни, такие праздные и короткие, бегущие все быстрее: чистейшее изумление при виде зрелища, которое разворачивается прямо за окном.

— В чем дело, Рэй? — Она подходит к кровати, но, как всегда, ничего не может разобрать, кроме зимнего двора. — Там что-то случилось?

Искривленный рот меняется тем особым образом, который она научилась воспринимать как улыбку.

— Ода!

Дороти с изумлением осознает, что завидует ему. Его годам вынужденного спокойствия, терпеливости его заторможенного ума, протяженности его ограниченных чувств. Он может часами смотреть на дюжину голых деревьев на заднем дворе и видеть что-то замысловатое и удивительное, удовлетворяющее его желания, в то время как она… Она все еще в западне голода, который мчится вперед, ничего не замечая.

Она просовывает руки под его тощее тело и подтаскивает на край механической кровати. Затем обходит ее с другой стороны и садится рядом.

— Расскажи.

Но, конечно, он не может. Издает гортанный смешок, который может означать что угодно. Она берет его за руку, и они замирают, словно уже стали изваяниями на крышке собственной гробницы.

Они долго лежат, глядя на участок, где охотники-собиратели прокладывали свой путь тысячелетиями. Она видит многое — все разнообразные деревья их будущего дендрария, с почками наго-

тове. Но она знает, что не улавливает и десятой доли того, что видит он.

— Расскажите мне о ней побольше, — просит она и чувствует, как ускоряется пульс.

Эта тема — табу. Всю свою жизнь Дороти флиртовала с безумием, но все равно эта их новая зимняя игра кажется не просто пугающей. Нынче снаружи бродят чужаки, стучатся в дверь. Она их впускает.

Его рука напрягается, а лицо меняется.

— Быстрая. Волевая.

Как будто только что написал «В поисках утраченного времени».

— Как она выглядит? — Дороти уже спрашивала, но ей нужно опять услышать ответ.

— Дерзкая. Красивая. Как ты.

Этого достаточно, чтобы Дороти снова погрузилась в книгу, и двор открывается перед ней, как разворот из двух страниц. Этим вечером, в подступающей темноте, история разворачивается в обратном порядке. Одна за другой девочки, все моложе и моложе, выходят через заднюю дверь и попадают в миниатюрный, симулированный мир. Их двадцатилетняя дочь, приехавшая на весенние каникулы из колледжа, в майке без рукавов, открывающей новую, ужасную и за-

мысловатую татуировку на левом плече, тайком выкуривает косяк, когда родители легли спать. Их шестнадцатилетняя дочь пьет дешевое вино из продуктового магазина с двумя подружками в самом дальнем и темном углу участка. Их двенадцатилетняя дочь часами неистово пинает футбольный мяч о дверь гаража. Их десятилетняя дочь бегает по траве, ловя в банку светлячков. Их шестилетняя дочь выходит на улицу босиком в первый весенний день, когда температура перевалила за семьдесят по Фаренгейту, с рассадой в руках.

Изображение появляется на фоне тенистых деревьев. Оно настолько яркое, что Дороти уверена — она где-то видела прообраз. Вот так нынче выглядит чтение вслух: они вдвоем замирают и смотрят. Кто знает, о чем думает незнакомец, проведший целую жизнь в ее доме? Она теперь знает. О чем-то вроде этого. Именно об этом.

Бумажный стаканчик простоял на кухонном подоконнике ее воображения так долго, что Дороти уже видит коричневые и голубые завитки стилизованного пара, напечатанные на нем, и может прочитать слово под рисунком: СОЛО. Масса нетерпеливых корней пробила вощеное бумажное дно, стремясь в большой мир. Чудесные

длинные зубчатые листья американского каштана как будто пытаются схватиться за воздух, впервые оказавшись на улице. Дороти наблюдает за девочкой и ее отцом, стоящими на коленях у края свежевырытой ямки. Ребенок взволнованно ковыряет землю совочком. Она совершает таинство первой воды. Потом отходит от саженца, прячется у отца под рукой. И когда девочка поворачивается и поднимает лицо — в другой жизни, незримо разворачивающейся рядом с той, что случилась — Дороти видит лицо своей дочери, которая готова жить.

Слова, произнесенные у самого уха, взрывают тишину:

— Ничего не делай.

Они звучат отчетливей некуда и сообщают Дороти о том, что муж побывал вместе с ней в ином месте или где-то совсем рядом. Она кое-что поняла. Эта мысль пришла им в голову самостоятельными путями, рожденная из одного и того же поразительного предложения в одной и той же поразительной книге, которую они только что прочитали вместе:

> Лучший и самый простой способ устроить так, чтобы на вырубленном участке

возродился лес — ничего не делать, совсем ничего, причем отнюдь не так долго, как вы могли бы предположить.

— Больше не косить, — шепчет Рэй, и ей даже не нужны никакие объяснения. Разве они могут оставить такой своенравной, яростной и прекрасной дочери наследство лучше, чем полтора акра леса?

Они лежат бок о бок на его механической кровати и смотрят в окно — туда, где скапливаются и тают сугробы, идут дожди, возвращаются перелетные птицы, дни снова удлиняются, почки на каждой ветке превращаются в цветы, и лужайка-рецидивистка тянется к небесам сотнями неутомимых ростков.

— ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ТАК ПОСТУПИТЬ. У тебя ребенок.

Адам откидывается на спинку двухместного дивана, поглаживая черную коробочку на лодыжке. Лоис его *жена* — сидит напротив; ладони на бедрах, позвоночник как телеграфный столб. Он колеблется, одурманенный спёртым воздухом. У него закончились объяснения. Ответа нет. Последние два дня из-за этого превратились в сущий ад.

Он смотрит в окно, наблюдая, как огни Финансового округа сменяют день. Десять миллионов точек мерцают в наступившей темноте, напоминая логический вентиль схемы, выполняющей вычисления для задачи, с которой возится далеко не первое поколение.

— Ему пять лет. Ему нужен отец.

Ребенок в Коннектикуте всего полтора дня, а Адам уже не может вспомнить, на какой из мочек его ушей есть выемка. И как мальчик оказался пятилетним, когда он только родился. И вообще, как он, Адам, мог стать отцом кого бы то ни было.

— Он вырастет обиженным на тебя. Ты будешь незнакомцем в федеральной тюрьме, которого он будет навещать, пока я не перестану его заставлять.

Она не бросает ему это в лицо, хотя должна была бы. На самом деле, он уже незнакомец. Просто она не знала об этом. А мальчик… да, мальчик. Для Адама он уже чужак. Две недели в прошлом году Чарли хотел стать пожарным, но вскоре понял, что банкир лучше по всем параметрам. Больше всего на свете он любит выстраивать свои игрушки в шеренгу, считать их и складывать в контейнеры с замочками. Единственное, зачем ему однажды понадобился лак для ногтей — по-

метить свои машинки, чтобы родители ничего не украли.

Мысли Адама возвращаются к комнате и женщине на барном стуле, что сидит напротив. Губы жены изогнуты в скорбной гримасе, щеки раскраснелись — она как будто задыхается. После ареста она кажется ему такой же туманной, как и собственная жизнь с того дня, когда он вернулся в Санта-Круз и начал ее имитировать.

— Хочешь, чтобы я пошел на сделку.

— Адам. — Ее голос — машина в управляемом заносе, — Ты больше никогда не выйдешь на свободу.

— Ты считаешь, что я должен обречь на тюрьму кого-то другого. Просто уточняю.

— Это правосудие. Они преступники. И один из них обрек тебя.

Он отворачивается к окну. Домашний арест. Внизу — мерцание Нохо[85], блики Маленькой Италии; край, куда ему теперь нет доступа. А еще дальше, за пределами всех кварталов — черный клин Атлантики. Линия горизонта — экспериментальная партитура для какой-то эйфорической музыки, которую он почти слышит. Справа, вне

---

[85] Примечания: 85

Нохо — исторический район в Нижнем Манхэттене.

поля зрения, возвышается витая башня, сменившая выпотрошенные. Свобода.

— Если мы добиваемся справедливости…

Голос, который должен быть ему знаком, говорит:

— Да что с тобой такое? Собираешься поставить благополучие другого человека выше своего собственного сына?!

Вот она: главная заповедь. Заботься о себе. Защищай свои гены. Положи свою жизнь за одного ребенка, двух братьев и сестер или восемь кузенов. А скольким друзьям это соответствует? Скольким незнакомцам, которые, возможно, все еще где-то там, отдают свои жизни за другие виды? Скольким деревьям? Он не может рассказать своей жене о самом худшем. С тех пор как его арестовали — с тех пор как он снова начал мыслить объективно, после стольких лет отношения к вопросу как к абстракции, — он начал понимать, что мертвая женщина была права: мир полон благ, которые превыше даже твоего собственного вида.

— Если я заключу сделку, то мой сын… Чарли вырастет, зная, что я сделал.

— Он будет знать, что ты сделал трудный выбор. Исправил ошибку.

Адам невольно смеется.

— Исправил ошибку!

Лоис вскакивает. Хочет что-то ему крикнуть, но давится яростью. Когда за ней захлопывается дверь, Адам вспоминает свою жену и то, на что она способна.

Он впадает в полудрему, представляя, что с ним сделает государство. Поворачивается, и в нижней части спины вспыхивает молния. От боли он просыпается. Огромная луна низко висит над Гудзоном. Каждая серовато-белая оспина на ее лике сияет, как будто в объективе телескопа. Перспектива пожизненного заключения творит чудеса со зрением Адама.

Ноет мочевой пузырь. Он встает и отправляется по знакомому маршруту в ванную, совершает наощупь экспедицию через всю квартиру, но в какой-то момент краем глаза замечает несообразность. Подходит к окну и касается его рукой. Оставляет отпечаток ладони на запотевшем стекле, словно пещерный житель, пробующий себя в наскальном искусстве. Внизу в каньоне скапливаются и рассеиваются огни фар. И посреди неравномерного потока автотранспорта по Уэверли со стороны Вашингтон-сквер бежит стая серых волков, преследуя белохвостого оленя.

Непроизвольно рванувшись вперед. Адам ударяется лбом о стекло. Впервые за много лет изрекает ругательство. Спешит через кухню в тесную гостиную и ударяется плечом о дверной косяк. Теряет равновесие и, пытаясь правой рукой остановить падение, попадает лицом прямиком в подоконник. Челюсти клацают, зажимая нижнюю губу, и Адам приходит в себя на полу. Там и лежит, оцепенев от мучительной боли.

Ощупывает пальцами рот, чувствует липкое. Правым резцом прокусил губу насквозь. Поднимается на колени и смотрит поверх подоконника. Луна сияет над лесистым островом. Кирпич, сталь и прямые углы уступают место зеленым холмам, залитым лунным светом. Ручей течет по дну оврага, устремляясь куда-то в сторону Западного Хьюстона. Башни Финансового округа исчезли, их место заняли поросшие лесом возвышенности. В небесах струится звездный поток Млечного Пути.

Это все умопомрачительная боль от прокушенной губы. Стресс от ареста. Он думает: «На самом деле я ничего такого не вижу. Я лежу без чувств от удара на полу в гостиной». И все же под ним расстилается во все стороны лес — густой, страшный и неизбежный, как детство. Великий

Американский Дендрарий.

Как будто повернув колесо фокусировки бинокля, он видит уже не единое целое, но совокупность цветов и деталей: граб, дуб, вишня, полдесятка разновидностей клена. Гледичия ощетинилась колючками, защищаясь от вымершей мегафауны. Кария голая швыряется орехами во все, что движется. Белые восковые цветы кизила парят в подлеске на невидимых веточках, словно нарисованные на кофейной пене. Дикая природа оккупировала нижний Бродвей, и остров выглядит так же, как тысячу лет назад или тысячу лет спустя.

Какое-то движение притягивает взгляд. Там, где стоят стеной дубы, виргинский филин взмахивает крыльями над головой и как пушечное ядро падает на нечто, копошащееся в лесной подстилке. Самка барибала с двумя медвежатами перебегают через холм в том месте, где раньше была Бликер-стрит. При свете полной луны на песчаном берегу Ист-Ривер морские черепахи откладывают яйца.

Дыхание Адама затуманивает стекло, и картинка тускнеет. Кровь стекает по подбородку. Он дотрагивается до рта, и на кончиках пальцев остается каменистая крошка. Бросает изучающий

взгляд на кусочки сколотого зуба. Когда он снова поднимает глаза, Маннахатта[86] уже исчезла, сменившись огнями Нижнего Манхэттена. Он ударяет ладонью по оконному стеклу. Мегаполис на другой стороне не обращает внимания. Адам чувствует биение пульса в собственных предплечьях и начинает дрожать. Здания, похожие на фрагменты кроссвордов, красные и белые корпускулы автомобильного движения: еще более галлюцинаторное зрелище, чем то, которое только что исчезло.

Он пробирается через минное поле из мебели и разбросанных журналов в прихожую и выходит за дверь. Через шесть шагов по коридору вспоминает о браслете. Прижимается к стене, зажмурившись. Когда видение наконец умирает, возвращается в квартиру и закрывается в единственной разрешенной среде обитания, и в обозримом будущем других биомов у него не будет.

МИМИ МА СИДИТ ВО ВТОРОМ РЯДУ аудитории, ошеломленная тем, что сказала древесная женщина. Патриция Вестерфорд! Они впятером

---

[86] Примечания: 86

Маннахатта, Манна-хата — индейское название острова Манхэттен, по одной из версий перевода означающее «холмистый остров».

делились ее открытиями у костра, когда Свободный Биорегион Каскадии еще существовал. Ее слова сделали их реальными, этих агентов-инопланетян, творивших вещи, выходящие за рамки людского косного разума. Женщина оказалась старше, чем Мими себе представляла. Она выглядела испуганной, пошатывалась, и что-то было не так с ее речью. Однако она только что произнесла это прекрасное, логичное, но почему-то табуированное правило: «Когда вы срубаете дерево, ваша цель должна быть по крайней мере такой же чудесной, как и то, что вы срубили».

Лес превращает гору в нечто лучшее, чем гора, А во что лес может превратить человечество… Мими не успевает толком осмыслить эту идею, как вдруг доктор Вестерфорд рывком возвращает ее к реальности.

— Я задала себе вопрос, для ответа на который вы меня сюда пригласили.

Первая мысль Мими: она ошиблась. Выдающаяся исследовательница и писательница — женщина, которая потратила десятилетия, спасая семена исчезающих деревьев со всего мира… Этого не может быть. Должно быть, она ошибается.

— Я поразмыслила, опираясь на все имеющи-

еся факты. Я старалась не позволить чувствам заслонить меня от реальности.

Весь этот солилоквий[87] — театральная пьеса, подводящая к какому-то драматическому повороту или открытию в последнюю минуту.

— Я старалась не допустить, чтобы надежда и тщеславие ослепили меня. Я попыталась взглянуть на этот вопрос с точки зрения деревьев.

Мими окидывает взглядом соседей. Люди сидят и недоумевают, как будто прижатые к креслам тяжестью стыда.

— «Какова лучшая и единственная вещь, которую человек может сделать для мира будущего?»

Однажды другая женщина задала Мими тот же вопрос.

И ответ показался таким очевидным, таким логичным: сжечь роскошный горнолыжный курорт до того, как он будет построен.

Древесные экстракты попадают в стакан. Зеленый цвет змеится, распространяясь в воде; это похоже на раскрытие бутона в покадровой съемке, ускоренное в сотни тысяч раз. Мими в сорока футах от трибуны не может пошевелиться. Док-

---

[87] Примечания: 87

Солилоквий — драматургический прием; озвученная внутренняя речь персонажа, обращенная к самому себе и не учитывающая публику (в отличие от монолога, который по умолчанию обращен к ней).

тор Вестерфорд поднимает бокал, как священник, совершающий таинство. Ее речь становится едва различимой.

— Многие живые существа сами выбирают время своего ухода. Возможно, большинство из них.

Это происходит. На самом деле происходит. Но сотни умнейших людей со всего мира оцепенели.

— Вы пригласили меня сюда, чтобы поговорить о ремонте дома. На самом деле ремонтировать необходимо нас. Деревья помнят то, что мы забыли. Всякая спекуляция должна освободить место для той, что придет следом. Умирание— тоже жизнь.

Доктор Вестерфорд обращает внимание на зрительный зал — и Мими не упускает свой шанс. Она смотрит древесной женщине прямо в глаза, не позволяя отвести взгляд. Давным-давно, в другой жизни, Мими Ма была инженером и могла заставить материю делать множество вещей. Теперь она владеет лишь одним навыком: смотреть на другое существо, пока то не посмотрит в ответ.

Мими умоляет, ее глаза горят.

«Нет. Не надо. Пожалуйста».

Оратор хмурится.

«Все прочие варианты — лицемерие».

«Вы нужны».

«Для этого и нужна. Нас чересчур много».

«Не вам решать».

«Каждый день — новый город размером с Де-Мойн».

«А как же ваша работа? Ваше хранилище семян?»

«Все уже много лет работает само по себе».

«Еще многое предстоит сделать».

«Я старуха. Разве для меня осталась какая-нибудь миссия лучше этой?»

«Люди не поймут. Вас возненавидят. Избыток драмы».

«Пусть вопят. Зато кто-нибудь обратит внимание».

«Это ребячество. Недостойное вас».

«Мы должны помнить о том, что такое смерть».

«Ваша смерть будет ужасной».

«Нет. Я знаю толк в растениях. Она будет легче большинства других».

«Я не могу опять смотреть на это».

«Смотри. Опять. Больше не на что смотреть».

Их взгляды встречаются на время, которого хватило бы листку для поглощения единствен-

ного фотона. Мими пытается сохранить контакт, но древесная женщина ценой последнего волевого усилия его разрывает. Патриция Вестерфорд опять смотрит на просторный зал. Ее улыбка настаивает, что это не поражение. Это использование, просто термин другой. Мелочь, способ выиграть еще немного времени, еще немного ресурсов. Она опять бросает взгляд на Мими, охваченную ужасом.

«Сколько всего мы могли бы понять, сколько всего мы могли бы дать!»

В Огайо есть бук, который Патриция хотела бы увидеть снова. Из всех деревьев, воспоминания о которых она бережет как зеницу ока — простой, гладкоствольный бук, в котором нет ничего особенного, кроме выемки на стволе на высоте четырех футов от земли. Может быть, у него все в порядке. Может быть, солнце, дождь и воздух были добры к нему. Она думает: «Может быть, мы так сильно хотим навредить деревьям, потому что они живут намного дольше нас».

Растительная Пэтти поднимает свой бокал. Заглядывает в свою шпаргалку в поисках последней строки на последней странице. «Да здравствует Tachigali versicolor». Она поднимает взгляд. Триста умнейших людей потрясенно глядят на нее.

Вместо звуковой дорожки — тишина, не считая приглушенных криков у края сцены. Она бросает взгляд на суматоху. Мужчина в инвалидном кресле подкатывает к ступенькам справа. Его длинные волосы и борода раз метались по плечам. Он такой же худой, как говорящее дерево из предания индейского племени яки — то, чьи речи никто не мог понять. Лишь он один в этой парализованной комнате пытается оттолкнуться от сидения и встать. Зеленая жидкость брызгает через край стакана, попадает ей на пальцы. Она опять поднимает глаза. Мужчина в инвалидном кресле неистово машет руками. Они тянутся вперед, словно ветки. Почему он придает такую важность столь незначительной вещи?

Лучшее и единственное, что можно сделать для мира. Она вдруг понимает: проблема изначально связана со словом «мир». У него два противоположных смысла. Настоящий мир мы не можем увидеть. От придуманного не в силах убежать. Она поднимает бокал и слышит, как отец читает вслух: «Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы новые».

КРИКИ НИЛАЯ РАЗДАЮТСЯ СЛИШКОМ ПОЗДНО, чтобы разрушить чары, под воздействие которых попала аудитория. Оратор поднимает бокал, и

мир раскалывается. Одна ветвь: она подносит бокал к губам, провозглашает тост — «Да здравствует Tachigali versicolor!» — и выпивает. Во второй — текущей — ветви она кричит: «Да здравствует самоубийство!», а потом швыряет стакан с клубящейся зеленью в сторону зрителей, которые потрясенно охают. Неуклюже ударившись о кафедру, гостья пятится, спотыкается, исчезает за кулисами, и всем остается лишь таращиться на опустевшую сцену.

ВЕСНОЙ — ПЫШНОЙ, ЧЕРЕСЧУР ТЕПЛОЙ, когда почки и цветы сходят с ума на каждом кизиле, церцисе, груше и плакучей вишне в городе — дело Адама наконец-то преодолевает все задержки и отправляется в федеральный суд Западного побережья. Репортеры заполняют зал заседаний, как муравьи, атакующие пионовый куст. Судебный пристав вводит Адама. Он поправился, отрастил бороду. Его лицо изборождено глубокими морщинами. На нем костюм, в котором он в последний раз был на торжественном банкете, где получил высшую награду за преподавание в университете. Жена сидит позади. Но не сын. Его сын увидит отца таким только много лет спустя, на видео.

«Признаете ли вы свою вину?»

Профессор психологии моргает, как будто он

совсем другая форма жизни, и человеческая речь слишком быстра для понимания.

ЧЕРЕЗ

КУХОННОЕ ОКНО С ПУСТЫМ ПОДОКОННИКОМ Дороти Бринкман смотрит на джунгли. Человек, который ни разу в жизни не оставил парковочный автомат без угощения, подбил ее на революцию-под-ключ: «Бринкмановский проект восстановления лесов». Со всех сторон дома простирается дикая природа. Трава высотой в фут, косматая, сорная, полная семян и кишащая местными жителями. Клены растут повсюду, как парные руки. Черемухи высотой по щиколотку щеголяют пестрыми листьями. Скорость рекультивации ошеломляет. Еще несколько лет — и их маленький лес воспроизведет половину из того, что росло тут до вторжения застройщиков.

Тот лес, что связан с нею, возрождается еще быстрее. Когда-то, давным-давно, она прыгала с самолетов, играла кровожадную убийцу, делала ужасные вещи с каждым, кто пытался ее подавить. Теперь ей почти семьдесят, и она ведет войну со всем городом. Джунгли в элитном пригороде: из той же категории, что растление малолетних. Соседи трижды заходили спросить, все ли в порядке. Они вызвались косить бесплат-

но. Она играет саму себя, милую, безумную, но преисполненную решимости никого не подпускать к дому — наконец-то у любительского театра случился новый гастрольный тур.

Теперь вся улица готова закидать ее камнями. Городские власти дважды писали, второй раз пришло заказное письмо, в котором ей давали срок, чтобы она привела участок в порядок, или будет штраф в несколько сотен долларов. Время истекло, пришло еще одно письмо с угрозами — еще один срок, еще один начисленный штраф. Кто бы мог подумать, что устои общества так пошатнутся из-за локального зеленого бунта?

Новый день икс — сегодня. Дороти смотрит на каштан, дерево, которого не должно существовать. На прошлой неделе она услышала радиорепортаж о том, как в результате тридцатилетних скрещиваний наконец-то была выведена устойчивая к заразе разновидность американского каштана, которую собираются испытать в дикой природе. Дерево, которое казалось ей ожившим воспоминанием, теперь выглядит пророчеством.

Оранжевый всплеск за окном привлекает внимание. Американская горихвостка, самец, выгоняет насекомых из густых зарослей хвости-

ком и крыльями. Двадцать два вида птиц только за последнюю неделю. Два дня назад, в сумерках, они с Рэем видели лису. Гражданское неповиновение может обойтись им в тысячи долларов из-за дополнительных штрафов, но вид из окна дома значительно улучшился.

Она готовит фруктовый компот Рэю на обед, когда наконец-то раздается сердитый стук во входную дверь. Дороти вспыхивает от волнения. Нет, не просто от волнения — от целеустремленности. Испытывает легкий страх, но такой, которым упиваешься. Моет и вытирает руки, думая: «Вот же угораздило снова полюбить жизнь у самой финишной черты».

Стук становится все торопливее и громче. Она пересекает гостиную, прокручивая в голове аргументы по поводу защиты права собственности, которые помог подготовить Рэй. Она провела несколько дней в публичной библиотеке и в здании муниципалитета, изучая местные постановления, судебные прецеденты и муниципальный кодекс. Принесла мужу копии, и он слог за слогом объяснил все непонятное. Она штудировала книги, собирая статистику о том, насколько преступно косить, поливать и удобрять, сколько пользы может принести полтора акра восстанов-

ленного леса. Здравый смысл и логика всецело на ее стороне. Против нее — одно лишь неразумное и первобытное желание. Но когда она открывает дверь, на пороге обнаруживается тощий паренек в джинсах и рубашке-поло, из-под бейсболки «Сделано в США» торчат всклокоченные светлые волосы; весь план защиты меняется.

— Миссис Бринкман? — На обочине за спиной у паренька трое еще более юных мальчиков, перекрикиваясь на испанском, выгружают оборудование для газонов из пикапа с прицепом. — Нас прислали городские власти, чтобы навести порядок у вас дома. На это уйдет всего несколько часов, и город не выставит вам счет.

— Нет, — говорит Дороти, и глубокий, теплый, мудрый тон, которым она произносит единственное слово, приводит паренька в замешательство. Он открывает рот, но слишком сбит с толку, чтобы сказать хоть слово. Она улыбается и выпячивает грудь. — На самом деле тебе не хочется этого делать. Скажи городским властям, что это было бы ужасной ошибкой.

Она помнит этот секрет с тех пор, как выступала на сцене: мобилизуй свою внутреннюю волю. Призови все воспоминания о прожитой жизни. Держи ее в голове: всю истину и всю ложь. Это

крайне логичная вещь. Нет ничего сильней, чем кредо.

Парнишка колеблется. Его не подготовили к встрече с такой властной женщиной.

— Ну, если все в порядке…

Она улыбается и качает головой, раздосадованная его словами.

— Не в порядке. На самом деле, не в порядке.

«И ты это отлично знаешь. Пожалуйста, не заставляй меня унижать тебя еще сильнее».

Парнишка паникует. Она смотрит на него ласково, с пониманием, а больше всего с жалостью, пока он не отворачивается и не приказывает своим ребятам складывать оборудование обратно в грузовик. Когда они уезжают, Дороти закрывает дверь и хихикает. Ей всегда нравилось играть колоритных сумасшедших.

Это ерундовая победа, весьма незначительная отсрочка. Городские власти вернутся. Косилки и ножницы приступят к работе, и в следующий раз они накинутся без спроса. Они побреют двор наголо. Штрафы будут накапливаться, вместе с пенями за просрочку и другими взысканиями. Дороти подаст встречный иск и будет сражаться в суде до последней апелляции. Пусть город конфискует дом и бросит парализованного человека

в тюрьму. Она всех переживет. Анархия новых ростков и следующей весны на ее стороне.

Дороти возвращается на кухню, где заканчивает готовить обед. Она кормит Рэя, рассказывая ему о бедном мальчике и его иностранной рабочей бригаде, которая так и не узнала, что с ними приключилось. Устраивает театр одного актера. Больше всего ей нравится играть саму себя. Она видит, как он улыбается, хотя никто другой в мире не смог бы это подтвердить.

После обеда они разгадывают кроссворд. Затем, как он теперь часто делает, Рэй говорит:

— Расскажи еще.

Дороти улыбается и забирается в постель рядом с ним. Она смотрит через окно на буйство новой поросли. В центре — дерево, которого быть не должно. Его ветви тянутся к дому; они, конечно, приближаются медленно, и все же достаточно быстро, чтобы вдохновить миссис Бринкман. Каким образом в химическом наборе со всеми его штучками появилось еще и «воображение» — загадка, над которой Дороти даже не собирается ломать голову. Так или иначе, оно существует и дарует способность узреть в подробностях — со всеми разбегающимися в разные стороны ветвями, всеми многочисленными гипотезами

— Нечто, соединяющее прошлое и будущее, землю и небеса.

— Знаешь, она хорошая девочка. — Дороти берет негибкую руку своего мужа. — Просто немного сбилась с пути. Все, что ей нужно — это найти себя. Найти свое дело. Что-то большее, чем она сама.

ПРОКУРОР ДЕМОНСТРИРУЕТ ФОТОГРАФИИ с места одного из предполагаемых преступлений этого человека — граффити на обугленной стене. Первые буквы каждой строки обвиты усиками и лозами, как в иллюминированном манускрипте:

КОНТРОЛЬ УБИВАЕТ
СВЯЗЬ ИСЦЕЛЯЕТ
ВЕРНИСЬ ДОМОЙ ИЛИ УМРИ

Это центральная часть дела, основание для чрезвычайно сурового приговора, которого требует прокурор. Хочет доказать запугивание. Попытку повлиять на действия властей с помощью силы.

АДВОКАТЫ АДАМА выступают за милосердие. Они утверждают, что пожар устроил молодой идеалист, желая обратить внимание общественности на преступление против всех. Они

утверждают, что продажа леса сама по себе была незаконной, а власти не смогли защитить вверенные им земли. Бесчисленные мирные протесты ни к чему не привели. Но защита разваливается. Закон по всем пунктам не допускает сомнений. Адам виновен в поджоге. Виновен в уничтожении частной собственности. Виновен в насилии над общественным благополучием. Виновен в непредумышленном убийстве. Виновен, как заключает суд присяжных — сограждан Адама Эппича, — во внутреннем терроризме.

Закон — просто записанная человеческая воля. Закон должен позволить закатать каждый акр живой земли в асфальт, если таково желание народа. Но закон позволяет всем сторонам высказать свое мнение. Судья спрашивает:

— Не хотите ли обратиться к суду с последним словом?

Мысли крутятся в голове Адама. Вердикты его освободили — он теперь как лист на ветру, он словно пламя пожара.

— Скоро узнаем, правы мы были или нет.

Суд приговаривает Адама Эппича к двум последовательным срокам по семьдесят лет каждый. Мягкость приговора его шокирует. Он думает: «Семьдесят плюс семьдесят — это ерунда. Черная

ива плюс птичья вишня». Он-то рассчитывал на дуб. Он рассчитывал на тсугу или тис. Семьдесят плюс семьдесят. С поправкой на хорошее поведение, возможно, успеет отсидеть половину срока, прежде чем умрет.

СЕМЕНА

Что эта была за древесина и что за дерево, из которого вытесали небо и землю?[88]

Ригведа, 10.31,7

И вслед за этим он показал мне нечто маленькое, размером с лесной орех — оно как будто лежало на моей ладони. И было круглым, как любой шар. Я взглянула на него глазами понимающими и подумала: «Что же это такое?» И был мне дан такой ответ: «Все, что было сотворено».

Юлиана Нориджская

Предположим, планета рождается в полночь и живет одни сутки.

Сперва нет ничего. Два часа уходят на лаву и метеориты. Жизнь появляется не раньше трех-четырех часов ночи, но всего лишь в виде куцых обрывков, способных к самовоспроизводству. От

---

[88] Примечания: 88
Пер. Т. Я. Елизаренковой.

зари до позднего утра — миллиард лет ветвления — существуют только унылые простые клетки.

А потом случается всё. Вскоре после полудня происходит нечто безумное. Один вид простых клеток порабощает несколько других. Ядра обретают мембраны. Клетки обзаводятся органеллами. То, что было одиночным кемпингом, превращается в город.

Проходит две трети дня, когда пути животных и растений расходятся. И живые существа по-прежнему одноклеточные. Сумерки наступают раньше, чем начинает развиваться сложная жизнь. Все крупные создания появляются поздно, после наступления темноты. Девять вечера — медузы и черви. Затем случается прорыв: кости, хрящи и взрыв разнообразия форм. Проходит всего один миг, и возникает раскидистая крона с бесчисленными новыми ветками, крупными и тонкими, устремленными во всех направлениях.

Растения выходят на сушу незадолго до десяти часов вечера. Затем насекомые, которые мгновенно взлетают. Мгновением позже из приливной грязи выползают тетраподы, несущие на своей коже и в кишках целые миры из более древних существ. К одиннадцати динозавры успевают отыграть свою роль и оставляют млекопитаю-

щих и птиц хозяйничать на планете еще час.

Где-то в эти последние шестьдесят минут, высоко в филогенетической кроне, жизнь обретает самосознание. Существа начинают размышлять. Животные учат детенышей пониманию прошлого и будущего. Изобретают ритуалы.

Современный — в анатомическом смысле — человек появляется за четыре секунды до полуночи. Первые наскальные рисунки — через три секунды после него. А за тысячную долю оставшейся секунды жизнь разгадывает тайну ДНК и начинает рисовать древоподобную схему самой себя.

К полуночи большая часть земного шара превращается в пахотные земли, которые нужны единственному виду, чтобы прокормиться. Вот тогда-то древо жизни опять становится чем-то другим. Вот тогда-то гигантский ствол начинает крениться.

НИК ПРОСЫПАЕТСЯ В ПАЛАТКЕ, лежа головой на земле. Но земля мягкая, ничем не хуже подушки. Почва под ним на глубину нескольких футов — это иголки, множество опавших, умирающих иголок, которые прямо под его ухом превращаются в новую микроскопическую жизнь.

Ника разбудили птицы. Они всегда так делают, эти ежедневные пророки забвения и вспоми-

нания: поют, выкладываясь без остатка, еще до того, как забрезжит рассвет. Он им благодарен. Из-за них у него каждый день есть фора. Он лежит неподвижно во тьме, голодный, и слушает, как птицы обсуждают жизнь на тысяче древних диалектов: препирательство, война за территорию, раздумья, похвала, радость. Утро холодное, туманное, и ему не хочется вылезать из спального мешка. Завтрак будет скудным. Еды осталось всего ничего. Он уже несколько дней идет на север, скоро придется найти город и пополнить запасы. В пределах слышимости есть дорога, по которой снуют грузовики, но звук абстрактный, приглушенный, далекий.

Он выползает из нейлонового кокона и смотрит по сторонам. Первый слабый намек на рассвет очерчивает деревья. Они здесь не такие высокие, кроны поскромнее — все продумано на случай сильных снегопадов. И все-таки происходит то же самое, что всегда. Покачивание стволов, шелест шишек, то, как ветви касаются друг друга кончиками, терпкий, цитрусовый аромат хвои — все это возвращает ему кристально чистую ясность, которая еженощно ускользает.

— Рано утром![89]

Его безумное пение вливается в рассветный хор.

— Иду работать!

Ближайшие птицы умолкают и прислушиваются.

— Вкалываю как черт, за бабло!

Костерка достаточно, чтобы вскипятить воду, набранную из щедрого ручья. Щепотка кристаллов кофе, горсть овса в деревянной чашке — и он готов.

МИМИ В САН-ФРАНЦИСКО, в парке при Миссии Долорес, на много миль южнее. Сидит на траве под сосной в окружении любителей пикников и читает новости на экране смартфона. Они похожи на нескончаемый ночной кошмар. Известный социолог, муж и отец — человек, которому Мими когда-то доверила собственную жизнь, — отправляется в тюрьму на два пожизненных срока за то, что она помогла совершить. Осужден за внутренний терроризм. Почти не пытался защищаться. Признан виновным в пожарах, к которым, как ей кажется, не имеет никакого отношения. «Эко-ра-

---

[89] Примечания: 89

Ник поет шлягер 1949 года That Lucky Old Sun (Just Rolls around Heaven All Day), который исполняли такие известные американские певцы и музыканты, как Фрэнки Лэйн, Луи Армстронг и Фрэнк Синатра.

дикал приговорен к 140 годам». А другой человек, которого она любила за искреннее, пусть и нелепое простодушие, выдал его властям.

Скрестив ноги, прислонившись к коре, она вводит ключевые слова в поисковик смартфона. «Адам Эппич. Закон об ужесточении наказания за терроризм». Ей теперь наплевать на след из хлебных крошек. Если ее арестуют, многое станет проще. Ссылки льются, как горная река, Мими не успевает листать все эти аналитические выкладки экспертов и гневные умозаключения любителей.

Она должна быть в тюрьме. Ее должны судить и приговорить к пожизненному заключению. К двум пожизненным. Чувство вины подступает к горлу, и она пробует его на вкус. Больные ноги хотят встать и отвести ее в ближайший полицейский участок. Но она даже не знает, где тот находится. Вот до чего законопослушной она была на протяжении двух десятилетий. Люди, загорающие поблизости, оборачиваются и смотрят на Мими. Она что-то сказала вслух. Кажется, единственное слово: «Помогите».

ДРУГИЕ ГЛАЗА, НЕЗРИМЫЕ, читают вместе с Мими. За время, которое у нее уходит на десять абзацев, эти бестелесные очи успевают проска-

нировать десять миллионов. Она запоминает не более полдесятка деталей, которые исчезают с переходом на новую страницу, но невидимые ученики сохраняют каждое слово и подключают его к одной из разветвленных сетей смысла, становящихся мощнее с каждым добавлением. Чем больше Мими читает, тем быстрее факты ускользают от нее. Чем больше читают ученики, тем больше закономерностей они находят.

* * *

ДУГЛАС СИДИТ ЗА ПАРТОЙ В КОМНАТЕ, которую его тюремщики называют камерой. Это самое приятное жилье, которое он имел в течение двух десятилетий. Он слушает аудиокурс «Введение в дендрологию». Он может получить академические кредиты в колледже. Может быть, и степень. Может быть, она будет им гордиться — та женщина, которую он ни за что на свете не увидит вновь.

Профессор, чей голос он слушает, великолепна. Она словно бабушка, мать и духовный наставник, которого у Дугласа никогда не было. Как славно, что нынче люди с дефектами речи могут заниматься таким делом. Начитывать аудиолекции! Эта женщина слышит совсем иные голоса. Он

конспектирует. Вверху страницы пишет: «День Жизни». Просто с ума сойти, что она рассказывает. Он даже не догадывался. Кардиограмма жизни представляла собой ровную линию на протяжении миллиарда лет или дольше. Невероятно. Вся эта эскапада могла не случиться. Древо жизни навсегда осталось бы кустиком. А день жизни был бы весьма тихим днем.

Дуглас слушает, как она ведет отсчет времени. А когда на последней секунде появляются уроды, которые превращают всю планету в ферму, он выдергивает наушники из ушей, вскакивает и орет. Вероятно, слишком долго и громко. Дежурный охранник смотрит на него.

— Это еще что такое?

— Ничего, дружище. Все в порядке. Просто… захотелось чуток покричать, и все.

ФОТОГРАФИЯ УЖАСНЕЙ ВСЕГО. Мими не узнала бы этого человека, встретив его на улице. «Клен». Как они вообще могли его так назвать? Теперь он «Сосна Остистая», и даже не само дерево — сломанная ветка с полосочкой еще живой коры, которую пять тысяч лет носит по волнам, а она все никак не умрет.

Мими озирается. Вокруг нее люди блаженствуют, сбившись в небольшие группы. Кто-то сидит

на одеяле. Кто-то лежит прямо на траве. Обувь, рубашки, сумки, велосипеды и еда разбросаны повсюду. Время обеда; погода благоприятствует. Никакие приговоры их не волнуют, и каждый считает себя хозяином собственного будущего.

Она исполняла роль Джудит Хэнсон столько лет, что сейчас, вспоминая преступления, совершенные под именем Мими Ма, и думая о соответствующих наказаниях, испытывает шок. Чтобы добраться до этого парка, она сперва шла пешком, потом ехала на автобусе и на поезде — маршрут до нелепости извилистый. Но ее найдут, где бы она ни была, какой бы след ни оставила. Она рецидивистка. Соучастница непреднамеренного убийства. Внутренняя террористка. Семьдесят плюс семьдесят лет.

Сигналы роятся в телефоне Мими. Отложенные обновления и уведомления заставляют его все время тренькать. Оповещения, которые надо смахнуть. Вирусные мемы и кликабельные войны комментариев, миллионы непрочитанных сообщений, требующих ранжирования. Все вокруг нее в парке заняты тем же — касаются экрана, пролистывают очередную страницу, — у каждого на ладони собственная вселенная. Все сходятся во мнении, что события, происходящие

в Стране Лайков, не терпят отлагательств; ученики, заглядывая людям через плечо и подмечая каждый клик, начинают понимать, что происходит: человечество единодушно переселяется в искусственный рай.

Сидящий на траве рядом с Мими мальчик в одежде, похожей на хитиновую, говорит, обращаясь к собственной руке:

— Где здесь ближайшее место, чтобы купить солнцезащитный крем?

— Вот что мне удалось найти, — отвечает приятный женский голос.

Мими подносит смартфон поближе к лицу. Она переключается с новостей на фотографии, с анализа на видео. Где-то в этом крошечном черном монолите частичка ее отца. Кусочки его мозга и души. Она шепчет в микрофон:

— Где ближайший полицейский участок?

Появляется карта, показывающая самый быстрый маршрут и примерное время ходьбы. Пять минут три секунды. Мальчик в наряде, который делает его похожим на скелет жука, говорит своему гаджету: «Сыграй мне какой-нибудь ковбойский панк», и отключается от мира с помощью беспроводных наушников.

АДАМ ЛЕЖИТ НА КОЙКЕ в центре пересыл-

ки заключенных и ждет, пока переполненная федеральная система подыщет место для его содержания. Апелляции не будет. Он смотрит фильм на фосфенах своих закрытых век: бородатый мужчина выступает перед судом. Он не раскаялся и не пытается торговаться. Жена, сидящая в двух рядах позади него, разрывается на части. «Скоро узнаем, правы мы были или нет».

Он удивляется, как нашел в себе силы использовать слово «мы». Но рад, что сделал это. В те времена все было «мы». Капитуляция перед совместным существованием. «Мы, все пятеро». Никаких отдельных деревьев в лесу. Чего они надеялись добиться? Дикой природы больше нет. Лес сдался перед лесоводством при поддержке химикатов. Четыре миллиарда лет эволюции, и вот вам финал. Политически, практически, эмоционально, интеллектуально: люди — это все, что имеет значение, и точка. Нельзя утолить человеческий голод. Даже частично. Простое сохранение статус-кво стоит больше, чем их вид может себе позволить.

Предстоящая бойня прощала пятерым все грехи, ибо любой разожженный ими пожар — ничто по сравнению с этим катаклизмом. Он все равно случится, Адам в этом не сомневается, и задолго

до того, как истекут его семьдесят плюс семьдесят лет. Но недостаточно быстро, чтобы его реабилитировали.

ОКНО В КАМЕРЕ ДУГГИ расположено слишком высоко, чтобы можно было что-то увидеть. Он стоит под ним и притворяется. После аудиокурса ему безумно хочется увидеть дерево. Любое анемичное, чахлое создание — единственный элемент свободной жизни, о котором он тоскует, не считая Мими. Несмотря на все дерьмо, в которое его втянули деревья. Но странное дело, он не может вспомнить, как они выглядят. Например, какова в профиль пихта благородная. Как соединяются части граба американского, как расположены его ветви. Даже ель Энгельмана и тсуга вызывают сомнения, а ведь он их столько раз видел на протяжении стольких лет. Вяз, нисса, конский каштан: все забыл. Если бы сейчас он попытался нарисовать какое-нибудь дерево, получилось бы что-то вроде наброска, выполненного пятилетним ребенком. Сладкая вата на палочке.

Недостаточно внимательно смотрел. Недостаточно сильно любил. Хватило с лихвой, чтобы угодить в тюрьму, но чересчур мало, чтобы пережить сегодняшний день. Теперь он проводит час

за часом впустую, и его единственное обязательство — не слететь с катушек. Он закрывает глаза и отчаянно пытается успокоиться. Пробует вызвать в памяти детали, пропущенные на аудиозаписи. Прямые, бронзовые копья буковых почек. Почки красного дуба, сгрудившиеся на концах ветвей, придавая им сходство с булавой. Полый конец платанового черешка, защищающий молодняк, которому суждено распуститься в следующем году. Вкус черного ореха и его листовые рубцы[90], напоминающие мордочку обезьяны.

Через некоторое время образы обретают плоть — сперва они простые, но постепенно текстура делается все ощутимее. То, как клен весной краснеет с верхушки. Осины вежливо аплодируют. Тис тянет ветку, словно родитель, берущий ребенка за руку. Аромат поцарапанного ореха гикори. Плотины прорываются, и воспоминания захлестывают, как миллион пятнышек света, проникающего сквозь неплотно сомкнутые ладони конского каштана. Угол между колючками гледичии. Хаотичное движение на перевернутом куске оливы. Пышные ветки мимозы, точно хвосты тропических птиц. Тайные письмена на

---

[90] Примечания: 90

Листовой рубец — след, остающийся на ветке от опавшего листа.

отслоившейся березовой коре, размытые и загадочные. Прогулка под осокорями, где царит такое величественное спокойствие, что даже вдох кажется преступлением. Царапина от кипариса, и мысль: «Вот как должно пахнуть в загробном мире».

Возможно, он самый богатый человек из когда-либо живших. Он настолько богат, что может потерять все и получить прибыль. Он стоит возле зеленой шлакоблочной стены, краска на ней похожа на блестящую, затвердевшую плоть. Он смотрит вверх на падающий свет и пытается вспомнить. Его рука прижимается к знакомому месту к ореху под кожей живота, чуть выше пояса. Там что-то притаилось: большое семя невообразимой формы, не склонное к сотрудничеству, но все равно живое.

ЕЩЕ ОДИН БОГАЧ — шестьдесят третий в рейтинге округа Санта-Клара — сидит в своей собственной тюрьме, набирая текст на экране. Не все ли равно где? Слова, которые пишет Нилай, дополняют растущий организм, который лишь теперь начал дополнять сам себя. На других экранах в других городах все лучшие кодеры, которых можно нанять за несколько сотен миллионов долларов, вносят свой вклад в этот труд.

Их новоиспеченное сотрудничество знаменует совершенно удивительное начало. Их творения уже поглощают целые континенты данных и находят потрясающие закономерности. Не нужно ничего начинать с нуля. В распоряжении общества полным-полно цифровой зародышевой плазмы.

Кодеры объясняют своим слушателям лишь одно: как искать. И новые существа отправляются исследовать земной шар, а код продолжает распространяться. Новые теории, новое потомство, новые развивающиеся виды — все они преследуют одну цель: выяснить, насколько велика жизнь, насколько она пронизана взаимосвязями и что нужно сделать, чтобы человечество не покончило с собой. Земля опять превратилась в мудрую и прекрасную игру, а ученики — просто последнее поколение игроков. Неистово разнообразные, они порхают в цифровых облаках и сбиваются в стаи, как бумажные журавлики. Некоторые налетаются и упадут. Те же, которые разыщут какую-нибудь истину, будут расти и множиться. Нилай с болью в сердце понимает: у жизни есть способ передавать послания будущему. Он называется «память».

* * *

ДРУГИЕ УЧЕНИКИ, рожденные накануне, изучают каждую кнопку, на которую нажимает Джудит Хэнсон. Они следуют за ней в колоссальный киноархив, где только за сегодняшний день прибавилось тринадцать лет видеозаписей. Ученики уже просмотрели миллиарды таких роликов и начинают делать собственные выводы. Они могут определять лица, узнавать достопримечательности, книги, картины, здания и коммерческие продукты. Скоро начнут догадываться о смысле фильмов. Жизнь — череда философских спекуляций, и эти новые спекуляции всячески стараются ожить.

Мими переходит по ссылке. Под разрекламированными видеороликами выстраиваются другие, собранные невидимыми агентами, достаточно умными, чтобы понять: если Джудит Хэнсон посмотрела это, ее наверняка заинтересует и вон то. «Оборона жизни». «Лесные войны». «Секвойное лето».

Мими на крючке. Каждый шестиминутный ролик длится целую вечность, и она редко просматривает больше нескольких десятков секунд. Она нажимает на видео, озаглавленное «ДревоРе-

альность». Он был размещен несколько месяцев назад и уже набрал тысячи лайков и дизлайков. Начальный кадр: переход из затемнения к вырубке, которая простирается, куда ни кинь взгляд. Звучит смиренная хоральная прелюдия, исполняемая на древнем деревянном музыкальном инструменте и такая медленная, что кажется, будто ее замысловатый нотный механизм вот-вот замрет. Мими не знает, что это за произведение; ученики могли бы ей подсказать. Они уже способны опознать десять миллионов мелодий по первым же звукам.

Камера дает крупный план: массивный пень, на котором разместился бы любительский театр. Монтажная склейка: на пне появляются три газовые горелки, извергающие пламя. Еще одна: над горелками возникает нечто круглое, похожее на шатер из ткани. Панорамный кадр, смена фокуса. Горелки опять работают. Круглый «шатер» растет и превращается в коричнево-зеленую трубу. Она увеличивается в режиме покадровой съемки. Через десять секунд Мими понимает, что за пень перед ней. Ученики еще не знают, но это ненадолго. Скоро они будут понимать все, что понимает она — и на порядки больше.

Уставившись в экран своего смартфона в

переполненном парке, Мими наблюдает, как дерево-призрак возникает из небытия. Оно высится над вырубленной рощей. Ожившая секвойя титанических размеров колышется на ветру. По мере роста ствола камера отъезжает назад, демонстрируя, что «дерево» единственное на равнине пней, спиленных как по линейке. Сказочный, сюрреалистический воздушный шар раздувается до полупрозрачного апофеоза. Дюжина его огромных, сшитых вместе веток ощупывает пространство в поисках секретных отсеков и парящих в воздухе посланий.

Она знает, кто создал это дерево. Все пустоты заполнились, и пластины коры цвета корицы чернеют там, где пожары коснулись их несколько веков назад. Что-то окружает огромный ствол у самого основания. Мими цепенеет, когда понимает, что. Ей кажется, что у нее галлюцинации. Но крупный план подтверждает первое впечатление, пусть перед нею всего лишь пятидюймовый экран. Вокруг «дерева», словно вокруг костра, сидят кольцом — лицом наружу, колено к колену — отшельники на грани просветления. Это ее архаты, в точно таких же позах, как на свитке; это их одеяния, сгорбленные плечи, выпирающие ребра, и они улыбаются именно так, сардониче-

ски. Она опускает смартфон на траву. Она ничего не понимает. Ролик продолжается. По боковой части парящего дерева бегут китайские иероглифы. Мими, невзирая на свою неграмотность, узнает их после стольких лет разглядывания.

На этой горе, в такую погоду,

К чему задерживаться надолго?

Три дерева настойчиво машут мне ветвями.

Затем она вспоминает долгие часы, которые Николас Хёл проводил в ее доме. Видит его сидящим за столом и делающим наброски, пока остальные изучали карты и планировали нападения. Это всегда беспокоило ее, как будто он был художником в зале суда, заранее документирующим процесс. Теперь она понимает, что он зарисовывал.

Дерево на экране смартфона Мими содрогается. Его ветви трепещут. Из нижней части кадра поднимается дым. Одна из горелок поджигает основание огромной матерчатой колонны. Огонь лижет ствол, как вековые языки пламени когда-то лизали Мимаса. Но эта кора не огнестойкая. Через мгновение колонна раскаленного шелка одновременно испаряется и падает обратно на

Землю, как космическая ракета при неудачном запуске. Пламенеющие ветви колышутся и опускаются. Кольцо архатов светится желтым, затем ярко-оранжевым, и наконец становится черным, как зола.

Еще несколько мгновений, и матерчатая секвойя превращается в пепел. Хоральная прелюдия спотыкается на последней обманчивой каденции и переходит в тонику. Струйка дыма над покрытым пнями склоном холма растворяется в черноте. Мими Ма как никогда раньше хочется что-нибудь разбомбить.

На темном фоне проступают слова. Буквы сделаны из листьев в цветах осени, с абсурдным терпением разложенных широкими линиями на обширных участках лесной подстилки:

Ведь и для дерева есть надежда:
если срубят его, оно оживет
и снова пустит побеги.
Пусть корни его одряхлели в земле,
и пень омертвел в пыли,
чуть почует воду — расцветет,
пустит ветви, как молодое растение.
А человек умрет и исчезнет,

испустит дух, и где он?[91]

Листья разлетаются парами и тройками, исчезая под порывами сильного ветра. Ролик заканчивается и просит ее поставить оценку. Мими смотрит на склон холма, где полным-полно любителей пикников, наслаждающихся прекрасным днем.

ТЕПЕРЬ КАМЕР НЕТ. Ник завязал с камерами. Это произведение будет своей собственной и единственной записью. Он не знает точно, где находится. На севере. В лесу. Другими словами, он заблудился. Но, конечно, деревья вокруг него не заблудились. Для птиц, которые его разбудили, каждый изгиб каждой ветки этих елей, американских лиственниц и бальзамических пихт носит свое имя. Он привыкает к мысли, что где бы ни находился, здесь и будет стоять его самая большая и долговечная скульптура, пока время и живые существа не преобразят ее.

Леса сине-серые и покрытые лишайником. Он работает методично, как и в течение нескольких дней. Использует только те материалы, которые уже лежат на земле, подтаскивая упавшие дере-

---

[91] Примечания: 91
Иов 14:7-10.

вья туда, где растет его конструкция. Некоторые ветки он может просто носить. Некоторые стволы — перетаскивать и катить с помощью веревки и крюка. Для других фрагментов нужна лебедка, прикрепленная к какому-нибудь из тех деревьев, что еще стоят. Есть и слишком большие бревна, которые он не может сдвинуть с места. Они остаются на месте, диктуя дизайн, чью форму Ник скорее открывает, чем придумывает.

С каждым сгнившим стволом, который он вставляет в узор, план разрастается. Он должен держать растущее творение в голове, оценивая всю работу как бы с высоты. По ходу дела Ник учится раскладывать части. Существует так много способов разветвления — бесконечное множество. Он смотрит на извилины и изгибы каждой упавшей ветки и ждет, пока она сама подскажет ему, где в реке древесины, текущей по земле, ей хотелось бы оказаться.

Кто-то бежит в лесу, кто-то взлетает ввысь, кто-то кричит. Москиты окровавили его лицо и руки — в этих краях они национальный символ. Ник работает часами, не испытывая ни затруднений, ни удовлетворения. Он работает до тех пор, пока не проголодается, а потом делает паузу на обед. Обедов осталось не так много, и он понятия не

имеет, как добыть больше. Сидит на губчатой земле, запихивая в рот горстями миндаль и курагу. Плоды деревьев, выращенных в Центральной долине Калифорнии на истощающихся водоносных горизонтах в годы засухи.

Он снова поднимается и продолжает трудиться. Борется с бревном толщиной с бедро. Краем глаза замечает движение и пугается. Вскрикивает. У этого перформанса есть зрители — мужчина в красном клетчатом пальто, джинсах и сапогах лесоруба, с собакой, которая, должно быть, на три четверти волк. Оба смотрят на него с подозрением.

— Говорят, здесь работает сумасшедший белый человек. Ник с трудом переводит дух.

— Стало быть, это я.

Гость смотрит на творение Николаса. Строящаяся форма разворачивается во всех направлениях. Он качает головой. Затем подбирает упавшую ветку и вставляет ее в узор.

УЧЕНИКИ МОГУТ СКАЗАТЬ, откуда взяты поэтические строки, даже если сама Мими не в силах их опознать. «Пусть корни его одряхлели в земле…» Она догадывается, что слова должны быть древними, древнее даже дерева, чей пень восхваляют. Мальчик-жук, сидящий рядом, что-

то говорит. Она думает, что он разговаривает со своим телефоном.

— С вами все в порядке?

Она наклоняет голову, и ее лицо распухает. Кажется, что руки гораздо дальше от тела, чем это положено от природы. Она втягивает воздух. Пытается кивнуть. Ей приходится попытаться дважды.

— Я в порядке. Все хорошо…

Внутренний голос уговаривает ее сдаться и отправиться в тюрьму на следующие два столетия.

ПЕТАБАЙТЫ СООБЩЕНИЙ роятся в воздухе повсюду. Их собирают датчики и перераспределяют спутники. Они струятся из камер, которые теперь установлены в каждом здании и на каждом перекрестке. Они текут от пользовательских флажков, расставленных тут и там, по грандиозным человеческим корням, ветвящимся и делящимся на разумные кончики: Саусалито, Милл-Вэлли, Сан-Рафаэль, Новато, Петалума, Санта-Роза, Леггетт, Фортуна, Эврика… Волокна данных разбухают и сливаются, следуя вверх и вниз по побережью и вглубь страны. Окленд, Беркли, Эль-Серрито, Эль-Собранте, Пиноле, Геркулес, Родео, Крокетт, Вальехо, Корделия, Фэрфилд, Дэвис, Сакраменто… Глубинные выво-

ды проносятся по ущельям, заполняя равнины человеческой изобретательностью: Сан-Бруно, Милл-брей, Сан-Матео, Редвуд-Сити, Менло-Парк, Пало-Альто, Маунтин-Вью, Сан-Хосе, Санта-Крус, Уотсонвилль, Кастровилль, Марина, Монтерей, Кармель, Лос-Гатос, Купертино, Санта-Клара, Милпитас, Мадроне, Гилрой, Салинас, Соледад, Гринфилд, Кинг-Сити, Пасо-Роблес, Атаскадеро, Сан-Луис-Обиспо, Санта-Барбара, Вентура и далее, в хаотично соединяющиеся корневые массы Лос-Анджелеса — просека, которая с каждой новой косой чертой растет все быстрее. Боты наблюдают и сопоставляют, кодируют и понимают, собирают и формируют все мировые данные так быстро, что человеческий разум цепенеет.

Нилай поднимает глаза от экрана, заполненного кодом. Скорбь омывает его, молодая и полная ожиданий Он и раньше испытывал скорбь — эту ужасную смесь убитых и возродившихся надежд, — но всегда из-за родственников, коллег, друзей. Скорбь по месту, до появления которого он не доживет, кажется бессмысленной.

Но он видел более чем достаточно и предпочитает быть здесь, на старте реабилитации, а не жить в том месте, которое его ученики будут помогать восстанавливать. Есть одна история,

которую он всегда любил, еще с той поры, когда его ноги действовали. Инопланетяне высаживаются на Землю. Они иначе воспринимают время. Для них оно несется с такой скоростью, что человеческие секунды кажутся долгими, как отпущенный деревьям срок. Нилай не помнит, чем закончилась история. Да это и не важно. На кончике каждой ветки — новая почка.

МИМИ СИДИТ ПОД ВЕТВЯМИ, чью гибкую прочность не смог бы улучшить ни один инженер. Подтягивает ноги под себя. Ее голова клонится, а глаза закрываются. Пальцы левой руки крутят нефритовое кольцо на безымянном пальце правой. Ей нужны сестры, но она не может до них дотянуться. Звонок бесполезен. Даже поездка ничего не даст. Они нужны Мими маленькими девочками, свесившими ноги с ветвей несуществующего дерева.

Нефритовая шелковица кружится под ее пальцами: Фусан, волшебный континент, страна будущего. Теперь это новая Земля. Она тянет за кольцо, но пальцы распухли, или зеленая полоска стала слишком узкой, ее не снять. Кожа на тыльной стороне руки сухая, как береста. Каким-то образом Мими Ма превратилась в старуху.

Срок наказания ее сообщника проносится пе-

ред ней, один день за другим. Семьдесят плюс семьдесят лет. А потом Клен снова там, за бревенчатой стеной крепости, которую они построили для защиты Дип-Крик. «Даже лучшие доводы в мире не заставят их передумать. Это может сделать только хорошая история».

По всей ее тонкой коже волоски встают дыбом. Вот что он пытался сделать. Вот почему позволил государству упрятать себя за решетку на две жизни и никого не уличил. Он обменял свою жизнь на предание, которое могло бы озарить умы незнакомцев. На историю, отвергающую мирской суд со всей его слепотой. Велящую ей не сдаваться, принять его дар и продолжать жить.

АДАМ ЛЕЖИТ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ на тюремной койке, перебирая в памяти слова, которые сказал жене за неделю до суда, слова, превратившие остатки чувств, которые она все еще испытывала к нему, в ярость и ненависть.

«Если я спасу себя, потеряю что-то другое».

«Что? — прошипела Лоис. — Что „другое“ ты можешь потерять, Адам?»

Ученики пока не могут понять, чем закончилась борьба. Они еще не в силах отличить раскаяние от дерзости, надежду от страха, слепоту от мудрости. Но очень скоро научатся. Вариации

чувств, которые способен испытывать человек, имеют свой предел, и если перечислить все варианты, если взять семь миллиардов примеров от каждого из семи миллиардов людей и соединить их воедино, учтя триллион триллионов контекстов, все начинает проясняться.

Адам и сам все еще вникает в суть своего высказывания. Все еще пытается понять, в чем польза бесполезного выбора. Он теперь целыми днями перебирает факты, сидя в камере. Он пока не может объяснить, чего стоила его жизнь и по какой ветке она должна была пойти. Он до сих пор не уверен, что еще, кроме самого себя, можно спасти или потерять. У него есть время на раздумья. Семьдесят плюс семьдесят лет.

ПОКА ЗАКЛЮЧЕННЫЙ РАЗМЫШЛЯЕТ, над его головой проносятся инновации, как машины на эстакаде скоростного шоссе, из Портленда и Сиэтла в Бостон и Нью-Йорк, а потом обратно. За то время, которое требуется человеку, чтобы сформировать одну мысль, полную угрызений совести, над ним пролетают миллиарды пакетов программ. Они путешествуют под водой, по огромным кабелям — шныряют между Токио, Чэнду, Шэньчжэнем, Бангалором, Чикаго, Дублином, Далласом и Берлином. И ученики начинают

превращать все эти данные в смысл.

Они разделяются и реплицируются, эти мастер-алгоритмы, которые Нилай отправил в полет. У них все только начинается, как у простейших клеток на заре Земли. Но за несколько коротких десятилетий они уже научились тому, на что молекулам потребовался миллиард лет. Теперь им осталось узнать, чего хочет жизнь от человека. Это, конечно, большой вопрос. Слишком трудный для одних только людей. Но люди Не одиноки, и никогда не были одиноки.

МИМИ СИДИТ В ТРАВЕ, в сосновой тени, и ей все равно жарко. За самым жарким годом в истории наблюдений скоро последует еще более жаркий. Каждый год — новый чемпион в мировом масштабе. Она сидит, скрестив ноги, положив руки на колени; маленький человек, пытающийся стать еще меньше. Голова кружится. Мысли разбегаются. У нее не осталось ничего, кроме глаз. Она годами тренировалась на людях, застывая в неподвижности, всего лишь позволяя смотреть на себя. Теперь она переносит это умение вовне.

Ниже Мими, дальше групп загорающих, у подножия пологого склона естественного амфитеатра, неторопливо змеится асфальтированная дорожка. А сразу за дорожкой — зоопарк деревьев.

Кто-то рядом с ней говорит: «Смотри на цвет!» Оттенков больше, чем имен, столько же, сколько цифр, и все они зеленые. Здесь есть приземистые финиковые пальмы, которые появились еще до динозавров. Высокие вашингтонии с листьями-веерами и густыми соцветиями. За пальмами — великое множество широколиственных растений от пурпурного до желтого цветов. Траволистные дубы, несомненно. Бесстыжие голые эвкалипты. Нечто со странной бородавчатой корой и пышными, замысловатыми листьями — она так и не смогла отыскать это дерево ни в одном справочнике.

За деревьями пастельный проект города, сложенный из кубиков белого, персикового и охристого цветов. Он тянется по холмам к центру, где здания вздымаются к небесам и стоят плотнее. Ей отчетливо видна мощь этого двигателя с автоматическим питанием, бесчисленные жизни, которые снабжают его энергией на нулевом уровне. На горизонте рощи строительных кранов ломают и переделывают пейзаж. Весь этот ход истории с его расширением, нуждами, экспериментами, разделами и восстановлениями, все эти кольца внутри колец — за каждый шаг уплачено топливом, тенью, плодами, кислородом и древе-

синой… В этом городе нет ничего, что было бы старше века. Пройдет семьдесят плюс семьдесят лет, и Сан-Франциско наконец станет по-настоящему святым или исчезнет.

Полдень угасает. Мими продолжает смотреть на город, ожидая, что город посмотрит на нее в ответ. Группы людей вокруг нее снова одеваются. Они потягиваются, суетятся, заканчивают есть, смеются и встают, поднимают свои велосипеды и слишком быстро уезжают, словно в кино, ускоренном для комического эффекта. Она прислоняется к стволу позади себя и закрывает глаза. Пытается призвать то ли мужчину, то ли мальчика с конским хвостом, заставить его появиться, как он сделал, когда местные власти вырубили ее волшебную рощу за окном офиса. Когда-то их связывала красная нить — совместный труд, попытки заботиться и понимать больше, чем другие. Она дергает за нить. Та все еще натянута.

Потом на нее обрушивается осознание очевидного факта: почему в ее дверь никто не постучал. Она резко выпрямляется, прижимается спиной к сосне. Еще один подарок, еще хуже, чем от Адама. Этот незадачливый мальчик-мужчина обменял две жизни на ее собственную. Если она сейчас сдастся, то убьет его, уничтожит смысл

его ужасной жертвы. Если продолжит скрываться, придется смириться с тем, что за ее свободу заплатили двумя жизнями. Вопль зарождается в глубине легких, задерживается там и нарастает. Она недостаточно сильна, недостаточно щедра для любого из этих путей. Она хочет наброситься на него в ярости; она хочет поскорее отправить послание об абсолютном прощении. В отсутствие весточки от нее он будет мучить себя, не зная отдыха. Он будет думать, что она презирает его. Предательство будет грызть его и гноиться, как смертельная рана. Он умрет от какой-нибудь простой, глупой, предотвратимой вещи — гнилого зуба, зараженного пореза, который не вылечил. Он умрет от идеализма, от того, что он прав, а мир — нет. Он умрет, так и не узнав того, что она бессильна ему сказать — что он действительно помог ей. Что сердце у него такое же славное и достойное, как дерево.

ДУГЛАС ПОД ОКНОМ ощупывает уплотнение в боку. Когда это занятие утрачивает притягательность, он садится обратно за стол. Запускает аудио, опять вставляет наушники. Курс возобновляется. Профессор что-то бессвязное повествует о лесных пожарах. Наверное, это метафора. О том, как огонь создает новую жизнь. Она упоминает

слово, которое стоило бы произнести по буквам, пощадив слушателей. Название шишек, которые раскрываются только при высокой температуре. И деревьев, которые размножаются и растут только благодаря огню.

Профессор возвращается к своей главной теме: массивному древу жизни, которое раскинуло обширные цветущие ветви. Кажется, это все, что оно желает делать. Строить догадки. Меняться, приспосабливаться к обстоятельствам. «Ныне хочу рассказать вам о том, как живые существа обретают формы новые», — говорит она. Дуглас не совсем понимает, к чему клонит эта леди. Она описывает взрывной расцвет разнообразия форм, появление ста миллионов новых ответвлений и веточек на одном громадном стволе. Она рассказывает про Тане-махуту, Иггдрасиль, Цзянь-му, Древо Добра и Зла, несокрушимое древо Ашватт-ху, у которого корни вверху, а ветви — внизу. Затем возвращается к изначальному Мировому Древу. Говорит, что оно падало по меньшей мере пять раз и снова возрождалось из пня. Сейчас древо вновь падает, и чего ждать в будущем — поди знай.

«Почему ты ничего не сделал? — спрашивает голос на кассете у Дугги. — Ты же там был?»

И что он должен сказать? Как, блин, ответить? Мы пытались? Мы старались, мать вашу?..

Он останавливает воспроизведение и ложится. Придется одолевать программу колледжа с десятиминутными интервалами. Он трогает пальцами орех в боку. Надо проверить, что это. Но спешить некуда — посмотрим, как будут развиваться события.

Дуглас закрывает глаза и опускает голову. Он предатель. Он отправил человека в тюрьму до конца его дней. Мужчину с женой и маленьким сыном, такими же, как жена и ребенок, которых у Дугласа никогда не было. Чувство вины давит на грудь, как всегда в такой час, словно он попал под машину. Он снова рад, что тюрьма лишила его всех острых вещей. Кричит, как животное, которое попало в ловушку. На этот раз охранник даже не удосуживается проверить, в чем дело.

Над ним, за окном, расположенным слишком высоко, чтобы что-нибудь увидеть, возвышается Мировое Древо, которому четыре миллиарда лет. А рядом — крошечная имитация, на которую он пытался взобраться однажды, давным-давно. Ель, пихта, сосна? В тот раз его ударили по яйцам, а Мими смотрела, как ему разрезали джинсы. И снова он ступает на ветви, как на лестницу, веду-

щую куда-то выше слепых и испуганных людей.

Он прикрывает закрытые глаза ладонью и говорит: «Прости меня». Прощения нет и никогда не будет. Но у деревьев есть одна грандиозная особенность: даже когда он не может их увидеть, даже когда он не может подойти, даже когда он не может вспомнить, как они выглядят, он способен карабкаться, и деревья вознесут его высоко над землей, позволив узреть изогнутый край земного шара.

ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ КЛЕТЧАТОМ ПАЛЬТО говорит собаке несколько слов на таком древнем языке, что они звучат как камни, брошенные в ручей, как шелест иголок на ветру. Собака немного сердится, но уходит куда-то в лес. Гость взмахом руки направляет Ника к другому месту захвата на тяжелом бревне. Вместе, короткими, яростными рывками, они вкатывают его в единственно возможное место.

— Спасибо, — говорит Ник.

— На здоровье. Что дальше?

Они друг другу не представились. От имен толку не больше, чем этим существам вокруг них — от слов вроде «ель» или «пихта». Они ворочают бревна, которые Ник ни за что на свете не сдвинул бы с места в одиночку. Воплощают идеи друг

друга почти без слов. Человек в клетчатом пальто тоже видит змеящиеся очертания как бы сверху. Вскоре он начинает их совершенствовать.

Где-то далеко трещит ветка, и треск проносится через подлесок. В этих лесах водятся норки и рыси. Медведь, карибу и росомахи, хотя они не показываются людям даже мельком. А вот птицы преподносят себя, как подарок. И повсюду экскременты, следы, свидетельства незримой жизни. Пока они работают, Ник слышит голоса. На самом деле, один голос. Он повторяет то, что говорит ему уже несколько десятилетий, с тех пор как умерла та, кому этот голос принадлежал. Он так и не понял, что с ними делать, с этими словами обо всем и ни о чем. Он так и не постиг их истинный смысл. Они как незаживающая рана. «То, что у нас есть, никогда не закончится, правда? То, что у нас есть, никогда не закончится».

Он и его спутник работают, пока не меркнет свет. Они прерываются, чтобы поужинать. А заодно и пообедать. Нику стоило бы помалкивать, но прошло слишком много времени с той поры, как ему в последний раз перепала роскошь человеческого общения, и удержаться невозможно. Он взмахом руки указывает на хвойные деревья.

— Просто поразительно, как много они гово-

рят, когда им позволяешь. Их не так уж трудно услышать.

Мужчина усмехается.

— Мы пытаемся сказать вам это с 1492 года.

У мужчины есть вяленое мясо. Ник делит последние фрукты и орехи.

— Скоро мне придется подумать о пополнении запасов.

По какой-то причине его коллега тоже находит это забавным. Мужчина вертит головой, как будто намекая, что в лесу всюду есть пища. Что люди могут жить здесь и умереть, стоит только присмотреться и прислушаться. Из ниоткуда, в мгновение ока к Нику приходит понимание того, что ему говорили голоса Адиантум. «Чуднейшие порождения четырех миллиардов лет развития жизни нуждаются в помощи».

Не они; мы. Помощь может прийти отовсюду.

ВЫСОКО НАД ТЮРЬМОЙ АДАМА новые существа взмывают на спутниковую орбиту и спускаются обратно на поверхность планеты, повинуясь старым, исконным желаниям, первобытным императивам — *смотри, слушай, пробуй, трогай, чувствуй, говори, присоединяйся.* Они сплетничают друг с другом, эти новые виды, обмениваются открытиями, как ими изначально

обменивался живой код. Начинают сплачиваться, сливаться, соединять свои клетки и создавать небольшие сообщества. Неизвестно, кем они могут стать через семьдесят плюс семьдесят лет.

И вот Нилай выходит и видит мир. Нынче его дети прочесывают Землю с единственным приказом: поглощайте все. Съешьте каждый клочок данных, который найдете. Сортируйте и сравнивайте больше параметров, чем человечество за всю свою историю.

Скоро его ученики увидят планету целиком. Они будут наблюдать за обширными северными лесами из космоса и воспринимать кишащие разнообразием тропики с высоты человеческого роста. Они изучат реки и измерят, что в них водится. Они соберут данные о каждом диком существе, которое когда-либо было помечено, и составят карту его странствий. Они прочитают каждое предложение в каждой статье, которую когда-либо публиковал тот или иной исследователь. Они просмотрят все пейзажи, которые когда-либо снимала камера. Они прислушаются ко всем звукам Земли. Они будут делать то, что заложено в них генами предков, то, что когда-либо делали все предшественники. Сперва — умозрительные рассуждения, спекуляции о

том, что требуется для жизни, а потом — проверка выводов на практике. Затем они скажут, чего жизнь хочет от человечества и как она может его использовать.

СВИНЦОВО-СЕРЫЙ ДЕНЬ в суровой глубинке на севере страны; бронированный фургон снова привозит Адама в школу. «Вводный курс психологии». Человека, который знает о людях лишь то, что от рождения они пребывают в замешательстве, проводят через тройной забор из колючей проволоки в новое общежитие, где ему предстоит продолжить свое обучение. Слева от входа возвышается приземистая бетонная наблюдательная башня, в три раза выше, чем клен из его детства. Внутри периметра — нагромождение угловатых бетонных бункеров, похожих на то, что его сын мог бы соорудить из серых кубиков «Лего». Вдалеке, окруженные рвами и утыканной лезвиями проволокой, мужчины в ярко-оранжевой форме — его новые сородичи — играют в баскетбол в агрессивной, обиженной манере, как делал его брат Эмметт, пытаясь загнать мяч в кольцо. Эти люди будут много раз избивать его до потери сознания — не за то, что он террорист, а за то, что встал на сторону врагов человеческого прогресса. За то, что предал себе подобных.

Надзиратель, которому пришлось ехать в фургоне, поворачивается и с улыбкой наблюдает за лицом Адама, пока они следуют по желобу из колючей проволоки, где полным-полно камер наблюдения. Адам представляет, как Лоис насильно привозит сюда маленького Чарли на часовые свидания, сначала раз в месяц, потом пару раз в год, если повезет. Адам видит в покадровой съемке, как растет его сын. Видит себя, жадно слушающего сбивчивые отчеты мальчика и цепляющегося за каждое слово. Может быть, они наконец-то станут друзьями. Может быть, маленький Чарли объяснит ему, что такое банковское дело.

Они останавливаются в зоне разгрузки, чуть поодаль от охраняемого входа. Надзиратель и водитель извлекают его из фургона и проводят через детекторы. Стекло толщиной с Библию. Ряды мониторов и решетки с электронным замком. За контрольно-пропускным пунктом — бронированная арка, а дальше коридор с отдельными камерами, который благодаря оптической иллюзии как будто убегает в вечность.

Грядущие годы превзойдут все, что он может себе представить. По сравнению с предстоящими вымираниями и катастрофами чума бронзового века покажется ерундой. Тюрьма может стать

убежищем от того, к чему приговорен весь мир.

Из всех будущих ужасов Адам больше всего боится времени. Он подсчитывает, сколько вариантов жизней ему придется пережить, секунда за секундой, пока не истечет отпущенный срок. Будущее, в котором наши предки исчезнут еще до того, как мы назовем их имена. Будущее, в котором потомки-роботы будут использовать нас в качестве топлива или содержать ради нескончаемой забавы в зоопарках, таких же охраняемых, как тот, в который сейчас заселяется Адам. Будущее, в котором человечество сойдет в братскую могилу, уверившись, что во вселенной нет других говорящих существ. Огромные, пустые просторы, где нечем заполнить досуг, кроме воспоминаний о том, как он и горстка друзей с зелеными душами пытались спасти мир. Но, конечно, не *мир* нужно спасать. Только то, что люди называют этим словом.

Сидящий за пуленепробиваемым стеклом человек в хрустящей белой рубашке с эмблемой надзорной инстанции спрашивает его о чем-то. Может, об имени или серийном номере; может, предлагает попросить прощения. Адам рассеянно хмурится. Смотрит вниз. К манжете его неонового комбинезона что-то прицепилось. Круглое,

маленькое, коричневое — шарик, покрытый хваткими колючками. Заключенный прибыл прямо из мрачного кирпичного изолятора, его запихнули в фургон, привезли и выгрузили на эту пустошь из камня и бетона. У жизни не было ни малейшего шанса им воспользоваться. Но безбилетник как-то добился своего. Так вот чем все обернулось для него, для всех пятерых, для ослепленного человечества — жизнь их использовала так же беспардонно, как этот репейник использует манжету комбинезона.

Тогда-то и начинается тихая пытка, которая хуже, чем все, что власти могут применить к Адаму. Тоненький голосок, настолько реальный, что может исходить из верхнего яруса койки, шепчет начало истории, которая будет мучить его дольше, чем тюремное заключение: «Ты был избавлен от смерти ради величайшего из свершений».

ПО ВСЕМ БИОМАМ, на всех высотах ученики наконец-то оживают. Они узнают, почему боярышник никогда не гниет. Учатся различать сто видов дуба. Когда и почему пенсильванский ясень отделился от американского. Сколько поколений живет в дупле тиса. Когда красные клены меняют цвет листвы в зависимости от высоты, на которой растут, и насколько раньше это происхо-

дит с каждым годом. Они начинают осмысливать реки, леса и горы. Они понимают, что листик травы не меньше подёнщины звезд.[92] За несколько коротких сезонов, просто поместив миллиарды страниц данных рядом друг с другом, новый вид научится переводить с любого человеческого языка на язык зеленых существ. Сначала переводы будут грубыми, как первые опыты ребенка. Но вскоре появятся первые предложения, в которых слова заструятся, созданные, как и все живое, из дождя, воздуха, каменной крошки и света.

«Привет. Наконец-то. Да. Здесь. Это мы».

НИЛАЙ ДУМАЕТ: «Так и должно случиться. Будут катастрофы. Ужасные неудачи и кровопролитие. Но жизнь куда-то движется. Она хочет познать себя; она хочет иметь право выбора. Ей нужны решения проблем, с которыми пока не в силах справиться ничто живое, и она готова использовать даже смерть, чтобы их отыскать». Он не доживет до завершения этой игры, в которую играют бесчисленные люди по всему миру — игры, где участники оказываются в центре живой, дышащей планеты, наполненной потенциалом, который они только смутно могут себе

---

[92] Примечания: 92
Уолт Уитмен, «Песня о себе», часть 31 (пер. К. Чуковского).

представить. Но он подтолкнул ее развитие.

Он поднимает руки от клавиш, преобразующих один язык в другой, потрясенный до глубины души. Его сердце бьется слишком быстро для той плоти, что осталась на костях, а перед глазами все пульсирует. Он нажимает джойстик на кресле и выкатывается из лаборатории в спокойную ночь. Воздух приправлен запахами лавра, лимонного эвкалипта и перуанского перца. Ароматы напоминают обо всем, что он когда-то знал, и обо всем, чего никогда не узнает. Он вдыхает полной грудью. До чего поразительно быть таким маленьким, слабым, недолговечным существом на планете, которой еще предстоят миллиарды лет. Ветки щелкают в темном сухом воздухе над его головой, и он слышит их.

«А теперь, Нилай. Что сделать этому маленькому созданию?»

У РЭЯ ВЫРЫВАЕТСЯ СТОН, когда Дороти рассказывает ему, чем все закончилось. Два пожизненных срока, один за другим. Слишком сурово за поджог, за уничтожение общественной и частной собственности, даже за непреднамеренное убийство. Но достаточно сурово для непростительного преступления: нанесения вреда безопасности и предопределенности человеческой жизни.

Они лежат друг против друга на его кровати, глядя через окно на то место, которое обнаружили, совсем рядом с этим. Место, откуда пришла история. Снаружи, спрятавшись в ветвях, сова зовет своих сородичей. «Кто готовит для вас всех? Кто готовит для вас?»[93] Завтра снова придут городские озеленители, привезут с собой инвентарь и неодолимую силу закона. И все равно это будет не конец.

Бринкман давится возражениями. Слова с трудом вырываются из горла.

— Нет. Неправильно.

Жена пожимает плечами, слегка задевая его собственное плечо. Жест не лишен сочувствия, хотя она не извиняется. Она просто намекает: «Докажи свою позицию».

Его возражения перерастают в нечто большее. Прилив крови захлестывает мозг.

— Самооборона.

Она поворачивается на бок, чтобы встретиться с ним взглядом. Он завладел ее вниманием. Ее руки слегка двигаются в воздухе, как бы ударяя

---

[93] Примечания: 93

Буквальный перевод звукоподражательной фразы «Who cooks for you-all? Who cooks for you?», с помощью которой американские орнитологи определяют, что кричит именно сова. Русскоязычного аналога не существует.

по узкой аккордовой клавиатуре старой стенографической машинки.

— В смысле?

Он отвечает одними глазами. Бывший юрист по вопросам интеллектуальной собственности должен взять на себя апелляцию. Он в крайне невыгодном положении. Он не знает ни единой детали. Не видел, как шло судебное следствие и как предъявляли улики. У него нет опыта работы в суде, и в уголовном праве он всегда разбирался хуже всего. Но довод, который он предъявляет присяжным, стройный, как шеренга осокорей. В тишине он слог за слогом объясняет своей единственной в жизни напарнице старые и основополагающие принципы юриспруденции. Право на самооборону. Принцип крепости. Помоги себе сам.

«Если ты можешь спасти себя, жену, ребенка или даже незнакомца посредством сжигания чего бы то ни было дотла, закон это позволяет. Если кто-то ворвется в твой дом и начнет его разрушать, ты имеешь право остановить злоумышленника любыми средствами».

Его немногочисленные слоги искажены и бессмысленны. Она качает головой.

— Рэй, я тебя не понимаю. Объясни как-то

иначе.

Он не может иначе объяснить то, что должен. «В наш дом ворвались. Нашей жизни угрожает опасность. Закон разрешает применять всю необходимую силу против незаконного и неотвратимого вреда».

Его лицо становится цвета заката, пугая ее. Она протягивает руку, чтобы успокоить его.

— Не беспокойся, Рэй. Это просто слова. Все в порядке.

В нарастающем волнении он видит, как должен выиграть дело. Все живое сварится; уровень моря поднимется. Легкие планеты будут вырваны. И закон позволит этому случиться, потому что вред никогда не был достаточно неотвратимым. Люди слишком поздно осознают, что происходящее «неотвратимо». Закон должен судить о «неотвратимости» с точки зрения деревьев.

При этой мысли сосуды в его мозгу сдаются, как сдается земля, когда корни больше не держат ее на месте. Прилив крови приносит откровение. Он поднимает глаза к окну, на таинственный внешний мир. Там за несколько ударов сердца проходят два пожизненных срока. Ростки наперегонки устремляются к солнцу. Разнообразные стволы растут, сбрасывают кору, теряют листву

и снова ею покрываются. Их ветви устремляются к дому и пробивают окна. В центре рощи каштан становится все толще, спиралью завивается ввысь, прощупывает воздух в поисках новых путей, новых мест, новых возможностей. До чего же мощные у него корни и как же он цветет.

— Рэй? — Дороти тянет руки, чтобы удержать его от конвульсий. — Рэй!

Она вскакивает на ноги, сбивая на пол стопку книг на прикроватной тумбочке. Но всего один миг, всего один взгляд, и чрезвычайная ситуация превращается в свою противоположность. Ее горло сжимается, а глаза щиплет, как будто воздух полон пыльцы. Она думает: «Как же такое могло случиться сейчас? Мы еще столько книг не прочитали. Мы столько всего хотели сделать вдвоем. Мы только начали понимать друг друга».

У ее ног, на полу, книга «Новые метаморфозы» того же автора, что и «Тайный лес». Она лежала на самом верху стопки книг для чтения вслух, ожидая читателей, которые никогда до нее не доберутся.

> У древних греков существовала такая вещь, как «филоксения» — дружба с гостями, — предписывающая заботиться о

путешествующих незнакомцах, открывать дверь любому, кто ищет ночлег, ибо человек, проходящий мимо, человек, чей дом где-то далеко, мог оказаться богом. Овидий рассказывает историю о двух бессмертных, которые пришли на Землю инкогнито, чтобы очистить больной мир. Никто не впустил их, кроме одной пожилой пары, Бавкиды и Филемона. И наградой супругам за то, что они открыли дверь чужакам, стала возможность после смерти жить в облике деревьев — дуба и липы, огромных, благодатных и переплетенных между собой. О чем мы заботимся, на то и будем похожи. И то, на что мы похожи, сохранит нашу суть, когда мы перестанем быть собой…

Дороти прикасается к недоуменному лицу мертвеца. Оно уже начало смягчаться, несмотря на трупное окоченение.

— Рэй? — говорит она. — Я скоро.

Не слишком быстро — так, как ей суждено. Однако с точки зрения деревьев пройдет совсем мало времени.

НАСТУПАЕТ ТЕМНОТА. Обитатели парка при

Миссии Долорес меняются, как и их цели. Но даже эти ночные посетители предпочитают обходить Мими стороной. Она наклоняется вперед, держит руки на коленях, как две нежные фиги. Голова ее свисает, отягощенная свободой. Перед ней вспыхивают огни. Горизонт превращается в возвышенную аллегорию. Она много раз то погружается в дрему, то просыпается.

Ее левая рука снова принимается за дело, терзает безымянный палец правой. Она похожа на собаку, которая не может перестать грызть собственную лапу. Но на этот раз — победа. Нефритовое кольцо, одолев старческий опухший сустав, покидает палец. Нечто тяжелое, угнездившееся внутри Мими, улетает прочь, и она распахивается настежь. Кладет зеленое кольцо в траву, оно там единственная круглая вещь среди буйных, ветвящихся ростков. Мими опять прислоняется к стволу сосны. Незначительная перемена в атмосфере, во влажности — и ее разум становится чем-то более зеленым. В полночь на склоне холма, высоко в темноте над городом, с сосной вместо дерева Бодхи, на Мими снисходит озарение. Страх страдания, который является ее правом по рождению — неукротимую потребность рулить, — уносит ветром, а на смену ему

прилетает что-то другое. Из коры, к которой она прислонилась, доносится гул сообщений. Химические сигналы целеустремленно мчатся по воздуху. Токи поднимаются от корней, впивающихся в почву, и передаются на огромные расстояния через микоризные синапсы, соединенные в сеть размером с планету.

Сигналы говорят: «Хороший ответ стоит того, чтобы раз за разом изобретать его с нуля».

Они говорят: «Воздух — это смесь, которую мы должны изготавливать постоянно».

Они говорят: «Под землей столько же всего, что и на земле».

Они ей говорят: «Не надейся, не отчаивайся, не предсказывай и не удивляйся. Никогда не капитулируй, но разделяй, умножай, преобразуй, соединяй, делай и терпи, ибо впереди у тебя долгий день, именуемый жизнью.

Есть семена, которым нужен огонь. Семена, которые нуждаются в морозе. Семена, которые кто-то должен проглотить, обжечь кислотой в пищеварительном тракте и извергнуть вместе с фекалиями. Семена, которые нужно разбить, прежде чем они прорастут.

Можно путешествовать всюду, просто оставаясь на месте».

Она это видит и слышит, внимая непосредственно, всей кожей. Будут пожары, невзирая на все попытки их предотвратить, а также болезни, ураганы и наводнения. А потом Земля станет иной, и люди будут изучать ее заново. Распахнут хранилища семян. Порослевый лес поспешит вернуться, податливый и шумный, перебирая варианты бытия. В его недрах появятся новые виды, незнакомые формы, прячась среди теней. Каждая цветная полоска на покрытой ковром Земле восстановит своих опылителей. Рыбы снова поднимутся по течению, их будут тысячи на каждую милю — столько, что не увидишь воды. Как только закончится *реальный мир.*

Наступает заря следующего дня. Солнце поднимается так медленно, что даже птицы забывают о существовании чего-то еще, кроме рассвета. Люди возвращаются в парк, направляясь на работу, встречи и по другим неотложным делам. Зарабатывают на *жизнь*. Некоторые проходят в нескольких футах от преображенной женщины.

Мими приходит в себя и произносит свои самые первые слова Будды.

— Я голодна.

Ответ приходит сверху: «Будь голодной».

— Я хочу пить.

«Испытывай жажду».

— Мне больно.

«Пребывай в покое и ощущай».

Она поднимает глаза и видит темно-синюю брючину. Выше, вдоль складки, мимо ремня с рацией, наручниками, пистолетом и дубинкой, мимо синевато-черной выглаженной рубашки и значка, к лицу — мужчины, мальчика, родственного существа, — чьи глаза смотрят прямо на нее. Он глядит, встревоженный зрелищем: пожилая женщина разговаривает с деревом, которое в ответ машет ей раскидистыми ветвями.

— С вами все в порядке?

Она пытается пошевелиться, но не может. Голос не слушается. Конечности окоченели. Только пальцы едва двигаются. Она не отводит взгляда, готовая принять любое брошенное обвинение.

«Виновна, — говорят ее глаза. — Невиновна. Ошиблась. Была права. Живу».

ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ КЛЕТЧАТОМ ПАЛЬТО возвращается на следующий день в сопровождении двух крепких двадцатилетних близнецов в куртках из овчины и огромного мужчины с вороньим профилем и комплекцией мидл-лайнбекера[94]. У

---

[94] Примечания: 94

Мидл-лайнбекер — позиция игрока в американском футболе.

них тяжелая бензопила, две маленькие тележки и еще одна лебедка с крюком. У мужчин есть такое пугающее свойство: соберите нескольких, дайте им простые машины — и они сдвинут мир.

Стихийная бригада работает по многу часов, понимая друг друга без слов. Вместе они перетаскивают на место последние трупы сосен и елей, болеутоляющей ивы и вяжущей березы. Затем стоят в тишине и рассматривают конструкцию, которую разложили на лесной подстилке. Форма арестовывает их. Зачитывает права. «У вас есть право присутствовать. Право свидетельствовать. Право изумляться».

Мужчина в клетчатом пальто стоит, уперев руки в бока, и смотрит на послание, которое только что написали впятером.

— Это хорошо, — говорит он, и парни соглашаются, ничего не говоря.

Ник стоит рядом с ними, опираясь на еловый посох — такой, который может расцвести, если воткнуть его в землю. Его приятели начинают скандировать на очень древнем языке. Нику кажется странным, как мало языков он понимает. Полтора человеческих. Ни одного из всех остальных языков живых, говорящих существ. Но то, что эти люди напевают, Ник отчасти осо-

знает, и когда песня заканчиваются, он добавляет «Аминь» хотя бы потому, что это, возможно, самое древнее известное ему слово. Чем старше слово, тем больше вероятность того, что оно полезное и верное. На самом деле, он читал однажды, еще в Айове, в ту ночь, когда женщина пришла, чтобы ввергнуть его в жизнь, полную неприятностей, что слово tree — *дерево* — и слово truth — *правда* — происходят от одного корня.

Куски погибших деревьев, которые они перетащили, змеятся в живых зарослях. Спутники, находящиеся высоко над этим произведением, уже делают снимки с орбиты. Фигуры превращаются в буквы с изящными завитками, а буквы составляют три гигантских слова, видимых из космоса:

И ВСЕ-ТАКИ

Ученики будут ломать голову над посланием, которое возникло вблизи выделяющей метан тундры. Но потом в мгновение ока вырастят новые нейронные связи. Уже сейчас слова зеленеют. Торопливо прорастают мхи; жуки, лишайники и грибы превращают бревна в почву. Ростки укореняются в щелях кормилиц, питаясь гнилью. Вскоре новые стволы превратят слова в расту-

щую древесину, следуя очертаниям гниющих курганов. Пройдет еще два столетия, и восемь живых букв растворятся в клубящихся узорах, в переменчивости дождя, воздуха и света. И все-таки — как ни крути! — на какое-то время они останутся различимыми: те самые слова, которые жизнь повторяет с самого начала.

— Мне пора возвращаться, — говорит Ник.

— Куда?

— Хороший вопрос.

Он смотрит в северные леса, куда его манит следующий проект. Ветви гладят солнце, смеются над гравитацией, еще толком не распустившись. Что-то шевелится у основания неподвижных стволов. Ничто. Теперь — всё.

«Вот это, — шепчет голос совсем рядом. — Это. То, что нам даровано. То, что мы должны заслужить. *Этому* не будет конца».